

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
(ПУШКИНСКИЙ ДОМ)

ОТ
„СЛОВА О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ“
ДО
„ТИХОГО ДОНА“

*Сборник статей
к 90-летию
Н. К. Пиксанова*

Н. К. Пиксанова

ИЗДАТЕЛЬСТВО „НАУКА“
ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ЛЕНИНГРАД
1 9 6 9

Редакционная коллегия:

К. Д. МУРАТОВА, Ф. Я. ПРИЙМА (ответственный редактор),
Н. И. ПРУЦКОВ, Н. Н. МОНАХОВ (секретарь редколлегии).

7-2-2

215—69 (I пол.)

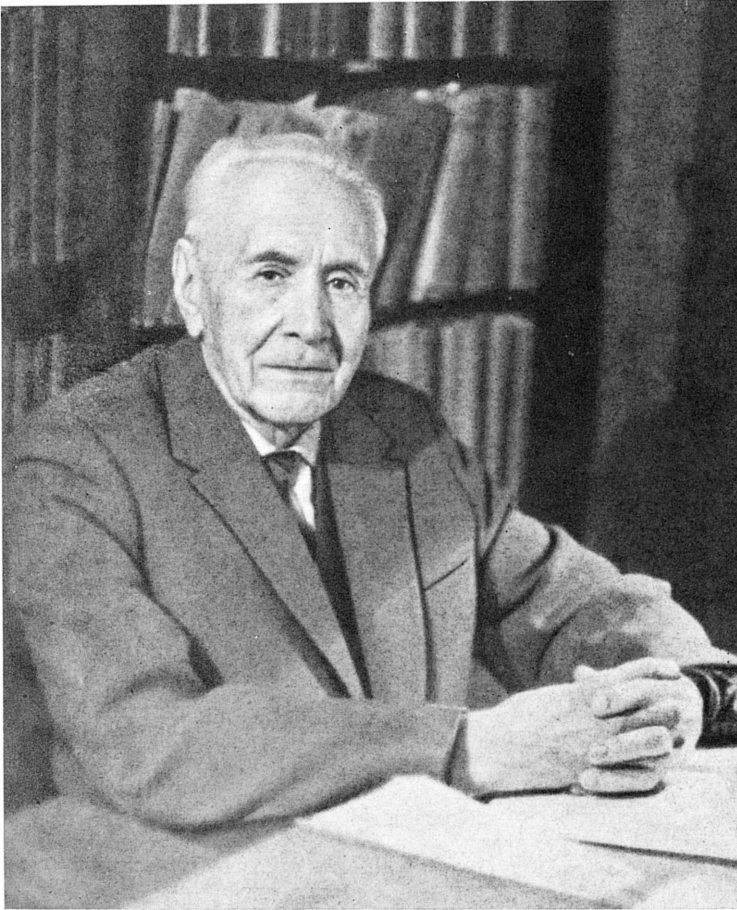
К ЧИТАТЕЛЯМ

Созданная по инициативе и трудами друзей, учеников и почитателей Николая Кирьяковича Пиксанова, настоящая книга была приурочена к 90-летию со дня его рождения. Эту знаменательную дату, торжественно отмеченную в стенах Пушкинского Дома в апреле прошлого года, юбиляр встретил преисполненный бодрости, надежд и новых творческих замыслов. Никто из авторов задуманной книги не мог в то время даже предполагать, что она выйдет в свет после кончины ученого. 10 февраля этого года оборвалась жизнь Николая Кирьяковича, одного из зачинателей советского литературоведения, беспримерного труженика на ниве отечественной культуры, человека широкой души и отзывчивого сердца. Русская филологическая наука понесла тяжелую невозместимую утрату.

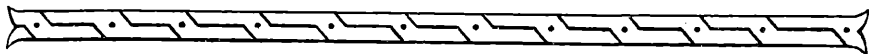
Вся сознательная жизнь ученого-гражданина, взыскательного, но неизменно доброжелательного наставника, щедро отдававшего богатые запасы своих знаний младшим поколениям, была примером непрерывного творческого горения и беззаветного служения Родине. В обширной истории русской литературы, взятой на всем протяжении ее развития, от первых памятников письменности до произведений социалистического реализма, усилиями Николая Кирьяковича Пиксанова восстановлено и освещено немало важных и трудно читаемых страниц и разделов. Многочисленным научно-исследовательским трудам ученого-энтузиаста суждена долгая жизнь. Его светлый образ незримо присутствует и еще долго будет присутствовать не только в содержании и пафосе его статей и книг, но и в умах и сердцах всех тех, кто имел счастье с ним общаться.

Жизнь Н. К. Пиксанова оборвалась в момент, когда настоящий сборник был уже сверстан. Коллектив участников сборника считает все же не только возможным, но и уместным выпустить книгу в том самом виде, в каком она была задумана и написана. В работе над ней авторы и редколлегия стремились сосредоточить свое внимание прежде всего на том цикле тем и проблем, которые постоянно волновали исследовательскую мысль Николая Кирьяковича. И если это стремление нашло в книге хотя бы частичное воплощение, широкие круги читателей и почитателей Н. К. Пиксанова правомерно воспримут ее и как дань нашего общего глубокого уважения к памяти выдающегося русского ученого.

Редколлегия



Николай Кириякович Пиханов



К. Н. Григорьян

ПУТЬ УЧЕНОГО (К 90-ЛЕТИЮ Н. К. ПИКСАНОВА)

Член-корреспондент Академии наук СССР, заслуженный деятель науки, доктор филологических наук профессор Николай Кирьякович Пиксанов является одним из виднейших ученых-литературоведов нашей страны. Свыше шестидесяти лет он трудится на поприще литературоведения, обогатив советскую науку сотнями исследований, книг и статей.

Н. К. Пиксанов — ученый необычайно широкого творческого диапазона. Его труды по истории русской литературы на всем протяжении ее развития, по истории общественной мысли, критики, журналистики, театра, драматургии, по литературе народов СССР, по изучению русского фольклора, а также источниковедения, текстологии и эдичионной технике сыграли важную роль в советском литературоведении и явились вехами в развитии отечественной науки о литературе.

Многочисленные труды Н. К. Пиксанова свидетельствуют не только о его богатой эрудиции, энциклопедической широте филологических знаний, необыкновенном разнообразии тем, но и служат образцом научной добросовестности, строгости методов и приемов, основывающихся на марксистско-ленинской методологии. Разработке теоретических вопросов литературоведения Н. К. Пиксанов и по сей день уделяет много внимания.

Постановкой ряда важнейших проблем наша наука обязана исследованиям и неиссякаемой инициативе Н. К. Пиксанова. «Целый ряд научных терминов, которыми мы пользуемся и которые вошли в научный оборот, — говорил 22 марта 1950 г. на заседании Ученого совета Пушкинского дома акад. М. П. Алексеев, — созданы Николаем Кирьяковичем. До того как

Николай Кирьякович не заговорил о „творческой истории“, мы не знали этого слова. Пока не появились его труды о „литературных гнездах“, мы не употребляли этого термина. Можно назвать немало областей науки, где Николай Кирьякович или создал тип издания, или пустил в оборот научные термины, которые привились. Можно указать хотя бы на то, что сейчас в издательствах высших школ пользуются большим успехом и развиваются издания, так называемые семинарии по какому-нибудь писателю. Изданием такого рода книг занимается не только Ленинградский университет, но также и целый ряд других вузов. Надо помнить, что Николай Кирьякович первым создал этот тип научно-учебного пособия, тот тип, без которого сейчас нормальное преподавание в высшей школе в области практической работы студентов невозможно».

Н. К. Пиксанов принадлежит к старшему поколению ученых нашей страны. Первые его работы относятся к началу 1900-х годов, однако его научно-общественная и педагогическая деятельность особенно интенсивно развернулась только после Великой Октябрьской революции. «В деятельности Н. К. Пиксанова, — пишет чл.-корр. АН СССР А. С. Бушмин, — нашли свое яркое выражение как лучшие демократические традиции старой русской филологической науки, так и то плодотворное воздействие Великой революции, которое, по его собственному признанию, он остро ощутил на себе».¹

Пройденный ученым путь — образец честного, бескорыстного служения интересам отечественной науки.

Николай Кирьякович Пиксанов родился 12 апреля 1878 г. в селе Дергачи бывшей Самарской губернии (ныне Куйбышевская область). В 1898 г. по окончании Самарской духовной семинарии, он поступил в Юрьевский (Дерптский, ныне Тартуский) университет на Историко-филологический факультет, по славяно-русскому отделению. Одновременно он изучал в университете юридические науки, занимался в семинаре акад. М. А. Дьяконова по истории русского права, результатом чего явилась статья о Боярской думе («Журнал Министерства юстиции», 1903, № 3). Первая его работа по истории русской литературы (о неизданных стихотворениях В. К. Кюхельбекера) была опубликована в 1902 г.

Накануне первой русской революции Н. К. Пиксанов за участие в студенческом движении (он был председателем Союзного совета дерптских объединенных землячеств и организаций) подвергался преследованиям, сидел в тюрьмах Прибалтийского края и был назначен к ссылке в Архангельскую губернию, которая была заменена впоследствии высылкой в Самару под гласный

¹ А. Бушмин. Николай Кирьякович Пиксанов. «Нева», 1963, № 4, стр. 181.

надзор полиции без права выезда из города. Гласный надзор был снят в 1904 г. по манифесту об общей амнистии.

В 1906 г. Николай Кирьякович переехал в Петербург и отдался целиком литературной работе. Он сотрудничает в ряде изданий, выходящих под редакцией проф. С. А. Венгерова, с 1911 г. принимает деятельное участие в работе Комиссии Академии наук по изданию русских классиков, редактирует трехтомное издание полного собрания сочинений А. С. Грибоедова, которое и в наши дни не потеряло своего научного значения.

Н. К. Пиксанов постоянно сочетал научно-исследовательскую деятельность с общественно-педагогической, преподавал литературу в средней школе, на Бестужевских высших женских курсах (1908—1917). Итогом семинарских занятий слушательниц под его руководством явился «Тургеневский сборник» (1915). Одновременно, с 1908 г., он преподавал в Педагогической академии и в Психоневрологическом институте. В 1912 г. Николай Кирьякович успешно сдал магистерские экзамены и получил место приват-доцента в Петербургском университете. Из руководимого им университетского семинара вышла коллективная работа «Летопись жизни Белинского» (напечатанная позже, в 1924 г.). В 1917 г. Н. К. Пиксанов переехал из Петербурга в Саратов в связи с избранием его профессором Саратовского университета. В 1918 г. он был избран директором Саратовского учительского института, который при его непосредственном участии был преобразован в Педагогический, а затем в Институт народного образования.

В 1921 г. Н. К. Пиксанов избирается профессором Первого Московского государственного университета и переезжает в Москву. Здесь он читает историю русской литературы в ИМГУ (1921—1925), в Литературном институте им. В. Я. Брюсова, во II МГУ (1924—1929), где возглавляет литературно-лингвистическое отделение. В эти же годы в Госиздате редактирует совместно с А. В. Луначарским серию «Русские и мировые классики» (свыше 35 книг), является (до отъезда в Ленинград) редактором отдела русской литературы в «Большой советской энциклопедии» (первые 25 томов и т. 65). С 1921 г. Николай Кирьякович — член Государственной Академии художественных наук; в течение двух лет он занимает пост вице-президента Академии.

В 1931 г. Н. К. Пиксанов был избран членом-корреспондентом Академии наук СССР. После переезда в Ленинград (1932) он возобновил преподавание в Ленинградском университете; с 1934 по 1937 г. Н. К. Пиксанов заведует кафедрой русской литературы на Филологическом факультете ЛГУ. Кроме общих курсов, Николай Кирьякович в разное время читал специальные курсы и руководил семинарами «Грибоедов и его время», «История русской драмы», «История русской критики», «Русская лите-

ратурная историография». «Литературная текстология», «Вспомогательные дисциплины литературоведения» и др.

В годы Великой Отечественной войны ученый-патриот вел большую пропагандистскую работу, выступал с лекциями и докладами в частях Советской Армии, напечатал ряд статей и брошюр: «Ленинград — любовь и гордость советского народа» (1942), «Писатель-патриот. К 75-летию со дня рождения М. Горького» (1943), «Горький и боатская дружба народов» (1943), «Сердце родины — любимая Москва» (1944), «Великий русский писатель (А. С. Грибоедов)» (статья была напечатана в газете «Правда», 1945, № 9, 11 января), «Всемирное значение русской литературы» (статья опубликована за рубежом Антифашистским комитетом ученых) и др.

В эти же годы Н. К. Пиксанов не прекращает и преподавательской деятельности; он — профессор Среднеазиатского государственного университета (Ташкент).

В 1944 г., переехав из Ташкента в Москву, Николай Кирьякович включился в работу Института мировой литературы АН СССР, принимал участие в подготовке академического издания сочинений М. Горького. В 1948 г. он вернулся в Ленинград.

Н. К. Пиксанов — ученый глубокой эрудиции во всех областях литературоведения, с широкими и разнообразными интересами. Его перу принадлежит около шестисот печатных работ, в числе их более двадцати пяти книг, монографических исследований.² С молодых лет избрав предметом своих научных занятий русскую литературу, он посвятил свои труды преимущественно изучению творчества классиков — Ломоносова, Радищева, Пушкина, Грибоедова, Гоголя, Лермонтова, Гончарова, Тургенева, Островского, Толстого, Достоевского, Белинского, Чернышевского, Добролюбова, Салтыкова-Щедрина, Короленко, Горького. Кроме того, в поле зрения научных интересов Н. К. Пиксанова находились многие важнейшие проблемы изучения устного народно-поэтического творчества, древнерусской литературы, литературы XVIII в., истории русской общественной мысли и освободительного движения, критики и журналистики, русской драматургии и театра. Много внимания уделял ученый вспомогательным дисциплинам историко-литературной науки — текстологии и источниковедению.

В широкой и многообразной научной деятельности Н. К. Пиксанова выделяется несколько основных линий. Первая из них связана с именем А. С. Грибоедова, жизнь и творчество которого в течение многих лет привлекали пристальное внимание ученого. С неутомимой энергией, любовно, год за годом Николай Кирья-

² См.: Николай Кирьякович Пиксанов. Вступительная статья А. И. Ревякина. Библиография составлена Р. И. Кузьменко. Изд. «Наука». М., 1968, 115 стр.

кович собирал рукописные списки бессмертной комедии, сопоставлял, изучал их, стремясь не только установить подлинный текст Грибоедова, но ставя и более широкие историко-литературные задачи. Итогом многолетней работы явились исследования Н. К. Пиксанова «Творческая история „Горя от ума“» (1928), «Драматургия „Горя от ума“», «„Горе от ума“ в истории реализма» (1947). В обширном кругу работ по Грибоедову особое место занимает «Творческая история „Горя от ума“», которая прокладывает новые пути в развитии литературоведческой мысли.

В специальной статье, посвященной подробной характеристике книги Н. К. Пиксанова «Творческая история „Горя от ума“», отмечая ее ценность, богатство научного содержания, акад. П. Н. Сакулин писал: «Заслугой Н. К. Пиксанова является то, что он с такой углубленностью и заостренностью методологически обосновал эту проблему и своей книгой о „Горе от ума“ дал надежный образец методики исследования».³

Обращением к конкретному изучению творческой истории важнейших произведений русской литературы наша наука в значительной степени обязана инициативе Н. К. Пиксанова. Еще в 20-е годы, когда в борьбе со всякого рода враждебными течениями формировалось молодое советское литературоведение, Николай Кирьякович отстаивал важность марксистского метода изучения литературного процесса. В той же связи им были обоснованы принципы исследования творческой истории произведений классиков. Самый термин «творческая история» в его широком социологическом, эстетическом и психологическом истолковании был введен в научный обиход Н. К. Пиксановым. Он ставил перед литературоведом задачу проникновения в творческую лабораторию писателя, изучения процесса создания произведения от возникновения замысла до его последней редакции. Такой аспект, как показал опыт двух поколений советских исследователей, оказался чрезвычайно полезным и плодотворным для осмысления ряда важнейших проблем теории и психологии художественного творчества.

Вместе с выдающимися представителями советского литературоведения (А. В. Луначарским и др.) Н. К. Пиксанов, продолжая лучшие традиции русской филологической науки, активно выступал против формализма, сводившего сложный творческий процесс к сумме технических приемов. В 1927 г. в рецензии на сборник статей молодых литературоведов-формалистов он писал: «...узость, фатальная ограниченность, какая-то слепота... Язык скоро сбивается на кружковой жаргон... Терминология становится жеманной, мелкой, случайной... Вычурному языку соответствует... выхолощенность мышления... Ленинградские формали-

³ П. Н. Сакулин. Проблема «Творческой истории». «Известия АН СССР, Отделение гуманитарных наук», VII серия, 1930, № 3, стр. 131.

сты попадают в тупик, и им предстоит одно из двух: или стать на месте, или избрать иное направление. Топтаться на месте нестерпимо, и вот почему я думаю, что слепой фанатический ленинградский формализм третьего поколения не родит. Скоро окажется, что это — *religio depopulata* — обезлюдившая вера».⁴

Эти оценки характеризуют общественно-литературную позицию Н. К. Пиксанова, его методологическую принципиальность, его непримиримость к сторонникам формализма, которые и в наши дни, щеголяя наукообразной фразеологией, свои мертвые построения нередко шумно рекламируют как новое слово в литературоведении.

Теоретические, методологические проблемы вырастают в трудах Н. К. Пиксанова непосредственно из конкретных историко-литературных изысканий. Это помогло ему, крупному ученому, научное мировоззрение которого формировалось еще в условиях дореволюционной действительности, твердо встать на позиции марксизма, занять видное место в числе немногих зачинателей советской науки о литературе.

Н. К. Пиксанову принадлежат научно-методические разработки ряда важнейших историко-литературных, историко-культурных тем: «Семинарий по новой русской литературе» (1910), «Театральный семинарий. Студия по истории русского театра» (1921), «Пушкинская студия» (1922), «Два века русской литературы» (1923), «Островский. Литературно-театральный семинарий» (1923), «Старорусская повесть» (1923). Специально следует отметить в этом же ряду работ историко-краеведческий семинарий «Областные культурные гнезда» (1928). В нем исследователь на живых и ярких примерах впервые показал огромное значение в истории русской культуры ряда явлений, до того времени остававшихся незамеченными. Книга Н. К. Пиксанова, открывшая неизвестные пласты литературного прошлого России, наметившая новые аспекты историко-литературных и историко-культурных изучений, встретила горячее сочувствие и одобрение советской общественности. Называя новую книгу Н. К. Пиксанова «необыкновенно насыщенной», акад. С. Ф. Ольденбург писал: «Если заняться по методам Пиксанова еще многими нашими городами, большими и малыми, то получится исключительно ценный культурный материал, важный для нашей истории и для понимания современной жизни». «Чем больше вчитываешься в книгу, тем больше она, как это и должно быть в хорошей книге, рождает мыслей, вопросов, стремлений к исследованиям».⁵ С подобными же высокими оценками книги выступили в печати Н. Ф. Бельчиков, И. М. Гревс, Н. К. Гудзий и другие ученые.

⁴ «На литературном посту», 1927, № 4, стр. 22—23.

⁵ «Читатель и писатель», 1928, № 26, 30 июня.

Особый круг историко-литературных проблем охватывают работы Н. К. Пиксанова, посвященные Пушкину. В них освещаются как отдельные эпизоды литературной биографии поэта, так и общие проблемы изучения его многогранного творчества. Пушкинская тема и поныне продолжает занимать свое почетное место в научных занятиях ученого. Недавно им завершена статья о становлении реализма в творчестве Пушкина и Грибоедова.

Важное место в научной деятельности Н. К. Пиксанова занимают его исследования, посвященные творчеству И. А. Гончарова (более десяти работ). Он же является автором обширной главы о Гончарове в восьмом томе академической «Истории русской литературы».

Особое направление исследовательской мысли нашего старейшего ученого составляют его труды по изучению литературного наследия М. Горького. Николаю Кирияковичу принадлежит заслуга в постановке и освещении ряда важнейших проблем советского горьковедения: Горький и фольклор, Горький-поэт, Горький и музыка (работа переведена на английский, немецкий, чешский и украинский языки), Горький и наука, Горький — историк литературы, Горький — наставник и воспитатель писательских кадров.

Известно, как высоко ценил М. Горький фольклор, какое значительное место он занимает в эстетической системе основоположника социалистической литературы, какое большое значение придавал писатель фольклору в формировании национальной литературы. Хорошо известна также любовь Горького к народной песне, легендам и сказкам. Хотя все это и лежало на поверхности, вопросы эти, несмотря на сравнительно богатую литературу по Горькому, долгое время не привлекали должного внимания исследователей. В 1928 г. в Москве Н. К. Пиксанов выступил с докладом на тему «Максим Горький и народная поэзия». Дальнейшие изыскания ученого расширили и обогатили тему, и она получила разностороннее освещение в специальной работе «Горький и фольклор» (1935). В исследовании Н. К. Пиксанова затрагивается множество проблем как частного, так и общетеоретического значения. Однако основной пафос его определяется стремлением автора на основе тщательного изучения всего литературного наследия писателя раскрыть народные истоки его творчества, показать, как внутренне органичен фольклор творчеству Горького. Вопрос о фольклорных корнях ряда сюжетов в произведениях Горького привел к необходимости изучать устно-поэтическое творчество других народов для установления источников и параллелей к текстам Горького — задача, как справедливо заметил Николай Кириякович, которая может быть решена только коллективными усилиями. При выходе второго издания книги Н. К. Пиксанова «Горький и фольклор» (1938) критика отмечала хороший язык автора, «простой, ясный, лишенный „уче-

ных“ и псевдонаучных выражений, доступный самым широким слоям читателей». ⁶

Такой же новаторский характер, как и другие работы Н. К. Пиксанова по Горькому («Горький-поэт», «Горький и фольклор», «Горький и музыка»), имело исследование ученого «Горький и национальные литературы» (1946), получившее заслуженно высокую оценку в печати. ⁷ Нелегко было осмыслить и обобщить огромный разнородный материал, которым располагал исследователь. Он рассматривает этот материал с различных точек зрения: а) влияние теоретических высказываний и публицистических выступлений Горького на развитие литератур народов СССР; б) воздействие на писателей национальных республик художественных произведений Горького; в) личное общение Горького с национальными писателями; г) деятельность Горького как организатора писательских сил народов СССР. Такой разносторонний подход позволил Н. К. Пиксанову прийти к широким обобщениям. Он рассматривает многонациональную советскую литературу как явление единое, новое, рожденное Великим Октябрем. «...постепенно, с давних лет, и особенно энергично в советское время, — пишет Николай Кирьякович, — Горький создавал ту литературно-историческую и социально-политическую концепцию, которую определяет формула „советская литература“ — небывалая дотоле формула, новое понятие, охватывающее новое явление культуры.

Под советской литературой в наших исследованиях и в преподавании мы разумеем не только русскую литературу советского времени, но огромное, целостное явление: единство всех братских литератур Союза во главе с великой русской литературой. Советская литература многонациональна, многоязычна, но органически едина по мировоззрению, по художественному методу. Явление и понятие советской литературы не отменяет явления и понятия национальных литератур, но поднимается над ними и охватывает их».

Н. К. Пиксанов показывает ведущую роль русской советской литературы, значение организаторской деятельности Горького, процесс взаимообщения и взаимообогащения литератур народов СССР. Исследователя интересуют, «как в целостном, хотя и сложном, литературно-историческом процессе выявляются одинаковые черты и проблемы литературного развития и как отдельные национальные литературы сближаются между собою, консолидируются в единую советскую литературу».

Широта научного кругозора и богатая эрудиция Н. К. Пиксанова сказались и в его тяготении к теоретическим и методоло-

⁶ «Звезда», 1939, № 1, стр. 246—247.

⁷ «Вестник ЛГУ», 1947, № 5, стр. 121—123 (П. Н. Берков); «Звезда», 1947, № 4, стр. 180—182 (Ан. Волков); «Звезда Востока», 1947, № 2—3, стр. 110—116 (Л. Ульрих) и др.

гическим проблемам, к обобщениям и подведению итогов науки. Он является автором обзорных статей, посвященных развитию советского литературоведения, — «Гридцать лет борьбы и достижений. Итоги изучения литературы за 1917—1947 гг.» и «Советское литературоведение за сорок лет». При слабой разработанности истории филологической науки в СССР большая ценность подобного рода итоговых статей неоспорима.

Н. К. Пиксанов как наставник научной смены может служить образцом для тех, кто призван быть руководителем и воспитателем молодых ученых. Он щедро делится с ними своими знаниями, многолетним богатим опытом, воспитывая в них любовь к отечественной науке, уважение к замечательным традициям русской филологии. Двери его квартиры, его богатейшей личной библиотеки с уникальной картотекой и научно-методическими разработками множества тем по истории русской литературы широко открыты перед молодыми и немолодыми литературоведами, где каждый может пользоваться советами и консультациями авторитетного ученого. Николай Кирьякович — опытный педагог. Через его школу прошли многие десятки литературоведов, ныне докторов и кандидатов наук, которые успешно трудятся в исследовательских институтах и вузах нашей страны. Внимательный и чуткий наставник, он стремится не подавлять в них самостоятельности мысли, а обеспечить возможно более полное развитие индивидуальных наклонностей.

«Н. К. Пиксанов — замечательный пестун своих учеников, — пишет проф. А. И. Ревякин. — Он не только щедро указывает им свежие, неразработанные темы, увлекает научными интересами, но и всячески стремится помочь в публикации первых работ... Его удивительное, подлинно отеческое отношение к молодежи я испытал лично».⁸ Из числа многочисленных учеников Н. К. Пиксанова выросли такие известные в советском литературоведении исследователи, как члены-корреспонденты АН СССР Н. Ф. Бельчиков, Л. И. Тимофеев, доктора филологических наук А. Г. Цейтлин, А. И. Ревякин, Б. В. Михайловский, А. М. Докусов, В. С. Шадури, С. Г. Арешян и др.

Н. К. Пиксанов — старейший сотрудник Пушкинского дома. Он работает в этом учреждении почти со дня его основания, занимая должности заведующего рукописным отделом, заведующего сектором новой русской литературы. Он состоял членом главной редакции «Истории русской литературы» в десяти томах, редакции академических изданий Гоголя и Белинского. В 1955 г., в возрасте 77 лет, Николай Кирьякович оставил службу в Ленинградском университете и в Институте русской литературы АН СССР и ушел на пенсию, но остался членом Ученого совета

⁸ А. Ревякин. Выдающийся ученый. «Литература в школе», 1958, № 3, стр. 95—96.

Пушкинского дома, продолжая участвовать в работе его научного коллектива. В 1958 г., к 80-летию со дня рождения Н. К. Пиксанова, Институтом русской литературы был издан сборник «Вопросы изучения русской литературы XIX—XX веков».


Труды Н. К. Пиксанова будят исследовательскую мысль, рождают новые замыслы. Акад. А. Д. Александров в 1958 г. (в то время ректор Ленинградского государственного университета) на объединенном заседании кафедры истории русской литературы и кафедры журналистики филологического факультета, посвященном 80-летию со дня рождения Н. К. Пиксанова, в своем приветственном слове говорил: «...Н. К. Пиксанов принадлежит к той славной плеяде советских ученых, которые своими трудами прокладывают новые пути в науке и являются живым примером самоотверженного и бескорыстного служения социалистической Родине».⁹

В этих словах верно отмечены основные черты научного и гражданского облика маститого ученого. Родина высоко оценила заслуги Н. К. Пиксанова перед советской наукой. В 1945 г. он был удостоен ордена Трудового Красного Знамени, в 1954 г. — высшей награды, ордена Ленина, а в апреле 1968 года «за заслуги в развитии советского литературоведения и в связи с 90-летием со дня рождения» второго ордена Ленина.

⁹ «Вестник ЛГУ», 1958, № 20, вып. 4, стр. 171.

СТАТЬИ





Н. И. Пруцков

КЛАССИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ, РЕВОЛЮЦИЯ И НАША СОВРЕМЕННОСТЬ

Основоположники научного коммунизма считали, что освободительный акт 1861 г., прославленный либеральной прессой всей Европы, но не разрешивший коренных противоречий, создал в России твердое основание и абсолютную необходимость будущей революции.

Для историко-литературной науки принципиальное значение приобретает в современных условиях понятие «русская революция» в том его широком историко-социологическом содержании, которое имеет в виду В. И. Ленин в своих работах о пореформенной России, в гениальных статьях о Л. Н. Толстом. Понятие «русская революция» включает, как это следует из ленинских работ, всю совокупность социально-экономических, классово-политических отношений и идейно-художественных исканий в России второй половины XIX в. В глубинах национальной жизни совершались такие процессы, которые разносторонне готовили будущую революционную бурю. После 1861 г. в России созрел тот общенациональный кризис, без которого последующая революция не может победить. Поэтому В. И. Ленин говорил: «1861 год породил 1905».¹ Формула эта содержит глубочайший смысл и имеет отношение не только к истории экономической, социальной и политической, но и к истории интеллектуальной, художественной.

Каковы же те конкретные слагаемые, которые входят в понятие «русская революция» в указанном широком смысле? Здесь нет возможности охарак-

¹ В. И. Ленин, Полное собрание сочинений, т. 20, стр. 177.

теризовать все эти элементы. Укажем только на некоторые из них. В нашей науке установлено, что у В. И. Ленина понятие «русская революция» неизмеримо шире понятий «революционно-освободительная борьба» или просто «революционная борьба». Это безусловно так, хотя многие историки литературы продолжают мыслить о русской революции, ограничиваясь лишь рамками собственно революционно-освободительной борьбы, т. е. относительно развитыми, относительно организованными, относительно сознательными формами борьбы интеллигенции и наиболее передовых слоев трудового народа.

Но совершенно очевидно, что процесс вызревания революционного взрыва включал не только более или менее сознательные и организованные элементы. Очень важно учитывать как важнейший элемент понятия «русская революция» чувства и настроения, мечтания и стремления широчайших масс трудящихся. Борясь с веховцами, В. И. Ленин подчеркнул: «Там, где нет пострадавших народных масс, не может быть и демократического движения».² Развитие социально-экономических отношений в капитализирующейся, полукрепостнической России накапливало невиданное в истории человечества количество революционной энергии в массах. Их материальная нужда и несправие, безудержная эксплуатация и систематическое голодание пробуждали и формировали страсть и толкали на борьбу. Поэтому В. И. Ленин, раскрывая понятие «русская революция», особенно обращал внимание на огромную роль в нарастающем протесте и начавшейся борьбе непосредственных чувств и непосредственных настроений трудовых масс. Именно они «питали» и направляли сознательные формы, идейные, социальные, философские и этические искания. Широким потоком проникли они и в литературу. Толстой явился самым зорким и самым чутким, самым гениальным и самым могучим «органом народной страсти», пронизательно улавливающим непосредственные чувства и настроения масс, их озлобление, их стихийный протест. И это (помимо всего прочего) следует учитывать, когда мы наполняем конкретным содержанием ленинскую формулу «Лев Толстой, как зеркало русской революции».

Социальные настроения и чувства, мечтания и стремления, эмоции и страсть народа внесли в свои творения и другие деятели русской литературы, особенно Белинский и Некрасов, Гл. Успенский и Решетников, писатели-народники, Короленко. Раскрывая понятие «русская революция», следует учитывать, что формы пробуждения, формирования и выражения непосредственных чувств и настроений трудовых масс пореформенной России очень многообразны. В них отразился не только разум, но и всевозможные предрассудки, заблуждения, несбыточные упования, иллюзорные представления, мечтания о «безгрешной жизни».

² Там же, т. 19, стр. 171.

В народно-трудовой среде возникло движение, в основе которого лежало стремление к счастью. Известны попытки трудящихся организовать свободные товарищества. Все это входит в понятие «русская революция», так как является симптомом и спутником исканий народом новых форм жизни, свободных от эксплуатации, социальной несправедливости, бесправия и нищеты.

В. И. Ленин великолепно знал психологию трудового народа старой России. Он тщательно проследил извилистый и тернистый путь трудящихся от стихийного протеста и примитивных бунтов, от несбыточных мечтаний и утопий к социал-демократической сознательности и организованности, к социализму и революции. Замечательно, что В. И. Ленин и в примитивных бунтах видел зачаточную форму пробуждения сознательности. Но, говорит В. И. Ленин, все это было «гораздо более проявлением отчаяния и мести, чем *борьбой*».³ Поэтому В. И. Ленин считал необходимым разграничивать «русский бунт, бессмысленный и беспощадный», и организованную, сознательную борьбу. Конечно, настоящий революционер не может игнорировать революционные настроения масс. Но было бы абсурдно успех дела политической революции ставить только в зависимость от непосредственных чувств и действий измученного народа, подчинять этим чувствам и настроениям программу и организацию подлинно революционной партии.

Из этого следует, что, когда раскрывается понятие «русская революция», когда речь идет о движении России к революции, то следует иметь в виду, с одной стороны, многообразные формы выражения чувств, настроений и стремлений исстрадавшегося, бунтующего народа, а с другой — все богатство идейно-философских, социальных и этических исканий, весь тот идеологический и научно-теоретический фундамент, без которого немислима политическая революция, невозможна ее успешная подготовка. Разумеется, в понятие «русская революция» входит как ее важнейший составной элемент и русская классическая литература, явившаяся предвестницей великого будущего России. Наконец, понятие «русская революция» включает и собственно организованную революционно-освободительную борьбу интеллигенции и сознательной части трудящихся. В ходе этой борьбы выковывался замечательный характер русского революционера-профессионала, складывался его общественный и идейно-нравственный облик, ставший для своего времени, как говорил М. Горький, воплощением человеческой личности во всей святости ее значения. В письме к С. А. Венгерову (1908 г.) Горький писал, что «*русский революционер* — со всеми его недостатками — феномен, равного которому по красоте духовной, по силе любви к миру — я не

³ Там же, т. 6, стр. 30.

знаю».⁴ Естественно поэтому, что русские писатели «тянулись» к революционеру — к декабристу, особенно к революционному демократу, к народнику-социалисту, к народовольцу, а позже — и к пролетарскому революционеру, к социал-демократу.

Начиная с 40-х годов прошлого века русская передовая литература, общественно-философская мысль и литературная критика не только отражали и обобщали движение России к революции и социалистическому преобразованию общества, но и служили своими специфическими средствами этому великому процессу, принимали участие в выработке научно-революционного взгляда на действительность, объективно готовили русское общество к восприятию всепобеждающих идей марксизма.

В классической работе революционно-творческого марксизма «Детская болезнь „левизны“ в коммунизме» В. И. Ленин, спрашивая, почему большевизм победил в 1917—1920 гг., указал на то обстоятельство, что в период 1903—1917 гг. большевизм проделал такую гигантскую «практическую историю, которая по богатству опыта не имеет себе равной в свете». Это и принесло успех российской партии коммунистов. В. И. Ленин характеризует и другой фактор, способствовавший всемирно-исторической победе героического пролетариата России. Большевизм, говорит В. И. Ленин, «возник в 1903 году на самой прочной базе теории марксизма. А правильность этой — и только этой — революционной теории доказал не только всемирный опыт всего XIX века, но и в особенности опыт блужданий и шатаний, ошибок и разочарований революционной мысли в России. В течение около полувека, примерно с 40-х и до 90-х годов прошлого века, передовая мысль в России, под гнетом невиданно дикого и реакционного царизма, жадно искала правильной революционной теории, следя с удивительным усердием и тщательностью за всяким и каждым „последним словом“ Европы и Америки в этой области. Марксизм, как единственно правильную революционную теорию, Россия поистине *выстрадала* полувековой историей неслыханных мук и жертв, невиданного революционного героизма, невероятной энергии и беззаветности исканий, обучения, испытания на практике, разочарований, проверки, сопоставления опыта Европы».⁵

Русские передовые писатели и мыслители оказались во главе революционно-прогрессивных сил русского общества. Это и позволило им открыть такой общественно-нравственный и эстетический идеал, найти такие оценки действительности, которые имеют неопценное значение и для жизни современного социали-

⁴ М. Горький, Собрание сочинений в тридцати томах, т. 29, Гослитиздат, М., 1955, стр. 74.

⁵ В. И. Ленин, Полное собрание сочинений, т. 41, стр. 7—8.

стического общества. Русские писатели XIX в. поставили коренные экономические, общественно-нравственные и эстетические вопросы социализма и демократии, хотя они и не были ни марксистами, ни представителями пролетарской демократии.

Всемирно-историческим итогом русской истории XIX в. является социалистическая революция 1917 г., торжество идей ленинизма. Идеейные противники коммунизма тщатся доказать, что социалистическая революция будто бы «висит в воздухе», что она не имеет прочных корней в социально-экономической и духовной жизни предшествующих десятилетий, не освящена национальными традициями. Ее совершили не трудовые массы России, а «активные революционеры» — большевики во главе с Лениным. В соответствии с такой концепцией и советская литература оказывается неспособной (за исключением, быть может, только Шолохова) сохранять и обогащать традиции русской классики..

Но всему миру известен *общенародный характер* пролетарской революции 1917 г. В ее могучем натиске слились воедино разные революционные потоки: и социалистическое движение пролетариата, и революционно-демократическая борьба крестьянских масс, и национально-освободительное движение, и общенародное движение за мир. *Так борьба за социализм органически слилась с борьбой за демократию.* Это — коренная особенность Октябрьской революции. И этот ее подлинно народный характер хорошо чувствовали и хорошо понимали пронизательные умы Запада, свидетели и участники тех незабываемых дней, — и Джон Рид, автор книги «Десять дней, которые потрясли мир», завоевавшей миллионы сердец, и Альберт Вильямс, опубликовавший мудрую книгу «Народные массы в русской революции», и Артур Рансом с его пронизательным дневником «Шесть недель в России». Здесь названы некоторые из первых зарубежных книг об Октябрьской социалистической революции. И для них характерно признание ее общенародного характера, понимание ее национальных корней.

Выдающиеся творцы русской литературы второй половины XIX в. выступали от лица пореформенного крестьянства, полупролетарских масс города и деревни, они были их голосом, их страстью выражали их протест, ратовали за полную ликвидацию крепостнических пережитков. Антикрепостническая направленность их творчества слилась с могучей критикой русского, а также западноевропейского и американского капитализма. У истоков такого слияния стояли Пушкин и Гоголь, которые ненавидели крепостнический строй и в то же время обличали «кипящую меркантильность», клеймили виновников порабощения и искажения природы человека в буржуазную эпоху.

Трудящиеся массы России объективным ходом вещей ставились в необходимость вести борьбу и против крепостнических

пережитков, и против буржуазии. На этом исключительно трудном пути, в этом стремлении «одним махом» избавиться от феодального и вольнонаемного рабства народно-крестьянские массы (а равно и их идеологи) впадали в заблуждения. Самое распространенное из них — утопическая надежда на возможность особого пути развития России.

Нет необходимости в наши дни особенно сурово судить тех, кто лелеял беспочвенную, в условиях того времени, но очень привлекательную, воодушевляющую и революционизирующую мечту об общинно-социалистическом развитии своей родины. В русской литературе были, однако, не только социально-утопические иллюзии, особенно характерные для Толстого, Г. Успенского, Достоевского и народников. Началось в ней (продолженное затем на новых основаниях российской социал-демократией во главе с Лениным) и преодоление всякого рода заблуждений и бессильных мечтаний, свойственных крестьянским и полупролетарским массам дореволюционной России.

В этом плане особенно велика заслуга Н. Щедрина и Г. Успенского. Они обнажили несостоятельность, показали крах народнического общинного социализма, способствовали освобождению читателей от народнических предрассудков, уяснению ими новых исторических задач. Они показали, почему крестьянство той эпохи не пошло за интеллигентами-социалистами, не поддержало их героическую борьбу с царизмом. Частная крестьянская собственность, привычка к индивидуальному хозяйству-острову, сословная замкнутость, индивидуалистическая психология — вот непреодолимые для социалистов того времени препятствия на пути осуществления их программ.

Используя наблюдения русских писателей, публицистов и революционеров о росте частнособственнического начала в крестьянских массах, об их царистских настроениях, отрицательном отношении к социалистической пропаганде и революционной борьбе интеллигенции («господское дело»), буржуазные идеологи всячески расписывали и расписывают консерватизм русской крестьянской демократии XIX в., говорят даже о прогрессивно-просветительском значении деятельности русского самодержавия в условиях крестьянской России, они даже говорят о возможностях новой Вандеи в Советской России. Банкротство общинного социализма и разнообразных попыток передовых людей России (Петрашевского или Огарева) устроить крестьянскую жизнь на новых основаниях расценивается, например П. Шайбертом, автором клеветнической книжки «От Бакунина к Ленину» (1956), как подтверждение того, что и большевики «захлебнутся» в крестьянском море, что и они не сумеют переделать частнособственническую природу русского крестьянина, не смогут добиться упрочения социализма в деревне.

Идеологам современной реакции, некоторым представителям

реформистских рабочих партий хотелось бы убедить своих читателей и слушателей в том, что коммунисты не опираются на реальную жизнь, являются фантастами — явлением «верхушечным» и «интеллигентским», — столь же далекими от реального исторического народа, как и русские интеллигенты-социалисты прошлого века. В действительности же революционеров-социалистов, писателей и мыслителей XIX в. нельзя считать беспочвенными фантастами, оторванными от народа, его насущных нужд, от реального положения деревни и города в капитализирующейся России.

Известно, например, что коренной социально-экономический вопрос русской революции — вопрос о земле, крестьянский вопрос в целом — был в центре внимания русской литературы, общественной мысли, революционно-освободительного движения. Русские классики второй половины XIX в. открыли в аграрных отношениях России такие антагонистические противоречия и почувствовали такие формирующиеся возможности, которые вели с неизбежностью к созданию предпосылок для революционного взрыва.

Многие из писателей прошлого были убежденными противниками помещичьего землевладения, вообще крупной частной собственности на землю. Толстой провозгласил: земля должна принадлежать тем, кто на ней сам работает, т. е. крестьянству. Гневно обличал Толстой все виды финансово-экономического ограбления народа, ратовал за отмену податей, прямых и косвенных налогов, всякого рода поборов и повинностей. Великий художник требовал возвращения крестьянам уплаченных ими выкупных платежей и считал преступлением взыскивать с них недоимки («Голод или не голод»). Деньги в руках эксплуататоров служат, утверждал писатель, задачам угнетения и грабежа народа. Вместе с тем Толстой был и заступником крестьянина как личности, он гневно выступал против сословных ограничений крестьянства, которые ставили его вне жизни общества («Сон молодого царя», «Стыдно»).

Современные зарубежные «друзья» Толстого, ополчившиеся, как они говорят, на «ленинские директивы» в области изучения его наследия, стремятся представить писателя только непротивленцем, проповедником «всеобщей любви», «великой совестью», они пытаются оторвать его наследие от актуальных вопросов, поставленных прошлым и современностью, и противопоставить коммунизму.

И другие деятели литературы и общественной мысли России сумели проникнуть в сущность многих социально-экономических проблем, выдвинутых жизнью России после 1861 г. Общепризнанна в этом отношении заслуга Щедрина. Как и Толстого, его возмущало, что крестьянство несет *основное* и непосильное бремя разнообразных платежей. Великий сатирик-социолог вскрывал

грабительский характер бюджетной политики Российской империи («Пестрые письма», «Письма о провинции»). Как и Толстой, Щедрин открыто выступал за ликвидацию помещичьей собственности на землю, он энергично и убедительно доказывал право и способность крестьянских масс владеть землей.

Характернейшая особенность антибуржуазной позиции Толстого, Достоевского, Успенского, Чехова, даже Щедрина состояла в том, что они обличали капитализм главным образом с морально-эстетической и психологической точки зрения. Это порождало в их произведениях эмоционально-взволнованную лирику и публицистику, отражавших отвращение и негодование, ужас, растерянность и бессилие масс перед победным шествием «нового насильвателя» русского человека. Нетрудно установить, что морально-эстетическая и эмоционально-психологическая критика и характеристика капитализма связана не только с представлениями наивной демократии дореволюционной России, но и с утопическим социализмом, с просветительством, с учением русских революционных демократов о «человеческой природе».

Однако и некоторые представители критического реализма, выдающиеся публицисты прошлого не ограничивались только морально-эстетическими, нравоучительными сентенциями, чувствительными фразами и добрыми пожеланиями, когда они рисовали трагическую картину победного шествия «господина Купона». Реакционно-буржуазные социологи и литературоведы утверждают, что у русских классиков единственным оружием борьбы была мораль, что в системе их воззрений вопросы нравственные стояли над вопросами экономическими и социологическими, что они были скорее моралистами, чем мыслителями-исследователями. Подобные утверждения не соответствуют действительности. Наиболее прозорливые из русских писателей и мыслителей уже догадывались, что моральный суд над капитализмом не может изменить установленного им порядка жизни. Герцен широко пользовался средствами морального суда над действительностью. Капитализм он оценивал как «людоедство», а в пользу социализма выдвигал морально-психологические аргументы. Однако он сознавал, что одним морализированием нельзя ограничиться в критике существующего и в защите нового, что «социализм находится в тесной связи с национальной экономией».⁶ Чернышевский, преодолевая предрассудки утопического социализма, также считал, что апелляция к совести эксплуататоров не может дать каких-нибудь реально ощутимых результатов в борьбе за преобразование жизни.

Классики литературы, особенно Щедрин и Успенский, не только гневно осуждали капитализм, но и стремились проникнуть

⁶ А. И. Герцен, Собрание сочинений в 30 томах, т. V, Изд. АН СССР, М., 1955, стр. 428.

средствами художественно-публицистического исследования в социальную и экономическую «механику» купонного царства.

Изображение русскими реалистами социально-экономических отношений второй половины XIX в. имеет выдающееся теоретическое и революционизирующее значение. Но деятели демократической и социалистической духовной культуры прошлого поставили массу глубочайших вопросов и в области общественно-нравственной. Разрыв с нормами эксплуататорского общества обнаруживается у русских классиков не только в постановке социально-экономических проблем, но и в области общественно-этических идеалов. Зарубежных исследователей очень интересует индивидуалистическая концепция человека в русской литературе. Но они почему-то не замечают в ней совсем иных идейно-художественных концепций человеческой личности — именно таких, которые заставляли лучших людей России отрицать крепостническую и буржуазную действительность, искать новые основания для расцвета человеческой личности. Пробуждение «чувства личности» — осознание ею своих общественных прав, своего человеческого достоинства — в условиях пореформенной капитализирующейся России явилось существенным элементом прогрессивной «исторической работы» капитализма и того великого процесса, который у В. И. Ленина обозначается понятием «русская революция». Буржуазные авторы обычно утверждают, что Россия так и не пережила эпоху пробуждения личности и осталась на «стадном», или «роевом», периоде своего развития, что отсутствие в ней буржуазно-демократических порядков и господство самодержавно-бюрократического строя исключили всякую возможность развития личности. Да и самый социализм в Советской России означает не более как осуществление на практике того идеала «хоровой» жизни, который будто бы характерен для русских писателей и мыслителей прошлого. На этой основе пытаются создать легенду о существовании «западного» и «восточного» социализма, об их противоположности.

На самом же деле в пореформенный период в силу социально-экономических причин совершалось бурное развитие самосознания личности, которое имело, с точки зрения будущих революционных и социалистических судеб России, принципиально важное содержание. В него-то и проникли реалисты XIX в.

Выдающиеся русские писатели и мыслители развивали *антииндивидуалистическую* концепцию личности, они были озабочены тем, как соединить разрозненные и враждующие индивидуальности, частные интересы, как преодолеть трагическое одиночество человека, его заброшенность, растущую жестокость во взаимных отношениях, разобщенность стремлений людей, бесприютность всей их жизни. Поиски связующей основы, которая объединила бы людей в бескорыстный и добровольный товарищеский союз, сделала бы их братьями, членами одной семьи, основанной на до-

верчиво-откровенных отношениях ее членов, составляет пафос русской передовой литературы.

В разных направлениях шли поиски солидарности и коллективизма людей, но из них наиболее характерны два. В одном случае спасение от разъединения людей, от растущего эгоизма искали в нравственном самосовершенствовании личности, в «гуманизированной религии». Уже в дореформенную эпоху эта тенденция своеобразно воплотилась у Гоголя и определила целую линию идейно-нравственных исканий в русской литературе второй половины XIX века. В некоторых случаях эта религиозно-нравственная линия смыкалась с некоторыми сторонами учений классиков утопического социализма. Еще Фурье утверждал, что «бог и единство — слова однозначные, а единство или гармония — цель бога».⁷ К. Леонтьев не случайно назвал Толстого и Достоевского «нашими новыми христианами», намекая на Сен-Симона, на его последнее сочинение «Новое христианство», в котором наиболее сильно проявилось религиозное оформление социалистических идей. С другой стороны, спасение от разъединения индивидуальностей искали в социализме и революции, в общине и артели, в теории разумного эгоизма, в пробуждении солидарности и общественного самосознания трудящихся, в их начавшейся борьбе.

В области литературной и философско-эстетической в пореформенную эпоху также шел процесс подготовки почвы будущего, социалистического реализма. Именно в это время со всей остротой возникла проблема *художник и революция*. В пореформенную эпоху возникла величайшая задача соединения строго реалистического искусства с революционно-социалистической идейностью, с героическим, с романтикой революционной борьбы. В романе Чернышевского «Что делать?» наиболее ярко и глубоко проявилось новаторское стремление дать реалистическое изображение людей революции и социалистического идеала. Принципиальное значение имеет и другая сторона романа «Что делать?». Воспроизведение социалистического идеала сливается в нем с изображением процесса становления революционера.

До сих пор появляются моралисты и художники, политики и государственные деятели, которые считают, что только великие страдания могут породить все великое и прекрасное в человеческой жизни. Идея эта очень старая, затасканная и очень популярная в определенные исторические эпохи и в среде определенных классов... Но вот явился Чернышевский, идеолог крестьянской революции, величайший представитель утопического революционного социализма в России, а затем — Ленин, вождь пролетарской социалистической революции, и они убедительно пока-

⁷ И. Зильберфарб Социальная утопия Ш. Фурье. М., 1964, стр. 80.

зали, что счастье жизни на земле возможно и без искупительной жертвы.

Реакционная буржуазная наука и пропаганда открыто нападают на мировое литературное наследие, особенно на наследие русских писателей, говорят об устарелости его, о его несовместимости с образом жизни и типом мышления современного человека, с задачами и содержанием, с методами и жанрами современного искусства. В этих условиях и могла появиться нигилистическая фраза французского писателя Клода Мориака о том, что «Толстой сегодня — это музей».

Отношение к идейно-художественному наследию, трактовка его исторического значения и понимание его роли в современной жизни всегда были и остаются крайне острыми вопросами научной полемики, политической и идеологической борьбы. И это вполне понятно, так как творения выдающихся художников прошлого совершали — воспользуемся здесь словами Щедрина — «подготовление почвы будущего».⁸ Социалистическая революция 1917 г. заново открыла классиков и сделала их наследие достоянием масс. И не удивительно, а вполне закономерно, что по мере движения общества к коммунизму с возрастающей силой раскрывается глубинное содержание произведений прошлого, возрастает их идейно-воспитательное и художественное значение. Коммунистическое общество создает условия и предпосылки для проникновения в сокровенный смысл классического наследия, в заключенную в нем неисчерпаемую сокровищницу духа и мудрости жизни.

⁸ Н. Щедрин (М. Е. Салтыков), Полное собрание сочинений, Гослитиздат, Л., 1935, т. VII, стр. 454.

ПРОБЛЕМЫ ЛИТЕРАТУРНОГО ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЯ

1

С именем Николая Кирьяковича Пиксанова связана не одна отрасль нашего литературоведения. В одной он создал капитальные труды о классиках русской литературы — Грибоедове, Горьком; в другой — разработал прочные основы развития дисциплины (краеведение); в третьей — высказал ценные и плодотворные постулаты, полезные для будущего построения, например, такого раздела, как литературное источниковедение XIX в.

Целостной системы источниковедения в работах Н. К. Пиксанова нет, однако его отдельные формулировки, попутные высказывания и экскурсы в область изучения источников литературы способствовали нарастанию и распространению в сознании научной общественности источниковедческих представлений. А такая преемственность важна и сыграла большую роль в деле развития и формирования источниковедения как самостоятельной дисциплины.

Источниковедение находится в процессе становления. Его судьба была сложной. В период расцвета филологического метода источниковедение неизменно присутствовало в научных исследованиях, и легко наблюдать в ту пору смешение исследования с источниковедением, своего рода подмену исследования источниковедением. Тогда стирались границы соотносительности науки и источниковедения.

Во времена преобладания публицистического дидактизма источниковедение отходило на задний план, и это отрицательно сказалось на развитии общественных наук, в частности и на литературоведении.¹

Советскому литературоведению чуждо преклонение перед источником, мы осуждаем крохоборчество и эмпиризм. Современный исследователь глубоко

¹ Проблемы архивоведения и источниковедения. Изд. «Наука», Л., 1964, стр. 257. О необходимости изжить нигилистическое отношение к источнику говорит И. Смирнов в статье «Достоверные факты — основа исторического исследования» («Коммунист», 1962, № 3, стр. 76).

проникся мыслью, что анализ источника он должен вести в плане широкого историко-литературного понимания, раскрывая как идейно-художественную сущность, так и эстетическое своеобразие литературных фактов.

Н. К. Пиксанов в те годы, когда представители старой филологической школы считали, что дело литературоведа ограничивается только тем, чтобы обследовать историю памятников, проследить их литературную судьбу, решительно отстаивал подлинный историзм и полноту изучения литературных произведений, т. е. изучения как содержания, так и поэтической формы.

Во введении к своей монографии «Творческая история „Горе от ума“» (1928) он показал задачи изучения источников литературных произведений в связи с процессом развития самой литературы, в свете понимания всех сторон и особенностей как законченных, так и первоначальных редакций произведения, не игнорируя литературоведческих принципов анализа и специфики источниковедческих вопросов (палеографического и текстологического обследования рукописей).

За последние годы начался определенный поворот к источнику. Авторы монографий начинают свои исследования с обзора и критического рассмотрения источников по изучаемым вопросам. Словом, источниковедение приобрело все права гражданства в нашей науке, только не получило систематизированного осмысления своего объекта, своих принципов и проблем, накопленных в достаточно большом количестве.

Таким образом, очередная задача в области источниковедения — это конструирование, формирование самой дисциплины, определение ее предмета, путей и принципов изучения.

2

Общепризнано, что всякая дисциплина должна иметь определенный объект для своего изучения.

Литературное источниковедение ставит своей задачей изучение состава историко-литературных источников и определение значения каждого вида источника для литературной науки. Н. К. Пиксанов во введении ко второму изданию своего труда «Два века русской литературы» дал исчерпывающее определение круга источников русской литературы XIX в.: «Источники суть тексты литературных произведений, письма авторов, письма к ним и письма о них, документальные биографические материалы, потом — воспоминания современников. Их-то и надо изучать в первую голову. Пособиями являются научные исследования, биографические и литературные, а также критические статьи».² Итак, источники и пособия, их надо различать. Эта сум-

² Н. К. Пиксанов. Два века русской литературы, Изд. 2. М., 1924, стр. 20.

марная характеристика остается и в настоящее время правильной, хотя и допускает дополнительную дифференциацию.

Необходимо отметить, что группа «документальные биографические материалы» в системе проф. Н. К. Пиксанова выпадает из принятой им классификации. Автор, деля все источники на группы по жанровому принципу, нарушает этот принцип, вводя в свою систему как разновидность документально-биографические материалы, т. е. определяя источник не с жанровой стороны, а двояко и с иных сторон, во-первых, по внешне-описательным, археографическим признакам (документальность), а не историко-материальным или литературно-художественным, каким является жанр, и, во-вторых, — предметно-идеологическим (биографизм), также не жанровым.

Понятно, что в связи с развитием литературы состав источников, понимание их претерпели существенные изменения. Источники русской литературы XIX в. отличны от источников древнерусской литературы. Появление нового вида произведений или вхождение в научный обиход ранее неизвестных обогащают всегда представление об источниках и самое литературу, как было, например, в связи с открытием А. Н. Пыпиным в 60-е годы прошлого столетия памятников повествовательной литературы XVII в. На эту сторону дела есть указания историков литературы, например А. С. Архангельского в его работе «История литературы как наука» (Варшава, 1897, стр. 4), а также историков — Н. М. Черемисиной в работе «Библиографирование исторических источников» (Советская библиография, сб. 50, стр. 24).

Не оспаривая основной принцип членения источников, выдвинутый более сорока лет тому назад Н. К. Пиксановым, допустимо различать источники как по техническому способу их изготовления, так и по внутренней их сущности, по характеру содержания.

По внешнему виду историко-литературные источники бывают письменные (рукописные) и печатные. Грань между печатными и рукописными источниками довольно условна. Источник, долгие годы хранившийся в архиве, опубликован. Никакого качественного изменения, став печатным, он не претерпел. Но внешний вид его стал другим. Поэтому деление источников на печатные и рукописные на основании очень четких и явных признаков все же является условным.

Первоисточником Б. В. Томашевский называет «издание или автограф, смотря по случаю».³ Оговорка, содержащаяся в последних словах, не случайна: она отмечает реальную условность в источнике. А. С. Архангельский первоисточниками называл и

³ Б. В. Томашевский. А. С. Пушкин. Современные проблемы историко-литературного изучения. Л., 1925, стр. 27.

рукописные материалы, и первоначальные издания.⁴ Этим термином подчеркивается первичность, непосредственность источника как такового, в отличие от таких видов источников, как не первоначальные, а последующие издания.

Употребляя этот термин, автор хочет отметить степень достоверности и непреложности показаний источника, подчеркнуть его значимость или относительную ценность.

Термином «первоисточник» пользовался Б. М. Эйхенбаум,⁵ в недавнее время — Ю. Манн⁶ и раньше — А. Г. Фомин. Последний в группу источников зачислял только рукописные материалы. Он писал: «Весь обширный материал для литературоведческой работы разбивается на три части: 1) первоисточники, к которым относятся сами литературные произведения, письма, документы; 2) источники — их издания; 3) пособия, которые разбиваются на а) специальные и б) неспециальные.⁷

Как видим, классификация А. Г. Фомина, сформулированная десятью годами позднее работы Н. К. Пиксанова, не уточнила вопроса и не внесла нового.

П. Н. Берков в своей работе «Введение в технику литературоведческого исследования» присоединился к определению Н. К. Пиксанова, но дополнил его перечень такими видами: дневники и воспоминания авторов, дневники их современников, интервью, отчеты о беседе автора с журналистом, отчеты о выступлении писателя, кинофильмы.⁸ Однако к этому перечню следует прибавить еще и такие виды источников, как автобиографии, авторецензии, высказывания писателей о своем творчестве (писатели о литературном труде), критические статьи писателей (писатели о писателях), цензурные материалы (отзывы цензоров, цензурных учреждений и т. д.), личные библиотеки писателей, фотографии.

П. Н. Берков отстаивает надобность выделения первоисточников, мотивируя это так: «Как бы точно ни было печатное издание, оно не может заменить непосредственного рукописного текста или по крайней мере его фотографического или фототипического воспроизведения. Поэтому деление изучаемого материала на первоисточники и источники необходимо».⁹

⁴ А. С. Архангельский. Академическое издание сочинений А. С. Пушкина (отд. оттиск из журнала «Русский филологический вестник»). Варшава, 1900, стр. 11.

⁵ Б. Эйхенбаум. Основы текстологии. В кн.: Редактор и книга. Сб. статей. Вып. III, изд. «Искусство», М., 1962, стр. 42.

⁶ «Новый мир», 1965, № 3, стр. 250.

⁷ А. Г. Фомин. Путеводитель по библиографии, биобиблиографии, историографии, хронологии и энциклопедии литературы. ГИХЛ, Л., 1934, стр. 43.

⁸ П. Н. Берков. Введение в технику литературоведческого исследования. Учпедгиз, 1955, стр. 51.

⁹ Там же, стр. 52.

Он причисляет к первоисточникам как тексты произведений писателей, так и эпистолярные, биографические и мемуарные материалы, автобиографии, дневники, записные книжки, если они сохранились в рукописях (или гранках). Доступные только в печатной форме, те же материалы, по его мнению, являются просто источниками.

Совершенно правильно и суждение П. Н. Беркова о том, что понятие «первоисточник», «источник» и «пособие» условны и их в каждом конкретном случае приходится применять в зависимости от надобности. «Всякий раз придется специально определять, что в данном случае является источником и что пособием, — говорит П. Н. Берков. — Так при изучении, например, вопроса о критическом реализме статьи Белинского, Чернышевского и Добролюбова о русских писателях 40-х и 50-х годов XIX в. должны рассматриваться как источник или первоисточник, тогда как при изучении, например, Гоголя или истории русской повести они законно будут считаться пособиями».¹⁰

Соглашаясь с указанием проф. П. Н. Беркова на переходящее, двойное значение видов источников (источник в одном смысле, пособие в другом отношении), мы не можем принять обязательным постоянное отделение первоисточников от источников. По нашему мнению, основное членение правильно намечает проф. Н. К. Пиксанов — это источники и пособия.¹¹ Первоисточники могут быть, но не всегда. В том случае, когда в руках исследователя сосредоточены все виды источников, он имеет возможность выделить первоисточники, охарактеризовать их и по достоинству оценить. Разумеется, такое деление (первоисточники и просто источники) уточняет дело, вносит большую конкретность в исследовательский процесс. На практике же это членение редко проводится. Часто наблюдаем безразличие в терминологии и путаницу основных понятий и терминов. Не различают также оригинал и копии, редакции и варианты.

Тексты, самые художественные произведения, должны быть основным материалом в работе историка литературы. Однако на практике некоторые «неискушенные», начинающие ученые в целях ускорения и более быстрого познания вопроса стремятся узнать раньше не самого писателя по его произведениям, а мнение о нем критиков и исследователей. От этого ошибочного шага предостерегает проф. Н. К. Пиксанов.

Зная о распространенном среди начинающих исследователей предпочтении пособий (взгляды и суждения других исследователей). Н. К. Пиксанов обосновал важность источников. «Часто

¹⁰ Там же, стр. 54.

¹¹ Мы не коснулись взглядов по этому вопросу других исследователей, например акад. В. Н. Перетца, проф. С. Н. Валка, так как исчерпывающего историографического обзора не даем.

бывает, что неопытный работник прежде всего выискивает в собранной литературе статью авторитетного историка или критика и, запасшись от него готовыми взглядами, нанизывает на них факты. Часто предпочитают изучать критиков, а не поэтов, и происходит „заочное знакомство с писателем“. Такие приемы вредны для работы.

На первом месте должны стоять источники, а пособия только на втором. . . Их-то (т. е. источники, — Н. Б.) и надо изучать в первую голову.¹²

Область пособий, полезных для литературоведа, очень обширна. Материалы всех разделов литературоведения, как и истории философии, экономики, статистики, политической экономики, истории искусств, не говоря уже о трудах классиков марксизма-ленинизма, — все они могут стать источниками и пособиями в ходе изучения того или иного вопроса.

Трудно заранее предсказать, какие источники будут потребны исследователю литературы. В широком смысле слова источниками, равно важными для ученого, будут и «Фауст» Гете, и «Критика чистого разума» Канта, и «Эстетика» Гегеля, и трактат Юстуса Мозера «О кулачном праве».

Одни из них («Фауст») являются художественными интерпретациями тех же самых взглядов и воззрений, какие научно выражали Кант (философ) и Мозер (юрист).

Таков исторический закон: одни и те же мысли, чувства, потребности социальной жизни эпохи выливаются как в отвлеченные изложения, трактаты, так и в изумительные художественные бессмертные творения поэтов.

3

Всякий источник (книга или документ) может быть или средством в научной работе, т. е. служить материалом для научных построений, или предметом специального изучения. Но источник бывает и элементом беллетристики, т. е. входит в ткань художественного произведения, чаще всего — исторического романа. Таковы три аспекта источниковедческого анализа.

Источник входит в литературу через художественно-литературное произведение. Анализ ткани произведения — путь к определению источника и познанию его функции в произведении. Источник «прозывает», пока он покоится в архиве или существует на страницах печатных публикаций. Но он оживает и блистает всеми красками, когда писатель вплетает его в ткань своего произведения. В произведении источник приобретает другое качество — литературно-поэтическое и общественное. Разумеется, не

¹² Н. К. Пиксанов. Два века русской литературы, стр. 20.

всякий жанр воспринимает источник и не всякий писатель опирается на источник, ибо чаще всего писатель использует автобиографизм.

Однако история литературы знает немало примеров, когда писатель свое повествование строит на историко-литературных материалах. А. Тибодэ в своей «Истории французской литературы» говорит: «В отличие от большей части других романов „Жан Кристоф“ построен не на автобиографии, а на биографии, вернее на кусочках биографий немецких музыкантов, которые Р. Роллан соединил ловкой и удачной автогенной сваркой».¹³

Жанр исторического романа особенно дружен с источниками. Естественно, что исследователи творческой истории романов, например, Л. Толстого, проблеме использования писателем исторических источников, принципам работы над таким материалом неизбежно уделяют специальное внимание.¹⁴ Исследователи выясняют особенности приемов использования источников писателями, ибо эта сторона имеет существенное значение для определения поэтической сущности произведения и мастерства писателя,¹⁵ проявляющихся в претворении источника в литературно-эстетический факт.

Другое направление источниковедческого анализа сосредоточено на изучении источника как материала для исследования. Это — обширнейшая и многообразная область использования историко-литературных материалов в процессе изучения классической русской литературы во всем ее многообразии, начиная с элементов литературы и кончая закономерностями ее развития. Об этом аспекте нет надобности здесь говорить подробно.

Третий аспект предусматривает изучение источника как такового в смысле освещения его жанровых особенностей и историко-литературного значения. Здесь — непочатый край работы, сулящей много ценных и значительных открытий. Такие источники, как материалы к романам, замыслы писателей, письмо, мемуар, дневник, ждут исследователей. У нас редки еще опыты таких изучений, как работа акад. М. П. Алексеева «Письма И. С. Тургенева»,¹⁶ статьи о письмах Пушкина проф. Н. Л. Степанова¹⁷ и др. Н. К. Пиксанов, хотя и попутно, но уделил вни-

¹³ Цитируется по статье Г. В. Рубцовой «Источники образа Жана Кристофа в романе Р. Роллана» (в кн.: Вопросы творческой истории литературного произведения. Изд. ЛГУ, 1964, стр. 222).

¹⁴ Л. Мышковская. Работа Толстого над произведением. Изд. «Федерация», 1931 (глава «Источники повести и отношение Толстого к ним»), стр. 5—42.

¹⁵ Э. Е. Зайденшур. Принципы использования исторических материалов. В кн.: Л. Н. Толстой. Сб. статей. Горький, 1960, стр. 189—229.

¹⁶ И. С. Тургенев, Полное собрание сочинений и писем, Письма, т. I, Изд. АН СССР, М.—Л., 1961, стр. 15—143.

¹⁷ Н. Л. Степанов. Письма Пушкина как литературный жанр. В сб.: Поэты и прозаики, изд. «Художественная литература», М., 1966, стр. 91—100.

мание еще в 20-е годы значению мемуаров и писем как источников для построения науки. В предисловии ко второму изданию «Два века русской литературы» (1924) Н. К. Пиксанов, как опытный вожатый, предупреждал молодых ученых от «невольных искажений истины» в мемуарах и наставлял проверять показания мемуаристов «перекрестным допросом и сопоставлением» с другими документами. Ценны и замечания Н. К. Пиксанова о дружеском письме и значении его как исторического источника. Наиболее значительным и плодотворным фактом вторжения Н. К. Пиксанова в процесс строящейся в 20-е годы заново нашей науки была формулировка творческой истории крупных художественных произведений как назревшей задачи, выдвинутой им в 1924 г. в предисловии к книге «Два века русской литературы» (изд. 2-е).

Позднее, в 1928 г., он осуществил свою идею в богато аргументированной, широко известной монографии «Творческая история комедии „Горе от ума“».

Начинание Н. К. Пиксанова позднее стало широким путем изучений как в области классической, так и советской литературы. Свыше 3 тысяч опытов исследований творческих историй произведений русской литературы насчитывается в настоящее время, по регистрации самого Н. К. Пиксанова.

Налицо удача, и она тем ценнее, что почин не остался единичным, а приобрел широкий размах и тем самым оказал творческое воздействие на развитие нашей науки.

Есть и еще одна грань в деле анализа источников. Источник, прежде чем войти в научный обиход, должен быть подвергнут и обычно подвергается экспертизе в смысле установления его подлинности и достоверности. Ведь подлинность документа — ручательство за достоверность источника (хотя и не всегда). Чаще всего эту операцию прodelывает археограф или архивист, определяя документальную сторону источника. Нередко такую экспертизу вынужден бывает проводить и сам литературовед, встречаясь с фактами «подделок», литературных фальшивок.

Проблема достоверности источника, проблема сохранности писательских архивов в барских усадьбах освещалась также в работах нашего юбиляра, например в работе «Грибоедов и старое барство» (М., 1926, стр. 10).

Таковы аспекты источниковедческого анализа, представляющие собой этапы конкретно-исторического познания изучаемых литературных явлений. Овладение приемами анализа источников может служить хорошей школой, преддверием к подлинной научно-исследовательской работе, служению которой посвятил себя Н. К. Пиксанов.

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ИСТОРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ЛИТЕРАТУРЫ

В послевоенные годы советские литературоведы мало уделяли внимания сравнительному и особенно типологическому изучению литературных явлений. Тут, вероятно, сказались, с одной стороны, известная предубежденность по отношению к компаративистике, вызванная критикой работ А. Веселовского и его последователей, а с другой стороны — и это особенно ясно проявилось некоторое время тому назад — отрицательная реакция на всякого рода схемы, абстрактные теоретические построения, которые не помогают, а затрудняют понимание литературного процесса. Увлеченность конкретно-историческими исследованиями, пусть небольшими, даже крохотными по своей проблематике, но конкретными — такова одна из характерных черт недавних литературоведческих настроений. Сейчас положение меняется, возрастает интерес к различным сторонам сравнительного и типологического изучения литературы. Но многие предубеждения и неверные представления, касающиеся этой области науки, продолжают существовать.

Одна из важных проблем при широком освещении литературного процесса — это органическое сочетание социально-генетического и сравнительного изучения литературных явлений. Историческое развитие национальных литератур часто рассматривается как нечто замкнутое в себе, в сущности обособленное от других художественных культур. Очевидно, что такой подход может вести и нередко ведет к односторонним выводам, неоправданным умозаключениям. Их не устраняют и эмпирические наблюдения относительно межнациональных литературных связей. Опубликовано и продолжает публиковаться огромное количество работ, посвященных выяснению личных, творческих отношений между писателями, принадлежащими к различным национальным литературам. Необходимость и полезность этого типа исследований оспаривать никак нельзя. Однако свидетельства о личных и творческих контактах художников слова разных национальностей сами по себе лишь только в некоторой

степени характеризуют глубокие внутренние связи между литературами.

В последние годы появилось немало трудов, имеющих своей целью показать творческие взаимодействия тех или иных литератур, рассматриваемых в целом либо на протяжении длительного периода. Но и эти исследования зачастую представляют собой простой свод сведений о личных и творческих контактах отдельных писателей. И в этих работах отсутствует освещение того, как творческое взаимодействие становилось реальным фактором развития данной национальной литературы.

Таким образом, характеристика творческих связей нередко отделена от раскрытия исторического пути национальной литературы, его основных начал и тенденций. Два потока исследований идут, в сущности, параллельно, не соединяясь друг с другом. Очевидна необходимость их слияния. Ощущается настоятельная потребность не только в том, чтобы литературные связи вошли органической частью в процесс исторического развития данной литературы, но и в том, чтобы особенности этого процесса объясняли характер межнациональных творческих взаимодействий.

Естественно, что не всякие межнациональные литературные контакты оказывают реальное влияние на внутреннее движение той или иной литературы. Ее самобытному развитию содействует активное восприятие художественного опыта крупных писателей других национальностей, опыта, помогающего решать творческие проблемы, возникающие в ходе социальной, литературной жизни. Так, если говорить о русской литературе XIX в., большое значение имело действительное освоение творческих традиций Шекспира, Вальтер-Скотта, Гете, Шиллера, Байрона, Стендаля, Гюго и многих других писателей. Широкий процесс освоения художественного опыта других национальностей можно наблюдать в любой национальной литературе.

Однако раскрытие литературных связей в полной мере еще не снимает ту обособленность в освещении национальных литературных явлений, о которой идет речь. Остается неясным, какое место данная национальная литература занимает в ряду других современных ей литератур.

Проблема эта непосредственно связана с вопросом о своеобразии той или иной национальной литературы. Тема специфики национальных литератур привлекает к себе сейчас пристальное внимание. Она составляет содержание многочисленных статей, книг, дискуссий. Но здесь наблюдается большой разрыв между общими суждениями о необходимости постоянно учитывать национальное своеобразие литератур и реальным раскрытием этого своеобразия. Суждения общего характера многочисленны и обстоятельно аргументированы, в то время как конкретные наблюдения очень редки и, как правило, отличаются расплывчатостью, неопределенностью.

Это, на наш взгляд, не случайно и является результатом обособленного рассмотрения национальных литератур. Защитники национальной специфики часто упускают из виду то, что своеобразие любой литературы, так же как и своеобразие отдельного писателя, можно глубоко и убедительно охарактеризовать, лишь сопоставляя их с другими близкими или более отдаленными литературными явлениями. Национальная специфика литературы трудно поддается определению не потому, что это нечто неясное, аморфное, а вследствие того, что ее пытаются установить чисто умозрительным способом, игнорируя пути сравнительного изучения процессов литературного развития.

Интересной и поучительной представляется попытка Б. И. Бурсова раскрыть специфику русской литературы, ее характерные черты. В книге «Национальное своеобразие русской литературы» Б. И. Бурсов довольно часто сопоставляет те или иные особенности творчества выдающихся русских писателей с особенностями и свойствами литературных произведений западноевропейских художников слова. И там, где сопоставления не перерастают в решительное противопоставление, автор делает меткие наблюдения, дает очень ценные, плодотворные обобщения. Однако так происходит далеко не всегда. Нередко Б. И. Бурсов, к сожалению, заменяет анализ, обобщение реальных литературных фактов созданием мало обоснованных или даже совсем необоснованных схем. И это относится как раз к его итоговым выводам, касающимся своеобразия русской литературы.

«В России, — пишет Б. И. Бурсов, — литература всегда была в союзе с революцией». Положение это сразу же вызывает желание возразить автору. Неужели *всегда* и притом *в союзе*? Но тут же — через абзац — автор вносит некоторые уточнения в эту весьма обязывающую формулу: «Русская литература сделалась спутницей революции, но спутницей своеобразной. Некоторые великие русские писатели, доказывая своим творчеством неизбежность революции в России, субъективно, в иных случаях преимущественно как публицисты, ополчались против революционных методов борьбы».¹ Однако и в этой редакции суждения Б. И. Бурсова, касающиеся русской литературы XIX в., нельзя признать справедливыми. Литература этого времени не могла быть спутницей революции хотя бы уже потому, что, кроме восстания декабристов, в России в течение всего девятнадцатого столетия, как известно, не было революционных потрясений. Созревали предпосылки для революции, в 1859—1861 гг. и в 1879—1880 гг. складывались революционные ситуации, постепенно ширилось и крепло освободительное движение в его различных формах, но назвать

¹ Б. И. Бурсов. Национальное своеобразие русской литературы. Изд. 2-е. Изд. «Советский писатель», 1967, стр. 166. В дальнейшем страницы этого издания указаны в тексте.

все это революцией — значит заменять точные определения метафорами.

Однако дело не только в этом. При самом расширительном толковании понятия «спутники революции» вряд ли можно отнести к их числу таких писателей, как Жуковский, Кольцов, Гончаров, Тютчев, Фет, Тургенев, Лесков, Достоевский, Чехов. «Революционизирование» этих художников слова не только ничего не прибавит к их творческому наследию, но может оказаться поводом для того, чтобы игнорировать те реальные эстетические ценности, которые заключены в их художественных произведениях. Выясняя своеобразие русской литературы, нельзя упускать из виду сложность и противоречивость отражения в ней исторической действительности, различия социально-эстетических позиций крупных писателей. Национальную специфику литературы невозможно раскрыть, упрощая литературный процесс.

Односторонний взгляд на русскую литературу ясно сказывается и тогда, когда Б. И. Бурсов характеризует ее основные проблемы, ее главных героев. Сравнивая русскую литературу с французской, он пишет: «Бальзак и Стендаль сосредоточены на трагедии личности. Русские писатели от Пушкина до Толстого — на трагедии народа. Русский реализм по этой причине более погружен в поток истории» (188). Но и с этим невозможно согласиться. Разве русская литература наряду с раскрытием трагедии народа не уделяла большого внимания драме личности?

«Евгений Онегин», «Герой нашего времени», «Кто виноват?», «Рудин». «Дворянское гнездо», «Обыкновенная история», «Обломов», «Гроза», «Преступление и наказание», «Три сестры», «Чайка» — при всей обширности их социального содержания это ведь произведения не о судьбах народа, а о судьбах личности. Сюда же можно присоединить и целый ряд других произведений, основной конфликт которых заключается в раскрытии противоречий личности и общества. Изображение судеб личности, как это совершенно очевидно, само по себе вовсе не обозначает ухода от коренных общественных проблем или их принижения: все зависит от художника, от того, как он освещает эти судьбы. В названных произведениях они предстают весьма различными, но постоянно в тесной связи с процессами общественной жизни, что, однако, не позволяет смешивать их с судьбами, трагедией народа.

Недостаточно опирается на конкретный литературный материал Б. И. Бурсов и в своих высказываниях об особенностях изображения человека в русской литературе. «Главный герой русской литературы — не только реалистической, но и романтической, — пишет он, — или непричастен к занятиям, которые порочат человека, или же отмежевывается от них, ищет достойную человеческого назначения форму практической деятельности» (167). С этой точки зрения следует признать не имеющими никакого отношения к основным героям русской литературы действующих лиц «Ревизи-

зора» и «Мертвых душ» Гоголя, «Современников» Некрасова, «Истории одного города», «Господ Головлевых», «Пошехонской старины» и «Современной идиллии» Щедрина, «Записок из Мертвого дома», «Подростка», «Братьев Карамазовых» Достоевского и многих других произведений. Выходит, что сатира и обличение, гневный протест против социального зла и несправедливости, столь широко и ярко выраженные в русской литературе, не касаются ее сущности, ее специфики? Но вряд ли есть особая необходимость доказывать то, что, вынося за скобки эти особенности русской литературы, нельзя понять ее своеобразия.

Еще не так давно критический реализм вообще, и в русской литературе в частности, характеризовался в том смысле, что он исключает создание положительных героев. Сейчас же критический реализм нередко оценивается так, что критическое начало в нем почти совершенно исчезает и среди его героев центральное место занимает не просто положительный, а идеальный герой. Очевидно, что неверно как то, так и другое. И затем, признание большого значения положительных характеров, изображенных в русской литературе, не обязательно должно сопровождаться их интерпретацией в духе иконописи.

Слабым местом в попытке Б. И. Бурсова охарактеризовать специфику русской литературы, на наш взгляд, является также стремление видеть ее своеобразие главным образом в превосходстве над другими европейскими литературами. Но своеобразие не равнозначно превосходству, которое притом нередко предстает как нечто спорное. В этом плане примечательны, например, мысли Б. И. Бурсова о соотношении романтизма и реализма в западноевропейской литературе. «На Западе, — пишет он, — в XIX в. усилия романтизма и реализма развелись. И рядом с Бальзаком, величайшим реалистом, мы видим Гюго, который был не менее популярен во Франции, да и во всей Европе. В западноевропейском реализме по понятным причинам сила анализа значительно ослабила силу непосредственного протеста против социальных несправедливостей. Романтизм взял на себя эту последнюю обязанность, но зато у романтиков снизилась аналитичность, свойственная искусству нового времени. В России иначе сложились отношения между реализмом и романтизмом» (256). Они заключались в том, что русский реализм не только воспринял достижения романтизма, но и создал почву для появления романтизма нового, высшего типа.

Б. И. Бурсов отмечает: «Такой реализм, как пушкинский, не мог отказаться от завоеваний романтизма с его верой в творческое начало, в возвышенность и благородство человека; в то же время этот реализм не препятствовал тому, чтобы снова возник романтизм, но такой, который воспользовался бы достижениями реалистического анализа и внешней действительности и внутреннего мира человека» (256). Такого рода взаимосвязи романтизма

и реализма кажутся Б. И. Бурсову значительным преимуществом русской литературы перед литературами западноевропейскими. Но вся суть вопроса состоит в том, что концепция, развиваемая Б. И. Бурсовым, во многом не соответствует реальным историческим фактам.

Достижения романтизма были достаточно широко восприняты и западноевропейскими реалистами, такими, например, как Диккенс, Флобер, Мопассан, позже Ромен Роллан, Анатоль Франс. Вера в человека, его творческие начала, возвышенность и благородство свойственны, конечно, не только романтикам, но и многим реалистам. Толстой, например, был непримиримым противником романтизма, но в его творчестве, может быть, особенно сильно проявлялась убежденность в высоком призвании человека, вера в его духовные возможности. Эта особенность творчества присуща и крупным западноевропейским художникам слова. Диккенс, Ромен Роллан — яркие тому примеры. Утверждение, что русский реализм сохранил высокие гуманистические начала, а западноевропейский их утратил, поддавшись скептицизму, в общем плане не может быть обосновано. Точно так же не имеют реальной опоры и суждения о том, что русский реализм подготовил возникновение нового романтизма. Что здесь имеется в виду — остается неизвестным.

Недочеты книги Б. И. Бурсова проистекают в немалой степени из того, что сравнительный анализ проведен в ней недостаточно широко и последовательно. Опыт подсказывает необходимость исследований, которые характеризовали бы ту или иную национальную литературу в кругу других литератур. Важно, чтобы исследования эти раскрывали своеобразие данной литературы, не умаляя значения иных литератур, не принижая их. При этом существенно учитывать и то, что специфика национальной литературы — это не только особенности ее исторического пути, но и те идейные, художественные ценности, которые созданы писателями на разных этапах ее развития.

Сравнительное изучение литературы близко соприкасается с типологическим ее исследованием. Сущность типологического подхода заключается, как известно, в выяснении общих начал и тенденций, проявляющихся как в развитии отдельных национальных литератур или в определенной их совокупности, так и в мировом литературном процессе. Разумеется, типологическое изучение литературы основывается на конкретно-историческом подходе к литературным явлениям; в свою очередь конкретно-историческое их освещение приобретает весомость и убедительность при использовании типологических обобщений.

Эта необходимая связь конкретно-исторических и типологических исследований нередко оспаривается, и оспаривается с различных позиций. Некоторые ученые весьма скептически относятся к литературной типологии вообще, рассматривая ее как некое абстрактное мудрствование, лишенное какого-либо реального смысла.

Литературные явления, заявляют эти ученые, по самой своей сути индивидуальны; они возникают в конкретной исторической обстановке и обладают конкретными социально-эстетическими свойствами; типологические обобщения стирают индивидуальное, конкретное, подменяя его чем-то маловразумительным.

Но эти противники литературной типологии забывают о том, что в своих конкретно-исторических исследованиях они на каждом шагу пользуются типологическими категориями. Употребляя такие, например, понятия, как «литература», «поэзия», «проза», «реализм», «роман», «поэма», «стиль» и многие другие, аналогичные им, исследователи оперируют литературно-типологическими обобщениями. Конкретное, индивидуальное не отделено от общего, равно как и общее не существует помимо конкретного. И в литературе находят свое выражение не только индивидуальные, но также и общие начала и закономерности.

Некоторые буржуазные исследователи сводят эти начала к так называемым топосам — повторениям тем, сюжетов, типов в произведениях самых различных писателей. Так, например, американский ученый Н. Фрай пишет: «Вся история литературы дает нам возможность рассматривать ее как вариации относительно ограниченной и простой группы формул, которые могут быть изучены уже в примитивной культуре... Повторение этих примитивных формул мы находим у величайших классиков, и само обращение к ним классиков может быть прослежено как общая тенденция».² При таком подходе к литературе, разумеется, нет никакой необходимости в конкретно-историческом ее изучении. Однако сам этот подход ложен в своей основе. Отрицая роль творческой личности художника, он до крайности примитивизирует литературный процесс. Всякое развитие, в сущности, отвергается; если и есть движение, то по замкнутому кругу. Художественное творчество становится похожим на незатейливую игру, вроде, например, составления картинок из небольшого набора кубиков. Типологические обобщения, основанные на конкретно-историческом исследовании литературы, принципиально отличны от топосов, ибо они в полной мере учитывают ее развитие, богатство и разнообразие ее исторических, национальных и иных проявлений.

В последние годы литературоведы, так же как и представители других гуманитарных дисциплин, очень часто говорят и пишут о раскрытии закономерностей литературного, исторического процесса. И в то же самое время одним из существенных недостатков многих литературоведческих работ продолжают оставаться описательность, плоский эмпиризм. Преодоление этих недостатков, думается, в немалой степени связано с усилением типологических исследований.

² N. Frye. *Anatomy of Criticism*. Princeton. New Jersey, 1957, p. 17.

Для советского литературоведения как явления многонационального особый интерес, естественно, представляют типологические обобщения, касающиеся путей развития национальных литератур и, конечно, не только литератур народов нашей страны, но и многих литератур Запада и Востока в различные периоды их исторического бытия. Большое значение имеют исследования по типологии литературных направлений, жанров, стилей.

Типологические сопоставления могут быть разными по своему объему. Наряду с решением крупных исследовательских задач целесообразно осуществлять и более частные наблюдения как подступ к освещению фундаментальных проблем. Но все исследования этого рода, так же как и работы социально-генетического и сравнительно-исторического характера, призваны содействовать росту литературоведения как науки, открывающей законы развития литературы.

ФОЛЬКЛОРИСТИКА В РЯДУ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК

Процесс дифференциации и образования новых специальных отраслей знания все больше захватывает не только естественные, но и общественные науки. Современная классификация наук, будучи изображенной схематически, предстала бы в виде весьма разветвленного древа познания, со все разрастающейся «кроной», дающей своеобразные «гибридные» побеги. Подчас определение места той или иной новой науки оказывается затруднительным, поскольку она не укладывается в рамки привычных представлений о системе наук или о ее собственном предмете.

Фольклористика — одна из сравнительно молодых и одна из наиболее динамических наук, чьи границы всегда оказывались весьма подвижными, что приводило зачастую к «поглощению» ее другими науками. Вместе с тем вся история фольклористики ознаменована усилиями ее выдающихся деятелей осознать специфику этой науки и соотношение ее со смежными науками.

Можно выделить четыре области знания, между которыми постоянно существовало определенное взаимодействие, — историю культуры, этнографию, социологию и историю искусств (в том числе историю литературы). Именно в поле взаимодействия этих наук возникла и формировалась фольклористика, оказываясь в разные периоды своей истории связанной то более, то менее с какой-нибудь из этих наук, постепенно выделяясь в качестве специальной научной отрасли. Процесс образования фольклористики как самостоятельной науки еще не может считаться завершенным, поэтому представляется актуальным обсуждение вопроса о ее предмете и о месте ее в ряду других общественных наук.

В Советском Союзе до последнего времени господствующим оставалось представление о фольклористике как о филологической науке, изучающей устное словесное искусство, в отличие от литературоведения, предметом которого является история художественной литературы. О том, насколько сильной оказывается эта тенденция, можно судить по тому, что такое определение встречается даже на страни-

цах академического этнографического журнала: «Предмет советской фольклористики — поэтическое творчество трудящихся масс как исторически сложившаяся и развивающаяся область искусства».¹ Как известно, в советской науке такой взгляд был утверждён в 1930-е годы Ю. М. Соколовым, М. К. Азадовским и Н. П. Андреевым. Замечу, что высказываемое иногда мнение, будто филологическое изучение фольклора является своего рода национальной традицией русской науки и «своеобразием» советской фольклористики, совершенно несостоятельно. Напомню, что ещё в начале нашего века представление о фольклористике как о филологической науке отставали, например, немецкие ученые А. Зауер, И. Надлер, Р. Печ, Й. Мейер и особенно представители так называемой «финской школы» в фольклористике. Убеденными сторонниками филологического, историко-литературного изучения фольклора являются многие современные американские специалисты — М. Херсковиц, Ч. Бэском, Дж. Фостер, К. Рурк, В. Блэр, Р. Франц и др.² Среди ученых восточноевропейских социалистических стран продолжительное время настаивал на определении фольклористики как отрасли литературоведения старейший польский филолог Ю. Кжижановский.³ Подобные примеры можно было бы значительно умножить.

Чем объяснить столь широкое распространение восприятия фольклористики как филологической науки? Не говоря уже о том, что основанием для этого служил и служит действительно большой удельный вес словесных элементов в комплексе фольклорных произведений, основной причиной акцентирования связей фольклористики с литературоведением было стремление ряда ученых «освободить» фольклористику от связывавшего ее союза с этнографией. На опасность растворения фольклористики в этнографии обращали внимание даже сами представители традиционного изучения фольклора, например Э. Лэнг в Англии. Таким образом, филологическое изучение фольклора явилось своего рода реакцией на неопределенность границ фольклористики в сфере этнографии. Для своего времени это оказалось прогрессивной тенденцией, поскольку она способствовала осознанию фольклористикой своих отличий от этнографии и подходу к фольклору как к эстетически значимому явлению. Такой прогрессивный смысл

¹ Б. Н. Путилов и В. К. Соколова. Основные проблемы советской фольклористики. «Советская этнография», 1964, № 4, стр. 22 (рядка моя, — В. Г.).

² См. статьи названных ученых в первом томе «Общего словаря фольклора, мифологии и легенд» (Standard Dictionary of Folklore, Mythology and Legend, New-York, 1949, v. 1, pp. 398/I—403/II), а также обзор Р. Дорсона (Richard M. Dorson. A Theory for American Folklore. «Journal of American Folklore», 1959, v. 72, № 285).

³ Юлиан Кжижановский. Фольклористика в литературоведении. «Журнал Польской Академии наук», т. IV, вып. 3 (15), Варшава, 1959, стр. 33—45 (на русск. яз.).

содержала особенно позиция названных советских ученых 1930-х годов, если учесть, что она была направлена против характерной для буржуазной этнографии тенденции ограничиваться изучением «пережитков» в культуре. Разрыв с традициями буржуазной этнографии и переключение внимания на изучение связей фольклора с литературой открывали перед фольклористикой новые перспективы для обращения к современности, к истории прогрессивной общественной мысли. Однако односторонне понятый призыв к сближению фольклористики с литературоведением привел к одностороннему представлению о фольклоре как только словесном искусстве и создал опасность превращения фольклористики в своего рода прикладную дисциплину литературоведения. Сыграв исторически прогрессивную роль, сближение фольклористики с литературоведением в настоящее время превратилось в фактор, тормозящий развитие фольклористики как самостоятельной науки. Отдав должное заслугам литературоведов, способствовавших обособлению фольклористики от этнографии, современные фольклористы имеют все основания стремиться и к обособлению от литературоведения.

В истории науки наряду с тенденциями поглощения фольклористики этнографией, с одной стороны, и литературоведением — с другой, всегда более или менее определенно проступала и иная тенденция — поиски предмета фольклористики вне альтернативы: либо в границах этнографии, либо в границах литературоведения. Можно выделить два основных направления, по которым развивалась эта тенденция, — социологическое и искусствоведческое. Одни ученые видели специфику фольклористики в том, что она изучает культуру народных масс в «цивилизованном» (классовом) обществе, в отличие от этнографии, которую культура интересует как определенный этнический, национальный комплекс; в представлении сторонников этой тенденции фольклористика является наукой о «народных традициях», наукой о народной культуре и в сущности — наукой о самом народе (А. Ван-Геннеп, П. Сентив, А. Вараньяк во Франции; Р. Корзо, Дж. Коккьяра, П. Тоски в Италии; А. Мариню и вся школа «неофольклоризма» в Бельгии; мексиканский фольклорист М. Нуньес, аргентинский — А. Повинья и др.). Одним из ранних и характерных проявлений этой тенденции была забытая статья черногорца П. Маича, который определил фольклор как «науку о народе» и доказывал, что она не совпадает ни с историей культуры, ни с филологией.⁴ Недостатком указанных социологических определений фольклористики как «народоведения», «народознания» и т. п. является весьма расширительное представление о ее предмете. Не случайно

⁴ Петар Маич. Задача науке о народе (фольклора). «Глас црногорца», Цетинье, 1903, бр. 38, 6 сентября, стр. 4—6. Статья указана нам д-ром Н.-С. Мартиновичем.

поэтому некоторые представители этого направления рассматривают фольклористику как своего рода прикладную дисциплину социологии.⁵

Искусствоведческий аспект определения фольклористики как науки о народном искусстве обнаружился со всей определенностью в последние десятилетия, особенно в социалистических странах Европы. Иногда в таких случаях фольклористика воспринимается как наука о всех видах народного искусства, т. е. включая и прикладное искусство, связанное с материальной культурой, но преобладает все же ограничение предмета фольклористики «духовной художественной культурой», по определению, какое ему дает Ю. Кжижановский в «Словаре польского фольклора» (симптоматично, что это определение принадлежит ученому, долгое время, как отмечалось, ограничивавшему предмет фольклористики фактами «народной литературы!»).⁶

Следует заметить, что сам по себе искусствоведческий аспект не является достаточным для определения предмета фольклористики (как это в ряде случаев и имеет место, когда некоторые исследователи скептически относятся к понятию «народное искусство»). Лишь сочетание социологического и искусствоведческого аспектов позволяет точно установить предмет и задачи фольклористики как науки о коллективном художественном творчестве народных масс, как науки о массовой художественной самодеятельности трудящихся (в прямом смысле этого слова), как науки об истории художественной культуры народа. В таком понимании фольклористика — подлинно общественная наука, поскольку она изучает одну из форм творческой деятельности трудящихся классов, а именно художественную форму коллективного творчества масс, и потому она является прежде всего наукой искусствоведческой. Однако в известном смысле фольклористика является историко-культурной, комплексной наукой, поскольку изучение художественного творчества народных масс в его реальных, конкретно-исторических формах невозможно без обращения к истории народных нравов, обычаев, обрядов, к истории мировоззрения народных масс.

Фольклористика — наука автономная, но не изолированная от других, смежных наук. Характерно, что Ю. М. Соколов, до того как провозгласил фольклористику частью литературоведения, правильно отмечал «пограничный» ее характер, определял ее как «сегмент этнографии» и вместе с тем как «область литературоведения»; в другом месте он доказывал, что «фольклористику нельзя оторвать от литературоведения, но все же нельзя оторвать и от

⁵ См., например: Vicente T. Mendoza. El folklore como ciencia auxiliar. Primer Congreso de Sociología. Mexico, 1950.

⁶ Słownik folkloru polskiego. Warszawa, 1965, str. 104—106.

этнографии».⁷ Слабость этих формулировок, правда, заключалась в том, что в данном случае фольклористика рассматривалась как часть других наук (пусть даже как часть одновременно двух наук). Е. Г. Кагаров, по-иному выражая сходную мысль, писал, что «филология и социология — вот те две основные оси, вокруг которых неизменно должны будут вращаться фольклористические изучения».⁸

В действительности таких «осей» у фольклористики больше — к социологии и филологии следовало бы прибавить и этнографию, и историю культуры, а также музыковедение, хореографию, театроведение, общественную психологию (без которой невозможно понять природу коллективного творчества). Но как бы много ни было этих «осей», не они сами по себе составляют «механику» фольклористических исследований. Фольклористика не может рассматриваться ни как сумма этих наук, ни как часть одной из них. Все это — смежные для нее науки, с которыми она тесно соприкасается, материалами и методикой которых пользуется в необходимых случаях. Заостряя проблему, можно сказать, что фольклористика станет подлинно самостоятельной наукой при условии, если научится смотреть на эти науки как на вспомогательные для себя. Соотношение фольклористики и других наук по существу определяется их разным отношением к фольклору. Он может быть одним из источников исторического, этнографического, литературоведческого, музыковедческого, театроведческого, историко-культурного, историко-религиозного, социально-психологического и т. п. исследования; при этом фольклор выступает лишь как один из элементов, составляющих предмет изучения каждой из этих наук. Но сам по себе, как предмет специального изучения, во всей своей полноте и специфике он исследуется только фольклористикой. Поэтому каждая из смежных наук вправе рассматривать фольклористику как вспомогательную дисциплину лишь в пределах тех специальных — этнографических, литературоведческих, музыковедческих и т. п. — проблем, для решения которых фольклор привлекается как дополнительный источник. Но и фольклористика вправе рассматривать каждую из этих наук как вспомогательную по отношению к себе, поскольку она изучает фольклор не изолированно от быта, от истории культуры, от истории литературы, музыки и т. д. и поскольку сам фольклор предстает как комплексное явление художественной культуры.

Возможно и правомерно литературоведческое изучение фольклора, который является истоком литературы и который тесно и постоянно взаимодействует с литературой на протяжении всей

⁷ Ю. Соколов. Очередные задачи изучения русского фольклора. В кн.: Художественный фольклор, т. I. М.—Л., 1926, стр. 7, 23.

⁸ Е. Г. Кагаров. Что такое фольклор? В кн.: Художественный фольклор, тт. IV—V. М.—Л., 1929, стр. 6, 8.

ее истории. Но естественно, что литературоведа фольклор интересует не как сложное полиэлементное образование, а теми своими элементами, которые связывают его с литературой. Поэтому невозможно ограничиться только филологическим изучением фольклора, а тем более подменять собственно фольклористическое его изучение филологическим, когда фольклор рассматривается лишь как искусство слова. Сама проблема взаимосвязей литературы и фольклора решается литературоведением и фольклористикой существенно по-разному: первое фольклор интересует как «строительный материал» литературы, как фактор, воздействующий на творчество того или иного писателя, на то или иное литературное направление, как объект разного восприятия различными творческими методами; фольклористику, напротив, интересует обратное воздействие литературы на художественное творчество народных масс, переработка литературных по происхождению элементов. Литературоведение рассматривает взаимодействие литературы и фольклора сквозь призму историко-литературного процесса; фольклористика рассматривает ту же проблему под углом зрения истории самого фольклора и истории отдельных фольклорных жанров. Каждый из этих аспектов по-своему интересен, но фольклористика явно проигрывает, когда фольклористы, забывая о специфике своей науки, подходят к фольклору как литературоведы.

Все сказанное о литературоведении и фольклористике в равной мере относится и ко всем остальным наукам, с которыми соприкасается фольклористика.

В отличие от разных наук, которые рассматривают фольклор с какой-либо одной стороны или исследуют какой-либо один элемент фольклора (словесный — литературоведение, музыкальный — музыковедение, игровой — театроведение, обрядовый — этнография и т. п.), фольклористика должна изучать фольклор как сложное и целостное явление, как определенную идеологическую и эстетическую структуру, в которой все элементы вступают во взаимодействие и где каждый элемент приобретает качественно иное назначение, нежели то, какое он выполняет, будучи основой разных видов культуры, получивших самостоятельное развитие в форме литературы, композиторской музыки, профессионального театра, хореографического искусства и т. п. Разумеется, это не означает, что каждый фольклорист обязан быть универсально подготовленным специалистом (подобно тому как и каждый отдельный литературовед отнюдь не обязан решать все литературоведческие проблемы и владеть методикой всех типов литературоведческого исследования). Речь идет не о субъективных возможностях того или иного ученого, которые всегда более или менее ограничены, а о задачах и возможностях всей науки. Важно лишь, чтобы специальное исследование в области фольклористики исходило из ясно осознанных принципов комплексного изучения фольклора

как целого, чтобы каждый фольклорист, решая ту или иную конкретную задачу, имел в виду «сверхзадачу» (удачный театроведческий термин, введенный К. С. Станиславским), стоящую перед той специальной наукой, которой он служит. Тем самым открываются реальные возможности и для подлинно синтетических исследований фольклора, появление которых — лишь вопрос времени. А будут ли такие исследования носить коллективный характер или будут выполняться отдельными учеными, это зависит уже от системы подготовки специалистов и от научно-организационных мер в области фольклористики. Но обсуждение этих вопросов уже выходит за пределы настоящей статьи.

Мы рассмотрели проблему далеко не в полном ее объеме, ограничившись соотношением фольклористики с ближайшими к ней науками, с которыми она зачастую вольно или невольно отождествляется. Однако, будучи наукой общественной, фольклористика может успешно развиваться и утверждать свою специфику, не только творчески используя опыт названных наук, но и обращаясь к данным науки об истории общества и к истории общественной мысли, наконец — к истории религии и истории философии, поскольку это необходимо для правильного понимания отражения фольклором исторической действительности и опыта освободительной борьбы народных масс, для понимания эстетического своеобразия выражения мировоззрения трудящихся в произведениях фольклора.

Таким образом, подобно любой другой общественной науке, фольклористика вступает в многосторонние связи с другими науками, не теряя из виду специфики своего предмета. Как любая другая общественная наука, фольклористика разрабатывает свою собственную методiku исследования, опираясь при этом (коль скоро речь идет о советской фольклористике) на единую для всех этих наук методологию марксизма-ленинизма.

СОЛОВЕЦКИЙ СБОРНИК В ИСТОРИЧЕСКИХ
И ЛИТЕРАТУРНЫХ СОЧИНЕНИЯХ
М. В. ЛОМОНОСОВА

В речи, произнесенной в 1940 г. на юбилейных заседаниях в Академии наук СССР и в Ленинградском университете, «Ломоносов и северно-русская культура»¹ Н. К. Пиксанов поставил вопрос о значении для всей последующей деятельности Ломоносова русской культуры, сложившейся на его родине. Подготовка, полученная на родном севере, определила «дальнейшие и быстрые успехи Ломоносова в овладении высокой общеевропейской культурой» — к такому выводу пришел Н. К. Пиксанов, рассмотрев историческую обстановку, сложившуюся в Поморье к началу XVIII в.

В последние годы этим вопросом много и плодотворно занимался А. А. Морозов.² Но новых материалов, которые бы раскрывали эту тему и позволили бы более конкретно представить, каким кругом знаний обладал молодой Ломоносов к тому времени, когда он покинул родной север и ушел в Москву, найти не удавалось.

Общеизвестно, что Ломоносов в самых различных жанрах отразил образ Петра I. В процессе работы над петровской темой он составил ряд подготовительных материалов и исторических «записок». И когда в 1757 г. Вольтер получил официальный «заказ» русского двора на написание «Истории России при Петре Великом», к Ломоносову обратился И. И. Шувалов с просьбой снабдить французского историка материалами по петровской теме.

Из переписки Ломоносова с И. И. Шуваловым известно, что у Ломоносова уже имелось «Описание самозванцев и стрелецких бунтов», «Сокращение о житии ... Михаила, Алексея и Феодора», «Сокра-

¹ Доклад Н. К. Пиксанова в несколько сокращенном виде опубликован. См.: Н. К. Пиксанов. Ломоносов и северно-русская культура. «Наука и жизнь», М., 1945, № 11—12, стр. 23—26.

² А. А. Морозов. Юность Ломоносова. Архангельск, 1953. Итоговая работа нашла выражение в монографии А. А. Морозова: М. В. Ломоносов. Путь к зрелости. 1711—1741. М.—Л., 1962, стр. 5—99.

ценное описание дел государевых», «О состоянии России во время царствования государя царя Михаила Федоровича».³ Из перечисленных Ломоносовым «сокращений», подготовленных для пересылки Вольтеру, в библиотеке последнего в разделе «Manuscrite relatifs à l'histoire de Russie» сохранился «Memoire sur la première revolte des strelitz en 1682».⁴ В переводе на русский язык «Описание стрелецких бунтов и правления царевны Софьи» издано впервые в 1952 г.⁵

В V и VI главах «Истории России при Петре Великом» Вольтер дал подробное изложение «Экстракта о стрелецких бунтах» Ломоносова, указав в примечании: «Извлечено полностью из записок, присланных из Петербурга».⁶

В комментариях к VI тому Полного собрания сочинений Ломоносова указано, что основными источниками «Описания стрелецких бунтов и правления царевны Софьи» является сочинение П. Н. Крекшина «Сказание о рождении, воспитании и наречении на всероссийский престол царский государя Петра Великого», записки А. А. Матвеева и донесение датского резидента Бутенанта фон Розенбуша о бунте стрельцов в мае 1682 г. «Relation der traurigen Tragedie in der Stadt Moscau», опубликованное в 1691 г. в «Theatrum Europaeum» (th. XII).

В комментариях к поэме «Петр Великий», в той части, где речь идет о ранних годах жизни Петра и о стрелецких восстаниях, справедливо указано, что в числе источников Ломоносова были северно-русские летописи, холмогорские и соловецкие, откуда великий поэт почерпнул сведения о пребывании русского государя в Соловецком монастыре, в г. Архангельске, а также о постройке Новодвинской крепости.⁷ Из возможных источников здесь назван «Соловецкий летописец», изданный впервые Н. И. Новиковым в 1783 г.,⁸ однако никаких конкретных фактов использования Соловецкой летописи не привлечено.

Совсем недавно В. И. Буганов исследовал и опубликовал неизвестную ранее повесть о московском восстании 1682 г., находящуюся в Соловецком сборнике, — «Описание о сем, еже содеяся

³ М. В. Ломоносов, Полное собрание сочинений, т. X, М.—Л., 1957, стр. 525—527.

⁴ ГПБ. Отдел редкой книги. Библиотека Вольтера, № 242, т. II, лл. 384—400.

⁵ М. В. Ломоносов, Полное собрание сочинений, т. VI. М.—Л., 1952, стр. 132—161.

⁶ Voltaire. Histoire de l'empire de Russie sous Pierre le Grand, par l'auteur de l'Histoire de Charles XII. Genève, 1759.

⁷ Ломоносов, Полное собрание сочинений, т. VIII, стр. 1130—1131.

⁸ О высочайших пришествиях великого государя, царя и великого князя Петра Алексеевича, всея Великия, и Малыя, и Белыя России самодержца, из царствующего града Москвы на Двину, к Архангельскому городу, троекратно бывших; о нахождении шведских неприятельских кораблей на ту же Двину, к Архангельскому городу; о зачатии Новодвинской крепости и о освящении нового храма в сей крепости. М., 1783.

грех ради наших по представлении царя Феодора Алексеевича всея России во царствующем граде Москве, колико бысть смятение и убийство между собою православных христиан в народе».⁹

Ниже мы покажем, что Ломоносов широко использовал эту повесть в своем историческом сочинении о стрелецких восстаниях конца XVII в., «экстракт» из которого был послан в 1757 г. Вольтеру.

«Описание стрелецких бунтов и правления царевны Софьи» начинается с рассказа о последних годах правления царя Федора Алексеевича. За два дня до его кончины к царю обратились стрельцы. Ломоносов в нескольких словах характеризует причины такого поступка: «... стрельцы, притесняемые своими полковниками, которые посылали их на различные работы, не давая отдыха даже в праздники, и под разными предложениями не доплачивали им жалованье, подали царю челобитную, в которой просили удовлетворить все их жалобы».¹⁰

В повести о московском восстании 1682 г., обнаруженной В. И. Бугановым в Соловецком сборнике, большое место уделено описанию причин возмущения стрельцов. Здесь сказано о том, что еще при жизни царя Федора Алексеевича стрельцы подали челобитную «на полковников стрелецких во всяких налогах и обидах и како истеснены от них, полковников, во многих взятках и в безмерных работах в московских всяких изделиях на них, полковников, и на друзей их, тако же и в деревенских тяжких работах... А в словесном своем челобитье пред ним, государем, сказали, что де полковник их Семен Грибоедов во весь пост в селе Мячикове велел работать на себя и послал с Москвы стрельцов 100 человек ломати камень; и гнали к Москве вверх по Москве-реке в стругах в самой торжественной праздник в светлое христово воскресенье».¹¹

В «Описании стрелецких бунтов» Ломоносов сообщает о том, что после смерти Федора Алексеевича стрельцы потребовали от молодого царя Петра, чтобы он заставил полковников «вернуть незаконно удержанные деньги, а также заплатить за исполненные для них работы по представленному стрельцами счету».¹²

В результате требований стрельцов «полковников приговорили заплатить все, что стрельцы требовали с них по счету».¹³ Кроме того, девять полковников были публично наказаны: «...били их тонкими прутьями по спине до тех пор, пока стрельцы не признавали наказание достаточным».¹⁴ На правяще

⁹ В. И. Буганов. Повесть о Московском восстании 1682 года. В кн.: Древнерусская литература и ее связи с новым временем. М., 1967, стр. 317—354.

¹⁰ М. В. Ломоносов, Полное собрание сочинений, т. VI, стр. 133.

¹¹ В. И. Буганов. Повесть о московском восстании 1682 года, стр. 334.

¹² М. В. Ломоносов, Полное собрание сочинений, т. VI, стр. 135.

¹³ Там же, стр. 135.

¹⁴ Там же.

полковники должны были заплатить деньги. «Некоторым пришлось отдать до 2000 рублей и более».¹⁵ — пишет Ломоносов.

Автор повести о московском восстании 1682 г. описывает, как вскоре после похорон царя Федора Алексеевича стрельцы «били челом Петру Алексеевичу» и требовали заплатить им за исполненные ими для полковников работы и недоплаченные «спусковые денги».¹⁶ Автор сообщает, что «таких денег по их стрелецкому начоту объявилось на них, полковниках, тысячи по две и по три и болши».¹⁷ Посредством угроз «друг на друга востати» стрельцы добиваются осуществления своих требований: девяти полковникам «на площади при челобитчиках и при народе учинено наказание: снем рубашки, биты батоги нещадно вместо кнута».¹⁸ Автор обрисовывает картину наказания: «Они же (полковники, — Г. М.), видя свою смерть, не претерпевая такова своего мучения лютаго, поместья и вотчины свои закладывали, а дворы и пожитки продавали, и те долги платили, и себя окупали, и от смерти свободились».¹⁹

Автор повести о московском восстании называет имена девяти полковников, поплатившихся за свое жестокое обращение со стрельцами: «Александр Федоров сын Карандеев, Семен Грибоедов, Андрей Семенов сын Дохтуров, Григорий Семенов сын Титов, Никифор Колобов, Матфей Вешняков, Павел Глебов, Никита Борисов, Александр Тонеев».²⁰ Ломоносов не перечисляет этих имен, но говорит о девяти полковниках, которым стрельцы предъявили обвинение.²¹

Важно сопоставить другие источники, повествующие о стрелецком восстании 1682 г. Здесь следует назвать «Записки» Андрея Артамоновича Матвеева — сына боярина, казненного стрельцами 15 мая 1682 г., историческое сочинение Петра Никифоровича Крекшина «Сказание о рождении . . . Петра Великого» и донесение очевидца восстания датского резидента фон Розенбуша.

Важным, но крайне тенденциозным источником, в котором оправдывается и превозносится деятельность политической противницы Петра I — царевны Софьи, является сочинение Сильвестра Медведева «Созерцание краткое лет 7190, 91 и 92, в них же что содеяся во гражданстве».

Следует сказать прежде всего, что во всех этих записках и исторических сочинениях не упоминается о внутренней подготовке

¹⁵ Там же.

¹⁶ В. И. Буганов. Повесть о московском восстании 1682 года, стр. 335.

¹⁷ Там же, стр. 336.

¹⁸ Там же, стр. 337.

¹⁹ Там же.

²⁰ В. И. Буганов. Повесть о московском восстании 1682 года, стр. 337.

²¹ Ломоносов, Полное собрание сочинений, т. VI, стр. 134.

восстания 1682 г., вызванной чрезмерной, жесточайшей эксплуатацией командной верхушкой рядовых стрельцов. А. А. Матвеев выразительно характеризует их «прибыльное» житье. По словам А. А. Матвеева, «многие из московских стрельцов полки за несчастными службами, за беспрестанным и гораздо прибыльным торгом внутри самой Москвы, в Китае, в Белом и Земляном городах, жили вольными слободами за нерегулярным обучением воинским, тогда бывшим. И как заобычное ко всегдашнему лакомству и прибылей своих со своими стрелецкими алчными командирами, подполковниками, они стрельцы всемерно тогда уклонились в чрезмерные свои купеческие промыслы, покупая себе везде в рядах знатных многочисленные лавки, от чего всемерно обогатились, и из прибытков тех своих, по неслыханному во всей Европе солдатам такому порядку, отменилися из стрельцов в купцы, и всегда в том упражнялися по всевременным пьянством, и от того без начальства навывкли уже всякого своевольства, и не порядка и всегдашним тем своим продерзостям».²² Причин недовольства стрельцов не было, были только «притворные и ложные вымыслы, якобы за учиненные им стрельцам от тех командиров их полковников тягостные обиды и нападки».²³

П. Н. Крешин совершенно не упоминает о жалобах стрельцов. Причину их восстания он видит в политических интригах царевны Софьи, которая после «наречения на престол» юного Петра «послала боярина Ивана Милославского к стрельцам, прося их помощи, дабы царевич Иоанн Алексеевич их верною службою был возведен на престол, обещая им царскую милость. Стрельцы, объюродев, ни мало не разсмотря, возмутишася».²⁴

Фон Розенбуш, как и А. А. Матвеев, был свидетелем кровавой трагедии 1682 г., кроме того, о многих фактах знал от очевидцев. Поэтому его свидетельства представляют собой важнейший источник для воссоздания истории стрелецкого восстания.²⁵

Ломоносов несомненно знал донесение Розенбуша. Из него он почерпнул много ценных сведений, которые обогатили его представления о стрелецком восстании 1682 г. Но в рассказе о причинах восстания Ломоносов следовал за повестью Соловецкого сборника, а не за сообщением фон Розенбуша, который, передавая слух о жалобах стрельцов, не допускал мысли о том, что недовольство

²² Записки Андрея Артамоновича Матвеева. Записки русских людей. События времен Петра Великого. СПб., 1841, стр. 9.

²³ Там же, стр. 10.

²⁴ Краткое описание блаженных дел великого государя императора Петра Великого. Записки русских людей. События времен Петра Великого. СПб., 1841, стр. 30.

²⁵ Relation der traurigen Tragedie in der Stadt Moscau. In: Theatrum Europaeum, Th. XII. Franchfurt am Mayen, Gedruckt den Johann Görlin, 1691, стр. 441—448. — Н. Устрялов издал донесение фон Розенбуша по другому списку. См.: История царствования Петра Великого, т. I. СПб., 1858, Приложение VI, стр. 330—346.

стрельцов имеет действительные причины. Ломоносов не сомневался в том, что стрельцы, «притесняемые своими полковниками», имели серьезные (а не ложные) основания подать челобитную, где выразили свои жалобы на то, что им не давали отдыха даже в праздники и не доплачивали жалованье. Ломоносов передал это так, как рассказано о начале стрелецкого восстания в повести, сохранившейся в Соловецком сборнике.

Ни А. А. Матвеев, ни П. Н. Крекшин не сообщают о наказании полковников на правее и о получении с них недоплаченного стрельцам жалованья. Об этом событии сохранилось известие в повести Соловецкого сборника и в донесении фон Розенбуша.

У нас имеется основание считать, что в своем историческом труде о стрелецком восстании Ломоносов передал версию повести Соловецкого сборника, а не донесения фон Розенбуша. Помимо полного совпадения в перечислении имен, фамилий и количества полковников, с которыми расправились восставшие стрельцы (Ломоносов вслед за повестью называет 9 человек, тогда как Розенбуш указывает 15 фамилий),²⁶ можно показать еще некоторые случаи прямого использования Ломоносовым материалов Соловецкого сборника.

В записках А. А. Матвеева рассказывается о том, что 15 мая 1682 г., в день восстания стрельцов, внезапно резко изменилась погода: «В том же вышеупомянутом дни онаго начатого бунта и бояр убийства, тогда и зело чудесно себя объявил свой вид день, который с начала утра по своей изрядной и всех года месяцев поры майской до самого их стрелецкого в Кремль город входу и того бунту, вельми светлым, тихим и зело ведренным был; но когда кровопролитие оным боярам, от того их тиранского мучительства началось, внезапно такая очень мрачная буря и тьма свирепая встала, без тучи, ветром жестоким, как бы некоторый образ к переменею света».²⁷

П. Н. Крекшин, составляя «Краткое описание дел ... Петра Великого», использовал записки А. А. Матвеева, поэтому в его повествовании о стрелецком восстании 1682 г. также упомянуто о резком изменении погоды 15 мая: «Тогда воста сильный ветр, воскирение на них, и найдоша темныя облаки, отъяся зрение света, возмятошася прахи и яко друг друга зрети можатше и едва от страха грядущаго и не вем пасти».²⁸

В донесении фон Розенбуша совершенно не говорится о погоде 15 мая 1682 г., но зато развернутое поэтическое описание состояния этого дня имеется в повести, находящейся в Соловецком сборнике: «В сий же час возмутишася челоуецы и сотвориша кро-

²⁶ Основываясь на сведениях фон Розенбуша и С. Медведева, фамилии 15 полковников, обвиненных стрельцами, перечисляет Н. Устрялов. См.: История царствования Петра Великого, т. I, стр. 273, прим. 42.

²⁷ Записки Андрея Артамоновича Матвеева, стр. 23.

²⁸ Записки русских людей, стр. 33.

вопролитие, и того времени вся тварь не возможе зрети, на земле солнце облаки закрыся и теплота в хлад претворися, о сем же писано, и явно да будет сице. Понеделок бо той майя 15 день, наста и случися божим учреждением от восхода солнечнаго даже и до полудне бысть светел, тих и бысть теплота солнечная и красота дневная, сияше же солнце на всю селенную, и не бысть на небеси ни единого облака под солнцем, и бысть той день в такове красоте яко до 9-го часа дни; такожде и в народе тишина, яко никто ничего же чающе быти. По часе же 9-м абие внезапно возвеша ветры зело хладны и бурны, подобно осеннему хладу, ближнему к зиме, и солнечная теплота пременяся во хлад, и небеса облаки закрышася в то время, в не же возмутишася людие, преждереченные стрельцы и солдаты, диявольским наветом, колеблющися, яко волны морския возшумеша и устремишася, яко звери дивии, послаша пред собою прелестных вестников и волю дияволу творящих мятежников».²⁹ Историческое сочинение о стрелецких восстаниях Ломоносов использовал не только для составления «Экстракта о стрелецких бунтах», посланного в 1757 г. Вольтеру, но и для работы над собственными историческими и поэтическими произведениями. В поэме «Петр Великий» нашли отображение исторические события, происшедшие в России в конце XVII в. Рассказ о стрелецком восстании передается в поэме от лица Петра I, который беседует с игуменом Соловецкого монастыря Фирсом:

Открылся тайный ков, когда исчезла темь.
Багровая заря кровавый вводит день.
Наруж выходит, что умыслила София
И что советники ея велели злыя...
Тогда, свирепствуя, жестокие тиранны
Ударили везде в набат и в барабаны.
Светило вешних дней, оставя высоту,
Девятого часа скрывало красоту.
Внезапно в ужасе Москва зрит изумленна,
Оружие на Кремль спешаше и знамена
Колеса тяжкие под пушками скрипят,
Глаза отчаянных кровавые горят.
Лишь дому Царскаго, что должно чтить, достигли,
Как звери дикие, рыкание воздвигли.³⁰

Итак, в поэме Ломоносова «Петр Великий» нашло отображение не только описание факта, подробно изложенного в повести Соловецкого сборника, но даже элементы системы стилистических средств, использованных автором повести. В самом деле, ни А. А. Матвеев, ни П. Н. Крекшин не говорили о том, что 15 мая 1682 г. «солнце облаку закрыся», «небеса облаки закрышася».

²⁹ В. И. Буганов. Повесть о московском восстании 1682 года, стр. 338.

³⁰ Ломоносов, ПСС, т. VIII, стр. 709—710.

У Ломоносова: «Светило вешних дней ... скрывало красоту». В повести: «Понеделок бо той мая 15 день ... от восхода солнечнаго даже и до полудне бысть светел». У Ломоносова: «Багровая заря кровавый вводит день». Даже указание на то, что солнце «девятого часа скрывало красоту», дает возможность полагать, что и это было подсказано повестью, где прямо говорится, что «бысть той день в такове красоте яко до 9-го часа дни». И, наконец, сравнение восставших стрельцов с дикими зверями (в повести: «устремишася, яко зверие дивии»; у Ломоносова: «как звери дикии, рыкание воздвигли») дает основание считать, что повесть о московском восстании 1682 г., сохранившаяся в Соловецком сборнике, была широко использована в исторических и поэтических сочинениях Ломоносова.

Исследователь и публикатор повести внимательно изучил историю этого Соловецкого сборника и пришел к выводу о том, что повесть о стрелецком восстании была написана в Москве,³¹ но в самом начале XVIII в. сборник попал в Соловецкий монастырь. Об этом свидетельствуют многочисленные приписки, отображающие различные события, происшедшие в Соловецком монастыре. В. И. Буганов убедительно показывает, что автор интересующей нас повести о стрелецком восстании проживал в Кремле, так как о многих фактах он рассказывает словами очевидца, сообщая такие мелкие и детальные подробности, которые невозможны для воспроизведения «с чужих слов».³²

Когда же Ломоносов мог познакомиться с этим Соловецким сборником? Ответ может быть дан только один: в годы юности, когда он проживал на родном севере и вместе с отцом совершал многочисленные поездки «в Пустозерск, в Соловецкий монастырь, в Кочу».

Как теперь известно из новых материалов,³³ отец Ломоносова Василий Дорофеевич имел деловые контакты с церковными иерархами — архангелогородскими и холмогорскими архиепископами, игуменами видных монастырей — и это не могло не определить несколько иное отношение и к его сыну, юному Михаилу Ломоносову, который многократно бывал с отцом в его далеких морских путешествиях. Охваченный стремлением к познанию, Ломоносов и в этих поездках не терял времени, он жадно читал книги и рукописи в библиотеке Соловецкого монастыря.

Естественно возникает вопрос: мог ли Ломоносов так тщательно запомнить все детали прочитанной им рукописи и использовать этот материал спустя два десятилетия? Безусловно, нет.

³¹ В. И. Буганов. Повесть о московском восстании 1682 года, стр. 317—319.

³² Там же, стр. 319—323.

³³ Г. Н. Моисеева. Новые материалы об отце Ломоносова из архива Пушкинского Дома. Сборник «Ломоносов», т. VII (в печати).

И выписки, сделанные во второй половине 20-х годов XVIII в., Ломоносов не смог бы сохранить в течение стольких лет и притом при многочисленных переездах: Холмогоры, Москва, Петербург, Германия, снова Петербург.

Можно думать, что этот материал (вероятнее всего, копию рукописи) Ломоносов получил из Соловецкого монастыря через посредство холмогорского архиепископа Варсонофия, бывшего в годы юности Ломоносова игуменом Соловецкого монастыря. Ломоносов, как известно, переписывался с архиепископом Варсонофием, посылал ему свои книги. Очевидно, и Варсонофий не оставался в долгу и стремился помочь Ломоносову, передавая через земляков, приезжающих по торговым делам в Петербург, исторические материалы, интересующие Ломоносова. Но это возможно было сделать при условии, если Ломоносов мог указать конкретный источник, хранившийся в библиотеке Соловецкого монастыря, который он предварительно изучал.

Итак, один из неизвестных ранее источников сочинения Ломоносова о стрелецких восстаниях дает возможность сделать ряд важных историко-литературных выводов. Если Ломоносов был знаком с повестью о стрелецком восстании, хранившейся в сборнике Соловецкого монастыря, то, очевидно, он изучал и другие рукописи этой древнейшей библиотеки.

Как известно, библиотека Соловецкого монастыря составлялась в XV в. ее основателем игуменом Досифеем.³⁴ Ранние фонды создавались путем переписки рукописей, собранных в Новгороде при архиепископе Геннадии. Н. Н. Розов отмечает характерную особенность этого раннего фонда рукописей: «за исключением двух церковно-уставных сборников, это все книги внебогослужебного соборного, и главным образом келейного, круга чтения».³⁵

В XVI—XVIII вв. Соловецкая библиотека пополнялась за счет жертвований ценных рукописей, попадания в «книжную казну» выморочного имущества соловецких монахов, а также путем переписки древних книг.³⁶

Создававшаяся в течение нескольких веков монастырская библиотека оказалась ценнейшим собранием литературных памятников Древней Руси. По спискам Соловецкой библиотеки были впервые изданы сочинения Вассиана Патрикеева, Иосифа Волоцкого, Максима Грека, Андрея Курбского. За последние годы по списку Соловецкого собрания Н. Н. Розовым опубликована повесть о Скан-

³⁴ А. И. Лилов. Библиотека Соловецкого монастыря. В кн.: Православный собеседник. Казань, 1859, ч. I, стр. 24—39, 199—221; Н. Н. Розов. Соловецкая библиотека и ее основатель игумен Досифей. Труды Отдела древнерусской литературы, т. XVIII, М.—Л., 1962, стр. 294—304.

³⁵ Н. Н. Розов. Соловецкая библиотека и ее основатель игумен Досифей, стр. 299.

³⁶ А. И. Лилов Библиотека Соловецкого монастыря, стр. 24—39.

дербеге.³⁷ В этом же собрании хранится лучший список «Слова о законе и благодати» Илариона.³⁸

Таким образом, библиотека Соловецкого монастыря широко представляет не только церковную, но и светскую литературу Древней Руси. Ранние биографы Ломоносова охотно отмечали, что юный Михайло, овладев грамотой, читал только церковные книги. Найденное в XIX в. священником Александром Васильевым «Житие Дмитрия Солунского» с припиской Ломоносова о том, что с этой рукописи он «спизывал», надежно подтверждало сведения ранних биографов. В действительности, как мы видим, Ломоносов читал светские книги не только в доме Христофора Дудина, но и в библиотеке Соловецкого монастыря. В начале XVIII в. в этой библиотеке хранились и учебные книги из московской Славяно-греко-латинской академии (курсы Риторики: ГПБ. Собр. Соловецкое №№ 788, 789, 790; курсы Арифметики: №№ 1460/1, 1460/2, 1460/3, 1463/4). Быть может решение юного Ломоносова уйти в Москву учиться в Славяно-греко-латинскую академию созрело не без влияния этих учебных книг.

Соловецкий сборник раскрывает и еще один серьезный момент в формировании юного ученого. Уже в годы юности Ломоносов обнаруживал серьезный интерес к теме Петра I. Ломоносов, выросший и воспитавшийся в среде людей, поддерживавших деятельность талантливого и смелого государя,³⁹ вошел в сознательную жизнь под знаком поклонения и восхищения Петром I. Эту тему он пронес через всю жизнь, воплотив ее в разнообразных жанрах художественного слова (оды, надписи к статуям, слово похвальное Петру I, поэма «Петр Великий»), в прикладном искусстве (серия медалей, отображающих важнейшие этапы биографии Петра I) и в мозаичном искусстве (поясной портрет Петра I, грандиозная картина «Полтавская баталия»).

Таким образом, вывод Н. К. Пиксанова о большом значении русской культуры, сложившейся на севере, для развития многогранного таланта Ломоносова подтверждается последующими историко-литературными разысканиями.

³⁷ Повесть о Скандербеге. Издание подготовили Н. Н. Розов, Н. А. Чистякова. М.—Л., 1957 (сер. «Литературные памятники»).

³⁸ Н. Н. Розов. Из наблюдений над историей текста «Слова о законе и благодати». *Slavia. Casopis pro slovanskou filologii.* Nakladatelství Československé akademie věd, 1966, s. 3, 365—379.

³⁹ А. А. Морозов. М. В. Ломоносов. Путь к зрелости, стр. 72—73.

РАДИЩЕВ В ОЦЕНКЕ Л. Н. ТОЛСТОГО

В мысленную карту освоения литературного наследия А. Н. Радищева наука вписала уже имена лучших его современников и писателей следующих поколений: Пушкина, декабристов, Грибоедова, Герцена, Некрасова, Чернышевского, Добролюбова и др., которые имели с Радищевым точки идейного и творческого соприкосновения. Но на этой карте отсутствует имя одного из великих гениев русской литературы — Льва Николаевича Толстого. В книге В. Н. Орлова «Радищев и русская литература» Л. Н. Толстому не посвящено ни одной строки. В литературе о Толстом сближение Толстого с Радищевым кратко отметили Н. Н. Гусев и Н. К. Пиксанов, но оно еще не стало предметом специального изучения.

Создается впечатление, что творчество Толстого не дает для этого необходимого материала, что Толстой прошел мимо автора знаменитой книги «Путешествие из Петербурга в Москву», что Радищев не затронул ни одной струны в его душе. Однако такой вывод был бы поспешным. Зная непреходящий интерес великого писателя к жизни и судьбе русского крестьянства, ради освобождения которого Радищев совершил свой мужественный подвиг, заранее можно сказать, что Толстой читал его сочинения не менее внимательно, чем произведения других писателей, в которых затрагивались важные социальные проблемы. Так оно и было.

1

Первое известное нам упоминание Толстого о Радищеве относится к 1858 г. Это не просто упоминание книжно-библиографического характера, каких немало к тому времени появилось уже в русской критике о Радищеве, а целая концепция, глубоко продуманный взгляд на роль Радищева в истории России. Я имею в виду «Записку о дворянстве» Толстого, составленную 12 декабря 1858 г., в которой он выступил против попыток Александра II присвоить себе инициативу освобождения крестьян.

«Записке о дворянстве» Толстого предшествовали следующие события. В марте 1856 г. Александр II

говорил представителям московского дворянства о том, что рано или поздно придется «сделать освобождение крепостного состояния».¹ 31 августа 1858 г. он в речи своей к московскому дворянству напомнил о своих рескриптах относительно созыва губернских комитетов для обсуждения вопроса об устройстве быта помещичьих крестьян и выразил свое недовольство проявленной в этом деле медлительностью со стороны поземельного дворянства. Александр II ни словом не обмолвился о том, что задолго до него лучшие представители русской общественности требовали уничтожения крепостного права, но каждый раз царское правительство расправлялось с ними самым жестоким образом. Радищев был приговорен к смертной казни, замененной ему десятилетней ссылкой в Сибирь; лучшая часть декабристов была повешена, многие сосланы на поселение в сибирские рудники; петрашевцы также были сосланы в сибирские остроги. В названной речи Александр II хвастливо заявил: «Я желаю общего блага, но не желаю, чтобы оно было в ущерб вам; всегда готов стоять за вас; но вы для своей же пользы должны стараться, чтобы вышло благо для крестьян».²

Толстому дело представлялось иначе. Он считал, что освобождение крестьян является не милостью царя, а что оно отвечало давно назревшей потребности всей страны. Еще в апреле 1856 г. Толстой записал в своем дневнике: «Мое отношение к крепостным начинает сильно тревожить меня» (XLVII, 69). Сохранилось несколько записок Толстого той поры, из которых видно, что он ставил перед собой задачу прежде всего освободить принадлежавших ему крестьян (V, 241—258, 336—346). В ответ на речь Александра II Толстой и составил упомянутую выше «Записку о дворянстве».

«Это единственное в истории и не оцененное еще явление, — говорится в названной записке, — произошло от того, что рескрипт об освобождении только отвечал на давнишнее, так красноречиво выражавшееся в нашей новой истории желание одного образованного сословия России — дворянства. Только одно дворянство со времен Екатерины готовило этот вопрос и в литературе, и в тайных и не тайных обществах, и словом и делом. Одно оно посылало в 25 и 48 годах, и во все царствование Николая, за осуществление этой мысли своих мучеников в ссылки и на виселицы и, несмотря на все противодействие правительства, подержало эту мысль в обществе и дало ей созреть так, что нынешнее слабое правительство не нашло возможным более подавлять ее» (V, 267—268).

¹ «Голос минувшего», №№ 5—6, 1916, стр. 393.

² Цитирую по кн.: Л. Н. Толстой, Полное собрание сочинений, т. 5, М.—Л., 1931, стр. 357 (комментарии к «Записке о дворянстве» — В. Ф. Саводника). В дальнейшем том и страница этого издания указываются в тексте.

В этих словах, проникнутых определенным сочувствием к борцам против крепостного права, Толстой прямо не называет ни одного имени, но, говоря о мучениках времен Екатерины, он, как увидим ниже, имел в виду и Радищева. Биограф Толстого, Н. Н. Гусев, писал по этому поводу: «Оставшаяся незаконченной и необработанной „Записка о дворянском вопросе“ замечательна той резкостью, с которой Толстой критикует и речь царя, и самый образ действий правительства в крестьянском вопросе, и, главное, тем сочувствием к „мученикам“ за дело освобождения крестьян, гонимым Екатериной, — Радищеву и Новикову (хотя они здесь и не названы), — декабристам и петрашевцам, которое впервые с полной определенностью высказано Толстым в этой „Записке“».³

Позднее Толстой сам раскрыл имена первых борцов против крепостного права, которых он подразумевал в «Записке о дворянстве». В статье «Великий грех» (1905 г.), первоначально озаглавленной «Народные заступники», Толстой пишет: «Освобождение крестьян в России совершено не Александром II, а теми людьми, которые поняли грех крепостного права и старались, независимо от своей выгоды, избавиться от него: преимущественно же совершено такими людьми, как Новиков, Радищев, декабристы, теми людьми, которые готовы были страдать и страдали сами (не заставляя никого страдать) ради верности тому, что они признавали правдой» (XXXVI, 228).

2

В какой период жизни Толстой впервые познакомился с произведениями Радищева? В «Записке о дворянстве», составленной в декабре 1858 г., он выразил уже вполне сложившееся у него мнение об этом народном заступнике. Записка свидетельствует о том, что Толстой до этого несомненно не только читал «Путешествие» Радищева, но и знал по литературе основные факты его биографии.

Точных данных о первом знакомстве Толстого с книгой Радищева пока мы не имеем. Вполне возможно, что эта книга в печатном виде или в списке имела в домашней библиотеке отца писателя. В своей библиотеке, частично сохранившейся до нашего времени в составе библиотеки Л. Н. Толстого в Ясной Поляне, Николай Ильич Толстой имел хорошую подборку книг русских и западноевропейских писателей. «Дома отец, кроме занятий хозяйством и нами, детьми, еще много читал, — рассказывает Л. Н. Толстой в своих «Воспоминаниях». — ...Сколько я могу судить, он не имел склонности к наукам, но был на уровне обра-

³ Н. Н. Гусев. Лев Николаевич Толстой. Материалы к биографии с 1855 по 1869 год. Изд. АН СССР, М., 1957, стр. 315.

зованных людей своего времени... Он не только не служил нигде во времена Николая, но даже все друзья его были такие же люди свободные, не служащие и немного фрондирующие правительству» (XXXIV, 356—357).

У отца Льва Николаевича были дружеские связи с некоторыми помещиками, в библиотеках которых имелась книга Радищева. Например, список «Путешествия» имелся у братьев Киреевских, с семьей которых Толстые в течение многих лет находились в дружеских отношениях, ездили друг к другу в гости. О поездке отца в имение Киреевских Шабликино Орловской губернии Л. Н. Толстой рассказывает в своих воспоминаниях (XXXIV, 356).

Л. Н. Толстой продолжил эту дружбу с Киреевскими. Весной 1856 г. он встретился в Петербурге с Иваном Васильевичем Киреевским.⁴ В библиотеке братьев Киреевских имелся список книги Радищева. Этот список «Путешествия», сделанный с первого издания 1790 г., сохранился до нашего времени. Он писан на бумаге 1823 г., и по всему видно, что был изготовлен не позднее 1820-х годов.⁵

У Л. Н. Толстого имелись реальные возможности ознакомиться с книгой Радищева до 1858 г. В 1858 г., ко времени составления им «Записки о дворянстве», эти возможности значительно расширились. В 1856 г. в «Современнике» (кн. VIII) была напечатана статья М. Н. Лонгинова «Алексей Михайлович Кутузов и Александр Николаевич Радищев». В 1857 г. была опубликована П. В. Анненковым статья Пушкина «Александр Радищев» в VII томе (дополнительном) сочинений Пушкина. Пушкинская статья увеличила ранее существовавший интерес к Радищеву. В первом номере «Современника» за 1858 г. появилась рецензия Н. А. Добролюбова на седьмой том сочинений Пушкина, в которой главное место было отведено Радищеву.

В 1858 г. Герцен переиздал в Лондоне в вольной русской типографии «Путешествие из Петербурга в Москву» со своими двумя предисловиями. В России эта книга появилась летом того же года. Наконец, в первой книжке за декабрь 1858 г. журнала «Русский вестник» была напечатана биография Радищева, написанная его сыном Павлом Александровичем.

Вся эта литература о Радищеве не прошла мимо Толстого. С издателем сочинений Пушкина П. В. Анненковым он познакомился еще в декабре 1855 г. в Петербурге, неоднократно встречался с ним у Тургенева и Некрасова. Он приобрел изданные Анненковым сочинения Пушкина и читал их у себя в Ясной

⁴ Там же, стр. 48.

⁵ В 1927 г. он поступил в составе библиотеки известного собирателя русских народных песен Петра Васильевича Киреевского в Орловский литературно-мемориальный музей И. С. Тургенева, где он находится и по настоящее время.

Поляне. В яснополянской библиотеке Толстого до сих пор сохранился первый том сочинений Пушкина анненковского издания.⁶

Известно также, что Толстой проявлял большой интерес к герценовским изданиям еще до своей поездки в 1861 г. к Герцену в Лондон. Читал он и журналы «Современник» и «Русский вестник», в которых сообщались ценные сведения о Радищеве.

3

Особый интерес представляет для нас экземпляр «Путешествия», находящийся в личной библиотеке Л. Н. Толстого в Ясной Поляне. Уже сам факт, что великий писатель не только читал книгу Радищева, но и имел ее у себя, приобретает огромное значение.

Я впервые познакомился с этим экземпляром во время своей поездки в августе 1960 г. в Ясную Поляну. Книга в мягкой обложке домашнего изготовления, обтянутой синим колленкором. В книге 194 страницы формата 14 × 21,5 см. На обложке имеется белая наклейка с печатной надписью: «Путешествие из С.-Петербурга в Москву А. Радищева (1790 г.)». Титульный лист в книге вырезан. В начале книги помещено предисловие А. И. Герцена, однако в нем отсутствует первый абзац, в котором Герцен неодобрительно отзывался о статье Пушкина «Александр Радищев».

Книга была занесена С. А. Толстой в каталог русских изданий библиотеки Льва Николаевича. В каталоге она значится в четвертом разделе под рубрикой «Естественные науки, география, путешествия».

Экземпляр этот явился для меня загадкой. По шрифту, формату и типографскому оформлению он не походил ни на одно из известных мне изданий «Путешествия». Музей не располагал сведениями относительно того, кем это издание было выпущено в свет, от кого и когда эта книга поступила к Л. Н. Толстому.

В богатейших книжных фондах Государственной библиотеки им. В. И. Ленина не оказалось подобного экземпляра «Путешествия». Не обнаружил я его и в другом крупном книгохранилище нашей страны — в библиотеке Государственного исторического музея. Спустя лишь несколько месяцев, после некоторых разысканий, мне удалось выяснить, что этот экземпляр редкий. Он был шит домашними средствами. Содержание его соответствовало тексту, напечатанному в журнале «Всемирный вестник» за 1906 г. (№№ 1—5).

Редактором и издателем «Всемирного вестника» являлся С. С. Сухонин, прогрессивный журналист, которого хорошо знал Л. Н. Толстой. В 1905 г. Сухонин, пользуясь революционными событиями, задумал издавать серию «Нелегальной литературы». На обложке журнала «Всемирный вестник» он поместил объяв-

⁶ Н. Н. Гусев. Лев Николаевич Толстой, стр. 62—63.

ление, в котором указал, что в задуманной им серии «Незаконная литература» будут напечатаны сочинения Л. Н. Толстого, которые в России еще не были опубликованы, и некоторые лондонские издания Герцена, в том числе и «Путешествие» Радищева.

В указанном объявлении было сказано: «Продолжается подписка на 1906 г. на ежемесячный литературный, общественный, политический и исторический журнал „Всемирный вестник“ (четвертый год издания). В настоящем году журнал будет выходить по расширенной программе со включением вопросов, которых мы не могли касаться исключительно благодаря предварительной цензуре, и ставит задачей ознакомить читателя с так называемой „незаконной литературой“. На страницах журнала будет помещено Собрание сочинений, изданных за границей, графа Льва Николаевича Толстого».

Все указанные номера журнала, в которых напечатано «Путешествие» Радищева, были выпущены в свет без ведома цензуры, о чем сам издатель Сухонин рассказал в своей статье «Заметки журналиста». «Около 10 октября [1905 г.], — пишет он, — началась забастовка, работы в типографии остановились, затем появился манифест 17 октября, в конце того месяца образовался союз в защиту свободы печати, и я вовсе перестал представлять гранки цензуре и директору Департамента полиции, начал выпускать журнал без всякого предварительного чего-либо просмотра».⁷

Издание серии «Незаконная литература», поскольку главное место в этой серии должны были занять не изданные в России произведения Толстого, несомненно согласовывалось с Толстым. План этого издания, оглашенный Сухониным в печати, не вызывал со стороны Толстого каких-либо возражений.

Толстому вполне импонировало стремление Сухонина напечатать запрещенные в России герценовские издания и некоторые произведения самого Герцена. Дать все эти произведения русским читателям являлось давней мечтой Толстого. «Читаю Герцена и очень восхищаюсь и соболезную тому, что его сочинения запрещены», — писал он В. Г. Черткову в письме от 9 февраля 1888 г. (LXXXVI, 121).

Осенью 1905 г., в период разворачивания революционных событий, Толстой изучал книгу Герцена «С того берега». В своем дневнике за 12 октября он записал: «Читал и Герцена „С того берега“ и тоже восхищался. Следовало бы написать о нем — чтобы люди нашего времени понимали его. Наша интеллигенция так опустилась, что уже не в силах понять его. Он уже ожидает своих читателей впереди. И далеко над головами теперешней толпы передает свои мысли тем, которые будут в состоянии понять их» (LV, 165).

⁷ «Всемирный вестник», № 4, 1906, стр. 223.

Не приходится удивляться, что при такой настроенности Толстой мог вполне одобрить и поддержать издательский план редактора журнала «Всемирный вестник». Сухонин предполагал, что отобранные им произведения для серии «Нелегальная литература» сначала будут напечатаны в журнале «Всемирный вестник», а затем будут выпущены в свет отдельными книгами. В качестве такого отдельного выпуска было намечено издать «Путешествие» Радищева. Были изготовлены в петербургской типографии товарищества Кушнерова пробные экземпляры «Путешествия». Один из них сохранился в Государственной Публичной библиотеке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде (шифр: Лзо $\frac{Б-7}{62}$). Он представляет собою первоначальный типографский оттиск, сделанный на плохой бумаге. Для книги была заготовлена обложка, на которой указана цена ее — 40 копеек. Издание это не состоялось. В реакционной печати появились заметки, в которых выражались по адресу издателя С. С. Сухонина политические угрозы. Об этих угрозах Сухонин сам рассказывает в своем журнале. «В петербургских газетах, — пишет он, — обо мне появились две заметки: первая, помещенная более месяца тому назад (я пишу эти строки 12 марта [1906 г.]), сообщала о том, что я привлекаюсь к ответственности за выпуск январской книжки „Всемирного вестника“ по ст. ст. 100, 103, 128 и 129 Уложения о наказаниях... По 100-й статье наказанием налагается смертная казнь».⁸

Несмотря на эти угрозы, все же один из пробных экземпляров «Путешествия» был послан Сухониным в Ясную Поляну Л. Н. Толстому. Так раскрылась для меня загадка этого экземпляра.

4

Радищев и Толстой стояли на разных концах крестьянской темы в русской литературе. Первый начинал ее, начинал в том смысле, что вводил в литературу образ страдающего, мятежного русского крестьянина; второй замыкал эту важнейшую тему в условиях, когда, по выражению В. И. Ленина, русский рабочий класс создал «могучую революционную партию масс», когда перед русским мужиком открылись новые перспективы освободительной борьбы. И хотя между ними пролегли многие десятилетия, Толстого сближали с Радищевым своеобразные узы братской солидарности.

В толстовской оценке Радищева проявилась одна показательная примета времени: Толстой пристальнее всего обращался к книге Радищева в периоды наивысшего накала освободительной борьбы в России: первый раз в годы первой революционной ситуации

⁸ Там же, март, 1906, стр. 52.

в России, второй — в революцию 1905 г. Это не значит, что в другие периоды он забывал о Радищеве в своем творчестве.

Объем настоящей статьи не позволяет мне проанализировать некоторые сходные места и близкие аналогии в произведениях этих писателей. Заранее следует оговориться, что при рассмотрении таких аналогий в их произведениях не может быть места внешнему описательству, буквализму. Речь может идти о существовавшей в условиях тогдашнего общества закономерности по линии отбора однородного материала для выражения сходных мыслей и понятий. А что родственные черты имелись у обоих писателей, например смелые инвективы против самодержавия, против эксплуататорских классов, против духовной опоры помещицкой власти — церковников, в этом не может быть никаких сомнений. Здесь будет уместно привести один пример такого сходства, который был тонко подмечен Н. К. Пиксановым.

В 1894 г. Толстой написал «Сон молодого царя». Молодой царь, еще не развращенный безграничным самовластием, лестью своих придворных, наивный, доверчивый, видит сон, в котором под водительством таинственного Спутника наблюдает картины народного горя, бедности, несправия, насилий, нравственного разложения. Порабощенный народ пьянствует, озлоблен, десятки тысяч лучших людей томятся в тюрьмах, мучаются в ссылках, на каторге. Всему виной помещики, правительство, чиновники, попы, продажные судьи, корыстолюбивые министры и губернаторы.

По поводу этих картин исследователь замечает: «Не могу не отметить, что написанный Толстым „Сон молодого царя“ поразительно напоминает „Сон сидящего во власти на престоле“ в радищевском „Путешествии из Петербурга в Москву“. Спутнику там соответствует Странница-Прямовзора, учтивому старому придворному, успокаивающему молодого царя лестливыми софизмами, соответствуют у Радищева раболопные вельможи. А главное — и в том и в другом „Сне“ разоблачаются все неправды и насилия, на каких держится самодержавное государство».⁹

Отдельные упоминания о Радищеве имеются в письмах Толстого, в частности в письме к детской писательнице А. М. Калмыковой в 1896 г. (LXIX, 128) и в письме к В. В. Стасову от 26 октября 1902 г.

В названном письме к Стасову Толстой, выражая свое возмущение разгулом террора в стране, насилием полиции над известным ему общественным деятелем, крестьянином Тульской губернии М. Новиковым, писал: «Он [М. Новиков] подал в тульский комитет записку, которая для тульских консерваторов оказалась, вероятно, такою же, как „Путешествие“ Радищева Екатерине, и

⁹ Н. К. Пиксанов. Толстой и Горький. Личные, идейные и творческие встречи. «Ученые записки Горьковского государственного университета им. Н. И. Лобачевского», т. 56, вып. 4, Горький, 1961, стр. 19.

вот с ним хотят сделать то же, что и с Радищевым» (LXXIII, 312—313).

Письмо это было написано Толстым в то время, когда прогрессивная русская интеллигенция и марксистская печать отмечали столетнюю годовщину со дня смерти Радищева. В связи с этой датой во многих газетах и журналах были напечатаны статьи и заметки.¹⁰ Приведенное высказывание Толстого нельзя рассматривать вне этих откликов, которые создавали определенную атмосферу вокруг Радищева. «В лице „сочинителя“ Радищева, — писал журналист Н. Д. Носков в «Живописной России», — русская литература имеет дело с родоначальником русской публицистики, который явился, по его собственным словам, „дорогу проложить“, где не бывало следу для борзых смельчаков и в прозе и стихах».¹¹ В таком же духе писали в 1902 г. о Радищеве и другие органы русской периодической печати.¹²

Взгляд Толстого совпадал по ряду частных вопросов с мнением выступавших журналистов, в общей же оценке Радищева Толстой шел значительно дальше многих из них. В названном письме к Стасову Толстой имеет в виду две стороны вопроса: содержание «Путешествия» и несправедливую жестокую расправу с писателем, которой правительство Екатерины II дискредитировало себя перед всеми мыслящими людьми.

Можно с уверенностью сказать, что неоднократное обращение Толстого к «Путешествию» Радищева, упоминания о нем в статьях и письмах разных лет являлись не только проявлением читательского любопытства к нашумевшей и запрещенной книге, но были обусловлены глубоким желанием вскрыть связь крупнейших социальных явлений второй половины XIX—начала XX в. с предшествующей русской культурой, со всем ходом исторического развития России. Впервые такую связь почувствовал и указал на нее Герцен в предисловии к лондонскому изданию «Путешествия». «И что бы он ни писал. — говорит Герцен о Радищеве в этом предисловии, — так и слышишь знакомую струну, которую мы привыкли слышать и в первых стихотворениях Пушкина, и в „Думах“ Рылеева, и в собственном нашем сердце». Герцен проследил указанную связь с Радищевым до 1850-х годов.

Толстой продолжил линию этой связи до первой русской революции. Сложен был путь полного признания им Радищева. Были периоды, когда в сознании Толстого образ революционера Радищева как бы раздваивался. Полностью и безоговорочно сочувствуя Радищеву в крестьянском вопросе, в деле освобождения крестьян, Толстой не мог признать способ его борьбы с самодер-

¹⁰ Перечень наиболее значительных статей, посвященных этой годовщине, был помещен в «Литературном вестнике» (1902, т. IV, № 6 — библиографическая справка «К столетней годовщине смерти А. Н. Радищева»).

¹¹ «Живописная Россия», № 89, 1902, стр. 445.

¹² См., например, «Петербургские ведомости» от 12 сентября 1902 г.

жавием. Особенно это было заметно после убийства народовольцами Александра II. Народовольцы слишком прямолинейно провели в жизнь радищевский призыв «возвести царя на плаху», не сочетая этот исторически важный акт народной мести с организацией одновременного народного восстания, о чем говорил Радищев в оде «Вольность». Толстой считал, что казнь Александра II была бесполезным актом, что она не привела к реальному улучшению положения трудовых масс, вызвав только усиление реакции, испуг и ожесточение правящих кругов.

Мнение по этому вопросу Толстой выразил в названном выше письме к писательнице А. М. Калмыковой. «Есть люди, к которым мы принадлежим, — писал он 31 августа 1896 г., — которые знают, что наше правительство очень дурно, и борются с ним. Со времен Радищева и декабристов способов борьбы употреблялось два: один способ — Стеньки Разина. Пугачева, декабристов, революционеров 60-х годов, деятелей 1-го марта и других; другой — тот, который проповедуется и применяется Вами, — способ „постепенцев“, состоящий в том, чтобы бороться на законной почве, без насилия, отвоевывая понемногу себе права. Оба способа, не переставая, употребляются вот уже более полувека на моей памяти, и положение становится все хуже и хуже» (LXIX, 128—129).

В 1905 г. Толстой уточняет свое отношение к Радищеву и декабристам. Он начинает активно популяризировать их идеи среди широких масс. Статью «Великий грех», в которой говорится о выдающихся заслугах Радищева и декабристов, Толстой напечатал в 1905 г. трижды. Первоначально она была помещена в июльском номере «Русской мысли» за 1905 г.: затем выпущена отдельной брошюрой в издательстве «Посоедник»; в третий раз в издании газеты «Свободное слово» (№ 98).

В статье «Великий грех» Толстой выразил свои мечты о будущем России, о ее всемирной роли в борьбе за освобождение народов от власти эксплуататорских классов. После имен Радищева, Новикова и декабристов он написал: «Я верю, что такие люди есть теперь и что они сделают то великое, не одно русское, а всемирное дело, которое предстоит русскому народу» (XXXVI, 229).

Эти слова Толстого, если учесть известные его критические высказывания тех лет о революционерах, были весьма значительны. По отношению к декабристам они вполне гармонируют с его прежними творческими замыслами написать роман о декабристах, которые у него возникли еще в конце 1850-х годов. По отношению же к радикальному революционеру Радищеву, призывавшему «разбить железом» «главы бесчеловечных своих господ» и кровию их «обогреть нивы свои», эти слова кажутся несколько неожиданными в устах Толстого, не признававшего методов революционного насилия.

В чем же тут дело? Очевидно, разница в толстовских оценках Радищева и революционеров новой, социалистической формации коренится не в отрицании Толстым народной революции вообще, а в непонимании им социального идеала будущего социалистического общества, о чем говорил В. И. Ленин в статьях о Толстом. Толстому, стоявшему на позициях, свойственных патриархальному крестьянству, радищевский идеал «всемирного» государства казался ближе.

Накануне грозных революционных событий в стране между Толстым и Радищевым произошла своеобразная переключка. Созвучие, острота и глубина их мыслей были обусловлены национальным своеобразием русской жизни. Углубленное изучение толстовских оценок Радищева важно для понимания творчества обоих писателей. Без Радищева трудно проследить истоки тревожной, ищущей мысли Толстого; но и без Толстого невозможно представить те конечные формы, в которые вылились в начале XX столетия мечты Радищева о судьбах русского крестьянства, о пути развития России в целом.

ЖАНРОВЫЙ ГЕНЕЗИС ШУТЛИВЫХ ПОЭМ ПУШКИНА

Недоумение читателя, заканчивающего чтение поэмы Пушкина «Граф Нулин», может вызвать авторское обозначение жанра произведения:

И граф уехал... Тем и сказка
Могла бы кончиться, друзья...¹

Это обозначение жанра поэмы не было обмолвкой автора. Защищая «Графа Нулина» от нападков критики, Пушкин называет эту поэму своей «бедной сказкой» (XI, 156), тем самым подтверждая жанровое определение, данное в тексте поэмы.

Какие были у автора основания называть сказкой реалистическую повесть в стихах, лишенную «сказочности»?

В своих сочинениях Пушкин пользуется понятием сказки в различном значении. Таков прежде всего цикл созданных им в 30-х годах стихотворных произведений, основанных на фольклорном материале. «Сказочкой» Пушкин назвал фривольную поэму «Царь Никита и сорок его дочерей». Подзаголовком «простонародная сказка» Пушкин обозначил жанр «Утопленника». В число сказок он включал балладу «Жених». Сказками поэт называл «Повести Белкина». «Граф Нулин», а также и другая пушкинская поэма того же жанра — «Домик в Коломне» — не подходят ни под одно из приведенных значений термина *сказка*.

Но наименование шутливой поэмы Пушкина сказкой вполне обосновано и имеет свой смысл. В «Графе Нулине» автор пользуется этим термином в том значении, которое тогда было общепризнано и широко распространено, — в значении стихотворной повеллы, или рассказа в стихах, — жанра, обладающего рядом специфических и устойчивых признаков. Родоначальником этого жанра (под названием *conte*) считается Лафонтен. В русскую литературу жанр *сказки* был введен Сумароковым и получил здесь широкое распространение во второй половине

¹ А. С. Пушкин, Полное собрание сочинений, т. V, Изд. АН СССР, 1948, стр. 13 (курсив здесь и везде наш, — А. С.). В дальнейшем ссылки на это издание даются в тексте.

XVIII—первой половине XIX в. Образцом этого жанра в свое время была признана «Модная жена» Дмитриева. Ознакомление с материалом открывает перед исследователем десятки имен поэтов, писавших сказки, и — без преувеличения — сотни произведений этого жанра в его разновидностях. Здесь мы встречаем литераторов самых различных рангов. Среди них и видные поэты своего времени — Сумароков, Херасков, Аблесимов, В. Майков, Хемницер, Дмитриев; и поэты менее крупные — А. Измайлов, В. Пушкин, Панкратий Сумароков, Клушин, Горчаков, Нахимов, Остолопов, Иличевский; и, наконец, безвестные стихотворцы — Петр Лобысевич, Василий Тебекин, Николай Мацнев, Павел Лодыженский, Алексей Зилон, Константин Цимбалин.²

В творческой практике сказка не всегда достаточно четко отделялась от близких ей жанров. Это касается прежде всего басни. В изучаемый период часто выходили сборники стихотворений под названием «Басни и сказки» (Хемницер, Дмитриев, Неведомский, А. Измайлов, Тебекин и др.), в которых произведения обоих жанров обычно располагались вперемешку. Иногда, как у Сумарокова, сказка выступала не только под этим названием, но и под названием притчи. Встречается и еще одно название, синонимичное к названию сказки: *быль* (особенно часто у Аблесимова, печатавшего свои были в сатирических журналах Новикова). Называя типичную сказку *былью*, автор, очевидно, стремился подчеркнуть жизненную, бытовую достоверность изображаемого события. И все же сказка отличалась от соседних жанров, в частности от басни, и в качестве самостоятельного жанра становилась предметом теоретических рассуждений и определений.

В 1807 г. Д. И. Хвостов напечатал дидактическую поэму «Притчи», где разграничил басню, которую он предпочитает называть притчей, и сказку. Основная особенность притчи — аллегорические образы (животные, птицы, рыбы, деревья):

Иносказание, златое притч руно,
Пусть будет у тебя всегда соблюдено.

В сказке же действуют не аллегорические персонажи, а люди. Различаются эти жанры и в отношении нравоучительности: в отличие от нарочитого дидактизма притчи в сказке присутствует нравоучение, «общее всем родам поэзии».³

Вслед за Хвостовым к теории сказки обратился Н. Ф. Остолопов, напечатавший в 1812 г. в «Санкт-Петербургском вестнике» статью «О сказке», позднее вошедшую в его «Словарь древней и

² Подробнее о жанре сказки см. в подготовленном мною и Н. М. Гайденовым выпуске большой серии «Библиотеки поэта» «Стихотворная новелла (сказка)» в русской литературе второй половины XVIII—первой половины XIX века.

³ Д. Хвостов, Полное собрание сочинений, ч. 2, СПб., 1817, стр. 63, 222.

новой поэзии». Усматривая, подобно Хвостову, отличие сказки от басни в том, что в первом из этих жанров действуют одни люди без животных, Остолопов отмечает и ряд других особенностей сказки. В отличие от эпической поэмы, описывающей «деяние знаменитое», сказка «имеет предметом дела обыкновенные, весьма часто случающиеся или могущие случаться между людьми». В отличие от романа, представляющего «связь нескольких приключений, сказка содержит одно происшествие».⁴ Намечая несколько разновидностей жанра, Остолопов особенно подробно говорит о сказках «характерных, или нравственных», типа «Модной жены». Эти сказки «содержат верное изображение нравов людей, живущих в обществе. Описываемые в них приключения просты, обыкновенны. Нравоучение извлекается само собою из соединения и противоположности действий и причин. Слога требуют легкого и даже шуточного».⁵

О сказке писали и другие теоретики: А. Мерзляков, Г. Сокольский, В. Маслович. Они опирались на Остолопова и зарубежных авторов: Эшенбурга, Зульцера, Мармонтеля, в «Элементах литературы» которого есть статья «Conte». Была им знакома и статья под тем же названием, напечатанная в четырнадцатом томе известной французской «Энциклопедии» XVIII в.

Пушкин не раз высказывал те или иные суждения о произведениях, относящихся к жанру сказки, который был для него живым явлением современной ему литературы. В письме Рылееву 25 января 1825 г. Пушкин в числе произведений, составляющих сферу «легкого и веселого в поэзии», называет сказки Лафонтена, а также одно из популярных произведений этого жанра — поэму Грессе «Вер-Вер», вышедшую на русском языке в вольной переделке Княжнина под заглавием «Попугай». В том же году в статье «О поэзии классической и романтической» Пушкин снова вспоминает сказки Лафонтена, рядом с которыми он ставит сказки Вольтера, нашего многочисленных подражателей. О «веселых сказках» Лафонтена и «прелестных безделках» Вольтера Пушкин позднее говорит в статье «О ничтожестве литературы русской». В заметке о Мюссе Пушкин с похвалой отозвался о его итальянских сказках (contes).

Высказывался Пушкин и о русских образцах этого жанра. Так, в послании «Моему Аристарху» (1815) юный поэт критически отзываясь о «сказочках» одного из самых плодовитых «сказочников» Д. И. Хвостова, признавая их «довольно скучными». Иначе Пушкин расценивает сказки Дмитриева, называя их «прелестными» (XI, 99), а «Модную жену» — «прелестным образцом легкого и шутливового рассказа» (XI, 156).

⁴ Н. Остолопов. Словарь древней и новой поэзии, ч. I. СПб., 1821, стр. 148—149.

⁵ Там же, стр. 151.

Пушкин подходил к понятию сказки и в творческой практике. Еще в связи с «Кавказским пленником» ему приходила в голову мысль о сказке как о возможном обозначении жанра названной поэмы. Для поэта не был еще ясен новый жанр романтической поэмы, и он пишет Гнедичу 29 апреля 1822 г. в связи с предполагаемым изданием поэмы: «Назовите это стихотворение сказкой, повестью, поэмой или вовсе никак не называйте» (XIII, 37). Здесь интересно не только возможное название жанра, но и соседство, в каком оно дано.

Кроме шутовых поэм можно назвать два произведения Пушкина, связанных с интересующим нас жанром. Одно из них — стихотворение «Недавно бедный мусульман» (1821), представляющее собою незаконченный вольный перевод стихотворной сказки французского поэта Сенесе «Каймак». Для жанра здесь характерна нередкая в сказке «восточная» тематика в шутивно-ироническом освещении и вольный ямб как метрическая форма. Другое произведение, свидетельствующее об интересе Пушкина к жанру сказки, — «Сапожник» (1836). Правда, автор называет свое произведение не сказкой, а притчей. Но, как уже говорилось, эти названия употреблялись синонимически. Близость притчи Пушкина к жанру сказки подтверждается и тем, что сходный сюжет — о сапожнике, судящем о произведении искусства со своей профессиональной точки зрения, встречается в русской сказке до Пушкина: у Хераскова есть сказка «Живописец и сапожник».

Но в основном жанр сказки нашел у Пушкина отражение и развитие в шутовых поэмах, особенно в «Графе Нулине». Защищая от ханжеской критики свою поэму, Пушкин дает большой перечень «творцов шутовых повестей»: Ариосто, Боккаччо, Лафонтен, Касти, Спенсер, Чосер, Виланд, Байрон; из русских поэтов — Богданович, Дмитриев, Державин. В той или иной мере Пушкин примыкает к традициям, связанным с перечисленными именами. Но среди этих традиций первое место принадлежит сказке, которой во многом, даже в основном, определяется жанровый генезис шутовых поэм Пушкина.

Какие же особенности жанра сближают шутовые поэмы Пушкина со сказкой?

Сказка заимствовала темы и сюжеты из повседневной жизни, рисовала обыденную действительность, создавала картины в манере «фламандской» живописи. По этому пути идет и Пушкин в шутовых поэмах, изображая «низкую» действительность, вводя в поэзию «презренную прозу», рисуя «фламандской школы пестрый сор».

Сказка вводила в поэзию нового — «низкого» — героя. Основное место в качестве персонажей сказки занимают представители непривилегированных сословий, трудовой люд: крестьянин, работник, батрак, слуга, повар, портной, дворник, скотник, сапожник, извозчик, каменщик, плотник и т. д. Авторы сказок сделали

предметом художественного изображения ту общественную среду, куда очень робко заглядывала литература того времени. А. Бестужев писал об А. Измайлове: «Он избрал для предмета сказок низший класс общества и со временем будет иметь в своем роде большую цену как верный историк сего класса народа».⁶ Эти слова критика-декабриста можно отнести и ко многим другим сказочникам. Там же, где автор сказки заимствует «героя» в среде дворянства, чиновничества или купечества, он создает отрицательные образы, не жалея темных красок. В шуточных поэмах Пушкина мы видим и то и другое: в «Графе Нулине» он сатирически изображает дворянскую среду, а в «Домике в Коломне» знакомит читателя с демократическими персонажами и их незатейливым бытом.

Под влиянием французской сказки (*conte*) русские авторы часто разрабатывают любовный сюжет, не избегая и фривольности. Нередко при этом сказка приобретает авантюрный характер, а сюжет становится своего рода анекдотом. С подобным сюжетом мы сталкиваемся и в шуточных поэмах Пушкина.

Трактовка характеров и сюжетов очень часто принимает в сказках сатирический характер. Осуждаются бытовые и моральные пороки: щегольство, мотовство, галломания, неверность супругов, погоня за богатством и т. д. Бытовая сатира нередко перерастает в общественно-политическую: критикуется взяточничество, продажность чиновников, несправедливость судей, жестокость помещиков и т. д. Среди персонажей, наделенных подобными пороками, законное место занимает и граф Нулин, промотавший в вихре моды «свои грядущие доходы», везущий «из чужих краев» бесчисленные предметы модного туалета и новейшей «культуры»: «ужасную книжку Гизота», «новый роман Вальтер-Скотта», «последнюю песню Беранжера», «мотивы Россини», «et cetera, et cetera».

В «Домике в Коломне» — поэме, рисующей жизнь простых людей, нет разящей сатиры «Графа Нулина», а преобладает шуточно-иронический тон, в котором иногда слышатся ноты сочувствия маленькому человеку. Такая манера повествования характерна и для многих сказок.

Жанровой особенностью сказки можно признать и роль автора в ней. Занимая определенную позицию в оценке изображаемого, сказочник не остается в стороне, но прямо выражает свое отношение к людям и событиям. Так сказка усваивает прием басенной «морали», формулирующей определенный общественно-моральный тезис, для которого сюжет басни является иллюстрацией и аргументацией. В отличие от басни сюжет сказки имеет более самостоятельное значение, а «мораль» не является обязательной. В этом случае нравоучение скрывается в самом развитии действия и развязке, а иногда и вовсе отсутствует.

⁶ А. А. Бестужев-Марлинский, Сочинения в двух томах, т. 2, Гослитиздат, М., 1958, стр. 528.

Блестяще эту манеру морализации применил Пушкин в шуточных поэмах. «Граф Нулин» заканчивается похвалой в честь верных жен, иронически помещенной вслед за неожиданно появляющимся в поэме образом молодого соседа Лидина, который вместе с Натальей Павловной смеялся над ее ночным приключением. «Домик в Коломне» заканчивается откровенной пародией на «мораль», которой ждут от автора читатели.

Роль автора в сказке не сводилась к морализации. В качестве рассказчика автор вмешивался в повествование, допускал различные отступления от последовательного изложения событий, шутил с читателем и героем. И эта композиционная функция автора-рассказчика великолепно развита Пушкиным в шуточных поэмах.

Характерным для сказки стал прием неожиданной, нарочито заостренной, «разительной», по терминологии Остолопова, развязки (то, что во французской поэтике называется *pointe*). Например, в одной из сказок Панкратия Сумарокова супруг, собираясь в путь, просил жену хранить верность, иначе у него на лбу вырастут «бычачьи роги»; встречая возвратившегося мужа, жена,

... не видя рог, забывшись, вскричала:

«Так забодать меня ты в шутках знать страдал».⁷

Подобное заострение сюжета непредвиденной развязкой дано и в «Графе Нулине» намеком на отношения между «супругу верной» Натальей Павловной и Лидиным. Намеком на возможность дальнейших любовных приключений Параша заканчивается «Домик в Коломне»:

У красной девушки и у старушки
Кто заступил Маврушку? признаю,
Не ведаю и кончить тороплюсь.

(V, 93)

Авторы сказок придавали большое значение художественно-речевым принципам избранного ими жанра. Эти принципы, в равной мере для басни и сказки, сформулировал — на основе изучения длительной традиции обоих жанров — А. Измайлов. Основное здесь — простота басенно-сказочного слога, которая, по Измайлову, «состоит в том, когда сочинитель изъясняется в немногих и обыкновенных словах и выражениях». А обыкновенные слова — это те, которые «употребляются в повседневном разговоре и понятны для людей всех вообще состояний одной нации».⁸ Это было эстетическим утверждением простого слога в поэзии, в речи стихотворной. А этот принцип открывал доступ в сказку словам и выражениям, которые господствующей теорией признавались

⁷ Иртыш, превращающийся в Иппокрену, 1789, сентябрь, стр. 26.

⁸ А. Е. Измайлов. О рассказе басни. В кн.: Полное собрание сочинений А. Е. Измайлова, т. 2, М., 1890, стр. 360—361.

«низкими». Русские сказочники в этом направлении шли достаточно далеко и достаточно смело, не злоупотребляя, однако, вульгаризмами, как это было свойственно комической поэме. «Приятен в сказке слог *шутливый*», — писал в «Бахарияне» Херасков, определяя общий характер речевого стиля этого жанра.

Очень важным элементом художественного языка сказки является речь персонажей. Сказке принадлежит едва ли не первое место среди тех поэтических жанров, в которых речь персонажа стала отличаться от речи автора и обнаружила некоторую зависимость от говорящего лица.

Все эти стилистические принципы сказки нашли дальнейшее развитие в шутливых поэмах Пушкина, чем подтверждается генетическая связь этих жанров.

Связь шутливых поэм Пушкина с жанром сказки была ясна и Белинскому. Так, определяя жанр поэмы Тургенева «Помещик», критик пишет, что «первое произведение такого рода в русской литературе принадлежит Дмитриеву, автору „Модной жены“... Для нашего же времени Пушкин дал образцы таких произведений в „Графе Нулине“ и „Домике в Коломне“». ⁹ В другом месте Белинский прямо называет сказками шутливые поэмы Пушкина (VIII, 64).

Но Белинский со свойственным ему историзмом мышления рассматривает шутливые поэмы Пушкина как новый этап в развитии жанра сказки, точнее — как новый жанр. Отсюда — утверждение критика, что «сказка вроде „Модной жены“ и „Причудницы“ Дмитриева... давно отжила свой век» (VIII, 64). Устарела традиционная, в известной мере условная даже в лучших образцах форма сказки. Утверждение реализма в русской литературе потребовало перестройки жанра. Белинский верно характеризует и то направление, в котором Пушкин видоизменял жанр сказки. Если сказка за долгие годы своего существования переживала закономерный для каждого жанра процесс модификации и при этом оставалась сказкой, то теперь, в эпоху реализма, сказка вступила на путь трансформации, приведший ее к превращению в стихотворную повесть.

Критик указал и некоторые признаки, отличающие повесть в стихах от сказки. В «Графе Нулине», как пишет Белинский, Пушкин создал *типы*, т. е. глубоко обобщенные и ярко индивидуализированные характеры, воплощенные средствами реалистического искусства. Такова, например, Наталья Павловна — «тип молодой помещицы новых времен, которая воспитывалась в пансионе, в деле моды не отстает от века, хотя живет в глуши, о хозяйстве не имеет никакого понятия, читает чувствительные

⁹ В. Г. Белинский, Полное собрание сочинений, Изд. АН СССР, т. IX, М., 1955, стр. 567. При дальнейших цитатах из Белинского том и страница данного издания указываются в тексте.

романы и зевает в обществе своего мужа — истинного типа степного медведя и пса» (VII, 426—427). Сказка только нащупывала путь к реалистической типизации, оставаясь в плену схематизма и натурализма.

С проблемой типизации в сказке и повести в стихах была связана более широкая художественная задача: построение реалистической «модели» действительности. «В этой повести, — пишет Белинский о «Графе Нулине», — все так и дышит русского природою, серенькими красками русского деревенского быта» (VII, 427). «„Граф Нулин“, — продолжает критик, — есть целая галерея превосходнейших картин фламандской школы» (VII, 429). И в этом отношении сказка только еще расчищала путь для повести в стихах среди жанров, фактически «преображающих» действительность.

Отличает повесть в стихах от сказки и иное соотношение в этих жанрах шутового и серьезного как эстетических категорий. Сказка тяготела к шутивно-иронической, комической трактовке персонажей и сюжета. По словам Белинского, сказка «в особенности требует юмора» (VIII, 64). Это требование сохраняет свою силу и в отношении пушкинских «сказок», или *шутливых* поэм. Белинский справедливо заметил, что поэма «Граф Нулин» «исполнена ума, остроумия, легкости, грации, тонкой иронии...» (VII, 429). Что же касается повести в стихах, то, не избегая, где это уместно, шутивно-иронического тона, она в основном подчиняется иному принципу: здесь преобладает серьезное начало. Таким, по-видимому, должен был стать «Езерский» Пушкина — повесть или роман в стихах. Такими были многочисленные стихотворные повести, сменившие в 40-х годах романтическую поэму (Огарев, Аполлон Григорьев и др.).

Знаменательной для процесса перерастания сказки в стихотворную повесть является одна из поздних «сказок» — «Тамбовская казначейша» Лермонтова. Связь своей поэмы с жанром сказки осознает и автор. В начале он говорит:

Пишу Онегина размером;
Пою, друзья, на старый лад.
Прошу прослушать эту сказку!,

а в конце замечает:

И вот конец печальной были
Иль сказки — выразусь прямой.¹⁰

Шутивное «пою», «старый лад» как стилевая ориентация, «быль» в качестве синонима к «сказке» — всем этим подтверждается, что Лермонтов жанровый генезис своей повести в стихах

¹⁰ М. Ю. Лермонтов, Сочинения в шести томах, т. 4, Изд. АН СССР, М.—Л., 1955, стр. 118, 142.

связывал со сказкой в традиционном значении этого слова. Однако наличие в образе героини и в развязке «Тамбовской казначейши» серьезного, даже драматического элемента образует заметную грань между этим произведением и традиционной сказкой. «Тамбовская казначейша» становится повестью в стихах, отвечая процессу развития реализма в русской литературе. Это делает понятным утверждение Белинского, высказанное им в обзоре «Русская литература в 1843 году», что «сказка вроде „Графа Нулина“ Пушкина и „Казначейши“ Лермонтова может здравствовать и теперь» (VIII, 64). Возможно, что и заглавием «Сказка для детей» Лермонтов связывал свою реалистическую повесть (или роман) в стихах с той же традицией.

В наши задачи не входит изучение всех жанровых традиций, с которыми связана шутивная поэма Пушкина. Мы пытались показать *один* из источников этого жанра. Сам Пушкин в связи с «Графом Нулиным» назвал и другие виды «легкого и веселого» в поэзии. Но произведенные выше сопоставления дают право утверждать, что непосредственно и более всего жанровый генезис шутивных поэм Пушкина определялся жанром сказки.

«ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН» — ОСНОВОПОЛАГАЮЩЕЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ КРИТИЧЕСКОГО РЕАЛИЗМА

Литература об «Евгении Онегине» громадна и увеличивается с каждым днем. Появляются все новые переводы пушкинского романа на иностранные языки. И у нас, и за нашими рубежами выходят все новые исследовательские и критические работы, ему посвященные. В той или иной мере к этому приобщились едва ли не все наиболее видные советские пушкинисты, да и многие литературоведы, специально Пушкиным не занимающиеся.

И все же не только далеко не все исследовано и прояснено в пушкинском стихотворном романе, но до сих пор нет сколько-нибудь окончательного, общепризнанного решения, казалось бы, кардинального вопроса, к какому же большому литературному направлению следует его относить. А решение это необходимо, ибо от него прямо зависит создание той или иной общей концепции русского литературного процесса XIX в. На сегодняшний день существуют по меньшей мере три точки зрения по этому вопросу. Первая, и до недавнего времени наиболее общепризнанная: «Онегин» — явление реалистического искусства слова; вторая: в первых главах «Онегина» автор — еще художник-романтик, в дальнейших (чаще всего называется как исходная 5-я глава) — уже художник-реалист; третья: «Онегин» — произведение романтическое. Подобная разноголосица производит прямо тяжелое впечатление. Тот, кто склонен отрицать за современным литературоведением сколько-нибудь серьезное научное значение, получает полную возможность сослаться на данный случай как на весьма яркое подтверждение «удручающей приблизительности» (слова Ю. М. Лотмана) нашей науки. Несомненно, связано это и с одним из действительных недугов ее — отсутствием четкой и элементарно необходимой общеобязательной терминологии, в частности крайней неопределенностью и путаницей в отношении таких основных литературоведческих понятий, как романтизм и реализм. Отмечу, кстати, что именно на надлежащем анализе «Онегина» эти понятия и термины, их обозначающие, могут быть в значительной степени прояснены и уточнены.

Но, помимо только что сказанного, есть еще одна, и в данном случае особенно существенная, причина: исключительное идейно-эстетическое богатство пушкинского романа в стихах и обусловленная этим чрезвычайная сложность, своеобразие его художественной структуры, закономерно возникающей под рукой великого мастера именно в таком виде на определенном этапе его творческого пути и в определенный момент исторического развития прежде всего русской, но и всей вообще мировой литературы.

Каждое настоящее литературное произведение — целостный, живущий своей самостоятельной жизнью, обладающий своим внутренним «кровообращением» художественный организм, не нуждающийся ни в чем другом для его непосредственного эстетического восприятия. Но вместе с тем оно всегда и часть некоего гораздо большего целого, входит в гораздо более обширную систему, в контекст всего творчества писателя, в свою очередь являющегося частью еще более обширной структуры — национального и, наконец, мирового литературного развития. Для наиболее полного понимания его именно в подобной большой перспективе и надлежит его рассматривать.

Особенно относится только что сказанное к такому произведению, как «Евгений Онегин». Чтобы наиболее полно и точно понять его значение, необходимо осознать его в стремительнейшем движении, динамике развития всего пушкинского творчества, в котором он занимает не только исключительно большое по времени, но и центральное по своему значению место. В самом деле, Пушкин, фигурально говоря, не перестал бы все же быть Пушкиным, если бы до нас не дошло или вообще бы не существовало любое из его произведений. Но он не был бы им без «Евгения Онегина».

Замысел романа в стихах возник и работа над ним началась в один из самых острых и критических моментов духовного развития поэта. Пушкин находился в ту пору на распутье, точнее, на крутом переломе различных и вместе с тем органически связанных между собой планов своей жизни. 1823—1824 годы — пора тяжелых ударов по его политическому романтизму: крушение вольнолюбивых надежд на торжество европейских и отечественного освободительных движений — победу народов над королями, горькое осознание бесплодности своих вольнолюбивых «семян» — «либерального бреда». В свою очередь общественно-политический кризис был теснейшим образом связан с кризисом общего мирозерцания поэта, его — тоже романтического — отношения к действительности вообще (стихотворение «Демон»; «уроки чистого афензма»). Всем этим определялся и кризис собственно литературный: глубокая неудовлетворенность основным характером своего творчества последних лет, в особенности главной его линией — южными романтическими поэмами. Следствием этого триединого кризиса — политического, философского, литературного —

и вместе с тем выходом из него и было обращение к работе над «Евгением Онегиным».

В самый разгар работы над своим новым произведением Пушкин писал в дошедшем до нас отрывке письма, точный адресат которого до сих пор окончательно не установлен и которое сыграло такую печальную роль в его судьбе (ввиду особой важности еще раз приведу этот отрывок полностью): «... читая Шекспира и Библию, святой дух иногда мне по сердцу, но предпочитаю Гете и Шекспира. Ты хочешь знать, что я делаю — пишу пестрые строфы романтической поэмы — и беру уроки чистого афеизма. Здесь англичанин, глухой философ, единственный умный афей, которого я еще встретил. Он исписал листов 1000, чтобы доказать qu'il ne peut exister d'être intelligent Créateur et régulateur, мимоходом уничтожая слабые доказательства бессмертия души. Система не столь утешительная, как обыкновенно думают, но, к несчастью, более всего правдоподобная».¹

В отрывке этом ярко отразилась не только литературная (кстати, здесь впервые упомянут Пушкиным Шекспир), но и общепhilософская атмосфера, в которой поэт создавал первые «пестрые главы» своего стихотворного романа, причем это относится не только к вопросу о том, есть бог или нет бога и смертна или бессмертна душа. Противопоставление «более правдоподобного» «утешительному», жизни, как она на самом деле есть, с присутствующими ей реальными свойствами, с действующими в ней законами, мечтам о ней, хотя бы и куда более «сладостным», чем она сама, — новый принцип отношения поэта ко всей действительности вообще.

Именно этот-то новый принцип восприятия действительности, понимания ее и лег в основу пушкинского романа в стихах, являющегося (как это ни покажется на первый взгляд парадоксальным) произведением по существу своему глубоко философского характера. На всем протяжении «Онегина» звучат два голоса, вступают между собой в схватку два мирозерцания, мироотношения, которые, переводя их на язык художественной литературы, метафорически обращая в категории поэтики, Пушкин именует «стихами» и «прозой».

С полной ясностью и обнаженностью, в форме уже прямого диалога, поставлена проблема «стихов» и «прозы» в «Разговоре книгопродавца с поэтом».

* * *

Трудно, а пожалуй, и невозможно найти другое произведение, содержание которого определялось бы установкой автора на действительность, на наиболее полное и правдивое художественное ее

¹ А. С. Пушкин, Полное собрание сочинений, т. XIII, Изд. АН СССР, М., стр. 92.

изображение, и в которое вместе с тем вливались бы такими обильными струями элементы другого, собственно эстетического ряда — разнообразнейшие литературные реминисценции, образы, мотивы, суждения и высказывания автора о различных литературных явлениях, их критические оценки и т. п. В романе (считая и основной текст, и многочисленные варианты) Пушкиным упомянуто, а порой охарактеризовано около 200 писателей и произведений самых различных времен и народов от античности до буквально «сегодняшнего» — пушкинского — дня. Именно столь необычно большое присутствие подобного специфически литературного материала вводит в заблуждение некоторых критиков и исследователей, выдвигающих на этом основании положение, с одной стороны, о далекости от реальной жизни, сугубой «книжности», с другой — о несамостоятельности, подражательности пушкинского романа. На самом деле все это обилие собственно литературного материала свидетельствует не только об исключительной эрудированности Пушкина, не только является для него одним из способов характеристики духовного мира героев, но и выполняет еще одну, и притом крайне существенную, функцию.

Работая над «Онегиным», Пушкин все осознаннее ставил перед собой задачу, усиленно разрабатывавшуюся в западноевропейской литературе той поры, в творчестве Шатобриана, Бенжамена Констана, Байрона, — явить образ героя времени, «современного человека» (эта задача была поставлена поэтом уже в его романтической поэме «Кавказский пленник») и вместе с тем — здесь поэт был вполне оригинален — дать широчайшую, энциклопедическую, картину своей современности, эпохи новой европейской истории — образ «духа века», возникшего после и в результате французской революции конца XVIII столетия. О сознании самим Пушкиным грандиозности этого художественного задания, масштабах его свидетельствуют неоднократно возникавшие в нем по ходу работы над «Онегиным» и в высшей степени характерные аналогии с такими величайшими творениями художественного слова, как «Илиада» Гомера, «Божественная комедия» Данте, «Фауст» Гете. Соответственно этому и создание романа в стихах Пушкин осуществлял во всеоружии уже накопленного мирового художественного опыта, проявляя при этом исключительную широту, используя в своих целях наиболее «выгодные» стороны предшественников, к каким бы различным и даже враждовавшим между собой литературным «сектам» они ни принадлежали. Вместе с тем решить поставленную им перед собой задачу можно было только на соответствующих ей не традиционных, а находящихся «с веком наравне», «современных», но не байроновско-романтических (в этом убедила «неудача с „Кавказским пленником“»), а новых, еще не имеющих названия, никем не проторенных литературных путях. Их-то поэт и прокладывал в «Онегине». Отсюда и разнообразнейший специфически-литературный материал чаще

всего привлекался в роман для иронического, зачастую прямо пародийного от него отталкивания.

Пародийное начало вообще составляет существенную и своеобразнейшую часть сложной структуры «Онегина», что также подавало повод ко всякого рода неверным интерпретациям. Так, уже Надеждин считал тенденцию пересмеивать все на свете — и в жизни и в литературе — определяющей чертой дарования автора «Евгения Онегина», которого иронически именовал «пародийным гением». Справедливо подчеркивая, что «Онегин» насыщен пародической стихией, молодой Виктор Шкловский периода ОПОЯЗа рассматривал пушкинский роман в стихах как своего рода литературную «игру» в манере Стерна. А. Н. Соколов, не без основания усматривая сходство «Онегина» с ирои-комической поэмой, считал, что динамика жанра «Онегина» и представляет собой движение от нее к социально-психологическому роману. Однако на самом деле «Онегин» с самого начала был задуман и осуществлен как, если угодно, социально-психологический роман. Пушкин прямо подчеркивал ярко выраженное наличие в своем романе «шутливого» тона — стихии «легкого и веселого», горячо отстаивая в полемике вокруг «Онегина» с Рылеевым и Бестужевым ее право на существование в поэзии и ссылаясь на ряд образцов этого рода в литературах самых различных времен от Ариосто и Самуэля Батлера, автора ирои-комической поэмы XVII в. «Гудибрас», до Богдановича и Крылова. Специально — типологически — называет поэт в связи с «Онегиным» и такие произведения Байрона, как «Дон-Жуан» и «Беппо». Все эти произведения в той или иной мере отразились в пушкинском романе в стихах. Но есть у него в этом отношении, как мне уже приходилось не раз указывать, гораздо более близкий и непосредственный предшественник в его же собственном творчестве. В предисловии к первой главе «Онегина» Пушкин в качестве своего рода литературных координатов упоминает два свои произведения: ссылается на то, что характер главного лица «Онегина» «сбивается» на Кавказского пленника (позднее, как известно, он назовет Пленника «первым опытом характера», с которым «насилу сладил»), и тут же подчеркивает, что на романе лежит «отпечаток веселости, ознаменовавшей первые произведения автора „Руслана и Людмилы“». Мало того, в самом начале первой главы, знакомя читателей со вторым «опытом» этого характера — Онегиным, поэт прямо обращается к ним как к «друзьям Людмилы и Руслана». Эти подчеркнутые упоминания в высшей степени знаменательны, являются своего рода ориентиром, направляющим внимание читателей в определенную сторону. В самом деле, если произвести несомненно нарочито подсказываемое Пушкиным сопоставление трех произведений — «Онегина», «Пленника» и «Руслана», — нетрудно заметить, что вся первая, да и не только первая, глава романа в стихах не что иное, как переключение образа и характера главного лица, намеченного

в романтической поэме Пушкина, да в значительной степени и сюжета последней, в иной, «прозаический» ключ, переключение путем шутливо-пародийного, в духе и манере «Руслана и Людмилы», их переименования. Именно в настойчивом употреблении приема подобных переключений и состоит функция столь ярко выраженной литературно-пародийной стихии романа, являющейся в руках автора своего рода постоянным оружием для утверждения «от противного» своего собственного, отличного от всех до того бывших, глубоко новаторского, реалистического пути.

Однако особенно энергичный характер отталкивания от предшественников имеет место тогда, когда между пушкинским романом и теми или иными литературными явлениями существует преемственная связь. Бесспорная, особенно ощутимая связь этого рода имеется, конечно, между «Онегиным» и байроновским «Дон-Жуаном». И вместе с тем с наибольшей силой поэт отталкивается в своем романе именно от творчества Байрона и одновременно от созданного в духе и манере восточных поэм Байрона своего собственного «Кавказского пленника».

Одним из основных водоразделов между различными, особенно противоборствующими, литературными направлениями является метод типизации. В одной из заметок о Байроне («Анг<лийские> критики оспаривали...») Пушкин пронизательно устанавливает непосредственную связь между крайне индивидуалистическим мировоззрением Байрона («бросил односторонний взгляд на мир и природу человечества, потом отвратился от них и погрузился в самого себя»²) и его методом художественной типизации: подмена объекта субъектом, «вторичное» создание себя в образах своих героев — романтически замаскированных «призраков» все одного и того же авторского «я». Таким же методом создан был и «характер» Кавказского пленника. Именно с самого главного — с отталкивания от этого метода, с разъединения объекта и субъекта, отделения героя от автора, т. е. с выработки, в отмену и в противовес «последнему слову» тогдашней европейской литературы — субъективно романтическому методу Байрона, метода новой, объективно-реалистической типизации и начинает Пушкин работу над своим романом. Этому посвящена с самого начала и до конца вся первая его глава, которая не только является «быстрым введением» в «предмет» романа — сюжетное его содержание, но и устанавливает новую методологическую основу произведения. С установления этой основы, значит именно с первой же главы, и начинается реализм «Евгения Онегина», реализм творчества Пушкина вообще. И это тем более важно, что разъединение автора и героя носит не только декларативно-теоретический характер, не только на протяжении всей главы автор не перестает под-

² А. С. Пушкин, Полное собрание сочинений, т. XI, стр. 51.

черкивать «разность» между собой и героем, но он доводит это до сознания читателя и непосредственно-образно — на языке искусства: вводит самого себя в качестве «доброго приятеля» героя, на эстетически равных правах с ним, в фабульную ткань романа.

Для одного из новейших исследователей подобное смешение двух планов — вымысла и реальности — является чуть ли не решающим аргументом в пользу отнесения «Евгения Онегина» к романтическому направлению. Однако на самом деле такое действительно характерное для романтиков смешение в данном случае выполняет совсем иную и, если не подходить к искусству с меркой примитивно понимаемого правдоподобия, по существу своему реалистическую функцию. У немецких романтиков произвольное смешение фантазии и реальности стирало границы между материально существующей действительностью и мистическими мирами иными. В творчестве Байрона, как и в «Кавказском пленнике» Пушкина, объект-герой субъективировался: из существующего «по себе» самостоятельного живого лица превращался в «призрак» автора. В «Евгении Онегине», наоборот, субъект-автор сам объективируется, а, будучи включен в круг персонажей романа, тем самым теряет значение некоего демиурга, стоящего над сотворенным им миром и произвольно всем распоряжающегося, становится лишь частью построенной им художественной «модели» мира — объективно существующей действительности — и вынужден, если хочет осуществить поставленное перед собой творческое задание, дать наиболее верное и правдивое художественное воссоздание своей современности, следовать наравне с остальными персонажами законам, этой объективной действительностью управляющим. Здесь Пушкин прямо противостоит уже не только методу «поэта самости», как назвал Байрон Баратынский, а и его одностороннему, эгоцентрическому мирозерцанию. В то же время введение себя в круг персонажей не только не разрушало, в особенности в восприятии современников поэта, иллюзию реальности жизни, предстающей в романе, а, наоборот, усиливало эту иллюзию, придавая еще более непосредственно ощутимую достоверность и полноту созданной в романе широчайшей исторической картине своего времени.

То, что автор с самого же начала поставил себя бок о бок с главным героем, давало особый — и опять-таки сугубо реалистический — характер и такой важнейшей, органически неотъемлемой части произведения, как лирические отступления, словно бы тоже являющиеся одной из характерных примет романтического искусства. Ведь читателям звучал в них «голос» не некоего условного автора-повествователя (такого в романе — Пушкин всячески это подчеркивал — нет), находящегося вне мира героев, в совсем ином по отношению к ним измерении, а голос того самого «Александра Сергеевича Пушкина», который в белые петербургские ночи 1819 г. на набережной Невы обменивался со своим другом Евге-

нием Онегиным думами и мечтами, того «Александра Сергеевича», второй, на этот раз уже реальный, друг которого, Петр Андреевич Вяземский, позднее сумел в одной из московских гостиных занять душу тоскующей по Онегину Татьяны. Тем самым и этот романтический прием также получал как бы объективированное, очень точно, конкретно-исторически определенное звучание.

Наличие в «Евгении Онегине» только что указанных, да и некоторых других примет романтического искусства и вместе с тем переключение их в иной, реалистический, план тоже является специфичнейшей чертой романа, определенным данным этапом творческого развития Пушкина. Четко осознав незадолго перед началом работы над романом в стихах невозможность решить поставленную художественную задачу средствами и приемами романтического искусства, Пушкин вместе с тем еще не был тогда уже «готовым» художником-реалистом. Реализм как новое миропонимание, новое — «прозаическое» — восприятие действительности, отношение к ней и в соответствии с этим — как новая поэтика, новая художественная система возникает и утверждается в непосредственном противопоставлении, как бы в непрерывных спорах с тут же присутствующими прежними романтическими миропониманием и поэтикой, в «пестрых главах» самого произведения, причем далеко не всегда «романтическое» — уже «утраченные» самим автором «иллюзии» — является только объектом пародии, во многом продолжая сохранять свое эстетическое обаяние. Вместе с тем романтические декорации неизменно сменяются реалистическими, причем на наших глазах, так сказать, при открытом занавесе. Борение «стихов» и «прозы» как философских и эстетических категорий, точнее, движение от «стихов» к «прозе» определяет всю структуру пушкинского романа, присуще всем компонентам его: динамике художественной мысли, жанру, сюжету, развитию характеров, композиции, стилю.

В ходе романа «лед» гасит «пламень», «проза» убивает «стихи». В то же время побеждающая «проза» не перестает быть поэзией, а лишь обретает новое качество, становится, по известному самоопределению Пушкина, «поэзией действительности» — новым реалистическим направлением в литературе.

Определение романа как «поэзии действительности», по мнению некоторых исследователей, выводит его за пределы критического реализма. Между тем смысл этого определения в установке литературы на реальную действительность, в праве поэта включать в мир своего творчества все многообразие бытия: где жизнь — там и поэзия. Но поэзия и поэтизация — понятия не тождественные. Правдивое изображение объективной действительности не только не исключает, а, наоборот, предполагает критическое отношение ко многим ее сторонам. И роман в стихах насквозь пронизан критицизмом. Критицизм «Онегина» направлен не только на современный ему общественный уклад — «свет», «толпу»

(это было общим местом и романтизма), но и на героя, им противостоящего, больше того, на «современного человека» вообще, а потому в какой-то — и немалой — степени и на самого себя — автора. Недаром ирония во всем богатстве ее оттенков и переливов — от веселой насмешки до грустной улыбки, от легкой шутки до беспощадного сарказма — является неизменным музыкальным аккомпанементом «Онегина», образуя вместе с другим ведущим — лирическим — его началом, в теснейшем переплетении с ним, «полусмешную, полупечальную» ткань пушкинского романа в стихах, в котором в шуточной форме идет речь о вещах весьма серьезных, ставятся и решаются важнейшие проблемы жизни и литературы.

Но и ирония романа существенно отличается как от разрушительного, «демонического» смеха кумира юных лет Пушкина, «великана» французской просветительной философии Вольтера, и его многочисленных последователей до Байрона включительно, так и от мистической иронии немецких романтиков, призванной подчеркивать относительность, иллюзорность земного существования. В «Евгении Онегине» ирония носит реалистический характер. В нем тонкими, ироническими контурами обведено все мелкое, ничтожное, пошлое, искусственное и в человеке, и в отношениях между людьми, в жизни общества. В то же время роман в стихах — апология, утверждение в качестве единственно реальной действительности «земного» бытия, эстетическое, а по существу и философское оправдание естественного хода вещей, непреложных, хотя порой и глубоко трагических (например, неизбежность смерти) законов мироздания.

* * *

В «Евгении Онегине» не только «снимается» с помощью все той же иронии романтизм («стихи» переключаются в «прозу»), в нем Пушкиным вырабатываются основные средства и приемы нового, реалистического искусства слова, своего рода лабораторией которого он и является.

Как и многие другие значительнейшие пушкинские произведения, роман в стихах не дал прямого литературного потомства, действительно оказался, в самом полном смысле этих слов, единственным и неповторимым. Но значение главного, центрального творения Пушкина в том, что именно в нем русская литература в наибольшей мере становится литературой реалистической, что именно к роману в стихах в максимальной степени относятся известные формулы сначала Гончарова, затем Горького: в нем действительно собраны воедино все зачатки и семена, он в самом деле является началом всех начал — всех основных, возникающих в процессе дифференциации пушкинского монолитного целого течений русского реализма XIX столетия.

К ТВОРЧЕСКОЙ ПРЕДЫСТОРИИ

«ГОРЯ ОТ УМА»

(КОМЕДИЯ «СТУДЕНТ»)

Ни одна из ранних пьес Грибоедова не может вызвать большего интереса, чем комедия «Студент», так как в ней справедливо находят элементы бытовой сатиры и отдельные образы, предвосхищающие бессмертные типы «Горя от ума». Но между тем дошедшая до нас в единственном (катенинском) списке с пометой «сочинение А. Грибоедова и П. Катенина (1817)»,¹ не оставившая следов ни в бумагах соавторов, ни в свидетельствах современников, напечатанная полностью спустя семьдесят лет после ее создания, комедия эта до сих пор остается произведением во многом загадочным. Вполне очевидной кажется лишь полемическая направленность пьесы: в «пиитических» тирадах ее героя, Беневольского, пародировались творения поэтов-арзамасцев. Наряду с этим утверждение, высказанное еще И. А. Шляпкиным: «Имя Беневольский у А. С. Грибоедова взято от псевдонима Ювенал Беневольский, которым в „Северном наблюдателе“ подписывался Загоскин»,² — утверждение, которое не вызывало обычно сомнений, представляется нам не только ошибочным, но и затмевающим историю создания комедии «Студент».

Появление пьесы Грибоедова и Катенина связано с одним мелким эпизодом журнальной борьбы, очень характерным для литературного быта той эпохи, когда границы отчаянно враждовавших между собой творческих группировок были по сути дела зыбки и неустойчивы; бурное на поверхности литературное брожение скрывало до поры до времени глубинные течения, определившие в конечном счете направление всего литературного процесса в России XIX в.

В январе 1817 г. в Петербурге начал выходить журнал «Русский пустынный, или Наблюдатель оте-

¹ В рукописи последняя цифра исправлена из 8 (см. фотокопию между стр. 64 и 65 первого тома академического полного собрания сочинений А. С. Грибоедова под ред. Н. К. Пиксанова — тт. I—III, СПб.—Пг., 1911—1917). В дальнейшем произведения Грибоедова будут цитироваться по этому изданию с указанием тома и страницы в тексте статьи.

² А. С. Грибоедов, Полное собрание сочинений под ред. И. А. Шляпкина, т. II, СПб., 1889, стр. 516.

чественных нравов», просуществовавший ровно год (с июля 1817 года он выходил под названием «Северный наблюдатель»). Редактором этого еженедельного издания стал П. А. Корсаков, некогда член-сотрудник «Беседы любителей русского слова», а в то время помощник члена репертуарной части петербургского театра. Несмотря на то что по должности Корсаков подчинялся А. А. Шаховскому, страницы нового журнала были использованы для нападок на последнего, что отражало трения в дирекции театра, приведшие вскоре к отставке Шаховского. «Внутренняя война» велась редактором исподтишка (с использованием различных псевдонимов, под видом «писем в редакцию»³ и т. п.) и сочеталась с внешней: бывший сотрудник «Беседы» сближался с «арзамасскими литераторами», как о том свидетельствовали и появившиеся в журнале письма за подписью «Азий Непоседов. Арзамас»,⁴ и дружеские отношения, завязавшиеся между Корсаковым и К. Н. Батюшковым,⁵ и изменение оценки журнала со стороны «Арзамаса».⁶

Комедия «Студент» предназначалась, видимо, в качестве ответного выпада. В том, что образом главного героя авторы метили именно в Корсакова, убеждает сопоставление текста пьесы с материалами, опубликованными в журнале «Русский пустынный», а также с комедией Корсакова «Тетушка Маремьяна».⁷ Одним из псевдонимов редактора журнала было имя «Коломенского старожилы», история которого излагалась в соответствующем «письме»:

³ См. например, «Письмо родственника из Филадельфии»: «Горе тому, кто осмелится без советов его написать хотя строчку; он будет осмеян, обруган его приверженцами; одно то может быть хорошо, что напишет их властелин — или они под его руководством» («Русский пустынный», № 19, стр. 102). Понятно, что подобные выпады задевали не только Шаховского, но и близких к нему Грибоедова и Катенина.

⁴ «Русский пустынный», №№ 5 и 15, а также см. «Северный наблюдатель», где в № 10 помещено письмо за подписью «3.300. Арзамас» (Вигель?).

⁵ В письме к Е. Ф. Муравьевой Батюшков писал (в мае 1818 г.): «Тургеневу поклон, и прошу напомнить всем знакомым, особенно Корсакову, с которым знакомство так приятно и разлука столь тягостна» (К. Н. Батюшков, Сочинения, т. III, СПб., 1886, стр. 499). См. также объявление в № 2 «Северного наблюдателя» о подписке на «Опыты в стихах и прозе» Батюшкова.

⁶ Если в 1815 г. во вступительной речи С. П. Жихарев беспрепятственно бранит своего бывшего товарища по «Беседе», то спустя два года насмешки М. Ф. Орлова над журналом «Русский пустынный» аннулируются замечаниями самого автора: «Из всех журналов последний лучше иных. Я от критики отказываюсь» (Арзамас и арзамасские протоколы. Изд. писателей в Ленинграде, 1933, стр. 208).

⁷ «Тетушка Маремьяна, или Превращения», комедия в двух действиях, переделанная с французского Корсаковым (Государственная театральная библиотека им. А. В. Луначарского, шифр I.XIX.4.17). Впервые представлена пьеса была 29 апреля 1814 г. (П. Арапов. Летопись русского театра, СПб., 1861, стр. 226). В ней мы находим ряд сцен, пародийно использованных в «Студенте», — например, явление 8 действия 1, где Нарцисс принимает служанку за свою невесту (ср. явление 9 действия 1 в «Студенте»).

«Студент (нынешний старожил) сделался жителем петербургской Коломны. 30 рублей деньгами и два рекомендательных письма составляли все его имущество... Подобно древнему Цезарю мечтал и он прийти, увидеть, победить»⁸ и пр. Этот типаж был издевательски совмещен в комедии «Студент» с героем «Тетушки Маремьяны» («По сказкам знакомых его, Нарцис Романович есть Еруслан своего околodka... Он на низу родился, вскормлен и воспитан. Может быть, в нем есть и странности, но Москва его исправит. Сверх того, отец его мне старинный приятель, и я имею важные причины ускорить с этим браком» — действие 1, явление 1) — так был образован остов комедии «Студент», причем если идиотская декламация Нарциса Романовича пародировала авторов трагедий, то Евлампий Аристархович, естественно, был превращен в любителя легкой поэзии.

В качестве фамилии студента в комедии был использован псевдоним Корсакова: скорее всего, именно он был автором «Письма в редакцию» «Первое представление „Г. Богатонова, или Провинциала в столице“», а не Загоскин, как принято считать.⁹ Первый номер «Северного наблюдателя» вышел в начале июля; проще всего предположить, что работа над комедией «Студент» началась не раньше.¹⁰ Но тогда участие Катенина в исполнении замысла нужно признать ограниченным, так как уже 5 августа сводный гвардейский полк, в составе которого он находился, выступил в Москву и оставался там до середины следующего года.

Комедия «Студент» была известна Корсакову (может быть, представлялась в репертуарную часть театра, но в связи с отставкой Шаховского на сцене не появилась?). Как бы то ни было, явные реминисценции из нее мы находим в повести Корсакова «Тень и свет», напечатанной в журнале «Маяк» (1841, ч. XIV).

Относительно преимущественного авторства пьесы мы, вероятно, должны довериться Катенину, который в рукописи поставил на первое место фамилию Грибоедова. Непременным условием при решении этого вопроса должно явиться сравнение комедии «Студент» с другими произведениями ее авторов. «Не пошедшая в дело» пьеса при всех очевидных достоинствах в разработке характеров некоторых действующих лиц могла быть использована

⁸ «Русский пустынный», № 11, стр. 228. Разговор студента с хозяйкой напоминает беседу Беневоляского с Полюбиным (I, 77—78). Возможно, в комедии использованы и другие статьи журнала («Опыт светского словаря. Артист» — № 10; «Письма провинциального студента» — № 25).

⁹ На это указывал (предположительно) еще в 1898 г. П. В. Быков (М. Н. Загоскин, Полное собрание сочинений, т. I, СПб.—М., 1898, стр. XXVII), но замечание его прошло незамеченным в науке о Грибоедове.

¹⁰ Здесь появился псевдоним «Беневоляский»; в той же рецензии содержится рассуждение о неправдоподобности типов разбитных служанок в русских комедиях, обыгранное в «Студенте» (I, 88); наконец, в этом же номере журнала помещено стихотворение А. Пушкина «Певец», затронутое в комедии (I, 138).

в других произведениях. Однако в творчестве Катенина она, по-видимому, никакого следа не оставила: все его комедии — переводы и переделки с французского, и единственное совпадение со «Студентом» можно усмотреть лишь в пьесе «Нечаянный заклад» (1819), где взаимоотношения супругов психологически строятся отчасти так, как в исследуемой комедии. Это совпадение нельзя считать принципиально важным, так как «Нечаянный заклад» — довольно точный перевод из Седена.¹¹ Не то — у Грибоедова. В «Студенте» предвосхищены отдельные образы «Горя от ума», что уже отмечено многими исследователями.¹² Известно, как ревниво относился к своим творениям Катенин; если бы авторство основных характеров принадлежало ему, то он, ознакомившись с «Горем от ума», узнал бы свое и непременно бы это отметил. Между тем нет и намека на такое опознание в письмах Катенина к Н. И. Бахтину, где содержатся отзывы о комедии Грибоедова.¹³ Таким образом, если сюжет и главный герой «Студента» не были вполне оригинальными и представляли собою пародию на произведения Корсакова, то характеры Звездова, Полюбина, Саблина можно считать фактами грибоедовского творчества, а это в свою очередь делает правомерным сравнение образов «Студента» и «Горя от ума» в плане выработки Грибоедовым нового, реалистического метода изображения действительности.

Расстояние от «Студента» до «Горя от ума» лишь отчасти может быть оценено ростом чисто профессионального мастерства драматурга: в конце 10-х годов в творчестве Грибоедова наступает пауза. Но и вдали от шумной столицы с ее бурными литературными распрями творческая мысль поэта не затухала, билась над выработкой нового эстетического идеала — в этом, очевидно, разгадка известного замечания автора о «Горе от ума»: «Первое на-

¹¹ Ср. «Нечаянный заклад» Катенина (ГТБ им. Луначарского, I.XX.4.34) и «La gageure imprévue» («Oeuvres choisies de Sedaine», t. 1, Paris, 1813).

¹² Сходство Звездова с Фамусовым впервые отметил Алексей Н. Веселовский (Этюды и характеристики, М., 1894, стр. 508—509), в речах Беневоляского он же усматривал «первообраз молчалинских фраз»; на похоть некоторых сцен «Студента» и «Горя от ума» указывал С. Браиловский («Русский филологический вестник», 1895, т. 33, № 1—2, стр. 63—64); о Саблине как офицере «в духе Скалозуба» замечали О. Крамарева (А. S. Griboïedov, Sa vie — ses oeuvres, Paris, 1907, p. 164) и Б. В. Варнеке (История русского театра, ч. 2, Казань, 1910, стр. 109—110), последний также усматривал «в Звездове некоторое сходство с Репетиловым»; об образе Беневоляского как «типе Репетилова в эмбриональном виде» писал в наше время Ф. Бирюков («Вопросы литературы», 1959, № 2, стр. 103); анализ языка Звездова как стилистически близкого к фамусовскому дается в работе О. Е. Шелпиной «Роль и значение Грибоедова в истории русского литературного языка» (Львов, 1963, стр. 9—11); современный французский исследователь творчества Грибоедова также проводит параллель между «Студентом» и «Горем от ума» (см.: Jean Bonamont, A. S. Griboïedov et la vie littéraire de son temps, Paris, 1965, pp. 151—153).

¹³ Письма П. А. Катенина к Н. И. Бахтину. СПб., 1911, стр. 74, 76—78, 82.

чертание этой сценической поэмы, как оно родилось во мне, было гораздо великолепнее и высшего значения» (III, 100). Пьеса «Студент» была вполне заурядной для своего времени сатирической бытовой комедией, она обладала и некоторыми завоеваниями этого жанра, и характерными для него недостатками, однако при этом существовало мало уловимое, но значительное отличие ее от комедийной практики тех лет: ни один из героев комедии «Студент» не был защищен от авторской иронии. Это свидетельствовало об определенной не только художественной, но и общественной позиции драматурга и явилось отправной точкой его поисков нетрадиционного построения комедийных образов и сюжета. Представляется возможным восстановить если не сам этот процесс, то его основное направление.

Не вызывает, например, сомнения то, что образы Звездова и Фамусова восходят к одному и тому же прототипу, А. Ф. Грибоедову, дяде драматурга. Конечно, в обоих случаях мы имеем дело с художественным обобщением, хотя заметка Грибоедова «Характер моего дяди» убеждает в том, что многие черты этого характера отразились и в образе петербургского вельможи, и в типе московского барина. В первом из них многое идет от шаржа — «смесь пороков и любезности» (III, 118) показана в нем как внешняя, комическая черта. Упоминание о купленных за 12 тысяч картинах у шарлатана-итальянца и требование 25 рублей оброка с Фомки-плотника, соединенные в первом же монологе, вызывают лишь комическое впечатление явной нелепости поступков Звездова. Та же нелепость, вскрытая прямо, обнаженно, непосредственно, будет показана в каждой сцене с его участием, в самих его репликах («Да как же тебя узнать? вырос, постарел, помолодел» — I, 92; «Я немного посплю, а ты мне расскажешь кое-что о Казани» — I, 94). Он стремителен и легковесен, похож на большое балованное дитя, а между тем в нем уже присутствуют основные черты, которые определяют Фамусова: черты убежденного крепостника, бездушного карьериста, завязаного сплетника. Но увиден впоследствии этот характер крупнее, непримиримее, и главное — в бесчисленных его общественных связях. Внешне Звездов более значим в сюжете пьесы, чем Фамусов: капризы вздорного вельможи определяют все повороты действия; в «Горе от ума» действие не подчинено Фамусову, зато в другом отношении этот образ станет центральным в комедии — вся мозаика сатирических характеров, сценических и внесценических, здесь будет усиленным, развитым портретом того же Фамусова, в котором органически соединятся и спесь Скалозуба, и низкопоклонство Молчалина, и страсть к подлости Загорецкого, и т. д. Это подчеркивает ту высокую степень обобщения, которой достигает драматург, и, с другой стороны, пружиной сценических событий делает не интригу, хитро сплетенную одним лицом, и не иронический антипод интриги (капризы Звездова), а действие общественных сил.

В тех же линиях — от иронического отношения к сатирической непримиримости — шло углубление и образа Полюбина. Полюбин занимает в пьесе место «первого любовника» — обычно самого бледного характера в сатирической комедии, некоей необходимой сюжетной условности; пылкий вздыхатель, рекомендуемый другими героями как благородный молодой человек, он не принимал никакого участия в драматическом действии, которое тем не менее всегда устраивалось в его пользу или ловкой служанкой, или добрым дядюшкой, или напористым другом. Полюбин также вынесен в пьесе за скобки сценической интриги, но все же в «Студенте» Грибоедов явно отходит от рутинной традиции. Авторское сочувствие Полюбину не безусловно, оно борется с ироническим отношением к нему: на протяжении всей комедии в молодом человеке настойчиво подчеркивается умение подслужиться, что даже вызывает раздражение его друга, Саблина: «Ступай и подличай» (I, 97). Ничтожный Беневольский тоже (не без оснований!) замечает: «... он мне после угождал взорами, речами» (I, 82). Выражения «я только придерживался вашего мнения» (I, 105), «ваши слова могут служить наставлением» (I, 110) типичны для Полюбина; от этого уже недалеко до молчалинского «В мои лета не должно сметь Свое суждение иметь» (II, 56). Есть в ранней комедии и свидетельства о служебных успехах героя («не надобно столько прав, ни столько политики; я, как видите, ничего этого не проходил, а статский советник» — I, 78). Право же, он пошел дальше Молчалина, который всего лишь коллежский асессор, но если причина служебных успехов последнего для нас несомненна, то в Полюбине она достаточно не прояснена; общественного зла в нем еще не угадывается, он искренне влюблен и готов «идти и подличать» всего лишь из-за любви. И все же неожиданная трактовка несколько оживляет «первого любовника»; по-видимому, автор идет здесь от живых впечатлений, поэтому впоследствии эта черта характера будет подчеркнута резче, и тогда потребуется показать героя на службе, ибо станет ясно, что подлая угодливость взлелеяна там, где служат лицам, а не делу. Следуя логике характера, автор поймет, что искреннего чувства такой человек недостойн (по крайней мере, оно как-то оправдывало бы его) — услужливый влюбленный превратится в любовника «по должности».

Переосмысление характеров Звездова—Фамусова, Полюбина—Молчалина показательно в плане выявления сущности сатирической типизации. Сами по себе те или иные черты характера, формирующие образ, не несут в себе качества типического, если художник не понимает или не умеет показать отчетливо, какие — прежде всего социальные — условия его породили (так вежливость, предупредительность, практическая сметка могут быть — и обычно бывают — достоинствами человека, но в мире извращенных социальных отношений необходимо приобретают отрицательное

свойство). И то, что в Звезде и Полюбине лишь угадано, в Фамусове и Молчалине художественно определено.

Сложнее обстояло дело с эволюцией образа Саблина, так как выработка нового эстетического идеала не могла быть не связана с коренным переосмыслением положительного героя. Саблин согласно авторской трактовке — образ положительный. Повесегусар, чуждающийся света, любитель выпить и пошуметь, грубоватый, но искренний, в послевоенные годы вообще стал модным героем, особенно привлекавшим Грибоедова. В 1814 г. писатель (конечно, несколько позируя) замечал: «Признаюсь, моя логика велит лучше пить вино, чем описывать, как пьют, и кажется, что она хоть гусарская, но справедливая» (III, 7), а несколько позже восхищался Кавериним: «Он все такой же, любит с друзьями и наедине подвыпить, или, как он заявляет, тринкину задать» (III, 123). В этом ключе выдержан и Саблин, характер по тем временам довольно распространенный.¹⁴ Но чем дальше отодвигались события военных лет, тем больше переосмыслялся этот тип. В 1817 г. будущее Саблиных представлялось Грибоедову так:

Ты никогда гусарить не забудешь;
Все станешь вспоминать с восторгом старину,
И молодечество, и службу, и войну.
Я вижу уж тебя: ты в дядюшкины годы,
Как он в седых усах, пою славные походы,
Про Лейпциг, Кульм, Париж без памяти кричишь,
Без милосердия все новое бранишь,
Свой полк, своих друзей, свои проказы славяшь,
Повесам будущим себя примером ставяшь,
И сердисься, что рано устарел.

(I, 157)

Однако аракчеевские времена оказались более жестокими к подобным повесам, чем это можно было предполагать; недаром Платон Михайлович Горич выглядит намного скучнее, чем нарисованный выше портрет. Время ковало и не такие превращения.

Конечно, Скалозуб — не просто постаревший Саблин, но образ, переосмысленный в своей основе, хотя кое-что в повесе-гусаре уже предвосхищало «созвездие маневров и мазурки». Когда, вытalking слугу, Саблин кричит: «Вон! сейчас! не то пятьсот палок. Пришли его ко мне в эскадрон, братец. я его научу послушанью» (I, 137), мы вправе вспомнить Скалозуба. Слегка намечены в Саблине и карьеристские устремления — пока еще, правда, с оттенком шутки («мне бы, напротив, во сто раз было веселее, кабы вы

¹⁴ Вспомним, что некогда и Онегин был «повесой пылким» и «задавал тринкину» с Кавериним; в Саблине же слегка намечена «онегинская» разочарованность в свете.

попали прямо в полковники: вы так сухощавы, по всему судить, проживете недолго, скорей бы вакансия очистилась» — I, 87).¹⁵

С другой стороны, — и это объяснялось определенной преемственностью в трактовке положительного героя — в Чацком тоже сохранилось некое воспоминание о Саблине. Интересно отметить, что автобиографический штрих (упоминание о дядюшке — I, 98), мелькнувший в образе гусара, будет повторен и в «Горе от ума», в центральном монологе пьесы «А судьи кто?». В связи с этим особенно примечательно окончание монолога («Мундир! один мундир!» и пр.), где отражен прежний идеал не только Чацкого, но и Грибоедова. Однако поэт преодолел его и потому не жалеет саркастических слов. Несомненно, от Саблина до Чацкого «дистанция огромного размера», но если мы сопоставим идеалы молодого Грибоедова (например, «... хвала чиновнику, точному исполнителю должностей, радеющему о благе общем, заслуживающему признательность соотечественников и милость государя!» — III, 14) и идеалы, воплощенные в монологах Чацкого, станет очевидным, что полная безыдейность Саблина могла и должна была быть определенным положительным идеалом, как разрыв с официальной ортодоксией. Если же говорить о Чацком не как о литературном герое, знакомом нам по одному «безумному дню», а как о живом человеке в его реальном становлении, то надо признать, что некогда и он вел образ жизни, подобный саблинскому. Это заметно (особенно в раннем варианте комедии — см. «Музейный автограф») в 5-й и 6-й сценах третьего акта, где Чацкий, встречаясь с супругами Горичами, на миг становится тем, кем был в годы первого знакомства с ними, — повесой, гусаром.

Саблин, конечно, никогда не исчерпывал положительного идеала поэта (многое здесь шло попросту от моды), и потому взгляд юмориста, умевшего найти смешное в общепринятом, с течением времени углубится, наполнится гражданским гневом — и в сатирическом «увеличительном стекле» лицо не рассуждающего ни о чем военного глянет страшным оскалом аракчеевского служаки, преуспевающий на службе молодой человек окажется на все готовым подлецом, и появится сомнение: так ли уж плох человек, живущий поэтическими мечтами. И, взглянув на этих людей глазами их антагониста, автор словно всерьез задумается над шутовскими словами Беневоляского: «Ха! ха! ха! какой сюжет для комедии богатый. Как они смешны. Тот статский советник, а не читал ни „Сына отечества“, ни „Музеума“... А этот гусар... еще и

¹⁵ Ср. в «Горе от ума»:

Довольно счастливы я в товарищах моих,
Вакансии как раз открыты;
То старших выключат иных,
Другие, смотришь, перебиты.

(II, 32).

храбрится своей глупостью» (I, 82), — и бывшее шутовство внезапно обернется высокой поэзией:

Беневольский:

Вы, сударь, спрашивали, какие мои
виды вдаль? Вот они: жизнь свободная,
усмешка Музы — вот все мои
желания... Ни чины, ни богатство
для меня не приманчивы: что они
в сравнении с поэзией?

(I, 77)

Чацкий:

... Теперь пускай из нас один,
Из молодых людей, найдется: враг
исканий,
Не требуя ни мест, ни повышенья
в чин,
В науки он вперит ум, алчущий
познаний,
Или в душе его сам бог возбудит жар
К искусствам творческим, высоким
и прекрасным...

(II, 37)

Впрочем, внезапно ли?

Вызванная к жизни мелкой враждой литературных группировок, комедия «Студент» не отражала подлинной эстетической позиции Грибоедова в те годы. В 1815—1818 годах он был известен как автор легких комедий, даже родоначальник их на русской сцене. Салонная же комедия была по сути дела одним из жанров легкой поэзии, самым значительным мастером которой в России был Батюшков, и признавал это драматург или нет, он необходимо прошел через школу Батюшкова — пусть в меньшей степени, чем другой гениальный его современник, Пушкин, но также с заметной пользой для своего таланта.

В литературе уже отмечалось совпадение некоторых мыслей и сатирических образов Батюшкова и Грибоедова,¹⁶ обусловленное, вероятно, общностью отдельных художественных принципов. Действительно, сатира в творчестве Батюшкова, не занимая ведущего места, была далеко не случайной: собственно, уход в мир интимных отношений, провозглашенный как эстетический идеал, был в его поэзии своеобразным выражением несогласия с нормами и обычаями «железного века». И потому — с другой стороны — Грибоедов перекликается не только с сатирой Батюшкова, но и с его лирикой. Ср.:

Украсить жребий твой

Любви и дружества прочнейшими цветами,
Всем жертвовать тебе, гордиться лишь тобой,
Блаженством дней твоих и милыми очами;
Признательность твою и счастье находить

В речах, в улыбке, в каждом взоре;

Мир, славу, суеты протекшие и горе —

Все, все у ног твоих, как тяжкий сон, забыть!

Что в жизни без тебя? Что в ней без упования,

Без дружбы, без любви — без идолов моих? ..

И муза, сетуя, без них

Светильник гасит дарованья!¹⁷

¹⁶ Н. В. Фридман. Проза Батюшкова. Изд. «Наука», М., 1965, стр. 60—64.

¹⁷ К. Н. Батюшков, Полное собрание стихотворений, Библиотека поэта. Большая серия. Изд. «Советский писатель», М.—Л., 1964, стр. 200.

Этих строк (они не были тогда опубликованы) Грибоедов также не знал, и тем не менее его Чацкий говорил о том же:

Но есть ли в нем та страсть? то чувство?
пылкость та?
Чтоб, кроме вас, ему мир целый
Казался прах и суета.
Чтоб сердца каждое биенье
Любовью ускорялось к вам?
Чтоб мыслям были всем и всем его делам
Душою — вы? вам угожденье?
Сам это чувствую, сказать я не могу. . .
(II, 48)

Однако следует правильно понять смысл данного совпадения. Грибоедов в «Горе от ума» продолжает спор с легкой поэзией, начатый им в ранней комедии. Здесь уже нет «личностей», и не только потому, что спор переведен в высокую, принципиальную сферу, но и потому, что это вовсе не литературная полемика, а преодоление собственных эстетических противоречий. Лирическая сила этих строк лучше всяких доказательств подтверждает, что идеал, воспеваемый, в частности, поэзией Батюшкова, не был чужд и Грибоедову. Но весь ход комедии «Горе от ума» показывает, что мир интимных чувств, сама любовь (к ней, как к последней пристани, стремится Чацкий) не является надоблачной страной, которой не касалось бы тлетворное дыхание «железного века». Честно показав в «Горе от ума» не просто очередное, но и самое сокрушительное разочарование своего героя, драматург отнюдь не отрицает поэзии вообще; напротив, только поэзия признается теперь единственно достойной человека деятельностью — поэзия гражданского негодования. В последнем монологе Чацкий восклицает:

Мечтанья с глаз долой и спала пелена;
Теперь не худо б было сряду
На дочь и на отца,
И на любовника-глупца,
И на весь мир излить всю желчь и всю досаду,
(II, 99)

а Грибоедов своей комедией как бы исполняет обещание героя.

Указанное сходство — и различие — некоторых образов «Студента» и «Горя от ума» помогает лучше понять известное свидетельство С. Н. Бегичева: «Известно мне, что план этой комедии (т. е. «Горя от ума», — С. Ф.) был у него сделан еще в Петербурге 1816 года, и даже написаны были несколько сцен; но не знаю, в Персии или в Грузии, Грибоедов во многом изменил его и уничтожил некоторые действующие лица, а между прочим, жену Фамусова, сентиментальную модницу и аристократку московскую

(тогда еще поддельная чувствительность была в ходу у московских дам), и вместе с этим выкинуты и написанные сцены».¹⁸

Сорок лет тому назад Н. К. Пиксановым было высказано предположение, что это свидетельство относится не к «Горю от ума», а к другим опытам драматурга, не дошедшим до нас.¹⁹ Ему возразила М. В. Нечкина, относящая начало работы над «Горем от ума», вслед за Бегичевым, к петербургским годам жизни писателя.²⁰ Спору нет, Бегичев был хорошо осведомлен о жизни и творчестве своего друга. К тому же комедия «Студент» неопровержимо свидетельствует, как рано писатель начал обдумывать центральные образы своего шедевра. Но все-таки сатирические типы «Горя от ума» — вовсе не варианты юмористически очерченных персонажей ранней пьесы и были открыты на ином, значительно более высоком уровне творчества Грибоедова, и потому автор «Творческой истории „Горя от ума“» по существу прав. Образы Звездова, Полюбина, Саблина, являясь фактами грибоедовского творчества, тем не менее могут быть отнесены лишь к предыстории создания реалистической комедии Грибоедова.²¹

В глубоко переосмыслении образов и их реальных, обусловленных русской действительностью взаимоотношений и состоял шаг Грибоедова от «Студента» до «Горя от ума», шаг огромнейшего историко-литературного значения.

¹⁸ А. С. Грибоедов в воспоминаниях современников. Под ред. Н. К. Пиксанова. Изд. «Федерация», М., 1929, стр. 9.

¹⁹ Н. К. Пиксанов. Творческая история «Горя от ума». Госиздат, М.—Л., 1928, стр. 77.

²⁰ М. В. Нечкина. Грибоедов и декабристы. Изд. 2. Изд. АН СССР, М., 1951, стр. 176.

²¹ Приведенное выше свидетельство Бегичева о «жене Фамусова, сентиментальной моднице и аристократке московской», позволяет высказать гипотезу о том, что первоначально в «Студенте» на месте Звездовой действительно существовал такой типаж. В комедии Корсакова, сюжет которой до некоторой степени воспроизведен в «Студенте», тетушка Маремьяна именно такова. Такой же типаж мы находим и в комедии Загоскина «Роман на большой дороге» (1819), в которой И. А. Шляпкин находил сходство с комедией «Студент» (А. С. Грибоедов, Полное собрание сочинений, т. 2, СПб., 1898, стр. 516). С другой стороны, некоторые реплики Звездовой в значительной мере совпадают со словами переводной комедии Катенина «Нечаянный заклад» (1819), например: «Нет, господа, не спорьте; женщины найдут всегда средство управлять вами. Мы берем власть так неприметно, мы идем ее так постоянно и просто, ждем случая так спокойно, что она у нас в руках, а вы и не догадываетесь» (явление 16). Ср. с этим 4-е явление 3-го действия комедии «Студент». Изменения в тексте «Студента» могли быть, очевидно, сделаны в 1818 г. (или позже). Не ограничивалось ли этим все участие Катенина в работе над комедией «Студент»?

ПОЭМА В. К. КЮХЕЛЬБЕКЕРА «СЕМЬ СПЯЩИХ ОТРОКОВ» И ЕЕ ИСТОЧНИКИ

Поэма «Семь спящих отроков» написана В. К. Кюхельбекером в начале 30-х годов, в заточении, в Свеаборгской крепости. Поэт трудился над нею с перерывами в течение нескольких лет, втайне надеясь, что она в конце концов будет напечатана: ссылки на нее неоднократно встречаются в его дневнике и письмах между 1831 и 1835 гг. Исследователи творчества Кюхельбекера мало интересовались этой его поэмой, долгое время зная ее лишь по заглавию и предполагая, что текст ее до нас не дошел (он опубликован только в 1939 г.); этим объясняется также, что возникновение поэмы произвольно относили к самым различным годам. Между тем, если расположить в хронологической последовательности все известные в настоящее время авторские свидетельства о «Семи спящих отроках», мы сможем составить себе довольно отчетливое представление о том, как шла работа Кюхельбекера над созданием этого произведения.

«Моя маленькая поэма „Семь спящих отроков“ составляет третью главу „Декамерона“ и была начата и закончена уже здесь; ее взяли у меня 18 декабря 1831 г.», — писал Кюхельбекер своей старшей сестре и неустанной заботливой попечительнице, Юстине Карловне, из Свеаборга 21 марта 1833 г.¹ Исходя

¹ Литературное наследство, т. 59, 1954, стр. 415. Под общим заглавием «Русский Декамерон» Кюхельбекер задумал объединить несколько своих произведений, связав их в одно целое общим прозаическим обрамлением. Если поэма «Семь спящих отроков» должна была составлять третью главу нового «Декамерона», создававшегося в подражание Боккаччо, то для главы второй, как видно из того же письма Кюхельбекера, предназначалась его комедия «Нашла коса на камень», переделка «Укрощения строптивой» Шекспира, законченная еще в 1831 г. в Ревеле; восемь лет спустя (1839) Кюхельбекеру удалось выпустить ее в Москве отдельным изданием (см.: Вл. Орлов. Неизвестные книги Кюхельбекера. «Slavia», 1933—1934, гошп. XII, сеф. 3—4, стр. 483—485). Что касается главы первой, то ее составила поэма «Зоравель», сюжет которой был заимствован из библейской книги Эздры; рукопись ее доставлена Пушкину и с его ведома или согласия была издана отдельной книгой без имени автора («Русский Декамерон», 1831 г., изд. И. Ивановым, СПб., 1836). Описание ее см.: Ник. Смирнов-Сокольский.

из того, что в Свеаборгскую крепость Кюхельбекер был переведен из Ревельской цитадели в октябре 1831 г., можно заключить, что в своем первом варианте поэма написана между октябрём и декабрём 1831 г. Однако исправлениями и улучшениями первоначального текста Кюхельбекер занят был еще несколько лет в том же Свеаборге, от времени до времени возвращаясь к своей рукописи, начиная с середины 1833 г. «Завтра примусь . . . за выправку „Семи спящих отроков“», — гласит запись в дневнике Кюхельбекера от 4 мая 1833 г.² Новая запись о том же сделана через месяц, 7 июня 1833 г. «Принялся было за переправку „Семи спящих отроков“, но не повезло: увижу, что будет в субботу».³ Из последующих записей видно, что дело в конце концов наладилось, работа пошла быстрее, и поэт был доволен ее результатами: «Сегодня я несколько занимался переправкой „Семи спящих отроков“» (запись от 16 июня 1833 г.); «Сегодня кончил я переправку первой части своей легенды. Напрасно я писал к сестре, что это произведение едва ли будет лучше; оно теперь в первой части не только выиграло на счет слога и стихов, но и ход его стал яснее» (запись от 24 июня 1833 г.); «Переправка „Семи спящих отроков“ чуть ли не более потребует времени, чем нужно было, чтоб сочинить их. От удачной перемены места, на котором я остановился, зависит все достоинство этой легенды» (запись от 28 июня 1833 г.).⁴ Год спустя в письме к сестре от 27 августа 1834 г. Кюхельбекер мог уже сообщить ей о своей поэме: «Она у меня ныне выправлена».⁵

Опубликовать «Семь спящих отроков» Кюхельбекеру, однако, так и не удалось ни тогда, ни позже, хотя именно в последнее десятилетие своей жизни он предпринимал отчаянные усилия добиться печатания своих произведений вопреки существовавшему на это запрещению⁶ и действительно печатал кое-что в обеих сто-

Рассказы о прижизненных изданиях Пушкина. М., 1962, стр. 427—430 (глава «„Русский Декамерон“ Кюхельбекера»). Хотя И. Ф. Масанов в своем «Словаре псевдонимов русских писателей. . .» (т. II. М., 1956, стр. 427) безоговорочно считает, что И. Иванов (издатель «Русского Декамерона») — псевдоним Пушкина, но это лишь предположение, требующее особой, специальной аргументации.

² В. К. Кюхельбекер. Дневник. Под ред. В. Н. Орлова и С. И. Хмельницкого. Изд. «Прибой», Л., 1929, стр. 105.

³ Там же, стр. 108.

⁴ Там же, стр. 110 и 112.

⁵ Литературное наследство, т. 59, стр. 441.

⁶ К известным ранее ходатайствам Кюхельбекера по этому поводу, например к просьбе его, направленной А. Х. Бенкендорфу («Русская старина», 1902, кн. 4, стр. 96), прибавилось недавно опубликованное С. С. Конкиным прошение Кюхельбекера к генерал-губернатору Восточной Сибири С. Б. Броневскому от 9 октября 1836 г.: «. . . чтоб мне позволено было снискивать хлеб насущный литературными трудами» (В. Кюхельбекер. Неизданные письма. «Научные доклады высшей школы. Филологические науки», 1965, № 4, стр. 187). Еще в январе 1846 г. на просьбу Кюхельбекера печатать анонимно его произведения последовал грубый отказ шефа жандармов и начальника III Отделения А. Ф. Орлова.

лицах, конечно, без своего имени или под псевдонимами.⁷ Но поэма о спящих отроках в их число не попала: ее нигде не удавалось пристроить.

В 1836 г. в письме к Н. И. Гречу из Баргузина Кюхельбекер тщетно предлагал ему для издания эту «легенду в двух частях» в числе других своих готовых для печати поэтических «порождений».⁸ В отправленном в 1845 г. к В. А. Жуковскому из Сибири списке произведений Кюхельбекера, предназначенных им для собрания его сочинений, в рубрике «Рассказы в стихах» значится: «„Семь спящих отроков“, поэма в двух частях».⁹ Год спустя в написанном рукою И. И. Пущина (3 марта 1846 г. и перебеленном 1 марта 1847 г.) литературном завещании Кюхельбекера «Семь спящих отроков» названы снова; при этом в данном документе сделано заслуживающее внимания указание: «Пересмотреть и добыть настоящий экземпляр, оставленный у купца Боткина в Кяхте»,¹⁰ отсюда, по-видимому, явствует, что эту поэму Кюхельбекер исправлял или во всяком случае переписывал еще в Сибири в конце своей жизни.

Первые поэма о спящих отроках увидела свет лишь столетие спустя после своего создания, напечатанная Ю. Н. Тыняновым по автографу в первом томе стихотворений Кюхельбекера в «Большой серии» «Библиотеки поэта».¹¹ С тех пор поэма больше не переиздавалась. Сам Ю. Н. Тынянов в предисловии к своему изданию дал следующую краткую характеристику «Семи спящих отроков»: «В основу сюжета взята легенда из истории гонений на христианство времен Диоклетиана. Так же как выбор сюжета о возвращении иудеев из плена в «Зоровавеле» диктовался судьбою декабристов, так она отразилась и на выборе сюжета этой легенды — освобождение из заключения преследуемых христиан. Фантастический характер поэмы, основой которой является легенда, не всецело, однако, уничтожил историзм, присущий Кюхельбекеру: так, в строфах, рисующих распространение христианства, место уделено и древней Руси, и ее борьбе с варварами

⁷ Издание «Русского Декамерона» остановилось на публикации поэмы «Зоровавель»; тем не менее комедия «Нашла коса на камень» все же вышла в Москве три года спустя (1839). «Ижорский» опубликован в Петербурге (1835); несколько мелких стихотворений В. Кюхельбекера увидели свет в «Библиотеке для чтения» под псевдонимом В. Гарпенко. О том, как осуществлялись все эти публикации, обходившие правительственный запрет, мы знаем, к сожалению, слишком мало; специальные разыскания об этом были бы чрезвычайно желательны.

⁸ Литературное наследство, т. 59, стр. 460.

⁹ Н. Дубровин. В. А. Жуковский и его отношения к декабристам. «Русская старина», 1902, № 4, стр. 109.

¹⁰ В. К. Кюхельбекер. Лирика и поэмы, т. I. Вступ. ст., ред. и прим. Ю. Тынянова. Л., 1939, стр. LXXVIII.

¹¹ Там же, стр. 416—446. В изданный в том же году однотомник стихотворений Кюхельбекера малой серии «Библиотеки поэта» (№ 15, Л., 1939) «Семь спящих отроков» не вошла.

Востока».¹² Позднее В. Базанов еще сильнее, чем Ю. Н. Тынянов, подчеркнул тесную связь замысла поэмы с воспоминаниями и настроениями узника-декабриста: «Растянутая и слишком архаическая по стилю поэма о гонениях на христиан (начиная с Рима), — отзывается о ней Базанов, — в первой своей части исключительно близка тюремной лирике Кюхельбекера. Не случайно эта поэма не увидела света». В. Базанов пытается даже усмотреть в «Семи спящих отроках» явственно различимый подтекст: «Действие происходит во времена древнего Рима в городах Вифании (Никомедия и Никея), но никакие исторические покрывала не могут скрыть города на Неве и Петропавловскую крепость:

Здесь отроки когда-то возвращены;
Здесь были светом истины священной
Их души чистые озарены».

И эти «отчества сыны» заключены в темницу. Над ними творит суд царь, «опираясь на посох самовластья». И хотя, по мнению того же исследователя, «не следует поэму „Семь спящих отроков“ понимать как сплошное иносказание», но первая часть поэмы написана не на основе религиозно-христианских легенд: «Основа более близкая: материалы следственной комиссии 1826 г.». Далее В. Базанов приводит ряд отрывков из первой части поэмы, в частности «сцены допроса», чтобы сблизить кюхельбекеровского Деокла с Николаем I и проиллюстрировать свою мысль, что в этих сценах вся обстановка напоминает Петропавловскую крепость и следствие над декабристами.¹³

Нельзя, конечно, отрицать известного параллелизма между сюжетом поэмы (или, вернее, ее завязкой) и настроениями автора; не только сцены в темнице, но и вся поэма написана им, как мы видели, в тюрьме и, следовательно, внушена обстановкой каземата (метафора сна как призрачной реальной жизни легла в основу стихотворения Кюхельбекера 1832 г. «Море сна»); по поводу всех его поздних поэм отмечали, что их «монументальный жанр и заимствованные сюжеты» «не мешали Кюхельбекеру оставаться современником своей эпохи и служили ему удобным средством для аллегорического изображения своей судьбы, судьбы своих современников».¹⁴

Сходства между отдельными сценами в его поэмах и эпизодами его личной жизни все же не следует преувеличивать; к тому же в данном случае Кюхельбекер в известной мере связан был устойчивыми традиционными очертаниями знаменитой древней легенды о семи отроках. С другой стороны, столь же, думается,

¹² В. К. Кюхельбекер. Лирика и поэмы, т. I, стр. LVIII.

¹³ В. Базанов. Очерки декабристской литературы. Поэзия. М.—Л., 1961, стр. 291—293.

¹⁴ А. Федоров. Стихотворения Кюхельбекера. «Литературное обозрение», 1939, № 21, стр. 45.

неправомерно в поэмах Кюхельбекера 30—40-х годов вовсе отрицать «автобиографическое, субъективное начало (за исключением посвящений и эпилогов)», которого они будто бы лишены, как об этом пишет Н. В. Королева, определяя «Зоровавель» и «Семь спящих отроков» как «исторические повествования... основанные на библейских легендах».¹⁵

Как видно из приведенных справок, вопрос об источниках сюжета «Семи спящих отроков» Кюхельбекера имеет немаловажное значение; он весьма существен для понимания авторских намерений и основной идейной направленности поэмы.

Укажем прежде всего на те пояснения, какие счел нужным сделать к поэме сам Кюхельбекер, сообщая Н. Г. Глинке 27 августа 1834 г. отрывки из начала «Семи спящих отроков». «В первой строфе, — пишет он, — говорится о междуусобиях, которые раздирали империю римскую, начиная со смерти Комода до Деоклетиа́на (sic!). Преторийская когорта, а потом и легионы буйствовали самым ужасным образом; так, например, по убиении Пертинакса первые продали с молотка багряницу Августов. Наконец, незадолго до Септима Северия (sic!) пятьдесят полководцев в разных областях в одно и то же время вздумали домогаться престола; они известны в римской истории под названием пятидесяти тиранов. С ними, собственно, не должно бы было смешивать честолюбцев, предшествовавших восстановлению единодержавия Деоклетиа́ном, но как Деоклетиа́н совершил то же, что в свое время Северий, и застал римский мир в тех же обстоятельствах, я полагал позволительным назвать хищников, от коих очистил Деоклетиа́н империю, так, как назывались подобные им хищники во время Северия».¹⁶ Этот авторский комментарий весьма интересен, ориентируя нас на то, что, с точки зрения Кюхельбекера, он в отношении исторической верности и точности поэмы не считал себя обязанным проявлять излишний педантизм. Да и память несомненно изменяла ему: он пишет Комод (с одним «м»). Септим Северий вместо Септимий Север, Деоклетиа́н вместо Диоклетиа́н. Последняя ошибка имела и реальное основание. «Деокл — то же, что Деоклетиан, так назывался он, будучи еще простолюдином», — пишет Кюхельбекер в том же письме от 27 августа 1834 г. и продолжает: «Впрочем, справься об этом в Crevier, Histoire de l'Empire Romain, и напиши мне, не ошибся ли я? Когда пишешь только на память, легко ошибиться, особенно в именах собственных; знаю, что у него было еще третье имя, но его, кажется, носил он, на-

¹⁵ В. К. Кюхельбекер, Избранные произведения в двух томах. Под ред. Н. В. Королевой. Изд. «Советский писатель», М.—Л., 1967, т. I, Библиотека поэта, Большая серия, стр. 49. Хотя, по справедливому замечанию исследовательницы (в редакционной аннотации), «это двухтомное собрание избранных произведений Кюхельбекера является наиболее полным из существующих», но «Семь спящих отроков» в нем все же не воспроизведены.

¹⁶ Литературное наследство, 1954, т. 59, стр. 441.

чиная уже возвышаться, будучи уже предводителем войск. Справься об этом и уведошь меня. Если нет у вас Crevier, так есть же Goldsmith». ¹⁷

Хотя даже заглавие этой многотомной «Истории римских императоров» Ж. Кревье Кюхельбекер назвал с ошибкой, но в свое время он безусловно основательно штудировал этот труд, не блестящий, но изобильный фактами и весьма удобный для справок. Диоклетиану (начавшему царствовать в 284 г.) Кревье посвятил почти полтора ста страниц одиннадцатого тома своей «Истории». ¹⁸ Здесь он действительно сообщает, что «первое имя Диоклетиана (Dioclétien) было Dioclès. Это имя он получил от городка Диоклия (Diocléa) в Далмации, где он родился. Имя его матери было то же, что и название города; она прозывалась Диоклея (Diocléa). Когда он возвысился до главы империи, он пожелал придать своему имени римскую форму; он его удлинил и заставил произносить Диоклетиан (Diocletianus) вместо Диоклеса». ¹⁹ Немало страниц Кревье посвятил также преследованиям Диоклетианом христиан, хотя и считал, что эти гонения, начатые им лишь в конце царствования, были следствием зловещего искусственного наговора его приближенных, прежде всего Галерия. ²⁰ О семи спящих отроках, однако, Кревье не упоминает вовсе, не только в связи с историей Диоклетиана, но и другого императора, Деция, или Декия (249—251), с царствованием которого традиционно связывалась легендарная история семи эфесских отроков. Таким образом, Кюхельбекер позволил себе вольность в хронологии и локализации этой легенды, когда заменил Деция Диоклетианом. ²¹

Подобные вольности были в творческой практике Кюхельбекера: «...поэт не хронолог», — оправдывался он, например, в 1835 г. в примечании к своей балладе «Кудеяр» (напечатанной

¹⁷ Литературное наследство, 1954, т. 59, стр. 441. Речь идет о книге Ж. Кревье (Jean-Baptiste-Louis Crevier, 1693—1765) «Histoire des empereurs romains, depuis Auguste jusqu'à Constantin» (Paris, 12 vols., 1749—1755). Книга Гольдсмита «Roman History» была компактнее и служила учебным пособием, имевшимся в многочисленных изданиях, английских и французских. Что касается текста первых пятнадцати строф «Семи спящих отроков», которые Кюхельбекер сообщил в данном письме, то он отличается от той окончательной обработки, которая опубликована Ю. Н. Тыняновым. Строфы 20—31 первой части поэмы Кюхельбекер сообщил в другом письме к Ю. К. Глинке от 13 ноября 1834 г. (см. сб.: Декабристы и их время, М.—Л., 1951, стр. 50—52). Сообщая об этом письме в статье «Материалы для истории русской литературы в фондах ГПБ» («Труды Гос. библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина», т. XII (15), Л., 1964, стр. 173), Р. Б. Заборова ошибочно сочла их полным списком поэмы.

¹⁸ Crevier. Histoire des empereurs romains. Nouv. éd. Paris, MDCCLXXI, t. XI, pp. 239—445.

¹⁹ Crevier, t. XI, p. 276.

²⁰ Crevier, t. XI, p. 277 и сл. Ср. у Кюхельбекера строфы 15—16.

²¹ «Зверского Деция» в поэме Кюхельбекера упоминает Диоклетиан (строфы 33 и 49).

в «Библиотеке для чтения»), признаваясь в допущенном им сознательном нарушении исторической правды и хронологически несовместимых перемещениях действия.²² Конечно, в данном случае могла иметь место непреднамеренная ошибка из-за случайного созвучия имен: вместо Декия (Decius), в различных средневековых редакциях легенды об отроках именовавшегося Dakianus (Daqjânûs в арабских версиях), он сначала получил у Кюхельбекера имя Diokletianus, а затем переправлен на Деокла. К этим соображениям следует добавить также, что легенду о семи спящих отроках Кюхельбекер, по всей вероятности, знал не из какой-либо истории римских императоров, а из источников другого рода.

В контекст событий поздней римской истории эта легенда попала поздно, лишь в конце XVIII в., заимствованная из церковных анналов: в оборот европейских историков Рима ее одним из первых ввел Эдвард Гиббон²³ в своем классическом труде «История упадка и гибели Римской империи» (1776—1788). В конце XXXIII главы своего труда Гиббон среди особо достопримечательных легенд церковной истории отметил «вымысел о семи спящих отроках, воображаемое существование которых совпадает с царствованием императора Феодосия (младшего) и завоеванием Африки вандалами». Гиббон кратко пересказал эту легенду, придерживаясь той ее редакции, которая в конце VI в. переведена была с сирийского языка на латинский по заказу Григория Турского («De gloria Martyrum», lib. I, cap. 95 в «Bibliotheca Patrum»), t. XI), занесена была в «Летописи» патриарха Евтихия и в «Золотую легенду» (Legenda Aurea) Якоба де Ворагине. Во время жестоких гонений на христиан императора Декия, повествует Гиббон, семь знатных эфесских отроков укрылись в обширной пещере под соседней горой. Желая, чтобы они там погибли, тиран приказал завалить вход в пещеру громадными камнями. Отроки тотчас же впали в глубокий сон, чудодейственным образом не прерывавшийся без всякого вреда для их жизненных сил в течение ста восьмидесяти семи лет. К исходу этого времени рабы некоего Адолия, которому эта гора досталась по наследству, увезли камни, понадобившиеся для постройки; тогда солнечный свет проник в пещеру и семь отроков проснулись. После сна, продолжавшегося, как им казалось, лишь несколько часов, отроки почувствовали голод и решили, что один из них, по имени Ямвлих, тайком проберется в город, чтобы купить хлеба для товарищей. Придя в Эфес, Ямвлих не узнал города, столь хорошо некогда ему известного; удивление его еще больше усилилось, когда он увидел большой крест, водруженный над главными воротами Эфеса. Странная одежда Ямвлиха и устарелый язык, на котором он пы-

²² В. К. Кюхельбекер. Лирика и поэмы, т. I. Л., 1939, стр. 463.

²³ J. Koch. Die Siebenschläferlegende, ihr Ursprung und ihre Verbreitung. Leipzig, 1883, S. 192.

тался объясниться, очень смутили пекаря; когда же Ямвлих подал в качестве платы за хлеб древнюю монету времен Декия, пекарь заподозрил его в разграблении спрятанного сокровища и отвел к судье. На допросе и открылось, что прошло около двух столетий с тех пор, как семеро отроков спаслось в пещере от ярости тирано-язычника. «И епископ Эфесский, и духовенство, и должностные лица, и народ, и, как утверждают, сам Феодосий — все поспешили посетить пещеру семи отроков, которые всем дали свое благословение, рассказали свою историю и вслед за этим тихо скончались», — заключает свой пересказ Э. Гиббон. Далее он характеризует чрезвычайную распространенность легенды, в том числе за пределами христианского мира: она попала в Коран, была усвоена и расцвечена народами, исповедующими магометанство от Бенгалии до Африки; различные варианты легенды встречаются в календарях римском, абиссинском и русском; предание было известно лангобардам и англосаксам; следы его обнаружены были даже на самых отдаленных окраинах Скандинавии.²⁴

Впоследствии возникновение и распространение легенды были хорошо изучены в многочисленных специальных работах, с несомненностью установивших сирийское происхождение легенды²⁵ и разнообразные перекрестные пути ее странствований по всему миру.²⁶

Откуда легенду о спящих отроках мог знать Кюхельбекер? У нас нет никаких данных о том, читал ли он труд Э. Гиббона, хотя, как известно, этот труд был хорошо известен Пушкину и его русским современникам и декабристам.²⁷ Не сохранилось также никаких данных, мог ли Кюхельбекер знать многочислен-

²⁴ Edward Gibbon. History of the Decline and Fall of the Roman Empire. Ed. Leipzig, 1821, vol. VI, pp. 27—31; см. также русский перевод, сделанный с английского издания 1877 г. с дополнениями Гизо, Венке, Шрейтера и др.: «История упадка и разрушения римской империи». Пер. В. Н. Неведомского. Ч. III. М., 1884, стр. 556—558.

²⁵ М. О. Аттая. Легенда о семи спящих отроках и ее арабские версии. «Древности восточные. Труды восточной комиссии имп. Московского археологического общества», юбилейный выпуск, посвященный акад. Ф. Е. Коршу, т. IV, М., 1913, стр. 1—71. См. также: V. Rysse. Syrische Quellen abendländischer Erzählungstoffe, II. Die Siebenschläferlegende. «Archiv für das Studium d. Neueren Sprachen und Literaturen», 1894, Bd. XCIII, S. 241; 1895, Bd. XCIV, S. 369.

²⁶ J. Koch. Die Siebenschläferlegende. Leipzig, 1883; P. Michael Huber. Die Wanderlegende von den Siebenschläfern. Leipzig, 1910; S. Baring-Gould. Curious Myths of the Middle Ages. London, 1881, pp. 93—112; Семь спящих отроков Эфесских. А. Крымский. Общий историко-литературный очерк сказания; М. Аттая и А. Крымский. Переводы арабских версий VII—XIII вв. «Труды по востоковедению, издаваемые Лазаревским Институтом восточных языков», вып. 41, М., 1914; Г. К. Вагнер. 1) Легенда о семи спящих эфесских отроках и ее отражение во Владимиро-Суздальском искусстве. «Византийский временник», т. XXIII, М., 1963, стр. 85—88; 2) Скульптура Владимиро-Суздальской Руси. М., 1964, стр. 66—70 и др.

²⁷ Пушкин имел в своей библиотеке труд Гиббона во французском переводе 1828 г. (первое франц. изд. — 1812); он упоминает Гиббона в «Евгении Онегине» (гл. 8, строфа XXXV), в прозаических статьях и др. См.: Б. То-

ные другие очень разнообразные источники конца XVIII—начала XIX в., из которых можно было извлечь общие очертания этой легенды, вроде, например, «Церковной истории» Иоганнеса Шрёка (J.-M. Schrökh) и «Новых восточных сказок» графа Келюса или немецкого перевода персидских сказок «Тути-Намэ».²⁸ Легенда о спящих отроках была очень популярна в немецкой литературе XVIII в.; намек на нее содержится, в частности, в словах Саладина у Лессинга в «Нагане Мудром» (действие IV, сцена 4), в стихах Рюккерта,²⁹ она изложена в «Легендах» Козегартена (1816) и т. д. Едва ли мы, однако, ошибемся, если предположим, что Кюхельбекер знал эту легенду из небольшой поэмы Гете «Sieben Schläfer» (1814—1815), составляющей предпоследнее стихотворение из двенадцатой книги его «Западно-восточного Дивана», озаглавленной «Хульд-Намэ, или Книга рая».

Известно, что с юных лет Кюхельбекер был очень увлечен творчеством Гете, провозглашая немецкого писателя своим «идеалом» и образцом. Впоследствии, когда он охладел к нему («Царствование Гете кончилось над моею душою», — гласит запись его дневника от 27 марта 1840 г.), Кюхельбекер даже считал, что именно он сам явился причиной известности Гете в русской литературе как его деятельный популяризатор.³⁰ Хотя это было явное самообольщение, но Кюхельбекер все же действительно много писал о Гете в своих критических статьях, заметках к своим и чужим переводам его произведений и т. д. В 1820 г., находясь за границей, Кюхельбекер ездил в Веймар, виделся и сблизился с Гете, беседовал с ним о немецкой и русской литературах, получил от него в подарок книгу и обратился к нему с письмом, в котором именовал Гете «учителем, коему столь многим обязан в воспитании своей души»; тогда же Кюхельбекер посвятил Гете восторженное стихотворение «К Промефею»³¹ и послал ему еще

м а ш е в с к и й. Заметки о Пушкине. В кн.: Пушкин. Временник Пушкинской комиссии, вып. 4—5. М.—Л., 1939, стр. 484. Во время пребывания декабристов в Сибири, по сообщению А. П. Беляева, несколько человек (И. Киреев, П. Борисов и др.) предприняли перевод труда Э. Гиббона (см.: Литературное наследство, 1954, т. 59, стр. 738 и 744); ср. также: С. С. Волк. Исторические взгляды декабристов. М.—Л., 1958, стр. 204—205.

²⁸ Joh. M. Schrökh. Kirchengeschichte, Bd. IV, SS. 191—210; J. Koch. Die Siebenschläferlegende, S. 186; Comte Caylus. Les Nouveaux Contes orientaux. Amsterdam, 1786, pp. 12—63; Histoire de Kakianos et des Sept Dormans. Перепечатано в кн.: F. W. V. Schmidt. Sammlung französischer Schriftsteller aus dem XIX. Jahrh. in das XIII. Jh. Zurück. Berlin-Stettin, 1818, SS. 75—105; G. L. Th. Kosegarten, Legenden, 1816, II, S. 145—156 (источник: «Legenda aurea»; ср. J. Koch, S. 195); C. J. Ludwig Iken, Touti Nameh, eine Sammlung persischer Märchen. Stuttgart, 1822, S. 288—311.

²⁹ Damentaschenbuch von 1822, S. 139 (J. Koch. Die Siebenschläferlegende, SS. 142—195).

³⁰ В. К. Кюхельбекер. Дневник, стр. 252.

³¹ О Кюхельбекере и Гете см. шестую главу в исследовании С. Н. Дурьлина «Русские писатели у Гете в Веймаре» (Литературное наследство, 1932, кн. 4—6, стр. 374—393).

из Франкфурта его русский текст, сопровождаемый подстрочным немецким переводом. Стихотворение кончалось так:

Песнолюбивое племя славян услышит с любовью
Арфу, которую ты в светло-святые часы
Подад юноше мне — я буду тобою бессмертен.
О, прими ж, Промефей, все мое лучшее в дар —
Не удивленья одно, но любовь и звуки простые
Робких еще, но тобой смело настроенных струн!

«Во всей литературе русского гетеанства, — справедливо замечает С. Н. Дурьлин, — нет более страстного и пламенного изъявления любви и приверженности к великому немецкому поэту, чем этот эллинизированный дифирамб Кюхельбекера в честь Прометея-Гете».³²

К середине 20-х годов относится пристальный интерес Кюхельбекера к «Западно-восточному Дивану» Гете, появившемуся в 1819 г. В глубокой заинтересованности этим произведением Кюхельбекер не был одинок, имея немало единомышленников среди современных ему русских литераторов. В середине 20-х годов эта литературная новинка привлекла у нас большое внимание. Успех «Дивана» у русских переводчиков, отметил В. М. Жирмунский, становится понятным на фоне увлечения романтическим ориентализмом, основу которого заложили у нас произведения Байрона, Т. Мура и переводы «с арабского» (из Корана), с персидского и др., появлявшиеся в журналах и альманахах этих годов.³³ В 1825 г. Кюхельбекер составил конспект к «Западно-восточному Дивану», занеся в свою рабочую тетрадь имена, хронологические даты и заметки, извлеченные из прозаического комментария Гете к стихотворениям «Дивана» («Noten und Abhandlungen zu besserem Verständnis des West-Östlichen Divans»)³⁴. Хотя в годы тюрьмы и ссылки творчество Гете постепенно утрачивало для Кюхельбекера былое значение, но этот процесс происходил очень медленно; с другой стороны, возбужденный в нем «Диваном» интерес к восточной поэзии получал постоянные подкрепления и достигал самостоятельного значения. «Россия, — писал Кюхельбекер, — по самому своему географическому положению могла бы присвоить себе все сокровища ума Европы и Азии. Фирдоуси,

³² Там же, стр. 384.

³³ См.: В. Жирмунский. Гете в русской литературе. Гослитиздат, Л., 1937, стр. 125—128.

³⁴ Кюхельбекер составил краткий конспект лишь первой части гетевских «Noten», касающихся истории арабской и персидской поэзии (с начала до главы «Джами» включительно); конспект этот (с воспроизведением факсимиле рукописи) напечатан в указанном томе «Литературного наследства» (1932, кн. 4—6, стр. 663—666). В недавнем русском переводе извлечения из «Примечаний и заметок для лучшего понимания „Западно-восточного Дивана“» Гете появились в журнале «Проблемы востоковедения» (1960, № 3, стр. 185—197). См. о них новую работу: W. Lenz. Goethes «Noten und Abhandlungen zum West-östlichen Divan». Hamburg, 1958.

Гафиз, Саади, Джами ждут русских читателей».³⁵ Любопытно, что о «Западно-восточном Диване» Кюхельбекер вспоминал еще в декабре 1833 г., читая стихотворения Г. Р. Державина: в некоторых из них ему почудилось «что-то восточное, что-то напоминающее „Ost-westlicher Divan“ Гете»³⁶ (следовало сказать: «West-Ostlicher»). Как видно из дневника Кюхельбекера, в Свеаборге у него находились какие-то сочинения Гете, пополнившиеся еще несколькими томами в мае 1834 г.³⁷ «Кто не знает наизусть волшебных сказок и баллад Гете?», — спрашивал Кюхельбекер в статье «Поэзия и проза», посланной Пушкину для «Современника» при письме от 3 августа 1836 г.³⁸

Таким образом, не может быть никакого сомнения в том, что Кюхельбекер знал стихотворение Гете «Sieben Schläfer», вошедшее в «Книгу Рая» («Западно-восточного Дивана»). Это стихотворение написано Гете между декабрём 1814 и маем 1815 г. и опубликовано в «Диване» в 1819 г. Гете воспроизводит ту редакцию легенды о семи спящих отроках, которая занесена в «Коран» (18-я сура), но ему была известна также арабская версия, воспроизведенная в венских «Fundgruben».³⁹ Одна из особенностей этой версии и обработки Гете та, что количество уснувших в пещере эфесских отроков не семь, а шесть:

Sechs Begünstigte des Hofes
Fliehen von des Kaisers Grimme, —

говорится в начальных стихах гетевского стихотворения; седьмым же, уснувшим вместе с ними, является пастух:

... die zarten
Leicht beschuht-beputzten Knaben
Nimmt ein Schäfer auf, verbirgt sie
Und sich selbst in Felsenhöhle.

(v. 19—22).

Хотя в изложении событий легенды о спящих отроках Гете близко придерживался ее арабских версий, но в своей интерпре-

³⁵ В. К. Кюхельбекер. Дневник, стр. 329; запись от 29 декабря 1831 г. свидетельствует о знакомстве поэта-декабриста с «Шах-Намэ» Фирдоуси (стр. 29). Стоит отметить, что в посланном Б. Г. Глинке 21 декабря 1833 г. «небольшом списке тех книг, которые бы мне хотелось прочесть», Кюхельбекер называет и «Шах-Намэ» (в переводе с персидского) и, сверх того, «перевод „Корана“ на каком-нибудь известном мне языке» (Литературное наследство, 1954, т. 59, стр. 418—419).

³⁶ В. К. Кюхельбекер. Дневник, стр. 224.

³⁷ Там же, стр. 188 (запись от 27 мая 1834 г.).

³⁸ Литературное наследство, т. 59, стр. 394.

³⁹ Fundgruben des Orients, bearbeitet durch eine Gesellschaft von Liebhabern, Bd. III. Wien, 1813, SS. 347—381. Об этой версии, представлявшей собою контаминацию нескольких других редакций, и знакомстве с ними Гете см.: J. K o s c h. Die Siebenschläferlegende, SS. 143—151, 194. Гонителем отроков здесь является Dekianus, а действие происходит в Эфесе.

тации и поэтической обработке легенды он проявил также и самостоятельность. В особенности своеобразие проникающей ее тенденции чувствуется в контексте всей «Книги рая», где «Семь спящих» помещены в конце и как бы подчеркивают ее основную тему. Комментаторы Гете подчеркивают, что тема «рая» — одна из важнейших в «Западно-восточном Диване». Задумавшись над тем, кто достоин рая, Гете как бы отвечает: только боец; им должен быть и поэт, если он ищет бессмертия. Дальнейшее развитие темы рая мы находим в поэтической переработке легенды о спящих отроках «Символика легенды в „Диване“ очевидна», — замечает новейший исследователь; избранный «отрок» — сам поэт. Он подобен Эпимениду, полстолетия проспавшему в зачарованной пещере и вышедшему из нее с окрепшим даром прорицателя. Обновленный, «омоложенный» и «вновь рожденный», он приносит народу открытую им истинную «мудрость Востока».⁴⁰

Действительно, на стихотворение Гете «Семь спящих» оказала несомненное влияние античная легенда об Эпимениде, в которой с давних пор усматривают одно из ранних звеньев в общей цепи сказаний о чудесном долголетнем сне, восходящих к мифологической и культовой поэзии. Легенда о прорицателе Эпимениде из Крита пользовалась известностью в Европе; уже в XVII веке ученые-классики сопоставили ее (по изложению у Плиния, Аполлония и Диогена Лаэртского) с более поздним преданием об Эфесских отроках.⁴¹ Античную легенду обработал и Гете в «праздничном представлении» «Пробуждение Эпименида» (1814), полным намеком на современные ему политические события: взятие Парижа союзными войсками, деятельность «Тугендбунда» и т. д. Первое представление этой пьесы состоялось 30 марта 1815 г. в Берлине, но сюжет ее Гете изложил годом раньше, в программе 1814 г., незадолго до того, как он начал работу над стихотворением «Семь спящих» — «Пробуждение Эпименида» («Des Epimenides Erwachen»), которое безусловно оказало воздействие на «Семь спящих». В указанной программе своей пьесы Гете так излагал ее сюжет: «Эпименид, сын одной нимфы, родившийся на острове Крит, пас отцовские стада. Однажды в поисках пропавшей овцы он заблудился и попал в какую-то пещеру, где он был объят внезапно сном. И этот сон продолжался сорок лет. Когда он снова проснулся, то нашел все изменившимся; однако он был снова узан своими. Весть об этом чудесном сне распространилась по всей Греции, его стали считать любимцем богов и просить у него совета и помощи». В своей пьесе Гете изобразил, что Эпименид был погружен в сон вторично, чтобы

⁴⁰ Л. М. Кессель. Западно-восточный синтез в гетевском «Диване». «Народы Азии и Африки», 1963, № 2, стр. 125.

⁴¹ См.: I. Koch. Die Siebenschläferlegende. S. 186 и др., со ссылкой на книгу: C. F. Heinrich. Epimenides aus Kreta. Leipzig, 1801.

не переживать несчастного времени, а также для того, чтобы получить дар прорицателя.⁴²

Стоит отметить, что в одном из писем племяннице из Свеаборга (от 27 апреля 1834 г.) Кюхельбекер уподобил себя Эпимениду, о котором знал несомненно из указанного выше произведения Гете.⁴³ Откликаясь на призыв произнести свое суждение о посылаемых изгнаннику литературных новинках, Кюхельбекер писал: «Я человек давно прошедшего времени; впрочем, разбор я все-таки пришлю и даже позволю тебе показать его братьям. Пусть они позабавятся над Эпеминидом (sic!), который спросонья будет им обслуживать явление такого времени, коего рождение он, правда, подозревал, но при развитии которого он уже спал мертвым сном».⁴⁴ Приведенные слова свидетельствуют о том, что Кюхельбекеру мог быть понятен и символизм гетевского стихотворения «Семь спящих». Невозможно, вероятно, отрицать также подразумеваемый смысл его собственной поэмы «Семь спящих отроков», однако его следует воспринимать без всякой связи с Гете, стихотворение которого «Sieben Schläfer» было для Кюхельбекера лишь поводом для самостоятельной обработки сюжета. В обоих произведениях — Кюхельбекера и Гете — нет и более частных совпадений, кроме общих очертаний древней легенды. В пору создания своей поэмы у Кюхельбекера не было под рукой ни исторических источников о гонениях на христиан при поздних римских императорах, ни, вероятно, текста стихотворения Гете; сюжет легенды, некогда вычитанный им из «Западно-восточного Дивана», Кюхельбекер расцвел заново подробностями, которые подсказывала ему память о его прошлых чтениях.

⁴² И.-В. Гете, Собрание сочинений в 13 томах, т. IV, Гослитиздат, М.—Л., 1933, стр. 500.

⁴³ О «Пробуждении Эпименида» как о типичной пьесе «на случай» Кюхельбекер довольно сурово отозвался в письме к матери 28 июня 1834 г., признаваясь, впрочем, что «к огромному таланту Гете» он всегда будет испытывать «величайшее уважение» (Литературное наследство, 1954, т. 59, стр. 426—429).

⁴⁴ Декабристы. Под ред. Н. П. Чулкова. М., 1938, стр. 171. В написании имени Эпименида Кюхельбекер допустил ошибку.

ТРАГЕДИЯ А. С. ХОМЯКОВА «ЕРМАК» И ЕЕ МЕСТО В РАЗВИТИИ РУССКОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ ДРАМАТУРГИИ

Интерес А. С. Хомякова к исторической тематике с особенной силой проявился в его трагедиях, к написанию которых поэт обратился уже в юношеские годы. Незадолго до сдачи экзамена на степень кандидата математических наук при Московском университете Хомяков начал писать трагедию «Идомей», «которую довел только до второго действия».¹ Его другой, уже полностью завершённой работой в этом жанре явилась трагедия «Ермак». Время написания этой трагедии с точностью установить затруднительно, так как имеющиеся на этот счет сведения отличаются разноречивостью. Некоторые авторы датируют написание «Ермака» 1824—1825 гг., другие же считают временем создания трагедии 1826 г. Хомяков, видимо, окончил ее к осени 1826 г.

Трагедия читалась автором у Веневитиновых на следующий день после чтения там пушкинского «Бориса Годунова». В статье о «Ермаке» К. А. Полевой заявил, что «Ермак» — «отрасль того же древа, которое родило трагедию Пушкина».² К. Полевой ошибся. «Древо», на котором выросла трагедия Хомякова, — совсем иное. У Хомякова-исторического драматурга были свои предшественники и последователи, творчество которых имело очень мало общего с поэзией Пушкина. Его трагедия во многих отношениях является художественным антиподом «Бориса Годунова». Существенно отличается она по своей структуре и от произведений декабристской драматургии, особенно от трагедий, в которых поэты-декабристы ближе всего подошли к Пушкину (пролог к «Хмельницкому» К. Ф. Рылеева, 2-я редакция «Аргивян» В. К. Кюхельбекера, «Пир Иоанна Безземельного» П. А. Катенина). Это тем более характерно, что в поэзии Хомякова временами звучали социальные и героические мотивы, сближавшие его с декабристами.³ Известно также, что талантливый

¹ «Русский архив», 1896, кн. 11, стр. 346.

² «Московский телеграф», 1832, ч. XLIV, № 6, стр. 227.

³ См., например, его стихотворение «Бессмертие вождя».

поэт поддерживал личные связи с декабристами, хотя и расходился с ними во взглядах.⁴ Еще более характерно то, что трагедия «Ермак» не получила одобрения со стороны Любомудров, с которыми Хомяков был связан (биографически и творчески) гораздо теснее, чем с декабристами. В числе людей, холодно отнесшихся к трагедии Хомякова, не случайно оказался Д. В. Веневитинов, глубоко понявший и проникновенно оценивший пушкинского «Бориса Годунова». «Веневитинова и Пушкина клеветы не понимают тебя», — писал А. С. Хомякову его брат, имея в виду трагедию «Ермак».⁵ «Не понял» Хомякова — автора «Ермака» — и другой «клевет» Пушкина, М. П. Погодин, написавший позднее под несомненным пушкинским влиянием трагедию «Марфа, посадница Новгородская». (В известном рассказе Погодина о чтении Пушкиным «Бориса Годунова» у Веневитиновых по существу содержится противопоставление пушкинской трагедии «Ермаку»).

С другой стороны, показательна та суровая критическая оценка, которую дали «Ермаку» деятели «Московского телеграфа». Мы имеем в виду упомянутую выше статью К. А. Полевого и ту довольно злую пародию на «Ермака», с которой выступил (под именем Демишиллера) Н. А. Полевой.⁶ Важно отметить, что оба поборника романтизма относили трагедию Хомякова к числу романтических произведений, по существу осуждая в ее лице какое-то неприемлемое для них течение в романтизме. «Шекспир и Шиллер писали не так, хотя и были романтики», — говорит Н. А. Полевой в предисловии к своей пародии на «Ермака».⁷ На Шекспира, а также на «Шлегелей, Шиллеров, Экштейнов» ссылается в своей статье о «Ермаке» и К. А. Полевой.⁸

Между тем известные поэтические достоинства «Ермака» признавались всеми современниками. Даже подвергший эту трагедию строгой критике К. А. Полевой отмечал, что как лирический поэт ее автор почти не имеет «себе соперников во всех поэтах русских».⁹ Пушкин писал, что трагедия «Ермак» заслуживает «особенной критической статьи».¹⁰

которое было опубликовано в «Полярной звезде» (А. С. Хомяков, Полное собрание сочинений, т. 4, М., 1909, стр. 92—93).

⁴ См. об этом в биографии А. С. Хомякова, написанной В. Лясковским. «Русский архив», 1896, кн. 11, стр. 348.

⁵ «Русский архив», 1884, кн. 3, № 5, стр. 225. Письмо от 3-го декабря 1826 г.

⁶ См.: «Новый живописец общества и литературы», составленный Николаем Полевым. Ч. 2. М., 1832, стр. 210 и сл. Нужно отметить, что в своих позднее написанных драмах, среди которых есть и пьеса о Ермаке, Н. А. Полевой уже не был художественным антагонистом А. С. Хомякова.

⁷ Там же, стр. 211.

⁸ «Московский телеграф», 1832, ч. XLIV, № 6, стр. 226.

⁹ Там же, стр. 242.

¹⁰ А. С. Пушкин, Полное собрание сочинений, т. 11, Изд. АН СССР, Л., 1949, стр. 105.

Все это побуждает заняться историко-литературным, или, как ныне принято выражаться, типологическим изучением художественной структуры трагедии.

В трагедии «Ермак» с большой отчетливостью проявился тот отвлеченно-нравственный, идеалистический подход к изображению исторических событий и лиц, который был так характерен для драматургов, стоявших на позициях реакционного романтизма. Если П. А. Плавильщиков при всей склонности к консерватизму не уделил почти никакого внимания раскаянию Ермака в его разбойничестве, а само обращение будущего покорителя Сибири к разбойничеству объяснил... его патриотизмом, то Хомяков сделал раскаяние Ермака и его стремление искупить вину основным пафосом своей трагедии. Чтобы сильнее подчеркнуть раскаяние своего Ермака, Хомяков вводит в трагедию образ его отца Тимофея, проклявшего своего преступного сына. Не довольствуясь этим, Хомяков ввел в трагедию образ невесты Ермака Ольги, заставив последнюю мучиться сознанием того, что она любила разбойника. Сцены, посвященные изображению мучительных переживаний этих трех действующих лиц, занимают весьма большое место в трагедии и придают ей до некоторой степени мелодраматический характер.

Религиозно-нравственный подход Хомякова к изображению исторического героя полностью согласуется с идейной направленностью использованной им «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина. Умные Строгановы, — рассказывает Карамзин, — обратились к Ермаку и его товарищам с грамотой, в которой призывали отважных разбойников «отвергнуть ремесло, недостойное христианских витязей, быть не разбойниками, а воинами царя белого, искать опасностей не бесславных, примириться с богом и с Россиею». Далее историк говорит, что, получив эту грамоту, «Ермак с товарищами прослезился от умиления... Мысль свергнуть с себя опалу делами честными, заслугою государственною и променять имя смелых грабителей на имя добрых воинов отечества тронула сердца грубые, но еще не лишённые угрызений совести».¹¹

Трагедия Хомякова «Ермак» является одной из первых русских трагедий, содержащих отрицательную характеристику царя Ивана IV. Хомяков характеризует Ивана IV как «свирепого и дикого безумца, гонителя угодников христовых, венчанного врага земли родной».¹² Эта характеристика полностью отвечает карамзинской оценке деятельности Ивана IV в тот период его жизни, когда, отстранив своих прежних советников Сильвестра и Ада-

¹¹ Н. М. Карамзин. История государства Российского, т. IX, СПб., 1821, стр. 380, 381.

¹² А. Хомяков. Ермак. Трагедия в пяти действиях, в стихах. М., 1832, стр. 82. Далее страницы этого издания указаны в тексте.

шева, царь окружил себя опричниками и достиг, по словам историка, «высшей степени безумного своего тиранства», ознаменовав свое правление «беспримерными ужасами». ¹³ Известно, что декабристы приветствовали появление девятого тома «Истории государства российского», видя в обличаемом историком Иване Грозном типичного представителя самодержавной тирании. В трагедии же Хомякова этот антитиранический мотив звучит очень приглушенно, причем поэт не обнаруживает склонности толковать тиранию Грозного в расширительном смысле. ¹⁴ Не поддежит сомнению, что в своей оценке личности и правления Ивана Грозного Хомяков стоял ближе к Карамзину, чем к декабристам.

С отвлеченно-моральным («карамзинским») подходом Хомякова к изображению исторических событий и лиц тесно связан наличествующий в трагедии мистицизм. Через всю трагедию проходит мотив мистического предопределения. Задолго до наступления развязки Ермак и другие лица узнают о том, что покоритель Сибири погибнет. Уже в самом начале трагедии казаки Ермака говорят о знаменьях, предвещающих трагический исход (2). В развертывании действия трагедии большое место занимают пророческие сны. Ермак видит пророческий сон, из которого узнает, что он будет прощен своим отцом, но погибнет (21—22, 25, 27). С еще большей конкретностью предсказывается гибель Ермака «в вешем сне», приснившемся Шаману. Шаман заявляет, что Ермак погибнет в волнах седого Иртыша (166—167). От этого сбывающегося пророчества отдает столь грубым мистицизмом, что даже рецензент реакционной «Северной пчелы» счел нужным иронически упомянуть о Шамане, который, в сущности, «поставил на своем». ¹⁵ Еще решительнее восстал против мистического образа Шамана К. А. Полевой, писавший, что Хомяков «раскрасил» историческое событие совершенно произвольными вымыслами и «заслонил» его вымышленными фигурами: невестою Ермака, «провещателем Шаманом» и др. ¹⁶ Образ Шамана, выведенный в трагедии Хомякова, глубоко характерен для всей консервативной исторической драматургии. Во многих исторических пьесах, написанных после «Ермака», можно встретить подобные же образы волхвов, юродивых и т. п., выступающих в роли «провещателей».

Мистический подход к изображению судьбы Ермака Хомяков распространяет и на свое понимание истории. По концепции Хо-

¹³ Н. М. Карамзин. История государства Российского, т. IX, стр. 162, 207.

¹⁴ Возможность подобного толкования пьесы театральной публикой, по видимому, учитывалась цензурой. Почти все вымарки, сделанные ею при печатании трагедии, коснулись резкой характеристики Ивана Грозного. См.: «Русский архив», 1897, кн. I, вып. 2, стр. 308.

¹⁵ «Северная пчела», 1832, № 114.

¹⁶ «Московский телеграф», 1832, ч. XLIV, № 6, стр. 233.

исказил характер Ермака. Хотя Хомяков и уверяет, что его герой — мужественный, волевой и сильный человек, на деле Ермак выглядит у него слабовольным, экзальтированным мечтателем, легко переходящим от восторга к отчаянию и пессимизму.

Типичной романтической героиней является и невеста Ермака Ольга. Она любит Ермака неземной любовью. Трогательно заботится она об отце своего возлюбленного. В этом бледном, идеализированном образе нет ни одной черты, напоминающей реальный облик русской женщины XVI века.

С далекими от всякой реальности условными образами Ермака и его невесты гармонирует образ Молодого казака, наделенного нежной, поэтической душой. Подобно Ермаку, Молодой казак предчувствует свою гибель и действительно погибает от руки предателя. Автор влагает в его уста выпренные речи, выражающие грусть и смутные томления его молодой души. «Ну, признаюсь, престранный ты мечтатель», — отвечает на речи Молодого казака его товарищ (114).

Трагедия «Ермак» отличается чрезвычайно слабым развитием драматического действия.

Сюжет пьесы основывается на развертывании отношений героя с его отцом и невестой и на измене Мещеряка, вступившего в тайные сношения с Шаманом. Чтобы связать две интриги пьесы и поддержать готовое остановиться действие, автор прибегает к явным натяжкам. Он заставляет Ивана Кольцо, возвращающегося к Ермаку из Москвы, случайно встретиться на берегах Оки с Тимофеем и Ольгой, которые, узнав о подвиге Ермака и прощении его царем, вместе с Иваном Кольцо направляются к Ермаку.

Блaое и однообразное, основывающееся на случайностях действие трагедии «Ермак» чрезвычайно бедно социально-историческим содержанием. Характерно, что в этом произведении, посвященном одному из выдающихся событий русской истории, очень мало внимания уделяется этому событию. В трагедии сначала говорится о том, что предстоит решающая битва, которая должна ознаменоваться взятием столицы Сибирского царства. В последующем узнается, что это событие совершилось и Сибирь завоевана казаками. Автор не сообщает, однако, никаких подробностей, относящихся к завоеванию Ермаком Сибири.

Невнимание Хомякова к событийной стороне избранного им для драматизации исторического материала связано с почти полным отсутствием в трагедии массовых сцен. За исключением сцены, где Ермак мгновенно усмиряет поднявшийся против него мятеж, автор нигде не показывает казацкую массу, ограничиваясь изображением отдельных, бледно очерченных фигур.

Лишенная разнообразия лиц, бытовых деталей, яркой и захватывающей борьбы, трагедия Хомякова отличается выдержанной на всем ее протяжении элегической тональностью. В сущности это не трагедия, а лирическое произведение, облеченное в диало-

гическую форму. Именно так и воспринимали «Ермака» Пушкин и Белинский «„Ермак“ А. С. Хомякова, — писал Пушкин, — есть более произв<едение> лирическое, чем драм<атическое>».²² Белинский же утверждал, что в трагедии «Ермак» зрители «вместо характеров увидели олицетворение известных лирических ощущений и чувствований и вообще нечто вроде пародии на драматический лиризм Шиллера».²³

Преобладание в «Ермаке» лирической стихии сказалось и на композиции этого произведения, в которой большую роль играет песенное начало. В «Ермаке» имеется несколько песен, подчеркивающих элегическую тональность трагедии и лирическую основу ее композиционного построения. Такова песня Софьи, подруги Ольги, открывающая собой второе действие трагедии. В том же действии трагедии содержится песня первого казака.

По своему художественному направлению трагедия «Ермак» является глубоко эклектическим произведением. Черты романтизма соединяются и переплетаются в ней с чертами классицизма, присутствие которых очень заметно в этом произведении. Эклектичность «Ермака» была подмечена современной критикой. Так, «Северная пчела» писала, что благодаря сочетанию в стиле «Ермака» противоречивых элементов из этой трагедии «вышло ни то, ни се! Ни романтизм, ни классицизм, ни шиллеризм, ни расинизм!».²⁴ К. А. Полевой тоже заявил, что в «уме автора „Ермака“ остались глубокие следы классической трагедии. Он только наружно сложил с себя эластические оковы, в коих расхаживали французские трагики».²⁵

Влияние на структуру «Ермака» старой поэтики классицизма сказалось прежде всего в том, что автор не обошелся без традиционных подпорок любовной интриги, этих, по выражению К. А. Полевого, «ветхих нитей любви», «вечных принадлежностей классической трагедии».²⁶ Не обошелся Хомяков и без наперсников. Наперсником Ермака в трагедии является Иван Кольцо, Софья выступает в качестве наперсницы Ольги, а Заруцкий выполняет роль наперсника Мещеряка. Имеется в «Ермаке» и традиционная борьба между «долгом» и «чувством». В восьмом явлении третьего действия трагедии по всем правилам классицизма показана борьба между честолюбивыми побуждениями Ермака, которому предложили быть царем Сибири, и его приверженностью к родине. В этой борьбе долг берет верх над честолюбием. На связь трагедии «Ермак» с традицией классицизма ука-

²² А. С. Пушкин, Полное собрание сочинений, т. 11, стр. 141.

²³ В. Г. Белинский, Полное собрание сочинений, т. VIII, М., 1955, стр. 65—66.

²⁴ «Северная пчела», 1832, № 115.

²⁵ «Московский телеграф», 1832, XLIV, № 6, стр. 240.

²⁶ Там же, стр. 234.

мякова, каждое историческое приобретение или завоевание обязательно должно сопровождаться кровавыми жертвами, приносимыми небесным силам, охраняющим то царство, за счет которого сделано приобретение. Платой России за завоевание Сибири должна была явиться смерть Ермака. Если декабристы, размышляя над историей, пытались вскрыть закономерности, складывающиеся в самом обществе и управляющие его развитием, то Хомяков, сделав робкую попытку объяснить обращение Ермака и его товарищей к разбойничеству господствовавшим в тогдашнем обществе произволом и насилием,¹⁷ в остальном резко порвал с социальным детерминизмом, подменив вскрытие общественных закономерностей ссылками на мистическое предопределение.

В трагедии «Ермак» мистически трактуется не только гибель завоевателя Сибири, но и самый его подвиг. Ермак признается в трагедии, что его «влекла» на подвиг «невидимая сила». «Пройду я путь, — говорит он, — указанный мне небом». На «небесное» происхождение власти Ермака над казаками указывает и Мещеряк (9).

С мистической трактовкой подвига Ермака в трагедии связано преувеличение роли этого исторического героя в развертывании событий. Выступая как «посланный небес», «как некий сын возвышенного мира» (13), Ермак обладает поистине титанической силой и является могущественным вершителем судеб. Ему одному приписывается в трагедии честь завоевания Сибирского царства. Что же касается казаков, то они лишь «слепо» повиновались Ермаку (4), беспрекословно выполняя его распоряжения. Когда же недруги Ермака попытались взбунтовать против него казаков, Ермаку стоило лишь появиться среди бунтовщиков и обратиться к ним с речью, как бунт немедленно прекратился (36—39).

Преувеличив роль Ермака, приписав ему одну заслугу завоевания Сибири, Хомяков еще больше отдалился от вскрытия подлинных закономерностей исторического развития.

Вообще уровень историзма хомяковской трагедии невысок. Хомяков, правда, не допускает в сюжете пьесы серьезных отступлений от летописного предания. Встречающиеся в его трагедии имена исторических лиц — Кучума, его племянника Маметкула, Андрея Курбского, атамана Никиты Пана и др. — действительно связаны с теми событиями, о которых повествуется в трагедии. Соответствуют историческим данным и содержащиеся в «Ермаке» географические наименования. Отдельные бытовые подробности, на которые, впрочем, автор «Ермака» необычайно скуп, не расходятся с данными истории. Но гораздо характернее для этой

¹⁷ На присутствие в трагедии этой социальной мотивации указывает в своей статье Д. И. Бернштейн. См.: Пушкин — родоначальник новой русской литературы. Сб. научно-исследовательских работ, Изд. АН СССР, М.—Л., 1941, стр. 237.

трагедии допускаемые ее автором многочисленные и многообразные нарушения исторической истины. Вопреки историческим сведениям Хомяков заставляет Матвея Мещеряка изменить Ермаку. Это отступление от истории бросилось в глаза современникам. «В Московском телеграфе» говорилось о том, что автор «Ермака» «раскрасил историческое событие» «небывалой изменой товарищей Ермаковых».¹⁸ Расходится с историей и содержащийся в трагедии Хомякова эпизод убийства якобы изменившего Мещеряка. В трагедии Ермак смертельно ранит Мещеряка, бросая в него копье, а остяки добивают мятежного атамана, желая избавить его от мучений (165—166). Между тем у Карамзина говорится о возвращении в Россию уже после гибели Ермака оставшихся в живых «казаков и воинов московских вместе с остатками иноземной Строгановской дружины под главным начальством атамана Матвея Мещеряка».¹⁹

В трагедии Хомякова полностью отсутствует историческая и русская национальная специфичность характеров. В этом отношении «Ермак» ничем не отличается от трагедий Озерова. Уже К. А. Полевой заметил, что Ермак и все «добрые лица» хомяковской трагедии «нисколько не похожи на дерзких, мужественных казаков: это немецкие студенты, прекрасно разговаривающие по-русски». «Если бы на завоевание Сибири, — пишет К. А. Полевой, — отправился какой-нибудь бурш Геттингенского университета, с толпою товарищей и филистеров, то в трагедии г-на Хомякова была бы истина. Но теперь ее нет и следа».²⁰

Действительно, Хомяков превращает своих героев — казаков XVI века — в каких-то романтически настроенных мечтателей, чуждых житейского практицизма, тонко воспринимающих красоты природы, наделенных необыкновенной моральной чуткостью. Отсутствие у персонажей Хомякова малейшего сходства с их реальными историческими прототипами подчеркивается языком трагедии, находящимся в разительном противоречии с тем языком, которым могли говорить простые русские люди в эпоху Ивана Грозного. Даже благосклонно отнесшийся к трагедии родной брат Хомякова принужден был признать, что «какое-то музыкальное чувство» заставило автора «Ермака» «подвести под один тон все речи». Ф. С. Хомяков рекомендовал брату, перерабатывая трагедию, дать «лицам тон, характер и язык времени и народа».²¹ Мы уже говорили о том, что Хомяков заставил Ермака постоянно испытывать муки совести, неустанно бичевать себя за свое обращение к разбойничеству. Этим самым драматург существенно

¹⁸ «Московский телеграф», 1832, часть XLIV, № 6, стр. 233.

¹⁹ Н. М. Карамзин. История государства Российского, т. IX, стр. 409—410 (курсив наш, — В. Б.).

²⁰ «Московский телеграф», 1832, ч. XLIV, № 6, стр. 240.

²¹ «Русский архив», 1884, кн. 3, стр. 225.

зывает и наличие в этом произведении резкого противопоставления добродетельных персонажей злодеям. Типичным злодеем, напоминающим злодеев старых трагедий, является в «Ермаке» Мещеряк.

Но при всей яркости сохранившихся в трагедии «Ермак» черт классицизма она обладает другими важными чертами, делающими ее произведением романтической драматургии. К числу этих черт относится романтическая мечтательность персонажей трагедии, свойственное им пренебрежение ко всему земному и стремление к небесному блаженству. Очень важным показателем принадлежности «Ермака» к романтическим произведениям является также стих трагедии.

Трагедия написана в основном белым пятистопным ямбическим стихом. Кое-где белый стих переходит в рифмованный (73, 103, 108, 137, 138, 153). Иногда пятистопный ямб заменяется четырехстопным рифмованным ямбическим стихом (154). На принципиальное значение избранного Хомяковым стиха указывала современная критика. Например, «Северная пчела» писала: «Стихи в трагедии так хороши, как только могут быть хороши пятистопные ямбы. Автор, придерживаясь формы романтической, избрал этот неблагоприятный размер».²⁷ Критик «Московского телеграфа» решительно высказался в пользу избранного Хомяковым стиха, заявив, что трагедия «служит самым громким опровержением всех восклицаний защитников шестистопного ямба с рифмами».²⁸

Хомяков нарушил в своей трагедии единство времени и места. Действие пьесы начинается до покорения Сибири и отправления Ивана Кольцо в Москву, а заканчивается после его возвращения к Ермаку. Оно переносится с берегов Иртыша на берега Оки, а затем перебрасывается на берега Иртыша. Наконец, Хомяков отступает от обычая, принятого у авторов старых трагедий, пользоваться архаизированным «высоким» языком. В «Ермаке» редко можно встретить церковнославянизмы; автор этой трагедии пользуется в основном современным литературным языком.

Подведем итоги. Трагедия «Ермак» представляет весьма важным произведением при изучении истории русской драматургии. При всей ущербности ее драматизма она явилась своего рода вехой, стоящей на пути развития историко-драматического жанра. Эта трагедия развила в приемлемом для последекабрьской драматургии духе традиции допушкинской драматургии, почти полностью освободив их от оппозиционных аллюзий, которыми изобиловали пьесы Озерова. Если трагедии Озерова выражали переход от классицизма к сентиментализму, то в «Ермаке» запечатлена переработка чувствительной драматургии Озерова в мечтательный романтизм Жуковского. Сохранив не только озеровскую

²⁷ «Северная пчела», 1832, № 115.

²⁸ «Московский телеграф», 1832, ч. XLIV, № 6, стр. 244.

чувствительность, получившую в нем философски мечтательную и морализующую окраску, но и ряд черт старой трагедии классицизма, хомяковский «Ермак» самым своим эклектизмом отвечал требованиям «нормального», чисто эволюционного развития, дерзко нарушенного Пушкиным. Недаром в ряде исторических пьес 30-х годов мы находим причудливое сочетание элементов классицизма с элементами романтизма. Но «Ермак» вместе с тем явился и в меру «новаторским» произведением, поскольку в нем преломился ряд важных художественных достижений романтической драмы, без которых уже нельзя было обходиться при создании пьесы, претендующей на современное звучание.

Белинский не раз отмечал отсутствие связи между произведениями исторической драматургии 30-х годов и пушкинским «Борисом Годуновым». Связь драматургов 30-х годов с исторической трагедией допушкинского времени легко может быть замечена при рассмотрении художественной структуры «Ермака». Таким образом, трагедия «Ермак» как бы специально была создана для того, чтобы дать возможность исторической драматургии николаевского времени не соприкоснуться... с создателем «Бориса Годунова», у которого эта драматургия заимствовала лишь отдельные частности и внешние приемы письма. Более глубокую связь с пушкинским «Борисом Годуновым» имели отрывки из трагедии поэта и переводчика А. А. Шишкова «Ажедимитрий», трагедия М. П. Погодина «Марфа, посадница Новгородская» и некоторые другие произведения.²⁹

²⁹ См. об этом в кн.: Стихотворная трагедия конца XVIII—начала XIX в. Вступ. статья, подготовка текста и примечания В. А. Бочкарева. М.—Л., 1964 (Библиотека поэта, Большая серия), стр. 58—60.

ИЗ ИСТОРИИ РУССКОЙ ПОВЕСТИ

(Н. Ф. ПАВЛОВ)

Среди беллетристов 1830-х годов видное место принадлежит Николаю Филипповичу Павлову (1803—1864); его произведения были отмечены современниками, в том числе Пушкиным, Гоголем, Белинским, как выдающиеся явления литературы. Кроме знаменитых «Трех повестей», перу Павлова принадлежит еще ряд произведений, менее известных, которые являются важной вехой на пути к его зрелому творчеству.

Как и многие видные прозаики, Павлов дебютировал стихами; они печатались в 20-е годы в «Трудах общества любителей российской словесности», альманахе «Мнемозина» и отмечены влиянием поэзии Е. А. Баратынского, с которым в эти годы писатель был близок. Следует, однако, подчеркнуть, что мотивы грусти, недовольства окружающим, ощущаемые в таких, например, стихотворениях Павлова, как «Элегия» (1824), имели и вполне реальную жизненную основу: выходец из крепостного сословия, писатель рано узнал теневые стороны крестьянской жизни, перенес много лишений, мучительно переживал разлад мечты с действительностью. Он все чаще размышляет о несправедливости распределения жизненных благ, власти денег, общественном неравенстве. Характерна, например, позиция автора в вопросе о меценатстве:

Нет, нет, я не пойду к надменному вельможе,
Я не люблю ласкать спесивых богачей:
Наемник и поэт — у многих значит то же,
Но цель поэзии возвышенной, святей!¹

Помимо лирических стихов, значительное место в раннем творчестве Павлова занимает драматургия, что также связано с обстоятельствами его биографии. Получив в 1811 г. «вольную», он стал воспитанником Московского театрального училища, играл на сцене, хорошо знал театральный репертуар и был одним из его создателей. В 1825 г. в Москве шла трагедия

¹ К*** при посвящении ей перевода трагедии «Мария Стюарт», «Мнемозина», ч. I, 1824, стр. 171. Стихотворение неоднократно перепечатывалось в альманахах тех лет (см., например: «Русская Таalia» на 1825 год).

Шиллера «Мария Стюарт», перевод которой был сделан Павловым. Он был, по мнению критики, «весьма удачен» и не уступал «лучшим нашим переводчикам Гнедичу и Лобанову».² В начале 30-х годов Павлов пишет несколько водевилей («Щедрый», «Стар и млад», «На другой день после преставления света»), которые с успехом ставились на московской и петербургской сценах³ и также были одной из вех творческого развития писателя.

Важным аспектом зрелой прозы Павлова является обличение сословного неравенства, низкопоклонства, несоответствия служебного положения человека его моральным качествам. Эти же темы звучали в некоторых произведениях писателя, предшествовавших его повестям: в басне «Блестки» (1822), «Песне магометанина» (1825), стихотворении «Червонец» (1829), в драматических опытах. Вот характерные в этом отношении строки из водевиля «Стар и млад» (1829):

Мы ценим только блеск наружный,
К нему лишь ходим на поклон,
И имя доброе не нужно
Тому, кто с «именем» рожден.⁴

Мысль, заключенная в этих стихах, ляжет в основу остро социальной повести Павлова «Именины».

За внешне буффонадной формой, в таком «легком» жанре, как водевиль, им ставились проблемы, в которых уже намечалось мироощущение автора «Трех повестей», провозгласившего, что «человек везде равно достоин внимания». В шуточных куплетах слуги из того же водевиля заключена большая, серьезная мысль:

Какая пестрота на свете!	Лишь я один, ну, право, чудо!
Какое множество имен!	Живи без имени весь век,
Иной пешком, иной в карете,	Хоть называюсь я не худо:
Тот князь, тот граф, а тот барон!	Мое ведь имя: человек! ⁵

Таким образом, уже раннее творчество Павлова свидетельствует о его критическом мышлении, стремлении к социальным обобщениям. С этим же мы встречаемся и в нескольких прозаических отрывках, которые также предшествовали его повестям, и где особенно творческой манеры писателя проявились еще более отчетливо. Наибольший интерес здесь представляет «Московский бал», напечатанный в 1832 г. в «Телескопе». В этом небольшом отрывке в эмбриональной форме сосредоточены два тематических начала, характерные для прозы Павлова в целом. Одно из них связано с противоречивым отношением автора к дворянской среде. В повестях из жизни светского общества он критикует его безздрав-

² «Московский телеграф», 1826, ч. VII, стр. 167.

³ См.: И. А. Арсеньев. Н. Ф. Павлов. М., 1864.

⁴ «Радуга». Литературный музыкальный альманах на 1830 г., стр. 193.

⁵ Там же, стр. 194.

ственность, легкомыслие, душевную пустоту, а с другой стороны, как бы любитесь внешним жизненным комфортом аристократов, его словно привлекает обаяние дворянских титулов.

Вторая группа повестей Павлова (как увидим в дальнейшем, она также неоднородна) социально заостреннее. Ее герои ущемлены в правовом или экономическом отношении. Темами этих произведений являются рассказы о «бедных людях», лишенных возможности пользоваться теми благами жизни, которые с такой симпатией описаны Павловым в его «светских повестях». Моральная победа бедняка Велина над князем Вольским составляет сюжетное начало отрывка «Московский бал».

Эпизодический образ фонарщика служит автору поводом для риторического вопроса, «почему один не спит, чтобы другому светло было, а другой тратит часы покоя в великолепном доме, которого окна ярко освещены?».⁶

Рисуя бал в одном из московских особняков, автор в критических тонах изображает его участников: мужчины и женщины здесь друг друга «выучили наизусть», разговоры незанимательны, наряды «однообразны, как слова, как мысли, как чувства людей, принадлежащих к лучшему обществу».⁷ К «Московскому балу» примыкают еще два рассказа Павлова — «Родительская печаль» (1834) и «Черный человек» (1835).

В 1835 г. в Москве, в типографии Н. Степанова, была отпечатана книга «Три повести» Н. Павлова с виньеткой, изображающей пораженного кинжалом дракона и латинским эпитафией «Domestica facta» (домашние дела). Эта книга сразу же привлекла к себе пристальное внимание современников, начиная с цензурного комитета, который вначале вообще «сомневался пропустить»⁸ ее, а дав разрешение, «назначил к исключению все те слова, кои показались цензору «или слишком резкими или столь обоюдными, что могли подать повод к превратным толкованиям».⁹

Беллетристика Павлова получила высокую оценку читателей и критиков;¹⁰ о «Трех повестях» существует обширная литература,¹¹ которая правильно объясняет их успех социальной заостренностью этих произведений, касавшихся таких «запретных» тем, как крепостнический произвол и армейское самоуправство.

⁶ «Телескоп», 1832, ч. VII, стр. 29.

⁷ Там же, стр. 32.

⁸ И. М. Снегирев. Дневник. М., 1904, стр. 182.

⁹ Из письменного объяснения цензора Министру народного просвещения. ЦГИАЛ, ф. 735, оп. 1, ед. хр. 578.

¹⁰ Подробнее см. об этом в работе Н. А. Трифонова «Повести Н. Ф. Павлова» («Ученые записки МГПИ», кафедра русской литературы, вып. II, М., 1939) — наиболее обстоятельном монографическом исследовании повестей Павлова.

¹¹ См. составленную нами библиографию в кн.: История русской литературы XIX века. Библиографический указатель. Изд. АН СССР, М.—Л., 1962, стр. 530—533.

Успех первого сборника окрылил автора, и он стал готовить материал для новой книги, решив положить в ее основу повесть «Маскарад», опубликованную в том же 1835 г.¹² Однако, как процидательно заметил Белинский, искусство не составляло для Павлова главную цель жизни. Различные обстоятельства отвлекали его от работы, и новый сборник, куда, помимо «Маскарада», вошли повести «Миллион» и «Демон», вышел в свет только в 1839 г. Шесть повестей Павлова, составляющие основу его беллетристики, целесообразно рассмотреть, исходя из тематического принципа.

«Аукцион», «Миллион» и «Маскарад» составляют группу повестей из жизни светского общества. Хотя некоторые современники¹³ и считали Павлова основателем этого жанра, в действительности светская повесть активно разрабатывалась в 30-е годы и имела, в частности, такого видного представителя, как Марлинский. Подобно героям его произведений, персонажи светских повестей Павлова обычно лишены внутреннего развития. Правда, в отличие от Марлинского Павлов в ряде случаев показывает сосуществование в человеке противоречивых черт характера. Так, например, ради мести оскорбившей его красавице герой повести «Аукцион» отказывается от счастья обладания предметом своей страсти; жена Левина (в повести «Маскарад») сочетает супружеское счастье с затаенной страстью к другому, и т. п. При общей схожести критического отношения к светскому обществу Марлинского и Павлова повести последнего более социальны, в них глубже вскрыты общественные противоречия, реальнее показаны условия жизни представителей высшего общества. Следует также отметить, что герои произведений Павлова, как правило, лишены высоких общественных идеалов, они мечтают об улучшении своей участи, но им безразличны судьбы других людей. Н. А. Трифонов объясняет это своеобразие творчества писателя особенностями его натуры, считая Павлова «одним из наиболее ярких представителей группы разночинцев, тянувшихся к барству», тем, «кто всячески старался сделать дворянином».¹⁴ Думается, однако, что немалую роль здесь играла также та среда, из которой писатель брал прототипы героев своих произведений.

В обществе, нравы которого являются предметом описания в светских повестях Павлова, браки совершаются по расчету, семейная жизнь представителей этого круга полна фальши и лжи, истинные лица супругов скрыты маской. Мало связанное с внешним развертыванием сюжета название повести «Маскарад» оправдано внутренне, имеет глубокий скрытый смысл.

¹² «Московский наблюдатель», 1835, ч. I.

¹³ См., например, рецензию С. П. Шевырева в «Московском наблюдателе», 1835, ч. I, стр. 124.

¹⁴ «Ученые записки МГПИ», вып. II, стр. 106, 107 и др.

Отмечая двойственность отношения Павлова к светской среде, Н. А. Трифонов делает акцент на свойственном писателю «чувстве зависти» к людям «отборного общества» и считает неправыми тех исследователей, которые утверждали, что автор «хочет сбросить с пьедестала великосветскую женщину». ¹⁵ Необходимо, однако, подчеркнуть, что характеристика Павловым «женщины в свете» выводится из условий ее жизни; с особой наглядностью это проявляется в повести «Аукцион». Небезынтересно отметить, что именно эта повесть вызвала особенно разноречивые оценки, в которых общественное лицо критиков вполне проявилось. Так, если Шевырев писал, что автор «Аукциона», изобразив женщину современной России кокеткой и любительницей сомнительных наслаждений, искажил современность и «унизил свой талант», ¹⁶ то Пушкин считал, что повесть эта есть «легкая картинка, в которой оригинально вмещены три или четыре лица». ¹⁷ «Живым, мимолетным эпизодом из жизни общества» назвал «Аукцион» Белинский, отметивший также, что здесь автор «больше, нежели где-нибудь, в своей сфере». ¹⁸

Важная особенность светских повестей Павлова, написанных в эпоху бурного развития прозаических жанров, — наличие в них элементов психологического анализа. Это сближает писателя с творчеством В. Ф. Одоевского, виднейшего представителя философского романтизма, ориентировавшегося на немецких романтиков и Шеллинга. Несмотря на фантастическую окраску многих произведений, Одоевскому отнюдь не чужд социальный анализ современного ему общества, что проявляется не только в повестях о княжнах Зизи и Мими, но и там, где мертвецы «вспоминают» свою прошлую жизнь в свете и осуждают его («Бригадир», «Бал», «Насмешка мертвеца» и др.).

Как и Павлов, Одоевский в сатирических тонах изображал домашний замкнутый круг аристократических салонов, царящие здесь фальшь, лицемерие и жестокость, никчемность и пустоту.

Мы отмечали уже, что одним из главных тезисов Н. А. Трифонова в его обстоятельной работе о повестях Павлова является мысль о двояком отношении писателя к светскому обществу: с одной стороны, он его обличает, а с другой — завидует ему. Исследователь ссылается при этом на Ап. Григорьева, «по меткому определению» которого, «сфера большого света» является для Павлова «какой-то всепоглощающей и вместе обаятельно-влекущей бездною». ¹⁹ Отметим, однако, что тот же критик, говоря об отно-

¹⁵ Там же, стр. 97, 91—92 и др.

¹⁶ «Московский наблюдатель», 1835, ч. I, стр. 126.

¹⁷ А. С. Пушкин, Полное собрание сочинений, т. 12, Изд. АН СССР, М., 1949, стр. 9.

¹⁸ В. Г. Белинский, Полное собрание сочинений, т. I, Изд. АН СССР, М., 1953, стр. 282.

¹⁹ «Ученые записки МГПИ», вып. II, стр. 93.

шении к «сфере высших слоев» Павлова и Одоевского, отдавал предпочтение первому. Он считал, что в его повестях «живой человек со страстями и телом вторгается в этот блестящий мир и не ослепляется его внешними формами, а, напротив, с какой-то горькой радостью всматривается в шаткие основания спокойных снаружи отношений... Тут является уже не сухое негодование идеалиста, — продолжает А. А. Григорьев, сравнивая повесть „Миллион“ с „Княжной Мими“, — а страстное раздражение живого человека».²⁰ Вместе с тем критик отмечал, что «взгляду Н. Ф. Павлова, хотя и высшему сравнительно с другими повествователями одного с ним рода, недостает спокойствия, необходимого для художника».²¹

Среди писателей, отдавших дань жанру светской повести, следует еще назвать В. Соллогуба, Лермонтова, а также более позднюю современницу Павлова — Евг. Тур. Сравнительный анализ творчества этих авторов был в свое время произведен также А. А. Григорьевым. Он сохранил все свое значение в наши дни, хотя и не привлек должного внимания позднейших исследователей. Отдавая должное таланту Соллогуба, критик оценивает его повесть из светской жизни «далеко ниже» соответствующих произведений Одоевского и «особенно Н. Ф. Павлова». Уступает ему и Евг. Тур, которая «относится к сфере света, пожалуй, и с высшими требованиями, но с обаянием ее не расстается».²² Отдавая пальму первенства автору «Миллиона», А. Григорьев подчеркивает, что «все трагическое и грандиозное воплотил он в смелой и беспощадно-последовательной личности героя повести и поставил ее в такое отношение к избранной им сфере жизни, которое уже менее всего может быть названо отношением, ограничивающим сознание».²³ Признавая «Миллион» одним из лучших произведений в жанре светской повести, критик утверждал, что «все прочие, как-то г. Дружинин и многие другие, имели только претензию на изображение т. н. большого света».²⁴

Повестям Павлова подражали, его героев копировали, некоторые фразы из светских повестей становились модными афоризмами, их использовали в качестве эпиграфов. Кроме примеров из творчества И. Петрова, М. Жуковой, А. Павлова, которые уже приводились в критической литературе о Павлове,²⁵ укажем еще в этой связи на водевиль В. А. Соллогуба «Беда от нежного сердца». Его сюжетная основа близка повести «Миллион» с тем

²⁰ Аполлон Григорьев, Сочинения, т. I, 1876, стр. 38.

²¹ Там же.

²² Там же, стр. 41.

²³ Там же, стр. 42.

²⁴ Там же, стр. 36—37.

²⁵ См. об этом в указанной работе Н. А. Трифонова и в статье Ю. Гранина «Н. Ф. Павлов» (в кн.: Очерки по истории русской литературы первой половины XIX в., вып. 1. Баку, 1941, стр. 109).

различием, что разработанная Павловым коллизия трактуется здесь в комическом плане. Светские повести Павлова связаны нитями преемственности с творчеством ряда русских писателей. Так, еще Ап. Григорьев отмечал определенное сходство между Павловым и Лермонтовым, одним из предшественников которого в разработке психологической повести Павлов справедливо считается.

Его «светские повести» — существенный этап в развитии русской прозы на пути критического осмысления дворянско-крепостнического общества и его «героев».

Если Ап. Григорьев оценивал эти произведения как наиболее значительные в данном жанре в первой половине XIX в., то А. Г. Цейтлин обратил внимание на повесть Павлова «Демон» и считал ее «превосходной, совершенно несправедливо забытой».²⁶ Эта повесть входит в цикл произведений писателя, посвященных миру чиновничества. В центре повествования — образ мелкого служащего Андрея Ивановича, который «счастливо» реализовал мелькнувшую у него «демонскую» мысль, сделав свою жену любовницей влиятельного генерала. Характерные для светских повестей Павлова психологические характеристики персонажей, критическое отношение к представителям знати достигают в этом произведении еще большей силы.

Реалистическому изображению мира чиновничества помог личный опыт писателя, который в 1820-е годы служил в московском надворном суде, а позже состоял чиновником по арестантским делам при московском генерал-губернаторе.²⁷

В разработке сюжета о чиновнике, сделавшем карьеру с помощью молодой красивой жены, Н. Ф. Павлову принадлежит в нашей литературе одно из первых мест. Современная писателю критика (А. Григорьев, Шевырев) сравнивала «Демона» с «Шинелью». Однако, как показал Н. А. Трифонов, такое сближение неправомерно: в отличие от Гоголя герой повести Павлова торжествует, «выбивается в люди».²⁸ Писатель утверждал в одной из критических статей: «В человеке есть нечто, что делает для него всякие сани своими. Нет горы, на которую он не имел бы права подняться, нет величия, которого глаза его не были бы достойны созерцать».²⁹

²⁶ А. Г. Цейтлин. Повести о бедном чиновнике Достоевского (история одного сюжета). М., 1923, стр. 5. А. Г. Цейтлин отмечал, что «из писателей 30-х годов Павлов особенно несправедливо забыт историей литературы» (там же, стр. 55).

²⁷ «Русская старина», 1904, № 4. Письма Павлова к Одоевскому. Н. В. Чичерин признавал Павлова «самым искусным стряпчим в Москве» (архив Чичериных в ГБЛ).

²⁸ Подробнее см. об этом в указанной работе Н. А. Трифонова (стр. 98—102).

²⁹ «Наше время», 1860, № 4. Подробнее см. об этом в нашей работе «Критические статьи Н. Ф. Павлова» (в кн.: Из истории русских литературных отношений XVIII—XX вв. Изд. АН СССР, Л., 1959).

Защита Павловым представителей социально-угнетенных классов находит наиболее яркое художественное воплощение в повести «Именины» — одном из лучших произведений писателя. С глубоким сочувствием к бесправному таланту здесь рассказана трагическая история жизни крепостного музыканта, поставлена одна из острых социальных проблем той эпохи. Герой, обозначенный одной заглавной буквой, и эпиграф к повести («Что в имени?») подчеркивали типичность описанных в ней событий. Гнет крепостничества, как известно, острее других подневольных ощущали образованные крестьяне, у которых чувство человеческого достоинства, постоянно попираемое всем укладом феодализма, было развито особенно сильно. Крепостная интеллигенция России состояла главным образом из музыкантов, художников, артистов, певцов. Жизнь их большей частью складывалась трагически: пьянство, солдатчина, самоубийство были обычным ее финалом.³⁰ Бывало и так, что крепостные интеллигенты, временно приобщенные к быту привилегированных классов, после возвращения в крепостное состояние покушались на жизнь своих помещиков-тиранов.³¹ Крепостной интеллигенции и ее драме русская литература уделяла большое внимание. Достаточно вспомнить в этой связи имена Радищева, Нарезного, Ушакова, Одоевского, Даля, Тимофеева, Погодина, Белинского, Герцена. Почетное место в этом ряду принадлежит и автору «Именин», который одним из первых ввел в литературу необычного для нее героя, чем немало способствовал ее демократизации. Сравнивая «Именины» с произведениями других авторов, раскрывавших драму крепостной интеллигенции, современный исследователь справедливо отмечает, что, за редким исключением, писатели 20—30-х годов «не шли дальше критики злых помещиков и апелляции к гуманности, либо сводили трагедию крепостного к несчастной романической истории, или подменяли ее трагедией непонятого и гонимого художника. Повесть „Именины“ по-новому, социально более остро, освещала эту тему. Павлов показал не только пробуждение чувства человеческого достоинства в угнетенной личности, но и протест против ее угнетения».³² «Событием» в современной литературе назвал эту повесть Чаадаев.³³ А Ф. И. Тютчев, оценивая «Три повести» Павлова, отмечал, что в них «мысль свободная схватилась прямо

³⁰ О крепостной интеллигенции существует обширная литература. См., например: П. Н. Сакулин. Крепостная интеллигенция (сб. «Великая реформа», т. III, 1911); А. Г. Яценвич. Трагедия крепостной интеллигенции (сб. «Именины», Л., 1925); Е. С. Коц. Крепостная интеллигенция. Л., 1926, и др.

³¹ Так, например, был убит граф Каменский («Русская старина», 1875, № 9, стр. 212). Мысль об убийстве помещика мелькает и у героя «Именин».

³² Н. А. Трифонов. Н. Ф. Павлов. В кн.: Н. Ф. Павлов. Повести и стихи. Гослитиздат, М., 1957, стр. 13.

³³ П. Я. Чаадаев, Сочинения и письма, ч. I, 1913, стр. 194.

с роковыми общественными вопросами и притом не утратила художественного беспристрастия».³⁴

В одном из эпизодов герой «Именин» восторженно благодарит судьбу за то, что . . . попадает в рекруты: «С чем сравнить мой тогдашний восторг? Птица, выпущенная в благовещенье из клетки, преступник, прощенный под топором палача, могли бы вам дать понятие о чувстве, с которым я надел серую шинель».³⁵ Хотя в иных случаях солдатчина и могла явиться для крепостных счастливым исходом, военная служба в целом была подобно крепостничеству узаконенной формой беспрерывного унижения человеческого достоинства.

В центре повести «Ятаган» — драматическая история разжалованного корнета Бронина, ярко повествующая о том несправедливости, в которой оказывается человек, надевший солдатскую шинель. В условиях, когда жили еще разжалованные декабристы, вопрос этот был далеко не праздным. Не случайно Николай I написал, что повесть «Ятаган» «по всему содержанию никогда не должна была пропускаться цензором: и смысл и цель прескверные».³⁶

Современных читателей привлекала не только критическая позиция автора, но и значительные художественные достоинства повести, тонкий психологический анализ душевного состояния ее героев, успешная попытка создания сложного человеческого характера.

Беллетристика Павлова — один из важнейших этапов в развитии русской реалистической повести, ознаменованных усилением демократических и социально-критических мотивов. Ее главными темами были крепостное право, общественный и семейный гнет, пороки бюрократической системы. Повести Павлова отличались демократическим содержанием и художественно более совершенным слогом. На это обратил внимание Пушкин, подчеркнув, что «Три повести» рассказаны «с большим искусством, слогом, к которому не приучили нас наши записные романисты», что Павлов «первый у нас написал истинно занимательные рассказы».³⁷ Продолжая демократически-обличительные традиции сатирических журналов XVIII в., традиции Новикова и Радищева в повестях «Именины» и «Ятаган», Павлов выступает непосредственным предшественником Лермонтова в таких повестях, как «Аукцион» и «Маскарад», а повесть «Демон» предвдвывает мотивы ранних повестей Достоевского.

³⁴ «Русский архив», 1879, кн. II, стр. 123.

³⁵ Н. Ф. Павлов. Повести и стихи, стр. 59.

³⁶ ЦГИАЛ, ф. 735, оп. I, № 578, запись 29 марта 1835 г.

³⁷ А. С. Пушкин, Полное собрание сочинений, т. 12, стр. 9

ЭТЮД К ПСИХОЛОГИИ ТВОРЧЕСТВА САТИРИКА

(О «КУЛЬТУРНЫХ ЛЮДЯХ» САЛТЫКОВА-ЩЕДРИНА)

Цензура оставила множество разнообразных следов в творчестве Салтыкова и своим непосредственным вмешательством, и в качестве постоянно действующей причины, ограничивавшей деятельность сатирика. В связи с этим обстоятельством стало обыкновением объяснять цензурными помехами, в частности, наличие в наследии Салтыкова нескольких незавершенных циклов. Однако такое объяснение подходит далеко не ко всем случаям незавершенности. Слишком доверчивое отношение к однозначному решению вопроса мешает понять действие причин другого, творческого характера, причин, связанных с конкретными ситуациями.

Салтыкова как писателя отличает ясность мысли, высокая идейность творческих концепций. Он творил при свете и под контролем критического сознания, остававшегося неусыпным и в моменты высокого полета фантазии. Сила воображения и сила логики в его творческом акте действовали по принципу согласия. Каждое его произведение, взятое в целом и в своих дробных — даже мельчайших — составных элементах, является следствием синтеза логического и образного познания действительности. В нем деятельно проявлялся ум социолога, идеолога, историка, философа. И, конечно, щедриноведы не напрасно уделяют много внимания вопросу о руководящей роли передовых идейных убеждений в творческой деятельности сатирика. Однако несколько односторонняя сосредоточенность исследователей на этом аспекте творческой индивидуальности Салтыкова порой приводит к чрезмерной рационализации склада художественного мышления сатирика и созданных им произведений, привносит в его облик черты излишней рассудочности. А между тем Салтыков был не «головным» писателем, а чрезвычайно эмоциональным и тонким художником. Он творил не только умом, но и сердцем; в его произведениях запечатлелись и трезвый, анализирующий дар мыслителя, и страсть темпераментной природы общественного борца, и сила творческой интуиции пронизательного художника. На творческом процессе Салтыкова в каждый

данный момент сказывались не только факты и условия окружающего мира, работа мысли автора, но и его интимные душевные переживания. Поэтому существенна мысль о том, чтобы при изучении творческой истории щедринских произведений, и в частности тех из них, которые остались незавершенными, принимались во внимание особенности художнического темперамента сатирика, аргументы, почерпнутые «из сферы субъективно-личностной, психологической».¹

Давно уже и вполне справедливо отметил Н. К. Пиксанов, что «сам автор забросил», например, такие «циклы-неудачники, незавершенные циклы», как «Книга об умирающих», «Культурные люди», «Игрушечного дела людишки».² И действительно, внимательное рассмотрение вопроса убеждает, что от завершения «Книги об умирающих» (1857—1859) Салтыков отказался, убедившись в несостоятельности основной идеи, развиваемой в этом цикле. Не по цензурным соображениям приостановил он и «Игрушечного дела людишек» (1880), а потому, что разочаровался в эффективности приема кукольности для сатирического разоблачения сложных социально-политических явлений.

Еще более любопытен факт незавершенности «Культурных людей» (1876). Тут также оказалась причина творческого порядка, но заключается она уже не в неудачности идейного замысла или художественного приема, а в несоответствии избранного жанра произведения тому эмоциональному настроению, которое писатель переживал в это время.

Салтыков-Щедрин обычно работал одновременно над двумя, тремя и более циклами произведений. Эта творческая особенность порождена присущей сатирику жаждой всестороннего вмешательства в текущую жизнь, его стремлением отозваться на широкий круг общественных вопросов, воздействовать на ход идейно-политической борьбы разными родами художественного оружия. При этом для каждого отдельно взятого цикла характерно не только единство проблематики, но и единство сатирической тональности. Так, начиная с 70-х годов можно отчетливо наблюдать в творчестве Щедрина две художественные струи, которые, нередко, смешиваясь, все же не утрачивают своей самостоятельности. Одна из них, более подвижная, более гибкая, чутко реагировала на злобу дня, на всякие быстрые изменения в общественно-политической ситуации и выражала стремление сатирика дать в форме «веселого» политического фельетона немедленный ответ на волнующие общественные проблемы. Другая, «серьезная», захватывала глубинные социально-психологические процессы обществен-

¹ В. Прозоров. О художественном мышлении писателя-сатирика. (Наблюдения над творческим процессом М. Е. Салтыкова-Щедрина). Изд. Саратовск. ун-в., 1965, стр. 65.

² Н. Пиксанов. Литературное наследие Салтыкова. В кн.: М. Е. Салтыков (Щедрин), Сочинения, Гослитиздат, М.—Л., 1933, стр. 27.

ной жизни и отличалась не столько резкостью характеристики, сколько силой анализа социальных явлений. Эти жанровые направления, каждое из которых обусловлено прежде всего характером изображаемого объекта, идут то параллельно, то чередуясь и перебивая друг друга, в зависимости не только от цензурных и других внешних условий, но и от психологического состояния сатирика, которое в 70—80-х годах было весьма изменчивым ввиду частых приступов прогрессирующей болезни. Смена эмоциональных настроений иногда вынуждала писателя временно приостанавливать или даже вовсе забрасывать один цикл и браться за другой.

«Культурные люди» были задуманы в духе «веселой» сатиры. К написанию их Салтыков приступил в ноябре 1875 г., но этой теме он касался и значительно ранее. В 1863 г. он напечатал очерк «Русские „гулящие люди“ за границей», включенный впоследствии в цикл «Признаки времени». В то время Щедрин еще не бывал за границей и свой очерк написал на основании газетных сообщений о способах времяпрепровождения русских дворян за границей. «Сомневаюсь, — писал по этому поводу Салтыков, — чтоб сатирическое перо могло сыскать для себя сюжет более благодарный и более неистощимый», тут все дает пищу для «беспощадного остроумия, которым обладали великие юмористы, подобные Гоголю, — остроумия, относящегося к предмету во имя целого строя понятий и представлений, противоположных описываемым» (VII, 106).³

Во время своего первого пребывания за границей (1875—1876), длившегося более года, Салтыков имел возможность лично наблюдать там поведение русских гулящих людей и задумал посвятить им целый цикл «веселых» сатирических рассказов.

История зарождения и характер замысла, работа над первыми главами цикла и причины, вызвавшие его прекращение, — все это прослеживается по письмам Салтыкова из-за границы.

В первый же месяц заграничной жизни, в мае 1875 г., Салтыков просил Некрасова прислать ему в Баден-Баден «Записки Пиквикского клуба» (XVIII, 291). Как это видно из последующих писем, книга Диккенса потребовалась Салтыкову в связи с задуманным в это время новым произведением. В июле и августе он сообщал Некрасову, что это будет «фельетон „Дни за днями за границей“ в роде „Дневника провинциала“» (XVIII, 294), что начнет печатать эту большую вещь с январской книжки, что «будет нечто веселое» (XVIII, 296), «в роде „Пиквикского клуба“» (XVIII, 302).

В письме к П. В. Анненкову от 20 ноября, когда уже была написана первая глава цикла, названного на этот раз «Книгой о праздношатающихся», Салтыков изложил содержание всего

³ Салтыков цитируется по изданию: Н. Щедрин (М. Е. Салтыков), Полное собрание сочинений, тт. I—XX, Гослитиздат, 1933—1941.

предполагаемого цикла. «Тут, — писал он, — вы увидите многое множество лиц: и фальшивого Бисмарка, которого за сто марок в Берлине русским (и то потому, что русские) показывают, и мятежного хана Хивинского, и чиновника, который едет за границу от воспы, и генерала, который душу чорту продал, и проч. Все это будет проходить постепенно. Шпион явится, литератор, который в подражание „Анне Карениной“ пишет повесть „Влюбленный бык“. Смеху довольно будет, а связующая нить — культурная тоска. Хотелось бы и трагического попробовать — после болезни меня все в эту сторону тянет. В виде эпизода хочу написать рассказ „Паршивый“. Чернышевский или Петрашевский, все равно» (XVIII, 323).

О включении в цикл «Культурные люди» рассказа о мужестве ссыльного революционера Салтыков позднее писал и Некрасову: «Тут у меня будет еще рассказ „Паршивый“, человек, от которого даже все передовики отвернулись, который словно окаменел в своих мечтаниях, ни прошедшего, ни настоящего, ни будущего — только свет! свет свет!» (XVIII, 360). Планируемый рассказ о революционере должен был составить трагический элемент цикла. Комической пошлости мимо культурных «гулящих людей» правящего класса Салтыков намеревался противопоставить высокий трагизм подлинно культурного человека, русского революционера, борца за светлые идеалы человечества. Композиция цикла намечалась по принципу движения от комического к трагическому: «трагический элемент будет, но потом. Теперь надо, чтоб было весело» (XVIII, 360), — так пояснял Салтыков идейное соотношение первых и последующих глав. «Вообще о „Культурных людях“ не судите по началу: право, будет хорошо» (XVIII, 360).

Таким образом, был задуман сложный и большой цикл.

К концу декабря пять глав цикла, принявшего теперь окончательное заглавие «Культурные люди», были написаны и появились в январской книжке «Отечественных записок» за 1876 г. Но на этом дело и остановилось. Осуществление широко задуманной «большой вещи», которую Салтыков обещал печатать непрерывно с января до мая (XVIII, 296), прервано в самом начале. Почему так получилось? «В переписке М. Е., — говорит комментатор И. Векслер, — нет прямого ответа на этот вопрос. Но о причинах этого легко можно догадаться, принимая во внимание творческую и цензурную историю незавершенного цикла. Цензурная встреча „Культурных людей“ не предвещала автору ничего радужного впереди, если принять во внимание замысел и намечавшийся автором план дальнейшей работы» (XI, 567). «Понятно, что при таком замысле произведения и при наличии цензурного гонения на его первые главы попытка продолжить задуманное представлялась сатирику явно безнадежной. Это, по-видимому, — основная причина незаконченности „Культурных людей“, помимо других причин — творческого порядка» (XI, 568).

Говоря о цензурной встрече «Культурных людей», не предвещавшей автору ничего радужного, комментатор имеет в виду резкий отзыв цензора Лебедева о первых главах. Но дело в том, что этот отзыв не помешал их появлению в печати. Кроме того, у нас нет никаких указаний на то, что отзыв цензора стал сразу известен Салтыкову, жившему в это время за границей. Но если бы писателю и было известно цензорское донесение, то едва ли это могло заставить его сразу отказаться от продолжения цикла. Если бы он поступал так, то из двадцати с лишним созданных им циклов завершенными оказались бы очень немногие.

В своих письмах Салтыков много раз касается «Культурных людей», но при этом нигде не высказывает особых цензурных опасений, что было обычным явлением относительно многих других его произведений. Дело в том, что «Культурные люди», хотя они по своему замыслу и являются злой сатирой на дворянство и бюрократию, задуманы в такой манере, которая неоднократно выручала Салтыкова перед судом цензурного ведомства. Это манера сатирического фельетона, с обилием комического элемента, насыщенная приемами шаржа, фантастики, эзоповских фигур. В этой манере до «Культурных людей» написан «Дневник провинциала», а после, в условиях более жестоких цензурных преследований, — «Современная идиллия», «Пошехонские рассказы».

Задумав «Культурных людей», Салтыков писал: «Хочу опять Прокопа привлечь» (XVIII, 294). Прокоп Лизоблюд — фигура испытанная. Главный персонаж «Дневника провинциала», он в этой же роли привлечен в цикл «Культурные люди». Прокоп — праздношатающийся помещик, он «не у дел», фигура «неофициальная», и по этой своей «формальной» особенности он не попадал в категорию лиц, прерогативы которых так бдительно охраняла цензура. То же самое в известной мере относится и к другим персонажам «Культурных людей»; это праздношатающиеся помещики или бюрократы «в отставке». «Отставка» эта была временная, точнее, условная, для удобств сатирической расправы. Вспомним, например, бесшабашных советников Удава и Дыбу и графа Твердонтó в «За рубежом». Они тоже «в отставке», в заграничном путешествии. Только при этом условии сатирик воздал им должное, в полную сатирическую меру.

Во всяком случае «Культурные люди» — в цензурном отношении если не менее, то и не более опасное из произведений Салтыкова.

Комментатор «Культурных людей», доверившись предвзятой мысли о цензуре как основной причине, помешавшей сатирику завершить цикл, поспешил с заявлением о том, что в переписке Салтыкова нет прямого ответа на вопрос, почему дело не двинулось дальше пяти глав. Между тем переписка именно дает ответ, освещая Салтыкова как художника с весьма интересной стороны. Признания Салтыкова, связанные с работой над «Культурными

людьми», вводят в интимную лабораторию сатирика и позволяют проследить роль его душевного и физического состояния в осуществлении замыслов.

Написав первые пять глав «Культурных людей», Салтыков в целом ряде писем возвращался к мысли о их продолжении и каждый раз объяснял, почему это продолжение задерживается. Приведем эти места, так как они существенны для освещения темы.

«Я послал начало „Культурных людей“, — писал Салтыков Некрасову 29 декабря 1875 г. — Кажется, вышло скверно. Извините. Писал (вторую половину) почти насильно, в чаду лихорадки и ревматических припадков. . . Первые главы не образец: я, действительно, писал их совсем больной, но ведь болезнь, пожалуй, так привяжется, что окончательно уничтожит юмор, который в этом случае преимущественно требуется» (XVIII, 331—332). В этом же письме Салтыков обещает к мартовскому номеру «еще глав 5—6» написать, а в февральской книжке отсутствие «Культурных людей» просит объяснить в примечании болезнью автора. Но уже в следующем письме (от 7 января 1876 г.) он сообщает Некрасову, что может возобновить «Культурных людей» только осенью, мотивируя это опять-таки вызванным болезнью отсутствием «веселости», которая необходима для произведений такого рода (XVIII, 333).

В целом ряде других писем, написанных в период с января по май 1876 года к разным лицам (Некрасову, Анненкову, Унковскому, Белоголовому, Суворину), Салтыков, касаясь «Культурных людей», выражает неудовлетворенность исполнением первых глав и жалуется на невозможность продолжения цикла. И каждый раз то и другое объясняется в разных формулировках одной и той же причиной: «нет веселого расположения духа»; «настоящей веселости нет»; «нужно целое море веселости, а где мне ее взять, когда весь, весь я болен»; «не могу; право, у меня расположение духа какое-то совсем трагическое» (XVIII, 336, 341, 346, 352, 359).

Примечательно, что в те же первые месяцы 1876 г., когда Салтыков жаловался на полную невозможность продолжать цикл «Культурные люди», он не прекращал работы над другими произведениями, в частности над очерками «Благонамеренные речи», и в числе их — над теми, которые впоследствии вошли в состав «Господ Головлевых». Из этого видно, что творческая сила и работоспособность Салтыкова находились в это время на самом высоком уровне, но приступы болезни создавали такое расположение духа («совсем трагическое»), которое не отвечало требованиям «веселого» жанра «Культурных людей».

Несмотря на переживаемые Салтыковым длительные творческие затруднения с «Культурными людьми», мысль о продолжении их не оставляла его до мая 1876 г. Так, в письме от 11 мая Салтыков делится с Некрасовым планом, который предполагает раз-

вить «в одном из ближайших продолжений „Культурных людей“» (XVIII, 364). Но после этого письма Салтыков уже не возвращается к мысли о возобновлении «Культурных людей». Необходимое для работы над ними «веселое расположение духа» не наступило. К июню Салтыков вернулся в Россию по-прежнему больным и сразу же должен был заменить в «Отечественных записках» еще более больного Некрасова. «Болезнь Ваша, — писал ему Салтыков в октябре 1876 г., — тревожит и мучит меня лично совершенно так же, как и моя собственная. Тоскливо, тревожно, ничего делать не хочется» (XIX, 77).

«Веселый юмор» вернулся к Салтыкову только в начале 1877 г. Но к этому времени заграничный сюжет «гуляющих людей» уже утратил свою привлекательность, оттеснился другими, более непосредственными впечатлениями и замыслами, требовавшими юмористического претворения. В феврале 1877 г. сатирик начал «Современную идиллию», где замысел «в роде „Пиквикского клуба“», не реализованный в «Культурных людях», был блестяще осуществлен.

Следовательно, не цензурными, а чисто творческими причинами объясняется приостановка «Культурных людей». Этот пример показывает, что в генезисе щедринских циклов, в темпах их продвижения, в их чередовании важно, между прочим, учитывать и такой фактор, как эмоциональное настроение сатирика, которое оказывало свое влияние на выбор жанра, той или иной тональности в каждый конкретный момент творческой работы.

Н. А. НЕКРАСОВ В ОЦЕНКАХ РЕВОЛЮЦИОННЫХ НАРОДНИКОВ

Вопрос об отношении к Некрасову его современников принадлежит в нашем литературоведении к числу тех, к которым обращаются не очень часто и не очень охотно. Слишком противоречивы и неравноценны были критические отзывы о поэте, еще нет их полной библиографии.¹ Имеющиеся обобщающие работы по данному вопросу при всей их несомненной ценности не могут претендовать на освещение даже известного материала, они нуждаются ныне в поправках и по своим выводам.² В сборнике «Некрасов в русской критике» составитель смог включить из критических работ современников поэта лишь суждения Чернышевского, Писарева, статью В. Зайцева. Все это говорит о большой сложности вопроса, обусловленной во многом острой идейной борьбой вокруг Некрасова как при его жизни, так и в последующее время. Однако отказываться от освещения темы нет оснований. Разъяснение противоречий в восприятии творчества гениального поэта современниками помогает глубже понять эпоху, в которую он жил и творил, конкретнее уяснить как исторический смысл, так и непреходящую ценность его произведений.

Большой интерес представляет отношение к Некрасову революционных народников 70-х годов. На эту тему за последнее время появился ряд работ, освещающих главным образом воздействие поэзии Некрасова на передовую молодежь того времени, использование его произведений в пропагандистской деятель-

¹ «Библиография прижизненной критики о Некрасове, — писали авторы одной из заметок на данную тему почти двадцать лет тому назад, — мало разработана» (А. Анникина и Б. Бухштаб. Первые печатные отзывы о стихотворениях Некрасова. Литературное наследство, т. 53—54, Изд. АН СССР. М., 1949, стр. 81). С тех пор положение существенно не изменилось.

² См.: В. Евгеньев-Максимов. Некрасов в критике XIX и XX вв. «Литературный современник», 1938, № 1, стр. 264—283; А. Еголин. Литературная борьба вокруг Некрасова. В кн.: Некрасов в русской критике. ОГИЗ, 1944, стр. 7—29.

ности, его влияние на поэзию революционного народничества.³ В характеристике отношений к Некрасову демократической интеллигенции 70-х годов обоснованно ссылаются на свидетельства участников народнического движения — на воспоминания Н. А. Чарушина, Н. А. Морозова, Л. Дейча, В. Н. Фигнер. К ряду этих часто цитируемых имен следовало бы добавить П. А. Кропоткина,⁴ А. Д. Михайлова⁵ и других революционеров. При освещении народнической критики обычно называют имена А. М. Скабичевского, Г. З. Елисеева, С. А. Венгерова.⁶ Из народнических откликов положительно упоминается статья П. В. Григорьева.⁷

Следует отметить, что число печатных выступлений демократического лагеря в 70-е годы с признанием выдающихся заслуг Некрасова перед общественным движением и огромной ценности его поэзии неоправданно мало и находится в глубоком несоответствии с истинной ролью поэта. Этому был ряд причин. Во-первых, несомненно снижение уровня демократической критики после прекращения деятельности Добролюбова, Чернышевского, Писарева. Во-вторых, «Отечественные записки», как в свое время «Современник», были лишены возможности сколько-нибудь подробно говорить о поэте, так как он до самой своей кончины был их редактором. В-третьих, о революционном значении поэзии Некрасова невозможно было говорить в легальной печати из-за цензурных ограничений. Наконец, на позицию демократической критики начала 70-х годов наложил отпечаток ошибочный шаг поэта, выступившего ради спасения «Современника» с хвалебными стихами в честь Муравьева-вешателя и в похвалу Комиссарова — «спасителя» Александра II от пули Каракозова.⁸ Весь комплекс данных

³ См.: А. М. Гаркавич. 1) Произведения Н. А. Некрасова в вольной русской поэзии XIX века. «Ученые записки Калининградского гос. педагогического института», вып. III, 1957, стр. 207—249; 2) Н. А. Некрасов и революционное народничество. Изд. «Высшая школа», М., 1962; Н. В. Осьмаков. Поэзия революционного народничества. Изд. АН СССР, М., 1961; А. И. Никитина. Из истории русской революционной поэзии 1870-х годов. «Ученые записки Ленинградского гос. педагогического института им. А. И. Герцена», т. 245. Л., 1963, стр. 5—36; сб. «Поэты революционного народничества». Изд. «Художественная литература», Л., 1967, стр. 3—22, ст. А. Бихтера).

⁴ П. А. Кропоткин. Записки революционера. Изд. «Мысль», М., 1966, стр. 98, 232, 448.

⁵ Письма народовольца А. Д. Михайлова. Изд. Общ. политкаторжан, М., 1933, стр. 46, 47, 66, 80, 84, 181.

⁶ В. Е. Евгеньев-Максимов. Некрасов в критике XIX и XX вв., стр. 270—271.

⁷ В. Е. Евгеньев-Максимов. Революционные связи и знакомства Некрасова. В кн.: Некрасов в кругу современников. ГИХЛ, Л., 1938, стр. 228—232.

⁸ Кропоткин писал в своих воспоминаниях «Записки революционера»: «Некрасов был больше всех скомпрометирован своими сношениями (с революционными кругами, — Н. С.) в шестидесятые годы, он больше всех и старался заслужить раскаянием перед палачом Муравьевым» (стр. 232).

обстоятельств в сочетании с нападками на поэта со стороны охранительного лагеря и представителей эстетики «чистого искусства» и обусловил характер критических выступлений о Некрасове в период революционного народничества.

Учитывая сказанное, необходимо с особым вниманием отнестись к тем откликам о Некрасове деятелей революционного движения, которые нашли в свое время отражение как в легальной, так и в нелегальной печати. В ряду этих откликов несомненный интерес представляют выступления П. Н. Ткачева — одного из идеологов народничества, радикального литературного критика, выступавшего на страницах журнала «Дело». До сих пор эти выступления не привлекали должного внимания, в упомянутых выше работах о Некрасове критик-революционер даже не упоминается.

В 1870 г., находясь в заключении (в Петропавловской крепости) по нечаевскому процессу, Ткачев написал для «Дела» статью «Наука в поэзии и поэзия в науке». Статья была задержана III Отделением и опубликована лишь в советские годы. В ней, в частности, нашло отражение скептическое отношение критика к уверениям о действительном значении «гражданской поэзии», причем автор называет имена Шиллера, Гуда, Барбье и «нашего *ci-devant*⁹ гражданского поэта Некрасова».¹⁰ Далее Ткачев говорит, что под воздействием гражданских стихов читатель «становится несравненно хуже потому, что думал о себе лучше, чем был на самом деле». На поставленный вопрос о «примерах» критик отвечает: «... к чему же примеры, когда мы знаем, что ... нередко и сама муза, воспевая сегодня возвышенные гражданские чувства, завтра готова петь гимны на сатурналиях деспотизма и упиваться тою кровью, которую еще вчера она так жалобно оплакивала».¹¹ Этот резкий выпад по адресу Некрасова был продиктован, несомненно, еще не изжитым раздражением революционера по поводу выступления поэта в честь Муравьева.

В дальнейшем Ткачев, однако, сумел подняться над чувством негодования и по-иному оценить творчество поэта, не забывая о его заблуждениях.

Уже в статье «Неподкрашенная старина» («Дело», 1872, №№ 11 и 12) критик называет Некрасова «одним из талантливых представителей современной литературы, одним из лучших наших поэтов»,¹² хотя его роман «Три страны света» оценивает отрицательно.

⁹ Бывшего (фр.).

¹⁰ П. Н. Ткачев, Избранные сочинения на социально-политические темы, т. II, Изд. Общ. политкаторжан, М., 1932, стр. 74.

¹¹ Там же, стр. 75.

¹² «Дело», 1872, № 11, Современное обозрение, стр. 14. Общей проблематики статьи, посвященной ряду вопросов «реальной критики, анализу «Трех стран света» Некрасова и А. Я. Панаевой, а также «последним повестям и рассказам» И. С. Тургенева, мы не касаемся: это может быть темой специальной работы.

Еще многозначительнее упоминание о Некрасове в статье Ткачева «Тенденциозный роман» («Дело», 1873, №№ 2, 6, 7). Обосновывая и отстаивая принципы «реальной критики», провозглашенные Добролюбовым, критик «Дела» здесь пишет: «Сила и степень человеческого ума, в какой бы деятельности он ни обнаруживался, всегда должны определяться глубиной, широтой и важностью волнующих вопросов; частными, неглубокими и несущественными вопросами могут интересоваться только мелкие и поверхностные умы.¹³ Для иллюстрации данного положения автор приводит такой довод: «Никто не решится доказывать, будто поэтический талант г. Фета равен по своей силе, ну, хоть, поэтическому таланту г. Некрасова».¹⁴

Приведя этот пример, Ткачев несомненно припомнил аналогичное рассуждение Добролюбова в статье «Темное царство», где для определения силы таланта Фет сопоставлен с Тютчевым.¹⁵ Добролюбов мог бы также с полным основанием назвать имя Некрасова, но по известным причинам на страницах «Современника» этого сделать было нельзя. В статье Ткачева содержатся прямые ссылки на «Темное царство» Добролюбова;¹⁶ критик «Дела» как бы выполнил то, что не мог сделать его предшественник в «Современнике».

Самым значительным выступлением Ткачева о Некрасове следует признать его статью «Литературные „мелочи“» («Дело», 1878, № 6), явившуюся откликом на смерть поэта и на полемику вокруг его имени, возникшую на страницах печати.

Эта статья интересна в ряде отношений. Она вносит существенный корректив в позицию журнала «Дело» по отношению к творчеству Некрасова. В предшествующих выступлениях С. С. Шашкова¹⁷ и Н. В. Шелгунова¹⁸ сказались серьезное непонимание существа произведений поэта, упрощенный подход к его идейной позиции, авторы не смогли объяснить причин его огромной популярности у передового читателя. Ткачев, не называя соратников по журналу, по-иному оценил и творчество поэта, и его идейную позицию. Статья радикального критика существенна также обоснованной полемикой с Достоевским и Елисеевым по вопросу о личности Некрасова.¹⁹ Критик дал также уничтожаю-

¹³ П. Н. Ткачев, Избранные сочинения, т. II, стр. 365—366.

¹⁴ Там же, стр. 366.

¹⁵ Н. А. Добролюбов, Собрание сочинений, т. 5, Гослитиздат, М.—Л., 1962, стр. 28.

¹⁶ См.: П. Н. Ткачев, Избранные сочинения, т. II, стр. 365, 367, 369.

¹⁷ С. С. Шашков. 1) Н. А. Некрасов (некролог). «Дело», 1878, № 1, стр. 48—65; 2) Живописатель «новых людей» и «печальник горя народного». Там же, № 3, стр. 285—313.

¹⁸ Н. Языков [Н. В. Шелгунов]. Заметки о русских литературных идеалах. «Дело», 1878, № 5, стр. 297—324.

¹⁹ Ткачев полемизировал со статьей Достоевского «По поводу смерти Некрасова» («Дневник писателя», 1877, декабрь) и с «Внутренним обзором» Елисеева («Отечественные записки», 1878, № 3).

шую характеристику Суворину, выступавшему со своими домыслами о поэте. Не имея возможности осветить весь круг вопросов, связанных с данной статьей,²⁰ остановимся лишь на отношении критика к Некрасову, к его поэзии.

Ткачев отверг домыслы тех, кто писал о «неискренности» поэта, его «двойственности» как «поэта и гражданина». «Талантливость всякого литературного произведения, — заявляет критик, — прежде всего и более всего обуславливается его искренностью и правдивостью. . . только те чувства, те идеи и могут быть выражены в прекрасной художественной форме, которые глубоко прочувствованы и передуманы их автором». Имея в виду Некрасова, автор статьи говорит далее: «Выражать в сильных, ярких, потрясающих художественных образах чувства, которые не испытываешь, идеи, в которые не веришь и о которых даже не думаешь, — это просто психологическая невозможность, вопиющая нелепость».²¹ Эта мысль уточняется и на следующей странице: «Если бы Некрасов действительно пел „о народе“ и его „горе“, ни мало не сочувствуя народу. . . то его произведения никогда бы не могли производить того потрясающего впечатления, которое они производили, никогда бы не могли пользоваться тем вполне заслуженным успехом, которым они пользовались».²²

Критик-народник теперь далек от какого-либо принижения Некрасова как поэта. Он характеризуется критиком как «человек, в течение всей своей жизни проповедывавший в звучных, сильных, потрясающих стихах самые возвышенные, гуманные, благородные нравственные идеалы».²³ В не менее высоких выражениях говорится о Некрасове и в другом месте статьи: «Умирает великий поэт — поэт-гражданин, призывавший нас к великим подвигам, учивший нас добру и гуманности».²⁴

Как известно, Ткачев был тем деятелем литературы, который отличался исключительной прямоотой, порой излишней резкостью по адресу крупнейших писателей в тех случаях, когда их творчество не отвечало его программным убеждениям. Поэтому приведенные суждения о Некрасове — заявление принципиальной важности, а не дань некрологическим условностям. Это подтверждается и тем, что и в рассматриваемой статье критик-революционер не прошел мимо тех сторон деятельности Некрасова, которые свидетельствовали о противоречиях его мировоззрения. Ткачев усматривал противоречивость поэта не в его личной жизни и склонностях, о чем усердно писала суворинская пресса, а в его

²⁰ Частично эти вопросы затронуты в нашей статье «Глеб Успенский и Некрасов» (Некрасовский сборник, II, Изд. АН СССР, М.—Л., 1956, стр. 458—471).

²¹ «Дело», 1878, № 6, Современное обозрение, стр. 16.

²² Там же, стр. 17.

²³ Там же, стр. 10.

²⁴ Там же, стр. 33.

общественной деятельности, в некоторых расхождениях «слова» и «дела». Как видно из замечаний критика, рассеянных по статье, очень осторожных и щадящих память поэта, речь идет о тех «неверных» звуках его лиры, которые осудил и сам поэт. Исходя из этого, Ткачев не согласился с Елисеевым, который, не отрицая идейных уступок Некрасова, оправдывал их необходимость историческими обстоятельствами. Речь шла, как можно судить по намекам, о том же выступлении Некрасова со стихами в честь Муравьева и Комиссарова, о котором так резко высказался критик в упомянутой статье 1870 года. Елисеев, как увидим далее, остался верен своей точке зрения и позднее.

Ткачев, не соглашаясь с ним, не дает развернутой оценки ошибочным шагам Некрасова (для этого потребовалось бы говорить о событиях, связанных с выстрелом Каракозова, что, конечно, в легальном журнале было невозможно); но совершенно очевидно, что он видит в них ошибки и не оправдывает их.

Критик-революционер выражал также недоумение по поводу позиции поэта, заявленной в стихотворении «Рыцарь на час»: «Ты звал нас из „стана праздно болтающих в стан погибающих за великое дело любви“, но сам ты — в каком стане ты жил, в каком стане ты умер? Да, над этими вопросами можно призадуматься. . .».²⁵ Сейчас мы по-иному смотрим на знаменитое стихотворение и на отношение поэта к «стану», в котором он жил. Но нельзя не признать, что и здесь Ткачев судил с точки зрения, с которой осуждал себя сам поэт.

Как видно из приведенных высказываний, во взглядах Ткачева на Некрасова произошли существенные изменения: от резкого неприятия, продиктованного временными обстоятельствами, к глубокому признанию жизненной силы «потрясающих стихов» поэта, его проповеди «самых возвышенных, гуманных, благородных нравственных идеалов». Вместе с тем критик остался верен отрицательной оценке непоследовательности, идейных колебаний Некрасова.

Спор о неверных шагах Некрасова имел продолжение и в последующие ближайшие годы. В 1882 г. в Женеве появилась книга И. А. Худякова «Опыт автобиографии», вышедшая уже после гибели революционера, сосланного в Сибирь. Рукопись книги была переслана за границу, как можно полагать, через Елисеева.²⁶ В книге с большой искренностью и прямотой Худяков рассказывает о своем жизненном пути, об участии в революционном движении 60-х годов, аресте, следствии и приговору по делу Каракозова. Характеризуя общественное настроение в данный период, он в примечании коснулся также выступления Некрасова в честь

²⁵ Там же, стр. 33.

²⁶ См.: Из неизданной переписки П. Л. Лаврова и Г. З. Елисеева. Вступ. статья и комм. Ф. Витязева. Литературное наследство, т. 19—21, М., 1935, стр. 256—272.

Муравьева. Назвав Некрасова «другом Добролюбова, Чернышевского, издателем „Современника“ и лучшим поэтом», революционер с бескомпромиссной резкостью осудил его поступок.²⁷

Зарубежные издатели (книгу готовил к печати Лавров при участии Елисеева) решили дать «примечание» на «примечание» Худякова и заявить о своем отношении к поэту; соответствующий текст взялся написать Елисеев. Его объяснение переросло в целую заметку «О личности Некрасова».²⁸ В письме к Лаврову от 9 августа 1882 года он сообщает: «Посылаю Вам проект моего *примечания* на упрек, сделанный Худяковым Некрасову... Вместо извинения я написал, как Вы увидите, полное оправдание Некрасову».²⁹

Елисеев счел суждение Худякова «несправедливым и жестоким», объяснимым лишь болезненным состоянием пострадавшего от самодержавия революционера. Автор «заметки» полностью оправдывал Некрасова, стремившегося спасти «Современник» от гибели. «Жертва, принесенная Некрасовым чудовищу (т. е. Муравьеву, — Н. С.), была, по нашему мнению, не только вполне законна, но и необходима».³⁰ По мнению Елисеева, Некрасов проявил слабость, предаваясь покаянным настроениям, нашедшим отражение в соответствующих стихотворениях. Некрасов, утверждал Елисеев, был не настолько велик, чтобы... оставаться равнодушным к близоруким толкам современной толпы о своем поступке».³¹

Это суждение, конечно, поражает своей идейной близорукостью и либерализмом, свойственным Елисееву, особенно в последние годы его деятельности. Смешать в одну «толпу» Каткова и Суворина (о них также шла речь в «заметке») с революционными кругами было, по меньшей мере, глубоким непониманием исторического смысла революционной схватки с самодержавием, происшедшей во второй половине 60-х годов. Не малодушие, а мужество проявил Некрасов, объяснив свое выступление ошибочным. Это мужество поэта по достоинству оценили и революционные круги.

Елисеев попытался далее дать объяснение психологическому облику Некрасова и его тактике как журналиста: «Это был, если

²⁷ И. А. Худяков. Опыт автобиографии. Женева, 1882, стр. 167—168.

²⁸ Она полностью опубликована с примечанием Г. Тизенгаузена лишь в советские годы в книге: М. А. Антонович, Г. З. Елисеев. Шестидесятые годы. Воспоминания. Изд. «Academia», М.—Л., 1933, стр. 458—467. Автор примечаний, однако, не знал, что «Заметка» написана в связи с изданием книги Худякова; естественно, он ни словом не говорит и о Лаврове. Впервые «Заметка» опубликована (с цензурными пропусками) П. Ф. Якубовичем в «Русском богатстве» (1903, №№ 11 и 12) и его книге «Н. А. Некрасов. Его жизнь и литературная деятельность» (СПб., 1907); подлинных обстоятельств написания заметки Якубович также не знал.

²⁹ Литературное наследство, т. 19—21, стр. 270.

³⁰ М. А. Антонович, Г. З. Елисеев. Шестидесятые годы, стр. 460, 462.

³¹ Там же, стр. 462.

угодно, герой, но герой-раб, который поставил себе целью добиться во что бы то ни стало свободы, упорно преследует эту цель, по временам применяясь к обстоятельствам, делает уступки, но на своем главном пути постоянно держит ее в уме. . .».³²

Пространное «примечание» Елисеева, однако, не было принято революционным издательством и, как очевидно, не только по соображениям объема. Вместо него дано примечание «От издателей», автором которого был Лавров.³³ Данное примечание не учтено в литературе о Некрасове.³⁴

Касааясь суждения Худякова, Лавров указал на конкретные обстоятельства, обусловившие раздраженный и гневный отклик революционера на ошибочные выступления Некрасова. Вместе с тем автор примечания попытался вскрыть исторические причины, объясняющие поведение издателя «Современника». Эти причины — в общественной атмосфере царствования Николая I, от воздействия которой не были избавлены и «все лучшие люди этого времени. . . Традиции стойкости в борьбе вырабатывались лишь постепенно в отдельных личностях».³⁵ Противоречие между «словом» и «делом» (в ряде своих работ Лавров «делом» обозначает активную революционно-общественную деятельность) было характерно для многих людей 40-х и 50-х годов. От этого противоречия не был избавлен и Некрасов. «Жизнь Некрасова, — пишет Лавров, — не приготовила в нем вовсе человека дела и не развила в нем стойкости характера. В трудную минуту, когда русское общество почти целиком было охвачено припадком трусливой подлости, его желание спасти страстно любимый им „Современник“ довело его до нравственного падения и даже отуманило его светлую мысль, не угадавшую, что это падение было бесполезно при существовавших условиях. Но это не помешало поэту Некрасову остаться одним из самых полных литературных выражений того, что переживала русская мысль в 50-х и 60-х годах. И никто лучше самого поэта не чувствовал внутреннее страдание из-за того, что его рука „у лиры звук неверный исторгала“, что, „жизнь любя, к ее мишурным благам прикованный привычкой и средой“, он „к цели шел колеблющимся шагом“ и „для нее не жертвовал собой“. Он сохранил лишь „любовь“ к народу, „воспеть страдания“ которого он считал своим призванием. Но многие ли между людьми тех поколений, которые нашли в стихотворениях

³² Там же, стр. 466.

³³ Авторство Лаврова доказывается его перепиской с Елисеевым (см.: Литературное наследство, т. 19—21, стр. 271).

³⁴ В советском сокращенном издании книги Худякова примечание «От издателей» не приводится, а примечание автора о Некрасове перенесено в основной текст, вследствие чего возник нескладный разрыв в основном повествовании. См.: И. А. Худяков. Записки каракозца. Изд. «Молодая гвардия», М.—Л., 1930, стр. 164—165.

³⁵ И. А. Худяков. Опыт автобиографии, стр. 169.

поэта отражение своих общественных болей и своих общественных стремлений, остались настолько спокойными в минуту тяжелых искушений, что имеют право ответить строгим „нет“ на стих кающегося поэта: „За каплю крови общую с народом мой вины, о родина! прости!“?»³⁶ Этим вопросом, предполагающим недвусмысленный ответ, и заканчивается примечание «От издателей». Лавров, высказываясь от имени уцелевших после 1 марта 1881 г. революционеров-народников, как видим, дал иное объяснение и оценку поведения Некрасова, чем это сделал Елисеев. Здесь нет «полного оправдания» поэту, его ошибки названы ошибками, но вместе с тем в их оценку внесены существенные коррективы по сравнению с Худяковым. Для Лаврова и его соратников признание огромного исторического значения творчества поэта, его народолюбия не вызывало никаких сомнений.

Напомним, что В. И. Ленин, говоривший о симпатиях Некрасова к Чернышевскому, отмечавший наряду с этим «нотки либерального угодничества» поэта и его раскаяние, цитировал то же стихотворение («Умру я скоро. Жалкое наследство...»), что и Лавров в своем примечании. «Неверный звук», — писал В. И. Ленин, — вот как называл сам Некрасов свои либерально-угоднические грехи.³⁷

Признания выдающегося значения деятельности Некрасова поэта содержатся и в дальнейших работах Лаврова, когда речь заходила о литературе. В статье «Взгляд на прошедшее и настоящее русского социализма» (1883) он писал об идейно-общественной обстановке в России 70-х годов: «Раздирающие душу стихотворения Некрасова и все более горькая сатира Щедрина стали единственным верным изображением общественного настроения».³⁸ В труде «Опыт истории мысли нового времени» Лавров также объединяет имена двух крупнейших деятелей русской литературы, подчеркивая общественный смысл их переживаний: «...цикл стихотворений Некрасова и сатира Салтыкова представляют не столько отражение личных настроений этих писателей, сколько последовательный ряд аффектов, которые переживало в их эпоху русское общество в своих наиболее живых и впечатлительных представителях».³⁹

Приведенные факты, думается, с достаточной определенностью характеризуют отношения видного идеолога народничества к поэзии Некрасова, к его роли в истории общественного движения и литературы.

³⁶ Там же.

³⁷ В. И. Ленин, Полное собрание сочинений, т. 22, стр. 84.

³⁸ «Календарь народной воли», 1883, стр. 97.

³⁹ П. Л. Лавров. Опыт истории мысли нового времени, т. I. Женева, 1894, стр. 1093. Отметим также, что на страницах журнала и газеты «Вперед!», издававшихся под редакцией Лаврова в 1873—1887 гг., не раз встречаются цитаты и выражения из произведений Некрасова.

В заключение представляется уместным остановиться на выступлениях Плеханова о поэте. Обычно они рассматриваются в связи с характеристикой литературно-эстетических взглядов первого критика-марксиста, между тем в его суждениях немало ценного и для освещения отношений народнических кругов к Некрасову.

Уже в статье «Об чем спор?» (1878), включаясь в острую полемику об очерках Г. И. Успенского «Из деревенского дневника», молодой революционер, тогда еще народник, проявил знание поэзии Некрасова: статья снабжена эпиграфом из поэмы «Кому на Руси жить хорошо», а в самом тексте цитируется стихотворение «Свобода».⁴⁰

Другим его важным выступлением, уже непосредственно о Некрасове, явилась речь на похоронах поэта, произнесенная от имени революционеров «Земли и воли». Текст речи не сохранился, о ней мы можем судить лишь по позднему воспоминанию самого оратора. «Я оттенял, — пишет он в заметке „Похороны Н. А. Некрасова“ (1917), — революционное значение поэзии Некрасова. Я указывал на то, какими яркими красками изображал он бедственное положение угнетаемого правительством народа. Отметил я также и то, что Некрасов впервые в легальной русской печати воспел декабристов, этих предшественников революционного движения наших дней... Вот все, что сохранилось у меня в памяти от содержания моей речи».⁴¹ В дополнение он припомнил, что не удержался от иронического замечания о Пушкине; о Некрасове же добавил, что тот «ввел в свою поэзию гражданские мотивы».

Как известно, на похоронах, в связи с речью Достоевского, раздались возгласы о том, что Некрасов «выше Пушкина и Лермонтова». В статье «Чернышевский в Сибири» (1913) Плеханов отметил: «Пишущий эти строки сам принадлежал к числу кричавших».⁴² В своей специальной брошюре «Н. А. Некрасов» (1903), явившейся обработкой речи в день 25-летия смерти поэта, Плеханов разъяснил причины такого предпочтения. Указав на стихотворения Некрасова, в которых содержится призыв к «служению угнетенному народу», и отметив, что так думала и вся революционная интеллигенция, Плеханов говорит: «Ввиду этого делается совершенно понятным, почему эта интеллигенция не только зачитывалась стихами Некрасова, но и ставила его талант выше таланта Пушкина и Лермонтова: он давал поэтическое выражение ее собственным общественным стремлениям; его „муза мести и печали“ была ее *собственной музой*».⁴³ Об этом же он сказал и в упомянутой статье о Чернышевском: «Что касается

⁴⁰ См.: Г. В. Плеханов. Литература и эстетика, т. II. Гослитиздат. М., 1958, стр. 211, 213.

⁴¹ Там же, стр. 208.

⁴² Г. В. Плеханов, Избранные философские произведения, т. IV, Соцэкгиз, М., 1958, стр. 414.

⁴³ Г. В. Плеханов. Литература и эстетика, т. II, стр. 197.

взгляда (Чернышевского, — Н. С.) на Некрасова как на величайшего из русских поэтов, то его разделяла в то время вся наша радикальная интеллигенция». ⁴⁴

Плеханов и характеризует Некрасова в основном с точки зрения участника революционно-освободительного движения 70-х годов. «Некрасов явился, — заявляет он, — поэтическим выразителем целой эпохи нашего общественного развития». ⁴⁵ Созвучность поэзии Некрасова переживаниям и чаяниям народнической интеллигенции особо подчеркивается Плехановым. Поэт, считал он, «своим поэтическим чутьем понял психологию нового общественного типа». ⁴⁶ В контексте речи, послужившей основой брошюры о Некрасове, Плеханов записывал: «Это родначальник рев[олюционеров] 70 гг.». ⁴⁷ Преувеличенность данного утверждения сейчас не подлежит сомнению; припомним, что в подобное преувеличение впадал и народник Морозов. ⁴⁸

В ряду суждений Плеханова, выражающих во многом взгляды революционеров-народников на Некрасова, примечательно и его отношение к личности поэта: он находит в ней подлинно революционные черты. «Семидесятые годы, — напоминает он, — были у нас временем знаменитого „хождения в народ“. Наша революционная интеллигенция надеялась, что ее пропаганда и агитация скоро вызовут всенародное восстание. Некрасов высоко ценил самоотверженность революционеров <...> Народное восстание, вероятно, не испугало бы его своими так называемыми ужасами». ⁴⁹ Плеханов сослался при этом на образ Кудеяра из поэмы «Кому на Руси жить хорошо». Бывший участник народнического движения усмотрел общее и в грустных сетованиях поэта на свою отчужденность от народа с тем итогом, который «тогдашние русские революционеры увидели в результате своих „бунтарских“ и вообще агитационных усилий в крестьянстве». ⁵⁰

Отмечая неоспоримую ценность приведенных суждений Плеханова, однако, следует указать и на их некоторую односторонность. Он не говорит о том, что Некрасов, столь близкий демократическим устремлениям революционной народнической молодежи, вместе с тем, как известно, был чужд ряду ошибочных представлений народников о русской действительности, их иллюзорным планам ее преобразования.

⁴⁴ Г. В. Плеханов, Избранные философские произведения, т. IV, стр. 414.

⁴⁵ Г. В. Плеханов, Литература и эстетика, т. II, стр. 189.

⁴⁶ Там же, стр. 195.

⁴⁷ Г. В. Плеханов. Искусство и литература. Гослитиздат, М., 1948, стр. 641.

⁴⁸ См.: Н. А. Морозов. Повести моей жизни, т. I. Изд. «Наука», М., 1965, стр. 352.

⁴⁹ Г. В. Плеханов. Литература и эстетика, т. II, стр. 202.

⁵⁰ Там же, стр. 203.

Рассмотренные материалы об отношении к Некрасову видных деятелей русской освободительной борьбы, как нам кажется, существенно пополняют и уточняют данные о воздействии поэта на революционное движение его времени. Идейные ошибки и колебания руководителя «Современника», допущенные в стремлении спасти журнал в пору обострения реакции, не заслонили на сколько-нибудь длительный срок в глазах лучших его современников глубокого и искреннего демократизма поэта, огромного жизненного смысла его творчества.

К ТВОРЧЕСКОЙ ИСТОРИИ РАССКАЗА
Л. Н. ТОЛСТОГО «КОРНЕЙ ВАСИЛЬЕВ»

Посетивший Ясную Поляну в 1879 г. олонецкий сказитель В. П. Щеголенок оставил своими рассказами большой след в творчестве Толстого.¹ Некоторые воплотились через несколько лет в его народные рассказы, другие совсем не были использованы, третьи продолжали тревожить творческую мысль Толстого, и время от времени они появлялись в списках сюжетов, которые «стоит и можно обработать». Эта заметка Толстого сделана спустя восемнадцать лет после встречи с Щеголенком, и в списке назван рассказ о «*муже, умершем странником*».² Прошло еще шесть лет, и Толстой отметил в дневнике: «Много задумываю писаний, очевидно, неисполнимых».³ В составленном тогда же списке сюжетов опять появляется рассказ Щеголенка «*Измена жены*» — так назван теперь этот сюжет. Намечая еще через два года темы произведений для «Круга чтения», Толстой поставил первым номером «*Ушедший странствовать от жены*». Такой рассказ был написан под заглавием «*Корней Васильев*», имевший вначале другое заглавие — «*Чем был и чем стал*».⁴

Наконец, двадцать пять лет спустя, замысел рассказа об измене жены и умершем странником ее муже осуществился.

Из записанного со слов Щеголенка рассказа Толстой воспользовался только схемой: богатый мужик жил по делам в Петербурге; за это время «жена сблудила, принесла ребеночка». Слухи пошли, что другого несет. Вернувшись домой, муж «решил свое житье». Протекло много лет. Пришел в родное село «старик рослый», милостыню просил. Свое семейство было разделено. Логин (очевидно, сын) пустил ноче-

¹ Краткие записи рассказов Щеголенка внесены в «Записную книжку» Толстого (Л. Н. Толстой, Полное собрание сочинений, т. 48, Гослитгиздат, М., 1952, стр. 198 и сл.).

² Дневник, 13 декабря 1897 г. (т. 53, стр. 170).

³ Дневник, 4 июля 1903 г. (т. 54, стр. 181).

⁴ См. т. 41. В т. 42 опубликованы варианты (редактор Е. С. Серебровская). Все тексты вариантов, опубликованные и впервые публикуемые, печатаются нами по рукописям (Рукописный отдел Гос. музея Л. Н. Толстого; в дальнейшем в тексте указан номер рукописи).

вать, накормил, и показался ему старик знакомым. Поехал странника искать. В соседней деревне нашел. Помер. «Тужил, попа взяли и помер. Накрыто тряпкой и не мытой».

Наспех внесенный в «Записную книжку» сюжет лишь отдаленно напоминает поэтический рассказ, заворотивший Толстого. Писатель взял для себя самое главное — два эпизода: разрыв с северной женой и возвращение немощного старика в родное село. Трогательный сюжет и своеобразие композиции подкупили Толстого, подбиравшего небольшие произведения для «Круга чтения», в котором собраны мысли «Об истине, жизни и поведении».

Вкратце передаем содержание преобразованного Толстым рассказа, останавливаясь на этих двух эпизодах. Пролог к первому. Богатый 54-летний мужик возвращался домой после выгодной сделки. Возница Кузьма, не любивший богатых, и особенно богача Кирюшку, по пути со станции рассказал ему о том, что Марфа, жена Корнея, взяла в работники «своего прежнего любовника» Евстигнея и живет с ним. «Не хорошо. Народ смеется».

В сумерки Корней вошел в дом, после объяснения с женой избил ее, искалечил девочку, по словам Марфы, прижитую ею от Евстигнея, и на рассвете вернулся на станцию. С тех пор о нем ничего не было слышно.

Второй эпизод — спустя семнадцать лет. Разорившийся за эти годы богач, старый, едва живой побирושка возвращался в родное село. Теряя силы, остановился за несколько верст от дома в приветливой семье, накормившей и обогрешей его (по сломанной руке молодайки он догадался, что это была его ли, Евстигнея ли дочь, отданная замуж в соседнее село). Наутро Корней пошел к родному дому. Марфа узнала его, но не призналась и прогнала как попрошайку. К вечеру Корней вернулся в приютивший его дом и тут же скончался. Когда Корней ушел от Марфы, ее стала мучить совесть, наутро она пошла искать старика. Узнала, что он в соседней деревне, и пошла за ним, чтобы взять его к себе. У дочери нашла его «обмытое, убранный, прикрытое полотном мертвое тело».

Такова схема коротенького рассказа. Действие заняло при первой встрече несколько часов и при второй немногим больше суток.

В рассказе различимы два художественных приема. В первой части, где зло должно нарастать и привести к семейной катастрофе, сильна реалистическая манера письма Толстого. Он не жалеет сил для того, чтобы психологически правильно раскрыть самые тяжелые поступки озверевших людей. Во второй, заключительной, части явно влияние щеголенковского сказа, своим эпилогом привлечшего симпатии Толстого. Однако и здесь художник главенствует над отвлеченной моралью.

«Корней Васильев» — одно из немногих произведений Толстого последних лет, над которым писатель работал с таким упорством.

Сохранилось от небольшого рассказа 15 рукописей, включающих в себя 220 листов, испещренных авторскими переработками.

Наша задача проследить не создание произведения в целом, а работу писателя только над эпизодами двух встреч Корнея с женой.

В первом наброске так представлено появление Корнея: «Жена сначала спокойно встретила мужа и стала помогать ему раздеваться. Но, взглянув ему в глаза, она вдруг вспыхнула и рассердилась на дочь и стала ругаться. Она как-то особенно гордо вела себя с мужем и ушла ставить самовар. Корней роздал гостинцы и днем только приглядывался и ничего не говорил жене... После обеда Марфа уходила куда-то и, когда вернулась, была красная, и от нее пахло вином».

Все очень кратко и ясно, кроме одной подробности: почему Марфа, взглянув ему в глаза, вспыхнула. Узнаем об этом в следующей рукописи, где действие расширено. В минуту встречи «она показалась ему особенно похорошевшей, он пристально уставился на нее. Этот взгляд смутил ее, она вдруг вспыхнула» (рук. 3).

Необходимая подробность. Она намекает на душевную драму, пока еще скрытую. Марфа не знает, как вести себя, и притворяется. Когда подъехал муж, она «рысью, смеясь, выбежала ему навстречу и, выхватив у Евстигнея чемодан, сама внесла его в горницу». Начинается первый диалог, в который каждый влагает свой смысл.

«— Ну что, как живете без меня? — сказал он, пристально глядя на нее.

— Живем все по-старому, — сказала она и вдруг вспыхнула и с досадой отпихнула от себя двухлетнюю девочку». (рук. 4).

Действие еще больше растягивается. Сцена, естественно развивающаяся, пронизана нарастающим, но еще скрытым драматизмом. За чаем «с женой он не говорил ни слова и только изредка взглядывал на нее. Перед ужином достал записную книжку, сел под лампу и, достав счеты, кидал кости и записывал огрызком карандаша.

— Что ж, спать-то скоро придешь? — сказала Марфа, снимая с головы платок и оправляя его. — Дорогой-то уморился, — сказала она, блеснув на него глазами и слегка улыбаясь.

— Сейчас приду, — сказал он, улыбнулся и тотчас рассердился за это на себя и сдвинул брови.

— То-то, — сказала она, и он слышал ее быстрые резвые шаги по сеням и лестнице и веселый голос, звавший девочку.

Корней давно кончил счеты, но ему страшно было идти к ней. Он долго сидел со счетами, пересчитывая, чтобы только обмануть себя и оттянуть время» (рук. 4).

При последующей работе внесена важная психологически необходимая подробность. Входя в дом, Корней уже смотрит на Ев-

стигнел как на своего соперника. Несколько штрихов его внешности помогают Корнею: «Евстигней был белокурый длинноносый невзрачный малый, робкий и суетливый. „Разве можно, чтобы меня на него променяла, — подумал Корней, взглянув на смиренное, покорное лицо заторопившегося Евстигнея. — Наврал старый пес, — подумал он про Кузму“».

Положение изменилось. Наговор извозчика потерял силу и понадобились другие улики. Автор нашел их. Когда были розданы подарки, Корней вышел в сени. «Марфа и Евстигней стояли у двери на двор. Увидав его, Евстигней шмыгнул во двор, а Марфа сделала вид, что раздувает самовар. Корней ничего не сказал и вошел в большую избу».

Корней не сразу решил, как поступить к ночи, «страшная злоба оскорбленной гордости кипела в нем, но рано ли, поздно не миновать идти. Он повесил счеты на гвоздь, встал и хотел войти к ней, но услышал, что она молится богу. Он снял пиджак, жилет и остановился, дожидаясь. Когда она кончила молиться и с какими-то словами молитвы вытягиваясь в себя, села на заскрипевшую кровать, он вошел в каморку» (рук. 5).

Итак, подозрение подкреплено тем, что Корней натолкнулся на шептавшихся Марфу и Евстигнея. В новой рукописи автор следил за точностью поведения Корнея. В том месте, где рассказывается о подарках, добавлено, что Корней «даже не смотрел на нее». По поводу занятия Корнея со счетами сказано существенно новое: хозяин «делал вид, что считает что-то, но он ничего не считал. А только ждал ее, чувствуя, как гнев его на нее все больше и больше разгорается. Наконец ему показалось очень долго, послышались ее шаги, дернулась дверь, отлипла, и она вошла с девочкой на руках».

На приглашение идти спать: «Стерва, — подумал Корней, только взглянул на нее и ничего не ответил». Страшная злоба оскорбленной гордости кипела в нем. «Ему хотелось поскорее отплатить ей за все и вместе с тем страшно было узнать наверно то, в чем он еще сомневался. „Люди смеются“, вспомнил он слова Кузмы и медленными движениями встал» (рук. 6).

Внимание сосредоточено на Корнее. Раньше говорилось о том, что он терпеливо ждал за перегородкой, когда она кончит молитву, которую нельзя прерывать. Теперь «ему казалось, что она видит его и нарочно так тянет, и это, как и все, что бы она ни делала, еще больше злило его. Наконец она положила земной поклон, прошептала в себя какие-то слова молитвы и повернулась к нему. Как будто не замечая его грозного вида, она села на заскрипевшую кровать» (рук. 8).

Психологические контуры мужниного поведения, подготовившие трагическую развязку, очерчены. В последних рукописях оставалось немного, но, пожалуй, очень важное. Душевное состояние Корнея в то время, когда он занимался коммерческими вы-

кладками, сделано более естественным — в подсчетах хозяин хотел забиться (прежде показано, что это занятие являлось обычным делом по возвращении домой). Рассказ идет так: «Корней сидел один. Он долго сидел у стола, облокотившись на руку, стараясь утишить свое сердце, но злоба к жене все больше и больше поднималась в нем. Он достал со стены счеты, вынул из кармана записную книжку и стал считать. Он считал, поглядывая на дверь и прислушиваясь к голосам в большой избе. Несколько раз он слышал, как отворялась дверь в избу и кто-то выходил в сени, но это все была не она». Наконец вошла Марфа, улыбаясь, «как будто ничего не было, как будто не зная всего того, что делалось в его душе». Прошла за перегородку, и Корней ждал, пока она закончит свою молитву (т. е. дальше, как в предыдущей редакции).

Читаем в первой рукописи: в момент прихода Корнея в спальню «она сидела на кровати и оправляла косу, она прямо смотрела на него и улыбалась.

— Евстигней давно здесь? — сказал Корней, не глядя на нее.

— Кто его знает. Недель 5, либо 6.

— Ты живешь с ним? — он взглянул на нее своими блестящими черными глазами. Она вздрогнула, выпустила из рук косу, но тотчас же поймала ее и, быстро перебирая пальцами, прямо глядя в лицо мужа, хихикнула.

— Живу с Евстигнеем? Выдумывают. Тебе кто сказал, что с Евстигнеем живу? — повторила она, с особенным удовольствием произнося имя Евстигнея.

— Говори: правда, нет ли? — проговорил он, сдерживая дыхание, так что высокая грудь его поднялась еще выше, и подходя к ней и страшно хмурясь, глядя на ее косу.

— Будет болтать пустое. Ишь. Раздевайся, что ль. Снять сапоги-то?

— Правда ли, нет ли?

— Известно нет, а тебе кто про Евстигнея сказал?

— Кто бы ни сказал, а ты меня страмить хочешь, чтоб народ смеялся. Вижу по глазам, стерва пьяная.

Он схватил ее за косу и рванул. И вспомнив насмешку Кузьмы, такая злоба вступила ему в сердце, что он готов был сейчас же, ничего не разбирая, задушить ее своими могучими руками. И странное дело: и боль и угроза смерти, которую она почувствовала, не утишили ее, а напротив, его злоба сообщила ей, и она, ухватив за руку, державшую косу, закричала ему злобным визгливым голосом, оскаливая свои белые зубы:

— Ну и живу с Евстигнеем. А с тобой не хочу жить. На, убей!

Такое страшное чувство ужаса, гнева, стыда, ненависти к этой женщине, которая вся была в его власти, охватило Корнея, что он отшвырнул ее на кровать и выбежал из горницы.

Он знал, что жена его была злая женщина. Он видел это в ее сношениях с ним, с свекровью, с детьми, работниками, но до сих

пор он не знал, чтобы она изменяла ему, и она всегда была покорна с ним. И этого он не ожидал от нее.

Он вышел на крыльцо. Остыл и вернулся в горницу.

— Что пришел опять? Не убил небось.

— Марфа. Ты не шути.

— Чего шутить? Я сама не знаю, что сказала. Ты за что мне полкосы выдрал? Во, так шматами и лезут.

— Ты что сказала?

— Ничего не говорила. Сказала: иди, ложись.

— А про того?

— Про Евстигнея? Ничего не сказала.

— Что ж ты вертишься? Говори одно что-нибудь.

— Нечего мне говорить. Одурел ты, я вижу.

— Марфа!

— Ну что ж: Марфа. — И она расхохоталась.

Этого он не мог вынести, бросился на нее и стал бить по лицу, по бокам. Крик ее разбудил старуху. Она с работником вбежала в горницу. Марфа лежала на полу, хрипя. Он был на себя не похож и бил ее ногами.

— Вон! — крикнул он на вошедшего Евстигнея, Евстигней попятился за дверь, за ним вошла старуха.

— Матушка! погубила меня эта... Убил я ее. — И он, зарывшись, выбежал в сени.

Корней в ночь же уехал, и с тех пор не возвращался». ⁵

В сцене, непосредственно написанной, имеются, в сущности, все элементы законченного рассказа. Но как много Толстой работал над этим мрачным эпизодом! Он проверял каждое слово, каждое движение оставшихся наедине врагов.

Добавлено, например, что Корней, войдя в каморку, засунул «мохнатые руки в карманы»; он «опустил глаза. Ему страшно было своей злобы» (рук. 8). Он «сжимал в кулаки засунутые в карманы руки» (рук. 10). Сначала было кратко сказано, что Марфа при входе мужа «прямо смотрела на него и улыбалась». Не ясно, о чем говорит улыбка: вызов мужу, которого она не боится, или наоборот, обещание ласки. Автор исправляет: «Корней стал смотреть ей в глаза». То она избегала его взгляда, теперь же «прямо смотрела на него и как будто смеялась». Тут открытая борьба, и буря в сердце Корнея усилена. Когда спрашивал об Евстигнее, он не только взглянул на Марфу, «грудь его высоко поднялась, и он расстегнул ворот рубахи». Переспрашивая, он говорил, «все больше и больше хмурясь и бледнея».

И Марфа разжигала пламя. Словами отвергая подозрение, «она смеющимися глазами глядела на него». «Эти смеющиеся глаза и повторение слова „Евстигней“ все сказали ему». Продолжение сохранено по первой редакции, где сказано, что Корней

⁵ Л. Н. Толстой, Полное собрание сочинений, т. 42, стр. 476—477.

в злобе готов был задушить жену, но добавлено: «и он сделал бы это, если бы она испугалась, закричала, рванулась от него. Но она сделала то, чего он никак не ожидал. Злоба его сообщилась ей, и вместо того, чтобы испугаться, покориться, отрицать» (далее по-старому), она вызывающе призналась ему в измене (рук. 3).

Буря в душе Корнея прорывается в разных оттенках. Ожидая ответа об Евстигнее, Корней «молчал и сопел носом». «Ты живешь с ним?» — вторично проговорил он хрипло. Затем подошел к ней, «непроизвольно шевеля пальцами». «Говори: правда, нет ли? — повторил он тем же голосом, только тише. Лицо у него стало серое, и нижняя челюсть тряслась». Отрицая, она взглядывала на него «насмешливыми и ласкающими глазами» (рук. 4). Такого испытания не выдержал Корней и схватил Марфу за косу. «Его злоба сообщилась ей», и она призналась в измене. Ошеломленный Корней, отшвырнув ее на кровать, выбежал в сени.

По начальному замыслу Корней выбегает из спальни дважды. Первый раз после признания жены, и возвращается. Этот эпизод имеет свою эволюцию. «Он вышел на крыльцо, остыл и вернулся в горницу», — сказано в ранней редакции. «Он вышел на крыльцо, посидел на ступеньках. Он не верил тому, что она сказала, и хотел еще спросить ее». Имеется более пространный текст: «... из сеней он вышел на крыльцо. На дворе было все так же морозно и пасмурно. Легкий ветерок гнал иней, снежинки падали ему на горевшие щеки и лоб... [Он думал:] „И вдруг такой позор на весь мир. И с кем же, с долгоносим сопляком“. — Его освежил падавший на разгоряченное лицо иней. Он взял с поручней снег и положил в рот» (рук. 7).

Придя в себя и вернувшись, он снова стал говорить об Евстигнее; она расхоталась. Этого не мог выдержать Корней и стал бить ее по лицу и по бокам. Так в начальном тексте. В дальнейшем (рук. 2) действие более драматизировано. Когда Корней стал ее бить «по бокам и по груди», «она молча защищалась, отбивалась от него и навалилась на спящую девочку. Девочка проснулась и заплакала. Корней схватил ее за ручонку и бросил на пол». Проснувшаяся мать стала упрекать его. «Руку сломал, злодей. Глянь сюда, — и старуха показала ему повисшую, как плеть, ручонку заливающейся криком девочки. Корней молчал и дико оглядывался вокруг себя, как будто не опомнившись от сна. Он оделся и вышел в сени».

В новом наброске, где картина семейной драмы более экспрессивна, есть важная подробность. В первой редакции ничего не говорится о сломанной руке девочки, а в эпилоге Корней узнает молодайку именно по искаленной руке. Кроме того, в дальнейшем отменен выход Корнея на крыльцо, где свежий воздух привел его в равновесие. Весь драматический взрыв происходит без перерыва. Можно допустить, что так сделано для того, чтобы не затягивать действия, которое должно превратиться в стремительный удар.

Решающая сцена увлекла автора, и он начал драматизировать ее. Вместо хохота Марфы раздалась ее вызывающие слова. «Не боюсь я тебя. Иди ложись». «Он хотел схватить ее за горло, но она быстро вскочила с ногами на кровать, он ухватил ее за белую сильную руку выше локтя, сдернул с кровати и ударил по лицу». Тут Марфа злобно призналась в измене. Разбуженная криками мать вошла в комнату (так в предыдущей рукописи), дальше новый штрих: «Старуха взглянула на Марфу, как будто одобряя то, что сделал сын, но, увидев девочку, взвыла». О девочке осталось, как было, затем добавлено: «Избитая в кровь Марфа, стоная, подняла голову и вытирала лицо рубахой. „Убил, до смерти убил. О, о, о!“ — выла она. Корней молчал и дико оглядывался вокруг себя, как будто не опомнившись от сна. „Ну вас, — крикнул он. — Пропадайте все. Черт с вами“, — крикнул он, вырываясь у матери, и схватил поддевку и наконец пошел в сени» (рук. 4).

Перелистывая рукописи, видишь, как Толстой старательно подчеркивает гнев Корнея, теряющего самообладание, жаждущего мщения. Рассказ в основе своей назидательно трогательный, и можно было бы меньше волновать читателя страшной картиной — ведь достаточно сказано о происшествии в первом и тем более во втором набросках. Однако писатель увлечен этой сценой и при каждом просмотре рукописей добавляет новое. Среди исправлений идейно самым важным для Толстого было нарастание зла с той и другой стороны. «Чем больше он бил, тем больше зверел... Он не помнил себя от злобы... Злоба его сообщилась ей» (рук. 11). Добавлено: «Ей хотелось отомстить ему» (рук. 12); «Лицо ее выражало только злобу, ненависть к нему» (рук. 14).

Заключительный этап трагического дня претерпел обратную перестройку в том смысле, что описание его становилось более сжатым. Откинут целый эпизод — сени, куда вышел Корней отдышаться. Наоборот, уход Корнея из родного дома задержан в своей стремительности.

В первом наброске глухо сказано, что «Корней в ту же ночь уехал и с тех пор не возвращался». Это слишком таинственно и круто обрывает ход событий. Романтическая кульминация не удовлетворила автора, и он решил сделать переход к эпилогу прозаичнее, нагляднее. Он воспользовался откинутой подробностью ссоры и сделал так, что Корней, избив жену, искалечив ребенка, не убежал в неизвестность, а вышел в сени, «сел на приступке и ел горстями снег, собирая его на поручнях» (точь-в-точь, как в откинутом эпизоде). Действие замедленно и детализовано: «Опомнившись немного, он решил теперь уехать. Он не мог подумать о том, чтобы жить с нею. Он боялся, что убьет ее». Он вошел в горницу, из которой ушли бабы, собрал вещи, пересчитал деньги. «Ни матери, ни детей он не хотел видеть. К нему стучались в дверь. Он никого не пустил. Положив себе под голову поддевку, он лег на лавку и хотел заснуть, но не мог... Из-за двух дверей

чуть слышен был бабий вой. Потом все затихло. Запел петух, второй, третий. Рассветать стало. Он все не спал. Когда в избе стало видно, он вышел из горницы в большую избу, разбудил, растолкал немого. Велел ему запрягать лошадь» (рук. 7).

Ход действия, достаточно планмерный, не удовлетворил автора. Ему хотелось не столько эффектного конца, сколько большей обыденности, усиливающей трагическую судьбу Корнея. В таком направлении Толстой написал новую крошечную сцену: Корней вошел в горницу. «Завернутая лампа горела малым светом на столе. Из-за перегородки слышались стоны Марфы. Она ждала, что он заговорит с ней, но он молча достал из-под лавки чемодан и уложил в него опять свои вещи, завязал его веревкой и пошел к двери.

— За что ты убил меня? За что? — заговорила Марфа.

Он, не отвечая, толкнул дверь, вышел и захлопнул» (рук. 8).

В корректуре добавлена замечательная подробность. После прочтения «За что ты убил меня? За что?» Марфа продолжала: «Что я тебе сделала?». Говорила она «жалостным голосом». А когда Корней, не отвечая, вышел из комнаты, послышалось совсем иное: «Каторжник, разбойник! погоди же ты. Али на тебя суда нет, — совсем другим голосом злобно проговорила она».

Здесь все нутро Марфы.

Осталось досказать немного в нескольких словах.

Корней приехал на станцию за пять минут до отхода поезда. Немой видел, «как вагон укатил из вида».

Послесловие к семейной драме такое же скупое. Сказано, что у Марфы были сломаны два ребра и разбита голова. Девочка осталась полукалекой. Молодость взяла свое, и у Марфы не осталось ни следа. «Про Корнея же с тех пор, как ушел, никто ничего не знал. Не знали, жив ли он, или умер».

Спустя 17 лет произошла последняя встреча. Ей предшествует рассказ об истекших годах. После разрыва с Корнеем Марфа осталась с Евстигнеем; к моменту встречи он давно помер. Судьба Корнея сложилась причудливо. Все шло от богатства к бедности. «Чем хуже ему становилось, тем больше он обвинял ее и тем больше разгоралась его злоба на нее».

Повесть подходит к концу, и часы жизни Корнея сочтены. Продолжение рассказа по контрасту с предыдущим должно вызывать умиление. Начало как будто дано в прежнем тоне. Старый, опустившийся, больной Корней хочет добрести до родного села в надежде, что злодейка умерла и сын приютит. «А жива, так хоть перед смертью выскажу ей все, чтоб знала она, мерзавка, что со мной сделала, — думал он».

Продолжение идет в другом тоне. Не доходя до родного села, Корней в поле встретил молодайку, приветливо, «звучным, нежным голосом» откликнувшуюся на вопрос Корнея о ночлеге. Направила в свой дом; там его встретили как родного. По сломан-

ной руке он понял, кто она (ее выдали замуж из его села). Для назидательного рассказа этой догадки было бы достаточно, но в корректуру Толстой внес жизненно правдивый штрих: «Ему вспомнился вдруг Евстигней, белый с голубыми глазами, и рука, державшая чашку, так задрожала, что он розлил половину чая, пока донес ее до стола». Вставка драматизирует появившуюся раньше подробность: услышав, что молодайка не в обиде на отца («разве он чужой — отец ведь»), Корней «всхлипывая плакал».

Вставка решила судьбу продолжения рассказа. Воспоминание о Евстигнее неизбежно должно было бы омрачить умиленное настроение при встрече с Марфой, а теперь мысль об Евстигнее преодолена всепрощением Агашки, и Корнею предстоит оказаться с Марфой один на один без тягостных ассоциаций. Для «воскресения» духа двери открыты.

Велика разница между ранним наброском и завершенным текстом. В первом сказано про встречу Корнея с Марфой: «Он одного желал, чтобы она поняла свою вину и призналась в ней». В окончательном, где счеты с Евстигнеем внутренне уже сведены, главенствуют другие мысли Корнея, которого только что прогнала старуха Марфа: «...он по лицу ее увидал, что она узнала его. „Мало ли вас шляется. Ступай, ступай. С богом...“, — быстро и злобно говорила она». Корней «привалился от слабости спиной к стене и, упираясь на клюку, пристально смотрел на нее и с удивлением чувствовал, что у него не было в душе той злобы на нее, которую он столько лет носил в себе, [усилено позже:] но какая-то умиленная слабость вдруг овладела им».

Проблема решена и так легко, но сколько старания приложено в отделке частностей! Функция Марфы столь ясна, что контур ее портрета, намеченный в первом наброске, казался бы, не требовал доработки: «старая, беззубая, сморщенная». А вот нет. И тут Толстой врисовывает новые черты, свойственные ее характеру: «еще сильная, здоровая, но морщинистая и злая старуха» (рук. 11). «Еще сильная, здоровая» — явно не подходит, и взамен появляется новое определение: «сухая, жилистая». «Перед ним была странная чужая старуха, для которой годы прошли не даром». Выпало определение «злая» (это ясно из всего поведения), но зато появилась характерная подробность. Марфа прогоняла Корнея «пронзительным, скрипучим голосом».

Марфа успокоилась, когда Корней скрылся из вида. А его умиление нарастало. Приняв хлеб от него, который когда-то отвез его на станцию, Корней «опустил голову и с трудом поднялся и, крестясь, сошел с приступка на улицу» (рук. 11). Этого мало. Он «не мог больше удерживать рыдания и слезы и, вытирая глаза, нос и бороду полою кафтана, отвернулся от него и вышел из сеней» (рук. 12). Но и этого оказалось недостаточно. Добавлено: «Он испытывал какое-то особенное, умиленное, восторженное чувство смирения, унижения перед людьми, перед нею, перед сыном,

перед всеми людьми, и чувство это и радостно и больно разди- рало его душу» (окончательный текст).

Путь жизни, идущий от мрака к просветлению, замкнут. Остался последний этап: в доме Евстигнеевой дочери, приласкав- шей его, со свечою в руке Корней умер под образами. «Слава богу. Развязал все грехи. Слава богу», — говорил перед смертью Корней. Так в духе щеголенковского сказа кончается первый набросок.

И здесь Толстой усиливает идейную направленность, введя в рук. 11 новый заключительный эпизод. Совесть стала мучить Марфу, и она утром, узнав, куда ушел старик, пошла к дочери. «Попрощаемся с ним, возьмем домой, грех развяжем. Пускай хоть помрет дома при сыне», — думала она.

Застала Марфа толпившихся крестьян, покойника под обра- зами и чтение псалтыря. Таков новый конец.

Добавлены величественные в своей простоте слова: «Ни про- стить, ни просить прощенья уже нельзя было. А по строгому, пре- красному, старому лицу Корнея нельзя было понять, прощает ли он, или еще гневается».

Душеспасительный сказ В. П. Щеголенка претворился под пером Толстого в произведение, полное жизненной правды, суро- вой и в то же время печально-светлой.

К ТВОРЧЕСКОЙ ИСТОРИИ «СКАЗКИ ОБ ИВАНЕ-ДУРАКЕ» Л. ТОЛСТОГО

В небольшом по объему произведении — «Сказке об Иване-дураке и его двух братьях» — получили свое рельефное выражение характерные черты мирозерцания Льва Толстого в 80-е годы. В сказке он выступил беспощадным обличителем милитаризма и паразитизма эксплуататорских классов, горячим защитником интересов трудящихся масс, выразителем своих нравственных идеалов.

Толстой работал над «Сказкой» с конца 1885 г., в 1886 г. она была опубликована в 12-м томе Сочинений писателя. Период создания сказки краток¹ и полон творческих отвлечений. Параллельно Толстой занимался рассказом «Смерть Ивана Ильича» и трактатом «Так что же нам делать?».

Однако сказке Толстой придавал большое значение. В письме жене, издательнице его сочинений, он писал: «Очень радуюсь за тебя, за 12-ю часть, и для себя радуюсь преимущественно за Ивана Дурака» (LXXXIII, 560); и В. Г. Черткову: «Ивана Дурака я рад, что пропустили в 12-й ч.» (LXXXV, 337).

О глубокой заинтересованности писателя этим произведением свидетельствуют многочисленные, весьма значительные композиционные, фразеологические, стилистические изменения, которые Л. Толстой вносил в сказку вплоть до корректурных листов. Они наглядно отражают стремление автора заострить социально-обличительный характер произведения. Так, короткое заглавие «Иван-дурак» разрастается до размеров небольшого сатирического повествования: «Сказка об Иване-дураке и его двух братьях: Семеновоине и Тарасе-брюхане и немой сестре Маланье, и о старом дьяволе и трех чертенятах».

Изменения в зачине сказки усиливают социальную критику персонажей, символизирующих паразитический класс.

¹ См.: В. И. Срезневский. «Сказка об Иване-дураке и его двух братьях». История писания и печатания. В кн.: Л. Н. Толстой, Полное собрание сочинений, т. 25, Гослитиздат, М., 1937, стр. 715—717. В дальнейшем страницы этого издания указаны в тексте.

I вариант

Жил-был старик с старухой и было у них три сына: Семен и Тарас умные, а третий Иван дурак. Отдал старик старшего Семена в солдаты, а другого купцу в лавку, а меньшей — дурак остался дома работать» (XXV, 590).

В последней редакции

В некотором царстве, в некотором государстве жил-был богатый мужик. И было у богатого мужика три сына: Семен-воин, Тарас-брюхан (во втором варианте: «Тарас-кулак») и Иван-дурак, и дочь Маланья — векоуха, немая. Пошел Семен-воин на войну, царю служить, Тарас-брюхан пошел в город к купцу, торговать, а Иван-дурак с девкою остался дома работать, горб наживать» (XXV, 115).

Соответственно первоначальному заглавию сюжет сказки развивался преимущественно вокруг образа Ивана-дурака, олицетворяющего идею о свободных хлебопашцах, которые не признают ни войн, ни денег. Другие фигуры намечены фрагментарно.

Затем Толстой вставлял новые эпизоды, сцены; отдельные фразы развивал в диалоги, художественные описания. Драматизация текста оживила впечатляемость, придала произведению многогранность. В результате вместо первоначального нерасчлененного, «сплошного» повествования в сказке появилось 12 главок, представляющих собой своеобразную серию новелл.

Например, рассказ о превращении черта в купца-англичанина был написан для второго варианта, но подвергнулся дальнейшей переработке. В окончательной редакции черт становится «господином чистым», а сама главка о нем — забавным сатирическим повествованием с диалогами. В ней юмористически обнажается несоответствие натуры «господина чистого» законам и складу жизни трудолюбивых, честных людей.

Эпизод с «господином чистым», а также более подробная разработка образа Тараса акцентировали обличительный смысл всего произведения, обостряли критику стяжательской психологии тунеядствующих хозяев. А сами образы «господина чистого» и «Тараса-брюхана» приобрели значение художественных обобщений, подобно нарицательным персонажам хищников-эксплуаторов, созданных Салтыковым-Щедриным и Глебом Успенским.

Изменения, внесенные в текст, значительно усилив разоблачительный пафос сказки, рельефнее выделили и ее положительную программу. Вначале, после сообщений о подстрекательстве черта-купца и черта-воеводы следовало заключение о торжестве пассивистской позиции добродушного Ивана: «Так и ушел старый черт, ничего не сделал Ивану. Живет Иван до сих пор, и народ весь от братьев валит в его царство, и братья пришли, и их он кормит. Скажут корми нас. Ну что ж, говорит» (XXV, 599).

В окончательной редакции благодушно отношение простаков к эксплуататорам сменяется осуждением последних и утверждением прав только трудящихся.

Такой социальной заостренности особенно способствует завершающая сказку новелла о «господине чистом», который постоянно попадает в трагикомические перипетии из-за пристрастия жить за счет труда других. («Немая девка» выставляет его из-за стола, не обнаружив у него признаков трудолюбия — мозолей на руках; пустое ораторствование на каланче доводит его до изнеможения и гибели). Из эпизода с «господином чистым» логически вытекает афоризм, венчающий все произведение: «Только один обычай у него и есть в царстве: у кого мозоли на руках — полезай за стол, у кого нет — тому обедки» (XXV, 138).

В последней редакции шире и с большей образной наглядностью развернуто изображение бессмысленной, антинародной захватнической политики господствующих классов. Например, в первом варианте коротко, лишь в нескольких строках говорилось о том, как черт тщетно пытался спровоцировать Иваново царство на военные действия. Затем этот сюжет был драматизирован в отдельной главе.

Параллельно критике милитаризма и капитализма в сказке проходит мотив непротivления злу насилем. И у писателя возникло намерение усилить проповедь о возможности разрешения социальных конфликтов путем пассивного терпения. Так, в наборной рукописи имеется написанный рукой Толстого, но потом зачеркнутый эпиграф, взятый из евангелия: «Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, делайте добро ненавидящим вас и молитесь за унижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами отца вашего небесного, ибо он повелел солнцу своему восходить над злыми и над добрыми, посылает дождь на праведных и неправедных, ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда, не то ли же делают и язычники. И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? не то ли же делают и язычники? Итак, будьте совершенны, как совершенен отец ваш небесный» (XXV, 718—719).

Эпиграф выделял одну, «непротивленческую» сторону идейного содержания сказки и противоречил ее обличительному пафосу, сглаживал остро-социальную концовку. Ведь, следуя всепрощающей евангельской морали, не надо бы наказывать, обделять тунеядцев. Но в сказке преобладает сатирическая тенденция, а не нравственно-примирительное изображение действительности, поэтому эпиграф оказался временным эпизодом в процессе работы автора над произведением. История с эпиграфом показательна для характеристики колебаний Толстого — проповедника непротivления и художника-бунтаря. В 12-м томе сочинений Толстого

«Сказка об Иване-дураке и его двух братьях» была помещена среди других 13 произведений. Все они отличаются целевым единством и подчинены идее братских, добрых взаимоотношений между людьми. Открывается том рассказом «Чем люди живы», где любовь к другим, а не забота о личном благополучии, объявляется истинным источником жизни; тот же лейтмотив определяет повествования: «Упустишь огонь, не потушишь», «Свечка», «Два старика», «Где любовь, там и бог».

Книга несколько даже однообразна по выражению основной мысли, но в то же время повторяемость одной и той же проповеди, заключающей каждое произведение, подчеркивает настойчивость писателя в утверждении своей нравственной философии.

Неоднороден, правда, стиль произведений тома. Автор ориентировался на различные слои читателей, учитывая их культурные, образовательные, психологические особенности. Первые рассказы явно адресованы к народу. Трактат «Мысли, вызванные переписью» (отрывки из «Так что же нам делать?») — обращение к господствующему классу, от общественной настроенности которого, по мнению Толстого, зависели гуманные преобразования.

В сказке чувствуется ее соседство с нравоучительными рассказами. Связью с ними объясняется и эпизод с эпиграфом. Но идейное содержание сказки гораздо шире этих рассказов и пассивистские тенденции — только часть ее многогранного социально-политического смысла. Сказка об Иване-дураке находится в соотношении с более широким кругом произведений Толстого, в частности с его трактатом «Так что же нам делать?» и с замыслом сказки-памфлета 70-х годов.²

Существенное значение в формировании концепции сказки имела ориентация писателя на мировоззрение, психологию крестьянства. Отдельные моменты замысла и его художественного раскрытия можно поставить в прямую связь с рукописью крестьянина Г. М. Бондарева «Трудолюбие и тунеядство или торжество земледельца», которую Толстой получил незадолго до работы над сказкой.³ С сокращенным изложением сочинения Бондарева Толстой был знаком еще раньше,⁴ видимо, по статье Гл. Успенского «Трудами рук своих», где публиковались извлечения из Бондарева.⁵ Рукопись Бондарева, а также опыт организации различного рода коммун (о них знал Толстой) способствовали художественной конкретизации размышлений Толстого о возможных формах справедливого устройства общества.

² См. об этом в статье: Э. Зайденшнур. Сказка Л. Н. Толстого об Иване-дураке и трактат «Так что же нам делать?». В сб.: Л. Н. Толстой, т. 5. Горький, 1963, стр. 119—129 («Ученые записки Горьковского университета», т. 60).

³ См. письмо Толстого Бондареву, июль 1885 г. (LXIII, 276).

⁴ См. свидетельства Толстого в том же письме Бондареву.

⁵ «Русская мысль», 1884, № 11.

Как творческая история толстовской сказки, так и все идейно-художественное своеобразие ее свидетельствуют о том, что она создавалась с пропагандистской установкой и предназначалась для народного чтения.

Показателен пример включения М. Горьким в повесть «Хозяин» эпизода с чтением сказки Толстого. Значение этого факта для характеристики общественной биографии, взглядов и идейно-художественного формирования молодого Пешкова рассмотрено в работах Н. К. Пиксанова.⁶ Эпизод с чтением «Сказки об Иване-дураке» рабочим пекарни Семенова Н. К. Пиксанов исследует в связи с воздействиями Толстого на Горького в 80-е годы. «В художественном отношении Сказка написана блестяще; сам Толстой, после трех переработок, остался ею очень доволен. Превосходен язык сказки — живой, простонародный, мужицкий; для будущего писателя Горького, тоже мастера народной речи, это существенно.

Мастерски выдержан фольклорный сказ. Стройна композиция. Живость и впечатляемость придают повествованию юмор. Но еще сильнее действует на читателя сатира. Для Горького, будущего мастера политической сказки, это имело немаловажное значение. Вообще следует сказать, что не только „Сказка“, но и все издание сочинений Толстого 1886 года (и соседних лет), как и нелегальные геттографированные издания, не прошли даром для юноши Пешкова».⁷

Повесть Горького 1912 г. снабжена подзаголовком «Страница автобиографии», в ней излагаются события из жизни Горького казанского периода, точнее 1885—1886 гг.; это произведение используется биографами писателя.

В «Заметках о мещанстве», в письмах, статьях, каприйских лекциях о литературе, мемуарном очерке Горький неоднократно отмечал реакционную сущность проповеди Толстого о непротивлении. Но в то же время он постоянно подчеркивал огромное значение Толстого-реалиста. Не принимая его моралистической философии, Горький ценил активные, обличительные тенденции произведений Толстого. Включение эпизода с чтением «Сказки об Иване-дураке» в повесть, в которой разоблачается паразитическая психология эксплуататора, а трудящиеся призываются к бунту, подчеркивает, что в сказке Толстого Горький видел прежде всего социальную сатиру.⁸

⁶ Н. К. Пиксанов. 1) Горький и Толстой. «Вестник Ленинградского университета», 1954, № 6; 2) Толстой и Горький (личные, идейные и творческие встречи). В сб.: Л. Н. Толстой, вып. 4, Горький, 1961 («Ученые записки Горьковского университета», т. 56).

⁷ Н. Пиксанов. Толстой и Горький. В кн.: Л. Н. Толстой, вып. 4, Горький, 1961, стр. 8—9 («Ученые записки Горьковского университета», т. 56).

⁸ Позже сказку Толстого Горький вспоминал в связи с проблемой взаимоотношения фольклора и литературы. В письме В. М. Саянову 13 сен-

Горьковское восприятие сказки Толстого, на наш взгляд, не противоречит ленинской концепции творчества Толстого, а значит, и установившемуся мнению о созвучности высказываний Ленина и Горького о Толстом.

«Оценки Толстого, даваемые Горьким, — пишет Н. К. Пиксанов, — складывались параллельно и под воздействием суждений Ленина. Тема „Горький и Толстой“ тесно, органически связана с темой „Ленин о Толстом“».⁹

«Сказка об Иване-дураке» Л. Толстого отражает сильные и слабые стороны творчества писателя. В. И. Ленин в статье «Герои „оговорочки“» выступил против одностороннего, тенденциозного толкования и использования произведения Толстого. Он дал резкую отповедь В. Базарову, приспособивавшему «Сказку» и авторитет художника к обоснованию меньшевистской, веховской позиции. Назвав статью Базарова образчиком «беспринципности в оценке Льва Толстого», Ленин обнажил несостоятельность и спекулятивность заявлений журнала «Наша заря», объявлявшего толстовскую проповедь непротивления сущностью и смыслом всего творчества Толстого.

В согласии с ленинской статьей 1910 г. звучит письмо Горького М. Коцюбинскому от 7 ноября 1910 г.: «Теперь живу в напряженном ожидании вестей из России о нем, душе нации, гении народа. В душе этой много чуждого и прямо враждебного мне, но — не думал я, что так глубоко и жадно люблю я человека Толстого! Возмущают меня начавшиеся попытки сделать из него „легенду“, чтоб положить ее в основание „религии“ — религии фатализма, столь пагубного для нас, людей и без того пассивных».¹⁰

Прежде всего как социальная сатира читается сказка в свете ее творческой истории, в контексте агитаторской практики молодого Горького и в связи с ленинской концепцией творчества Толстого.

тября 1933 г. он писал: «Связи живого с „выдуманым“ крайне многообразны и поучительны. Каратаев и Поликушка написаны Л. Толстым не без влияния сказок о дурачке, и вообще этот огромный художник очень пользовался фольклором, см. его „Сказки“» (М. Горький. Собрание сочинений в тридцати томах, т. 30, Гослитиздат, М., 1955, стр. 325).

⁹ Н. К. Пиксанов. Горький и Толстой. «Вестник Ленинградского университета», 1954, № 6, стр. 81.

¹⁰ М. Горький, Собрание сочинений, т. 29, стр. 137.

Н. Н. ЗЛАТОВРАТСКИЙ В ПОЛЕМИКЕ ВОКРУГ РОМАНА И. С. ТУРГЕНЕВА «НОВЬ»

Сразу же после опубликования романа И. С. Тургенева «Новь» в январской и февральской книжках «Вестника Европы» за 1877 г. вокруг него в критике, в среде демократической интеллигенции и революционной молодежи началась острая и оживленная полемика.

Резко отозвались о «Нови» Н. А. Некрасов и М. Е. Салтыков-Щедрин. Неблагоприятным было для автора мнение и народнической критики (П. Л. Лавров, П. Н. Ткачев).

Особенно ожесточенные споры развернулись вокруг главного героя романа — Соломина. Большинство народников его не «приняло». Ткачев определил Соломина в ряды «самых заурядных эгоистов», хитро лавирующих между «интересами волков, с одной стороны, и овец — с другой».¹ Л. Г. Дейч предсказал, что он «умрет почтенным, всеми уважаемым гласным Думы».² В последующей трансформации Соломина не сомневался и С. Н. Кривенко. На его прямой вопрос: «А не думаете ли вы, что Соломины легко могут превращаться в простых буржуа или самодовольных навозных жуков?» — Тургенев был вынужден ответить, что «это уж от них зависит».³

Не принял главного героя «Нови» и Н. Златовратский, молодой, недавно получивший литературную известность писатель. Признавая в письме к Ф. Д. Нефедову от 17 июля 1877 г. роман «оригинальнейшим произведением последнего времени»,⁴ он в повести «Золотые сердца», публикация которой началась через месяц в «Отечественных записках»,⁵ резко отделил свой «идеал», свое понимание «по-

¹ П. Н. Ткачев. Уравновешенные души. «Дело», 1877, № 4, стр. 60; № 3, стр. 118.

² Л. Г. Дейч. Русские революционеры в романе И. С. Тургенева «Новь». «Творчество», 1922, № 1—4, стр. 41.

³ И. С. Тургенев в воспоминаниях революционеров-семидесятников. Изд. «Academia», М.—Л., 1930, стр. 241.

⁴ П. Н. Сакулин. Из литературных переживаний Н. Златовратского. «Старый Владимирец», 1911, № 275.

⁵ Интересно, что И. С. Тургенев, находившийся за границей и внимательно следивший за новинками русской литера-

лезного человека» от «идеала» Тургенева, который, по его мнению, в век «торжества принципа среднего образа мыслей, торжества Сувориных, Стасюлевичей и им подобных» «своим Соломиным ... санкционировал и втащил на пьедестал либералов золотой середины».⁶

В это время Златовратский начал работу над одной из заключительных глав повести «Золотые сердца», главным действующим лицом которой стал Павел Александрович Колосьин, специально введенный писателем для полемического ответа Тургеневу. Его прообразом несомненно явился главный герой «Нови» Василий Федотыч Соломин (вряд ли их фамилии перекликаются случайно).

По времени «Золотые сердца» как бы продолжают роман «Новь», действие которого относится к концу 60-х годов, к началу знаменитого «хождения в народ», когда создавались новые революционные организации, членами одной из которых — нечаевской «Народной расправы» — и явились тургеневские герои.

Герои Златовратского действуют спустя 6—7 лет, вскоре после того, как большинство «ходивших в народ» было арестовано, брошено в тюрьмы, а в народническом движении наблюдался разброд в теории и практике.

Но в прошлом, как дает понять автор, они также активные участники нечаевской организации, что несомненно делает возможным ряд сопоставлений, отыскание преемственных связей.

Образ разочарованного, рефлектирующего героя повести Морозова, только чудом не покончившего с собой, перекликается с героем «Нови» Неждановым.

Линию Марианны в повести продолжает Катя Маслова. Правда, духовно Катя Маслова оказалась ближе другой тургеневской героине, Елене Стаховой: в ней чувствуется та же самоотреченность, жертвенность, преданность «идее».

Если идейным наследником Соломина явился «новый коммерческий человек» Колосьин, то «серый, неприметный» доктор Башкиров может быть назван его идейным противником в своей непримиримости к любым «артельным начинаниям».

Златовратский именно в Башкирове видел «полезного» человека, отводил ему роль «пуга» в освободительном движении.⁷

туры, обратил особое внимание на новую повесть Н. Златовратского. В письме А. В. Торопову от 2 (14) сентября 1877 г. он писал: «Знаете ли Вы Златовратского, который пишет повесть в „Отечественных записках“? На днях прочел несколько глав из его „Золотых сердец“ — и, к великому моему удовольствию, открыл в нем признаки несомненного таланта ... из него может выйти дельный и умный писатель» (И. С. Тургенев, Полное собрание сочинений и писем, т. XII, кн. 1, стр. 203).

⁶ П. Н. Сакулин. Из литературных переживаний Н. Златовратского.

⁷ В повести по цензурным условиям эти черты образа Башкирова оказались приглушенными. Однако сохранившиеся в архиве Златовратского рукописи свидетельствуют о намерении писателя создать определенный тип революционера-семидесятника, связавшего свою судьбу нераздельно с судьбой

Роман «Новь» и повесть «Золотые сердца» касались самых злободневных вопросов русской жизни.

Расправившееся с революционной молодежью правительство любыми средствами стремилось опорочить народническое движение, дискредитировать его в глазах русского общественного мнения. В 1876 г. оно спешно готовилось к крупному политическому судилищу — «процессу 50-ти». Не только писать о «новой молодежи», но и сочувствовать ей было далеко не безопасно.

И несомненна заслуга И. С. Тургенева, сделавшего попытку в романе «Новь» разобраться в идейных корнях движения, в мотивах, руководящих революционной молодежью, удивившей в «народ».

Но вывести «героическую натуру», создать действительно обобщающий образ революционера-разночинца Тургеневу не удалось. Время Базаровых прошло, Соломин не смог заменить его.

В основу идейного замысла «Нови» Тургенев положил противопоставление «романтиков реализма», «которые ищут в реальном... нечто великое и значительное, а это вздор» (Нежданов), «настоящим практикам на американский лад», делающим «свое дело так же спокойно, как мужик пашет и сеет» (Соломин).⁸

Ориентация Златовратского была прямо противоположной — на «романтиков реализма», на героику подвига.

Идейный замысел «Золотых сердец» он сформулировал сам в письме к Ф. Д. Нефедову: «Либералы „Нового времени“ меня разругали за то, что я ввожу в литературу идеализм, в котором нет нужды для нашего реального времени наживы, наглой эксплуатации, потери нравственных устоев! Довольно наша молодежь подражала героям... Она должна выступить на новый путь — эксплуатирующей науки, муравьиного труда и средних нравственных доблестей, ибо героизм и идеализм — есть индивидуальный аристократизм».⁹

Раскрытию идейного замысла «Золотых сердец» служит и своеобразное построение повести, в основу которой Златовратский положил не противопоставление «полезного» человека «романтикам

простого народа (ЦГАЛИ, Архив Н. Н. Златовратского, ф. 202, оп. 1, ед. 27, л. 6—7).

⁸ А. Г. Цейтлин. «Новь». Литературное наследство, т. 76, М., 1967, стр. 108. — И. С. Тургенев и сам чувствовал неудовлетворенность созданными образами «новых людей». Как вспоминал впоследствии Н. Златовратский, на встрече с народническими писателями в начале 1880 г. «Тургенев с большим интересом» расспрашивал о «новых», «оригинальных» людях, о которых, как замечает Златовратский, он мог догадываться, но видеть и знать которых не мог. «Тургенев, — пишет Златовратский, — говорил, что он и сам недоволен. „Новью“, что это он только наметил некоторые черты, которые мог проследить по своим заграничным знакомым, что он теперь очень занят мыслью глубже изучить это явление и что у него уже теперь имеется план изобразить русского социалиста» (Н. Н. Златовратский. Воспоминания. М., 1956, стр. 310).

⁹ П. Н. Сакулин. Из литературных переживаний Златовратского.

реализма», а столкновение духовно близких, но разных по «направлению» людей, каждый из которых отстаивает свою «правду», свою идею.

В этой сложной коллизии порою действительно трудно определить симпатии автора, его собственную точку зрения. Златовратский отвергает лишь либеральные колебания своих героев, не принимает их сомнений, разочарований. Прямо не говоря об этом, он пользуется любой возможностью иронически отметить попытки насаждения в беднеющей деревне «артелей», создание «образцового хозяйства», что даже, по мнению самих героев, является не более, как «мазание по губам», которые и «выеденного яйца не стоят».¹⁰

Все презрение к либерализму, к возведению «среднего образа мыслей в принцип»¹¹ Н. Златовратский вложил в образ Колосьина.

Не принимая участия в журнальной полемике по роману «Новь», Златовратский, как нам кажется, постарался дать ему свою оценку в повести, создав образ «нового коммерческого человека» Колосьина, непосредственно продолжающий образ Соломина.

Если Тургенев подлинным положительным героем «Нови» сделал именно Соломина, то Златовратский намеренно вообще не связывает Колосьина сюжетно с остальными действующими лицами. Этот вводный персонаж — отрицательный образ «нового коммерческого человека», не оказывающий непосредственного влияния на судьбы героев повести — был необходим автору как символ не только либералов «золотой середины», но и как символ хищного предпринимательства, наживы, нравственного опустошения, политического индифферентизма.

Колосьин — это вполне сложившийся Соломин, в полной силе и расцвете нравственных и материальных «устоев», тот колос, который еще даст богатый «урожай», породит не одно поколение подобных Колосьиных.

Биография Колосьина как бы продолжает биографию Соломина. Так же как и последний, Колосьин несколько лет провел в Англии, обучаясь механике, но по возвращении, в отличие от Соломина, поднявшегося только до управляющего фабрикой, он, изворачиваясь, приспособляясь, хитря, смог завести собственное предприятие.

Положение Колосьина в обществе уже более устойчивое. Если Соломин держится с дворянской знатью без подобострастия, с достоинством, понимая, что в нем нуждаются, то Колосьин чувствует себя совершенно уверенно. Перед ним заискивают «лучшие из дворян», угодливо гнет спину урядник.

¹⁰ Н. Н. Златовратский. Золотые сердца. Избранные произведения. Гослитиздат, М., 1947, стр. 652, 655.

¹¹ П. Н. Сакулин. Из литературных переживаний Златовратского,

С пренебрежительной заинтересованностью относятся к Соломину «столпы общества» (Сипягин, собирающийся переманить его на свою хиреющую фабрику, с барской снисходительностью путает его отчество). Другое дело — Колосьин. Полное пренебрежение чувствуется именно в его отношении к «уездной палестине». Он не случайно, а намеренно, с чувством полного превосходства, «перевирает» имя исправника, едущего к нему же на фабрику усмирять «вредные элементы» («Извините-с, господин ... как? Колпаков?» — Калмыков... к вашим услугам, — поправил любезно исправник... — «Если вам, господин Колпаков, будет угодно сопровождать меня» и т. д.).

Отношение их к дворянству почти идентично. Оба они, и Соломин и Колосьин, видят слабость дворянства, никчемность, неумение приспособиться к новым условиям. Но в 60-е годы Соломин мог только констатировать неизбежность перехода «дворянских заведений» — фабрик и мануфактур — в руки купцов, тщетность их попыток как-то удержаться на поверхности и не захлебнуться в водовороте пореформенных перемен. В новых условиях, когда дворянство уже «спустило с поспешной торопливостью выкупные свидетельства и богатые имения в руки кулаков»,¹² Колосьин считает обоснованным и закономерным такой переход.

На рубеже 60—70-х годов, в обстановке крайнего общественного возбуждения, Соломину еще приходилось прикрываться либеральными фразами, «заигрывать» с фабричными. Колосьин действует в другой обстановке. Правительственная реакция, отсутствие единства в революционном лагере делают его более уверенным в своих действиях. Как чистокровный буржуа, он в общем предпочитает обходиться без либеральных фраз и демагогических обещаний. Он знает только один закон — закон борьбы. «Переход собственности из слабых рук в более сильные должен быть неизбежен, — откровенно заявляет он. — Это закон Дарвина: все более слабое, дряблое вымирает, все более энергичное захватывает поле действия. Это вполне естественно, а значит, справедливо».¹³

С откровенной наглостью предлагает он герою повести захватить имение родственника с помощью исполнительной власти, сожалея, что сам не имеет такой возможности: «Я бы при тех условиях, какими располагаешь ты, — не стесняясь заявляет он, — мог бы рай устроить для себя».¹⁴

Карьера Соломина закончилась тем, что Тургенев «позволил» ему завести где-то в Перми фабрику на «артельных началах».¹⁵

¹² Н. Н. Златовратский. Золотые сердца, стр. 660.

¹³ Там же, стр. 779—780.

¹⁴ Там же, стр. 782.

¹⁵ О последующей судьбе подобного «артельного начинания» не без ехидства писал Л. Дейч: «Спустя пару-другую лет он (Соломин, — С. М.) убедился, что завод на „артельных началах“ не может у нас идти как следует, а потому он стал единым его собственником. Дело у него пошло хорошо:

Колосьин предстает перед нами уже самостоятельным владельцем фабрики, что, по его же признанию, стоило ему много «труда, настойчивости, хитрости, ума, знаний». Он выработал уже и свою хозяйственную философию, философию «нового буржуа». Для него, не в пример Соломину, как-то туманно высказывающего стремление «разбудить народ», но запретившего революционерам и близко подходить к фабрике для ведения пропаганды, народ стал исключительно рабочей силой. Им, правда, как и Соломиным, рабочие не нахвалятся, но хвалят только те, кто смог не попасть в ряды «вредных элементов», упраздняемых им без тени сожаления. «Мое правило — упразднить всякий элемент, не соответствующий общим интересам нашего учреждения»,¹⁶ — без стеснения излагает он свое кредо. И он «упраздняет» — попросту изгоняет с фабрики рабочих, которые не подошли для его «учреждения», т. е., по всей вероятности, слишком настойчиво проявлявших недовольство фабричными порядками. «Мы оставляем полную свободу членам нашего предприятия, — лицемерно провозглашает он, — как членам свободной артели, распоряжаться так, как они считают сообразным с убеждением их совести, и только считаем необходимым предлагать им известные внушения, если образ их действий, по нашим понятиям, может вредить интересу общего дела».¹⁷ Что это за внушения — понятно каждому. Вся мораль этого современного реформатора — сила, кулак и «нравственное довольство», несмотря ни на что. Хватай все, что плохо лежит, захватывай, «упраздняй», но для видимости оставайся либерально вежливым, старайся и «невинность соблюсти, и капитал нажить».

Пореформенную неурядицу Колосьин хладнокровно определяет «переходным временем», уверенный, что постепенно «все придет в гармонию, и, конечно, собственность не минует людей, которые могут научным образом эксплуатировать ее с наибольшей пользой».¹⁸

Если Соломин, из осторожности «не желая навязывать свое мнение другим», еще «держится в стороне», «как малый со смыслом», то для Колосьина, все увереннее выходящего в ряды «сильных мира сего», подобное поведение неприемлемо. Напротив, опасаясь «химеры», «романтизма», «утопий» (читай: революции, социализма), он категорически требует: «Брось политику, газеты и журналы. Не смотри по сторонам... Старайся главным образом достигнуть нравственного довольства, несмотря ни на что». Успех, по искреннему убеждению Колосьина, лежит в «самоуве-

рабочим у него было намного лучше, чем у других хозяев, но и „прибавочную стоимость“ он получал большую, чем они» (Л. Дейч. Русские революционеры в романе «Новь» И. С. Тургенева. «Творчество», 1922, № 1—4, стр. 41).

¹⁶ Н. Н. Златовратский. Золотые сердца, стр. 774.

¹⁷ Там же, стр. 776.

¹⁸ Там же, стр. 775.

ренности, доходящей до наглости».¹⁹ В этих словах — весь Колосьин с его несложной философией предпринимателя, признающего только один закон — закон наживы, личного довольства, эгоизма.

Создавая образ Соломина, Тургенев был уверен, что «Базаровы не нужны», ибо «мы вступаем в эпоху только полезных людей», под которыми он несомненно подразумевал и своего героя, в чем его поддерживали и другие, убежденные, что «когда на десять русских придется шесть Соломиных, существующий порядок вещей станет невозможным, и если правительство опоздает реформой, Соломин XX века и его ученик . . . трезво возьмутся за топор, будут не жоаки, а рядовые революции, которая и возможна-то будет только тогда, когда в ней окажутся такие рядовые».²⁰

Златовратский с художественной достоверностью показал тщетность подобных упований, иллюзорность надежд на такое превращение. В Колосьине Златовратский видит типичного буржуа и не надеется ни на его гибель, ни на последующий приход в ряды революционеров. Наоборот, Колосьины еще не развернулись в полную силу, они только начинают распускать щупальцы, спокойно взирая на предсмертные судороги своих жертв. Рисуя образ Колосьина, Златовратский вынужден был признать, что в русской жизни им пока принадлежит последнее слово, они являются реальной силой и в экономике, и в политике.

Соломины «вызрели» в Колосьиных, стали силой, способной на все ради сохранения в неприкосновенности своего «довольства», своих материальных и моральных «устоев».

Создав отрицательный образ хищника-фабриканта Колосьина, логически завершивший образ Соломина, Златовратский сказал свое слово в полемике вокруг романа «Новь», выступил на стороне тех, кто с революционных и демократических позиций отвергал либеральный идеал Тургенева.

¹⁹ Там же, стр. 783.

²⁰ Статья С. К. Брюловой о романе «Новь». Вступ. статья и публикация Н. Ф. Будановой. «Литературное наследство», т. 76, стр. 314—315.

НЕЗАКОНЧЕННЫЙ САТИРИЧЕСКИЙ РАССКАЗ В. Г. КОРОЛЕНКО «ИСТОРИЯ ОДНОЙ ГАЗЕТЫ»

Начало творческого пути Короленко связано с его работой в так называемой «малой прессе». В начале 70-х годов он вместе с братом Юлианом Галактионовичем переводил французские романы для С. С. Окрейца, редактора журнала «Луч» и издателя «Всемирного труда» и «Библиотеки для легкого чтения». В голодные студенческие годы ему пришлось за гроши работать в корректорском бюро А. О. Студенского, обслуживавшем «Родник», «Неделю» и другие издания, а после возвращения из первой ссылки, в 1878—1879 гг., выполнять обязанности второго корректора в газете «Новости» О. К. Нотовича.

С работой в редакциях связаны и попытки Короленко еще в студенческие годы заняться литературным трудом. Первая опубликованная корреспонденция начинающего писателя «Драка у Апраксина двора (Письмо в редакцию)» появилась в «Новостях» 7 июня 1878 г. А за несколько лет до этого, весной 1872 г., по рекомендации знакомого публициста А. М. Наумова Короленко безуспешно предлагал свои услуги в качестве обозревателя провинциальной жизни редакции «Русского мира».¹ Столь же неудачной попыткой выступления в печати явилось «Письмо в редакцию», направленное им весной 1876 г. в газету А. А. Краевского «Голос» по поводу студенческих волнений в Петровской Академии, закончившихся для Короленко ссылкой в Вологду. «Письмо в редакцию» было вызвано тем, что газета Краевского напечатала об академических событиях сообщение из «благонадежного источника», в котором факты извращались, а одной из причин волнений объявлялось то, что студенты «требовали себе женщин». В своем «Письме в редакцию» Короленко с «юным негодованием опровергал измышление» и освещал события как очевидец и участник студенческих волнений. «Голос» отказался поместить «письмо» Короленко, и этот эпизод оставил в нем «накипь

¹ В. Г. Короленко, Собрание сочинений в 10 томах, т. 6, Гослитиздат, М., 1954, стр. 114—116. В дальнейшем ссылки на это издание — в тексте статьи.

презрительного негодования к „либеральной“ газете Краевского» (VI, 181). Это «личное» впечатление обострило отрицательное отношение молодого Короленко, в то время уже участника революционного народнического движения, к трусливой и беспринципной либеральной прессе.

Позднее, во время второй ссылки, в Глазове, Короленко стал объектом литературного доноса В. П. Буренина, который в «Новом времени» издевательски отозвался о его первой повести «Эпизод из жизни „искателя“», напечатанной в 1879 г. в журнале «Слово». И на этот раз попытка Короленко печатно опровергнуть клевету и фальсификацию не увенчалась успехом. «Письмо в редакцию», которое он направил в августе 1879 г. в газету «Русская правда», было задержано властями и затерялось в архивах цензурного ведомства.

В глазовской ссылке Короленко внимательно следил за периодикой, что было отчасти вызвано ожиданием критических откликов на «Эпизод из жизни „искателя“». Свое презрительное и негодующее отношение к буржуазной прессе он выразил в письме к родным от 4 июля 1879 г. Его поразило, что даже радикальные и либеральные в недавнем прошлом органы печати теперь, в обстановке надвигающейся реакции, не стесняются украшать свои страницы «букетом клеветы, взаимных доносов и обвинений». Размышляя об общественных причинах разложения, нарастающего в кругах столичной интеллигенции, он замечает в том же письме: «Да, можно сказать, что времена исторические настали, и литература, по крайней мере газетная и „брошюрная“, сама себя превзошла. Я не представляю себе до сих пор вполне ясно, что такое должно родиться из этого хаоса, но право, когда смотришь на эту тучу удушливых миазмов, какими теперь зияют наши „центры“, насколько можно по крайней мере судить по литературе, в которой рядом с обвинениями „на сторону“ сыплются и взаимные обвинения в воровстве, продажности, разврате (напр. <имер>, полемика «СПБ<бургских> ведомостей и «Нов<ого> времени») и т. д. и, наконец, в политической неблагонадежности, — глядя на все это, так и кажется, что идет какая-то бурливая реакция, вроде химической реакции в какой-нибудь колбе или реторте».²

Под влиянием этих впечатлений Короленко задумал сатирическое произведение о нравах буржуазной прессы под названием «История одной газеты. Правдивая повесть о том, как она родилась, с кем водилась, какие претерпела превратности и как наконец составила карьеру». Замысел «повести», возможно, возник еще весной 1879 г., но основная работа над ней относится ко времени пребывания в Глазове и была прервана в связи с высылкой писателя в Березовские Починки 25 октября того же года. Там Коро-

² В. Г. Короленко, Полное посмертное собрание сочинений, т. I, Письма, т. 1, Госиздат Украины, 1923, стр. 28.

ленко был лишен возможности систематически следить за периодической печатью. Значительно затруднялось и обращение к другим литературным источникам, которые могли понадобиться в процессе работы над «повестью». Но, главное, писатель к тому времени пришел к выводу, что он пока еще не в состоянии предвидеть, «что такое должно родиться из этого хаоса» и каковы общественный смысл и перспективы «химической реакции» разложения, наблюдаемого им в литературе и периодике конца 70-х годов.

Сохранявшаяся в архиве Короленко черновая рукопись — «История одной газеты» — представляет собой пять сюжетно связанных между собой набросков.³ В комментариях дочерей писателя С. В. и Н. В. Короленко ко второй книге «Истории моего современника» по поводу рукописи указывается: «Это начало произведения, оставшегося ненаписанным, замысел которого относится к самому раннему периоду творчества писателя».⁴ Однако это не совсем точно. Содержание набросков дает возможность представить себе основные контуры замысла «повести», отдельные сцены и эпизоды которой разработаны довольно подробно (особенно первая глава под названием «Кто был ее родителем»).

Непосредственным материалом для повести послужили воспоминания Короленко о студенческих годах, когда в поисках заработка он близко познакомился с редакционными нравами и с изнанкой издательской деятельности таких литературных предпринимателей, как Окрейц, Студенский и Нотович. Выведенный в первой главе повести издатель «радикальной» газеты «Знамя» генеральский сын Филипп Иванович имеет своим прототипом публициста 70-х годов А. М. Наумова, литературный портрет которого Короленко позднее с большим юмором воссоздал в «Истории моего современника».⁵ Многие черты невежественного и обывательски настроенного Нотовича воспроизведены в легкомысленном издателе «Сплетни» Моисее Ивановиче Перейра.⁶ Наконец, в образе беззастенчивого и беспринципного дельца от литературы Альфонса Иннокентьевича Магона, при котором «Сплетня» достигла «расцвета», обобщены типические качества «короля» реакционной бульварной прессы, характерные и для Окрейца, и для Суворина, и для Цитовича, и для руководителей «Московских ведомостей».

Короленко не стремился к портретной точности воспроизведения прототипов. За описаниями «с натуры» вырисовывается сати-

³ Рукописный отдел ГБЛ, Ф. Короленко, папка № 8, ед. хр. 447—451. В дальнейшем ссылки на этот источник приведены в тексте с указанием единицы хранения и листа рукописи.

⁴ В. Г. Короленко, История моего современника, кн. 1—2, Гослитиздат, М., 1948, стр. 611.

⁵ См. главу VIII из второй части второй книги «Истории моего современника».

⁶ См. главы XI и XIII из четвертой части второй книги «Истории моего современника».

рический сюжет «повести». От лица рассказчика — лукавого изобличителя, спрятавшегося под маской обывателя, — ведется повествование об истории возникновения и краха «радикальной» газеты «Знамя», выродившейся затем в бульварный листок с многозначительным названием «Сплетня», который в конце концов превратился в процветающий орган мещанского словоблудия и взаимного поношения.

В первой главе еще преобладают юмористические интонации. Комическая фигура издателя «Знамени» чудака Филиппа Ивановича рисуется с известной долей симпатии к его искренности и непосредственности и сочувствия к его злоключениям: «...именно он, а не кто-либо другой, дал начало этой газете и тем самым заслужил некоторое внимание, а пожалуй — на чей взгляд — и благодарность потомства» (ед. хр. 447, л. 1). Знакомство с ним начинается с несколько шаржированного портрета: «Роста он был менее, чем маленького, но голова у него была несообразно большая. В то время ему было 35 лет, но выглядел он на 10 лет старше; на лбу прорезались глубокие морщины, макушка с какими-то нелепыми френологическими шишками лоснилась широкой плешью, в небольшом количестве волос и в бороде проглядывала заметная седина.

Впечатление он производил в высшей степени странное. Когда к вам в первый раз оборачивалось большое бледное лицо маленького человека, обрамленное черной бородою, когда на вас уставлялись его большие глубокие глаза, — вы склонны были отнестись к нему очень серьезно. Когда он начинал говорить и неизбежно горячился, жестикулируя, как обезьяна, — вами начинало овладевать недоумение. Когда же он впадал в пафос и речь его достигала высших ступеней обличающего негодования, вы начинали хотеть и при этом могли заметить, что и все окружающие тоже хохочут самым беспечным образом и совершенно бесцеремонно» (ед. хр. 447, лл. 2—3).

Рисуя нелепую, комическую фигуру «генеральского сына», ставшего издателем «Знамени», Короленко с иронией отнесся к его обличительным «крайностям», ибо не увидел в них ни знания жизни, ни продуманной системы убеждений, а лишь эмоциональную неуравновешенность, наивное идеальничанье и отзвуки модного в широких кругах интеллигенции поверхностно усвоенного писаревского «нигилизма». Горячие тирады редактора «Знамени» неизбежно кончались мизантропическими филиппиками, обращенными против друзей, знакомых и всех, о ком только ни заходила речь: «Сколько ни удивлялся спокойный и богобоязненный генерал, — сынок его еще в утробе матери сформировался в ярого обличителя. Это была существеннейшая неизгладимая черта его характера, что он не мог, так-таки решительно не мог отозваться о ком-нибудь хорошо, чтобы не прибавить, подобно гоголевскому герою:

— А все-таки если посмотреть... — свинья-с! И тут же принимался расписывать подноготную человека, имевшего несчастье заслужить его похвалу» (ед. хр. 447, л. 7).

Рисуя в «Истории моего современника» портрет прототипа Филиппа Ивановича — публициста А. М. Наумова, Короленко пояснил истоки радикализма «коренного отрицателя»: «Тогда это было разлито в воздухе» (VI, 111—112). Как вспоминает писатель, Наумов однажды в компании друзей с увлечением и совершенно искренно повторил «известную собакевическую фразу»: «Во всей России сплошь все подлецы и негодяи... Я знаю одного только порядочного человека... Да, одного на всю Россию! Это Иван Васильевич Вернадский... Да и тот, если разобрать хорошенько, настоящая скотина...» Вызвав всеобщий смех и поняв, наконец, его причину, он меланхолически добавил: «Да, в сущности, все мы, русские, или Собакевичи, или Маниловы... Никого во всей России, кроме Собакевичей и Маниловых... Все, все... И я первый...». «Действительно, — заключает Короленко, — переходы от Собакевича к Манилову были у него неожиданны и внезапны» (VI, 112).

Вместе с тем в набросках «Истории одной газеты» анекдотическая личность «скромного публициста», почти неизвестного даже современникам, вырастает до сатирического обобщения фигуры основателя и «вождя» радикального органа печати с многообещающим названием. В этом «укрупнении» прототипа сказалось презрение Короленко к широковещательным программам изданий, подобных либеральной газете Краевского «Голос».

Во втором отрывке повествуется о злоключениях «Знамени». В первой сцене изображается смятение в редакции в связи с получением негодующего письма читателя, который напомнил о торжественных обещаниях публике со стороны руководителя газеты «поднять и высоко держать честное знамя роковых вопросов, наболевших в самом сердце нашей глубоко несчастной современности». Читатель порицает «Знамя» за то, что эти обещания оказались невыполненными, и вместо освещения общественных вопросов на страницах газеты царит «пустота» и «форма без содержания» (ед. хр. 448, л. 4).

В следующей далее полной комизма сцене выясняется, что «вождь» «Знамени» не имел и понятия о содержании той газеты, которую взялся издавать. Оказалось, что все яркие статьи на общественные темы систематически вырезались из газеты цензором, либо снимались из-за своей «нецензурности» самим редактором и издателем. «Бедный Филипп! На его выразительном лице я читал ясно целую бурю сменявших друг друга ощущений. Надежда, когда он принимался за новый №, сменялась горьким разочарованием, вновь вспыхивала и вновь угасала. Его детище предстало перед ним в новом свете. В его воображении оно жило таким, каким выходило из набора... Он забывал, что после того

как он любовался его красотой, его нарядом, бедная газета лишалась этого наряда... Он сам своей собственной рукой снимал одну за другою все ее одеяния, и в свет она выходила совершенно нагая...» (ед. хр. 448, лл. 8—9).

Тяжкое разочарование заставило Филиппа Ивановича отказаться от редактирования «Знамени». Так решилась судьба первой «радикальной» редакции газеты.

В последнем, пятом, незаконченном наброске Короленко возвращается к истории «радикального» «Знамени», усиливая разоблачение полицейского произвола и цензурных стеснений, душивших всякий намек на свободомыслие и независимость в печати:

«В это время уже стоял вопрос о молчании и в умении ладить с этим вопросом, лавировать между Сциллой молчания и Харибдой сквернословия уже и тогда виден был лучший признак редакторского такта» (ед. хр. 451, л. 1).

Отсутствие этого «такта» и было непосредственным толчком, свалившим первую редакцию «Знамени»:

«Событие... Газеты в меру молчат и не в меру сквернословят. „Знамя“ только молчит».

Молчание замечено не только подписчиками Филиппа Ивановича, но и «начальством»:

«Особа, ведающая судьбой его детища, хмурит олимпийские брови: „А, он молчал!“. Честный чудак не только молчит, но и дерзко со страниц „Знамени“ заявляет:

— И будем молчать! — вопит он в передовице.

— А, и будешь молчать... Ну, и молчи... — думает особа и еще более хмурит брови...

— Потому что честные отзывы невозможны, — раздается последний возглас неистового публициста.

— Позвать... Филиппа зовут...» (ед. хр. 451, л. 1).

На этом пятый набросок обрывается, хотя нетрудно догадаться, что эта сцена должна была заканчиваться отстранением Филиппа Ивановича от редакторских забот и издания газеты.

В начале третьего фрагмента вновь разъясняются причины крушения «Знамени». Газета, лишённая живых общественных статей, не удовлетворяла демократического читателя, но вместе с тем из-за «непреклонности» Филиппа Ивановича она чуждалась и тех материалов, благодаря которым процветала бульварная пресса, приспосовившаяся ко вкусам «публики»: «она была неинтересна». Поэтому «Знамя» катастрофически теряло подписчиков.

«Посторонние взоры замечали, что бедной газете становится немогоду продолжать свое честное существование, и к ней уже стали примазываться некоторые кавалеры» (ед. хр. 449, л. 2).

Агония «Знамени» привлекла внимание бойкого репортера Моисея Ивановича Перейра. «Его специальностью были суды, парады, торжественные обеды, скандалы и драки» (ед. хр. 449,

л. 2). Газета перешла в его руки и начала новое существование под названием «Сплетня».

В четвертом отрывке содержится конспективно набросанная история издания газеты под новым названием.

«Это был самый легкомысленный период ее существования. Моисей Иванович и не думал обзаводиться сотрудниками, не старался придать газете сколько-нибудь серьезности и веса, необходимого для того, чтобы являться перед какой ни есть, но все же перед „читающей“ публикой. Когда его спрашивали об его видах касательно будущности газеты, он заливался беззаботнейшим хохотом.

Он посадил за редакторский стол одного из своих родственников, о происхождении которого от португальской или испанской линии Перейра не могло быть и речи; родственник был вооружен ножницами, посредством которых делал нелепые вырезки, наполняя ими газету. Моисей Иванович забавлялся, поставляя воскресные фельетоны, в которых корректор, бледный и чахлый юноша, наивно веривший в возможность получения своей платы, переправлял испанские обороты речи на русские. Так как Моисей Иванович не оставлял обычной деятельности репортера, то и „Сплетня“, конечно, переполнялась его сообщениями в некотором degree избытке. Передовые статьи или отсутствовали вовсе, или же трактовали о достоинствах мальцэкстракта обычным слогом юстициратов и принцев, обязанных „Йоганну Гоферу своим воскресением из смерти“» (ед. хр. 450, лл. 1—2).

Так как «Сплетня» самовольно перепечатывала из других газет рекламу и старые объявления, то в редакцию время от времени являлись пострадавшие от недоразумений на этой почве и между ними и Моисеем Ивановичем происходили драматичные объяснения. Когда финансовое положение газеты стало катастрофическим, взбунтовавшиеся наборщики ворвались в редакцию, чтобы поколотить издателя, который перестал им платить.

Все эти комические эпизоды довольно точно передают обстановку, сложившуюся в редакции газеты «Новости» и описанную более подробно в «Истории моего современника». В «бледном и чахлом юноше» — корректоре нетрудно узнать и самого автора, тяжело бедствовавшего в студенческие годы и зависящего от скудного и нерегулярно выплачиваемого Нотовичем заработка. «Новости» кое-как влачили существование только потому, что, по словам Короленко, у редактора газеты было «какое-то особое чутье той средне-обывательской пошлости, которая может создать своеобразный успех среди уличной публики, подерживающей розницу». Этот мотив получил развитие во второй части четвертого фрагмента «Истории одной газеты».

В конце концов из-за финансовых затруднений пала и вторая редакция газеты. «Моисей Иванович только свистнул и принял меры, чтобы забыть на некоторое время о самом существовании газеты. Он не старался даже сбить ее за какую бы то ни было цену:

ибо, во 1-х, она истаскалась вконец, а во 2-х, — деньги все равно уйдут кредиторам» (ед. хр. 450, л. 7). В этот момент «бедную газету клюнул Альфонс Иннокентьевич Магон» (ед. хр. 450, л. 11).

Это был, по словам рассказчика, «человек гениальный», хотя «ни одно из задуманных им грандиозных предприятий не было доведено до благополучного окончания, а всегда с самых ослепительных вершин успеха сваливалось прямо в темную глубь долгового отделения» (ед. хр. 450, л. 11). В изображении Короленко новый издатель «Сплетни» — темный делец и аферист — был бы знаменитым банкиром-банкротом, если бы у него были деньги, или хищником-подрядчиком, если бы были влиятельные связи. «Но у него не было ни того, ни другого и потому он стал издателем, ибо это самая удобная почва для человека, который желает нажиться без денег и без связей, если при этом есть у него сметка и нету чести» (ед. хр. 450, л. 13).

«Он владел тайной возбуждения тех ожиданий, на которые так падка наша российская публика. Его имя десятки раз было опозорено, оплевано, втоптанно в грязь и казалось — втоптанно навеки. Обвинения во всех видах преступлений, вплоть до явной уголовщины, были высказаны, поддерживаемы во всех органах, доказаны с очевиднейшей ясностью. А он только смеялся. Даже больше: он дразнил своих обвинителей, оттеняя грозные обвинения в тех пунктах, где они недостаточно обрисовывали его ловкость и роготейство им одураченных противников...» (ед. хр. 450, л. 13). В этом деятеле на литературной ниве «совести не было и следа», а искорка «гения» освещала «лишь непроходимые дебри самого удивительного бесстыдства». Это-то и обеспечивало скандальный успех газете и двадцать тысяч подписчиков. «Его литерат<урное> предприятие выплывало наверх среди криков негодования, гнева и зависти. Его обличали, его статьи комментировали, ругали, а он был доволен. Это избавляло его от расходов на рекламы» (ед. хр. 450, л. 14).

Красуясь своим цинизмом и беззастенчивым лицемерием, издатель «Сплетни» собственные пороки превратил в ходкий рыночный товар. «Магон возбуждал этот шум по своему произволу тем, что начинал проповедывать добродетель...»

Как! Он, всем известный Магон, столько раз выведенный на чистую воду, столько раз изобличенный. Конечно, — это заслуживало только презрения!

А Магон продолжает... Свою горячую проповедь он начинает иллюстрировать легкими примерами чужих грехопадений... К сожалению, надо признать, что примеры эти он брал „из действительной жизни“.

Это подавало уже прямой повод к тому, чтобы указать Магону его собственные более тяжкие грехопадения. Полемическая каша была заварена. Магон потирал руки» (ед. хр. 450, л. 15—16).

Четвертый отрывок заканчивается рассказом о преуспевании «Сплетни» и финансовых успехах ловкого литературного дельца:

«Теперь Магон издает уже разом две газеты и думает о приобретении третьей.

— Время, батюшка, теперь не то, — говорит Магон, обсуждая этот план со своими присными. — Теперь, на мой взгляд, — лишний балласт надо за борт. Д-да... Поменьше балласту, полегче, господа, именно полегче-с! Надо увеличивать поверхность, — авось не потонем тогда. Оно, кстати, и дешевле. На мой взгляд — это именно требование настоящего времени. Качество — на втором плане. Количество материала и дешевизна, дешевизна прежде всего».

На замечание сотрудника «Сплетни», что времена могут измениться, находчивый Альфонс Иннокентьевич заметил: «И мы, и мы изменчивы, дорогой Иван Иванович... в уровень с веком. Ха-ха-ха!.. Еще успеем. Вопрос в данной минуте» (ед. хр. 450, л. 16).

На этом развитие сюжета «Истории одной газеты» обрывается. Но направление мысли автора нетрудно уловить. Успех «Сплетни» и других издательских предприятий Магона он ставил в прямую связь с развитием буржуазного хищничества и беспринципности, паразитировавших на все шире распространяющихся обывательских настроениях «читающей публики». Короленко здесь чутко уловил один из симптомов надвигающейся реакции 80-х годов, но объяснить социально-исторические причины и последствия этих явлений он еще не смог. Поэтому и замысел повести остался нереализованным. Но идеи его «носились в воздухе». Спустя несколько лет М. Е. Салтыков-Щедрин в «Письмах к тетеньке» создал яркий сатирический образ родственницы «Сплетни» — газеты «Помои», которая потакала самым низменным инстинктам улицы и вместе с тем развращала ее.

В 1886 г. Короленко в рассказе «Газетчик» использовал отдельные мотивы «повести» «История одной газеты». Рассказ «Газетчик» на примере нравов буржуазной прессы 80-х годов воскрешал классическую щедринскую формулу, определяющую сущность либерализма: «применительно к подлости». Писатель отказался от продолжения работы над рассказом, возможно, ощутив совпадение его основного мотива с идеей сказки Щедрина «Либерал».

Черновые наброски «повести» «История одной газеты» и незаконченного рассказа, с нею связанного, представляют тем больший интерес, что в них нашел свое частичное художественное воплощение ранний сатирический замысел, свидетельствующий о влиянии на начинающего писателя творчества Щедрина. Много позднее, в политической сказке «Стой, солнце, и не двигись, луна!» и в публицистической сатире «Из записок Павла Андреевича Тентетникова», Короленко, в то время уже зрелый, сложившийся художник, возвратился к этим традициям.

ОБ ИДЕЙНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КОНЦЕПЦИИ РАССКАЗА А. П. ЧЕХОВА «ВРАГИ»

Рассказ «Враги» опубликован в одном из январских номеров «Нового времени» за 1887 г.

Рассказ отмечен глубокой гуманистической мыслью. По содержанию и тональности своей он скорее грустный и скорбный, нежели веселый или обличительно-сатирический. Идею-тему «Врагов» определяют слова автора: «Не соединяет, а разъединяет людей несчастье, и даже там, где, казалось бы, люди должны быть связаны однородностью горя, прodelывается гораздо больше несправедливостей и жестокостей, чем в среде сравнительно довольной».¹

Драматизм рассказа — в изображении горя земского врача Кирилова, у которого от дифтерита умер единственный сын, и горя барина Абогина, которого оставила любимая им жена. Она притворилась смертельно больной. Абогин умолил подавленного несчастьем доктора поехать в усадьбу спасать «умирающую». Здесь выясняется, что жена покинула дом с любовником. Обманутый муж потрясен случившимся. Он посвящает в свои беды Кирилова. Но тот уже вышел из состояния оцепенения, в котором до сих пор находился под тяжестью собственного горя, и обрушивает на Абогина град злых упреков. «У меня умер ребенок, жена в тоске, одна на весь дом... сам я едва стою на ногах, три ночи не спал... и что же? Меня заставляют играть в какой-то пошлой комедии, играть роль бутафорской вещи!». Разгневанный доктор бросает в лицо ошеломленному Абогину самые резкие, презрительные слова, обвиняя его в «благородном кулачестве», позерстве, в том, что он с жиру бесится и разыгрывает мелодрамы. «Вы с ума сошли! — крикнул Абогин. — Не великодушно! Я сам глубоко несчастлив». «Несчастлив, — презрительно ухмыльнулся доктор. — Не трогайте этого слова, оно вас не касается. Шелопаи, которые не находят денег под вексель, тоже называют себя несчастными. Капун, которого давит лиш-

¹ А. П. Чехов, Полное собрание сочинений и писем, т. VI, Изд. «Художественная литература», М., 1946, стр. 37. В дальнейшем рассказ цитируется по этому изданию с указанием страницы в тексте статьи.

ний жир, тоже несчастлив. Ничтожные люди!». Абогин вне себя, он гневно швыряет обидчику деньги, в свою очередь сопровождая этот жест оскорбительным: «Вам заплачено».

Теперь эти два интеллигентных человека, незаслуженно оскорбивших друг друга, — враги до могилы. Своей нелепой ссорой они словно бы расширили в мире сферу зла. Чехов огорчен трагической нескладицей жизни. Его рассказ лишен и тени моралистического наставничества. Но чуткий читатель не мог не задуматься над этой так живо показанной ему драматической историей ожесточения сердец, утраты человеческого достоинства.

Специально и подробно этот рассказ раньше никем из исследователей не разбирался, но в беглых упоминаниях его справедливо относили к числу тех, которые с наибольшей очевидностью раскрывают гуманистическую природу мировоззрения писателя.

Но вот «Враги» попали в орбиту внимания В. В. Ермилова, и с рассказом произошли неожиданные превращения. В принадлежащей перу этого автора монографии о Чехове рассказ послужил основанием для особой главы, названной: «Его (т. е. Чехова, — Е. П.) друзья и враги».²

Исследователь утверждает, что вся любовь Чехова отдана Кирилову, человеку труда, подлинной красоты и благородства, он его друг и любимый демократический герой. Абогин же — враг, его образ в рассказе — памфлет на либерального барина, его несчастье «оказалось на поверку фарсом»; он — предельное воплощение столь ненавистных писателю начал паразитизма и пошлости. На тот случай, если читателя не убедят эти объяснения и он заметит, что непосредственное впечатление от рассказа иное, что и Кирилов и Абогин воспринимаются, — по-человечески широко воспринимаются, без предвзятости, — как друзья писателя, который в действительности скорбит, что его герои — культурные, неглупые и добрые по натуре люди — самым нелепым образом становятся врагами, у автора монографии наготове спасительное опровержение. К таким заключениям, заявляет он, приводит лишь поверхность, «внешний слой рассказа»; любовь и ненависть Чехова не выражены прямо, открыто в тексте, они таятся в «глубоком подводном течении» рассказа и обнаруживаются лишь при анализе его «художественной конкретности», при разборе тех мельчайших поэтических частичек, деталей, сцепление которых и образует литературное произведение. Не допытывайся, что в своем сознании держал автор и что он хотел сказать и сказал своим рассказом, делай и принимай выводы, которые вытекают из художественной правды повествования.

Перед нами — далеко не единственный в своем роде пример исследовательского произвола, прикрывающегося авторитетом зна-

² В. Ермилов. А. П. Чехов. Изд. «Советский писатель», М., 1959. Страницы этой книги при цитировании будут указаны далее в тексте статьи.

менитой концепции, определившей характерную особенность творческого метода Чехова как «подтекст». Перед нами также пример методологического своеволия, когда нерасторжимые в чеховском произведении идея и воплощающая ее образная форма распадаются, раскалываются, внимание сосредоточивается на так называемых художественных деталях, которые примериваются и так и эдак и в нарушение логики художественного целого, художественного единства комбинируются по схеме анализирующего произведения. В итоге свой собственный пафос, свое собственное понимание вещей исследователь — к вящей досаде читателя — стремится выдать за пафос изучаемого произведения и его автора.

Обратимся к художественной конкретности рассказа «Враги» и посмотрим, такова ли она, как ее теперь толкуют.³ Весь анализ ведется и направляется таким образом, чтобы развенчать Абогина, доказать, что он ничтожество и пошлостью своей натуры и жизни оскорбил «человеческое горе» доктора. Исследователи повторяют в гневе, в запальчивости сказанные слова другого персонажа рассказа — Кирилова — и заявляют, что горе Абогина не отмечено подлинной человечностью. Этот вывод как противоположность делается из скупого замечания писателя о том, что происходило в доме Кириловых, молчаливо и сдержанно переживавших смерть шестилетнего мальчика. «Во всеобщем столбняке, в позе матери, в равнодушии докторского лица лежало что-то притягивающее, трогающее сердце, именно та тонкая, едва уловимая красота человеческого горя, которую не скоро еще научатся понимать и описывать» (29). А вот в горе Абогина нет ни грана красоты, лиризма... Исследователи словно бы не замечают, что горе горю рознь, что безутешное горе родителей, потерявших единственного сына, эмоционально окрашено иначе, трагичнее, чем горе даже и страстно любящего человека, которого покинула жена. Это настолько очевидно, что как-то неловко, бестактно пространно рассуждать на эту тему.

Важно другое. У Абогина ведь невыдуманное горе, оно скопилось у него, оно искренне и по-своему глубоко им переживается.

Именно таким изображается Абогин в сценке, когда с ним впервые знакомится читатель. «Он едва сдерживал — читаем мы в рассказе — свое частое дыхание и говорил быстро, дрожащим голосом, и что-то неподдельно-искреннее, детски-малодушное звучало в его речи» (27). Узнав о том, в какую минуту он приехал с просьбой к доктору, Абогин говорит умоляющим голосом, по-

³ «Убедительный анализ рассказа „Враги“, — заявляет Э. Паперный, — был впервые дан в книге В. Ермилова „А. П. Чехов“. Автор показал, как сквозь кажущуюся „нейтральность“ чеховского повествования проступает глубокое сочувствие писателя к труженику Кирилову и суровое презрение к модному бездельнику Абогину» (Э. Паперный. А. П. Чехов. Очерк творчества. Изд. «Художественная литература», М., 1954, стр. 26).

нимает весь трагизм случившегося. Он «исстрадался душой» и весь в порыве спасти жизнь жены просит (подчеркивает Чехов), «как нищий»: «Сейчас, вы говорите, у вас умер сын, кому же, как не вам, понять мой ужас?» (30).

Кирилов и Абогин — люди разные по характеру, разные по положению в обществе, за их плечами жизнь, прожитая вовсе не одинаково. С предельной четкостью это выявлено в следующей портретной зарисовке.

«Доктор был высок, сутуловат, одет неряшливо и лицо имел некрасивое. Что-то неприятно резкое, неласковое и суровое выражали его толстые, как у негра, губы, орлиный нос и вялый, равнодушный взгляд. Его нечесаная голова, впалые виски, преждевременные седины на длинной, узкой бороде, сквозь которую просвечивал подбородок, бледно-серый цвет кожи и небрежные, угловатые манеры — все это своею черствостью наводило на мысль о пережитой нужде, бездолье, об утомлении жизнью и людьми. Глядя на всю его сухую фигуру, не верилось, чтобы у этого человека была жена, чтобы он мог плакать о ребенке. Абогин же изображал из себя нечто другое. Это был плотный, солидный блондин, с большой головой и крупными, но мягкими чертами лица, одетый изящно по самой последней моде. В его осанке, в плотно застегнутом сюртуке, в гриве и в лице чувствовалось что-то благородное, львиное; ходил он, держа прямо голову и выпятив вперед грудь, говорил приятным баритоном, и в манерах, с какими он снимал свое кашнэ, или поправлял волосы на голове, сквозило тонкое, почти женское изящество» (33).

Обратим внимание, что в этих характеристиках Чехов очень сдержан, очень объективен, ни в интонации, ни в подборе определяющих слов он отнюдь не стремится внушить неприязненное чувство к Абогину или особо вызвать симпатию к Кирилову.

Нас хотят убедить, что художник целиком на стороне Кирилова, что «нет такой мельчайшей детали в рассказе, которая не раскрывала бы человеческое достоинство Кирилова и паразитизм, пошлость Абогина» (172).

До сих пор не нашлось, однако, ни одной такой детали, которая бы подтвердила это категорическое суждение. Больше того, писатель если и не подчеркивает идентичности, «однородности горя» у того и другого героя, что было бы, пожалуй, психологически неоправданным, то и не акцентирует на их различии, и уж, конечно, не унижает одного за счет другого. Не случайна такая пейзажная подробность в рассказе Кирилов и Абогин едут в именье, едут молча, каждый погрузившись в свои думы, в свои переживания, и как бы в тон их молчаливой и горькой сосредоточенности в природе чувствовалось что-то безнадежное и больное: «Куда ни взглянешь, всюду природа представлялась темной, безгранично-глубокой и холодной ямой, откуда не выбраться ни Кирилову, ни Абогину, ни красному полумесяцу» (32).

Комментаторам Чехова хочется развести героев его рассказа, одному отдать все авторское сочувствие, другого лишить даже авторского снисхождения. Писатель же сближает героев, поскольку они оба по-человечески сильно страдают.

И тогда, когда по логике повествования вспыхнувшая вражда действительно разметала героев в разные стороны, художник в подтексте, в том самом глубинном течении, которое сопровождает изображаемое, дает почувствовать и понять, как грустно все сложилось, как жестоко и как несправедливо восторжествовало негуманное начало в жизни этих людей, унизившее человеческое достоинство того и другого.

В композиционной структуре рассказа, помимо эпизодов горя, особое место отводится сценам, которые условно можно было бы назвать сценами непреднамеренного обмана. Обманут Абогин, когда узнает, что жена, которую он считал смертельно больной, за жизнь которой он так волновался, уехала с любовником. Обманут Кирилов, узнавший, что ему некого лечить, что бессмысленным был его врачебный подвиг, да еще в такой момент, когда дома в одиночестве и горе осталась обессиленная жена. Филиппики и стениания уязвленного Абогина возмущают доктора. Происходит поединок взаимных оскорблений. В гневе выговариваются неслыханно грубые обвинения, совершаются опрометчивые поступки. Накал страстей подчеркнут в рассказе психологическими изменениями, которые претерпевают его герои. У Абогина исчезает выражение сытости и тонкого изящества, его лицо, руки, поза исковерканы выражением не то ужаса, не то физической боли. Кирилова душат обида и негодование. «Черты лица его, — замечает Чехов, — стали еще резче, черствее и неприятнее» (36).

В чеховском подтексте звучит один лейтмотив: да, так бывает в жизни, и нередко так бывает, но должно быть по-другому, и могло быть по-другому, если бы люди не поддавались давлению «эгоизма несчастных».

«Со слезами на глазах, дрожа всем телом, — так пишет Чехов, как бы ни хотелось некоторым его комментаторам, чтобы с пошляком Абогиным обращались иначе, — Абогин искренно изливал перед доктором свою душу» (35). «Кто знает, — продолжает Чехов, — выслушай его доктор, посочувствуй ему дружески, быть может, он, как это часто случается, примирится бы со своим горем без протеста, не делая ненужных глупостей» (36).

Странно, что исследователи, основывающие свои выводы на подтексте рассказа, не упоминают об этой много значащей детали, они ее просто опускают. И не замечают ее потому, что это авторское «кто знает», это предположение, что если бы доктор смог вникнуть в горе Абогина, сложились бы истинно человеческие отношения между ними — все это явно противоречит искусственным исследовательским построениям, о которых идет у нас

речь. Пожалуй, прими такой односторонне-выборочный способ анализа произведения, следовало бы из приведенного выше замечания Чехова сделать вывод, что в случившемся раздоре он скорее готов обвинить Кирилова, нежели Абогина. Ведь первым начал ссору именно Кирилов. Однако Чехов отнюдь не склонен принимать на себя прокурорские обязанности и меньше всего его рассказ сходен с обвинительным актом.

Посмотрим, как сам писатель объясняет все то, что составляет драматический узел рассказа.

«Кажется, никогда в жизни, даже в бреду они не сказали столько несправедливого, жестокого и нелепого. *В обоих сильно сказался эгоизм несчастных. Несчастные эгоистичны, злы, несправедливы, жестоки и менее, чем глупцы, способны понимать друг друга*» (37, курсив наш, — Е. П.).

Как-то трудно уживаются рядом два таких положения: первое, ученого интерпретатора: рассказ раскрывает силу презрения Чехова к тунеядству, барству (это зло воплощает Абогин) и силу его любви к «маленькому», трудовому человеку (это — Кирилов); и второе, писателя: в обоих (заметьте — *в обоих!*) сильно сказался эгоизм несчастных.

По ученой версии, горе Абогина — это и не горе, а какая-то барская блажь, настоящая горе только у Кирилова, и в гневе своем прав только он, Кирилов, а не Абогин, которому и возмущаться-то не из-за чего, так он ничтожен и пошл. Кстати, этот «паразит» Абогин с неподдельным волнением признается, что ради любимой женщины он «пожертвовал всем: поссорился с родней, бросил службу и музыку, прощал ей то, чего не сумел бы простить матери или сестре» (35) — и эта деталь, имеющая прямое отношение к «подводному течению» рассказа, нередко также остается в тени.

По Чехову, тот и другой печально *уравниваются в неправоте*, уравниваются в своих несправедливых, злых и жестоких выходах, продиктованных эгоизмом несчастных.

Несомненно, помимо этого *морально-психологического объяснения*, Чехов имел в виду и некий социальный мотив, усиливший ожесточение ссоры. Но вот как об этом мотиве говорит сам писатель. В ожидании экипажей Абогин и доктор молчали. Доктор, — пишет Чехов, — «глядел на Абогина с тем глубоким, несколько циничным и некрасивым презрением, с каким умеют глядеть только горе и бездолье, когда видят перед собой сытость и изыщность» (38). Непостижимым образом и эта характерная деталь остается незамеченной.

Да, решительное сопротивление произвольным толкованиям оказывают сами текст и подтекст чеховского рассказа, коль скоро исследователям приходится прибегать к приемам умолчания или же риторически обыгрывать «детали», искусственно выхваченные из системы художественного целого.

Но уж вовсе загодичное происходит с интерпретацией финальной части рассказа. Дело в том, что финал «Врагов» пришелся абсолютно не ко двору рассматриваемой здесь концепции и был отброшен как «объективно совершенно чуждый всей поэзии произведения» (175).

Следует внимательно присмотреться к концовке «Врагов», чтобы уяснить и подлинный пафос рассказа, а попутно и то, почему к такой решительной отсекающей операции прибегают некоторые его комментаторы.

Кирилов возвращается в город, домой. «Всю дорогу доктор думал не о жене, не об Андрее, а об Абогине и людях, живших в доме, который он только что оставил. Мысли его были несправедливы и нечеловечно жестоки. Осудил он и Абогина, и его жену, и Папчинского, и всех, живущих в розовом полумраке и пахнущих духами, и всю дорогу ненавидел их и презирал до боли в сердце. И в уме его сложилось крепкое убеждение об этих людях.

Пройдет время, пройдет и горе Кирилова, но это убеждение, несправедливое, недостойное человеческого сердца, не пройдет и останется в уме доктора до самой могилы» (38).

Это высказывание Чехова, понятно, оставить незамеченным никак невозможно. И вот исследователь это опасное для его концепции место комментирует следующим образом: «Этот примирительный элемент (почему, однако, «примирительный»? ведь Чехов прямо пишет о несправедливом и даже недостойном человеческого сердца убеждении Кирилова?!), привнесенный Чеховым в рассказ (почему же, однако, «привнесенный»?!) или Чехов уже перестал быть Чеховым и, несмотря на свою гениальность, не может свести начало с концом на десяти страницах повествования!), ... мог отчасти объясняться и „умиротворяющими“ влияниями толстовского учения, которые как раз в это время Чехов испытывал (это уклончивое утверждение — «отчасти» — так и остается без разъяснения: что, какая сторона толстовского учения, в каком смысле повлияли на автора рассказа?!).

Так, написав острый, проникнутый презрением портрет либерального барина, Чехов тут же, в самом типичном либерально-гуманном духе, пытается смягчить свой гнев и презрение» (175).

Что сказать об этой тираде? Тут что ни фраза — то натяжка и домysel, что ни слово — то неточность и какой-то огорчительный изворот.

В рассказе есть просто портрет русского барина, немножко дилетанта, и жизнь его показана правдиво, без каких-либо особых обличительных заданий, как жизнь богатого барина с привычками к комфорту и с другими подчас наивными и смешными, подчас и уродливыми замашками и привычками, которые в нем укоренили среда и воспитание.

Главной целью Чехова было все же не сочинять памфлет на Абогина и не поэтизировать плебейскую неприязнь Кирилова к барству. Рассказ написан для того, чтобы вновь и вновь напомнить «проклятые» вопросы бытия: отчего так сравнительно легко люди становятся врагами, усваивают несправедливые, «нечеловечно жестокие» убеждения, отчего так черствеют сердца, отчего так получается, что случайные недоразумения плодят в жизни вражду и отчужденность? Автор «Врагов» словно бы пытается разведать глубинные источники конфликтов, уяснить драматизм «мелочей жизни», столь враждебных высоким порывам человеческого духа.

Эти размышления над современной жизнью определяются гуманной чеховской мечтой увидеть, наконец, русского человека морально выпрямившимся, увидеть жизнь его светлой, разумной, исполненной труда и творчества, увидеть жизнь такой, когда и неизбежные в человеческих судьбах горе и несчастье не будут разъединять людей, но смогут соединить их в беде чуткостью и дружелюбием.

Нет спору, в научный анализ художественного произведения непременно должно войти корректирующее писательский взгляд марксистское понимание проблем, которым оно посвящено; отчетливее должны прозвучать политические квалификации (впрочем, для характеристики мировоззрения Чехова самое ли подходящее определение — «либерал»?).

Но чего стоят исследовательские принципы именно как научные принципы анализа художественного произведения, когда произведение умозрительно препарируется, содержание его «подгоняется» под заданную схему, когда произвольно объявляются неорганичными, наносными и внешними целые куски текста, в которых на самом-то деле заключены сокровенные авторские мысли и идеи, когда так называемые «художественная конкретность» или «художественная правда» произведения рассматриваются в стрыве от писательского замысла, словно «художественная конкретность» есть какая-то независимая от художника-творца совокупность образных картин, наблюдений, зарисовок, появившихся в произведении помимо авторского плана, вполне автономно или даже случайно! Не бывает такого в обдуманном и истинно художественном творении великого писателя.⁴

⁴ Настоящая статья докладывалась на конференции, посвященной столетию со дня рождения А. П. Чехова, в Саратовском государственном университете в январе 1960 года. — *Ред.*

М. ГОРЬКИЙ И ФОЛЬКЛОР

(ОЦЕНКИ ОБРАЗА ИВАНУШКИ-ДУРАЧКА)

Тема «М. Горький и народное творчество» была введена в горьковедение Н. К. Пиксановым, закрепившим итоги своей работы двумя изданиями книги «Горький и фольклор» (Л., 1935, и Л., 1938). В дальнейшем в разработке проблематики, выдвинутой Н. К. Пиксановым, приняли участие многие литературоведы. Одни расширили и углубили изучение материалов, характеризующих фольклористические взгляды Горького (Б. А. Бялик, С. Ф. Баранов и др.), другие уделили пристальное внимание тому, как отражался фольклор в собственном творчестве писателя (В. А. Захарова, М. А. Шнейерсон и др.). Итоги последнего изучения были подведены книгой Н. Ф. Матвейчука «Творчество М. Горького и фольклор» (Киев, 1959).

В последние годы литературоведы обратились к розыску фольклорных текстов, нашедших отклик в произведениях Горького, но оставшихся до сих пор неизвестными. Розыски эти увенчались успехом. Л. Я. Резникову удалось найти один из возможных источников легенды о Данко (кабардинское «Сказание о нарте Ашамезе»),¹ а В. Г. Чеботарева обнаружила некоторую близость одной из итальянских сказок к чечено-ингушским легендам о Тамерлане.² Наиболее широко связь Горького с национальным фольклором оказалась раскрытой в книге Г. Богача «Горький и молдавский фольклор» (Кишинев, 1966). В ней немало преувеличений, но вместе с тем она убеждает в несомненном знакомстве Горького с данным фольклором и выявляет ряд ошибок, допущенных писателем в «Старухе Изергиль» и других рассказах в связи с незнанием чужого языка.

И все-таки, несмотря на длительность изучения темы «Горький и фольклор», она еще далеко не ис-

¹ Л. Я. Резников. Путь к «Песне о Буревестнике». (Два новых факта). «Советская Молдавия», 1956, № 148, 27 июня.

² В. Г. Чеботарева. К вопросу о взаимовлиянии литератур. (Чечено-ингушские легенды о Тимуре и сказка М. Горького). «Известия Чечено-ингушского научно-исследовательского института при Совете Министров Чечено-Ингушской АССР», 1962, т. III, вып. 3, стр. 44—50.

черпана. За пределами многочисленных исследований остается вопрос о соотношении взглядов Горького-фольклориста с фольклористическими взглядами ранних критиков-марксистов. Не сопоставлены эти взгляды и со взглядами писателей конца XIX—начала XX в., что позволило бы более рельефно оттенить новизну горьковских воззрений.

В то же время нельзя не заметить, что исследователи привели фольклористические взгляды Горького в чрезмерно стройную систему, удалив из нее наиболее спорные высказывания. Так, сопоставляя в 1910-х годах психику украинца и великоросса, Горький утверждал, что «мифические воззрения: представление о Судьбе, Доле на Украине более активно, чем на Московском севере, где Судьба принимается, как сила необоримая, с которой бесполезно бороться».³ В пору работы над «Жизнью Матвея Кожемякина» Горький явно преувеличивал пессимистическую силу народных представлений о Судьбе и Доле. В одном из писем к писателю А. В. Амфитеатров справедливо заметил, что это стало одним из «пунктиков» современных настроений Горького.⁴

Горький-публицист часто привлекал русскую литературу для подкрепления своих наблюдений и доводов. Не был обойден им в этом плане и фольклор. При этом в зависимости от исторической обстановки, обуславливающей характер острой литературной борьбы, у Горького нередко возникали полемические оценки отдельных литературных памятников и героев. Однако место фольклора в литературно-общественной борьбе писателя не только не выяснено, но и сам вопрос об этом по существу еще не поставлен. Между тем он многое проясняет в горьковском отношении к фольклору до Октября. Весьма показательна, например, эволюция оценки Горьким одного из центральных образов русских сказок — образа Иванушки-дурачка.

Созданный народом тип волновал воображение множества писателей. Примечательны как прямые оценки образа Иванушки, так и переосмысление его в творчестве ряда авторов: каждый выделял в нем наиболее близкие своему сердцу черты. Вспомним об отношении к Ивану-дурачку в конце XIX столетия. Литераторы стали отказываться от пересказа или же перелицовки сказок о «дураке», характерных для первой половины века.⁵ Развитие по-

³ Архив Горького, письмо к М. С. Грушевскому.

⁴ Там же. Впоследствии Горький говорил, что «фольклору совершенно чужд пессимизм... Если же иногда в фольклоре звучат ноты безнадежности и сомнения в смысле земного бытия — эти ноты явно внушены двухтысячелетней проповедью пессимизма христианской церкви и скептицизмом невежества паразитивной мелкой буржуазии, бытующей между молотом капитала и наковальной трудового народа» (Собрание сочинений, т. XXVII, Гослитиздат, М., 1953, стр. 305—306. В дальнейшем ссылки на это издание — в тексте статьи: римская цифра — том, арабская — страница).

⁵ См. работу И. П. Лупановой «Русская народная сказка в творчестве писателей первой половины XIX века» (Петрозаводск, 1959).

лучила литературная публицистическая сказка, раскрывающая авторское восприятие общего духа народных сказок и по-своему толкующая отдельные мотивы их.⁶ Ярким примером служит толстовская «Сказка об Иване-дураке и его двух братьях» (1885), направленная против милитаризма и современного строя в целом.

Внимание Толстого привлекает народная мечта о государстве во главе с мужицким царем. В связи с этим, вопреки многим сказкам об Иване-дураке, отмечающим, что Иван ничего не делает, лежит на печи, ленится и что подвиги его не имеют ничего общего с крестьянским трудом, Толстой всячески подчеркивает крестьянскую сущность героя. Его не отличающий красноречием Иван (речь героя нарочито примитивна) и немая девка Маланья — *работные люди, могущие прокормить не только себя, но и оскудевших людей. Идеализируя блага натурального хозяйства, писатель делает своего Дурака царем-работником. Став царем, Иван снял «царское платье — жене отдал в сундук спрятать, — опять надел посконную рубаху, портки и лапти обул и взялся за работу. „Скучно, — говорит, — мне: брюхо расти стало, и еды и сна нет“». За Иванушкой последовала и жена, царская дочь. «И ушли из Иванова царства все умные, остались одни дураки. Денег ни у кого не было. Жили — работали, сами кормились и людей добрых кормили».*⁷

Отсутствие «здравой» логики, характеризующей в ряде сказок дурковатого героя, используется Толстым в социальном плане. Если в народных сказках дурак плачет на свадьбах и смеется на похоронах, то у Толстого Иван, получивший волшебный дар от нечистой силы, делает солдат для исполнения веселых песен и раздаёт золото для украшения и игр.

Иван-дурак дорог Толстому своим бескорыстием и беззлобием, писатель превращает его в носителя непротivления злу. Когда тараканский царь идет на Ивана войной, тот не сопротивляется и не использует данное чертенятами умение делать солдат из соломы. Не обороняются и другие «дураки, только плачут. Плачут старики, плачут старухи, плачут малые ребята.

— За что, — говорят, — вы нас обижаете? Зачем, — говорят, — вы добро дурно губите? Коли вам нужно, вы лучше себе берите.

Гнусно стало солдатам. Не пошли дальше, и все войско разбежалось».⁸

Не возмущен Иван и тем, что жадные братья — Семен-воин и Тарас-брюхан — отбирают у отца часть имущества, ими не нажи-

⁶ В конце века можно встретить также литературные сказки, в которых один из героев называется Иваном-дураком, но по существу не близок ему. См., например, «Сказку об Иване-дурачке» П. В. Засодимского, опубликованную в сборнике «Памяти В. Г. Белинского» (М., 1899).

⁷ Л. Н. Толстой, Полное собрание сочинений, т. XXV, ГИХЛ, М., 1937, стр. 129.

⁸ Там же, стр. 134.

того, а затем, потерпев крах в воинских делах и торговле, приходят кормиться к младшему брату. Противопоставляя Иваново царство господству паразитизма, Толстой пишет: «Живет Иван и до сих пор, и народ весь валит в его царство, и братья пришли к нему, и их он кормит. Кто придет скажет: „Корми нас“. — „Ну что ж, — говорит, — живите — у нас всего много“».

Только один обычай у него и есть в царстве: у кого мозоли на руках — полезай за стол, а у кого нет — тому обедки». ⁹

В Ивановом царстве возможность разделения труда исключается. Иван и другие мужики пренебрежительно относятся к возможности работать не только руками, но и головой. Автор стремится внушить читателю излюбленную мысль об опрощении, о необходимости каждому самому удовлетворять «всем своим потребностям».

Таким образом, интерпретация народного образа дается Толстым в свете своего этического учения.

Совсем по-иному воспринял этот образ Щедрин, написавший в том же 1885 г. сказку «Дурак».

В отличие от Толстого, придавшего «Сказке об Иване-дураке и его двух братьях» фольклорный облик (народный язык, использование традиционных элементов — три брата, волшебное умение, царская дочь-жена и др.), Щедрин раскрывает свое отношение к любимому народом образу, не прибегая к следованию фольклорным образцам. На первый план им выдвинуты бескорыстие и безбоязненность дурака, его активное *противостояние* господствующему здравому смыслу — «чужачество», и в связи с этим неумение приспособиться к окружающей среде.

Щедринский дурак «крадет» калач, чтобы накормить больного Левку, запоминает и говорит слова, о которых забыть надобно. «Никогда и ничего он не боялся, ни к чему не питал отвращения и совсем не имел понятия об опасности». ¹⁰ Тщетными оказались попытки обучить его и сделать пригодным к современной жизни. Он «не понимал истории, юриспруденции, науки о накоплении и распределении богатств», ¹¹ и на все доводы учителей отвечал: «Не может этого быть!». Тогда окончательно утвердилось в мнении, что он несомненный дурак.

Мнимую глупость, составляющую основу народных сказок о дураке, в щедринской сказке разъясняет случайный проезжий, старинный друг «папочки»: «Совсем он не дурак, а только подлых мыслей у него нет — от этого он и к жизни приспособиться не может». ¹²

⁹ Там же, стр. 138.

¹⁰ М. Е. Салтыков (Щедрин), Полное собрание сочинений, т. XVI, ГИХЛ, М.—Л., 1937, стр. 173.

¹¹ Там же, стр. 172.

¹² Там же, стр. 175.

Выделив в народных сказках о дураке в качестве основного начала непригодность героя к подлости, Щедрин-сказочник показал подобного «дурака» в современных условиях. И хотя в противоположность Толстому в его сказке дурак не одерживал победу над сильными и «умными», тем не менее он не оказывался побежденным.

Не менее примечательна оценка Ивана-дурака в те же 1880-е годы Гл. Успенским. В «Записках Тяпушкина» (очерки «Волей-неволей», 1884), носящих автобиографический характер, писатель говорил, что в развитии сердца героя немалую роль сыграл сказочный образ дурачка, о котором ему постоянно напоминала современная народная среда. При этом внимание автора сосредоточено на одной черте — независимости и прямоте суждений фольклорного героя (в этом образе оказались объединенными Иванушка и другие «простаки»).

«Тип этот, олимпийски-спокойный, сказочный парень-дурачок, — писал Гл. Успенский, — мелькает мне не только не забитым, не дурашным, не трусливым, но, напротив, спокойно охаивающим всех и вся: и небо, и землю, и барина, и барыню, и попа, и попадью, словом, всякие человеческие отношения, связи, установившиеся мнения — все! Все ничем для этого типа; он умеет все это так ужасно осрамить, так умеет разорвать на части одним юмористическим словом самое, по-видимому, непреложно важное, серьезное явление, понятие, верование, обычай. . . Я смутно помню, как этот тип перевертывал во мне все вверх дном двумя-тремя словами, скабресной сказкой разгоняя мрачную действительность, расшвыривая ее, как прах по ветру, и возводя меня куда-то на высоту издевательства».¹³ Благодаря «этому Иванушке-дурачку» Тяпушкин и мог вдохнуть в своей юности свежий, «играющий» воздух.

То, что в одно и то же время (1884—1885 гг.) три крупнейших писателя выступили со своей индивидуальной оценкой одного из популярнейших героев фольклора, заслуживает особого внимания. В эпоху реакции писатели напоминали о чертах народной психологии, вызывающих уверенность в победе светлых начал жизни.

В восприятии писателей и критиков начала XX в., в основе художественного кредо которых лежало требование пробуждения правосознания и воли народа, мы находим принципиально новое отношение к Иванушке-дурачку.

В годы пребывания на Капри Горький усиленно занимался изучением фольклора. Это второй (после юности) период увлечения народным творчеством. Библиотека писателя пополнилась большим числом изданий фольклорных текстов и исследований

¹³ Гл. Успенский, Собрание сочинений, т. VI, Гослитиздат, М., 1956, стр. 70—71.

фольклористов. Считая фольклор богатейшим источником, питающим литературу, Горький писал: «Лучшие произведения великих поэтов всех стран почерпнуты из сокровищницы коллективного творчества народа, где уже издревле даны все поэтические обобщения, все прославленные образы и типы» (XXIV, 33). В основе одной из наиболее боевых критических статей Горького того времени — в статье «Разрушение личности» — лежит мысль об измельчании и бессилии человека, оторвавшегося от народной почвы, потерявшего связь с коллективом.

Отметив исключительную художественную мощь созданных народом героев-символов, среди них Горький выделяет былинных героев — Илью, Святогора и Микулу (к ним можно присоединить и любимый образ Васьки Буслаева) — писатель вместе с тем дает в те годы одностороннее освещение бессмертного образа Ивану-дурака. И вызвано это было не тем, что Горькому на этот раз как бы изменило художественное зрение, а тем, что обострившаяся борьба требовала от него известного заострения своей общественной позиции.

Увлечение народным творчеством в 1907—1910 гг. разделял вместе с Горьким А. В. Луначарский. Они решили написать вместе историю русской литературы для народа, куда должен был войти раздел о фольклористике.¹⁴ Но затем, видя несбыточность своих планов, Горький увлек критика замыслом самостоятельной книги о фольклоре, противостоящей современной фольклористике. В конце сентября 1908 года Горький сообщил К. П. Пятницкому, что для издательства «Знание» Луначарский «готовит книгу „История русского народного творчества“». Это — моя идея, и я понемногу плачу ему за работу. Уплатил тысячи две лир. Книга будет готова не скоро» (XXIX, 80). Замысел этот не был осуществлен, но увлечение им сказалось в ряде работ Луначарского, в частности в книге «Религия и социализм» (ч. 1, СПб., 1908), в которой большое внимание уделено мифологии труда. В более поздних, послеоктябрьских выступлениях Горького мы находим родственные высказывания о трудовом происхождении мифов. Родственно, по-видимому, было также отношение критика и писателя к образу Иванушки-дурачка.

Анализируя рассказ «Проклятие зверя», Луначарский писал, что Леонид Андреев противопоставляет ребенка «городу, чтобы звать не вперед, а назад... Обычная греза культуроотрицателей, в сущности, не верящих в человека, — дитя, дикарь, мужик... Что мрачнее идеи Толстого о воплощении своей задачи человечеством путем морального самооскопления и самоубийства? Когда говорят о детях, дикарях, Иванушках-дурачках, даже поэтично говорят, восторженно, розово — мне всегда кажется, что я плыву

¹⁴ См. письмо Горького к К. П. Пятницкому в ноябре 1907 г. (XXIX, 34—35).

в теплой воде, а на ногу мне привязан свинцовый груз и тянет, тянет в теплую, темную пучину».¹⁵

Иванушка-дурачок воспринимался и Горьким как образ, не ведущий вперед. Формирующим началом его он считал пассивность; преодолевая ее порою, герой снова возвращался к своему обычному состоянию.

Резкое осуждение пассивности было знаменем времени. Толстой, как мы видели, возвел пассивность, непротивление злу в идеальную норму поведения, Горький восстает против нее.

И Луначарский, и Горький вели упорную борьбу с пассивизмом, охватившим русское общество в годы реакции. Будучи твердо уверенным в том, что национальный характер подвержен изменениям в процессе исторического развития,¹⁶ автор «Матери» выдвигал в качестве первоочередной задачи демократии ожесточенную борьбу со всяческим проявлением социальной пассивности. В период между двух революций эта борьба пронизывает все художественные и публицистические произведения писателя.

Горький был одним из тех, кто ясно видел, какое огромное воздействие оказала революция 1905 г. на мысль и волю народа. Значение Горького-писателя велико именно тем, что он первым не только заметил, но и художественно воплотил тип нового человека. В письме к А. Н. Тихонову мы находим следующее признание: «И знаете — должность честного, смелого барабанщика, возвещающего приближение новых людей, — рождение нового психологического типа, идущего создать новую жизнь, — славная должность!» (XXIX, 86). История утвердила за Горьким право называться таким барабанщиком. Но наряду с изображением нового он показывал и то, что начинало уходить в прошлое, хотя и было еще сильно. И здесь в пылу борьбы с отрицательными явлениями жизни Горький порою преувеличивал силу «некоторых свойств русской психики» (XXIX, 252), к которым в первую очередь относил склонность к пассивности. Сказочный образ Ивана-дурака воспринимался им в ту пору как порождение этой психики и в силу этого полностью лишался положительных черт.

Наиболее ярко это выражено в статье «О дураках и прочем». Упрекнув писателей в понижении социальных эмоций и «личной ответственности за грязь жизни и мерзости ее»,¹⁷ Горький призвал россиян отказаться от иллюзий, что кто-то или что-то

¹⁵ А. В. Луначарский, Собрание сочинений, т. 1, изд. «Художественная литература». М., 1963, стр. 404.

¹⁶ Считая Тюлина («Река играет» В. Г. Короленко) национальным типом, Горький писал в «Разрушении личности»: «Тюлин — это удачливый Иванушка-дурачок наших сказок, но Иванушка, который уже не хочет больше ловить чудесных Жао-птиц, зная, что, сколько их ни поймай, господишки все отнимут» (XXIV, 52—53).

¹⁷ М. Горький. Статьи 1905—1916 гг. Изд. 2. Изд. «Парус», Пг., 1918, стр. 205. Сборник этот значительно проясняет позицию Горького-критика, весьма суженно раскрытую в 30-томном Собрании сочинений писателя.

опрокинет без их помощи все препятствия на пути к лучшей жизни. Считая подобные иллюзии весьма живучими, писатель обратился к выяснению их истоков, в связи с этим перед ним и возник образ Иванушки-дурачка.

Горький напоминает читателю о том, что победы героя, созданного «крестьянской массой, живущей в полной и вечной зависимости от сил природы», достигаются не им самим, а действиями сторонних чудесных сил.

«Любимый герой русских народных сказок, — пишет Горький, — Иванушка-дурачок, человек, который терпеливо и покорно переносит все невзгоды жизни, преодолевая их не силою разума и деяния, а покорностью судьбе и терпением. За эту способность сказки награждают его «по щучьему велению» богатством, покоем, красивой, мудрой женой и даже королевским тронem, а действительность, — мы все по себе знаем, чем награждает суровая действительность людей излишне терпеливых. . .

Наш сказочный дурачок всегда живет чужой силой, но не потому, что он победил силу и убедил служить ему, — нет, сила помогает дураку только из сострадания к его глупости. Ему служат: «сивка-бурка вещая каурка», «конек-горбунок», «царевна-лягушка», «Василиса Премудрая», сам же он в затруднительных случаях, из которых слагается его глупая жизнь, только плачет «горючими слезами» и жалуется на свои немощи. Он — существо внутренне бессильное, всецело зависимое от случая и всегда ожидающее помощи со стороны, — все равно откуда и от кого, хотя бы от «нечистой силы». Но, в конце концов, терпеливая, все выносящая глупость обязательно вознаграждается покойной жизнью, и это очень важно, ибо именно в этом скрыт социально-педагогический смысл сказки о дураке».¹⁸ Как и Толстой, Горький видит в Иване-дураке отрицателя разума, но дает этому отрицанию противоположную оценку. Не приемлет Горький и оценку «дурака» другими писателями конца века.

Утверждая, что в русском фольклоре наиболее разработанными оказались характеры дурака, юродивого и покаявшегося грешника,¹⁹ Горький бросает русской литературе упрек в отсутствии интереса к людям активного начала, к тем, кто говорит: «Мы в мир пришли, чтобы не соглашаться!». Полагая, вопреки сказанному в статье «Разрушение личности», что «наиболее активные стремления деревенского устного творчества посвящены задаче создать в отвратительных условиях и среди плохих людей „хорошего“, „душевного“, „праведного“ человека», Горький писал, что именно в этом плане фольклор оказал значительное воздействие на русскую литературу, и прежде всего на творчество двух

¹⁸ Там же, стр. 196—197.

¹⁹ В дальнейшем Горький расчленил социальные группы, создавшие эти характеры.

изумительных художников — Толстого и Достоевского. «Как Платон Каратаев и Аким, Алеша Карамазов наделен всеми свойствами любимого народного героя, он тоже „на авось“ живет, он так же бессилен и не менее Иванушки терпеливо приемлет все словесные и вещественные гадости. Еще более определенную и более удачную попытку сделать Иванушку-дурачка „положительным типом“ Достоевский обнаружил, написав „Идиота“». ²⁰ Тяготение к наделению праведных людей чертами пассивного Иванушки Горький видел и в творчестве Лескова. ²¹

Это привело к выводу: «Русская литература в своем стремлении создать „положительный тип“ неизбежно рисовала нам человека слабовольного, неспособного к действию и, хотя русская жизнь изредка показывала людей иного характера, они остались не отраженными в зеркале литературы или же отражены отрицательно, злобно, искаженно». ²²

Социально-педагогический смысл самой горьковской статьи раскрывался как в оценках явлений литературы прошлого и современной политической действительности, так и в ее концовке, призывающей уяснить, что в создании новой жизни (текст статьи давал понять — это сделало ее неприемлемой для цензуры — что речь идет о необходимости новой революции) «надеяться нам не на кого, кроме как на самих себя, на свою волю, свой разум». ²³

В полемическом стремлении подчеркнуть пагубность пассивного отношения к действительности Горький допустил явные преувеличения в оценке русского фольклора и основной направленности русской литературы. Эта полемичность была отмечена самим автором, указавшим при первой публикации статьи 5 октября 1917 г., что она написана до революции, т. е. до нового проявления разума и воли народа. ²⁴

²⁰ М. Горький. Статьи 1905—1916 гг., стр. 198—199. О влиянии сказок о дураке на создание образов Каратаева и Поликушки Горький писал также В. Саянову 13 сентября 1933 г. (XXX, 325).

²¹ В статье 1925 г. «Н. С. Лесков» Горький дает несколько иную оценку стремления писателя создать образ праведника. Теперь он говорит, что Лесков наделил своих праведников деятельным, хотя и весьма своеобразным началом.

²² М. Горький. Статьи 1905—1916 гг., стр. 199.

²³ Там же, стр. 207.

²⁴ В конце 1916 г. Горький написал сказку для детей «Про Иванушку-дурачка». Поводом возникновения ее, по свидетельству К. И. Чуковского, послужил рисунок И. Е. Репина, изображавший придурковатого парня. Горький с юмором показывает житейскую глупость и непригодность героя. Так, запомнив приказание хозяина «Двери стереги, чтобы дети в лес не убежали!», Иванушка, увидев убегающих детей, идет за ними, взвалив дверь на плечи, чтобы лучше выполнить данное ему поручение стеречь ее. Однако смешной, нелепо мыслящий Иванушка способен у Горького к важным нравственным обобщениям. На вопрос медведя, умен ли Иванушка, тот отвечает, что не знает, но полагает, что «кто зол, тот и глуп. Я, вот, тоже не злой. Стало быть, оба мы с тобой не дураки будем!» (М. Горький. Про Иванушку-дурачка. Детгиз, Л., 1963, стр. 10).

После октября Горький отдал много сил заботам об освоении новым поколением писателей классического наследия, в том числе и фольклора. Он вновь возвращается к образу Ивана-дурака, но дает ему уже иную оценку. Говоря об историческом развитии искусства слова (доклад на Первом всесоюзном съезде писателей), Горький включает в число совершенных народных образов, «в создании которых гармонически сочетались рации и интуицию» (XXVII, 305), не только Прометея, доктора Фауста, Микулу Селяниновича, Святогора и Василису Премудрую, но и «иронического удачника» Ивана-дурака.

Данное замечание расшифровано самим Горьким. Его интересуется уже не столько образ Ивана-дурака, сколько причины, вызвавшие его появление. В том же докладе сказано: «Когда рядом с завоевателем-феодалом встал удачливый, разбогатевший плут, — наш фольклор в спутники богачу дал Ивана-дурака, иронический тип человека, который достигает богатства и даже становится царем при помощи уродливого коня, заменившего добрую волшебницу рыцарских сказок» (XXVII, 311).

Подобно писателям конца XIX столетия, Горький обращает теперь основное внимание на «общий дух» фольклорного образа, на превосходство «дурака» над «разумными» братьями и другими враждебными силами и на оптимизм сказки: «Герой фольклора — „дурак“, презираемый даже отцом и братьями, всегда оказывается умнее их, всегда — победитель всех житейских невзгод, так же как преодолевает их и Василиса Премудрая» (XXVII, 305—306).

Отношение к образу Иванушки-дурачка — лишь один из эпизодов использования фольклора в борьбе Горького-публициста. Тема эта ждет своего исследователя.

ТИПЫ РЕАЛИЗМА В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ НАЧАЛА XX СТОЛЕТИЯ

(К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ)

Русская литература XX столетия, реализм и другие художественные направления, течения, методы и формы ее неотделимы от классической литературы прошлого. Поэтому успешное решение проблемы «Типы реализма в русской литературе XIX века» сыграет огромную роль в дифференцированном изучении различных типов реализма, характерных и для литературы XX столетия.

Конечно, было бы недопустимой вульгаризацией литературного процесса XX столетия механическое накладывание на него тех типологических решений, которые вполне правомерны для литературы XIX в. Однако сама идея типологического изучения реализма, на мой взгляд, в методологическом отношении плодотворна. Не следует только подменять понимание типов реализма тем, что мы правильно называем этапами развития реализма. Это — далеко не одно и то же. В случае подмены одного другим неизбежно противопоставление, скажем, социального психологическому, критического жизнеутверждающему началам в искусстве. Не следует также проявлять и чрезмерный ригоризм, коль скоро речь идет о соотношении реализма с другими художественными методами, формами. Прав Б. Сучков, когда снова напоминает, что не все нереалистические формы по своей сущности антиэстетичны, консервативны и, наоборот, не всякий реализм есть благо. К литературе XX в. это относится в особенности.

Настоятельность нового шага в русской литературе, диктуемого, с одной стороны, самой жизнью, характером действительности, с которой имели дело художники, с другой — закономерностями развития самого искусства, чувствовали в конце XIX — начале XX в. все писатели, включая Л. Толстого, А. Чехова, В. Короленко, М. Горького, Л. Андреева. Симптомы нового, трудного, но неизбежного процесса ощущаются уже в самом факте исключительного многообразия, которого достигает типология русского классического реализма к концу XIX столетия, в возрастающем противоборстве разных типов

реализма с нереалистическими течениями, наконец, в беспрецедентном различии путей, пролагаемых в литературе новой генерацией писателей. В начале XX в. даже среди реалистов не наблюдалось той общности исходных принципов, которая так привлекает нас в литературе XIX в. Впрочем, сам этот факт порожден был тоже XIX в.

Льва Толстого в последние два десятилетия его жизни не покидало ощущение, что время диктует новые эстетические требования. Отсюда такие взаимоисключающие факты, как его утверждение, что роман изжил себя, и одновременная работа над «Воскресением», отрицание декадентских течений и более чем сдержанное отношение к противостоящей этому течению горьковской линии в реализме. И еще: в творчестве своем Л. Толстой поставил такие проблемы, ответ на которые смогли найти только писатели совершенно новой формации. С интересующей нас проблемой непосредственно связаны многие особенности реализма Чехова последнего периода. «Чувствую, — говорил он Горькому в 1901 г., — что теперь нужно писать не так, не о том, а как-то иначе, о чем-то другом, для кого-то другого, строгого и честного».¹ Та же проблема неотвязно мучила В. Короленко. Он предсказывал неизбежность совершенно нового решения проблемы личности на почве ее новых взаимоотношений с массой — как идеологической основы будущего искусства — и выдвигал идею синтеза реализма и романтизма — как художественной платформы этого искусства. Известны также его художественные поиски в этом направлении. Он создавал и ярко романтические, и сурово реалистические, и романтико-реалистические произведения.

Эти поиски с необычайной настойчивостью продолжала новая генерация российских писателей. Открыто о своем разрыве с реализмом заявляли декаденты и их теоретики вроде Д. Мережковского, А. Волынского. В притяжениях и отталкиваниях с реализмом Толстого и Чехова формировался реализм Бунина, Куприна, оставшийся критическим. В сложнейших соприкосновениях с лучшими традициями революционно-демократической литературы прошлого кристаллизовался реализм В. Вересаева, Н. Гарина-Михайловского, в большей или меньшей степени испытавших влияние марксизма. Без труда выявляются линии художественной преемственности и в творчестве других русских писателей конца XIX—начала XX в.

При всем том краеугольные камни для нового искусства отыскивались не сразу и не без трудностей. Поиски велись в разных, порой противоположных областях писателями, принадлежащими к различным общественным лагерям. Эти поиски — борьба, столь же ожесточенная, сколь и плодотворная.

¹ М. Горький, Собрание сочинений в 30 томах, т. 29, Гослитиздат, М., 1955, стр. 199.

Внимательно исследуя литературные искания, охватившие русскую литературу в самом конце XIX—начала XX в., мы находим здесь в зародыше, в основных тенденциях, все, что определит позднее особенности литературы нашего столетия в целом. Критический реализм, символизм, натурализм, неореализм, социалистический реализм... Впрочем, чтобы закончить этот ряд, процитирую слова И. Бунина: «Мы, — говорил он, — пережили и декаданс, и символизм, и неонатурализм, и порнографию — называвшуюся разрешением „проблемы пола“, и богоборчество, и мифотворчество, и какой-то „мистический анархизм“, и Диониса, и Аполлона, и „пролеты в вечность“, и садизм, и снобизм, и „приятие мира“, и «неприятие мира», и лубочные подделки под русский стиль, и адамизм, и акмеизм — и дошло до самого плоского хулиганства, называемого нелепым словом „футуризм“. Это ли не Вальпургиева ночь?»²

При всем многообразии форм, методов, направлений, течений в русской литературе XX в., на всех этапах ее развития магистральным оставался все же реализм. Возникает, однако, вопрос: представлял ли собой этот реализм нечто цельное, монолитное или он складывался из явлений разнородных? Сравнительно с реализмом XX века в предшествующем реализме (несмотря на существование в нем реализма обстоятельств и реализма симптомов, по дифференциации Г. Н. Поспелова, дидактического и критического реализма, по шкале У. Р. Фохта) мы имеем дело с необычайной цельностью. Эта цельность не нарушается и на высшем его этапе, представленном такими разными художниками, каковы Ф. Достоевский, М. Салтыков-Щедрин, Л. Толстой, А. Чехов, Д. Мамин-Сибиряк, В. Короленко. Кроме Достоевского и Щедрина, названные писатели продолжают успешно работать и в самом конце XIX—начале XX в., т. е. в период, когда, как утверждают вслед за Г. Лукачем некоторые советские исследователи, русский классический реализм переживает кризис. Подчеркиваю слово «русский», ибо, на мой взгляд, проблема эта может решаться только применительно к каждой литературе в отдельности. Утверждение о кризисе русской литературы, русского искусства в конце XIX—начале XX в. ныне находит все меньше сторонников. Ссылки на отдельные высказывания В. Короленко и М. Горького малоубедительны в сравнении с такими колоссальными фактами, как «Воскресение» и «Хаджи-Мурат» Л. Толстого, драмы и повести Чехова, творчество Шаляпина, театральная деятельность Станиславского.

Рядом с этим хочется поставить следующее небезынтересное наблюдение. Когда в одном из самых серьезных исследований литературы XX в. К. Д. Муратова попыталась рассмотреть раннего

² И. А. Бунин, Полное собрание сочинений, т. VI, Пг., 1915, стр. 317—318.

Горького в конкретном научном сопоставлении с Толстым, Чеховым, Короленко, Маминим-Сибиряком, ее книга оказалась буквально испещренной оговорками: «Образ Лаптева был художественным открытием Чехова, которое предопределило до известной степени художественные искания Горького»; «Капитализация общественных отношений уже была отражена в произведениях Д. Мамина-Сибиряка и других авторов, но у Горького это изображение приняло более всесторонний характер»; «Открытое Толстым было открыто одновременно и Горьким»; «Горький идет вслед за теми, кто раскрыл в литературе связь человека и общества, человека и породившей его среды. Но... он вносит и нечто новое»³ и т. д.

Все это заставляет нас вернуться к более плодотворной мысли, сформулированной в свое время С. В. Касторским: «Ставить вопрос о реализме на рубеже двух веков, — писал он, — вполне законно, но говорить при этом надо не о распаде или конце его, а о рождении в нем новых качеств, новых принципов, наиболее ярко раскрытых в творчестве Горького».⁴

Тут мы возвращаемся к разговору о типах реализма в русской литературе XX в.

В свое время в советском литературоведении возник термин «реализм знаниевцев», но не выдержал испытания уже потому, что в «Сборниках товарищества „Знание“» печатались слишком разные художники. Классический реализм был единой платформой и для Горького, и для Вересаева, и для Бунина, и для Куприна, и для Скитальца, и даже для Л. Андреева, и для П. Боборыкина, но пошли они не все в одном и том же направлении. Заслуга И. Бунина и А. Куприна перед русской литературой прежде всего в том, что, оставаясь критическими реалистами, они своим творчеством не только защищали его от декадентских вторжений, но не снизили того уровня, который был достигнут этим реализмом к концу столетия. Мало? Нет, это — очень много, когда все искусство стоит перед новым этапом своего развития. Чтобы почувствовать, как это много, вспомним трагедию Л. Андреева, который ведь тоже начинал свой творческий путь как критический реалист, в частности как продолжатель традиций Достоевского. Он рано почувствовал, что в границах статического реализма ему тесно. Когда в письме А. Амфитеатрову он протестовал против «догматического реализма, обязательного для всех времен, племен и народов», он был, конечно, прав. Прав он был и тогда, когда называл такой реализм «началом, враждебным не только себе, но и самой вечно развивающейся, творящей форме, как и сути сво-

³ К. Д. Муратова. Возникновение социалистического реализма в русской литературе. Изд. «Наука», М.—Л., 1966, стр. 40, 42, 47, 48.

⁴ История русской литературы, т. X. Изд. АН СССР, М.—Л., 1954, стр. 405.

бодной жизни».⁵ Больше того, так же как Горький, он ощутил, что подлинный шаг к новому искусству может быть сделан лишь на почве дальнейшего развития реализма. Отсюда принадлежащее самому Андрееву определение нового художественного метода — «неореализм».

Но по мере того как Л. Андреев стал уходить от старого реализма к «неореализму», он объективно уходил все дальше от реализма и от искусства вообще, выламываясь из него. И тут было нечто закономерное: «неореализм», как его понимал Л. Андреев, представлял собой странную амальгаму из реализма, натурализма, символизма и экспрессионизма. С этим связано заявление писателя: «... я никогда не мог вполне выразить свое отношение к миру в плане реалистического письма».⁶

На самом деле в этом было виновато не реалистическое письмо, а то, что Л. Андрееву не давался художественный синтез в его развитии, динамизме, в силу того что восприятие писателем мира (как это ни покажется парадоксальным) было, так сказать, диалектико-метафизическим. Писатель, тонко улавливавший мир в его противоречиях, в его течении, почти не улавливал его во взаимопереходах, в диалектических «снятиях». Ему не удалось через диалектико-метафизическое видение мира прорваться к восприятию жизни в ее становлении. Почти беспрерывно он срывался то в релятивизм, то в метафизику. В его творчестве мы наблюдаем тип агонизирующего реализма, разъедаемого коррозией, черной оспой декадентства изнутри.

Кстати сказать, в отличие от своих подлинных духовных отцов многие модернисты младшего поколения в начале XX в. в России называли себя наследниками Пушкина и Гоголя, Некрасова и Тургенева, Достоевского и Толстого и вместе с тем выступали против их реализма. Напротив, Горький и его сторонники отстаивали реализм в его новых формах. Борьба закипела с необычайной силой. Лидерство в ней вскоре перешло к писателям, которым было суждено открыть совершенно новую страницу в мировой литературе. Они выступали под флагом защиты подлинного новаторства, не отбрасывая, однако, ничего ценного из достижений не только своих «отцов», но и своих «врагов». Вначале это была очень небольшая группа писателей во главе с Горьким — всего несколько писателей и поэтов в русской, украинской, латышской, армянской и других литературах.

В непрерывной борьбе, «сближениях» и «расхождениях», взаимовлияниях и противостояниях, притяжениях и отталкиваниях с самыми различными литературными течениями, направлениями, художественными методами (многообразие которых поистине удивительно) начал складываться социалистический реализм.

⁵ Литературное наследство, т. 72. Изд. «Наука», М., 1965, стр. 541.

⁶ Там же, стр. 540.

Действительно, новое искусство, представленное Горьким и его единомышленниками, тоже не сразу нашло или выработало свои собственные художественные методы, формы, приемы, не сразу осознало полностью, что генеральной его линией будет реализм. Создавались произведения возвышенно романтические, сурово реалистические, безжалостно натуралистические. Рядом возникало множество произведений, так сказать чересполосных. Были испробованы также и символизм, и неоклассицизм, и многое другое.

Напомню общеизвестное. О «Старухе Изергиль» В. Короленко сказал: «Странная какая-то вещь. Это — романтизм, а он — давно скончался. Очень сомневаюсь, что сей Лазарь достоин воскресения. Мне кажется, вы поете не своим голосом. Реалист вы, а не романтик, реалист!».⁷ «Деда Архипа и Леньку» тот же Короленко назвал произведением реалистическим, и по поводу «Челкаша» сказал Горькому: «Совсем неплохо! Вы можете создавать характеры, люди говорят и действуют у вас от себя, от своей сущности, вы умеете не вмешиваться в течение их мысли, игру чувств, это не каждому дается. А самое хорошее в этом то, что вы цените человека таким, каков он есть. Я же говорил вам, что вы реалист!

Но, подумав и усмехаясь, он добавил:

— Но в то же время — романтик».⁸

К этому можно прибавить и менее известное, например то, что в произведениях «Ошибка», «Варенька Олесова» (если взять их в первых публикациях) сказались и такие влияния, которые невозможно связать ни с реализмом, ни с романтизмом. Вспомним также чрезвычайно характерные в этом отношении особенности поэзии Я. Райниса или некоторых произведений М. Коцюбинского. Иначе говоря, в поисках новых путей в искусстве были испробованы также и символизм, и натурализм, и даже то, что сегодня мы бы назвали модернизмом или авангардизмом. Во всяком случае, не учитывая этого, мы не поймем подлинных причин, порождавших такие явления, как, например, утверждение Горького в письме А. П. Чехову: «Знаете, что Вы делаете? Убиваете реализм. И убьете Вы его скоро — насмерть, надолго. Эта форма отжила свое время, — факт! Дальше Вас — никто не может идти по старой стезе, никто не может писать так просто о таких простых вещах, как Вы умеете... Да, так вот, — реализм Вы укокошите. Я этому чрезвычайно рад. Будет уж! Ну его к черту!

Право же — настало время нужды в героическом: все хотят возбуждающего, яркого, такого, знаете, чтобы не было похоже на жизнь, а было выше ее, лучше, красивее».⁹

Однако если Горький поднимался над жизнью, чтобы шире и глубже охватить ее, проникнуть в ее перспективы, то Андреев

⁷ М. Горький, Собрание сочинений в 30 томах, т. 15, стр. 37.

⁸ Там же, стр. 42.

⁹ М. Горький, Собрание сочинений в 30 томах, т. 28, стр. 113.

поднимался над ней, чтобы уйти от нее. Неудивительно поэтому, что один погрузился в декадентство, другой снял противоречие между новой действительностью и старым реализмом с помощью идеи историзма и динамизма и тем открыл невиданные перспективы его развития на более высоком этапе. Этот новый, динамический или, как позднее стали его называть, социалистический реализм наиболее ярко в литературе дооктябрьского периода представлен творчеством Горького и творчеством писателей, шедших за Горьким. К месту будь сказано, писатели, оказавшиеся в созвездии Горького, хорошо сознавали характер его эстетических исканий. Так, А. Упит в 1912 г. писал: «В произведениях Горького начинают проявляться яркие черты, характеризующие новую литературу и, быть может, даже новую эпоху в развитии культуры».¹⁰ Это не значит, что в творчестве единомышленников Горького развивался один и тот же тип реализма. В творчестве того же А. Упита еще до Октября начал складываться тип нового реализма, отличный от горьковского, в частности начисто исключая элементы романтизма. К тому же социалистический реализм, взятый в его, так сказать, всероссийском масштабе, даже в дореволюционный период проходит в своем развитии несколько этапов, с которыми, кстати, связано понятие «пролетарского искусства».

Нет ничего ошибочнее представления, будто пролетарское искусство начала XX в. — это лишь пролетарская поэзия романтического характера. Пролетарское искусство XX в. насчитывало также немало интереснейших реалистических стихотворений, поэм, рассказов, повестей, романов. Историкам социалистического искусства еще предстоит рассмотреть под этим углом зрения не только таких писателей, как ранний Д. Бедный, но и, скажем, А. Бибик. Как социалистическое искусство XX века в России не исчерпывается социалистическим реализмом, так и русский реализм XX в. не исчерпывается только намеченными выше типами. Рядом с горьковским типом реализма существовал и развивался, например, реализм, представленный творчеством В. Вересаева, но опять-таки не только им. Это — не социалистический и в то же время отличный от критического реализм. Наряду с творчеством Скитальца, Е. Чирикова, С. Юшкевича этот тип реализма некоторые исследователи относят к «особому течению внутри критического реализма».¹¹ Я склонен, во-первых, отграничить его от реализма Чирикова, Юшкевича и других этого ряда, во-вторых, рассматривать как очень своеобразную модификацию внутри критического реализма.¹²

¹⁰ Цит. по кн.: Э. Сокол. Основные проблемы истории латышской литературы. Рига—Москва, 1964, стр. 89.

¹¹ К. Муратова. Возникновение социалистического реализма... стр. 105.

¹² См. подробнее в моей статье «Социалистический реализм и современный литературный процесс» («Вопросы литературы», 1966, № 12).

Но и этим далеко не исчерпывается типология русского реализма начала XX в. Было бы интересно с взятыми нами критериями подойти к тому сложному явлению, которое когда-то было названо «прозой буржуазного упадка». ¹³ Дело в том, что мы очень часто произвольно подменяли одни критерии другими, эстетические — социальными, художественные — политическими. Не надо их противопоставлять, но не следует и отождествлять. Нам иногда кажется: достаточно сказать «декадент» (а порой и «модернист»), чтобы выявить эстетический критерий. Между тем декадент тоже может писать в реалистической (или скажем точнее: псевдореалистической, натуралистической) или в романтической (псевдоромантической) манере. От того, что мы будем рассматривать Л. Андреева в разделе «Проза буржуазного упадка», его «Баргамот и Гараська», «Петька на даче», «Жили-были» не потеряют своего реализма, так же как не потеряет элементов реализма, правда, изъязвленного декадентством, «Мелкий бес» Ф. Сологуба.

Не спасают и половинчатые формулировки: «От реализма к декадентству», «На путях преодоления декадентства». ¹⁴ Блок, Брюсов преодолевали декадентство — это несомненно. Однако один мог при этом двигаться к реализму, другой к романтизму или наоборот. Ведь утверждал же сам В. Брюсов в неопубликованном предисловии к своему послеоктябрьскому творчеству: «Несомненно, все написанное мною после 1917 г. отличается от остального как общим устремлением, так и самими приемами письма». ¹⁵ Об акмеизме Анны Ахматовой писалось больше, чем нужно. Но ни в одной из статей не говорилось, что представляет ее творчество как художественный феномен: романтизм? реализм? неоклассицизм? неореализм?

Плацдарм в мировой литературе, занятый Горьким и его последователями в конце XIX—начале XX в., со временем расширялся, оказывая все возрастающее влияние на развитие всей литературы, на перемещение ее сил. Ныне этот тип реализма необычайно углубился и расширился. Это — господствующий тип реализма. Но господствующим он стал не сразу. В первые годы Советской власти рядом с ним продолжал существовать критический реализм. Мне не кажется убедительной теория перманентного социалистического реализма, которую одно время столь энергично защищал Г. Ломидзе. Еще более отрицательно отношусь я к попытке поставить знак равенства между «революционным искусством» первых десятилетий Советской власти и социалистическим реализмом.

¹³ История русской литературы, т. X, стр. 607.

¹⁴ Русская литература XX века. Хрестоматия. Сост. Н. А. Трифонов. Учпедгиз, М., 1966.

¹⁵ Цит. по кн.: Арам Григорян. У истоков социалистического реализма. Изд. «Айистрат», Ереван, 1963, стр. 307.

Внутри революционной литературы первых десятилетий существовали и реализм, и романтизм, и экспрессионизм. Неспроста Н. К. Крупская писала в 1921 г., что «нужны искания, проверка достижений в области формы, отношения к этим формам массы. Что ближе массам: реализм, импрессионизм, символизм, романтизм и т. д.? Это надо постараться проверить опытом. Конечно, коммунистическое содержание может быть вложено в каждую из этих форм».¹⁶

Ныне уже стало очевидным, что основное предпочтение в нашей стране массы отдают социалистическому реализму, когда он заявляет о себе такими произведениями, как «Жизнь Клима Самгина», «Тихий Дон», «Петр Первый». Тем актуальнее проблема типологии социалистического реализма и на современном этапе его развития.

Только примитивным пониманием того, что составляет самую сущность нашего реализма — художественное воссоздание меняющегося мира в свете социалистической перспективы — объясняются постоянно вспыхивающие споры о том, отражает, воссоздает или пересоздает наше искусство мир, показывает ли оно только то, что видит, или и то, что знает, дает ли только сущее или прозревает и то, что с течением времени становится реальностью? В конечном итоге все это сводится к той же проблеме понимания подлинного реализма в нашу эпоху. Эпитет «социалистический» в его правильном, свободном от догматизма понимании указывает, что наш реализм, постигая мир в полной мере, противостоит всем формам его извращенного восприятия, «упрощениям», «смягчениям», «мифам», «галлюцинациям».

Социалистический реализм именно как метод нашел основополагающее выражение в «Матери» и «Жизни Клима Самгина» Горького, «Тихом Доне», «Поднятой целине», «Судьбе человека» Шолохова, «Хождении по мукам» и «Петре Первом» А. Толстого, «Владимире Ильиче Ленине» и «Хорошо!» Маяковского, в «Земле зеленой» и «Просвете в тучах» Упита, «Огне» Барбюса, «Коммунистах» Арагона... Что прежде всего бросается в глаза при чтении этих произведений? Верность действительности, необычайная глубина и широта захвата жизни, бесстрашие перед сложностью ее, исторический оптимизм, творческое развитие на новой идейной основе лучших традиций прошлого, в частности той, которую когда-то так метко определил Мельхиор де Вогюэ, сказав о «Воине и мире» Л. Толстого: «единственное в своем роде соединение большого эпического дыхания с бесконечно малыми величинами анализа».¹⁷ Вот принадлежające трем разным писателям характеристики, довольно верно раскрывающие смысл того, что подразу-

¹⁶ Н. К. Крупская об искусстве и литературе. Изд. «Искусство», М.—Л., 1963, стр. 93.

¹⁷ E. M. Vogué. Le roman russe. Paris, 1897, p. 294.

мевают Шолохов, называя себя «чистокровным реалистом». «Едва ли найдется еще произведение, — говорит советский писатель М. Алексеев о «Тихом Доне», — в котором с такой громадной художественной силой показан простой народ, умеющий так глубоко и сложно чувствовать, любить, радоваться и страдать. Оказалось, что полуграмотная казачка Аксинья Астахова способна любить не менее глубоко и страдать не менее сильно, чем Анна Каренина, что мятущаяся душа Григория Мелехова не менее сложна, чем душа Андрея Болконского, а батрак Мишка Кошевой не менее напряженно мыслит, чем Пьер Безухов». «К нам, — пишет парагвайский писатель Эльвио Ромеро, — пришла тетралогия о тихом Доне — эпопея, благородная и жестокая, скорбная, обнадеживающая и нежная. Легко было предугадать судьбу этого произведения, которое не только показало узловой момент истории, но и учило по-новому смотреть на историю». «Шолохов, — отмечает немецкий писатель Эрвин Штриттматтер, — ничего не упускает из виду, ни о чем не забывает упомянуть и показывает нам живых людей. Он описывает блеск красивых глаз, нетерпение влюбленных, их страсть. Он показывает зависимость этой страсти, как и бывает в жизни, от окружающей среды, изображает конфликты любви как отражение конфликтов общественного строя. От глаза художника не скроется ни бородавка на лице, ни косой взгляд прохожего».¹⁸

Взятые как целое, эти особенности и составляют «чистокровный реализм», представленный в советской литературе такими писателями, как М. Шолохов, А. Толстой, К. Федин, Л. Леонов, А. Упит. Основные черты его определил А. Фадеев в письме А. Упиту в связи с его романами «Земля зеленая» и «Просвет в тучах». «По своему художественному воспитанию, по литературным вкусам, — писал он, — я принадлежу в известном смысле к „староверам“. Я люблю монументальную форму старого реалистического романа с его обилием социальных типов, подробными, точными описаниями быта и всего материального мира, среди которого протекает жизнь людей, где все выражено языком свободным и в то же время таким же материальным и весомым, где все прочно и устойчиво по фактуре, но тем пронзительнее, и глубже, и долговечнее воздействие на душу читателя авторской большой гуманистической мысли. Оба Ваши романа принадлежат к явлениям именно этого порядка, и потому они нашли в моем лице одного из наиболее благодарных читателей... Только большая любовь к своему народу, к его истории и к его счастливому будущему могла продиктовать Вам эти романы, с их массовыми сценами народной жизни и с богатством социальных типов, с этим борением больших страстей и низинами человеческого падения,

¹⁸ Сб.: Михаил Александрович Шолохов. Изд. «Правда», М., 1966, стр. 14, 249, 297.

с беспощадным изображением мерзости эксплуататоров и духовного величия латышского рабочего класса».¹⁹

Но этот тип реализма не исключает в нашей литературе другого, представленного такими произведениями, как «Мать» Горького, «Украина в огне» А. Довженко, «Знаменосцы» О. Гончара, как не исключают они и реализма, нашедшего свое выражение, скажем, в поздней драматургии В. Маяковского.

Впрочем, это уже новая самостоятельная проблема, еще большей трудности, чем та, которой посвящена настоящая статья.

¹⁹ «Литературная Россия», 3 марта 1967 г., стр. 3.

«ТИХИЙ ДОН» И ЭПОПЕЯ XX ВЕКА

В «Тихом Доне» затрагиваются события и решаются проблемы, являвшиеся предметом мучительных раздумий и напряженных нравственных исканий многих больших художников XX в. Уловить направление общественного развития, разобраться в противоречиях эпохи и найти их решение в интересах разума, гуманизма и культуры стремились и Голсуорси, и Ромен Роллан, и Томас Манн, и Горький. Каждый пытался обнять современную эпоху в ее необозримом пространстве и текучей многоликости. Складывался жанр эпопей, в которой духовный мир человека, семейные отношения, социальная биография выступают в связях, взаимодействии с процессами большой истории, которая или присутствует как фон, или выступает в роли непосредственных обстоятельств деятельности людей, формирования характеров.

События мировой истории XX в., социальные потрясения и катастрофы — будь то мировая война или забастовка лондонских докеров, героическая борьба вольнолюбивых буров или баррикады Парижа, революционный переворот в России или умирающие безработные на улицах Нью-Йорка, пламя восстаний в колониях и крушение гуманистических иллюзий в сознании определенных кругов интеллигенции, вызванное кричащими противоречиями буржуазного мира, — властно напоминали о себе, не давали покоя, будили мысль, терзали совесть, понуждая к действию, заставляя выражать к себе отношение всех и каждого: и респектабельных Форсайтов («Сага о Форсайтах» Голсуорси), и мятежного Жана Кристофа, и Оливье с его обостренной реакцией на социальную несправедливость и жестокость («Жан Кристоф» Ромен Роллана), и трагически одинокого Левверкюна, пытавшегося избыть и преодолеть несовершенство мира в сверхчеловеческом акте творчества («Доктор Фаустус» Томаса Манна), и мужественного Роберта Джордана, который нашел дело, достойное человека настоящего, в борьбе за свободу Испании («По ком звонит колокол» Хемингуэя), и Клима Самгина с его скептицизмом и мещанским эгоцентризмом («Жизнь Клима Самгина» М. Горького).

Примечательно то, что в европейском романе-эпопее сюжетобразующим стержнем выступает или история буржуазной семьи в нескольких поколениях, или сложный путь интеллигента — музыканта, писателя, журналиста и т. д.

Как справедливо замечает А. Чичерин, «истинной темой „Саги о Форсайтах“ ... является история буржуазной Англии в период все более обостряющегося кризиса, главной проблемой — будущее английского народа».¹ Семья же Форсайтов и те, кто с ними непосредственно связан, выступают тем кристаллом, который преломляет широкий поток исторической жизни.

Проблемы исторического бытия, социальной жизни и духовных исканий эпохи ставятся и художественно решаются как проблемы социальных судеб, духовной жизни и нравственной эволюции буржуазной семьи, баронетов в третьем поколении, респектабельных дельцов, интеллигентов, изошривших ум и чувства чтением книг и созерцанием произведений живописи, деклассированных аристократов.

У истоков замысла «Жана Кристофа» стояли и «первый несравненный образец новой эпопеи» (так оценивал Ромен Роллан «Войну и мир» Л. Толстого), и автор повести «Мать».

Героем своего произведения писатель избирает человека сильного, талантливого и решительного. Выходец из низов, он ценой лишений и титанического труда достиг вершин культуры. Его путь — это путь познания и страданий, взлетов и падений, обретенной веры и горьких разочарований. Но на этом трудном пути он не сдается, не капитулирует перед грубой силой самодовольного, пошлого буржуазного общества.

Роллан рисует широкую картину буржуазной Европы, смело ставит коренные проблемы времени, вторгается в область политики и быта, социологии и искусства, экономики и морали — и все это воплощает как содержание духовной жизни героя, как факты его идейных исканий, как пафос его творческих порывов. Однако есть одна сфера, где наиболее полно проявляется натура Жана Кристофа, — это музыка. Именно в творчестве его бунт против пошлости буржуазного мира, его мятежные порывы к свободе, его страдания и вера гуманиста получают наиболее мощное выражение. Все, что кипит в его сердце, выливается в музыку как отклик на впечатления жизни, как предельное самовыражение и самоутверждение героя.

«Жан Кристоф» — это роман-эпопея, в котором европейская история XX в. дается как духовная биография людей, живущих в сфере культуры, искусства. Писатель широко освещает проблемы искусства, философии творчества как высшей формы человеческого бытия.

¹ А. В. Чичерин. Возникновение романа-эпопеи. Изд. «Советский писатель», М., 1958, стр. 322.

И Кристоф, и Оливье — натуры сложные. Их нравственная биография богата и противоречива, озарена светом высокой, чистой любви и омрачена моральными падениями. Роллан детально исследует диалектику их чувств, вечные нравственные ценности получают воплощение и проверку в их душевном опыте. Следовательно, у Роллана и злободневные вопросы современности, и вечные проблемы добра и зла, прекрасного и безобразного ставятся и решаются как проблемы социальной судьбы и внутренней жизни людей «горы», в известной мере отчужденных от народных истоков. Таково своеобразие эпопеи «Жан Кристоф» — и это во многом роднит ее с романами Томаса Манна — «Волшебной горой», «Доктором Фаустусом». Повседневную жизнь, наполненную трудом, борьбой и лишениями, ум и душу простого человека-труженика, обитателя низменности социальной, а не «волшебной горы», — писатели как бы робеют избрать в качестве материала, художественный анализ которого дал бы ответы на важнейшие вопросы века, помог бы уловить ход истории, осмыслить ее победы и заблуждения, постичь духовную жизнь времени.

Томас Манн — признанный мастер так называемого «интеллектуального романа». Реальный мир с его нуждами и борьбой, с его осязаемой вещественностью и духовной надстройкой преломляется в зеркале умственных занятий, творческой деятельности людей, личность которых осуществляется в сфере научного, художественного творчества. Это — Ганс Касторп, Адриан Леверкюн, Цейтблом. Нередко реальная действительность в ее социально-исторической и бытовой конкретности как бы исчезает, ибо мир воссоздается в научных и эстетических категориях, в отвлеченных понятиях. Диалектика жизненного процесса отражается в движении идей, захвативших героя, в эволюции его духовных исканий, в порывах деятельного духа, в работе анализирующей мысли.

Томас Манн убежден, что духовная культура, как зеркало, отражает все процессы и закономерности общественной жизни, человеческой деятельности. Поэтому замысел эпопеи, воссоздающий целостную картину эпохи, он связывает с образом человека, живущего в мире научного или художественного творчества. Нельзя не согласиться с критическим соображением В. Днепров, заметившего: «Роман, поставивший вопросы, громадно важные для всех людей, в какой-то мере ориентируется на узкий слой культурной элиты. Это противоречие мешало полному выявлению творческой силы и свободы писателя».²

Ориентируясь в «какой-то мере» на «узкий слой элиты», Томас Манн эту культурную элиту делает основной темой своего творчества. О закономерностях эпохи с ее трагическими проблемами пи-

² В. Днепров. Доктор Фауст XX века. «Вопросы литературы», 1962, № 3, стр. 106.

сатель судит по их отражению в зеркале ее интеллектуальной, духовной, эмоциональной жизни.

Еще во время работы над «Жизнью Клима Самгина» М. Горький и в письмах, и в «Заметке» для зарубежной печати высказывался о жанре своего произведения: «Роман должен иметь характер хроники, которая отметит все наиболее крупные события этих лет» (от 80-х годов до 1918-го). «Кажется, это будет нечто подобное хронике, а не роман»; «пишу нечто „прощальное“, некий роман-хронику сорока лет русской жизни»; «в „Самгине“ я хотел бы рассказать — по возможности — обо всем, что пережито в нашей стране за 40 лет».³

Однако А. В. Луначарский, всегда тонко чувствовавший и остро улавливавший художественное, жанрово-структурное своеобразие любого произведения, писал, что «Жизнь Клима Самгина» написана «... в форме событий, группирующихся вокруг определенного индивидуального центра, вокруг героя. Этот характер своего произведения Горький выдерживает очень последовательно: в нем совсем нет ничего, чему не был бы Самгин прямым или косвенным свидетелем».⁴

В рассуждении Луначарского важно выделить два положения. Первое — «Жизнь Клима Самгина» — это роман, где все события группируются вокруг «определенного, индивидуального центра, вокруг героя»; второе — Клим Самгин выступает в роли прямого или косвенного свидетеля всего, что происходит в романе, именно — свидетеля, ибо «пустая душа», как его характеризовал сам Горький, едва ли могла быть тем зеркалом, которое способно относительно правдиво отражать ход истории.

Хотя формально Климу Самгину в композиции романа принадлежит та же роль, что и Жану Кристофу в романе Роллана, Горький не мог бы сказать о своем персонаже так, как сказал о своем французский писатель: чтобы произнести слова сурового осуждения развращенной верхушки буржуазного общества, «мне для этого нужен был герой с чистым сердцем и чистым взглядом, безупречный, чтобы он имел право заговорить голосом достаточно громким и чтобы его было слышно. Я терпеливо создавал этого героя».⁵

Горький иначе относился к герою своей эпопеи, иные творческие намерения связывал с ним. В письме к М. Ф. Андреевой он заметил: «Ты мне писала и говорила, что „Самгин“ написан холодно. Это — все говорят. Но я думаю, что „прохладное“ отношение к герою объясняется тем, что он автору не симпатичен».⁶

³ Горьковские чтения. 1949—1950. Изд. АН СССР, М., 1951, стр. 27, 29, 30, 31.

⁴ А. В. Луначарский. Статьи о литературе. Гослитиздат, М., 1957, стр. 334.

⁵ Цит. по кн.: А. В. Чичерин. Возникновение романа-эпопеи, стр. 304.

⁶ Летопись жизни и творчества А. М. Горького, т. 3. Изд. АН СССР, М., 1959, стр. 704.

Почему же человек, к которому так отрицательно относится автор, свидетельские показания которого не могут быть приняты, все же становится центром, к которому стягиваются основные линии повествования? Чтобы уяснить суть этого вопроса, надо не забывать, что главная тема романа-эпопеи — социальная деградация, духовное обнищание, нравственная растленность и культурное бесплодие буржуазии и ее «идеологов и мыслителей» (К. Маркс) — буржуазной интеллигенции в эпоху империализма. Сын своей среды, вкусивший от плодов просвещения и цивилизации, Клим Самгин в качестве человека возвращается во всех сферах буржуазной общественности, присутствует при всех событиях жизни эпохи, что создает великолепные возможности разоблачения изнутри.

Но узкоплечая фигура Самгина не заслоняет течения жизни, в осколках его раздробленной души, в тенетах его вялой, бескрылой мысли не гаснут звуки и не блекнут краски объективного мира. Поток большой истории, жизнь в ее борениях и порывах устремлены вперед, и каждое ее явление, на котором останавливался скептический взгляд Клима Самгина и которого касалась его ленивая мысль, отражается не только как образ его восприятия, но и в своей объективной сущности — осязаемо и полнокровно. Поэтому так многопланно повествование, эпически масштабен диапазон изображения исторической жизни страны. «Он жил среди людей, как между зеркал, каждый человек отражал в себе его, Самгина, и в то же время хорошо показывал ему свои недостатки».⁷ Но то были лица, близкие ему по своей социальной и духовной природе, люди его круга. Такие же, как Кутузов и Спивак, или участники баррикадных боев на Пресне, богатырь-кузнец, поднимающий колокол, или рабочий, бичующий своих товарищей, подавшихся зубатовской пропаганде, иначе связаны с главным героем, сюжетно независимы от него. В этом и состоит коренное отличие эпопеи Горького от романов Голсуорси, Роллана и Томаса Манна. Его критика буржуазного мира, всех его институтов и ценностей оказалась более глубокой, последовательной и непримиримой, потому что исходила из социалистического идеала, осуществлялась с позиций марксистского понимания социально-исторического процесса.

Когда появилась в печати первая книга «Жизни Клима Самгина», Шолохов тоже уже завершал работу над первой книгой романа, вносил уточнения в свой замысел, ибо переход от «Дончины» к «Тихому Дону» сопровождался не механическим расширением пространственно-временных рамок повествования, а коренным пересмотром идейно-художественной концепции. Работа над «Жизнью Клима Самгина» и «Тихим Доном» шла параллельно.

⁷ А. М. Горький, Собрание сочинений в 30 томах, т. 20, Гослитиздат, М., 1952, стр. 108.

Смерть помешала Горькому завершить его эпопею, действие которой обрывалось в канун Октября... Шолохов как бы подхватывает эстафету и вписывает в художественную летопись России страницы о судьбах народа на великом историческом рубеже.

В эпохи переломные ускоряется темп национальной жизни, до предела обнажаются подспудно действовавшие закономерности, небывалую интенсивность приобретают процессы выработки ценностей, которые оформляются в определенном строе общественного бытия, воплощаются в типе национального характера.

Недаром писатели и художники, композиторы и социологи замыслы произведений о важных проблемах национальной истории, народной судьбы связывали чаще всего с эпохами, когда сила народной проявляется мощно и широко то в борьбе за свободу и независимость отчизны, то в революционном движении, то в созидательной работе, освященной высокой общественной целью, идеей исторической необходимости. Интерес к событиям, являющимся вехами национальной истории, стал своеобразной традицией в русской литературе. Пушкин и Лермонтов, Некрасов и Л. Толстой, Горький и А. Толстой вынашивали замыслы, создавали произведения, воспроизводящие движущуюся панораму национальной и социальной истории народа в наиболее ярких, мощных ее проявлениях. Полтавская битва и реформы Петра I, Пугачевское восстание и Отечественная война 1812 г., подвиг декабристов и революционное движение шестидесятников, баррикады 1905 г. и Октябрьская революционная эпопея — все это составило реальную историческую основу лучших памятников русской литературы.

«Чтобы понять тайну русского народа, его величие, — писал А. Н. Толстой, — нужно хорошо и глубоко узнать его прошлое: нашу историю, коренные узлы ее, трагические и творческие эпохи, в которых завязывался русский характер».⁸

Шолохов как художника тоже привлекают судьбы народа в переломные моменты его истории. «Я интересуюсь людьми, захваченными этими социальными и национальными катаклизмами, — говорил Шолохов в беседе с французскими писателями в апреле 1959 г. — Мне кажется, что в эти моменты их характеры кристаллизуются».⁹

Не было в жизни страны такого значительного события, которое не нашло бы отклика в «Тихом Доне». Писатель стремился «состояние мира» отразить с возможно предельной полнотой. Постепенно, убыстряясь по мере нарастания темпов исторического движения, развертывается панорама эпохи. Первые предвестники надвигающейся войны и глухие отзвуки революционной бури, про-

⁸ А. Н. Толстой, Полное собрание сочинений, т. 1, Гослитиздат, М., 1951, стр. 88.

⁹ «Вопросы литературы», 1960, № 4, стр. 76—77.

шумевшей в 1905 г., нет-нет да и напомним о себе. Империалистическая война, с ее кровью и жестокостью, окопной тоской и начавшимся пробуждением миллионов, дается широко и детально. Солдатский окоп и ставка Верховного Главнокомандующего, офицерская землянка и движущийся к фронту эшелон — ничто не выпадает из поля зрения писателя. Падение самодержавия, корниловский мятеж, расстрел рабочей демонстрации 3-го июля в Петрограде, ликование буржуазной толпы при встрече Корнилова в Москве и революционная самостоятельность масс, устанавливающих Советскую власть на местах, события верхнедонского контрреволюционного мятежа и разгром белогвардейцев и интервентов — все это непосредственно вошло в сюжет романа, очертило картину времени, нарисованную в нем. Историческая основа «Тихого Дона» широка. Многие проблемы, характеризующие состояние мира, потрясенного революцией, затрагиваются косвенно, отражаются то в разговорах и размышлениях действующих лиц, то в авторских лирических отступлениях. Глубокие раздумья о быстротечности жизни и мудром законе непрерывности бытия, проникновенные мысли об очаровании человечности и о людской жестокости, о суровом счастье, обретенном в борьбе за правду, и о трагедии заблуждения создают ощущение интеллектуальной насыщенности, эмоциональной полнокровности эпопеи. Вырисовывается целостный и масштабный образ времени с его косностью и революционной романтикой, жестокостью и надеждой, радостями и горем — образ эпохи величайших социальных перемен, революционного обновления. И все это в романе, герои которого не принадлежат к так называемой интеллектуальной элите, как, например, у Томаса Манна или Романа Роллана, а живут той жизнью, которая является уделом миллионов и миллионов людей. Кто же они? Казаки, труженики, земледельцы и воины. Обитают они в хуторе Татарском, расположенном на высоком берегу Дона. Немалое расстояние отделяет этот хутор от ближайшего города, не сразу долетают вести большой жизни до куреней. Но именно хутор с его укладом и традициями, нравами и обычаями, впитавшими опыт и предрассудки веков, именно мятущаяся душа, «простой и бесхитростный ум» Григория Мелехова, пламенное сердце Аксиньи, нетерпеливая и несколько угловатая натура Мишки Кошевого, добрая душа казака Христини явились для художника тем зеркалом, в котором отразились события большой истории, проблемы века и молекулярные процессы в быту, сознании и психологии людей, порожденные этими событиями.

«Простой класс народа», в частности донское казачество в «Тихом Доне», является не «в единении от общих интересов», а связан с решающими событиями эпохи, выступает как деятельная сила истории, путь, противоречия и заблуждения которой отражают реальный путь, противоречия и трудности социалистической революции в России.

Судьбы героев эпопеи разворачиваются на широком социально-бытовом и историческом фоне. Повседневная жизнь, наполненная хозяйственными заботами, и события исторические выступают как конкретные обстоятельства, в которых живут герои «Тихого Дона».

«Ветер истории» не сразу врывается в «Тихий Дон». Шолохов не торопит события, развитие сюжета романа подчинено тем же темпам, что и движение жизни, композиционный строй не нарушает естественной логики исторического процесса. . .

Хутор Татарский жил замкнутой жизнью. Но эта изолированность была относительной. В укладе, в социальной структуре хутора, в душевном складе людей таились те же силы, действовали те же закономерности, которые были характерны для русской жизни. Появление в Татарском большевика Штокмана не прошло бесследно. Дом косо́й Лукешки, где он поселился, стал местом, куда потянулись рабочий Валет, казаки Котляров, Кошевой и др. Оказалось, что и в хуторе Татарском есть почва, куда можно бросать семена революционной правды: они не заглохнут, дадут всходы.

Уже в начале «Тихого Дона» Шолохов дает почувствовать, что в недрах народной жизни, в глубине души человека-труженика назревала потребность обновления, таились силы противодействия жестоким обычаям, косным установлениям. Недаром не пожелал Гришка Мелехов мириться с деспотической волей отца, а его возлюбленная Аксинья «гордо и высоко несла свою счастливую, но срамную голову»,¹⁰ открыто и смело бросая вызов освященным стариной нормам патриархальной морали.

Выясняя особенности жанра романа-эпопеи, А. В. Чичерин пишет: «Автор романа-эпопеи — не просто романист. Он в то же время — историк, философ, „доктор социальных наук“. И все-таки он прежде всего и больше всего романист, то есть человекоед и словотворец».¹¹

Нельзя не поддержать пафоса данного теоретического рассуждения и тех акцентов, которые в нем расставлены. Действительно, истинная эпопея требует, чтобы знания и возможности историка, философа, «доктора социальных наук» были лишь предпосылкой и условием решения задач, вытекающих из сущности искусства как человековедения, не должны приобретать самодовлеющего характера. Однако теоретическая мысль в работе А. В. Чичерина «Возникновение романа-эпопеи» не всегда согласуется с конкретным анализом материала и пафосом некоторых оценок. Иначе «Тихому Дону» было бы отведено значительно больше места, как произведению, в котором требования, предъявленные исследователем к истинной эпопее, нашли наиболее полное воплощение. Эта нечеткость и даже некоторая двойственность

¹⁰ М. А. Шолохов, *Собрание сочинений*, т. 2, Гослитиздат, М., 1965, стр. 53.

¹¹ А. В. Чичерин. *Возникновение романа-эпопеи*, стр. 361.

позиции исследователя помешали ему для сопоставления с «Коммунистами» Луи Арагона избрать не «Войну и мир», а «Тихий Дон». Преимущество Толстого перед Арагоном исследователь видит прежде всего в том, что великий русский писатель изображал эпоху 1812 г. с известной исторической дистанции, тогда как «положение Арагона в этом отношении было более сложным. Ведь он говорит о недавних событиях и о людях, которые в большинстве случаев еще живы».¹²

Но ведь Шолохов тоже в «Тихом Доне» говорит о «недавних событиях и о людях, которые в большинстве случаев еще живы», но никто не смог бы о нем сказать то, что сказал А. В. Чичерин о «Коммунистах»: Луи Арагон «сплошь да рядом прибегает к оголенной фактичности»; «в романе местами недостает глубоких органических связей, обязательных для романа-эпопеи»; «у Арагона события в жизни его героев не достигают зрелости и полноты, воспринимаются как переходные и быстротекущие»; в «Коммунистах» «в некоторых отношениях не тот язык, который соответствовал бы грандиозности масштабов повествования»; «Эти короткие, обрубленные фразы скрывают глубокие события душевной жизни» и т. д. Таковы наблюдения исследователя, который, однако, опираясь на них, делает неожиданный вывод: «Во многих отношениях Луи Арагон пошел дальше авторов „Войны и мира“ и „Жан Кристофа“».¹³

Между тем сопоставление «Коммунистов» с «Войной и миром» в полной мере подтвердило исходный тезис исследователя о том, что «автор романа-эпопеи» должен быть прежде всего и больше всего романистом, т. е. человековедом и словотворцем. По-видимому, Луи Арагон справился со своей задачей как историк, философ, «доктор социальных наук», но не вполне — как «человековед и словотворец».

Шолохов, обдумывая эпическое повествование о судьбах народа в эпоху величайших военных и революционных потрясений, социальных сдвигов, классовых битв, когда миллионы людей были втянуты в могучий водоворот истории, помнил, что «масштабы романа-эпопеи — это, по справедливому замечанию того же исследователя, — прежде всего, не внешние, а *внутренние* масштабы, масштабы понимания человека и создания типического, индивидуального образа».¹⁴

Уже в первых главах Шолохов приступает к решению проблемы, обусловленной его «человековедческими замыслами»: он заставляя каждого из лиц, кому предстоит пройти через эпопею, приоткрыть свою душу, обнажить свою человеческую сущность. Шолохов как бы дает первоначальное представление о том «чело-

¹² Там же, стр. 367.

¹³ Там же, стр. 367, 368, 369, 370.

¹⁴ Там же, стр. 370.

веческом материале», с которым будет иметь дело история. Он показывает не только то, что разъединяет людей в Татарском, но и то, что сближает их — представителей казацкого сословия, выросших в окружении степной природы, влюбленных в родной Дон, изливающих свои чувства в одних и тех же песнях, отправляющих одинаковые обряды... То обстоятельство, что Мирон Коршунов и Пантелей Мелехов — люди разных социальных положений, резко проявится позднее, когда Дон станет ареной гражданской войны. Теперь же писатель прежде всего очерчивает своеобразие их характеров, различие натур.

Шолохов исследует прежде всего «человеческую природу» каждого, социальная детерминированность их характеров еще едва-едва проступает. Ведь они вместе рыбачили на Дону, до горького пота трудились на степном сенокосе... Пройдут годы, и Михаил Кошевой, не в силах побороть закипевшей ненависти к Григорию, поделившемуся сомнениями в справедливости Советской власти, горестно и растерянно произнесет: «...ить мы с ним — корешки, в школе вместе учились, по девкам бегали, он мне — как брат... , а вот начал городить, и до того я озлеел».¹⁵

Шолохов широко развертывает панораму времени, показывает могучий исторический поток, чтобы обрести возможность познания самых затаенных движений человеческого сердца, уяснить истинный смысл «малых событий», происходивших в мелеховском курене, открыть те стимулы, которые в конечном счете будут определять судьбы действующих лиц романа, направлять движение сюжета как «истории роста и организации того или иного характера, типа».¹⁶

Рамки сложившегося в 20-е годы жанра романа оказывались тесными. Замысел Шолохова требовал иных форм. Нужна была емкая и свободная композиция, которая предоставляла бы возможность широту взгляда историка, пронизательность философа, знания «доктора социальных наук» реализовать художественно, т. е. создать произведение, в котором эпическая полнота картин общественной жизни, глубина социологического анализа противоречий эпохи служила бы познанию и лепке характеров в их социальной, бытовой обусловленности, психологической сложности, жизненной достоверности, а типические характеры выступали бы как надежное средство познания закономерностей общественного развития, смысла и логики исторического процесса. Следовательно, интересы бытописателя и психолога не ущемлялись, а получали возможность полнокровного осуществления, по мере того как расширялся масштаб эпического повествования, и наоборот, сопряженность исторического и психологического определяла

¹⁵ М. А. Шолохов, т. 4, стр. 160.

¹⁶ М. Горький. О литературе. Изд. «Советский писатель», М., 1955, стр. 674.

художественную целесообразность композиционных рамок произведения. Иначе эпичность неизбежно обернулась бы хроникальностью. Следовательно, детальное изображение быта, воспроизведение неповторимо своеобразных обычаев казаков, погруженность в стихию повседневности и неотступное внимание к индивидуальным особенностям лиц не противоречили требованиям эпического жанра, не отвлекали от решения проблем, предусмотренных замыслом романа-эпопеи о пути народа и судьбе человека в эпоху революционного преобразования мира.

Шолохов, опираясь на художественные завоевания советской литературы 20-х годов, воспринимал опыт одних, полемизировал с другими.

Литература социалистического реализма смело ставила перед собой задачи, художественное осуществление которых было возможно в жанре романа-эпопеи. Об этом свидетельствуют творческие замыслы тех лет Фадеева, А. Веселого, Малышкина и др.

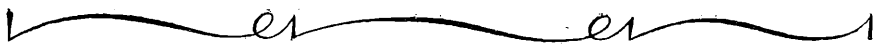
К сожалению, никому из названных писателей было не суждено свои намерения выполнить полностью, довести работу до конца. А. Малышкин успел написать лишь первую книгу задуманной эпопеи — «Люди из захолюстья»; Артем Веселый оставил по существу лишь фрагменты неоконченной эпопеи «Россия, кровью умытая»; у Фадеева работа над «Последним из удэге» растянулась на десятилетия, так и не получив завершения.

М. А. Шолохов осуществил свой замысел полностью, создал произведение, в котором творческий опыт молодой революционной литературы и художественные традиции русской и мировой классики, и прежде всего Л. Толстого, объединились, слились и выступили как предпосылка и условие творческих открытий, масштаб и глубина которых дают основание говорить о «Тихом Доне» как о новом и весомом слове в мировой литературе XX в., как о произведении, обозначившем веху в художественном развитии человечества. Вполне естественно поэтому, что не только советская, но и зарубежная критика не могла не увидеть в «Тихом Доне» выдающееся явление художественной жизни XX в. Датский критик и романист Кристиансен писал о «Тихом Доне»: «Роман о пламенной любви! Политический роман! Роман, изображающий родной край с перспективой в далекое будущее, он разрешает труднейшие литературные проблемы современности, спокойно, с присущим русскому человеку чувством веры в хорошее будущее и со сверкающей юношеской и все побеждающей гениальностью».¹⁷

¹⁷ Цит. по кн.: Михаил Шолохов. Сб. статей. Изд. ЛГУ, 1956, стр. 244.

МАТЕРИАЛЫ
И
СООБЩЕНИЯ





В. В. Виноградов

ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ
ОБ ЭТИМОЛОГИИ, СЕМАСИОЛОГИИ
И ЛЕКСИКОЛОГИИ (ПРИМЕНИТЕЛЬНО К РУССКОМУ
ЯЗЫКОЗНАНИЮ)

1

Многим казалось, что в начале XX в. «возмужавшая этимологическая наука уже сравнительно твердыми шагами ступала в неизмеримой тайге лексического материала».¹ В настоящее время это суждение должно быть признано слишком оптимистическим и преувеличенным. В самом деле, понимание объема и задач этимологии в лингвистической науке сильно изменилось на протяжении XIX и XX вв. Подвергалось существенным семантическим преобразованиям и само понятие «этимология».

По мнению Константина Аксакова, к этимологии относится «вся лексическая сторона языка». «Этимология включает в себе собственно четыре главные отдела: словообразование..., словопроизводство, словоопределение и словоупотребление».²

В другой своей, и притом более ранней, работе тот же К. Аксаков писал: «Нашедши законы развития языка, отыскав основные его корни, этимология преследует эти корни по всем их изменениям, по всем возможным образовательным формам, какие только они принимают; она переберет все слова, и таким образом определит необходимо точно значение каждого слова в языке, и каждому назначит ему принадлежащее место; синонимы войдут сюда же...»

¹ Г. А. Ильинский. К вопросу о чередовании гласных ряда о, е в начале слов в славянских языках. «Slavia», 1923, Ročn. II, Seš. 2—3, стр. 245—250.

² К. С. Аксаков. Опыт русской грамматики. Полное собрание сочинений, т. III, М., 1880, стр. 18—19.

Этимология даст вместе самый верный и полный академический словарь. Ею объяснятся архитектура, дух, жизнь, народность языка и народа вместе... Вот с какой стороны исследует она законы разума в слове».³ Тут пределы этимологии очень расширяются и содержание ее обогащается.

Позднее А. С. Хомяков, тесно связывая этимологию с теорией и историей мышления, а также с философией лексикона, развивал такие мнения: «Лексикон, т. е. строгое определение, языка философского, составляет одну из первых и основных потребностей всякой философской системы, и все системы должны по необходимости различаться друг от друга своими лексиконами: ибо общий жизненный или бытовой язык слишком текуч и неопределен для систематического употребления, и слова, из него взятые, требуют всегда нового и строжайшего определения, изменяющегося согласно с тем порядком, в котором развиваются понятия в последовательном их построении у различных мыслителей. Необходимость и различия этих частных лексиконов показывают в одно время на всю пользу и на всю трудность общего лексикона для языка философского, такого лексикона, в котором введены бы были определения отдельных философских выражений, указаны бы были их места в разных системах, и оценена бы была верность и строгость самых определений. Бесспорно, такое предприятие, труд целой жизни, посвященной мышлению, может составить эпоху в словесности и славу ее».⁴ Такие философские лексиконы, стремившиеся связать историю языка и мышления (хотя бы в отношении эпохи средневековья), составлялись, а частично и продолжают составляться, но этимологическую науку они обогащают сравнительно мало.

Общеизвестно, что язык часто носит в своих выражениях и формах печать далекого прошлого, следы архаических воззрений на мир. Перемена понимания вещей, сделавшаяся общим достоянием человечества или значительной его части, не сразу находит себе отражение в языке. Мы мыслим, как Коперник, но продолжаем говорить языком Птолемея (солнце *поднялось, зашло* и т. д.). Высоты и системы научных знаний тем или иным общим научным языком не вполне воспроизводятся, но вместе с тем этот язык влияет на научную мысль. По словам Фр. Маутнера, величайшие представители науки и философии «фантастически вносили в природу формы языка», принимая их за отражение форм бытия или категорий действительности. Рабское отношение к слову и его категориям — обычное явление в человеческом мышлении, между прочим, и научном. «Мы верим, что видим в мире действи-

³ К. С. Аксаков. О грамматике вообще (по поводу грамматики Г. Белинского). Полное собрание сочинений, т. II, стр. 18.

⁴ А. С. Хомяков. О современных явлениях в области философии. Полное собрание сочинений, т. I, М., 1878, стр. 315.

тельности то, чем мы обладаем в наших прилагательных и их степенях, в наших глаголах и их формах времени, в наших существительных и в их числовых формах».⁵

«Вся ценность языка заключается в мысли. Язык стоит столько, чего стоит мысль (а отчасти чувство, — В. В.). Но большинство людей слышит, запоминает и произносит слово гораздо ранее, чем ими понята соответствующая ему идея, или понимая ее должным образом. Если бы нельзя было запоминать и повторять слова, не понимая их, если бы невозможно было говорить, не мысля, большинство людей остались бы немыми или молчаливыми».⁶ Очевидно, что уровень языковой семантики не соответствует в полной мере уровню научного мышления и не совпадает с ним.

Бэкон заметил: «Люди воображают, что разум управляет их словами; но часто бывает, что слова управляют их разумом».⁷

Г. Лейбниц в «Новых опытах о человеческом разуме» писал: «Часто случается, что люди относят свои мысли больше к словам, чем к вещам, а так как большинству этих слов мы научились до того, как узнали обозначаемые ими идеи, то не только дети, но и взрослые часто говорят, как попугаи. Однако люди обыкновенно думают, что они обозначают свои собственные мысли, и, кроме того, они приписывают словам тайное отношение к словам других людей и даже к самим вещам». И далее:

«Слова так часто становятся между нашим разумом и истинной вещью, что их можно сравнить со средой, через которую проходят лучи видимых предметов и которая окутывает туманом наши глаза; и я склонен думать, что если бы были тщательнее изучены несовершенства языка, то большая часть споров прекратилась бы сама собой, а путь к знанию и, может быть, к миру стал бы гораздо более открытым для людей, чем в настоящее время».⁸

Итак, язык является истинным хранителем и творцом фикций. По отношению к прошлому разобраться в этой путанице особенно трудно. Вместо того чтобы иметь дело с вещами, даже мыслители и ученые часто спекулируют словами и понятиями.⁹

Акад. А. М. Деборин в статье «Новое учение о языке и диалектический материализм» заметил с вульгарно-социологической прямолинейностью: «Слова, и в особенности слова, выражающие

⁵ Fr. Mauthner. Beiträge zu einer Kritik der Sprache, B. III, 1902, S. 5, 7, 12.

⁶ Le Langage et la verbomanie. Essai de psychologie morbide par Ossip Loulié, Professeur a l'Université de Bruxelles. 1912, p. 41.

⁷ Novum organon, aph. 59.

⁸ Г. В. Лейбниц. Новые опыты о человеческом разуме. М., 1936, стр. 249—250, 298.

⁹ См.: Д. Н. Кудрявский. Введение в языкознание. Юрьев, 1912, стр. 9—11.

отвлеченные понятия, таят в себе большие опасности в смысле возможности пустой спекуляции. Схоластическое мышление является в этом отношении предостерегающим примером, хотя, с другой стороны, нужно понять, что оно являлось надстройкой над феодальным общественным строем. Оно являлось *феодальным мышлением*. При переходе к капитализму, когда нарождалась новая наука и философия, новая буржуазная форма мышления вела борьбу в течение продолжительного времени с феодальным мышлением и с его терминологией, и с его логикой, и с его языком. Такая же борьба происходит в наше время, и в особенности в нашей стране, в условиях социалистического строительства, с наследованными от буржуазии формами мышления. Ведь над нами тяготеют старые понятия, откристаллизовавшиеся и застывшие в языке, прочно с ним сросшись. Язык, а вместе с ним и старое мышление давят на нашу мысль и отчасти господствуют над нами».¹⁰ Эти суждения, в сущности, очень общи и несколько наивны, но и они предостерегают от доверия к этимологическим домыслам, фантазиям и каламбурам. Правда, они не учитывают всей сложности и противоречивости отношений и взаимодействий между мышлением, языком и реальной действительностью в их историческом и сравнительно-типологическом развитии. Но ведь даже историзм, как общий метод познания действительности, свойственный филологическим и историческим наукам, даже строгая схема сравнительно-исторических сопоставлений систем родственных языков, даже расширяющая их кругозор методология типологического исследования не могут подвести к пониманию слова как конкретного историко-семантического элемента языка в той или иной стадии и полосе его развития. Еще не достает точной науки о закономерностях развития мышления и познания действительности — в их соотношении с исторической семантикой языков.

2

Задачи этимологии в историческом и сравнительно-историческом планах исследования все более расширяются с конца XIX—начала XX в. Этимологии ставится в обязанность установить «послужной список» слов, «выясняя, откуда каждое из них пришло в данный язык, как оно образовалось и через какие изменения прошло».¹¹ В таком понимании этимология становится фундаментом сравнительно-исторической семантики и сравнительно-исторической лексикологии. Но возможен ведь и типологический аспект этимологических разысканий, охватывающих длинные ряды (или «поля») слов совершенно разных языков.

¹⁰ А. М. Деборин. Новое учение о языке и диалектический материализм. В сб.: Академия наук СССР академику Н. Я. Марру, 1935, стр. 62.

¹¹ Ж. Вандриес. Язык. Соцэґгиз, М., 1937, стр. 167—168.

«Наши слова чаще всего, — писал Фр. Клюге, — возникают как народные песни. Мы не знаем, откуда они происходят. Они живут долгой жизнью, прежде чем попадают в литературный язык и подвергаются анализу. Только для незначительного количества слов мы можем указать источник и время их происхождения. Большая часть наших слов не имеет истории».¹² Она не имеет также этимологии, хотя этимологии уделяется больше внимания, чем истории слов.

Задачи этимологии понимаются разными учеными по-разному. А. Г. Преображенский в предисловии к своему «Этимологическому словарю русского языка» писал: «Этимология состоит в уяснении основного признака, означаемого словом, или, иначе, — в определении истинного смысла слова. В большинстве коренных слов этот признак далеко не очевиден: например, мы не знаем, что именно означает такими обыкновенными словами, как „бог“, „человек“, „муж“, „жена“ и т. п. Выясняется это только всесторонним исследованием происхождения и истории слова».¹³ Здесь история слова приносится в жертву этимологии, которая к тому же понимается крайне односторонне. Всю историю слов нередко даже смешивают или сливают с этимологией, т. е. с учением о происхождении и образовании слов. Чаще всего «в самых серьезных и обоснованных этимологических этюдах разрабатывали тщательно только фонетический и морфологический состав слова, его отношения к словам родственных языков по этим признакам, а историей значений, историей употребления слова не занимались вовсе или занимались крайне небрежно»,¹⁴ — писал проф. Б. А. Ларин более четверти века назад.

Правда, кое-что в этимологической науке изменилось. Например, нам теперь кажется почти карикатурным приравнение семасиологических явлений к фонетическим в период младограмматического увлечения звуковыми законами. Так, М. Р. Фасмер в «Греко-славянских этюдах» (вып. III, СПб., 1909) предлагал различать в области семасиологии спонтанеические (вызванные экономическими, этнографическими и тому подобными «вне-языковыми» причинами), комбинаторные (или контаминационные, т. е. происходящие вследствие народной этимологии и вообще сближения, контаминации разных этимологических, особенно омонимических, словесных групп) и Sandhi-ческие (т. е. обусловленные

¹² Fr. Kluge. Deutsche Studentensprache. Strassburg, S. 1.

¹³ А. Г. Преображенский. Этимологический словарь русского языка, т. I. М., 1959, Предисловие, стр. II. Ср. также: Valentin Kirpatsky. Etymologie gestern und heute. Kratylos, 1966, Jahrgang XI, Heft 1/2.

¹⁴ Очерки по истории слов в русском языке. Вводная заметка. «Русский язык в школе», 1940, № 4, стр. 19; ср.: А. А. Врүсскнер. Über Etymologische Anarchie. Indogerm. Forschung, XIII, стр. 206 и сл.; M. Vasmer. Kritischen und Antskritisches zur neueren Etymologie. Ročn. Slawist., III, 244 и др.

фразеологической связью) изменения значения в слове (стр. IV—VI).

Естественно возникали попытки расширить круг применения этимологии в сторону явлений нового времени, так как «изучение позднейших заимствований главным образом интересно для углубления в семасиологию».

Этимологическая наука наших дней, писал тот же М. Р. Фасмер, «не ограничивается определением древнейшего словарного состава какого-нибудь языка, но считает своей целью выяснение происхождения и увеличение словарного материала любого периода истории данного языка. В этой области действительно она уже достигла замечательных результатов, оказывая услуги культурно-историческим разысканиям, отчасти богато иллюстрируя результаты культурно-исторического исследования, отчасти указывая и открывая последнему новые пути.¹⁵ Именно такого рода исследования все с большей ясностью указывают на закономерность семасиологических изменений».¹⁶ Но так ли это? Вот иллюстрация.

В современном русском языке *больно* — об ощущении боли и *больно* в значении «очень», «сильно» — в высшей степени разные слова. Однако была тенденция генетически возвести их к одному источнику. Проф. И. А. Бодуэн де Куртенэ в своих «Лингвистических заметках и афоризмах» писал: «С санскр. *bālam* (сила), откуда производные *bāla* — „мальчик“ и *bālā* — „девушка“, как уже „сильные“, „большие“ в сравнении с беспомощными младенцами и маленькими детьми, следует сопоставить не только славянское *bol* в значении „большого“ и т. п., но тоже слав. *bolī* — „боль“. И то и другое выводится из первоначального значения „силы“: с одной стороны, „сила“ значит „могущество“, „рост“, „величина“, „большое“; с другой же стороны, „сила“ перерождается в „насилие“ и причиняет „боль“. Вот два конца ряда значений, развившегося из одного и того же первоначального значения».¹⁷ Все это, конечно, не выходит из области мало обоснованных догадок. Однако словарь служит здесь как бы мостом между лингвистикой и историей материальной культуры, археологией и историей общественной мысли, историей мировоззрений.

Иногда кажется, что у некоторых слов именно в этимологии заключается суть их истории. Ведь есть слова, как бы не имеющие истории значений. В них значение, по крайней мере на протяжении истории их литературного употребления, не подвергалось существенным колебаниям, не изменялось хоть сколько-нибудь осязательно. Семантический облик таких слов как будто опреде-

¹⁵ См.: Thurneysen. Die Etymologie Eine akademische Rede, Freiburg. B. 1905, p. 26. sq. Osthoff. Etym. Parerga, I, p. III Sq.

¹⁶ М. Р. Фасмер. Греко-славянские этюды, III. Греческие заимствования в русском языке. СПб., 1909, стр. IV.

¹⁷ ЖМНП, СССРXXXVII, 1903, май, стр. 21—22.

ляется в момент их возникновения. Таковы, например, русские слова *спесь*, *спесивый*, которые не нашли себе места в «Материалах для словаря древнерусского языка» И. И. Срезневского, но по-видимому, были уже широко употребительны в русском литературном языке с XVI—XVII вв. Их значения — *спесь*, чванство, надменность, надутость, высокомерие; *спесивый*, чванный, надутый, высокомерно-важный — как будто сохранились те же и в современном употреблении. Так, Г. А. Ильинский¹⁸ восстанавливает для *спесь* древнейшую форму *спѣсь* и связывает ее с индоевропейским корнем * *srēis* (в значении — «надуваться»). *Спесь*, по его мнению, получилась из *спѣхъ*; *х* заменилось с под влиянием предшествующего переднеязычного *i* (*s*): ср., например, *вьсь* из *въхъ*. Тот же корень с другим вокализмом и наблюдается в слове *спѣхъ*. Согласно этому представлению, семантическая судьба слова *спѣсь* (*спесь*) была предрешена при самом его образовании. Однако уже Потебня указывал, что *спесивый* в народном русском языке употребляется в значении «скорый», «поспешный». Например, в «Причитаниях северного края» у Барсова (238):

Я на слово, победушка, спесивая,
На ричную поговорочку бросивая,
Горяча больно побѣдная головушка.

В связи с этим Потебня восстанавливает для слова *спесь* древнейшую форму *спѣсь* и возводит ее к корню *спѣх-* (удача, успех, стремительность, быстрота).¹⁹

Однако в таком понимании сам семантико-этимологический ряд этих слов становится очень широким и исторически изменчивым: *спѣхъ*, *спѣшить*, *успѣхъ*, *успѣть*, *успѣшный*, *приспѣхъ*, *приспѣшникъ*, *поспѣвать* — *поспѣть*, *доспѣхъ*, *успѣхъ*, *успѣшный*, *спесивый* и многие другие подобные. Следовательно, и здесь этимология не покрывает и не раскрывает истории значений слов. Да и непосредственно очевидно, что общие сдвиги в семантической системе языка должны отразиться и на понимании отдельных слов. Ведь и синонимы и синонимобразные выражения, которыми поясняется слово *спесь* в современном русском языке, — чванство, надменность, высокомерие — относительно недавнего происхождения в своем, так сказать, синонимическом существе. В данном случае этимология бессильна разобраться в движении соответствующей сферы слов и образований без содействия лексикологии (исторической и сравнительно-исторической) и семасиологии (общей, исторической и типологической).

¹⁸ Звук *sh* в славянских языках. Известия Отделения русского языка и словесности, т. XX, кн. 4, 1915, стр. 78 и сл.

¹⁹ См.: А. А. Потебня. Этимологические заметки, III. М., 1883, стр. 84; А. Г. Преображенский. Этимологический словарь русского языка, т. II, стр. 364.

Отрываясь от своих историко-лексикологических и историко-семантических основ, этимологическая наука легко поддается соблазну творчества каламбуров. Ведь уже разрывы или перерывы в восстановлении исторической цепи смысловых изменений слов ведут к смешению историко-этимологических объяснений с каламбурными. Вот — несколько иллюстраций.

В основе смысловой связи *слон—прислоняться*, заявляя проф. Р. Ф. Брандт, лежит известная басня, будто у слона нет суставов в ногах, так что он не может ложиться, а спит стоя, «прислонившись к дереву».²⁰ Но сравни также: «... она одна слоняет слоны из комнаты в комнату» (Лесков, «Леди Макбет Мценского уезда»)²¹ Между тем это широко распространенный тип фразеологических единств, состоящих из тавтологических сцеплений, например *разные разности, слоны слонять* (слоняться). Так, в «Петербургских грущобах» Вс. Крестовского, у И. А. Бунина в «Деревне»: «Ишь, слоны слоняет по грязи». Этимологи не стесняются воспроизводить сложные, ограниченные только размахом фантазии исследователя, переходы значений. Например, проф. Г. А. Ильинский, возводя слова *егоза*, *егозить* к корню * *jeg-* (тог же назализованный вариант — *jeg-*, ср.: *яга* в *баба-яга*, осложненному звукоподражательным суффиктом —*оз-*), так изображает последовательную цепь значений, связанную с этим корнем: «Оставляя в стороне вопрос о более отдаленных родичах славянских и л(и)т(овских) глаголов (в том числе и о л(а)т(инск). *aeger* «больной»), мы здесь заметим только то, что первоначальным значением всех этих многочисленных образований, вероятно, было то, которое теперь свойственно только русск(ому) *ягать* „кричать“ и лит(овск.) *ingsti* „нюнить, рюмить, тоскливо кричать“. Из этого значения, во-первых, развилось значение „терпеть внутреннюю боль, быть угрюмым“ (л(а)т(ы)ш(ск). *ígt*), потом „лениться“ (л(и)т(ов). *ingéti*), затем „сердиться“ (праславянск. *igdziti* и *jędza* „гнев“, „персонифицированный гнев“, т. е. „ведьма“), потом „бранить“ (л(а)т(ы)ш(ск). *engét* и русск. *егозить* „говорить дурно о других“. Ак(ад). С(лов).), далее „настойчиво требовать, притеснять“ (л(и)т(овск). *èngti*), еще далее „нетерпеливо и страстно хотеть чего; кипеть желанием“ (б(е)л(о)р(усск). *яглиць*), еще далее „метаться от нетерпения, боли“ (в(е)л(ико)р(усск). *éглиць*), еще далее „двигаться, шевелиться, тереться; ладиться, приводить в порядок“ (в(е)л(ико)р(усск). *ягліцься*, л(и)т(овск). *éngtis*), наконец, „суетиться, резвиться, вертеться“.

²⁰ Р. Ф. Брандт. Черты доисторического быта славян по данным языка. Памятка Смоленская. Смоленск, 1911, стр. 17.

²¹ Н. С. Лесков, Собрание сочинений, т. I, Гослитиздат, М., 1956, стр. 97.

Последнее значение мы и имеем в русск. *сгозить*, причем это звукоподражательный суффикс указывает на оттенок шума, который первоначально соединялся с его корнем.»²² Это — какая-то этимологическая фантазмагория.

Когда исследуют этимологию слов, то под их происхождением понимают разные вещи — и восхождение слов к фонетическому прототипу (например, *жбан* из **чьбанъ*), и грамматическое слово-производство (*масло* от *мазать*, *пока* из *по ка мѣста*), и возведение слова к семантическому первообразу (*фитюлька* из *futilité*).

Прежде всего этимология стремится объяснить слова при помощи установления их отношений с другими словами. «Объяснить слово — значит свести его к другим словам» (Ф. де Соссюр). И так как этимология часто не задерживает своего внимания на выяснении характера тех операций, которые ей приходится производить, то она нередко действительно витает в области семантических фантазий.

4

Представляется вероятным, а для многих даже само собой разумеющимся, что более достоверными, близкими к исторической действительности и к функционально-историческим изменениям быта, его вещей и предметов должны быть этимологии и историко-этимологические характеристики слов конкретного значения. Именно в этой сфере лозунг «слова и вещи» нередко приводил к плодотворным результатам. Но далеко не всегда. Дело в том, что этимологическая наука не всегда удерживается в пределах соотношений «слов и вещей». Сюда включается широкая область истории мышления, мировоззрения, исторических смен приемов и принципов обоснования действительности, особенно в рамках разных структурных систем языков. Все это находилось в пренебрежении у представителей традиционной этимологической науки. Так, проф. Г. А. Ильинский связывал семасиологически *багор* с понятием *ломать* («Известия Отделения русского языка и словесности», т. XXIV, кн. I, стр. 20), *ковригу* с *ковычкой*, *клюкой* (укр. «ковінька»), *ковылем*, *снопом* (польск. *kowiorek*), *кивером* и *локоном* (стр. 123—124), понятие *мучить* с *лесом* и *ямой* и т. д.²³

В слове *карапуз* этимологи (в частности, Горяев) то готовы были увидеть отражение греческого *κάραβος* — род морского рака, *κάραβος* (лит. *scarabaens*) — жук (так как *карапузик* в областном языке обозначает и жука), то считали вероятным (А. Г. Преображенский) происхождение этого слова от фран. *carapoussin* («кара-

²² Г. А. Ильинский. Суффикс *oz/ez/ъz* в славянских языках. «Известия Отделения русского языка и словесности имп. Академии наук», т. XVI, кн. 4, стр. 17—18.

²³ Ср. «Slavia», 1924, гошп. III, сеж. 2а, 3, стр. 266.

пузик»), но допускают контаминацию с *пузо*, то возводят его генезис к польск. *karpuz* — «арбуз»,²⁴ т. е. «толстый», «круглый». В. И. Даль прямо выводил слово *карапуз* из *короткопузый*. Предел таких сопоставлений ничем не обусловлен.

Для такого рода лексических сопоставлений нет историко-семантических ограничений. Понятно, что во многих случаях этимология очень мало отличается от каламбура.

Слово *куликать*, широко употребительное в русском литературном обиходе с XVIII в. до середины XIX в. в значении «пьянствовать», «выпивать», — сопоставлялось проф. Р. Брандтом с польским *kułik* — масляничный пикник, маскарад.²⁵

М. Р. Фасмер в основном согласен с этой этимологией, к тому же разделяемой и Э. Бернекером. Он указывает на украинское *куликати* и на русское диалектное значение *куликать* — (Богораз) — *подбирать, купить*. Вместе с тем М. Р. Фасмер допускает родство с *клюкнуть, наклюкаться*, а в этом поледнем готов видеть звукоподражательное от *булькание*.²⁶ Но ведь это допущение переводит историю слова *куликать* в русском и украинском языке на широкую почву общеславянских народных соответствий и соотношений (ср. болг. *кљокам* «стучу, толкаю», ср. сербохор. *кљукати*, слов. *kljukat* — «стучать, клевать», польск. *klukać* «хлохтать, кудахтать»).

Тем самым история слова *куликать* в русском языке затемняется.²⁷ Таким образом, историческая (и сравнительно-историческая) лексикология — конкретная база этимологии (особенно если сюда же отнести сравнительно-историческое словообразование). Историческая семасиология — сестра лексикологии. В отрыве от них этимологическая наука теряет половину своего содержания. Но формы связей и взаимодействий между этими отраслями историко-лингвистического знания очень многообразны.

А. Мейе писал: «Современный лингвист знает из индоевропейской лексики лишь небольшую запас общих терминов, драгоценный по тем выводам, которые позволяют сделать в области фонетики и морфологии, но не пригодный для того, чтобы дать

²⁴ А. Г. Преображенский. Этимологический словарь. т. I, стр. 335.

²⁵ См. «Русский филологический вестник», 1887, т. XVIII, стр. 29. В польском языке *Kulik* означает «ночного гуляку» (см. также: В. Шерцаль. «Филологические записки», 1889, вып. 1, стр. 289).

²⁶ См. М. Фасмер. Этимологический словарь русского языка. М., 1967, т. II, стр. 411; ср. там же, стр. 257.

²⁷ В семнадцатитомном Академическом словаре современного русского литературного языка глагол *куликать* признан словом областным и просторечным (т. V, стр. 1818). Здесь же отмечено, что в лексикографической русской традиции он впервые помещен в «Российском Целлариусе» за 1771 г., стр. 252; Гоголь употребляет его в «Повести об Иване Федоровиче Шпоньке и его тетушке». По-видимому, в глаголе *клюкать*—*клюкнуть* обозначение выпивки стало употребительным в русском литературном языке несколько позднее — в первой половине XIX в.

представление о реальном составе лексики какого-нибудь индоевропейского говора. Кроме того, лексика каждого индоевропейского языка существенно отличается от лексики любого другого языка той же семьи, и лишь у меньшинства слов каждого языка есть надежная индоевропейская этимология».²⁸

Эта сложная, полная противоречий и пока все еще недостаточно выясненных взаимодействий цепь соотношений между языком и мышлением особенно наглядно и остро дает себя чувствовать в исследованиях лексических связей, отношений и противопоставлений даже в структуре отдельных национальных языков. Словарь литературного языка в его разных стилевых пластах и многообразные типы диалектных идиотизмов с их обычно неточно и неполно раскрытым употреблением и назначением, нормы литературной лексики в собственном смысле и экспрессивное богатство разговорно-бытовой обиходной и деловой речи с ее острыми, а нередко и зыбкими жаргонными и профессиональными образами, намеками и условными применениями, расплывчатые, неточно определенные и неустойчивые границы собственно литературной лексики и внедряющихся в нее со всех сторон (и иногда образующих своеобразные смешанные зоны) разных систем специальной терминологии — это еще лишь самая общая схема тех трудностей и междоусобных конфликтов, с которыми приходится сталкиваться и семантике, и лексикологии, не отрывающимся от этимологической почвы.

²⁸ А. Мейе. Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков. Соцэкгиз, М.—Л., 1938, стр. 385.

«СЛОВО О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ» В ЗАРУБЕЖНОМ ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИИ

(КРАТКИЙ ОБЗОР)

Едва ли в русской литературе XI—XVII вв. найдется еще один такой памятник, который был бы столь же популярен у зарубежных читателей и исследователей, как «Слово о полку Игореве». 168 лет прошло с тех пор, как текст древней поэмы был опубликован впервые,¹ однако внимание к ней не ослабевает, оно растет с каждым годом, круг ее исследователей в Европе, Америке и Азии расширяется, а в комментировании ее текста принимают участие представители историко-филологических специальностей различных направлений.

Понятие «зарубежная библиография» применительно к «Песне об Игоревом походе» не имеет строго очерченных границ, так как некоторые работы русских и украинских исследователей, посвященные «Слову», выходили в свет на русском и украинском языках в различных странах Европы и Америки, а зарубежные исследователи-медиевисты печатали свои статьи на страницах советских журналов. Таким образом, нынешняя научная литература о «Слове о полку Игореве», выходящая в свет за пределами нашей страны, может быть лишь условно названа «зарубежной библиографией „Слова“».

В настоящий момент из общего числа приблизительно 3000 зарегистрированных научных работ о «Слове» не менее 500 зарубежных. Среди них имеются большие монографии,² статьи по частным

¹ Ироическая песнь о походе на половцев удельного князя Новгорода-Северскаго Игоря Святославича, писанная старинным русским языком в исходе XII столетия. М., 1800.

² Е. А. Ляцкий. Слово о полку Игореве. Повесть о князьях Игоре, Святославе и исторических судьбах Русской земли. Очерк из истории древнерусской литературы. Композиция, стиль. Прага, 1934; Заметки к «Слову о полку Игореве», вып. 1, Прага, 1936; вып. 2, Белград, 1941; A. Mazon. Le Slovo d'Igor'. Paris, 1940; La geste du prince Igor—épopée russe du douzième siècle. Text établi, traduit et commenté sous la direction d'Henri Gregoire, de Roman Jakobson et de Marc Szeftel. New York, 1948; Russian epic studies. Ed. by R. Jakobson and E. J. Simmons. Philadelphia, 1949; А. Соловьев,

вопросам, рецензии, научно-популярные очерки, переводы, переложения, подражания «Слову». Великому памятнику древнерусской письменной культуры отводится подобающее место и в университетских курсах лекций по истории русской литературы, и в зарубежных трудах по древнерусской литературе: Е. А. Ляцкого (Historický přehled stare ruské literatury. Praha, 1937), А. Стендер-Петерсена (Geschichte der russische Literatur, Bd. I. München, 1957), Д. И. Чижевского (History of russian literature from the eleventh century till the end of the baroque. The Hague, 1960), Р. Пиккьо (Storia della letteratura russa antica. Milano, 1959) и др. Текст «Слова» много раз переводился на современные языки: английский,³ болгарский,⁴ венгерский,⁵ голландский, датский, испанский,⁶

Р. Якобсон. Слово о полку Игореве в переводах конца XVIII века. Лейден, 1954; J. Besharov. Imagery of the Igor' tale in the light of byzantinoslavic poetic theory. Leiden, 1956; S. Wollman. Slovo o pluku Igorově jako umělecké dílo. Praha, 1958.

³ Как здесь, так и далее мы перечисляем только те переводы «Слова» на иностранные языки, которые не были зарегистрированы в известных библиографиях В. П. Адриановой-Перетц и О. В. Даниловой и др., изданных в 1940 г.: J. A. Joffe. The song of prince Igor's band. In: Stories from the classic literature of many nations. Ed. V. Palmer. New York, 1898, pp. 196—200; A. Petrunkevitch, W. Petrunkevitch. The lay of the warride Igor. Boston, 1919; B. G. Guerneu. A treasury of russian literature. New York, 1943, pp. 5—33; P. C. Crath, W. Kirkconnell. Prince Ihor's raid against the polovtsi. Saskatoon, 1947; то же см.: The ukrainian poets, 1189—1962. Introduced, selected and translated into english verse by C. H. Adrusyshen and W. Kirkconnell. Toronto, 1963; S. H. Cross. The tale of the raid of Igor', son of Svyatoslav, grandson of Oleg. In: La geste du prince Igor—épopée russe du douzième siècle. New York, 1948, pp. 150—179; D. Ward. Slovo o polku Iгореve. The tale of the host of Igor, Igor—the son of Svyatoslav, grandson of Oleg. «The Bridge», 1955, december, то же отд. изд.: Edinburg, 1958, то же in: Forum for modern language studies, vol. II, St. Andrews, 1966, № 2, pp. 160—174; V. Nabokov. The song of Igor's campaign. An epic of the twelfth century. New York, 1960, 2-е изд. London, 1961; D. Obolensky. The Penguin book of russian verse. London, 1962, pp. 1—22; S. A. Zenkovskiy. Medieval Russia's epics, chronicles and tales. New York, 1963, pp. 137—160; B. Dmytryshyn, ed. Medieval Russia, a source book, 900—1700. New York, 1967, pp. 71—86; The song of Igor's campaign: a poetic interpretation of M. Isenberg and T. Riha. «Canadian slavic studies», vol. I, № 1, Montreal, 1967, pp. 105—112.

⁴ Е. Каранов. Слово за пълка Игорев. (Объяснения и превод от оригинала в стихове), Кюстендил, 1898, то же в кн.: Литературно-научен сборник. Кюстендил, 1900, стр. 31—72; Б. Липовски. Защо даваме трети превод на едно и също произведение. «Светлина», т. XV, кн. 9—10; София, 1907; Песен за похода на Игор, Игор Святославич, внук Олегов. Преведе Людмила Стоянов. В кн.: Песен за похода на Игор. София, 1954, стр. 15—52.

⁵ B. Varga, H. Sztripsky. Enek Igor hadairól a palócokról. Budapest, 1916; J. Erdödi. Enek Igor hadáról. In: Világiradalmi antológia, t. II. Budapest, 1955; G. Képes. Enek Igor hadáról. Orosz hősköltemény a XII századból. Budapest, 1956; P. Szova. Enek Igor hadáról. Hősköltemény a XII századból az oroszok és palócok harcáról. Uzshorod, 1958.

⁶ F. Kelin, S. Arconada. Cantar de las huestes de Igor, de Igor hijo de Sviatoslav, nieto de Oleg. «La literatura internacional», Moscow, 1945, № 9, pp. 46—56; Y. Malkiel, M. R. L. Malkiel. El Cantar de la huesta

итальянский,⁷ китайский,⁸ македонский,⁹ немецкий,¹⁰ польский,¹¹ румынский,¹² сербо-хорватский,¹³ словацкий,¹⁴ словенский,¹⁵ французский,¹⁶ чешский,¹⁷ шведский, японский,¹⁸ и некоторые другие

de Igor. «Sur», Buenos Aires, 1949, № 176, pp. 43—64. В 1951 г. вышел в свет еще один перевод «Слова» на испанский язык — М. Л. Мартини и Д. Бучинского.

⁷ Cantare della gesta di Igor. Introduzione, traduzione e commento di R. Poggiosi. Testo critico annotato di R. Jakobson. Torino, 1954, pp. 87—197.

⁸ Вэй Хуан-ну. Игээр юаньчжэн цзи. Юй чжэнь цзяо. Бейцзин, 1957.

⁹ Т. Димитровски. Слово за походот Игорев. Скопје, 1960.

¹⁰ R. M. Rilke. [«Слово о полку Игореве»]. In: «Dichtung und Welt». Beilage zur Prager Presse, Prag, 1930, № 7; то же: in Russian epic studies. Philadelphia, 1949, pp. 179—202; то же: R. M. Rilke. Werke Auswahl, Bd. 2. Leipzig, 1953, SS. 345—362; то же: Leipzig, 1960; H. Raab. Das Lied von der Heerfahrt Igers. Leipzig, 1965; то же: O Bojan, du Nachtigall der alten Zeit. Berlin, 1966, SS. 157—169.

¹¹ Słowo o wyprawie Igora w opracowaniu A. Obrębskiej-Jabłońskiej. Warszawa, 1954, ss. 149—156.

¹² A. Papadopolu-Calimanu. Cuvintu despre espeditia lui Igor Sveatoslavici, principele novgorodului nordicu, contra poloviloru sau cumaniilor. — «Analele academiei romane», seria II, t. VII, secți, 2, Bucuresti, 1886, pp. 141—169; M. Beniuc. Cântec despre oastea lui Igor, fiul lui Sveatoslav, nepotul lui Oleg. Bucuresti, 1951, 2-е изд.: Bucuresti, 1954; 3-е изд.: Bucuresti, 1959.

¹³ J. Badalić. «Slovo o polku Iгореve» u hrvatskom prijevodu. «Slavistična revija», let. 10, Ljubljana, 1957, ss. 217—229; М. Панић-Суреп. «Слово о полку Игореву» — јуначке спев XII века. Београд, 1957.

¹⁴ A. Isačenko. Slovo o pluku Igorovom. Bratislava, 1947; J. Komovský. Slovo o pluku Igorovom. Bratislava, 1960.

¹⁵ R. Nachtigal. Slovo o polku Iгореve. «Slavistična revija», let. 3, Ljubljana, 1950, ss. 369—396; то же: R. Nachtigal. Staroruski ep Slovo o polku Iгореve. Ljubljana, 1954.

¹⁶ N. Koultmann, M.-L. Behaghel. Le dit de la campagne d'Igor, poème médiéval russe. Paris, 1937; то же см.: «Le monde slave», Paris, 1937, № 3, août, pp. 174—209; H. Gregoire. La geste du l'host d'Igor', d'Igor', fils de Svyatoslav, petitfils d'Oleg. «Renaissance», vol. II—III. New York, 1945, pp. 93—110; то же см.: La geste du prince Igor' — épopée russe du douzième siècle. New York, 1948, pp. 39—79; Ph. Soupault. Chant du prince Igor. Rolle, 1950; E. D. Konovalov. Poème médiéval russe (1187). Le dit de la campagne d'Igor. Paris, 1954; J. Blankoff. Une énigme littéraire du XII^e siècle. Le dit de la campagne d'Igor. «Industrie», Bruxelles, 1965, août, pp. 1—9; 2-е изд.: «Revue marginales», Bruxelles, 1968, № 122, octobre, pp. 1—24.

¹⁷ F. Kubka. Slovo o pluku Igorově. Praha, 1946; 2-е изд.: Praha, 1950; H. Skalová. Tři spěvy staroruské. Praha, 1955.

¹⁸ М. Ёнакава. Ёгори гундан. В кн.: Россия бунгаку кэнкю, т. 2, Токио, 1947, стр. 143—220; то же в кн.: М. Ёнакава. Ёгори гундан кэнкю. «Согō сэкай бунгэй», т. 3, Токио, 1951, стр. 157—182; т. 4, 1952, стр. 122—157; К. Дзиндзай. Ёгори гундан. В кн.: Сэкай котэн бунгаку дзэнсё, т. XXVII. Россия котэн хэн. Токио, 1954; то же в кн.: Россия бунгаку дзэнсё, т. XXXV. Котэн бунгаку сё. Токио, 1959; С. Уэно. Кодай Россия дзэндзиси «Игори энсэй моногатари то соно сюхэн». Токио, 1955; С. Кимура. Ёгори энсэйдан. «Сураву кэнкю», Саппоро, 1957, т. 1, стр. 1—7; 1958, т. 2, стр. 105—117; 1959, т. 3, стр. 85—92; Х. Кимура. Ёгори гундан. В кн.: Сэкай мэи сисё тайсэй, т. 1. Токио, 1960, стр. 344—381.

языки.¹⁹ Известны также переводы «Песни об Игоре в походе» на русский и украинский языки, изданные за рубежом.²⁰ В настоящем кратком обзоре нет возможности подробно осветить всю историю изучения памятника. В полном обзоре, вероятно, и нет особой необходимости, тем более что основные зарубежные работы по «Слову», вышедшие до 1962 г., учитывались и уже не раз освещались в научной литературе, как русской, так и иностранной.²¹

Нелегкий труд исследователя в какой-то мере облегчается и специальными историографическими обзорами по отдельным странам.²²

¹⁹ Например, еврейский, финский, эсперанто, языки народов СССР. В настоящей работе мы не стремились перечислить абсолютно все существующие переводы и переложения «Слова».

²⁰ П. О. Коструба. Слово про Ігорів похід. Львів, 1928; Слово о полку Игоревім — поема з XII ст. у перекладах на нинішню мову. Ред. і Вступне стаття Б. Лепкого. Краків, 1941; Р. Якобсон. Слово о полку Игореве, сына Святослава, внука Олега. In: *La geste de prince Igor*. New York, 1948, pp. 181—200; С. Гордінський. Слово о полку Ігореві — героїчний епос XII віку. Філадельфія, 1950; Г. Голохвастов. Слово о полку Игореве. Нью-Йорк, 1951; С. Лесной. Слово о полку Игореве, вып. 1—4. Париж, 1950—1953; С. Н. Плаутин. Слово о полку Игореве. Исправленный и неисправленный тексты. Перевод и примечания. Париж, 1958, и др.

²¹ См.: 1) «Слово о полку Игореве». Библиографический указатель. Составили О. В. Данилова, Е. Д. Поплавская, И. С. Романченко. Под ред. С. К. Шамбинаго. М., 1940; 2) «Слово о полку Игореве». Библиография изданий, переводов и исследований. Составила В. П. Адрианова-Перетц. М.—Л., 1940; 3) *La geste du prince Igor*. New York, 1948; 4) Ф. М. Головенченко. «Слово о полку Игореве». Историко-литературный и библиографический очерк. М., 1955. («Ученые записки МГПИ им. В. И. Ленина», т. LXXXII, кафедра русской литературы, вып. 6); 5) Ф. М. Головенченко. «Слово о полку Игореве». Библиографический очерк. Перевод. Пояснения к тексту и переводу. Отв. ред. А. В. Позднеев. М., 1963; 6) «Слово о полку Игореве» — памятник XII века. Отв. ред. Д. С. Лихачев. М.—Л., 1962.

²² Англия, Германия, Франция: П. Н. Берков. 1) К библиографии западных исследований и переводов «Слова о полку Игореве». ТОДРА, т. II, М.—Л., 1935, стр. 151—155; 2) Переводы «Слова о полку Игореве» на западноевропейские языки. «Ученые записки ЛГПИ», Серия филологических наук, вып. II, Л., 1941, стр. 320—334; А. Yaгmоlіnskу. *The Slovo in english*. In: *Russian epic studies*. Philadelphia, 1949, pp. 203—223.

Болгария: Б. Ст. Ангелов. «Слово о полку Игореве» в България. (Библиографска справка). «Известия на Народната библиотека „Васил Коларов“ и Библиотека на Софийския Държавен университет», т. II (VIII). София, 1963, стр. 244—254.

Венгрия: Э. Иглои. 1) Новый венгерский перевод «Слова о полку Игореве». «*Studia slavica*», т. 4, fasc. 3—4, Budapest, 1958, стр. 452—462; 2) К вопросу перевода «Слова о полку Игореве» в Венгрии. «*Annali Universitatis Debrecensis*», Debrecen, 1959—1960, стр. 287—297; 3) *Az Igor-ének kezdeti fogadtatása magyar-oroszágou*. In: *Tanulmányok a magyar-orosz irodalmi kapcsolatok köréből*, т. I. Budapest, 1961, old. 55—85.

Польша: Н. Уłaszyn. *Wpływy «Słowa o pułku Igora» w poezji polskiej*. «*Pamiętnik literacki*», т. XXII—XXIII. Warszawa, 1930, ss. 469—472; В. Vуdга. «Słovo о polku Iгореvě», jeho ohlasy a vlivy v literatuře polské a české. «*Bratislava*», roč. 4, čís. 4—5, 1930, ss. 528—579; А. Оbrębsка-Jabłońska. «Słowo о wyprawie Igora» w przekładach

Наше внимание в данной работе будет привлечено к исследованиям о «Слове» за последнее время (1963—1968 гг.). В 1963 г. вышла в свет в Виннипеге (Канада) работа украинского исследователя «Слова» С. Гордынского «Слово о полку Игореві і українська народна поезія. Вибрани проблеми». В ней поэтические образы «Слова» сопоставляются с аналогичными поэтическими образами украинской народной поэзии — дум, песен, заговоров; много внимания уделяется анализу ритмико-синтаксических конструкций «Слова», отдельные наблюдения касаются сходства между «Энеидой» И. Котляревского и «Словом». Рассматривая «Слово» в ряду украинских народно-поэтических памятников, автор считает этот памятник произведением древней поры.

В том же году была опубликована содержательная статья М. Брауна,²³ рассматривающая соотношение «Слова о полку Игореве» с русскими былинами, а отчасти и с памятниками южнославянского эпоса. Свои замечания к реконструкции текста «Слова» сообщил С. Лесной.²⁴

Много откликов в печати, в том числе и в зарубежной, вызвала концепция московского историка А. А. Зимина. Сущность этой концепции сводилась к модернизации гипотезы А. Мазона (вторичность «Слова» по отношению к «Задонщине», несоответствие формы и содержания произведения духу древних памятников), а также к утверждению, что автором «Слова» был ярославский архимандрит Иоиль Быковский.²⁵

polskich. «Pamiętnik literacki», t. XLIII, zesz. 1—2. Wrocław—Warszawa, 1952, ss. 408—441; Г. Зых. «Слово о полку Игореве» в Польше. «Польское обозрение», Варшава, 1964, № 2, стр. 20—22.

США: Р. О. Якобсон. Изучение «Слова о полку Игореве» в Соединенных Штатах Америки. ТОДРЛ, т. XIV, М.—Л., 1958, стр. 102—121.
Югославия: М. Бабовић. Превођење «Слова о полку Игореве» код Југословена. «Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор», књ. 29, св. 1—2, Београд, 1963, стр. 187—208; И. Бадалич. О югославских переводах «Слова о полку Игореве» (По случаю 125-летия первого югославского перевода «Слова»). ТОДРЛ, т. XXIV (в печати).

Япония: С. Кимура, Е. Накамура. Изучение древнерусской литературы в Японии. ТОДРЛ, т. XVIII, М.—Л., 1962, стр. 582—586; Е. Накамура. 1) Изучение древнерусской литературы в Японии. ТОДРЛ, т. XXII, М.—Л., 1966, стр. 463—468; 2) «Слово о полку Игореве» в Японии. ТОДРЛ, т. XXIV (в печати).

²³ М. Вауп. Epische Komposition im Igor' Lied. «Die Welt der Slaven», Jhrg. VIII, H. 2, Wiesbaden, 1963, SS. 113—124.

²⁴ С. Лесной. О «Слове о полку Игореве». Тезисы. В кн.: Славянска филология, т. IV. София, 1963, стр. 323—324.

²⁵ Первый намек на Иоиль Быковского как возможного автора «Слова» см.: А. Мазон. Тьмутораканський бльвань. «Revue des études slaves», t. XXXIX, Paris, 1961, p. 138. Ср. также: О. В. Творогов. О восприятии некоторых неоправданных предположений О. Сенковского. ИОЛЯ, т. 22, № 5, М., 1963, стр. 432—434; А. Мазон. Тьмутораканський бльвань «Revue des études slaves», t. XLIII, Paris, 1964, pp. 91—92. Ср. отклик на последнюю статью А. В. Соловьева: ИОЛЯ, т. 24, № 4, М., 1965, стр. 346—347.

Как известно, А. А. Зимин вскоре после своего доклада в Пушкинском доме (27 февраля 1963 г.) изложил свою концепцию в виде отпечатанной на ротопринте в количестве 100 экземпляров работы.²⁶ В мае 1964 г. она стала предметом большой дискуссии. Подавляющее большинство ее участников (Б. А. Рыбаков, Н. К. Гудзий, Д. С. Лихачев, И. Н. Голенищев-Кутузов, А. В. Арциховский, Ф. П. Филин, Н. А. Баскаков, А. Н. Робинсон, Л. А. Дмитриев, О. В. Творогов и др.) самым решительным образом отвергли как исследовательские приемы, так и выводы обсуждаемой работы. Только 8 человек из 32 выступавших (С. Н. Азбелев, В. Б. Вилинбахов, А. И. Клибанов, В. Б. Кобрин, Я. С. Лурье, А. Л. Монгайт, Н. Т. Николаева, В. Л. Янин) в той или иной мере высказывались сочувственно относительно некоторых положений концепции А. А. Зимина. Отчет о дискуссии был вскоре опубликован в «Вопросах истории».²⁷ Специально для зарубежных читателей подробный обзор дискуссии был дан И. Н. Голенищевым-Кутузовым на страницах «Soviet literature monthly».²⁸ Тем не менее в зарубежной прессе появился ряд тен-

²⁶ В настоящее время работа А. А. Зимина хранится в библиотеке Института истории АН СССР (Москва).

²⁷ Обсуждение одной концепции о времени создания «Слова о полку Игореве». «Вопросы истории», 1964, № 9, стр. 121—140. Позднее А. А. Зимин не раз имел возможность изложить свои взгляды на происхождение «Слова» в специальных статьях: 1) Из истории архивного дела в России. «Вопросы архивоведения», 1965, № 3, стр. 96—97; 2) А. А. Зимин и А. Л. Хорошкевич. Новые зарубежные издания источников по истории феодальной России до XVIII в. «История СССР», 1965, № 5, стр. 164—166; 3) Две редакции «Задонщины». «Труды Московского историко-архивного института», т. XXIV. М., 1966, стр. 17—54; 4) К вопросу о тюркизмах «Слова о полку Игореве»: опыт исторического анализа. «Ученые записки научно-исследовательского института при Совете Министров Чувашской АССР», вып. 31. Исторический сборник. Чебоксары, 1966, стр. 138—155; 5) Приписка к Псковскому Апостолу 1307 года и «Слово о полку Игореве». «Русская литература», 1966, № 2, стр. 60—74; 6) «Задонщина». (Опыт реконструкции текста пространной редакции). — «Ученые записки научно-исследовательского института при Совете Министров Чувашской АССР», вып. 36. Исторический сборник. Чебоксары, 1967, стр. 216—239; 7) Когда было написано «Слово о полку Игореве». «Вопросы литературы», 1967, № 3, стр. 135—152; 8) Спорные вопросы текстологии «Задонщины». «Русская литература», 1967, № 1, стр. 84—104; 9) Ипатьевская летопись и «Слово о полку Игореве». «История СССР», 1968, № 6, стр. 43—64; 10) «Слово о полку Игореве» и восточно-славянский фольклор. «Русский фольклор», т. XI. М.—Л., 1968, стр. 212—224 и др. Таким образом, гипотеза Зимина теперь хорошо изложена. Ср. отклики на концепцию Зимина: Старые мысли, устарелые методы (ответ А. Зимину Б. Рыбакова, В. Кузьминой, Ф. Филина). «Вопросы литературы», 1967, № 3, стр. 153—176; Д. С. Лихачев. Когда было написано «Слово о полку Игореве»? «Вопросы литературы», 1964, № 8, стр. 132—180; Ф. Я. Прийма. О гипотезе Зимина. «Русская литература», 1966, № 2, стр. 75—89; Р. Дмитриева, Л. Дмитриев, О. Творогов. По поводу статьи А. А. Зимина «Спорные вопросы текстологии „Задонщины“». «Русская литература», 1967, № 1, стр. 105—121 и др.

²⁸ I. Golenishev-Kutuzov. Problems of «The lay of Igor's host». «Soviet literature monthly», Moscow, 1965, № 3, pp. 137—144.

денциозных откликов на эту дискуссию, затемняющих сущность этой гипотезы.²⁹

Покойный А. Мазон в своей статье «Ivan Vykovskij, Ioil, l'archimandrite et l'auteur de „La Vérité“ ou extraits de notes sur La Vérité» («Revue des études slaves», t. XLIV, Paris, 1965, pp. 59—88) без ссылок на концепцию А. А. Зимина предполагал, что Иоиль мог быть автором «Слова о полку Игореве». То же самое он повторил в работе «Étapes d'un myth: le „Slovo d'Igor'“, épopée russe du XII^e siècle» («The slavonic and east european review», vol. XLIV, № 102, London, 1966, pp. 31—35), весьма тенденциозно пересказывая историю изучения «Слова» как попытку создать патриотический миф.³⁰

Как известно, А. Мазон в течение многих лет упорно уклонялся от ответа на многие обстоятельные критические замечания по поводу его гипотезы советских (Н. К. Гудзий, В. П. Адрианова-Перетц, Д. С. Лихачев и др.) и зарубежных (Е. А. Ляцкий, Р. О. Якобсон и др.) ученых. Вместе с тем, стремясь расширить круг своих сторонников, он не раз прибегал к передержкам и сомнительным уловкам. Так, например, в 1965 г. была извлечена из архива рукописного отдела Пушкинского дома и издана А. Мазоном и М. Лараном с обширными комментариями и приложениями рукопись М. И. Успенского «Происхождение „Слова о полку Игореве“ и „Тмутороканского камня“ (исторический очерк)» [1925 г.].³¹ Представляя собой лишь пересказ давно известных скептических высказываний о «Слове», дилетантский труд М. И. Успенского не дает ничего нового для изучения памятника. В «Дополнительных материалах» А. Мазон снова повторяет свои старые высказывания о вторичности «Слова» по отношению к «Задонщине», приводит выдержки из писем Е. Болховитинова, А. Грегуара, П. Струве, А. Ремизова, биографические материалы о М. И. Успенском, которые также нисколько не способствуют прояснению проблемы. А. Мазон даже ссылается на своего нового единомышленника в СССР А. А. Зимина, работу которого он характеризует как наиболее полную и основательно аргументированную из всех работ, посвященных «Слову».³²

С развернутой критикой концепции А. А. Зимина за рубежом выступил Р. О. Якобсон в своем «Retrospect», напечатанном в ка-

²⁹ «Русская мысль», Париж, 1 июня 1963 г., № 2002, и 2 июля 1963 г., № 2015; T. Riha. Soviet historians today. «The russian review», vol. 23, № 3, Hanover, 1964, p. 264; J. H. Billington. The icon and the axe. An interpretative of russian culture, London, 1966, pp. 631—632, note 24.

³⁰ См. отклик на эту статью: Д. С. Лихачев. В поисках единомышленников. «Вопросы литературы», М., 1966, № 5, стр. 158—166.

³¹ Quelques données historiques sur le Slovo d'Igor' et Tmuorokan' par M. I. Uspensky (1886—1942). Traduction française et texte russe avec pièces complémentaires et appendice par A. Mazon et M. Laran. Paris, 1965.

³² Подробнее см.: А. Дмитриев. «Новая» работа о «Слове о полку Игореве». «Русская литература», 1966, № 2, стр. 238—246.

честве приложения к четвертому тому «Избранных сочинений».³³ Резюмируя историю изучения «Слова», Р. О. Якобсон отмечает неоригинальность основных положений концепции Зимина, их зависимость от гипотезы Мазона. Кроме «Retrospect», в четвертом томе «Избранных сочинений» Р. Якобсона содержится 16 работ о «Слове», по большей части публикуемых вторично. Не имея возможности сколько-нибудь подробно остановиться на каждой из них в отдельности, мы лишь перечислим их, отметив звездочкой публикуемые в первый раз: «Новый труд о юго-славянском эпосе» (по поводу брошюры: A. Vaillant. Les chants épiques des slaves du sud... Paris, 1932, pp. 38—50); «Henri Gregoire: investigateur de l'épopée» (pp. 104—105); «La geste du prince Igor» (pp. 106—300); «The Vseslav epos» (pp. 301—368); «The serbian Zmaj Ognjen Vuk and the russian Vseslav epos» (with G. Ružičić) (pp. 369—379); «The puzzles of the Igor' tale on the 150-th anniversary of its first edition» (pp. 380—410); «The oriental elements in the vocabulary of the oldest russian epos» (pp. 411—413); «The archetype of the first edition of the Igor' tale» (pp. 463—473); «Тетрадь князя Белосельского» (стр. 474—493); «Изучение „Слова о полку Игореве“ в США» (стр. 499—517); «Роль языкознания в экзегезе „Слова“» (стр. 518—519); «О морфологическом составе древнерусских отчеств» (стр. 520—527);³⁴ «За шоломянем» (стр. 534—539); «Sofonija's tale of the russian-tatar battle on the Kulikovo field» (pp. 540—602); «Ущекоталь скача» (стр. 603—510),³⁵ Postscript (pp. 738—751).³⁶

Большое значение в защите «Слова о полку Игореве» от нападков скептиков сыграли выступления советского ученого Д. С. Лихачева в Англии, Австрии, Венгрии, ГДР и Польше.³⁷ Особенно важна английская статья Д. С. Лихачева: в ней дается сжатая характеристика всех основных аргументов в пользу подлинности «Слова».

³³ R. Jakobson. Selected writings, vol. IV. Slavic epic studies. The Hague—Paris, 1966, pp. 637—704.

³⁴ В первый раз опубликована на польском языке. См.: R. Jakobson. Patronimika w «Słowie o polku Igorowiew». In: Studia linguistica in honorem Thaddaei Lehr-Splawinski. Warszawa, 1963, ss. 299—303.

³⁵ В первый раз опубликована в кн.: Lingua viget commentationes slavicae in honorem V. Kiparsky. Helsinki, 1964, ss. 83—89.

³⁶ По поводу выхода в свет в Париже работы М. И. Успенского (1965 г.).

³⁷ D. S. Likhachev. 1) Nem-stilizációs utánezatok. (A Zadonscsina és az Igor-ének viszonyáról). «Filológiai közlöny», evf. 11, szám. 1—2, Budapest, 1965, old. 18—35; 2) Niestyilizacyjne naśladownictwo w literaturze starotuskiej. «Zagadnienia rodzajów literackich», t. 8, zes. 1, Łódz, 1965, ss. 19—40; 3) Сон князя Мала в летописце Переяславля Суздальского и сон князя Святослава в «Слове о полку Игореве». In: Festschrift für Margarete Woltner zum 70. Geburtstag. Heidelberg, 1967, ss. 168—170; 4) The authenticity of the Slovo o polku Iгореve: a brief survey of the arguments. «Oxford slavonic papers», vol. XIII. Oxford, 1967, pp. 33—46.

Как известно, русская филологическая наука на протяжении 100 лет, со времени открытия «Задонщины» в 1852 году, придерживалась совершенно недвусмысленного взгляда на нее как на подражание «Слову о полку Игореве». Эта точка зрения оспаривается представителями «скептической школы», основывающихся на разысканиях чешского слависта Я. Фрчека.

Отношение «Слова о полку Игореве» к «Задонщине» имеет немаловажное значение в споре о подлинности «Слова». Поэтому все зарубежные исследования, касающиеся «Задонщины», если даже в них прямо и не затрагивается вопрос об отношении этих двух памятников между собой, представляют интерес и для исследователей «Слова».³⁸ Выпущенный в 1963 г. в Гааге труд Р. О. Якобсона и Д. С. Ворта содержит скрупулезный текстологический и лингвистический анализ, показывающий, что списки «Задонщины» так называемой «пространной редакции» сохранили текст более близкий к архетипу, чем Кирилло-Белозерский (сокращенный) список «Задонщины».³⁹

В книге содержится развернутое обоснование гипотезы Р. О. Якобсона о том, что «Задонщина» — вторая часть диптиха, первая часть которой — «Слово о полку Игореве». Интерес представляют имеющаяся в книге реконструкция текста «Задонщины», а также фототипическое воспроизведение списка Ундольского.

С учетом всех списков анализируются синтаксические конструкции «Задонщины» в работе американского исследователя Л. Матейки (In: American contributions to the Fifth international congress of slavists. Sofia, 1963. The Hague, 1963, pp. 383—402). Автор приходит к выводу о вторичности текста Кирилло-Белозерской версии по отношению к «пространной версии» «Задонщины».

Внимание Д. С. Ворта также привлекли лексико-грамматические параллельные конструкции в «Задонщине», выяснению их роли в общей художественной системе памятника он посвятил специальную работу.⁴⁰ Сравнению поэтических средств «Задонщины» с поэтическими средствами других повестей Куликовского цикла и «Слова о полку Игореве» посвятил свою работу японский исследователь С. Уэно. Сопоставление метафор, аллегорий, сравнений «Слова» и «Задонщины» говорит, по мнению японского ученого,

³⁸ Обзор зарубежных работ о «Задонщине» см.: Н. Ф. Дробленкова и Ю. К. Бегунов. Библиография «Задонщины» (1852—1966). В кн.: «Слово о полку Игореве» и памятники Куликовского цикла. К вопросу о времени написания «Слова». М.—Л., 1966, стр. 557—583.

³⁹ Sofonija's tale of the russian-tatar battle on the Kulikovo field edited by R. Jakobson and D. S. Worth. The Hague, 1963. Разыскания американских исследователей подкрепляются и уточняются в результате анализа советских исследователей. См.: «Слово о полку Игореве» и памятники Куликовского цикла, стр. 199—263, 292—343.

⁴⁰ D. S. Worth. Lexico-grammatical parallelism as a stylistic feature of the «Zadonščina». In: Orbis scriptus. Dmitrij Tschizewskij zum 70 Geburtstag. Hrsgb. von D. Gerhardt, W. Weintraub und H. J. zum Winkel. Wiesbaden, 1966, SS. 953—961.

в пользу большей древности «Слова о полку Игореве».⁴¹ В повестях Куликовского цикла получили дальнейшее развитие те приемы изображения природы, которые были известны еще автору «Слова».

Не в пользу первичности «Задонщины» свидетельствует также и сопоставительный анализ социальной терминологии в «Слове» и «Задонщине», произведенный датским славистом К. Р. Шмидтом.⁴²

В трех интересных статьях А. В. Соловьева подводятся некоторые итоги спора между сторонниками первичности «Слова» по отношению к «Задонщине» (Р. О. Якобсон, Н. К. Гудзий, В. П. Адрианова-Перетц, Д. С. Лихачев) и сторонниками вторичности «Слова» по отношению к «Задонщине» (А. Мазон, А. А. Зимин). В статье «Le rhapsode Vojan et le prince Igor' dans le Dit d'Igor' et la Zadoňčina» («International journal of slavic linguistics and poetics», vol. VIII, The Hague, 1964, pp. 46—60) анализируются известия о Бояне, певце XI в., и о князьях, которых он воспевал, по всем спискам «Задонщины», в том числе и по Кирилло-Белозерскому, дается комментарий к словам из Кирилло-Белозерского списка «Задонщины» «Того даже было не лепо стару помолодиться». Конечный вывод автора: «Задонщина» сохранила только слабое упоминание о великом поэте XI в., имя Бояна не было понято поздними переписчиками «Задонщины», в то время как «Слово о полку Игореве» сохранило первоначальное и обстоятельное известие о певце Бояне. В другой статье — «Кирилло-Белозерский список „Задонщины“ и „Слово о полку Игореве“» («International journal of slavic linguistics and poetics», vol. IX, The Hague, 1965, p. 97—105) — А. В. Соловьев приводит 52 примера разночтений, которые опровергают мнение А. Мазона о том, что Кирилло-Белозерский список «Задонщины» фразеологически ближе к «Слову», чем другие списки «Задонщины». «Странной гипотезой» называет А. В. Соловьев предположение А. Мазона о том, что «Слово» — риторическое упражнение русского воспитанника Львовской академии или галицкого воспитанника Киевской академии.

В третьей статье — «Словесная ткань „Задонщины“ и „Слова о полку Игореве“» — А. В. Соловьев анализирует словарный фонд обоих памятников.⁴³ Он приходит к выводу, что язык «Слова» почти на 40% богаче языка «Задонщины», что общий словарный

⁴¹ С. Уэно. Курикофу сэсо бунгаку соно хию то хё. «Кодай Росия кэнкё», Киото, 1964, т. 4, стр. 67—144, т. 5, стр. 141—237; 1965, т. 6, стр. 95—145. Отклик на нее см.: Ю. К. Бегунов, С. С. Булатов. Издания «Древнерусского общества Японии». «Русская литература», 1966, № 1, стр. 239—240.

⁴² K. R. Schmidt. Soziale Terminologie in Russischen Texten des frühen Mittelalters (bis zum Jahre 1240). Kopenhagen, 1964, SS. 453—462.

⁴³ А. В. Соловьев. Словесная ткань «Задонщины» и «Слова о полку Игореве». In: To honor Roman Jakobson. Essays on the occasion of his seventieth birthday. The Hague—Paris, 1967, pp. 1865—1875.

фонд обеих поэм составляет около 270 слов, что к ним старец Софоний прибавил от себя лишь 220 слов, причем часть из них является переделкой форм «Слова». «Ясно, — заключает А. В. Соловьев, — что старец Софоний переделал „Слово о полку Игореве“, написал на него полинодию (воспел победу, а не поражение). В ней он проявил много чувства и патриотизма, но меньшее богатство языка, чем его прекрасный образец XII века. „Слово о полку Игореве“ остается, несмотря на все гипотезы скептиков, вовсе не „кузеном Задонщины“, а ее духовным отцом».⁴⁴

Сравнению лексики «Слова» и «Задонщины» был посвящен доклад Т. Д. Чижевской на V Международном съезде славистов в Софии (In: American contributions to the Fifth international congress of slavists, pp. 319—327). Исследовательница приходит к выводу, что лексика «Слова» старше, чем лексика «Задонщины», и все архаизмы в «Задонщине» в конечном счете заимствованы из «Слова о полку Игореве».

В 1965 г. Т. Д. Чижевская выпустила в свет полный «Словарь „Слова о полку Игореве“», в котором в духе своих предыдущих работ она дает грамматический и лексический комментарий слов и выражений памятника, приводит многочисленные параллели из других древнерусских памятников,⁴⁵ в приложении опубликован древнерусский текст «Слова о полку Игореве» в реконструкции Р. О. Якобсона (четвертый ее вариант).⁴⁶

Несколько странное впечатление производит небольшое комментированное издание «Задонщины», выпущенное в свет А. Вайяном в 1967 г.⁴⁷ Издатель не пользуется недавно выпущенным в свет специальным сборником исследований, посвященных «Слову» и «Задонщине», а также изданием Р. О. Якобсона, не учитывает новых открытий в изучении истории текста «Задонщины», не считается с тем обстоятельством, что сейчас уже невозможно без дополнительной аргументации настаивать на первоначальности текста Кирилло-Белозерской версии «Задонщины».

За последнее пятилетие появились не только новые переводы древнейшего памятника русского эпоса на европейские языки, но и продолжались исследования в области конъектуральной критики текста «Слова» и его всестороннего комментирования. Ж. Бланков посвятил специальную статью истолкованию слова «див»,⁴⁸

⁴⁴ Там же, p. 1875.

⁴⁵ Т. Čiževská. The glossary of the Igor' tale. The Hague, 1965. Всего насчитывается более 900 словарных статей.

⁴⁶ Первый вариант реконструированного текста «Слова» был опубликован Р. Якобсоном в 1944 г. (журнал «Новоселье», Нью-Йорк), второй — в 1948 г. (La geste du prince Igor'), третий — в 1958 г. (ТОДРА, т. XIV), пятый — в «Selected writings» (vol. IV).

⁴⁷ La Zadonščina — épopée russe du XV^e siècle par A. Vaillant. Paris, 1967.

⁴⁸ J. Blankoff. Quelques remarques à propos de «slon» et de «div». «La Lampe verte», Bruxelles, 1963, № 3, pp. 6—9.

С. Гордынский — выражению «русичи»,⁴⁹ а В. Кипарский — слову князь». ⁵⁰

В статье, напечатанной на страницах «Международного журнала славянской лингвистики и поэтики», О. Прицак высказал предположение, что Деремела — это тюркское наименование бродников, выходцев из русских земель, живших по Днестру, Пруту, Дунаю. ⁵¹

Д. Сп. Радойич привел параллель из «Жития Иоакима Оссогевского («Радуй се пустиньско воспитание...») к одному из фразеологизмов «Слова». ⁵²

А. В. Соловьев привел 26 примеров, свидетельствующих о стилистическом сходстве между «Словом о полку Игореве» и «Словом о погибели Рускыя земли» (XIII в.), он полагает, что оба памятника относятся к лирико-эпической героической поэзии: «Слово о полку Игореве» принадлежит Киево-Черниговской школе, «Слово о погибели» — Владимиро-Суздальской. ⁵³

Я. Масланка рассказал об изучении «Игоревой песни» польским ученым Зорианом Доленгой-Ходаковским. ⁵⁴

Л. Мюллер представил обширный историко-лингвистический и реально-исторический комментарий к нескольким словосочетаниям из «Слова о полку Игореве» («Не льбо ли ны бяшетъ», «который дотечаша, та преди пѣснѣ пояше» и др.). ⁵⁵

М. Браун отметил факт литературной полемики автора «Слова» с певцом Бояном: метафорической, риторической речи последнего противопоставляется безыскусственное повествование «по былинамъ сего времени» с умеренным применением тропов и фигур. ⁵⁶

⁴⁹ С. Гордынський. Назви «Русичі» й «Русовичі». Вінніпег, Укр. Вільна акад., 1963.

⁵⁰ V. Kiparsky. Russ. князь, Fürst und First. «Scandoslavica», t. X, Copenhagen, 1964, SS. 102—106.

⁵¹ О. Прицак. Деремела-бродники. «International journal of slavic linguistics and poetics», vol. IX. The Hague, 1965, pp. 82—96. Издательство «Мутон и компания» в настоящее время выпускает в свет книгу О. Прицака «The Igor' Tale and the eurasian steppe», где «Слово» датируется 1201 г., а его автором объявляется Владислав Кормилич, учитель сына галицкого князя.

⁵² D. Sp. Radojičić. Mali prilog proučavanju Slova o polku Igorovu. «Народно стваралаштво» (Folklor), Београд, 1965, св. 13—14, стр. 1003—1007.

⁵³ A. V. Soloviev. Die Dichtung vom Untergang Russlands. «Die Welt der Slaven», Jhrg. IX, H. 3, Wiesbaden, 1964, SS. 234—237.

⁵⁴ J. M. Maslanka. Zorian Dołęga Chodakowski. Jego miejsce w kulturze polskiej i wpływ na polskie piśmiennictwo romantyczne. Wrocław—Warszawa—Kraków, 1965, ss. 83—84, 92—93, 138.

⁵⁵ L. Müller. Einige Bemerkungen zum Igorlied. «Die Welt der Slaven», Jhrg. X, H. 3—4, Wiesbaden, 1965, SS. 245—258.

⁵⁶ M. Braun. Literarische Polemik im Igor'-Lied. In: Orbis scriptus. Dmitrij Tschizewskij zum 70. Geburtstag, ss. 141—144.

П. Колаклизес предположил влияние византийской Хроники Константина Манассии на «Слово о полку Игореве».⁵⁷

О Ярославне как символе матери-Руси, оплакивающей своих сыновей-воинов, недавно написал М. И. Михайлов.⁵⁸ Несколько замечаний к переводу на немецкий язык и истолкованию «темных мест» «Слова» сделал Г. Витченз.⁵⁹

А. Легрейд исследует риторические приемы в «Слове о полку Игореве», подкрепляя тем самым тезис И. П. Еремина о принадлежности памятника к жанру ораторской прозы⁶⁰ и т. д.

Со статьями о «Слове» за рубежом выступали и советские ученые. Украинскую работу Н. В. Шарлеманя о природе в «Слове о полку Игореве» перепечатал лондонский журнал «Ukrainian review» (1963, vol. X, № 3).

Посвятив свой труд стихосложению Древней Руси, А. В. Позднеев коснулся вопроса о природе песенного ритма древнейшего памятника русской светской поэзии («Scandoslavica», t. XI, 1965, pp. 5—24).

Л. Н. Гумилев опубликовал спорную статью «Les Mongols du XIII^e siècle et Slovo o polku Iгореve» во французском научном журнале «Cahiers du monde russe et soviétique» (1965, vol. VII, № 1, pp. 37—57). Объясняя некоторые «темные места» произведения, Л. Н. Гумилев связывает возникновение памятника с деятельностью Александра Невского в северо-восточной Руси в середине XIII в.⁶¹

В. П. Адрианова-Перетц в «Заметках о лексике „Слова о полку Игореве“» привела несколько параллелей из древнерусских памятников (in: To honor Roman Jakobson. Essays on the occasion of his seventieth birthday. The Hague, 1967, pp. 15—17).

Несколько новых работ зарубежных исследователей появилось в 1968 г.

Н. М. Дылевский опубликовал подробный комментарий к словосочетанию «врѣху древа».⁶²

⁵⁷ P. Colacides. Nouvelles traces de l'influence de Manassès sur La geste du prince Igor. «International journal of slavic linguistics and poetics», vol. X. The Hague, 1966, pp. 120—126.

⁵⁸ М. И. Михайлов. Ярославна от «Слова о полку Игореве». За някои особености на образа. «Трудове на Висшия педагогически институт „Братя Кирил и Методий“ в Търново», т. III, София, 1966, стр. 115—130.

⁵⁹ G. Wyrzens. Bemerkungen zur neuen deutschen Igorlied-Übersetzung Harald Raabs und ihrer altrussischen Textgrundlage. «Wiener slawistisches Jahrbuch», Jhrg. XIII, Wien, 1966, SS. 106—113.

⁶⁰ A. Läg Reid. Einige Bemerkungen zum Igorlied. «Anzeiger für slavische Philologie», Bd. II, Wiesbaden, 1967, SS. 67—72.

⁶¹ Сокращенный вариант этой статьи на русском языке см.: Л. Н. Гумилев. Монголы XIII века и «Слово о полку Игореве». «Доклады отделения этнографии» (Географическое общество СССР), вып. II, М., 1966, стр. 55—80.

⁶² Н. М. Дылевский. Заметки к «Слову о полку Игореве». «Известия на Института за български език», кн. XVI, София 1968, стр. 269—280.

Е. Накамура выступил с заметками о стиле «Песни об Игоре-вом походе», в которых уделяет внимание истолкованию словосочетания «старыми словесы» и исследованию художественной функции существительных и прилагательных в творительном падеже.⁶³

А. В. Соловьев подвел итоги научного комментирования выражения «шоломя», встречающегося в «Слове» и в искаженном виде в «Задонщине».⁶⁴

И. Шютц изучал поэтический образ Бояна в «Слове».⁶⁵

Г. Штурм исследовал употребление «мотива предупреждения» на материале «Слова о полку Игоре-вом», «Задонщины», «Сказания о Мамаевом побоище», летописей, поэтической «Повести об Азовском осадном сидении».⁶⁶

Недавно вышла в свет статья Д. Феннела, касающаяся вопроса взаимоотношения трёх памятников: Ипатьевской летописи, «Слова о полку Игоре-вом», «Задонщины».⁶⁷

В целом же зарубежная литература о «Слове», особенно работы, появившиеся там в последние два-три года, свидетельствуют о заметном преодолении «скептических» тенденций и усовершенствовании методов изучения древнего памятника. Современные эпигоны скептической школы вряд ли смогут отрицать, что *opus probandi* лежит на них и что прежде чем прибегать к новым уловкам и ухищрениям, необходимо аргументированно отвести опровержения гипотезы Мазона—Зимины, содержащиеся в десятках современных исследований. Трудными исследователей древнерусской культуры как у нас, так отчасти и за рубежом теперь окончательно пересмотрена неверная точка зрения о необычности, одинокости, оторванности «Песни об Игоре-вом походе» от русской культуры XII—XIII вв. Изучение художественной специфики древнерусской литературы, раскрытие эстетической ценности бессмертной поэмы об Игоре-вом походе — одна из дальнейших задач литературоведов-медиевистов как советских, так и зарубежных.

⁶³ Е. Накамура. 1) Стиль «Слова о полку Игоре-вом». «Иккё ронсё», т. 59, № 1, Токио, 1968, стр. 93—101; 2) Сравнение или превращение? Заметки об одном риторическом обороте в древнерусском эпосе «Слово о полку Игоре-вом». «Суравугаку ронсё», № 2, Токио, 1968, стр. 40—50 (обе на японском языке).

⁶⁴ А. В. Соловьев. Шоломя или соломя? «International journal of slav-ic linguistics and poetics», vol. XI, The Hague, 1968, pp. 100—109.

⁶⁵ J. Schütz. «Věšči Bojane, Velesovъ vьnuše». Zum selbstverstandis des Igorlied—Dichters. In: Slavistische Studien zum VI Internationalen Slavistenkongress in Prag 1968. Hrsgb. von E. Koschmieder und M. Braun. München, 1968, SS. 543—551.

⁶⁶ G. Sturm. Ein altrussisches Warnungsmotiv im Wandel der Jahrhunderte. «Zeitschrift für Slawistik», Bd. XIII, H. 2, Berlin, 1968, SS. 297—306.

⁶⁷ J. L. I. Fennell. The Slovo o polku Iгоре-вом: the textological triangle. — «Oxford slavonic papers», new series, vol. I. Oxford, 1968, pp. 126—137.

К СПОРАМ ОБ ОТКРЫТИИ
«СЛОВА О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ»

Без риска впасть в преувеличение можно сказать, что вопрос об открытии и первом издании «Слова о полку Игоре» затрагивался в сотнях работ, ему посвященных. Важно, однако, подчеркнуть: затрагивался, но не исследовался. В подавляющем большинстве случаев авторы повторяли версию, изложенную впервые в письме А. И. Мусина-Пушкина к К. Ф. Калайдовичу от 20 декабря 1813 г., согласно которой рукопись прославленной поэмы была куплена ее первым издателем у ярославского архимандрита Иоила. Автору настоящей статьи приходилось уже писать о важности создания подлинно научной истории открытия «Слова о полку Игоре» и о необходимости в связи с этим тщательного обследования киевских и ярославских архивохранилищ.¹ За последнее десятилетие изучение жизни Иоила Быковского значительно продвинулась вперед, количество полностью или частично посвященных ему исследований насчитывает уже свыше 20 названий. Взятые в совокупности труды эти дают ценный материал для создания в будущем документированной истории нахождения и первой публикации самого выдающегося памятника древнерусской литературы.

Исследовательское увлечение личностью архимандрита Спасо-Ярославского монастыря дошло до того, что в работах А. А. Зимина² и А. Мазона³ была, как известно, предпринята попытка приписать Иоилу Быковскому не только хранение, но и авторство поэмы об Игоре в походе — попытка, оснащенная всеми внешними атрибутами сенсации, но по существу лишенная элементарных признаков научной обоснованности. Старания А. Мазона и А. А. Зимина были направлены исключительно на то, чтобы подтвердить большую эрудицию Иоила и способность

¹ См.: ТОДРА, т. XII, М.—Л., 1956, стр. 46—54.

² «Вопросы истории», 1964, № 9, стр. 121—140 («Обсуждение одной концепции о времени создания „Слова о полку Игоре“»).

³ См.: A. Mazon. Ivan Bykovskiy, Ioil l'archimandrite et l'auteur de «La Vérité ou l'extraits de notes sur la Vérité». «Revue des études slaves», 1965, t. 44, pp. 59—88.

последнего возвыситься в собственных культурных устремлениях до уровня своего века. Их совершенно не интересовал однако вопрос о том, под силу ли было русскому XVIII веку, располагавшему весьма ограниченными знаниями в области древнерусского языка и древнерусской палеографии, осуществление такого сложнейшего мероприятия, каким должно было явиться, если только разделять точку зрения «скептиков», искусственное создание «Слова о полку Игореве».

Из работ об Иоиле особенно биографического характера наиболее важными являются статья Л. В. Крестовой и В. Д. Кузьминой «Иоиль Быковский, проповедник, издатель „Истины“ и первый владетель рукописи „Слова о полку Игореве“»⁴ и предшествовавшая ей и положенная в ее основу статья В. Д. Кузьминой «Мог ли Иоиль написать „Слово о полку Игореве“?»⁵.

Бесспорное достоинство названных статей состоит в том, что в них впервые на большом количестве архивных источников освещен оанный период деятельности Иоиля — его пребывание в Киеве (1740—1758), сначала в качестве студента, а затем и преподавателя Киевской академии. Но отдельные утверждения содержательной статьи Л. В. Крестовой и В. Д. Кузьминой все же не внушают нам доверия. Так, например, авторы сочли уместным поставить Иоилю на вид его «политическую неразборчивость» (стр. 42). Последняя, как оказывается, проявилась в том, что в книгу «Истина», составленную спаса-ярославским архимандритом, наряду с цитатами из вполне выдержанных в идейном отношении источников были включены также выписки из редактированного самой Екатериной II журнала «Всякая всячина», в частности, выписка, рекомендовавшая читателям «вести себя благочестиво в церкви» (стр. 42). После этого можно не сомневаться в том, что если бы нашим авторам пришлось проанализировать с данной точки зрения труды, скажем, М. В. Ломоносова, то они нашли бы и у него не один пример подобного рода «политической неразборчивости». Суровый экзамен, устроенный Л. В. Крестовой и В. Д. Кузьминой архимандриту Иоилю, преследовал, по-видимому, полемические цели. А. А. Зимин и А. Мазон хотели сделать из Иоиля «вольтерьянца в рясе», выдающегося представителя идей эпохи Просвещения. Л. В. Крестова и В. Д. Кузьмина стремятся к диаметрально противоположному — принизить культурный и моральный облик Иоиля, изобразить его в виде заурядного служителя церкви. Но если чувство историзма и объективности явно изменило в данном случае А. А. Зимину и А. Мазону, то этим же недостатком в известной мере страдает также и концепция Л. В. Крестовой и В. Д. Кузьминой.

⁴ Древнерусская литература и ее связи с новым временем. Сб. статей под ред. О. А. Державиной, М., 1967, стр. 25—53.

⁵ «Известия АН СССР», ОЛЯ, М., 1966, т. XXV, вып. 3, стр. 197—207.

Изобилующая богатством сведений о раннем Иоиле, статья Л. В. Крестовой и В. Д. Кузьминой, к сожалению, не дает ничего существенно нового о *позднем* периоде его деятельности. Несмотря на тщательность произведенных разысканий, никаких документов или указаний, подтверждающих принадлежность Иоилу Быковскому рукописи «Слова», Л. В. Крестовой и В. Д. Кузьминой обнаружить не удалось. Таким образом, единственным аргументом в пользу этой гипотезы по-прежнему остается заявление А. И. Мусина-Пушкина. Не вполне ясно при этом одно — почему названное заявление Л. В. Крестова и В. Д. Кузьмина рассматривают в качестве *бесспорной* истины. Принимая с излишней доверчивостью гипотезу об Иоиле как *предпоследнем* владельце рукописи «Слова», Л. В. Крестова и В. Д. Кузьмина решительно отрицают тесно связанную с ней гипотезу автора настоящей статьи — гипотезу о том, что Иоилу Быковскому «могла принадлежать заслуга не только сохранения, но и открытия «Слова о полку Игореве».⁶ Согласно утверждению указанных авторов, для такого предположения «данные биографии» Иоила «не дают никаких материалов».⁷ Утверждение не только поспешное, но и тенденциозное. Л. В. Крестовой и В. Д. Кузьминой, как уже сказано, разысканы ценные материалы, относящиеся к *началу* служебной деятельности Иоила, т. е. к 50-м годам XVIII в. Открытие же «Слова» относится к концу века, 90-м его годам. Естественно поэтому, что новонайденные материалы и не могли бросить какой-либо свет на обстоятельства открытия древнего памятника. Между тем статья Л. В. Крестовой и В. Д. Кузьминой, помимо желания авторов, способна внушить читателю ложную мысль, будто об Иоиле как владельце знаменитой рукописи сохранились неопровержимые свидетельства, но среди них не хватает лишь одного — подтверждения, что он был причастен не только к хранению, но и к открытию названной рукописи. В действительности же, как об этом сказано выше, *принадлежность* ярославскому архимандриту рукописи «Слова» — это тоже гипотеза, в подтверждение которой разыскания Л. В. Крестовой и В. Д. Кузьминой, к сожалению, не дают никаких аргументов.

Но если предположение, что рукопись «Слова», перед тем как попасть к А. И. Мусину-Пушкину, принадлежала архимандриту Иоилу, равно как и предположение, что последний мог участвовать в открытии древнего памятника, не получили до сих пор надежных документальных подтверждений, то они не встретили также и авторитетных и аргументированных возражений. Именно поэтому отказываться от них было бы, на наш взгляд, и преждевременно, и нерезонно.

⁶ См.: ТОДРЛ, т. XII, М.—Л., 1956, стр. 51; ср.: Л. В. Крестова и В. Д. Кузьмина. Древнерусская литература... стр. 47.

⁷ См.: В. К. Крестова и В. Д. Кузьмина. Древнерусская литература... стр. 47.

Несколько лет тому назад попытка опровергнуть оба упомянутых предположения была предпринята Л. А. Дмитриевым. В статье, имеющей весьма ответственное название — «История открытия рукописи „Слова о полку Игореве“», Дмитриев пишет: «Просвещенность Иоиля, его любовь к литературе и интерес к древней русской истории, наконец, то обстоятельство, что Иоиль в какой-то степени был связан с издательской деятельностью, — все говорит о том, что если бы Иоилю было известно „Слово о полку Игореве“, то он или сам бы предпринял издание этого памятника, или сообщил бы о своей находке в печати. Таким образом, все, что мы знаем об Иоиле, свидетельствует о том, что „Слово о полку Игореве“ не было ему известно».⁸

Л. А. Дмитриев преследовал также, по-видимому, благородную цель — отстоять «Слово» от нападков А. А. Зимина и А. Мазона, утверждавших, будто Иоиль — автор знаменитой поэмы. Хотя названные утверждения к тому времени, еще не успев появиться в печати, распространялись лишь в форме устных выступлений, они заметно дезориентировали научную общественность. И Л. А. Дмитриев своим утверждением, что Иоиль и в глаза не видел рукописи «Слова», подсекал «скептиков», так сказать, под самый корень.

По вопросу о том, был ли Иоиль предпоследним владельцем драгоценной рукописи, Л. А. Дмитриев и Л. В. Крестова с В. Д. Кузьминой стоят на противоположных позициях, и в то же время в ответе на вопрос, участвовал ли Иоиль в открытии «Слова», они друг с другом солидарны. Правда, эта солидарность носит чисто внешний характер. Если бы высоко эрудированный Иоиль владел рукописью «Слова», он бы непременно явился ее открывателем и издателем — такова точка зрения Л. А. Дмитриева. Иоиль бесспорно был владельцем драгоценной рукописи, но он не мог участвовать в ее открытии ввиду недостаточной своей образованности — таково мнение Л. В. Крестовой и В. Д. Кузьминой.

Между выходом в свет двух сборников, в которых были опубликованы статьи Л. А. Дмитриева, с одной стороны, и Л. В. Крестовой и В. Д. Кузьминой — с другой, прошло пять лет, и следовало бы ожидать, что последние подвергнут противостоящую им концепцию критическому рассмотрению, тем более потому, что статья Л. А. Дмитриева появилась в солидном академическом издании. По-видимому, из соображений профессионального этикета Л. В. Крестова и В. Д. Кузьмина от названной критики воздержались, и это ставит нас перед необходимостью сопоставить названные концепции друг с другом и выразить к ним наше собственное отношение.

⁸ Л. А. Дмитриев. История открытия «Слова о полку Игореве». В сб. статей под ред. Д. С. Лихачева «„Слово о полку Игореве“ — памятник XII века», М.—Л., 1962, стр. 111.

Мог ли архимандрит Иоиль, если он был владельцем рукописи древней поэмы, проявить интерес к ее познавательным и поэтическим достоинствам и обратить на них внимание своих знакомых? «Вряд ли Иоиль Быковский, — заявляют в этой связи Л. В. Крестова и В. Д. Кузьмина, — не имевший специальных навыков палеографа и лингвиста, был в состоянии прочесть „Слово“, в котором и коллекционер А. И. Мусин-Пушкин не различал „ни правописания, ни строчных знаков, ни разделения слов, в числе коих множество находилось неизвестных и вышедших из употребления“» (стр. 47). Рассуждение довольно странное. Выходит, что Иоиль, знавший, помимо русского, ряд иностранных языков, в том числе и три родственных русскому славянских языка (польский, белорусский и украинский), разбирался в древнерусских текстах гораздо хуже, чем А. И. Мусин-Пушкин — и только потому, что последний, видите ли, был коллекционером.

Согласно концепции Л. В. Крестовой и В. Д. Кузьминой, Мусин-Пушкин, обладавший дилетантскими познаниями в области филологии и русской истории, мог легко постигать смысл «вышедших из употребления» древнерусских слов и выражений, а архимандрит Иоиль, в прошлом преподаватель Киевской академии, был начисто лишен этой возможности.

По словам Мусина-Пушкина, рукопись «Слова» «довольно ясным характером была писана»,⁹ следовательно, прочитать ее было не трудно, трудность состояла в уяснении прочитанного, и для преодоления этих трудностей, по нашему разумению, у Иоила было не меньше необходимых данных, чем у Мусина-Пушкина. Конечно, без посторонней помощи Иоиль Быковский, так же, как и Мусин-Пушкин, не смог бы ни научно прокомментировать, ни издать древнюю поэму. Но ведь между умением более или менее сносно прочитать рукопись, обратить внимание на ее поэтические достоинства и попытками опубликовать и прокомментировать ее — огромная разница, которую как раз и не замечают Л. В. Крестова и В. Д. Кузьмина. Научное комментирование «Слова», над которым трудилась целая армия ученых на протяжении более полутора столетий, не завершено до настоящего времени. Однако неповторимая художественная красота поэмы покорила многих читателей уже в конце XVIII в., когда поэма еще не была напечатана.

Мог восхищаться «Словом» и Иоиль, по крайней мере отдельными его образами, картинами, выражениями. Но следует ли отсюда, что ознакомление с древней поэмой должно было возбудить у него желание взяться за ее издание? Именно в таком направлении развивается мысль Л. А. Дмитриева. Но ведь даже Мусин-Пушкин рекомендовал читателям отличать непревзойденные

⁹ Записки и труды Общества истории и древностей российских при Московском университете, ч. II. М., 1824, стр. 36—37.

«образцы витийства» «Слова» от налицующих в нем «некоторых мелочных подробностей, в тогдашнем веке терпимых»,¹⁰ другими словами, отличать высокие достоинства от понятий, традиций и предрассудков, несовместимых с христианским вероучением. Мы уверены в том, что даже А. И. Мусин-Пушкин в период своего пребывания на посту обер-прокурора Синода по соображениям «служебного долга» не отважился бы на издание «Слова о полку Игореве». Почему же не допустить, что подобного же рода соображения (и с гораздо большей притом силой) могли смущать душу пребывающего в монашеском чине Иоиля? Почему не допустить на минуту, что он мог, скажем, считать «Слово» любопытным чтением лишь для немногих и — небезопасным и даже совратительным для широких читательских кругов? Концепции Л. А. Дмитриева (у Иоиля не было попыток издать «Слово», значит он и не владел его рукописью) недостает последовательности и конкретно-исторического подхода к делу; она переносит на конец XVIII в. несвойственные ему эстетические и нравственные нормы нашей эпохи.

Мы отдаем себе отчет в том, что участие Иоиля в открытии «Слова» — это лишь гипотеза, которую предстоит еще или доказать, или же опровергнуть. Но и то и другое явится лишь в результате неутомимых разысканий, серьезной аргументации, а не деклараций и заклинаний. Само понятие *открытие* может наполняться разным содержанием и применительно к затронутому спору нуждается в уточнении. «Под „открытием“ в данном случае, разумеется, не обязательно следует понимать публичное объявление о существовании рукописи или желание ее опубликовать, а лишь распространение сведений о ней в узком кругу любителей отечественной старины и художественного слова».¹¹

Если мусин-пушкинскую версию о приобретении рукописи «Слова о полку Игореве» Л. А. Дмитриев отрицает чисто умозрительным способом, то свое собственное предположение на сей счет он аргументировал при помощи документов. Вслед за покойным Н. К. Гудзием исследователь считает, что рукопись памятника входила в состав одного из трех хронографов, которые были получены А. И. Мусиным-Пушкиным из Ростовского архиерейского дома в конце 1792 г. Пространные «паспорта» названных хронографов с объяснительной преамбулой, по счастливой случайности сохранившиеся в Государственном архиве Ярославской области, полностью приведены Л. А. Дмитриевым в качестве приложения к его статье.¹² Из этого документа видно, что в момент прибытия в Ростов летом 1792 г. А. И. Мусина-Пушкина в библиотеке ро-

¹⁰ Ироическая песнь о походе на половцев удельнаго князя Новагорода-Северскаго Игоря Святославича, писанная старинным русским языком в исходе XII столетия. М., 1800, стр. VI.

¹¹ ТОДРА, т. XII, стр. 51.

¹² Л. А. Дмитриев. История открытия. . ., стр. 426—429.

стовского архиерейского дома находилось *пять хронографов и одна степенная книга*. Из них «представлены были к личному просмотру» Мусина-Пушкина, а затем и отправлены в его адрес *три хронографа и одна степенная книга*.

Мы, разумеется, не знаем, какие *три из пяти хронографов* были отправлены в 1792 г. в Синод из Ростова. Но в названном документе описаны все *пять хронографов* плюс одна степенная книга. И ни одна из этих шести аннотаций все же не совпадает с широко известным мусин-пушкинским описанием сборника, куда входило «Слово».¹³ Сборник этот, помимо знаменитой поэмы, как известно, охватывал еще семь других вполне самостоятельных произведений, тогда как рукописные книги из ростовского архиерейского дома, судя по их «паспортам», были *односоставными*.

Слабой стороной предположения Л. А. Дмитриева является также и то, что оно плохо согласуется с другим выдвинутым им же тезисом, согласно которому в подготовке к первому изданию «Слова» принимал участие И. Н. Болтин.¹⁴ Известно, однако, что И. Н. Болтин умер 6 октября 1792 г., тогда как хронографы из ростовского архиерейского дома были отправлены в Петербург А. М. Мусину-Пушкину 21 ноября этого года.¹⁵ Выходит, что над комментированием древнего памятника трудился воскресший И. Н. Болтин!

Попытка приписать рукопись «Слова о полку Игореве» к библиотеке ростовского архиерейского дома обнаруживает свою несостоятельность также и в свете одного документа, который остался неизвестным Н. К. Гудзию и Л. А. Дмитриеву. Это «репорт» ростовского и ярославского архиепископа Арсения, отправленный в канцелярию Синода 21 ноября 1791 г., из которого выясняется, что хранившиеся в библиотеке ростовского архиерейского дома *пять хронографов и одна степенная книга* были предметом «наиприлежнейшего рассмотрения» со стороны «духовных ученых людей» дважды: в 1778 г. (под наблюдением ростовского архиепископа Самуила) и в 1791 г. (под наблюдением архиепископа Арсения). Первый просмотр был произведен по требованию Синода, занимавшегося подборкой исторических сочинений для издания русских летописей, задуманного митрополитом Платоном. Второй просмотр был вызван известным указом Екатерины II и Синода, вменявшим всем епархиям, монастырским архивам и библиотекам собрать «все древние летописи и другие до истории касающиеся сочинения». О результатах названных двух просмотров архиепископ Арсений доносил следующее: «... как нужного в них (в пяти хронографах и одной степенной книге, — Ф. П.) к изданию в печать и достойного примечания не нашлось,

¹³ См.: Ироническая песнь... стр. VII.

¹⁴ Л. А. Дмитриев. История открытия... стр. 422.

¹⁵ Там же, стр. 426.

оним синодальным членом (т. е. архиепископом Самуилом, — Ф. П.) от 15 марта 779-го году репортом святейшему Синоду и донесено, что летописцев, принадлежащих к российской истории, достойных примечания и годных к изданию в печать, не оказалось, о чем святейшему правительствующему Синоду сим благопочтенно и репортую с таким при том донесением, что и ныне от духовных ученых людей (коим те хронографы и степенная книга препоручены были еще рассмотреть) репортами объявлено, что в оных ничего относящегося к российской истории, что бы не было напечатано и вновь из них к изданию подходило, не найдено».¹⁶

Содержание цитируемого «репорта», по-видимому, не вполне удовлетворило Мусина-Пушкина, и в бытность свою летом 1792 г. в Ростове он потребовал от находившегося с ним в добрых отношениях Арсения Верещагина высылки *трех хронографов и степенной книги* в канцелярию Синода. Тем не менее заявление Арсения о том, что в ростовских хронографах не содержалось ничего нового, наводит на мысль, что рукописи со «Словом о полку Игореве» там действительно не было. Автор «Слова», как известно, называл свое произведение «трудной повестью».¹⁷ В то же время синодальный указ 1791 г. вменял нижестоящим инстанциям в обязанность собирать не только летописи и хронографы, но и «повести или подобные тому сочинения, до российской истории относящиеся» (подчеркнуто нами, — Ф. П.).¹⁸ Не случайно поэтому Казанский архиепископ Амвросий 18 октября 1791 г. сообщил в Синод: «Старался я таковых повестей и летописцев искать в партикулярных обывательских домах, в коих и найдено две книги».¹⁹ О том, что в епархиях разыскивались для Синода не только летописи, но и повести, мы узнаем также из донесения архимандрита московского Ново-Спасского монастыря, костромского (он же галицкий) епископа и других подчиненных Синоду лиц и инстанций.²⁰

Сказанным выше, как нам кажется, подтверждается необходимость дополнительных разысканий об архимандрите Иоиле — разысканий, полностью свободных от исследовательского субъективизма и попыток подчинить факты наперед заданной схеме. В ожидании таких разысканий полезно будет обратить внимание на один документ, до сих пор не вовлеченный в научный обиход. Это — «последнее завещание архимандрита Иоиля», составленное им перед смертью (25.VIII.1798).

Из всего принадлежащего Иоилю Быковскому имущества несколько вещей было передано им в местную церковь Чудотворцев

¹⁶ ЦГИА, ф. 796 (Канцелярия Синода), оп. 72, ед. хр. 280, лл. 181 об. — 182.

¹⁷ См.: Ироническая песнь... стр. 1.

¹⁸ ЦГИА, ф. 796 (Канцелярия Синода), оп. 72, ед. хр. 280, л. 181.

¹⁹ Там же, л. 130 об.

²⁰ Там же, лл. 41, 190—200 и др.

(Псалтырь с воследованием, Служебник и ирмологии) и не названному по имени прислужнику из семинаристов (Священная история Ветхого и Нового завета, Правильник, О должностях пресвитеров, Духовный регламент и Розыск святителя Димитрия на раскольников). Все остальное имущество (библиотека, комнатная обстановка и т. д.), согласно приложенному к завещанию реестру, Иоиль передал несовершеннолетнему внуку своему Онуфрию Дорошкевичу. «Оного внука моего Онуфрия Дорошкевича, — гласит завещание, — с именем, которое по смерти моей ему принадлежит, поручаю в опеку ярославской казенной палаты советнику его высочородию Федору Степановичу Красовскому, которого он, Дорошкевич, как отца имеет почитать, во всем его слушаться».²¹

Поскольку О. Дорошкевич и Ф. С. Красовский принадлежали к ближайшему окружению Иоиля Быковского, их имена, доселе неизвестные, приобретают несомненный интерес для исследователей.

Еще более существенная ценность завещания состоит в том, что приложенный к нему реестр дает полное представление о библиотеке Иоиля, точнее, о том ее составе, которой она имела накануне его смерти.

Благодаря стараниям настойчиво и долго занимавшегося реконструированием библиотеки Иоиля В. В. Лукьянова, мы уже располагаем довольно значительным перечнем книг, в нее входивших (70 названий).²² Реестр, приложенный к обнаруженному нами «последнему завещанию», насчитывает 56 названий (106 томов). Любопытно при этом, что все книги, поименованные в перечне В. В. Лукьянова, в нашем реестре не значатся. Исключение составляют лишь «Деяния Петра Великого» И. Голикова, что, впрочем, объясняется тем, что 12 томов этого издания были включены в перечень В. В. Лукьянова не в результате ознакомления с ними *de visu*, а на основании логических умозаключений. Поэтому есть все основания полагать, что библиотека Иоиля в ярославский период его жизни постепенно сокращалась в объеме, и именно вследствие этого в реестр, составленный им накануне смерти, вошли далеко не все книги, принадлежавшие ему ранее. А это в свою очередь подтверждает правдоподобность относящихся к Иоилю слов А. И. Мусина-Пушкина, что «в последние годы жизни своей находился он в недостатке»,²³ что и способствовало обер-прокурору Синода приобрести у архимандрита сборник с рукописью «Слова о полку Игореве».

Состав небольшой библиотеки, которую сохранял у себя Иоиль до последних дней своей жизни (см. Приложение), лишний раз

²¹ ЦГИА, ф. 796 (Канцелярия Синода), оп. 79, ед. хр. 725, л. 2 об.

²² В. В. Лукьянов. Библиотека Иоиля Быковского. Сб. статей под ред. О. А. Державиной «Древнерусская литература и ее связи с новым временем» (М., 1967), стр. 49—53.

²³ «Записки и труды Общества истории и древностей российских при Московском университете», ч. II, М., 1824, стр. 35—36.

характеризует его как человека широких умственных запросов и развития, обладавшего несомненными познаниями в области всемирной и русской истории, не лишенного художественного вкуса и интереса к «изящной словесности». Но никаких указаний на наличие у Иоила Быковского творческих планов и рукописей художественного характера ни его «последнее завещание», ни упомянутый реестр не дают. Архимандрит Иоиль умер верным сыном православной церкви. Об этом красноречиво говорят не только первые три пункта его завещания, содержащие подробное расписание обряда предстоящих похорон, но и обильно представленные в его библиотеке сочинения религиозно-нравственного содержания («Наука благополучно умирать», «Щит против боязни смерти» и т. д.).

Сказанному, как полагаем, не противоречит наличие в библиотеке архимандрита книг масонского характера (см., например, №№ 13, 18, 21, 26, 27, 52).

Как бы ограничены ни были те дополнительные сведения об Иоиле, которые содержатся в его «последнем завещании», они дают весомый материал для новых раздумий и новых поисков, без которых история открытия «Слова о полку Игореве» рискует превратиться в повторение старых, не выверенных наукой версий или же в конструирование ничем не подкрепляемых гипотез.

П Р И Л О Ж Е Н И Е

РЕЕСТР КНИГАМ, ПЕРЕДАННЫМ ИОИЛЕМ БЫКОВСКИМ, СОГЛАСНО ЕГО ЗАВЕЩАНИЮ, ОНУФРИЮ ДОРОШКЕВИЧУ*

В четверть листа

1. Поучения Илии Миниятия.
2. Сочинения святителя Димитрия, три тома.
3. Разговоры о разных вещах <Разговоры разного содержания, СПб., 1774>.
4. Достопамятное в Европе <Рот Р, СПб., 1761>.
5. Опыт исторического словаря о российских писателях, СПб., 1772>.

В осьмуху

6. Летописец святителя Димитрия <М., 1784>.
7. Библия российская, два тома.
8. Любопытное путешествие христианина и христианки <Иоанна Бюниана>, 2 части.
9. Макария богословия и труды <Христианское училище, М.—СПб., 1799—1800>, 3 части.
10. Истина религии <вообще... Г.—Ф. Штендера, М., 1785>, 2 части.
11. Деяния Петра Великого <И. И. Голикова>, 12 частей.
12. Доказательство о бытии бога <Фенелона, М., 1778>.

* В угловые скобки данного реестра заключены уточнения, принадлежащие автору статьи.

13. Христианские размышления или беседы со Христом «М., 1784».
14. История о императоре Феодосии Великом «Флешье, Эспри, СПб., 1769».
15. Поучительные слова Карпинского «СПб., 1782».
16. Золотые часы государей «Антонио де Гевара, СПб., 1773—1780», 6 частей.
17. История Иерусалимская.
18. Наука благополучно умирать «Роберто Беллармино, части 1—2, М., 1783».
19. Беседы Иоанна Златоуста, 2 части.
20. Беседы Василья Великого.
21. Естественная богословия Дергама «М., 1784».
22. Лествица восхождения к богу «Роберто Беллармино, СПб., 1786».
23. Поучительные слова преосв. Платона в 11 томах «СПб., 1764».
24. О истинном христианстве преосв. Тихона «СПб., 1785», 3 тома.
25. Сокровище духовное преосв. Тихона «СПб., 1784», 2 книги.
26. Христианская философия, или Руководство к небесам «Джованни Бона, М., 1774».
27. Беседы Макария Египетского «М., 1782», 2 части.
28. Двести восемь священных историй «Гюбнера и Вагнера, 1775», 2 тома.
29. Цит против боязни смерти «Иоанна Герарда, М., 1783».
30. Квинта Курция «История об Александре Великом», 2 тома.
31. Белевы путешествия «чрез Россию в разныя азиатские земли, СПб., 1776», 3 тома.
32. Синопис и Летописец российский в одной книге.
33. Иродота Аликарнаского «Повествования, СПб., 1763—1764», 3 тома.
34. Робинзона Круза две части.
35. История родословная о татарах «Абу-л-Гази, СПб., 1768».
36. История польская «Солиньяка», 2 тома.
37. Марка Аврелия «Житие и дела».
38. Руководство к арифметике.
39. Велizar Мармонтеля.
40. Бишингова география.
41. История о «персидском шахе» Тахмас-Кулы-хане «СПб., 1790».
42. Курасова «сокращенная универсальная» история «СПб., 1762».
43. Новый способ лечить разные болезни.
44. Домашний лечебник «Матвея» Пекена «части 1—2, М., 1796».
45. Карманный лечебник.
46. Лишенный зрения «Ураний, соч. иеромонаха Аполлоса».

В 12-ю долю листа

47. Рассуждение «Какие законные причины Петр имел к начатию» войны шведской.
48. Пронски и хитрости воинские.
49. История о виконте Тюренне «Рагене, Франсуа, СПб., 1763—1764», части 1—2.
50. Детское училище «Лепренс де Бомона», 4 части.
51. Путешествие Кука «Генриха Циммермана, СПб., 1786».
52. Чувствования христианина «А. Т. Болотова, М., 1781».
53. История о разорении Трои «из разных древних писателей собранная».
54. История лакеца.
55. Размышления «англинского пресвитера» Додда «в темнице, СПб., 1784».
56. Молитвослов.

ЛЕТОПИСЬ ПЕТРОВСКОГО ВРЕМЕНИ, СОДЕРЖАЩАЯ ПОЭМУ СИМЕОНА ПОЛОЦКОГО

Летописи XVIII столетия, довольно многочисленные в наших рукописных собраниях, лишь сравнительно недавно начали подвергаться систематическому изучению историками. Между тем памятники эти интересны не только как исторические источники и образцы историографии, но, пожалуй, в гораздо большей степени — с точки зрения их литературного состава и самой литературной манеры составителей. Одна из особенностей, резко отличающих летописи петровского времени от всего предшествующего семивекового летописания, — частое присутствие в них стихотворных текстов. Тексты эти иногда весьма значительны по объему и порой не менее значительны по содержанию. Они бывают помещены в тематической связи с описываемыми историческими событиями, но сами по себе обычно исторического повествования не представляют. Характерный пример — похвальные вирши на воцарение Ивана IV, написанные как бы от лица современника. Они были обнаружены в трех рукописях (в хранилищах Москвы, Ленинграда и Ярославля), содержащих летописи, доведенные до 1702, 1705 и 1706 гг.¹ В разных вариантах вирши эти занимают от 16 до 18 строк. Две из названных рукописей содержат и другие стихотворные включения в свой летописный текст. Известна летопись петровского времени, имеющая пространное стихотворное введение.²

Большинство этих памятников — либо официальные летописи, созданные по прямому указанию царя, либо «официозные», отражавшие ориентацию своих составителей на идеологическую поддержку деятельности Петра I. Отсюда, например, концентрация внимания на борьбе Ивана IV за Прибалтику и

¹ Об этих летописях см.: А. Н. Насонов. Летописные памятники хранилищ Москвы (новые материалы). «Проблемы источниковедения», IV, М., 1955, стр. 277—278; В. В. Лукьянов. Описание коллекции рукописей Гос. архива Ярославской области XIV—XX веков. Ярославль, 1957, стр. 12—13.

² См. о ней: А. Н. Насонов. Летописные памятники..., стр. 279—280.

привлечении им иностранцев, апология его как противника старого боярства. Очевидно, в такого рода деятельности Грозного уже тогда усматривали историческую аналогию некоторым мероприятиям Петра.³

Иную идейную окраску имел чрезвычайно интересный памятник, привлекавший пристальное внимание ряда филологов последней четверти XIX—начала XX в. Была даже начата подготовка к опубликованию всего текста этой летописи, однако издание не осуществилось, а сама рукопись пропала. Одна из главных ее примечательностей заключалась в том, что в летописное повествование была включена обширная поэма Симеона Полоцкого — «Глас последний» царя Алексея Михайловича (вставка эта занимала в рукописи 43 страницы in folio, писанных убористым почерком). Составителя оппозиционного летописного сочинения привлекла, по-видимому, необычайная для того времени смелость этой «книжицы», где придворный поэт, адресуя произведение молодому царю Федору Алексеевичу, решился «выступить в роли наставника» и преподать своему государю «некоторые прямые уроки житейской и политической мудрости». ⁴ Выказывалось убеждение, что автором самой летописи был Карион Истомин — ученик и последователь Симеона Полоцкого. Кроме его поэмы, летопись включила еще и стихи о кончине Ивана Алексеевича. Бывший в 1698—1701 гг. начальником московского Печатного двора, К. Истомин известен главным образом как один из наиболее заметных представителей русского барокко — первого литературного направления в русской литературе.⁵

Предположение об авторстве Истомина впервые было высказано Л. А. Кавелиным на основании соображений, которые могут быть сведены к следующему: 1) автор летописи, судя по ее содержанию, — очевидно духовное лицо (каковым и был Истомин); 2) при описании стрелецкого бунта не использованы сохранившиеся собственные записки об этом событии Истомина, за которые он еще до составления летописи подвергался допросу и был лишен должности; 3) в заключительной части летописи обнаруживаются симпатии составителя к партии Милославских (к которой

³ Собранные А. Н. Насоновым в указанной работе данные доказывают, что составление официальных летописных сводов было развернуто при Петре I довольно широко и контролировалось им лично.

⁴ И. П. Еремин. Симеон Полоцкий — поэт и драматург. В кн.: Симеон Полоцкий. Избранные сочинения. Подгот. текста, статья и комм. И. П. Еремина. М.—Л., 1953, стр. 246.

⁵ И. П. Еремину принадлежит повторенный затем другими авторами вывод, что «историей направлений» русская литература «становится только со второй половины XVII века, когда наряду с формированием демократической литературы в литературе господствующих слоев населения сперва ненадолго утверждается «барокко» (в его украинско-польском варианте), а затем, в XVIII веке, — классицизм» (И. П. Еремин. Новейшие исследования художественной формы древнерусских литературных произведений. ТОДРА, XII, М.—Л., 1956, стр. 289).

принадлежал и Истомин); 4) в текст включено сочинение Симеона Полоцкого, почитателем которого был Истомин.⁶ Как видим, соображения Л. А. Кавелина, безусловно заслуживающие внимания, не доказывают еще, однако, авторства К. Истомина: среди писателей того времени были и другие лица, принадлежащие к духовному званию, являющиеся почитателями Симеона Полоцкого, сочувствовавшие партии Милославских и имевшие все основания не включать в свой труд записки Истомина, за которые поплатился их автор.

С. Н. Браиловский в специальном исследовании, посвященном Карionу Истомину, признает соображения Л. А. Кавелина основательными и дополняет их следующими аргументами:⁷ 1) И. И. Голиков в своих «Дополнениях к деяниям Петра Великого» ссылается на «Летопись монаха Истомина»; 2) в бумагах Истомина есть стихи на смерть царя Ивана Алексеевича, «о которых говорит арх. Леонид (Кавелин, — С. А.) как о заключающихся в „Летописце“»; 3) заметка летописи о походе Петра I на Архангельск «почти дословно сходна с такою же заметкою» в бумагах Истомина. Однако эти аргументы были оспорены С. О. Долговым, указавшим, что самих сведений, взятых И. И. Голиковым из «Летописца монаха Истомина», в летописи, приписываемой Карionу, нет; стихи на смерть Ивана Алексеевича есть в этой летописи, но отсутствуют в бумагах Истомина; при сличении летописной заметки о походе Петра I на Архангельск выясняется, что она не содержит текстуальных совпадений с соответствующей заметкой в бумагах Истомина и имеет с ней расхождения в деталях фактического порядка.⁸ Таким образом, вопрос о том, является ли «автором» летописи К. Истомин, остался открытым.

Летопись находилась в библиотеке Общества истории и древностей российских (куда она была передана в 1890 г. Л. А. Кавелиным) и описана Е. И. Соколовым среди других рукописей этого собрания под номером 419.⁹ В настоящее время собрание ОИДР хранится в Отделе рукописей Гос. библиотеки СССР имени В. И. Ленина. Однако сама рукопись № 419 считалась утраченной.¹⁰ Имелась в наличии лишь ее копия, снятая в 1890 г. при под-

⁶ Е. И. Соколов. Библиотека имп. Общества истории и древностей российских, вып. 2. Описание рукописей и бумаг, поступивших с 1846 по 1902 г. включительно. М., 1905, стр. 223.

⁷ С. Н. Браиловский. Один из пестрых XVII-го столетия. «Записки имп. Академии наук по историко-филологическому отделению», т. V, вып. 5, СПб., 1902, стр. 324—326.

⁸ См. рецензию С. О. Долгова на труд С. Н. Браиловского (Отчет о тридцать седьмом присуждении наград графа Уварова. «Записки имп. Академии наук по историко-филологическому отделению», т. II, вып. 1. СПб., 1897, стр. 256—258).

⁹ Е. И. Соколов. Библиотека. ..., стр. 221.

¹⁰ А. Н. Насонов. Летописные памятники. ..., стр. 280.

готовке летописи к опубликованию. Но скопировать успели только первые 84 листа рукописи из 275.¹¹ Таким образом, большая и наиболее интересная часть летописи, содержащая поэму Симеона Полоцкого и позволявшая решать вопрос об «авторстве» Истомина, не могла быть подвергнута дальнейшему исследованию даже по копии.

Мне посчастливилось обнаружить пропавшую рукопись в другом собрании Библиотеки имени В. И. Ленина — Музейном (фонд 178), под номером 10561. Хотя старый инвентарный номер не сохранился, не вызывает сомнений то обстоятельство, что эта рукопись — именно та, которая была описана Е. И. Соколовым под № 419. Совпадают не только содержание, время, формат и количество листов; все отмеченные Е. И. Соколовым специфические признаки, в том числе карандашные записи и пометки самого Л. А. Кавелина (текст которых приведен Е. И. Соколовым), наличествуют в рукописи ф. 178, № 10561.¹²

Текстологическое изучение вновь найденной летописи позволило внести уточнения в вопрос об «авторе». В подлинной рукописи нет того заглавия летописи, которым оперировал С. Н. Браиловский, — «Летописец великия земли Российския, составленный по повелению правительницы государства царевны и великой княжны Софьи Алексеевны (1682—1695) из древних ветхих и продолженный до 1705 года».¹³ Оно было предложено Л. А. Кавелиным¹⁴ и составлено, как оказалось, из первых слов подлинного заглавия рукописи: «Книга глаголемая Летописец великия земли Российския...»,¹⁵ и заключительных слов ее летописного текста (написанных позднее на приклеенном лоскуте бумаги): «Сей летописец списан с древних ветхих по велению царицы Софии Алексеевны и продолжен до 1705».¹⁶

Сам же летописный текст, начиная от своего действительного заглавия¹⁷ и вплоть до описания событий середины XVII в., поддается довольно точному определению. Это текст патриаршего летописного свода 1652 г., изученного и охарактеризованного на основании ряда других рукописей покойным А. Н. Насоновым — крупнейшим советским исследователем летописей, А. Н. Насонов указал восемь списков этого свода в хранилищах Москвы, семь

¹¹ Е. И. Соколов. Библиотека..., стр. 222, 444; А. Н. Насонов. Летописные памятники..., стр. 280.

¹² Е. И. Соколов. Библиотека..., стр. 221, 222; ср.: рукопись ГБЛ, ф. 178, № 10561, лл.: первый нумерованный при переплете об., II и 275 об.

¹³ С. Н. Браиловский. Один из пестрых..., стр. 324—325.

¹⁴ Е. И. Соколов. Библиотека..., стр. 222.

¹⁵ ГБЛ, ф. 175, № 10561, л. 1.

¹⁶ Там же, л. 275 об.

¹⁷ «Книга глаголемая летописец великия земли Российския великаго словянского языка, отколе и в которыя лета начаша быти великие князи и цари, и когда крещение прият Великороссийская земля» (ГБЛ, ф. 178, № 10561, л. 1).

из которых относятся к XVIII в.¹⁸ Кроме того, несколько рукописей свода 1652 г. попало мне в ленинградских хранилищах.¹⁹ А. Н. Насонов писал, что этот памятник сохранился «во многих списках, причем в ряде из них текст продолжен известиями последующего времени».²⁰

К числу продолженных списков свода 1652 г. и относится, как видим, летопись, содержащая поэму Симеона Полоцкого. Составителем самого свода, естественно, не мог быть Карион Истомин, так как он родился не ранее второй половины 30-х годов XVII в.²¹ Сильвестр Медведев, которого Л. А. Кавелин первоначально считал автором летописи,²² тоже не мог им быть, так как родился в 1641 г.²³

Очевидно, что анонимному почитателю творчества Симеона Полоцкого принадлежит не вся летопись, а заключительная ее часть, дополняющая свод 1652 г. повествованием о событиях второй половины XVII столетия и самого начала XVIII в.²⁴ Определенно решить, был ли это К. Истомин или кто-нибудь другой, трудно на основании анализа одной только этой летописи. Тем более, что она — не единственный пример использования стихов Симеона Полоцкого в летописании петровского времени. Другой памятник начала XVIII в., «Летопись Московского государства о нарочитых делах»,²⁵ после известия о рождении Петра I поместила посвященные этому событию вирши Симеона Полоцкого²⁶ (меньшие, впрочем, по объему, чем «Глас последний»)²⁷.

Летописные произведения Петровской эпохи нуждаются в специальном литературоведческом изучении всей их совокупности. Оно важно, думается, не только в интересах атрибуции многочисленных стихотворных частей и фрагментов, принадлежащих далеко не одному Симеону Полоцкому. Такое изучение безусловно позволит внести много нового и в более общие представления о творческой деятельности того круга писателей второй половины XVII—начала XVIII в., которых принято называть представителями русского литературного барокко.

¹⁸ А. Н. Насонов. Летописные памятники..., стр. 267—271.

¹⁹ Гос. Публичная библиотека имени М. Е. Салтыкова-Щедрина, Отдел рукописей, собр. М. П. Погодина, № 1406; собр. А. А. Титова, № 2975 и др.

²⁰ А. Н. Насонов. Летописные памятники..., стр. 268.

²¹ Известно, что мать К. Истомина Евдокия умерла в 1693 г. в возрасте 73 лет, следовательно, она родилась в 1620 г.; Карион же был не первым ее ребенком (см.: С. Н. Браиловский. Один из пестрых..., стр. 7).

²² Е. И. Соколов. Библиотека..., стр. 221.

²³ А. Прозоровский. Сильвестр Медведев (его жизнь и деятельность). М., 1896, стр. 45—47.

²⁴ «Глас последний» находится на лл. 202 об. — 226; вирши на смерть Федора Алексеевича — на л. 240.

²⁵ ГПБ, Q, IV, № 142.

²⁶ См.: А. Н. Насонов. Летописные памятники, стр. 280 (в указании шифра рукописи опечатка).

²⁷ Они занимают в рукописи лл. 144—145 (в четвертую долю листа).

СТАРЕЙШИЙ СПИСОК
«КНИГИ ТОЛКОВАНИЙ И ПРАВОУЧЕНИЙ»
ПРОТОПОПА АВВАКУМА

Сочинение Аввакума, известное в науке как «Книга толкований и правоучений» (написана в 1674—1677 гг.), занимает важное место в его творческой биографии. Это одно из самых крупных его произведений, в котором наиболее отчетливо выражены убеждения Аввакума, его манера истолкователя священного писания и народного проповедника. Кроме того, «Книга» насыщена характеристиками современников и событий своего времени. Не случайно она и адресована Симеону (Семену Ивановичу Крашенинникову). Это был любимый ученик Аввакума, земляк, видный и активный деятель старообрядчества.

Однако если другие крупные сочинения Аввакума дошли до нас во многих списках, а «Житие» даже в автографе, то этому произведению Аввакума явно не повезло. В полном виде «Книга толкований» сохранилась всего в одной рукописи первой четверти XVIII в., по которой впервые полностью издана в 1927 г. (отдельные части ее, но не все, имеются в нескольких поздних списках).¹ В XIX в. был известен еще один список XVIII в., так называемый Боровский, опубликованный Н. И. Субботиным и впоследствии утерянный (список довольно неисправный, содержал примерно одну треть текста «Книги»).²

В 1937 г. автору этой статьи посчастливилось найти в Усть-Цилемском районе Коми АССР еще один текст «Книги толкований и правоучений»

¹ Памятники истории старообрядчества XVII в., кн. I, вып. 1 (Русская историческая библиотека, т. XXXIX). Изд. АН СССР, Л., 1927, стлб. 425—576. Рукопись найдена П. Д. Богдановым в Москве и хранится в его собрании в ГПБ (шифр: О. I № 339). Водяной знак бумаги рукописи — шут с семью бубенцами. Описание рукописи см.: Каталог собрания славяно-русских рукописей П. Д. Богданова. Составил И. А. Бычков. СПб., 1893, стр. 1—3. Бычковым рукопись отнесена к концу XVII—началу XVIII в., но почерк ее явно более поздний.

² Материалы для истории раскола за первое время его существования, издаваемые под редакцией Н. Субботина, т. VIII, М., 1886, стр. 1—66.

в списке XVII в. Тогда же эта рукопись была приобретена и передана в Рукописный отдел библиотеки Академии наук СССР, в котором она хранится и в настоящее время.³

Рукопись представляет собой конволют, состоит из двух разновременных рукописей — XVII в. (70—80-е годы) и XVIII в. (20—30-е годы), размером в 4-ю долю листа, на 217 листах, написана полууставом и скорописью нескольких почерков. Переплет сборника — доски, покрытые тисненой кожей, с двумя медными застежками.

Лл. 1—115 об. — рукопись XVIII в. Бумага ее голландского производства с филигранью — герб г. Амстердама и фамилией фабриканта (Beauvais) — и второй филигранью — знак Pro Patria.⁴ Письмо — небрежный полуустав трех почерков: лл. 1—60 — один почерк, лл. 61—99 — другой почерк, лл. 100—115 об. — третий почерк. Содержание: цветник священноинюка Дорофея, главы 1—12 (лл. 1—60 об.), поучение о спасении (лл. 61—98), похвала книжному почитанию (лл. 98—99), житие Симеона Столпника (лл. 100—112), слово об убиении пророка Захарии (лл. 112—114) и слово Иакова на рождество богородицы (лл. 114 об.—115 об.). Три последних произведения в таком виде читаются в Минеях четьях митрополита Макария, под 1, 5 и 8 сентября.

Лл. 116—215 об. — рукопись XVII в. Бумага ее также голландского производства, но филигранные другие, более раннего времени: 1) гербовый щит с герольдическим знаком вместо короны и охотничьим рожком на перевязи внутри щита, датируемый 1663 г.;⁵ 2) круглый гербовый щит с геральдическими изображениями внутри и по обводке щита; 3) несколько вариантов шута с пятью бубенцами (1666—1674 гг.).⁶ Письмо — скоропись двух почерков (одна рукопись продолжает другую): лл. 116—180 об. — один почерк, лл. 181—216 — другой почерк. Содержание: «Книга толкований и нравоучений» протопопа Аввакума. На верхнем поле 199-го листа имеется владельческая запись скорописью XVII в. следующего содержания: «Сия книга Петра, Неронова сына Поздеева, самая полная». По верхним полям лл. 130 об.—148 пояснительные надписи писарской скорописью XIX в., похожей на почерк известного местного книгописца того времени И. С. Мяндина.

Владельческие и читательские пометы на рукописи есть также на листах I и II при переплете и на внутренних сторонах самих

³ Шифр рукописи: БАН, РО, т. п. № 105 (8779).

⁴ См.: С. А. Клепиков. Филигранные и штампы на бумаге русского и иностранного производства XVII—XX века. М., 1959, стр. 77, № 924.

⁵ См.: А. А. Гераклитов. Филигранные XVII века на бумаге рукописных и печатных документов русского происхождения. М., 1963, стр. 156, № 1102.

⁶ Там же, близкие изображения, стр. 194, № 1317, стр. 195, № 1321.

крышек переплета. Все они относятся к середине XIX в., одни — к 1864 г. и говорят о принадлежности сборника крестьянину Усть-Цилемской волости Якову Ивановичу Поздееву (а читали его местные крестьяне Василий Ефимович Кисляков и Осип Ляпунов). Переплет, судя по тиснению и по манере подклеек, работы И. С. Мяндина.

Список БАН содержит все пять частей «Книги толкований и нравоучений»: 1) толкование на Псалмы (Пс. 40, 41, 44, 83 и 102) с приложением суждений о деятельности Никона и наставления царю Алексею Михайловичу; 2) толкование на 9-ю главу Книги Притчей и 4-ю, 5-ю и 6-ю главы Книги Премудрости Соломоновой; 3) толкование на 12-ю, 35-ю и 55-ю главы Книги пророка Исаии с присоединением кратких рассуждений богословского характера; 4) нравоучение, как жить в христианской вере, с добавлением толкования на 80-е зачало Евангелия от Матфея; 5) обращение к адресату Книги Симеону (два послания ему) с упоминанием о самосожжениях старообрядцев, о казнях их за приверженность к старине и приветствие «всем чтущим и послушающим» посылаемое писание.

Как показывает текстологическое сравнение, список БАН является не только древнейшим списком и восстанавливает отдельные места, дефектные в рукописи ГПБ, но и текст его не является идентичным тексту Книги, сохранившемуся в списке ГПБ. Отличия списков следующие.

В списке БАН сохранился текст из толкования 44-го псалма, в котором Никон сравнивается с антихристом, утерянный в списке ГПБ.⁷ В списке БАН читается ряд строк, которые в списке ГПБ или совершенно отсутствуют, или же они так стерлись, что разобрать их сейчас нет возможности. Так, например, неразборчивая фраза на начальном листе списка ГПБ восстанавливается по списку БАН: «бога прогневаеши, многогрешная, но благослови господи внутреннем сердцем» (БАН, л. 116, РИБ, т. XXXIX, стлб. 427).⁸ Список БАН исправляет и другую фразу на этом листе о сотворении земли и неба (л. 116, стлб. 427).

В списке БАН имеются стилистические варианты. Учитывая, что обычно сочинения Аввакума переписывались почти без изменений, можно предполагать, что большинство этих вариантов принадлежит самому Аввакуму. Лишь некоторые из них следует отнести за счет небрежности копиистов и неразборчивости текста оригинала. Приведем несколько примеров.

⁷ Текст имелся и в боровском списке (Н. Субботин. Материалы для истории раскола, т. VIII, стр. 32—33).

⁸ Сравнение списка ГПБ производится по печатному изданию его 1927 г., цитаты сверены с рукописью. Далее указание на столбец означает список ГПБ, ссылка на лист относится к списку БАН.

БАН

Любит господь бог *кающихся*
(л. 144)
 Тако воля божия рачит, еже есть
 хочет в вас сего спряжения и
 и любви (л. 184)
 И я им стал говорить: что се тво-
 рите? (л. 203 об.).
 Зри как за сие не будет блажен
(л. 121 об.).
 Откуда, что бог *припадет*
(л. 147 об.).
 И *воздохни* и прослезися (л. 116).
 Плакася о первом том *согрешении*
(л. 203 об.).

ГПБ

Любить господь бог *покаяние*
(стлб. 478)
 Тако воля божия, — *хочет в нас*
 сего спряжения и любви
(стлб. 536).
 И я *говорю*: что се творите?
(стлб. 561).
 Вот как за сие не будет блажен
(стлб. 437).
 Отколи, что бог *подаст* (стлб. 482).
 И *воздыхаючи*, прослезися
(стлб. 427).
 Плакася о первой той *глупости*
(стлб. 561).

Заметим, что текст ГПБ в некоторых случаях стремится к большей разговорности стиля, а текст БАН дает более книжные формы.

Отметим также другие случаи расхождения текстов.

БАН

Хоще ли ин путь *покаяния по-*
кажу? (л. 144).
 Являя плачевное *сие* житие
(л. 148).
 Да вечныя *муки* мя и горести сво-
 бодиши (л. 181).
 Братия, братия *моя* и чада
(л. 186 об.).
 Шелепом приказал *бити*
(л. 204 об.).
 Возшумит же *удоль* *вся* плачевная
(л. 211).

ГПБ

Хощеши ли, ин путь тебе покажу
(стлб. 477).
 Являя плачевное *житие* (стлб. 484).
 Да вечныя *мя* горести *свободиши*
(стлб. 533).
 Братия *моя* и чада (стлб. 539).
 Шелепом приказал (стлб. 561).
 Возшумит же *удоль* *плачевная*
(стлб. 570).

Как видно из этих примеров, список БАН лучше сохранил первоначальный аввакумовский текст. По-видимому, к первоначальному тексту относятся и следующие две фразы из списка БАН.

БАН

Никон кайся вправду, Манасия
(л. 140).
 Чисты и хороши *Фиааретовы* и
Июсафовы *при царе* *Михаиле*
(л. 180).

ГПБ

Кайся вправду, Манасия
(стлб. 469).
 Чисты и хороши *Филаретовы* и
Июасафовы (стлб. 532).

В списке БАН встречаем также более правильные чтения и написания отдельных слов. Вот некоторые из них:

БАН

Да обновится, яко *орлу* юность
 твоя (л. 117).
 Во *Алексиконе* писано (л. 121)

ГПБ

Да обновится, яко *орела* юность
 твоя (стлб. 429).
 Во *Алексикове* писано (стлб. 436).

Надобе себя по опасности (л. 144).	Надобе себя по упасти (стлб. 476).
Где светлообразные рынды (л. 215).	Где светлообразные рывачьды (стлб. 575).
Он же не устыдеся гласа (л. 145 об.).	Он же не стыдеся гласа (стлб. 479).
Мертвенная телеса оживотворяются (л. 213).	Мертвенна телеса ожитворяются (стлб. 572).

Список БАН иногда сохраняет и характерное для аввакумовой речи употребление постпозитивного члена «от» (антихрист — от, л. 135 и др.). Не говорит ли все это о лучшей сохранности текста БАН? Кроме того, в нем имеются заключенные в квадратные и круглые скобки отдельные слова, предложения и целые периоды, не встречающиеся в таком виде в списке ГПБ и идушие, может быть, еще от автографа. Большинство подобных написаний относится к заголовкам и к текстам пояснительного характера. Ср.: БАН, лл. 123 об., 127, 129, 175 об., 178 об., 179, 200, 209 об. и др.; ГПБ, стлб. 441, 526, 529, 557, 568 и др. Наблюдается в списке БАН, правда, не очень часто, иное расположение слов в предложении (по-видимому, механическая перестановка слов переписчиками). Ср.: БАН, лл. 139, 206—207, 212 и др.; ГПБ, стлб. 468, 565, 568, 571 и др. Переписчиком первой части рукописи, возможно, был южанин, так как он иногда заменял *z* на *x*: *лехкий* (л. 127), *дахматное* (л. 146), *дахматах* (л. 180) и др. В то же время он путает *z* и *c*: *прозлезился* (л. 116) вместо *прослезился*, *сверь* (л. 127) вместо *зверь* и т. д.

Но и список БАН не является точной копией авторского текста, имеет немало всякого рода недостатков. Укажем для дальнейшей текстологической работы те листы и столбцы обеих рукописей, в которых есть дефектные чтения, искажения и пропуски в рукописи БАН.

Пропуски отдельных фраз и предложений, например на лл. 120 (стлб. 434), 134 (стлб. 461), 141 об. (стлб. 472), 147 об. (стлб. 482), 164 (стлб. 510), 174 (стлб. 523) и др. Отсутствие отдельных слов в предложениях — на лл. 116 (стлб. 427), 123 (стлб. 440), 128 об. (стлб. 450), 133 (стлб. 458), 134 (стлб. 460), 169 об. (стлб. 515), 203 (стлб. 560) и др. Пропуск усилительных частиц *веть*, *петь*, *ин* — на лл. 136 об. (стлб. 463), 137 (стлб. 465), 206 об. (стлб. 565) и др. Пропуски выносного *м* и *х* в конце слова — на лл. 136 об. (стлб. 464), 214 (стлб. 573) и др. Искажения слов в результате неправильного прочтения титл, за счет неразборчивости оригинала и небрежности писца — на лл. 116 (стлб. 427), 117 об. (стлб. 430), 119 (стлб. 433), 120 об. (стлб. 436), 121 (стлб. 437), 134 об. (стлб. 461), 135 (стлб. 461), 136 об. (стлб. 464), 142 об. (стлб. 474), 144 (стлб. 476), 146 (стлб. 480), 183 (стлб. 536), 188 об. (стлб. 541), 203 об. (стлб. 561), 204 об. (стлб. 562—563), 206 (стлб. 564), 208 (стлб. 567), 211 об. (стлб. 571), 212 (стлб. 571), 213 (стлб. 573) и некоторых других. По-ви-

димому, ближе стоят к автографу написания имен Осип Самовидец, Макар Антиохийский в списке ГПБ, чем в списке БАН Иосиф и Макария, хотя в первом они встречаются, и в такой же книжной форме — см. лл. 125 об. (стлб. 445), 215 об. (стлб. 575).

В списке БАН нет маленькой приписки в конце произведения с благословением «всех чтущих и послушающих» и благословением Симеона «сею Книгою». Сейчас трудно сказать, появилась она позднее или же была утеряна в протографе списка БАН.

Характерной чертой списка БАН, в особенности его второй части (с л. 180), является передача только через начальные буквы, чаще заключенные в скобки, большинства обозначений и выражений, которые связывают текст с конкретными лицами и событиями: имен царских особ, высшего духовенства, слов, входящих в царский титул, имя автора, адресата, слово «никонианин», отдельных резких выражений, направленных в адрес царя и главарей церкви. Так же пишется и ряд слов, совершенно нейтральных, не нуждающихся, казалось бы, в подобной зашифровке. Смысл всех этих действий ясен. Писец стремился замаскировать наиболее острые и опасные места «Книги толкований и нравоучений» на тот случай, если она попадет в руки врагов. Кстати сказать, это наблюдается при переписке и других сочинений Аввакума, но в меньшем количестве.

Таким образом, можно сделать вывод, что список БАН не происходит от протографа списка ГПБ или Боровского списка. Правда, он имеет ряд характерных чтений, связывающих его только с Боровским списком (ср.: БАН, лл. 134 об.—135 об.; Субботин. Материалы, VIII, стр. 32—33, РИБ, стлб. 461—463). Но в то же время он сохраняет такие чтения, которые имеются только в списке ГПБ и отсутствуют в Боровском. Мы не даем здесь ссылок на эти примеры, так как их очень много, они встречаются почти на каждом листе. Таким образом, протографом списка БАН была особая рукопись, не связанная с двумя ранее известными текстами. Это позволяет поставить вопрос о том, что Аввакум не один раз переписывал свою «Книгу толкований и нравоучений» и, не делая в ней существенных дополнений, все же местами вносил в текст некоторые изменения (список БАН отражает особую стадию его работы).

Несколько слов об истории создания и судьбе рукописи «Книги толкований и нравоучений», принадлежащей БАН.

Список БАН состоит из двух рукописей XVII в., писанных разными почерками, причем вторая рукопись является непосредственным продолжением первой. Это подтверждает сильно загрязненный вид первого и последнего листа списка и чистый вид первого листа второй рукописи, а также соединение двух частей прямо «в притык»: писец второй рукописи продолжил текст «Книги» даже не с новой строки, а с середины фразы. Отметим также, что вторая рукопись имеет свою новую тетрадную нуме-

рацию, начинающуюся с первой тетради. Очевидно, писцу важно было знать, сколько он переписал тетрадей для заказчика, ведь платили за работу частенько потетрадно. Вероятно, Петр Поздеев, имея у себя первую часть «Книги», заказал для себя продолжение. Только после этого он имел основания написать, что она «самая полная».

И «Книга», действительно, оказалась самой полной и самым старшим списком из всех дошедших до нас. Несомненно, что это еще прижизненная копия. Местами почерк первой части даже сближается с Аввакумовым (не сказало ли здесь влияние автографа?), но это не его автограф, а обычная копия, но написанная в Пустозерске. Это обстоятельство также придает особое значение списку БАН.

Как же список БАН связывается с Пустозерском? Выше было отмечено, что, согласно записи, рукопись «Книги» принадлежала в XVII в. Петру Неронову Поздееву.⁹ Эта фамилия — одна из старейших в Пустозерске и наряду с именем Неронко встречается здесь еще в XVI в. (произошла от прозвища «Поздейка», северное — отстающий, неуспевающий).¹⁰ До 1679 г. в Пустозерске проживал некий Иван Неронов (не брат ли Петра Неронова?), линежанин, торговый человек. В указанном году он, возможно, из-за начавшихся здесь преследований старообрядцев бросил избу и все имущество и сбежал в Холмогорский уезд, на Вагу.¹¹

О Петре Поздееве никаких других сведений, кроме его записи на рукописи, не имеется. Однако не вызывает сомнения его пустозерское происхождение, а его запись и оценка «Книги» говорят о том, что он был грамотный человек, интересовался сочинениями Аввакума и, возможно, был одним из сочувствующих его делу.

Неизвестно, кому принадлежала рукопись до 1864 г., но в это время, как мы уже отметили выше, ее владельцем был Поздеев Яков Иванович, крестьянин Усть-Цилемской волости (заметим, что усть-цилемская фамилия Поздеевых пустозерского происхождения). Спустя почти сто лет, в 1937 г., автор этой заметки обнаружил рукопись «Книги толкований» в семье А. П. Поздеевой (Асташевой), в дер. Кониных, в полуверсте от села Усть-Цильма. Не исключена возможность, что рукопись на протяжении более

⁹ Надпись прочтена с помощью фотографии в лучах собственной люминесценции, сделанной для нас любезно Д. П. Эрастовым.

¹⁰ «Книга платежница поморские Пустозерские волости» 1574 г. В кн.: П. А. Садиков. Очерки по истории опричины. М.—Л., 1950, стр. 464, 470, 472 и 475.

¹¹ Центральный государственный архив древних актов, ф. 137, № 96 (Городовая книга по Великому Новгороду 1680 г.), лл. 116—116 об., 119 об. В Переписной книге Пустозерского острога 1679 г. Поздеевы упоминаются не раз. Хранится там же, ф. 1209, № 366, лл. 8 об., 11, 30 и др. Имя какого-то Неронова упоминается также в пустозерском сборнике Аввакума, хранящемся в БАН, собрание В. Г. Дружинина, № 746, л. 108 об., как «самовида» пустозерской казни.

двухсот пятидесяти лет находилась у потомков Петра Поздеева, переходя от одного его поколения к другому.

Какое же значение имеет пустозерский список «Книги нравочений и толкований» для изучения творчества протопopa Аввакума? Прежде всего, без него теперь нельзя обойтись при издании сочинений Аввакума, при изучении творческой истории этого сочинения. Кроме того, что он сохранил наиболее полный текст и является старшим из известных списков, он впервые позволяет поставить вопрос о наличии нескольких редакционных вариантов «Книги толкований», принадлежащих самому Аввакуму. Список БАН свидетельствует также о том, что в Пустозерске имелись сторонники Аввакума среди местных жителей, которые интересовались его творчеством. Очевидно, именно они-то и помогали ему в первую очередь поддерживать сношения с внешним миром, несмотря ни на какие преграды со стороны властей острога. И именно им-то мы, по-видимому, и обязаны сохранностью многих произведений протопopa Аввакума.

СЕВЕРНАЯ ВОЙНА В ПРОПОВЕДЯХ ФЕОФАНА ПРОКОПОВИЧА

Значительное место в литературе петровского времени занимала пропаганда Северной войны. Для одержания победы над могущественным противником, каким являлась шведская армия, нужно было мобилизовать все силы народа. Пропаганда осуществлялась в газете «Ведомости», а также в официальных правительственных известиях — военных реляциях,¹ где в доступной для широких слоев населения форме рассказывалось о действиях русских войск.

Пропаганде политики Петра I и Северной войны были посвящены «слова» и «речи» духовенства. Феофан Прокопович, Гавриил Бужинский, Стефан Яворский, Феофилакт Лопатинский и другие представители церкви понимали значение Северной войны. Не будучи единомышленниками в решении многих важных вопросов, стоявших перед обществом того времени, они часто оказывались единодушными в оценке военных событий, хотя выражали свои мысли в разной форме. Официальные представители церкви рассказывали о победах русской армии, подвергали критике ее противников, прославляли Петра I и его сподвижников.

Проповедь — церковное поучение — произносилась в храме за литургией; в своей наиболее развитой форме («дидоскалии») содержала рассуждения и доказательства. Она являлась актом художественного словесного представления и воздействовала на чувства и логическое восприятие слушателей; могла вызвать у них смех или слезы. Наиболее талантливым оратором этого времени был Феофан Прокопович, автор широко известного в восемнадцатом веке учебника по красноречию. Исследователи считают, что политические выступления Феофана представляют «ярчайший образец передовой русской публицистики первой трети XVIII в.»² Они отличались

¹ См.: А. И. Кузьмин. Реляции Северной войны как памятник литературы. «Известия АН СССР», серия литературы и языка, 1967, т. XXVI, стр. 64—69.

² Ф. Прокопович, Сочинения, предисл. И. П. Еремина, Изд. АН СССР, М.—Л., 1961, стр. 3. Далее страницы этого издания указаны в тексте.

логическим построением, говорили о громадной эрудиции их автора.

Какое же толкование нашла Северная война в речах Феофана? Прежде всего интересно, как объяснял он ее причины.

В «Слове похвальном на день рождества . . . вел. кн. Петра Петровича» Феофан говорил о том, что шведы отняли у России берега «Ингрии и Карелии» (44). В проповеди, посвященной Ништадтскому миру,³ он указывал на то, что Россия была изолирована от морских путей, от «честной с лучшим светом коммуникации» (122), и через эту войну получила земной и водный путь и в иные государства и оградила себя от неожиданного нападения соседей (123). Точно такими же причинами объясняли войну и единомышленники Феофана Стефан Яворский⁴ и Гавриил Бужинский.⁵

Большое место при объяснении причин войны уделялось факторам моральным. Феофан много говорил о «гордыне» шведов, надеясь вызвать этим гнев исполненных религиозного смирения слушателей. Шведы «безмерно кичится и гордится и народи презирати навиче» (24). Русских они считали слабыми и отсталыми: «. . . соседи наши не могут извиниться от гордости, осуетившись бо высокоумием своим. . . народ наш, яко немощный и грубый, презирали» (51). Напоминалось об обидах, нанесенных личности царя. В марте 1697 г., отправляясь в первое заграничное путешествие, Петр I остановился в Риге. Комендант города граф Дальберг не разрешил царю осмотреть крепость, учинил ему «обиды» и «афронт». В «Слове похвальном о баталии Полтавской. . .» Феофан напомнил об этом грубом обращении, об «укоризне и гонению смертному» на Петра (52). Как мы видим, официальные представители церкви возникновение войны объясняли не туманными понятиями «господней воли», а вполне реальными экономическими и политическими причинами. Совпадали ли эти объяснения с правительственными установками и толкованиями?

В записке Ф. С. Салтыкова «Изъявления прибыточные государству» — одном из самых ранних политических документов, освещающих исторические предпосылки войны, указывалось на попытку шведов «похитить» без всяких «претензий и причин» наследственные русские земли. Об этом же писал и П. Шафиров в вышедшем в 1717 г. «Рассуждении, какие законные причины

³ «Слово о состоявшемся между империею Российскою и короною шведскою мире 1721 года, августа в 30-й день и должном нашем за толикую милость божию благодарении, проповеданное преосвященным Феофаном, архиепископом Псковским и Нарвским, в царствующем граде Москве, в церкви соборной Успения пресвятыя богородицы 1722 года, генваря 28».

⁴ См.: М. Морозов. Феофан Прокопович как писатель, СПб., 1880, стр. 87.

⁵ Проповеди Гавриила Бужинского. «Ученые записки Юрьевского университета», 1900, № 4, стр. 464.

е. ц. в. Петр I ... к начатию войны против короля Карола 12 имел». Шафиров указывал следующие причины войны:

1) привычную для Запада точку зрения на Россию, как на страну слабую и отсталую; шведы говорили, что «русскую каналию могут не токмо оружием, но и плетьюми из всего света, а не то что из земли их выгонить»;

2) нежелание допустить усиление соседнего государства: «Шведы всегда имели ревность и ненависть на народ Российский и тщились оный содержать в прежнем неискусстве, особливо же в воинских и морских делах».⁶

Как видим, в объяснении причин Северной войны проповедники придерживались петровской точки зрения. Они обрушивали на шведов проклятия и не скупились на библейские и исторические аналогии. Вместе с тем некоторые из них, и прежде всего Феофан Прокопович, указывали на сильные стороны противника и тем самым раскрывали трудности борьбы с ним. Вспомнив изречение древнего философа, который рекомендовал быть правдивым и уметь подмечать «добрые свойства» даже у своих врагов, Феофан высоко оценил шведов: они обогнали нас «как во всех прочих учениях, так и в воинском искусстве» (114); уже «не вчера» у них в школах, и в сенате, в учении и на практике изучают «философию политическую», но особенно много преуспели они в делах военных. У шведов были усвоившие свой и иностранный опыт искусные военачальники, хорошо обученное войско: сильные и выносливые солдаты («рядовой воин был сильный и во всяких трудах и безгодиях терпеливый»). Это качество они приобрели двояким путем: 1) от природы («зимних бо климатов народи, яко удобнейшие к войне, паче прочих от политиков похваляются»); 2) в результате частых и длительных походов.

Для ведения войны, указывает Феофан, Швеция имела деньги и первоклассное вооружение.

Большое значение придавалось «моральному духу»: «... что всего есть большее, вси равно и по государе и по отечестве своем ревнующим» (155). Положительные качества, присущие шведам, еще больше подчеркивали их пороки. Будучи народом высокоразвитым и богатым, они не гнушались насилием и грабежами: «Кий град и кий дом избеже опасной и многоочной его ненасытности?» (26), — восклицает Феофан. Он обвинял их в ограблении Польши, Саксонии, Курляндии и Силезии.

Феофан стремился растолковать важность всех петровских мероприятий, показать, что они нужны для укрепления страны и для победы. Он гордится тем, что Россия занимает огромное пространство, гением Петра I; страна преобразилась: на месте грубых хижин построены светлые палаты; там, где были леса, вы-

⁶ Стр. 40, 74, 76.

росли города и крепости, созданы новые правительственные учреждения. Большое значение Феофан придавал просвещению народа — устройству школ, печатанию книг, развитию искусства: «Уже и свободные учения полагают себе основания, идеже и надежды не имеху, уже арифметическия, геометрические и протчия философския искусства, уже книги политическия, уже обоей архитектуры хитрости умножаются» (44). Как смотрели на допетровскую Русь иноземцы? У народов политических мы считались варварами, говорит Феофан, у гордых пребывали в презрении, у мудрых почитались невеждами, для хищных мы были желанной добычей; «у всех — нерадими, от всех — поруганны» (46). Многие считали, что в столкновении со шведами русские потерпят поражение и погибнут. Противники наши склонили на свою сторону гетмана Мазепу. Гневными словами осуждает Феофан предательство: «... скверное лице, мерзская машкора, струп и студ твой, Малая Россие, измена Мазепина. О врага нечаянного! О изверга матери своея! О Иуды новаго! Ниже бо да возмнит кто излишнее быти негодование Иудю нарицати изменника» (54). Поступок Мазепы Феофан сравнивает с поведением супостата, который во время пожара бросает в горящий дом сено и солому, или во время бури пробивает в корабле скважины. «Пси не угризаят господий своих, звери свирепыя питателей своих не вредят; лютейший же всех зверей раб, пожела угристи руку ею же на толь высокое достоинство вознесен...» (28). Не менее гневными словами поносит изменника Стефан Яворский и другие проповедники.

Несмотря на стечение гибельных обстоятельств, Россия одержала победу. Недруг наш «побежден есть тогда, егда мняшеся победу в руках держати» (29).

Кому же обязана Россия столь славными победами? Феофан исходит из платоновского учения о государстве: все общество строго разделено на сословия, каждому из них присущи определенные функции: «кому служить, кому господствовать, кому воевать, кому священствовать и прочая» (97). Феофан словно не знает о том, что тяготы войны несет на себе простой народ. В речи «Колесница торжественная» он осуждает его за проявления недовольства. Во главе общества стоит царь. Победу дал бог Петру, а уж царь дал ее народу («... сей богом тебе и тобою всем нам дарованной победы...» — стр. 23). Эта мысль повторяется в проповедях неоднократно. В «Слове похвальном о флоте российском и о победе галерами российскими над кораблями шведскими иулиа 27 дня полученной...» Феофан благодарит бога за то, что он внушил царю мысль создать морской флот, и восхваляет Петра. В «Слове на Полтавскую победу» он говорит о «неопределенном мужестве и храброй силе светлейшего монарха». Свое отношение к царской власти Феофан выразил в трактате «Правда воли монаршей» (1722), где писал, что всякая верховная власть конечной

своей целью имеет всенародную пользу. Еще раньше эту мысль он высказал в «Слове на Полтавскую победу»: слуги и подданные должны служить царю, и царь в свою очередь служит своим подданным (28).

Большую роль отводит Феофан и созданной Петром I армии: старое стрелецкое войско уже не обеспечивало задачи обороны. Из защитника отечества оно превратилось в лютого врага, и если бы его не ликвидировали, «была бы то гангрена некая, свое, а не чуждее тело вредящая» (116). Феофан ратует за создание современной, оснащенной новейшим вооружением армии — «воинства регулярного, страшной артиллерии, флота морского» (124). Кроме армии, нужен и флот. До Петра в России не было военно-морского флота; созданию его проповедник посвящает особенно много внимания. «Мы точно вкратце рассудим, как собственно российскому государству нужный и полезный есть морской флот. . .», — говорит он в «Слове похвальном. . .», посвященном победе при о. Гренгам, — «. . . понеже не к единому морю прилежит пределами своими сия монархия, то как не безчастно ей не иметь флота? Не сыщем ни единой в свете деревни, которая над рекою или озером положена и не имела бы лодок. А толь славной и сильной монархии, полуденная и полунощная моря обдержажшей, не иметь бы кораблей, хотя бы ни единой к тому не было нужды, однако же было бы то бесчестно и укорительно» (107). Нападение, совершенное неприятельским войском, можно предупредить, о нем слышно издали, осуществляется оно не так неожиданно и скоро, как приход вражеского флота. С морской силой противника можно бороться, только имея свой сильный флот. Примеры многих разоренных государств учат нас уделять большое внимание вооруженным силам, «оружие держати крепко, искусно и неусыпно» (124).

«Премудрых военачальников» и «непобедимых воинов», которые помогли царю одержать победы, Феофан называет «крепкими столпами» и «адамантовыми щитами» отечества (36). «Не краткаго слова, но вечнаго прославления достойни есте», — восклицает он, обращаясь к участникам сражения при острове Гренгам 27 июля 1720 г. — Должны блажити вас стари, должны на образ ваш смотрети юнии, должен нынешний век величати, должен будет славити и последний род» (112).

У Феофана имеется и своя теория войны. Всякая война подобна болезни, но коль скоро человек заболел, то лечить его нужно разумно. Ведение боевых действий на своей земле проповедник сравнивает с болезнью, поразившей внутренние органы: усиливается страх, разбегаются и прячутся жители, прекращается торговля, уменьшаются доходы от таможенных сборов, противник грабит и разоряет хозяйство, поднимает голову измена. Болезнь внутри лечить труднее, «нежели вреды на верх тела» (27), поэтому Феофан рекомендует наступательную тактику, ведение воен-

ных действий на территории противника. Одержав победу, нужно не успокаиваться на достигнутом. Неприятель всегда захочет вернуть потерянное. «Не меньшая бо слава есть удержати завоеванное, нежели завоевать — давняя есть пословица» (108).

Каковы же художественные достоинства «слов» и «речей» Феофана? Многие его проповеди состоят из двух главных частей: общей, в которой говорится о причинах, приведших к данному событию, и конкретной, о факте, которому посвящена проповедь. Так, одна из лучших его речей, «Слово похвальное о флоте российском...» содержит историю создания русского флота и описание последнего сражения, которое как бы подтверждает примером положения первой общей части.

Феофан Прокопович, Гавриил Бужинский, Стефан Яворский как писатели принадлежат к школе барокко. В славянских странах этот стиль раньше всего проник на Украину, в духовные школы, откуда приехали наиболее выдающиеся проповедники петровского времени. Большое развитие в этом стиле получает аллегоризм. Герб Швеции включал изображение льва. Очень часто шведы и их король в проповедях изображаются в виде льва, например у Феофана: «Забыв себе льва быти, употреби лисовой хитрости и татьски нападе на полки твоя» (30). У Гавриила Бужинского: «Камнем Давид опроверже Голиафа, камнем порази и поражает льва свейскаго».⁷ Но не только отличительный знак шведского государства позволял сравнивать Карла XI с этим сильным и смелым хищником. Действиям шведов присущи были мужество, дерзость, сила, т. е. те свойства, которые характеризуют «царя зверей». В одном из «слов» Феофан сравнивает шведов с медведем, отведавшим крови и ставшим от этого еще более свирепым. Россия с ее беспредельными просторами уподобляется морю, в котором, как олово, утонула шведская армия (35).⁸

Особенно широко символику и аллегоризм использовали Гавриил Бужинский, Стефан Яворский и другие проповедники. Образы библии и античной мифологии у них часто затмевали смысл. В «Слове на взятие Шлиссельбурга» Ст. Яворский представил Петра I в образе пророков — Даниила, Иезекииля и Моисея, четырех херувимов, Геркулеса и т. п. Христа он называет «кавалером небесным».

Накопление сходных определений — амплификаций — приводит к появлению сложных и многосложных слов.⁹ У Феофана часто встречаются слова такого типа: клятвoprеступный, благорассудный, многомятежный, богомудрый, беспечальный, порфиородный.

⁷ Проповеди Гавриила Бужинского, стр. 461.

⁸ Сравни с библейским: «...и покрыло их море: они погрузились, как свинец, в великих водах». Исход, ст. 15.

⁹ См.: И. П. Еремин. Литература древней Руси. Изд. «Наука», М.—Л., 1966, стр. 209.

Словарный состав «проповедей» отличается макароническим смешением. Здесь славянизмы: егда, глаголати, бехом, аки, всуе, вкупе, обаче; латинские слова: виктория, трибун, консул, протекция; греческие: нектар, обелиск, ритор; французские: акция и др.

Имеет место и перифраз, когда вместо точного названия оратор прибегает к описанию: Мазепа — «внутренний супостат» (29), «проклятый зменник» (26); шведская армия — «оружие носящие супостатские вои» (33), и т. п.

Одним из признаков стиля барокко является «совмещение на одной плоскости христианской мифологии и греко-римской». Примеры подобного смешения мы уже приводили.

Библейский эпитет «мышца высокая» (32, 35) и библейское олицетворение «кровь вопиет» (55) сосуществуют у Феофана с народной пословицей: «противо рожна прати» (97), «не разом Краков будовано» (45), «не урод телом, но дивен делом» (106); с олицетворением, присущим народному искусству: признаками живого существа он наделяет Днепр, который устыдился послужить изменникам и врагам и «пожрал» их во время переправы (33). Широко использованы в речах и словах поэтические сравнения. Феофан говорит о нападении русских галер на шведские корабли и сравнивает их действие с «еллинским» Геркулесом, поразившим кита; вспоминает из библии книгу пророка Ионы и книгу Маккавейскую. Согласно законам искусства церковного красноречия, проповедники широко пользовались риторическими вопросами и обращениями. У Феофана встречаем обращение к России, к Петру, к полтавскому полю, к Мазепе, к богу, к библейским и античным героям и т. д.

Проповеди осложняются различного рода вставными новеллами; так, Феофан приводит рассказ Герберштейна о могуществе русской армии (25), объясняет Пуническую войну (29), пересказывает «естествоспасателей» (35). В некоторых «словах» используется прием, когда внешняя форма высказанной мысли противоположна ее внутреннему значению: «Мнози бо уже достигоша Москвы, но мнози под Полтавою возлюбиха место» (35), иронизирует Феофан над шведской армией. Мазепу он называет «непобедимым», который также шел на Москву, но «от пути дому своего заблуди» (35).

Художественную образность «словам» придавали лирические эпитеты: «печальная пагуба», «сладкие надежды», «лютая война», «военный пламень», «крылатый ковчег», «адамонтов» щит, «трепетное бегство», «оледенелые сердца», «понурыи изменник», «железный желюд» и т. п.

В ораторское искусство мощной струей вторглись новые художественные образы и понятия, вошедшие в обиход в связи с изменениями жизни и быта. В проповедях Феофана Россия сравнивается с кораблем, которым должен управлять опытный кормщик

(41).¹⁰ Гавриил Бужинский сравнивает верующего с моряком, который благополучно приводит в гавань поврежденный бурей корабль («Корабль от волн повреждены, машты имущи переломлены, пароси передраны, ванты и прочие снасти перерваны»).¹¹

Мы уже отмечали, что Ф. Прокопович, Ст. Яворский, Г. Бужинский отличались каждый своим стилем проповеди. «Слова» С. Яворского и Г. Бужинского по своему стилю более консервативны, отличаются ярко выраженным церковным словарем и малодоступны слушателям. У Феофана явное стремление стать понятным слушателю, его проповеди приближаются к политической речи. Для лучшего воздействия на слушателей он наполнял речи актуальным содержанием, использовал конкретные живые образы, упрощал язык. Он был против «высокопарных» и «гремящих слов». Оратор должен «собрать высокие и разум пленящие мысли, утвердить их на истинных и ясных доказательствах, произносить со сладостью и приятством». Некоторые творческие приемы его ораторского искусства использовались и позднее, когда время требовало от людей героики.

¹⁰ Ср. у Пушкина о Петре I: «Сей шкипер был, Тот шкипер славный, Кем наша двигнулась земля, Кто придал мощно бег державный Рулю родного корабля» («Моя родословная»).

¹¹ Проповеди Гавриила Бужинского, стр. 481.

СТИХОТВОРНОЕ АКАДЕМИЧЕСКОЕ ПРИВЕТСТВИЕ 1727 г.

(К ИСТОРИИ РУССКОГО ТОНИЧЕСКОГО СТИХОСЛОЖЕНИЯ)

Большой интерес, проявляемый в последние десятилетия в советском и зарубежном литературоведении к истории русского стихосложения, в особенности ее начальному периоду, не сопровождался, к сожалению, расширением круга анализируемых материалов. Стиховеды, по-видимому, не считают целесообразным обращаться к архивным и даже печатным источникам, чтобы привлечь новые, неизвестные данные, может быть, полагая, что никакие находки сейчас уже невозможны, или считая, что наличный материал вполне достаточен для исследования и выводов и потому не нуждается в дополнениях. В результате такого пренебрежения к источниковедческим разысканиям многие интересные вопросы начального этапа в истории русского тонического стихосложения остаются не освещенными. Таков, например, вопрос о появлении первых (после тонических виршей пастора Глюка и магистра И.-В. Пауса) собственно русских опытов тонического стиха, или другой вопрос: были ли у Глюка и Пауса продолжатели, или же их стихотворческая деятельность осталась совершенно обособленным эпизодом в истории русской версификации? Не обращает на себя внимание также вопрос о времени возникновения русского белого стиха и т. д.

Настоящая статья не претендует на какой-либо «переворот» в освещении истории русского тонического стихосложения. В сборнике в честь одного из самых замечательных литературоведов первых двух третей нашего столетия, Н. К. Пиксанова, более полувека назад обращавшего внимание на необходимость тщательного изучения истории русской лирики XVIII в., мне представляется уместным сообщить некоторые материалы по ранней истории русского тонического стиха. Эти новые данные частично отвечают на некоторые из перечисленных выше вопросов.

В 1911 г. в «Русском архиве» было напечатано сообщение археолога И. П. Мордвинова под заглавием «Академическое поздравление императору Петру Второму. На обручение его с княжною Мен-

шиковой 25 мая 1727 г.»¹ В этой статье, после короткой вводной заметки, были опубликованы поздравительные стихи по рукописи начала XVIII в.,² извлеченной из бумаг акад. Я. И. Берендикова (1793—1854). И. П. Мордвинов не осветил вопрос о том, как поздравительные вирши попали в архив акад. Я. И. Берендикова. Несомненно, эта рукопись принадлежала раньше Академии наук, а затем, очевидно, была взята из так называемых «неподшитых дел» и попала к акад. Берендикову, известному археографу первой половины XIX в. Каким образом она оказалась в руках И. П. Мордвинова и где она сейчас, мне неизвестно.

Издатель стихов 1727 г. указал, что они были написаны от имени Академии наук по поводу обручения Петра II с М. А. Меншиковой и что в конце рукописи имеется подпись: Иван Верещагин. По словам Мордвинова, рукопись представляет черновик, на котором ясно отразилась работа стихотворца над своим произведением. В самом деле, воспроизводя текст стихов, Мордвинов в подстрочных примечаниях привел разночтения, показывающие процесс работы стихотворца.

Характеризуя художественную ценность «академического поздравления», Мордвинов писал: «Поздравительное упражнение Верещагина, если сравнивать его с сатирами Кантемира или виршами Магницкого, далеко не блещет достоинствами». «Впрочем, — прибавляет издатель, — необработанность может объясняться тем, что стихи предназначались, судя по некоторым отметкам в подлиннике, к переводу на латинский язык».³

Оценку Мордвинова в общем следует признать правильной; стихи, опубликованные им, мало изящны, неблагозвучны, порой беспомощны, иногда в них трудно даже уловить смысл, словно они писались не русским человеком. Однако они представляют некоторый исторический интерес, и потому я воспроизвожу их здесь с примечаниями Мордвинова.

*Державнейшему императору
Петру Второму
на благополучный день обручения своего*

1

Небо омрачается,
а Петрово солнце ясно.
Провалися темнота,
чаяние бо не напрасно.
Слава Перваго Петра
на горах алмазных стонт,
а тую уже всегда
внук его всю вновь устроит,

¹ «Русский архив», 1911, кн. 1, стр. 297—300.

² И. П. Мордвинов сообщает, что публикуемое им стихотворение написано на бумаге с водяным знаком, но каким именно — не говорит.

³ Там же, стр. 297.

2

Русе! ^а Счастье твое
 врагам всяким ненавистно, ^б
 виждь ты первоюродие
 радости твоей ^в корыстно.
 Второй Петр возшед на трон,
 по желанию ^г водарится,
 от высоких всех персон
 со светлейшею дружится.

3

Императрица новая
 здешняя есть ^д вам уж сулила,
 в сердце вся вам добрая
 постоянно заключила. ^е
 Ново счастье настает.
 Ты отца ее узнаешь
 светом ты ^ж называешь
 он тебе пожелует. ^з

4

Сердце коронованное
 в княжеском гербе от всех зримо ^и
 Се! по вышше взятое
 кому ^к оно не любимо? ^л
 Петр то сердце принимал,
 заключа в свою корону,
 да оно покоевал
 на багряном царском трону.

5

Боже! ублажи союз
 превысоко обрученных,
 отврати же всякой трус,
 удоволствуй подданных.

^а Первоначально стояло: Росиа. Зачеркнуто и переправлено: Земле. Вновь зачеркнуто и сверху заменено крайне редкой формой.

^б Написано в выноске вместо зачеркнутой строки: враги ревнуя глядят.

^в Далее вычеркнуто слово: опять.

^г Первоначально в строке было написано: его наследие. Слова эти подчеркнуты прерывистой чертой и в выноске, рядом со строкой, переделаны: всем во обще блго; это зачеркнуто и заменено: всем во блго.

^д Это слово вставлено над строкой.

^е В тексте стояло: намерила; зачеркнуто и заменено в выноске: обещала; снова зачеркнуто и заменено приводимым словом.

^ж Первоначально стояло: и помощником. Зачеркнуто и над строкой надписано: и Светом ево. Подчеркнуто и в выноске исправлено: Светом ты.

^з В данной строфе, обращенной, по смыслу стихотворения, к Петру II, отец невесты, Александр Данилович Меншиков, именуется «Светом», который чем-то «пожелует» жениха.

^и Исправлено из слова: видимо.

^к После этого было вставлено зачеркнутое потом слово: будет.

^л Данная строка взята из выноски, заменяющей первоначальный зачеркнутый текст: высоты достойно.

Слыши все желание,
что сердчно мы просили,
дабы новообрученные
Счастливо и царски жили.^м

И. П. Мордвинову осталось неизвестным, что он нашел вовсе не оригинал, с которого должен был быть, по предположению издателя, сделан перевод на латинский язык,⁴ а, напротив, перевод с печатных академических виршей, написанных на немецком и латинском языках. Мордвинов опубликовал фактически два текста: первый, представляющий перевод с немецкого, озаглавлен «Державнейшему императору Петру Второму на благополучный день обручения своего» и перепечатан выше, а второй — перевод латинского — называется «Его императорскому величеству Петру Второму августу императору и самодержцу всероссийскому в день обручения его Академия Петербургская».⁵ Оба произведения дошли до нас как в печатном издании 1727 г. (хранятся в Архиве АН, в так называемых «портфелях Миллера»; кстати, это первые вообще стихотворные поздравления Академии наук), так и в перепечатке конца XIX в.⁶

Первое академическое стихотворное поздравление на немецком языке сочинено акад. И. С. Бекенштейном⁷ и озаглавлено «Unserem grossen Kaysser Petro II Auf den glückseeligen Tag dessen Verlöbnißes»; второе, латинское, стихотворение было написано акад. Т. Э. Байером⁸ и напечатано под заглавием «Ad Petrum Secundum Augustum Totius Russiae Imperatorem. Die, quo sponsalia celebrabat, Academia Petropolitana».

Второе стихотворение переводилось с латинского прозой и дословно, с очень немногими изменениями, например имена Мецената и Агриппы были переданы словами «покровитель» и «благодетель» (первоначально — «протектор» и «защитник»). Следовательно, для истории русского стихосложения оно бесполезно, и потому останавливаться на нем не имеет смысла.

Значительно больший интерес представляет перевод немецкого стихотворения. Последнее написано четырехстопным хореем; лицо, переводившее его на русский язык, определенно стремилось соблюсти размер подлинника. Это легко заметить из приведенного выше полного текста перевода и из сравнения первой строфы оригинала и перевода:

^м Сокращения слов, имеющиеся в публикации Мордвинова, мною не сохранены.

⁴ Впрочем, на стр. 299 издатель пишет, что публикуемое им ниже стихотворение «или перевод с латинского или материал для перевода на латинский».

⁵ Этот перевод здесь не перепечатывается по причине, изложенной ниже.

⁶ Материалы для Истории имп. Академии наук, Т. I. СПб., 1885, стр. 260—263.

⁷ П. П. Пекарский. История имп. Академии наук, ч. 1, стр. 203.

⁸ Там же, стр. 161.

Russlands Himmel schwärzet sich
 Aber Petri Sonne strahlet.
 Finsterniss, verziehe dich,
 Weil schon neues Hoffen prahlet.
 Petri Primi grosser Nahm
 Steht auf Diamanten Hügeln:
 Aber ihn wird wundersam
 Dessen Enckel erst versiegeln.

Небо омрачается,
 А Петрово солнце ясно.
 Провалился, темнота,
 Чайнье⁹ бо не напрасно.
 Слава Первого Петра
 На горах алмазных стоит,
 А тую уже всегда
 Внук его всю вновь
 устроит.

Сопоставление не только данной строфы, но и всего текста показывает, что перевод сделан довольно свободно, не слишком удаляясь от подлинника, но и не следуя ему рабски. Иногда, впрочем, перевод оказывается непонятным без обращения к немецкому подлиннику. Таковы, например, во второй строфе стихи 3—4:

Видь ты перворожде
 Радости твоей корыстно.

В данном случае немецкий поэт сказал следующее: «Воззри на первый плод уготованных тебе радостей».¹⁰

Однако, как уже было сказано выше, самое интересное в данном переводе — это явное стремление автора выдержать размер четырехстопного хорей, которым написано стихотворение акад. Бенкенштейна, а также форму строфы. Единственное отступление в порядке следования стихов в строфе допущено переводчиком в стихах 6 и 7 строфы 3.

В нескольких случаях в переводе встречается несоблюдение размера,¹¹ но чаще всего это лишь результат непоследовательного написания некоторых слов. Так, в строфе 1 стих 3 будет более или менее правильным, если слово «чаяние» будет прочтено как «чаянье». То же относится и к стиху 6 строфы 2: «желанию» — «желанью», к стиху 5 строфы 3: «счастье» — «счастье». В стихе 6 строфы 1 слово «стоит» имеет для рифмы ударение на предпоследнем слоге: «стóит», что вполне отвечало вкусам эпохи; такое же допустимое нарушение ударения («противусильная рифма») находится в стихе 8 строфы 2: «дружится» (рифма: «воцарится»).

От немецкого оригинала переводчик усвоил не только хорейский размер, но и рифмовку дактилическо-хорейского характера, по типу немецкой рифмы *Nahm — wundersam* (строфа 1, стихи 5, 7), *Eufersucht — Frucht* (строфа 2, стихи 1, 3); ср. в переводе: омрачается — темнота: твоё — перворождиё (строфа 2, стихи 1, 3), настаёт — пожалуёт (строфа 3, стихи 5, 8), принимал — покóевáл

⁹ О замене в этом стихе формы «чаяние» формой «чаянье» см. ниже.

¹⁰ Sieh die allererste Frucht
 Der dir zgedachten Freuden.

¹¹ Строфа 3, стихи 1, 2 и 7; строфа 4, стих 1; строфа 5, стихи 4 и 7.

(строфа 4, стихи 5, 7) и т. д. Подобную рифмовку применял и известный магистр И. В. Паус в своих русских виршах.

Таким образом, перевод целиком укладывается в ту линию исканий новой версификации, которая связана с деятельностью переводчиков Академии наук в области придворно-панегирической поэзии и о которой я писал в статье «Из истории русской поэзии первой трети XVIII века».¹²

Новые версификационные опыты переводчика ограничились только первым стихотворением; перевести написанное гекзаметром второе «поздравительное поднесение» он не пытался.

Кто же был переводчик академического приветствия? Этот вопрос может показаться лишним после недвусмысленного указания Мордвинова, что «под стихотворением подпись: Иван Верещагин». Однако подпись эта стоит только под вторым стихотворением; под первым, по указанию Мордвинова, значится так: «Его Имп. вел. всеподданнейшая Академия», чего, кстати, нет в немецком тексте, перепечатанном в «Материалах по истории Академии наук». Да и означает ли подпись обязательно автора или переводчика?

Дело в том, что собранные мной биографические сведения об Иване Верещагине не дают оснований безоговорочно принять утверждение Мордвинова. Вот что удалось найти в доступных мне источниках о предполагаемом переводчике академических виршей 1727 г.

Иван Верещагин состоял с начала 1726 г. копиистом Академии наук с окладом в 100 руб. в год.¹³ В 1730 г. он уже числился канцеляристом и получал 200 руб. в год,¹⁴ причем был личным секретарем президента Академии Л. Блументроста.¹⁵ Вероятно, непосредственное знакомство президента с Верещагиным было причиной того, что в конце 1731 г. канцелярист Верещагин был назначен трезорье (казначеем) Академии с окладом 400 руб.¹⁶ Но это повышение оказалось роковым для недавнего копииста: он произвел крупную по тому времени растрату в 1092 руб.,¹⁷ «бежал с чужим пашпортом», но через некоторое время явился с повинной и в августе 1734 г. был отдан «в полевые полки в солдаты».¹⁸ Больше сведений о нем в «Материалах АН» не сохранилось.

Мне представляется сомнительным, что Ив. Верещагин был действительно переводчиком академических стихотворных поздрав-

¹² XVIII век. Под ред. акад. А. С. Орлова. Изд. АН СССР, М.—Л., 1935, стр. 61—81.

¹³ Материалы, т. I, стр. 173, 189.

¹⁴ Там же, стр. 652.

¹⁵ Там же, стр. 685.

¹⁶ Там же, т. II, стр. 67.

¹⁷ Общий бюджет Академии наук в те годы был равен 24 912 р. (там же, стр. 222).

¹⁸ Там же, стр. 485.

лений. В сохранившихся материалах по истории Академии наук имя Верещагина ни разу не связывается с переводческой деятельностью. Если же судить по публикации Мордвинова, выходит, что Верещагин владел и немецким, и латинским языком и владел не хуже других академических переводчиков тех же лет, и поэтому непонятно, как при таких данных он оставался только копиистом и канцеляристом. Переводчики получали значительно больше копииста (в 1726 г. за вторую треть года переводчик И. Ю. Ильинский, в прошлом учитель А. Д. Кантемира, получил 60 руб., прочие переводчики — по 48, а копиист И. Верещагин — всего лишь 25 руб.).¹⁹ Совершенно ясно, что при таких условиях копиист Верещагин не стал бы выполнять трудную работу переводчика, а перевод тогда был именно трудной ремесленной работой и меньше всего рассматривался как художественное творчество, осуществляемое по влечению.

Есть еще одно основание сомневаться в принадлежности И. Верещагину перевода академических виршей. Но прежде чем мы обратимся к рассмотрению этого аргумента, следует решить еще один вопрос: был ли напечатан русский перевод оды акад. Бекенштейна? Ни в одной библиографии русских книг XVIII в., включая только что законченный пятитомный «Сводный каталог русской книги XVIII века. 1725—1800» (М., 1961—1967), нет оды «Державнейшему Императору Петру Второму на благополучный день обручения своего». Нет ее и в Архиве Академии наук СССР. И все же не исключена возможность, что она была напечатана. Дело в том, что в литографированном курсе лекций по истории русской литературы, читанном акад. М. И. Сухомлиновым в Петербургском университете в 1878/1879 учебном году, сказано несколько слов об интересующей нас оде, притом в такой форме, которая дает основания предполагать, что это стихотворение было напечатано. Вот что пишет Сухомлинов в разделе, посвященном истории тонического стиха до Ломоносова, после упоминания об опытах пастора Глюка: «В 1727 г., по случаю обручения Петра II с дочерью Меншикова, тоническим же размером написано было приветствие, поданное Академией наук».²⁰

Поскольку имеются печатные экземпляры немецкой и латинской од, поднесенных Академией Петру II, постольку можно предположить, что и русский текст был напечатан, но только не дошел до нас. Слова же Сухомлинова «приветствие, поданное Академией» означают, что он сам видел этот текст. Но если у Сухомлинова идет речь даже не о печатном, а о подносном рукописном экземпляре оды, то и в том случае его дальнейшие указания свидетельствуют о том, что имя Верещагина в тексте не

¹⁹ Материалы, т. I, стр. 189.

²⁰ М. И. Сухомлинов. Записки по истории русской литературы. Без места и года издания. Пагинация 2-я, стр. 33.

упоминалось. «Кто написал это приветствие, — продолжает Сухомлинов, — достоверно неизвестно».²¹ Такое утверждение было бы невозможно, если бы имя Верещагина было напечатано. Но оно и не могло быть упомянуто, как не могло быть упомянуто и имя академиков Бекенштейна и Байера, — оду подносила «Его имп. величества всеподданнейшая Академия».

Отсутствие фамилии переводчика (или автора, как считал акад. Сухомлинов, не знавший, что русское приветствие 1727 г. — перевод) заставило лектора высказать догадку, ничем не подкрепленную: «Можно предполагать, — пишет Сухомлинов, — что автором его (приветствия, — П. Б.) был Ильинский, питомец Московской Духовной академии».²²

Гипотеза акад. Сухомлинова совершенно бездоказательна и необидительна. Единственным доводом в ее пользу можно считать то, что Ильинский в это время служил в Академии первым переводчиком и хронологически мог быть автором русского перевода. Но все остальное известное о нем — круг его интересов, область наук, специалистом в переводе по которым он считался, его силлабические стихи, крайне немногочисленные, — все это говорит против его кандидатуры в авторы перевода.

Если считать, что у Сухомлинова упоминается не печатный, а рукописный экземпляр приветствия, то надо полагать, что было по крайней мере два рукописных экземпляра этого стихотворения: белой, виденный Сухомлиновым, и черновой, опубликованный И. П. Мордвиновым. К сожалению, Мордвинов не указал, одним ли и тем же почерком сделан перевод и поправки и с какой степенью аккуратности написаны эти поправки. Ведь могло быть и так, что копиист И. Верещагин приготовил не только каллиграфический подносный экземпляр, но и списал для себя или кого-либо другого копию с подлинного черновика неизвестного нам автора перевода.

Итак, кто же был этот переводчик? То обстоятельство, что перевод сделан в строгом соответствии с версификационными принципами Пауса, сразу же подсказывает его кандидатуру.

В пользу этой гипотезы есть некоторые основания: с конца 1726 г. Паус служил в Академии в качестве переводчика.²³

²¹ Там же, стр. 33.

²² Там же, стр. 33. Далее акад. Сухомлинов пишет, что будто бы Ильинский окончил свое образование во Франкфурте, т. е. знал немецкий язык, но это указание нигде в биографии Ильинского не подтверждается. Известно, что он переводил только с латинского языка.

²³ Материалы, т. I, стр. 208 (здесь еще не указано, что Паус принят на службу в Академию) и 274. В последней записи глухо сказано: «переводчикам, четверем человекам, 768 руб.». Из платежной ведомости за первую треть 1726 г. мы знаем, что переводчиков было четыре (И. Ильинский, получавший 180 р. в год, И. Горлецкий, М. Сатаров и С. Коровин, получавшие по 144 р.); из такой же ведомости за вторую треть того же 1726 г. выясняется, что С. Коровин перешел с тем же окладом в «грыдировальщики»

Он был известен своими относительно основательными знаниями русского языка и потому был назначен старшим переводчиком с окладом в 300 руб. в год. Из трех возможных кандидатов в переводчики академического приветствия 1727 г. (Паус, Шванвитц и Адодуров — о двух последних см. ниже) только о Паусе точно известно, что он писал стихи, в том числе и по-русски, и что среди его стихов есть переводы с немецкого. Однако все эти доводы еще не дают права считать именно Пауса переводчиком академического приветствия.

О Мартине Шванвитце мне уже приходилось писать,²⁴ и поэтому я не стану здесь повторять сказанное более тридцати лет назад.

Третьим академическим переводчиком с немецкого в конце 20-х годов XVIII в. был Василий Евдокимович Адодуров (1709—1780). Он был принят в академическую гимназию 5 февраля 1726 г., обнаружил хорошее знание латинского и недостаточное — немецкого языка и потому был обязан посещать немецкие классы. В 1727 г. он уже был произведен в студенты, в 1728 г. Адодуров был назначен академическим переводчиком,²⁵ а в конце жизни — почетным членом Академии.²⁶ Однако писал ли он стихи, нам неизвестно.

Таким образом, больше всего оснований считаться переводчиком приветствия, как мне кажется, имеет Паус.

Но кто бы ни был этот неизвестный переводчик, это был человек, приложивший некоторый труд к разработке русского тонического стихосложения на ее очень раннем этапе, и это дает ему право на нашу признательность.

(граверы); в 1728 г. Паус получал 300 р. в год. Следовательно, «четыре переводчика» 1727 г., получавшие вместе 768 р. в год, — это Паус, Ильинский, Горлецкий и Сатаров. С. Коровин позднее вновь работал в качестве переводчика с французского.

²⁴ XVIII век, стр. 67—79.

²⁵ Материалы, т. I, стр. 218, 228, 286, 593 и 603.

²⁶ О нем см. анонимную статью в т. I «Русского биографического словаря» (СПб., 1896, стр. 79—81). В указанной статье есть ряд неточностей. Для дополнения сведений о деятельности Адодурова в 1726—1727 гг. следует обратиться к «Материалам Академии наук», т. I.

К ВОПРОСУ О ЛИТЕРАТУРНОЙ ПОЗИЦИИ АНТИОХА КАНТЕМИРА

В нашем литературоведении имя Антиоха Кантемира довольно прочно связано с классицизмом. Во многих учебниках и хрестоматиях он прямо назван «основоположником» этого направления (Д. Д. Благой и др.). В. Д. Кузьмина более осторожно утверждает: «А. Д. Кантемир стоит у колыбели русского классицизма».¹ В то же время она решительно заявляет, что «без намеренного искажения фактов А. Д. Кантемир не может быть причислен к писателям стиля барокко. Проблематика, идеология его произведений тесная связь с античной традицией и французским классицизмом Буало не дают для этого каких-либо оснований».²

Прежде всего заметим, что, на наш взгляд, ни проблематика, ни идеология даже в рамках такого широкого понятия, как просветительство, не дают еще сами по себе основания наглухо прикрепить какого-либо писателя к определенному стилю. В частности, идеи просветительства в XVIII в. находили свое выражение в художественных произведениях различных стилей. Тесная связь с античной традицией также не является монополией классицизма. Она в не меньшей степени характерна для барокко и еще ранее — Ренессанса. Воспитанные в традициях школьной риторики поэты барокко были усердными читателями и знатоками античной поэтики и поэзии. И в большей степени следовали их традициям, чем представители тех или иных национальных вариантов классицизма. Почти вся новолатинская поэзия XVII в. должна быть причислена к поэзии барокко (Бальде, Сарбиевский и др.). Взаимоотношения Кантемира с теорией и практикой французского классицизма далеко не просты. Если не считать отдельных литературных комплиментов, как например в первоначальной редакции четвертой сатиры «К музе своей», где было сказано, что «Буало, всей

¹ В. Д. Кузьмина. Барокко и классицизм в русской литературе первой трети XVIII века. «Сeskoslovenská rusistika», т. 13, 1968, № 1 стр. 18.

² Там же.

Франции чудо»,³ — в поздней редакции той же сатиры это определение Кантемир, впрочем, убрал, оставив лишь упоминание, что Буало был «причастник» этого жанра (стр. 110), — то можно утверждать, что Кантемир довольно сдержанно относился к этому теоретику французского классицизма. В то же время нельзя упустить из виду целый ряд других историко-литературных фактов, которые указывают если не на прямо противоположную позицию Кантемира по отношению к классицизму, то во всяком случае на серьезные колебания в его оценках и самом отношении к этому явлению.

Еще Л. В. Пумпянский, написавший главу о Кантемире для учебника Г. А. Гуковского, подчеркивал «научное право усомниться в справедливости традиционной точки зрения, связывающей Кантемира с Буало и с римскими сатириками».⁴ Л. В. Пумпянский полагал, что сатиры Кантемира существенно отличаются по содержанию от сатир Буало и более близки к морально-просветительской литературе Стиля и Аддисона и их континентальных последователей. «Сатиры Кантемира, — писал Л. В. Пумпянский, — таким образом, не только хронологически, но по историческому своему месту современны общеевропейскому процессу развития морализма, — т. е. относятся к самому передовому явлению в европейской культуре первой половины XVIII века».⁵ Считая спорным безоговорочное отношение Кантемира к числу представителей передовой буржуазной идеологии XVIII в., мы находим существенно важным косвенное указание на антиклассицистические тенденции в развитии Кантемира, что находит подтверждение и в целом ряде других фактов.

Хорошо известно, что Антиох Кантемир резко отрицательно относился к Вольтеру.⁶ Если даже принять, что многое в этих отзывах относится к раздражавшему Кантемира «легкомыслию» Вольтера и его способности писать о вещах, о которых он не имел почти никакого представления, то все же это заставляет задуматься и об общих позициях Кантемира по отношению к классицизму, сторонником которого был Вольтер. Вопрос этот далеко не праздный, так как по крайней мере в отношении театра (что, как известно, было центральным пунктом концепции классицизма) Кантемир отчетливо проявил антиклассицистические тенденции. Ему были хорошо известны суждения и взгляды Лу-

³ Антиох Кантемир, Собрание стихотворений, Л., 1956 (Библиотека поэта, Большая серия), стр. 389. В дальнейшем страницы этого издания указаны в тексте.

⁴ Г. А. Гуковский. Русская литература XVIII века. М., 1939, стр. 50.

⁵ Там же, стр. 51.

⁶ Ф. Я. Прийма. Антиох Кантемир и его французские литературные связи. В кн.: Труды отдела новой русской литературы (Институт русской литературы Академии наук СССР, Пушкинское под), т. I, М.—Л., 1957, стр. 20—21.

иджи Риккобони (1677—1753), который был сторонником смешения жанров, сочувствовал итальянской народной комедии и порицал «искусственную игру» французских актеров, воспитанных на классицизме. Утверждая, что поэт должен прятать искусство и показывать только правду, Риккобони нападал на классицистический театр, и в особенности на классицистическую трагедию, предваряя высказывания Ретифа де ла Бретона в его «Мимोगрафии», знаменитое «Письмо о зрелищах» Руссо к д'Аламберу (1758) и в известной мере эстетику Дидро и Лессинга.⁷ Кантемир не только был знаком с воззрениями Риккобони, но и поддерживал его, вероятно, побудив последнего посвятить свою книгу о реформе театра русской императрице Елизавете Петровне.⁸ Несомненно, что антиклассицистические взгляды Риккобони не шокировали Кантемира. Более того, «театральные взгляды Л. Риккобони — по мнению Ф. Я. Приймы — во многом, если только не полностью, разделялись А. Кантемиром».⁹

Просветительство Кантемира нельзя отождествлять с эстетическими принципами классицизма. Намечая сдвиги в идейном и эстетическом развитии Кантемира, мы не должны упускать из виду его поэтической практики и ее связи с предшествовавшей русской литературной традицией. Мы знаем, что он рос и развивался на стыке русской, украинской, польской и молдавской культуры. С юных лет он был связан с русской духовной схоластической школой. Мальчиком он побывал в стенах Славяно-греко-латинской академии в Москве и, по глухому преданию, даже в 1718 году произнес там в день святого Димитрия Фессалоникийского похвальное слово ему на греческом языке.¹⁰ Одним из первых наставников Кантемира был воспитанник той же академии Иван Ильинский, обладавший литературными интересами и выступавший как переводчик. Во время пребывания в Астрахани, с лета 1721 до середины января 1723 г., Кантемир, вероятно, проходил обучение в открытой там капуцинами школе,¹¹ а позднее, в 1724 г., в Мо-

⁷ Там же, стр. 37—40. См. также: И. И. Соллертинский. Французский театр XVIII века в переоценке моралистов третьего сословия. В кн.: О театре. Временник отдела истории и теории театра Государственного института истории искусств, вып. 3, Л., 1929, стр. 1—34.

⁸ Riccoboni. De la Réformation du theatre. Paris, 1743.

⁹ Ф. Я. Прийма. Антиох Кантемир..., стр. 41.

¹⁰ В. Я. Стоюнин. Князь Антиох Кантемир. В кн.: Сочинения, письма и избранные переводы князя Антиоха Кантемира. С портретом автора, со статьей о Кантемире и с примечаниями В. Я. Стоюнина. СПб., 1867, стр. XIII. Сведения эти, по-видимому, заимствованы из сочинения С. С. Смирнова «История Московской славяно-греко-латинской академии» (М., 1855, стр. 249), которому не вполне можно доверять.

¹¹ А. В. Флоровский. Латинские школы в России в эпоху Петра I. В кн.: XVIII век, сб. 5. Изд. АН СССР, М.—Л., 1962, стр. 334. Это тем более вероятно, что И. Ильинский сопровождал в походе Димитрия Кантемира и его старших сыновей и не мог уделять необходимое внимание обучению Антиоха. См. также: Н. Grasshoff.

ске учился латинскому языку у капуцина Антония Луальда.¹² Эти обстоятельства, а также несомненное знакомство с образцами русской и украинской виршевой поэзии и принципами стихосложения, общение с Феофаном Прокоповичем — все это не могло не способствовать усвоению самих традиций поэзии барокко и школьного театра и даже привести к прямому следованию этим традициям.

Обратимся прежде всего к его написанной в 1730 г. «Петриде», снабженной подзаголовком «Описание стихотворное смерти Петра Великого, императора всероссийского». В первой книге (начало которой только и сохранилось) автор представляется читателям:

Я той, иже некогда забавными слоги,
Не зол, устремлял свои с охотою роги,
Бодя иль злонравия мерзкие преступки,
Иль обычаем ствердимы не в пользу поступки, —
Печаль неутешную России рыдаю:
Смеху дав прежде вину, к слезам побуждаю. . .

(241)

Указав на тематическое отличие его нового произведения, Кантемир избирает для него совершенно иной слог, иную стилистику и образную систему. Прежде всего обращает на себя внимание грандиозность, почти космический размах поэтического видения Кантемира. Развертываемые им картины представляют собой как бы части гигантского плафона. Предстоящая катастрофа в реальном мире (смерть Петра) приобретает черты мировой мистерии.

Всевышний призывает к себе архистратига Михаила и среди «блистаній зари» ведет беседу о судьбе Петра, которого он хочет приблизить к себе. И вот предводитель ангелов, «страх ада», сам «в блистаньи обильный» летит подготовить смерть русского царя. Он изображен как светозарный мистический воин во всем величии драгоценного и в то же время символического убора:

Шлем блистительный златом главу прикрывает,
Тело латми оболче, в них же вся сияет,
Что в камнях драгоценно, и приемлют руки:
Одна — щит, им же весь ад терпит злые муки, —
В нем же бога вышнего страшно имя зрится,
Другая — меч пламенный, чим всяка страшится
Везде тварь, неступимый, острый обоуду;

A. D. Kantemir und Westeuropa. Ein russischer Schriftsteller des 18. Jahrhunderts und seine Beziehungen zur westeuropäischen Literatur und Kunst. Berlin, 1966, S. 26.

¹² Н. Grasshoff. Там же, стр. 27. А. В. Флоровский указывает также на Октавио Марио из Милана, привлеченного «волошским господарем» (т. е. Димитрием Кантемиром) для обучения его детей и выехавшего вместе с ним из Астрахани (А. В. Флоровский. Латинские школы в России. . ., стр. 334).

Нозе шумят железом, носящим страх всюду,
Таже, распустив свои светозарны крыла,
Их же неведома сотка бога сила.

(243—244)

Следуют быстро сменяющиеся динамические и вместе с тем живописно аллегорические картины. Как стрела, спущенная с крепкой тетивы, как молния («перун грозно смелый»), летит архистратиг Михаил, «все мира пределы внезапно светом, звуком, страхом наполняет», «гремящ в пространстве», он достигает врат ада, повергая в ужас всех обитателей геенны. Здесь все привычные аллегории барокко: «сидит печаль», «зависть с волосами ехидны», «грозна смерть видом и косою» и, наконец, «сродственный смерти лежит сон, рукою подперши главу». Среди этих «казней» архистратиг нашел лютую болезнь Странгурию, которую «запором мочи» россы «звать стали». Он влечет ее за собою снова через безграничное пространство Космоса — пересекает «пропасть бездны», достигает звездного круга и

... вселенныя на лицо пространно
Наведши очи светлы, как ветер, несказанно
Сильный, на северные края опустился,
Там точно, где новый град Петров поселился. . .

(245)

Топография Петербурга передается со скрупулезной точностью:

Вторицей в граде струи Нева искривляет,
Деляся в два рамена, тут Петр обитает.

(246)

И вот, после перечисления реальных исторических заслуг Петра, описывается, как в этот реальный мир вторгается незримая, неотвратимая, грозная, но в то же время светлая сила:

Внезапно возвеял тих ветер и во всю палату,
Невидим никому бысть вшедший, токмо злату
Подобен чист блеск очи помрачи стоящим. . .

(246)

И «внийде вождь светлый», «сильною рукою связанну Странгурию влекущ за собою». И она, «сверже с себя вредные оковы»,

Радуется и грозит; яко же лев жадный,
Когда агнца усмотрит, бедный сей скот стадный
Трепещет весь, той же, лют, нань ся устремляет,
Веселяся добычи, с гневом нападает,
Безгласного терзая и углубив грубы
Когти в нем, злохищные насыщает зубы, —
Так Странгурию, приняв власть, в вред нам ей данну,
Устремися на Петра. . .

(247)

«Священный ужас», нестерпимое блистанье, обилие неземного света, играющего первостепенную роль в символике барокко, живописная атрибутивность, напряженный язык, смешение натуралистических подробностей и патетической метафорики, гротескный образ персонифицированной болезни, вгрызающейся в немощного монарха; наконец, раскрывающаяся в этом кипении разительных образов мучительная антимония величия и бренности — все это указывает на принадлежность этого произведения к поэзии барокко. Но оно написано в разгар работы Кантемира над сатирами — как он сам сообщает в примечании к первой редакции пятой сатиры.

Эти факты позволяют усомниться в том, что уже ко времени, когда Кантемир собирался за границу, он сложился как приверженец классицизма. А если мы обратимся к самим сатирам, которые по самому характеру жанра уже не требовали напряженного метафоризма и условной аллегоричности, то в них мы найдем много такого, что вовсе не указывает на его близость к принципам Буало. Сравнения и эпитеты, поэтическая фразеология («кто пространну морю вдался медное сердце имея»), обилие натуралистических подробностей, отнюдь не гладкий язык, постоянные инверсии, гротескные фигуры обличаемых лиц — все это связывает сатирическое творчество Кантемира с художественными традициями и поэтикой барокко. Если же мы обратимся также к написанной почти одновременно с сатирами песне «В похвалу наук», то и здесь, в этом сравнительно небольшом произведении, найдем отчетливые признаки барокко. Экзотизм, упоминание «плодоносного» Нила, Ганга и Инда идут в одном ряду с перечислением легендарных народов — «некреев» и оксидраков».

В Европе загорается «луч нового света». Науки, просвещение, правосудие сияют над миром. Могуществен новый человек:

Зевсовы наших не чуднее руки;
Пылаем с громом молния жестока,
Трясем, рвем землю, и бурю и звуки
Страшны наводим в мгновение ока.
Ветры, пространных морь воды ужасны
Правим и топчим, дерзки, безопасны.
Бездны ужасны вод преплыв, доходим
Мир, отделенный от век бесконечных.
В воздух, в светила, на край неба всходим,
И путь и силу числим скоротечных
Телес, луч солнца делим в цветны части;
Чувствует тварь вся силу нашей власти.

(202)

Это гимн науке, созидательному труду, мощи человеческого разума, не знающего предела, покоряющего Вселенную! Это ярчайшее выражение просветительского порыва петровского времени, предвосхищение Ломоносова. Но выражено все это в форме барокко, в какой утверждало себя раннее русское Просвещение от Феофана Прокоповича до Ломоносова.

РАДИЩЕВ И СЕЛИВАНОВСКИЙ

В литературе о Радищеве широко бытует мнение о том, что писатель намеревался издать «Путешествие из Петербурга в Москву» или оду «Вольность» в Москве, до заведения собственной типографии в Петербурге. О попытке опубликовать в Москве оду «Вольность» сам автор в «Путешествии» говорит: «В Москве не хотели ее напечатать по двум причинам, первая, что смысл в стихах неясен, и много стихов топорной работы, другая, что предмет стихов несвойствен нашей земле»¹.

Когда же это могло произойти?

Последняя известная поездка Радищева в Москву (до его ареста) была совершена им в декабре 1785 г.² Надо полагать, что он после не выезжал туда из Петербурга до осени 1790 г., когда был привезен в Москву в качестве арестанта, следующего в илимскую ссылку. Эти соображения вытекают из исследования ряда печатных и архивных источников. Называю их в хронологическом порядке.

1786 г. 1. Опубликованные письма Радищева из Петербурга от 16 февраля и 3 августа. 2. Рапорты о присутствии чиновников в Петербургской казенной палате за этот год.³ 3. Отсутствие его фамилии в списках приехавших в Москву и выехавших оттуда в октябре—декабре.⁴

1787 г. 1. Опубликованные письма Радищева из Петербурга от 26 января, 1, 20 февраля, 4 апреля и 4 июня. 2. Отсутствие его фамилии в списках приехавших оттуда в мае—июле.⁵ 3. Его присутствие в Петербурге на крестинах сына А. А. Царевского в апреле.⁶ 4. Присутствие его на исповеди в Петербурге.⁷

¹ А. Н. Радищев, Полное собрание сочинений, т. 1. Изд. АН СССР, М.—Л., 1938, стр. 354.

² А. Старцев. Радищев в годы «Путешествия». Изд. «Советский писатель», М., 1960, стр. 62—63.

³ Там же, стр. 58.

⁴ ЦГАГМ, ф. 16, оп. 1, ед. хр. 155.

⁵ Там же, ед. хр. 323.

⁶ А. Татаринцев. Вокруг Радищева. «Русская литература», 1967, № 1, стр. 138.

⁷ Д. С. Бабкин. Процесс А. Н. Радищева. Изд. АН СССР, М.—Л., 1952, стр. 345.

1788 г. 1. Отсутствие фамилии Радищева в списках приехавших в Москву и выехавших оттуда в январе—октябре.⁸ 2. Отсутствие его фамилии в списках приехавших в Петербург и выехавших оттуда в августе—декабре.⁹ 3. Присутствие его на исповеди в Петербурге.¹⁰

1789 г. 1. Опубликованные письма Радищева из Петербурга от октября и конца года. 2. Отсутствие его в Москве 27 февраля при продаже отцом села Веденского, в то время как купчую на продажу подписали в качестве свидетелей его братья Андрей Николаевич и Моисей Николаевич.¹¹ 3. Присутствие его на исповеди в Петербурге.¹² 4. Его присутствие в Петербурге на крестинах сына А. А. Царевского в июне.¹³ 5. Отсутствие его фамилии в списках приехавших в Петербург и выехавших оттуда за этот год.¹⁴ 6. Окончание написания «Путешествия», прохождение его через цензуру, устройство собственной типографии. 7. Участие в журнале «Беседующий гражданин» и публикация «Жития Федора Васильевича Ушакова».

1790 г. 1. Опубликованные письма Радищева из Петербурга от 9, 10 января, 30 апреля, 5, 19 мая и 2 июня. 2. Отсутствие его фамилии в книге подорожных, выдаваемых в Москве за весь год.¹⁵ 3. Отсутствие его фамилии в списках приехавших в Москву и выехавших оттуда в январе—феврале.¹⁶ 4. Отсутствие его фамилии в списках приехавших в Петербург и выехавших оттуда за весь год.¹⁷ 5. Рапорты о присутствии чиновников в Петербургской казенной палате за этот год.¹⁸ 6. Заверительная подпись его письма — доверенности О. П. Козодавлева на имя В. И. Попова в Петербурге 31 марта 1790 г. при оформлении в Московском магистрате купленного участка земли в Москве.¹⁹ 7. Печать «Путешествия» (контроль за типографскими работами, чистка корректур, исправления и добавления к тексту, разрешенному цензурой).

К этому перечню источников необходимо присоединить и ценное свидетельство самого Радищева. 6 декабря 1797 г. он написал прошение на имя императора Павла I с просьбой разрешить ему поездку из Немцова (где ему разрешено было безвыездно жить после возвращения из сибирской ссылки) к родителям, прожи-

⁸ ЦГАГМ, ф. 16, оп. 29, ед. хр. 40.

⁹ ЦГАДА, ф. 16, оп. 1, ед. хр. 534, ч. 1а.

¹⁰ Д. С. Бабкин. Процесс А. Н. Радищева, стр. 345.

¹¹ Сообщено Викт. Вас. Сорокиным.

¹² Д. С. Бабкин. Процесс А. Н. Радищева, стр. 345.

¹³ А. Татаринцев. Вокруг Радищева, стр. 138.

¹⁴ ЦГАДА, ф. 16, оп. 1, ед. хр. 534, ч. 1а.

¹⁵ ЦГАГМ, ф. 16, оп. 2, ед. хр. 208.

¹⁶ Там же, оп. 30, ед. хр. 39.

¹⁷ ЦГАДА, ф. 16, оп. 1, ед. хр. 534, ч. 1.

¹⁸ А. Старцев. Радищев в годы «Путешествия», стр. 58.

¹⁹ ЦГАГМ, ф. 32, оп. 3, д. 54565, л. 3—3 об.

вавшим в Саратовской губернии. В прошении опальный писатель сообщил: «Отца моего видел я незадолго пред отсылкою моею в Илимск, семь лет тому назад, мать мою не видал более двенадцати».²⁰ В комментарии, предпосланном этой фразе, сказано, что «Радищев умалчивает здесь о свидании с отцом, состоявшемся в Казани в начале ноября 1790 г. по пути в ссылку в Сибирь».²¹ Следует прибавить, что Радищев действительно до ареста виделся в Петербурге с отцом в январе 1790 г.,²² в то время как его мать проживала в Москве и покинула ее на исходе зимы.²³

Таким образом, если документировано указанное в прошении на имя Павла I свидание писателя со своим отцом в 1790 г., «незадолго пред отсылкою», то можно считать доказанными и последние его встречи с матерью в Москве, куда, как выше сказано, он выезжал в конце 1785 г., т. е. за двенадцать лет до написания прошения императору.

Если бы Радищев наезжал в Москву после 1785 г., он несомненно видел бы там в зимнее время и мать. Родители его по обычаю тех времен зиму проводили в своем московском доме. Радищев по роду своих служебных занятий только тогда и мог побывать в Москве. В летние месяцы, во времена навигации, он вынужден был замещать часто болевшего руководителя Петербургской таможи Г. Ю. Даля и потому не мог выезжать из Петербурга.

В свете вышеизложенного можно полагать, что Радищев показал свою оду «Вольность» (первоначальный вариант) в Москве в конце декабря 1785—январе 1786 г. Она там не была воспринята положительно, как повествует сам автор, и о печати ее не могло быть и речи. При этом следует вспомнить опубликованный Д. С. Бабкиным интересный документ — официальное письмо В. С. Попова в тайную экспедицию к С. И. Шешковскому от 10 июня 1792 г., при котором препровождал главному следователю Екатерины II бумаги арестованного незадолго до этого Н. И. Новикова. Среди них значилась и «ода на вольность».²⁴ Вполне вероятно, это был список радищевской «Вольности», предложенной для печати арендатору университетской типографии Новикову. Отказ же Новикова вполне закономерен не только потому, что он не разделял революционных идей Радищева. По указу Екатерины II от 23 декабря 1785 г., как раз в то время когда Радищев был в Москве, у Новикова проводился повальный обыск с целью найти «странные» книги, расходящиеся своим содержанием с ка-

²⁰ А. Н. Радищев, Полное собрание сочинений, т. 3, 1952, стр. 509.

²¹ Там же, стр. 648.

²² ЦГАМ, ф. 16, ед. хр. 208, л. 11 об. (подорожная отцу Радищева была выдана от Москвы до Петербурга 2 января 1790 г.).

²³ Там же, л. 67 об. (подорожная Фекле Степановне Радищевой была выдана от Москвы до Кузнецка 28 февраля 1790 г.).

²⁴ Д. С. Бабкин, А. Н. Радищев. Литературно-общественная деятельность. Изд. «Наука», М.—Л., 1966, стр. 161.

нонами церковных и государственных установлений.²⁵ Ясно, что в этих условиях Новиков не решился предпринять печатание оды, в которой «предмет стихов несвойствен нашей земле».

При этом посещении Москвы Радищев не мог не встретиться со своим старинным другом А. М. Кутузовым, который, кстати, в 1784—1786 гг., т. е. до отъезда за границу, жил у Новикова.²⁶

В том же декабре 1785 г. вышел в свет кутузовский перевод «Мессиады» Клопштока (первая книжка),²⁷ а им зачитывался Радищев и через тринадцать лет.²⁸ Но друг Радищева Кутузов являлся одним из ревностнейших масонов и далек был от революционной настроенности будущего автора «Путешествия». Поэтому при обсуждении «Вольности» в Москве и он мог занять непримиримую отрицательную позицию к ее идейному направлению.

Существуют свидетельства и о первоначальном желании Радищева издать само «Путешествие» в Москве.

В 1923 г. вышла книга В. П. Семенникова о Радищеве, в которой среди различных новых материалов была помещена тщательно прокомментированная биография автора «Путешествия», написанная его сыном Павлом Александровичем в середине XIX столетия. Нужно оговориться, что эта биография увидела свет еще в 1858 г. в журнале «Русский вестник», правда, несколько в другом виде. Редакторы первой публикации Н. Ф. Щербина и М. Н. Лонгинов не только литературно ее отредактировали, но и сделали в ней ряд купюр, так как наверняка знали, что эти места в биографии цензура не пропустит в печать.

Одной из таких купюр в биографии Радищева, восстановленных Семенниковым, является рассказ Павла Александровича о просмотре в Москве цензором А. Брянцевым рукописи «Путешествия». Вот его сообщение: «Радищев напечатал свою книгу в своем доме, в собственной типографии, и хотя цензура (Андрей Брянцев) вымарала множество страниц, более половины книги, он ее напечатал вполне, и в таком виде по порядку подал оберполицеймейстеру Рылееву. Этот, по совершенному своему невежеству, допустил ее к продаже».²⁹

Семенников справедливо заметил ошибку, допущенную здесь Радищевым-сыном. Дело в том, что Н. И. Рылеев, петербургский полицмейстер, действительно разрешил 22 июля 1789 г. к печати

²⁵ Н. И. Новиков. Избранные сочинения, Гослитиздат, М.—Л., 1951, стр. 578—588.

²⁶ ЦГАГМ, ф. 1460, оп. 1, ед. хр. 2, лл. 19, 21 об., 24 об.

²⁷ Рекламное объявление о выходе «Мессии» помещено в «Московских ведомостях» от 13 декабря 1785 г. (№ 100, стр. 1062). Кутузов тогда и мог подарить свой перевод Радищеву.

²⁸ А. Н. Радищев, Полное собрание сочинений, т. 3, стр. 522.

²⁹ В. П. Семенников. Радищев. Очерки и исследования. Гос. изд., М.—Пгр., 1923, стр. 226.

«Путешествие», не просмотрев внимательно его содержания. Что же касается Брянцева, то он был цензором не в Петербурге, а в Москве, и его визы на печать «Путешествия» не было, Семенников, однако, предполагает, что Радищев еще до заведения собственной типографии в Петербурге пытался издать «Путешествие» в Москве у Новикова в университетской типографии, так как Брянцев, будучи профессором Московского университета, был некоторое время там цензором.³⁰

Эта версия Семенникова, логически вытекавшая из биографического очерка Павла Радищева, потребовала более тщательной проверки. Тот факт, что Андрей Михайлович Брянцев (1749—1821) был профессором Московского университета и одновременно служил некоторое время цензором, Семенников позаимствовал, видимо, из биографии ученого, опубликованной в биографическом словаре профессоров и преподавателей Московского университета, вышедшей в юбилейном 1855 г.³¹ Между тем из формулярного списка А. М. Брянцева видно, что профессор этот был «цензором книг, в университетской типографии печатаемых» с 30 декабря 1791 по 22 ноября 1795 г.³² Есть и неучтенное печатное свидетельство на этот счет, а именно «Словарь русских светских писателей» митрополита Евгения. В первом его томе, изданном И. Снегиревым в 1838 г., сказано, что Брянцев «с 1791 по 1795 был и цензором университетской типографии книг» (стр. 144).

Значит, профессор Московского университета Андрей Михайлович Брянцев не мог как цензор просматривать рукопись «Путешествия», так как он приступил к цензорской деятельности более чем через полтора года после выхода этой книги.

Второе, и самое важное, свидетельство о предполагаемой попытке опубликовать «Путешествие» в Москве появилось в печати через 68 лет после его издания. Сын владельца типографии и издателя С. И. Селивановского рассказал в своих заметках, что Радищев давал рукопись «Путешествия» типографу на предмет ее издания. Последний отказался ее печатать. «Пробежав оригинал и поняв всю важность его содержания, — писал Селивановский-сын, — батюшка оставил книгу. Является автор. Ему отвечают, что печатать не станут».³³

Для проверки этого свидетельства необходимо прежде всего познакомиться с самим Селивановским. Фигура его еще не вполне обрисована в литературе. Ясно лишь одно, что Селивановский являлся прогрессивным книгоиздателем. В этом отношении прекрасной характеристикой является его аттестация, данная декабри-

³⁰ Там же, стр. 207—208.

³¹ Биографический словарь профессоров и преподавателей имп. Московского университета, ч. 1. М., 1855, стр. 109—112.

³² ЦГАГМ, ф. 418. Формулярные списки чиновников Московского университета за 1819 год, лл. 22 об.—27.

³³ «Библиографические записки», 1858, № 17, стлб. 518.

стом В. И. Штейнгейлем. В следственной комиссии по делу декабристов он рассказал небезынтересный случай. «Еще в 1824 году Рылеев говорил мне: „Нельзя ли в Москве приобрести членов между купечеством...“ На вопрос Рылеева я тогда решительно ему отвечал, что в Москве на купечество нельзя рассчитывать, ибо нет ни одного, которому бы можно безопасно верить тайну Общества, что один только Селивановский — известный типографщик — пообразованнее других, но что, впрочем, он не капиталист, а притом и без приема в Общество содействует оному изданием книг, к распространению свободных понятий служащих».³⁴

Селивановский издал такие книги, как «Путешествие критики» С. Ферельтда (1818), «Войнаровский» и «Думы» К. Рылеева (1825), у него сотрудничал В. Кюхельбекер, с его сыном хорошо были знакомы А. Полежаев, В. Белинский, член кружка Герцена — Огарева Н. Сатин³⁵ и др. Его книгоиздательская деятельность началась в конце XVIII в. и продолжалась сорок два года.

Итак, Семен Иоанникиевич Селивановский родился 10 апреля 1772 г.³⁶ в семье крепостного крестьянина. Он прошел суровую школу от ученика до содержателя «вольной» типографии. Первая книга, вышедшая из типографии «Селивановского и товарища», датируется 1792 г.,³⁷ но, видимо, в титул этого издания (единственного с пометой: 1792 год) вкралась ошибка. На вывеске типографии, как свидетельствует И. Остроглазов, указано было, что она существовала с 1793 г.³⁸ В 1829 г. в комитет отчетов были посланы сведения обо всех московских типографиях. И в них было сообщено, что типография С. Селивановского «по именному указу 1782 года открыта в 1793 году».³⁹ Закрыта же она была, как и все «вольные» типографии, в сентябре 1796 г. по указу Екатерины II в «Рассуждении злоупотреблений, от того происходящих».

Селивановский в отличие от других владельцев типографии очутился в крайне тяжелом положении. Дело в том, что он не был тогда в купеческом сословии, как пишут о нем все биографы. Будучи содержателем типографии, он в то же время являлся крепостным генерала М. Л. Измайлова. Ему срочно потребовалось откупиться от своего владельца. 15 января 1797 г. он получил,

³⁴ Литературное наследство, т. 59. Декабристы-литераторы, 1. Изд. АН СССР, М., 1954, стр. 235.

³⁵ ЦГИА, ф. 109, оп. 214, ед. хр. 84, л. 427. На допросе следственной комиссии 15 октября 1834 г. Сатин назвал своих знакомых: Н. П. Огарев, Ф. А. Кони, А. И. Герцен, Н. С. Селивановский, А. И. Соколов, Е. И. Челышев, А. К. Лахтин.

³⁶ Московский некрополь, т. 3. СПб., 1908, стр. 88.

³⁷ Сводный каталог русской книги гражданской печати XVIII века, т. III. Изд. «Книга», М., 1966, стр. 7.

³⁸ И. Остроглазов. Библиографические заметки. «Русский архив», 1890, VII, стр. 338.

³⁹ ЦГАГМ, ф. 418, Правление, 2-й стол, 1829, ед. хр. 306, л. 2.

наконец, «вольную» и вскоре был зачислен в купцы 3-й гильдии.⁴⁰ Только после этого он смог уехать в Николаев и устроиться там смотрителем казенной типографии.

На основании этих сведений теперь становится бесспорным, что Радищев не мог обращаться к Селивановскому с просьбой отпечатать «Путешествие», поскольку типографская деятельность последнего началась тогда, когда сам автор уже находился в сибирской ссылке. Таков комментарий к воспоминаниям Селивановского-сына. Было бы неправильным только на основании этих данных полностью опровергать всю эту историю как вымысел. Не мог ли Радищев прийти к Селивановскому позже, скажем, в 1801 г., когда Александр I возвратил писателю все права и дал должность в Комиссии составления законов. Именно в 1801, а не в 1802 г., так как последний год жизни Радищев провел в Петербурге.

Эта гипотеза полностью согласуется с последними исследованиями Д. С. Бабкина. В монографии о литературно-общественной деятельности Радищева он произвел анализ одного из экземпляров «Путешествия» с личными пометками автора и пришел к выводу, что эта книга готовилась ко второму изданию.⁴¹ По мнению Бабкина, Радищев получил указанный экземпляр «Путешествия» из Тайной экспедиции летом 1801 г. и тогда же приступил к подготовке ко второму ее изданию.⁴²

Когда же, спрашивается, у Радищева появилось свободное время в 1801 г. для подобной работы? В Комиссии он приступил к работе 13 августа, но уже 26 числа выехал в Москву на коронацию Александра I.⁴³ Из Москвы же в Петербург Радищев, как видно из отметки на его проездном паспорте, вернулся только 21 декабря,⁴⁴ хотя коронационные торжества окончились еще за три месяца до его возвращения в столицу. Он остался в Москве вполне свободным: его начальник П. В. Завадовский выехал отсюда между 15 и 18 октября.⁴⁵ В этот период у Радищева сложились наиболее благоприятные условия для работы над «Путешествием». Возвратясь в Петербург, он окунулся в трудную и отнимающую много сил и времени работу в Комиссии.

Но если Радищев мог в это время прийти к Селивановскому, то был ли сам типограф в Москве? Вопрос резонен потому, что, как известно, Александр I разрешил вновь открыть «вольные» типографии только 9 февраля 1802 г., а Селивановский, по имеющимся сведениям, до этого времени находился в Николаеве.

⁴⁰ Там же, ф. 32, оп. 26, ед. хр. 1151, лл. 1—2.

⁴¹ Д. С. Бабкин. А. Н. Радищев, стр. 271.

⁴² Там же, стр. 283.

⁴³ Там же, стр. 202.

⁴⁴ Там же, стр. 199.

⁴⁵ «Московские ведомости», 1801, № 84, 19 октября, стр. 1993.

Действительно, 2 июля 1802 г. С. Селивановский подал в Московскую управу благочиния следующее объявление:

«Имею я желание завести вольную типографию на основании высочайшего его императорского величества указа, состоявшегося в 9-й день февраля сего 1802 г., которая состоять имеет Тверской части во 2-м квартале в доме под № 120, о чем Московскую управу благочиния извещая, прошу сие мое объявление в оной принять и о сем позволение для сведения Тверской части предписать. К сему объявлению московский купец Семен Селивановский руку приложил».⁴⁶ Этот документ подтверждает, что Селивановский возобновил свою деятельность как владелец типографии незадолго до смерти Радищева. Между тем имеются и другие материалы, которые, на первый взгляд, не увязываются с вышеприведенным «объявлением» типографа.

В 1826 г. в следственной комиссии по делу декабристов всплыло имя Селивановского, его связи со Штейнгелем и Кюхельбекером. Тотчас в его типографии был произведен обыск, опечатаны в ящиках все документы и препровождены в Петербург. К счастью для книгоиздателя, все окончилось затем благополучно.

В одном из ящиков среди прочих находились следующие бумаги Селивановского:

2. Ценсурные билеты с открытия типографии 1793 до закрытия оной 1796 года.

3. Билеты, выданные из Московского ценсурного комитета с 1800 по 1826 год».⁴⁷

Как видно, и в данном случае подтверждалось, что типография Селивановского начала функционировать с 1793 г. Но главное не в этом. У типографа были найдены билеты на выпуск книг из печати (после возвращения его из Николаева) не с 1802, а с 1800 г. Проверка всех материалов, связанных с московскими типографиями, показала, что дата «1800 год» не описка. Оказывается, в 1800—1810 гг. С. Селивановский являлся арендатором сенатской типографии в Москве, в помещении которой он и проживал в те годы.⁴⁸ Здесь, кстати, в 1806 г. родился у него сын Николай,⁴⁹ продолжатель его дела и автор воспоминаний, о которых теперь идет речь. С 1802 г. С. Селивановский руководил одновременно и собственной типографией.

Таким образом, если Радищев приносил к Селивановскому свое «Путешествие» для второго издания, то это могло произойти и в 1801 г., когда книгоиздатель арендовал московскую сенатскую типографию.

⁴⁶ ЦГАГМ, ф. 105, оп. 7, ед. хр. № 3831, л. 1.

⁴⁷ Там же, ф. 31, оп. 5, ед. хр. 14, л. 130.

⁴⁸ Там же, ф. 1408, оп. 1, ед. хр. 9, лл. 48, 59, 69 об., 70, 80 об., 88 об., 97 об., 105, 110, 113 об., 117 об., 122.

⁴⁹ Там же, ед. хр. 86, лл. 245—245 об.

ДВА ДОКУМЕНТА ПЕРИОДА КИШИНЕВСКОЙ ССЫЛКИ А. С. ПУШКИНА

В 1954 г. среди различных материалов, входящих в состав фонда И. П. Липранди в Центральном государственном историческом архиве СССР в Ленинграде,¹ нам удалось обнаружить записи и переводы народных валашских песен — «Народной песни, составленной в 1821 г. по случаю восстания Пандур под предводительством Тодора Владимирески по убийстве его» и «Народной песни, преимущественно между арнаутами, на убийство Бимбаши Саввы». Эти записи и переводы песен, извлеченные нами из бумаг Липранди, были опубликованы и прокомментированы Е. М. Двойченко-Марковой.²

Но среди бумаг архива И. П. Липранди нами были обнаружены также: «№ 1 — первая прокламация Тодора Владимирески, 1821 — января дня изв...» и письмо Саввы (Бимбаша) Каменари, адресованное гетеристам Йордаки и Формаки, 1821, 27 февраля, Бухарест. Документы эти не опубликованы. Между тем они имеют несомненный интерес и, на наш взгляд, должны быть введены в научный оборот.

Известно, что А. С. Пушкин проявил особый интерес к указанным выше народным песням, а равно — к лицам, явившимся участниками трагических событий. Герои национально-освободительной борьбы в Греции, Валахии — вожди этого движения — живо занимали Пушкина, находившегося в Кишиневе, с некоторыми из них он был знаком лично.

¹ До этого времени названный фонд оставался неизвестным советским пушкинистам. См.: Т. Г. Цявловская. О работе над «Летописью жизни и творчества Пушкина». В кн.: Пушкин. Исследования и материалы. Изд. АН СССР, М.—Л., 1953, стр. 377—378. См. также: Б. В. Томашевский. Незавершенные кишиневские замыслы Пушкина. Там же, стр. 171—212; Г. Ф. Богач. Молдавские предания, записанные Пушкиным. Там же, стр. 213—249.

² Е. М. Двойченко-Маркова. 1) Пушкин и румынская народная песня о Тудоре Владимиреску. В кн.: Пушкин. Исследования и материалы. Изд. АН СССР, М.—Л., 1960, стр. 402—417; 2) Пушкин и народное творчество Молдавии и Валахии. В сб.: Из истории литературных связей XIX века. Изд. АН СССР, М., 1962, стр. 65—88.

Поэт о них говорит в письмах, в задуманной поэме о гетеристах, главным героем которой намечался Йордаки.³

В черновике письма Пушкина к В. Л. Давыдову, написанном в первой половине марта 1821 г., читаем: «Уведомляю тебя о происшествиях, которые будут иметь следствия, важные не только для нашего края, но и для всей Европы.

Греция восстала и провозгласила свою свободу. Теодор Владимиреско, служивший некогда в войске покойного князя Ипсиланти, в начале февраля нынешнего года — вышел из Бухареста с малым числ^{ом} вооруженных арнаутов и объявил, что греки не в силах более выносить притеснений и грабительств туре^{цких} начальников, что они решились освободить родину от ига незаконного, что намерены платить только подати, наложенные прав^{ительст}вом.

Сия прокламация встр^{евожила} всю Молд^{авию}. К^{нязь} Суццо и русский консул н^апрас^{но} [?] хотели удержать р^{ас}пространение [?] бунт^а — пандуры и арнауты от^{овсюду} бежали к смелому Владимиреско — и в несколько дней он уже начальствовал 7000 войска» (XIII, 22).⁴

Информация Пушкина была не точна: Владимиреску предводительствовал не греками, а валахами (румынами), но в его отрядах были и греки. Пушкин в этом же письме сообщает: «Ипсиланти идет на соединение с Владимиреско. Он называется Главнокомандующим северных греческих войск — и уполномоченным Тайного Правительства» (XIII, 23). Как видно, сначала Пушкин не делал принципиальной разницы между гетеристами и Владимиреску.

Пушкин восторженно воспринял весть о греческом восстании. Поэту казалось, что революционно-освободительный прибор подкатил к рубежам России и что страну ожидают великие события. В эту пору было написано стихотворение «Война». Оно оканчивалось строками: «Покой бежит меня, нет власти над собой... Что ж битва первая еще не закипела?» (II, 167).

Разнесся слух, что Пушкин бежал к грекам. Известно, что позже наблюдения над греческими коммерсантами в Одессе несколько охладили порыв Пушкина. В своих письмах (см., например, письмо Вяземскому 24—25 июня 1824 г.) он резко отрицательно характеризует «соотечественников Мильтиада». Однако это не отразилось на его положительном отношении к греческой революции в целом. «Ничто еще не было, — писал Пушкин, — столь народно, как дело греков» (XIII, 396).

³ См.: Н. В. Измайлов. Поэма Пушкина о гетеристах. В кн.: Пушкин. Временник Пушкинской комиссии, вып. 3. Изд. АН СССР, М.—Л., 1937, стр. 339—348.

⁴ Пушкин цитируется по изданию: А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений, тт. I—XVI. Изд. АН СССР, М.—Л., 1937—1949.

Среди рукописей-тетрадей И. П. Липранди, посвященных описанию «Восстания пандур», в тетради «А» рассказывается о «начале бунта Тодора в 1821 году»: «Прибыв 21-го января . . . Владимиреско арестовал исправника, опечатал все суммы, там находившиеся. . .

Оставшись тут не более трех часов, пошел к монастырю Тисману, куда прибыл на другой день поутру. Арестовав исправника . . . в селении Падишь, откуда и подал первую свою прокламацию, отличающуюся основным характером, свойственным духу и пониманию народа и приличным его предпрятию».⁵

Дав общую характеристику содержания прокламации, Липранди оттеняет ее действительное значение: «Прокламация сия имела желаемый успех. Народ, выведенный из терпения и доведенный до крайности, взволновался: и почти вся Малая Валахия стала под знамена Тодора».⁶

Текст первой прокламации Тодора Владимиреску в записи И. П. Липранди таков:

«№ 1 — первая прокламация Тодора Владимирески, 1821 — января дня изв. . .

Ко всему валахскому народу, как в Бухаресте и других городах, так и в селах всей Валахии жительствоющему, с вожделенным здравием. Братья всякого рода, в Валахии жительствоющия! Никакое правило не возбраняет человеку зло отражать злом.

Когда змии выходишь навстречу, то отражаешь ея ударом палки и сим спасаешь жизнь свою от уязвления. Но величайшия наши змии суть начальники, как духовныя, так и гражданския, алчущие поглотить нас живыми. Доколе будем мы терпеть и позволять им высасывать из нас кровь нашу? Доколе мы будем рабами их?

Если зло не есть богом благо принято, то истребляющие тех, кои чинят таковое, совершают пред богом (л. 2) доброе дело. Благ бог наш, и чтобы уподобиться ему, должны также творить добро; но сие не прежде может сделаться, как по истреблении зла; доколе не будет зима, то не может быть весны; благоугодно было богу сделать свет, то устроил по истреблении тьмы.

Уполномоченный богом, Могущественный монарх наш желает, чтобы мы, как верные ему, жили хорошо! И не позволяет начальству нашему возлагать зло на главы наши.

А посему, братья, собирайтесь все, и истребим злом же, причиняющим всем оное — и тем приобретем себе добро. Те же начальники, кои могут быть добрыми, отделясь, будут

⁵ ЦГИАЛ, ф. 673, 1821, оп. 1, д. 234, лл. 16об.—17.

⁶ Там же, л. 17 об.

наши, и по обещанию их, нам данному, будут вместе с нами же действовать к добру.

Следовательно, собирайтесь все поспешнее: которые имеют оружие, то с оным, а у которых нет онаго, то с железными копьями и вилами. Составляйтесь немедленно и спешите прибыть в то место, где услышите, что есть по назначению собрание, действующее для блага и пользы всего княжества, и по наставлениям, старшинами сего собрания сделанным, не теряя времени, следуйте в те места, кои они вам назначут. Ибо братья! Довольно протекло уже времени, что лица наши от слез не осушаются.

Также известно да будет вам, что никто не вправе из нас, во все время общепользнего собрания нашего, коснуться хотя бы до одного зерна имущества, даже какого-либо купца городов, поселянина, или жителя, кроме имения и имуществ, злом приобретенных тиранами, боярами — предавать жертве, но и то тех только, кои не будут действовать с нами по обещанию их, для общей пользы.

Подлинным подписаны:

Тодор Владимиреску

1821 года, генваря дня».⁷

Социальный характер задач и целей, поставленных в первой прокламации Тудора Владимиреску, выступает со всей определенностью.⁸ Острые народного движения, во главе которого стал Тудор Владимиреску, судя по его прокламации, было направлено против князя-господаря, как первого разорителя народа, и бояр, как крупных землевладельцев — тиранов, «злом имения и имущества» приобретающие. Остальное же население — пандуры, царяне, торговцы — независимо от национальности составляло понятие «народ» и привисалось под знамена восстания. В прокламации сказано также: «... величайшия наши змии суть начальники, как

⁷ Там же, д. 309, лл. 2—2 об., 3—3 об. Дата «1821 года генваря дня» в тексте зачеркнута.

⁸ О первой прокламации Тудора Владимиреску 1 февраля 1821 г. сообщает И. Н. Инзову русский консул Пини из Бухареста, о ней пишет сам Инзов в докладной записке, представленной Александру I в Лайбах. См.: В. И. Селинов. Из истории национально-освободительной борьбы греков и румын в начале XIX в. (По архивным данным). «Новый Восток», кн. 20—21, 1928, стр. 344.

Сведения о событиях Пушкин черпал от И. Н. Инзова, чиновников его канцелярии (Лекс), своего приятеля Н. С. Алексева, от И. П. Липранди, а также из личного общения со многими участниками движения пандур и гетеристов. Пушкин писал Вяземскому 5 апреля 1823 г.: «Если летом ты поедешь в Одессу, не завернешь ли по дороге в Кишинев? Я познакомлю тебя с героями Скуляя и Секу, сподвижниками Иордаки» (XIII, 61).

духовных, так и гражданские, алчущие поглотить нас живыми. Доколе будем мы терпеть и позволять им высасывать из нас кровь нашу? Доколе мы будем рабами их?».

Сперва Пушкин получал тенденциозные сведения, шедшие с греческой стороны. В дневнике 2 апреля он записал: «С крайним сожалением узнал я, что Владимиреску не имеет другого достоинства, кроме храбрости необыкновенной — храбрости достанет и у Ипсиланти» (XII, 303).

О разногласиях между Ипсиланти и Владимиреску знали в Кишиневе. Общий враг — турки — создавал иллюзию возможности объединить отряды восставших крестьян с отрядами Ипсиланти. Встреча Ипсиланти и Владимиреску в конце марта 1821 года обнаружила различие целей предводителей. Сначала открытого разрыва не произошло, но и соединения не было.

Пушкин был свидетелем подготовки к греческому восстанию в Дунайских княжествах. Он знал братьев Ипсиланти. Он видел в Кишиневе участников Скулянского сражения. Он записал их рассказы в ряде заметок. В целом события греческого восстания получили широкое отражение в письмах и заметках Пушкина. Позднее, многое переоценив, в повести «Кирджали» он воспользовался этими записями. Там мы читаем: «Александр Ипсиланти был лично храбр, но не имел свойств, нужных для роли, за которую взялся так горячо и так неосторожно. . . . После несчастного сражения, где погиб цвет греческого юношества, Иордаки Олимбиоти присоветовал ему удалиться, и сам заступил его место. Ипсиланти ускакал к границам Австрии и оттуда послал свое проклятие людям, которых называл ослушниками, трусами и негодьями. Эти трусы и негодяи, большею частью, погибли в стенах монастыря Секу или на берегах Прута, отчаянно защищаясь против неприятеля вдсятеро сильнее» (VIII, 255). Приблизительно то же рассказывает Пушкин о восстании Ипсиланти в своих французских заметках, сделанных в Кишиневе в 1821 г.: «Иордаки Олимбиоти был в армии Ипсиланти. Они вместе отступили к венгерской границе. Александр Ипсиланти, угрожаемый убийством, бежал по его совету и издал свою грозную прокламацию. Иордаки во главе 800 человек пять раз разбил турецкое войско; наконец заперся в монастыре (Секу). Преданный евреями, окруженный турками, он поджег свой пороховой склад и взорвался» (XII, 190, 481).

Нет надобности здесь останавливаться на этапах развития событий, что нашло свое освещение в работах Б. В. Томашевского, Г. П. Богача, Е. М. Двойниченко-Марковой, В. И. Селинова и Н. В. Измайлова, правда, с различными акцентами на тех или иных эпизодах и смысле борьбы. Но необходимо уделить внимание сведениям о разногласиях в идейно-политических позициях Тудора Владимиреску и Александра Ипсиланти, имеющимся в бумагах И. П. Липранди.

По заявлению И. П. Липранди, подтвержденному документами, он знал лично значительную часть здешних гетеристов и пандур еще до начала их действий и после разгрома восстания. Больше того, многие уцелевшие от расправы турок поступили на службу и содержание в отряд Липранди. Личные автобиографические записи вожаков пандур и гетеристов сохранились в архиве Липранди.

Многие эпизоды борьбы пандур и гетеристов И. П. Липранди знал из рассказов участников событий. Значение фактов, свидетельства, сообщений, зафиксированных в бумагах Липранди, не смотря на определенную авторскую тенденцию в их трактовке, нельзя недооценивать.

В этом смысле сохраняют интерес сведения об отношении к гетеристам Тудора Владимиреску, имеющиеся в рукописи Липранди, носящей название: «Капитан Йоргаки Олимпиот. Действие этеристов в княжествах в 1821. И. П. Липранди». Этеристы, в том числе и Йордаки, пытались склонить на свою сторону Тудора, но последний отверг всякие уговоры. Об этом Липранди пишет так: «Тодор не хотел ничего слушать, а объявил ему (К. Самуркаша — «тонкому и хитрому греку», посланцу от Дивана, — М. А.) то же, что уже было им объявлено по цинутам, присвокупив еще, что он впредь ни в какие переговоры не войдет, доколе не будут присланы ему несколько голов бояр (поименно), которые преимущественно отличались угнетением поселян, и, наконец, что он сам скоро будет в Бухаресте. Можно себе вообразить, какое действие произвели сии предварительные статьи Тодора».⁹

Определенность социальной позиции Тудора Владимиреску в этом свидетельстве Липранди не нуждается в разъяснении.

И далее в этой рукописи мы находим сообщение о других эпизодах идейной борьбы Тудора: «В продолжении краткого пребывания греков под Бухарестом Тодор понудил Диван послать к кнзю» А«лександр» И«псиланти» ... Депутатом Павла Македонского, чтоб удостовериться (как распушен был слух), что действительно ли он уполномочен Россиею. Но Депутат сей не мог проникнуть в истину — ибо когда потребовал о сем бумагу, тогда ему отвечали, что „подобные дела не делаются на бумагах“. После сего в тот же день Тодор был сам у кнзю» А«лександра» И«псиланти» ... Несмотря на все старания, тщетно тут употребленный, он упорствовал соединиться с греками и сказал ему: „Ваша цель совершенно противоположна моей. Вы подняли оружие на освобождение Греции, а я чтоб избавить своих соотечественников от ига греческих князей и некоторых первоклассных бояр; Ваше место не здесь, ступайте, переходите Дунай и боритесь с турками. Что же касается до меня, я не намерен сражаться с ними — я намерен бороться только с злоупотреблениями, разди-

⁹ ЦГИАЛ, ф. 673, 1830, оп. 1, д. 237, лл. 12об.—13.

рающими мое отечество: Ваша сила слишком слаба, чтоб Вы могли противустать турецким — и если Вы не поддерживаемы какой-либо державою — то одно только несчастье Вас ожидает».¹⁰

И. П. Липранди заключает: «Свидание сие было единственным: они разстались как нельзя хуже, но предводитель греков распустил слух, что Тодор присягнул ему, — но это была совершенная ложь.

К<нязь> Г<еоргий> К<антакузен> советовал к<нязю> А<лександр> И<псиланти>, что, видя невозможность присоединить Тодора, возвратиться в Молдавию; но к<апитан> Йордаки уверил предводителя *Етеристов*, что он скоро приведет к нему всех пандур».¹¹ (Кстати, заметим здесь, что капитан Йордаки в характеристике И. П. Липранди выступает как авантюрист, интриган, грабитель. Его политиканство было построено на личных выгодах и корысти — см. л. 13. Всякий раз Липранди оттеняет благородство и принципиальность Тудора и Саввы Бимбаши).¹²

В мае Ипсиланти велел арестовать Владимиреску по обвинению в сношении с турецкими властями. «Наконец, — замечает И. П. Липранди, — после двух дней жесточайших мучений объявили Тодору, что его отсылают в Диван и, связав его, ночью выехали за город. — Подъехав к реке Дымбовице Каравия (один из трех приближенных Ипсиланти, — М. Л.), застрелил его из пистолета, потом изрубили, отрезали голову, а туловище бросили в реку».¹³ Войско Тудора распалось; часть отрядов присоединилась к Ипсиланти.

Б. В. Томашевский правильно отмечает главную причину неудачи похода Ипсиланти, о которой умолчал Пушкин в своем плане поэмы о гетеристах: «Ипсиланти преследовал задачи освобождения Греции от турецкого владычества. Сам он, как и главные его сотрудники (князь Кантакузен и другие), принадлежал к греческой аристократии, ему были чужды широкие народные интересы. Между тем в Молдавии и Валахии местное население знало греков преимущественно в качестве помещиков или чиновников турецкой службы (фанариоты)».¹⁴

* * *

Как уже сказано выше, среди бумаг И. П. Липранди нами было обнаружено письмо Саввы (Бимбаши) Каменари, адресованное

¹⁰ Примечание И. П. Липранди: «Вообще все бумаги и ответы Тодора отличались в начале весьма здравым рассудком и все от имени народа валахского».

¹¹ Там же, лл. 14—14 об.

¹² Любопытно, что, вопреки отрицательному мнению И. П. Липранди об Йордаки, Пушкин наметил его главным героем в поэме о гетеристах. Подобного рода расхождение поэта с мнением И. П. Липранди не единичны.

¹³ Там же, л. 22 об.

¹⁴ Б. В. Томашевский. Незавершенные кишиневские замыслы Пушкина, стр. 195.

гетеристам Иоргаки и Формаки,¹⁵ от 27 февраля 1821 г., из Бухареста (на французском языке).

Вот текст этого письма в переводе на русский язык:

«Я приветствую Вас по-братски!

Во имя Родины, мой друг сердар Георгаки и капитан Фармаки и ходжа Гатци Протасси, по распоряжению Ипсиланти, как только Вы получите настоящее письмо, не теряя времени, Вы (все) должны прибыть как можно скорее в Бухарест; Ваш Векилхиурци (хозяин гостиницы) был отправлен к вам, и я надеюсь, что он уже прибыл. Может быть также Ипсиланти отбыл из Ясс, направляясь сюда; его авангард, состоящий приблизительно из двухсот человек, завтра прибудет в Фокшаны.

Скажите Теодору, чтобы он вступил в Крайову сражаться с турками, и я присоединюсь с Диаманти.

Я пишу Михалн и Гентцо, чтобы объединились с Вами, для того, чтобы Вы все вместе направились сюда. Будьте осторожны, чтобы не случилось беды с Самуреаси, и если даже он Вам ставил западни, простите ему; они не знают, что делают. Завтра вечером или послезавтра вечером, фэймекумисы <?> уедут отсюда и возвратятся непременно. Четыре дивизии русской армии перешли Днестр и продвигаются к Пруту, их начальник — Сабанеев.

Да поможет нам бог собраться благополучно.

1821, 27 февраля, Бухарест.

*Савва Каминари»*¹⁶

Содержание письма Саввы Бимбаши свидетельствует о его безусловной приверженности общему национально-освободительному делу гетеристов; он выступает организатором борьбы. В этой ранней стадии освободительного движения мы видим стремление Саввы Бимбаши к единству борцов разных национальностей. Высказаны надежды гетеристов на помощь в борьбе с турками дивизий русской армии, перешедших Днестр и продвигающихся к Пруту. Надежды иллюзорные, ибо Александр I сделал заявление, в котором отказал во всякой помощи повстанцам.

О Савве Бимбаше Липранди писал в связи с народной песней о нем, что вторая песня сложена «на такую же предательскую смерть известного и прежде, а во время гетерии храбрейшего Бимбаши Саввы, родом болгарина, подготовившего движение болгар, коим Ипсиланти не умел воспользоваться. Бимбаша Савва, по истреблении гетеристов в Драгошанах, со своей тысячью отборных

¹⁵ В заметках Пушкина о гетеристах упоминается и Формаки — товарищ Иордаки, взятый в плен турками и казненный в Константинополе.

¹⁶ ЦГИАЛ, ф. 673, 1821, оп. 1, д. 310, лл. 1—4 об., 2.

арнаутов перешел, после разгрома Ипсиланти, по приглашению к туркам и присоединился к ним. Но турки, зная его влияние на болгар и не осмеливаясь открыто истребить его, прибегли к хитрости: паша заманил его к себе под тем предлогом, чтобы надеть на него присланный от султана почетный кафтан. Савва поддался и явился из Митрополии, которую он занимал со своим отрядом только с шестьюдесятью всадниками во дворе пашы в Бухаресте, в дом Беллы. Войдя в зал с капитаном Генчу, он был внезапно встречен несколькими пистолетными выстрелами, и труп немедленно был выброшен за окно на улицу. Из конвойных его только трое спаслись и в 1829 году находились у меня в отряде; песня эта не столь аллегорическая, как первая (о Тудоре Владимирску, — М. Л.), и рассказывает главные эпизоды убийства». ¹⁷

О Савве Бимбаше И. П. Липранди в другой неопубликованной записи говорит, как о тайном организаторе борьбы болгар против турок. «В Колонтине же, — пишет Липранди, — Бимбаша Савва первый раз увидел к<нзя> А<лександра> И<псиланти>, который вместо того, чтоб отличить человека сего от прочих, принял его весьма худо, ¹⁸ как равно и Депутатов от нескольких округов, Надольных болгар (л. 19), коих приготовление возложено было на Бимбашу Савву. Ибо первоначально в предположении действий Етеристов они должны были с быстротой пройти княжества и переправиться в Болгарию; для чего было уже приготовлено Бимбашой Саввою в *Зимнице* для переправы через *Дунай* несколько больших судов и 600 болгар, кои, находясь собранными в *Систове*, должны способствовать сему (л. 14 об.). Но предприятие сие было отменено как по причине недостатка духа и способностей для подобных действий у предводителя *греческих*, так и потому, что они, увидев непреклонность *Тодора* действовать взаимно, не могли оставить его в тылу своем — при том же надежда возмутить Сербию (л. 21) исчезла; к<нзя> А<лександр> И<псиланти> подозревал и не доверял Б<им> Б<аше> Савве, будучи обманываемым кругом капитаном *Йоргаки*». ¹⁹

Расхождение мотивов убийства Саввы в песне и в пояснении Липранди (истребление Саввой приданных ему турецких всадников в одном случае и боязнь турок открытого убийства его из-за опасения возможного среди болгар восстания — в другом) кажущееся. Очевидно, оба мотива соответствуют действительности и не являются взаимоисключающими.

Связь Саввы с болгаринном *Диаманди* не вызывает сомнения. Приказ пашы из *Силистрии*, адресованный жителям *Валахии*,

¹⁷ И. П. Липранди. Из дневника и воспоминаний. «Русский архив», 1866, № 10.

¹⁸ К этому месту в записи сноски: «Достоинно замечания, что едва Б. Б. Савва показался в лагерь Етеристов, как большая часть лучших арнаутов перешла к нему».

¹⁹ ЦГИАЛ, ф. 673, оп. 1, д. 237, лл. 14, об.—15.

включает такие фразы: «При этом освобождении Валахии появился другой субъект, целью которого было не только смещение правительства, но также и нарушение спокойствия населения. Это известный предатель Бимбаша Савва, не признававший благодетельной высокой Порты, с предательским сердцем, то проявлявший к нам дружбу, то преданный Ипсиланти и участник его гнусных намерений... Были перехвачены его письма, адресованные его товарищу Диаманди, доказывающие, что вся его политика и все услуги его нашему наместнику были ничем иным, как обманом и лицемерием».²⁰

Борьба Саввы, его трагическая гибель нашли широкое отражение в болгарском фольклоре, где Савва рисуется как бунтарь и борец за освобождение родины от турецкого ига.²¹

После убийства Саввы в Бухаресте турки учинили резню. Они сокрушали тех, кто, как им казалось, сочувствовал Савве. Весть об этой кровавой расправе турок дошла до жителей Кишинева.

Со слов очевидцев И. П. Липранди следующим образом описывает в своем труде эти кровавые дни: «В продолжение осьми дней Бухарест представлял из себя ужаснейшую картину: остервенелые и разъяренные турки, обгаренные кровью, бегали по городу и резали всех, кого только встречали». Далее он рассказывает о пожарах, о людях, посаженных на кол.²²

Нам представляется вполне правомерной постановка вопроса о возможности творческих ассоциаций Пушкина в стихотворении «Стамбул гяуры нынче славят...» с резней приверженцев Саввы Бимбаша, учиненной турками.

Интерес Пушкина к личности Тудора Владимиреску, к народной песне о нем, его прокламации говорит об исключительном внимании поэта к народным освободительным движениям, к образам вождей, нашедших свое отражение в народном творчестве. Интерес этот был устойчивым. Он проявился позже в «Песнях о Стеньке Разине», в работе над пугачевским движением (см. высказывания Пушкина об оригинальности воззваний Пугачева к народу — IX, кн. 1, 474).

Трагическая гибель храбрейшего во времена гетерии героя народной песни — Саввы Бимбаша привлекла внимание поэта своим драматизмом, кровавой расправой турок с одним из вожаков гетерии и его последователями.

В воспоминаниях о Пушкине Липранди сообщает о «двух современных, народом сложенных песнях, которые... в особенности занимали Александра Сергеевича... Первая из них сложена... на предательское умерщвление главы пандурского восстания Тодора Владимирески... Вторая — на такую же предательскую

²⁰ Цит. по кн.: Г. Богач. Пушкин и молдавский фольклор. Кишинев, 1963, стр. 205.

²¹ Там же, стр. 204.

²² Отдел рукописей ГПБ, Архив Шильдера, К-9, № 6.

смерть известного и прежде, а во время гетерии храбрейшего Бимбаши Саввы, родом болгарина... Александр Сергеевич имел перевод этих песен; он приносил их ко мне, с тем чтобы проверить со слов моего арнаута Георгия. Но в декабре 1823 года, бывши в Одессе, Пушкин сказал мне, что он не знает, куда задевались у него эти песни, и просил, чтобы я доставил ему копию с своего перевода; в январе 1824 года, опять прибывши в Одессу, я ему их передал».²³

Надо полагать, Пушкин, живо интересуясь песнями о вождях народного движения, разумеется, уделял внимание и всему тому, что относилось к ним, в том числе прокламациям и письмам, с которыми он мог ознакомиться из доступных ему бумаг того же Липранди. Книгами и материалами Липранди, по свидетельству последнего, Пушкин пользовался.

Внимание и интерес Пушкина к национально-освободительным народным движениям на Балканах не был случайным. С турецким игом вели борьбу не только греки, но и южные славяне. Как в Кишиневе, так и на юге России Пушкин общался с представителями южного славянства, в той или иной мере участвовавшими в национально-освободительном движении.

Мечта об освобождении славян была близка и русским, проникнутым революционно-освободительными идеями. Б. В. Томашевский подчеркивает: «Именно на юге эта славянская идея послужила основанием к организации тайного революционного общества Объединенных славян».²⁴ Хотя Пушкин мог не знать о политической программе этого Общества, но до него могли доходить разговоры на эти темы.

На развитии общественно-политических взглядов Пушкина опыт его пребывания в Кишиневе и на юге России, общение с декабристами-южанами сказались весьма определенно. Достаточно, помимо всего прочего, напомнить известные антикрепостнические высказывания Пушкина, отраженные в «Дневнике» П. И. Долгокурова.²⁵

Необходимо отметить тесную связь многих замыслов и осуществленных произведений этого периода с народными движениями. Антикрепостнические волнения отразились в «Братьях-разбойниках», национально-освободительная революционная борьба на Балканах — в поэме о гетеристах.

В связи с этим особый интерес Пушкин проявляет к народному творчеству. Пушкин искал в нем не только сюжетных схем, сюжетного материала, но и главного — выражения народного сознания. В этом отношении неоконченное стихотворение «Чиновник

²³ И. П. Липранди. Из дневника и воспоминаний. «Русский архив», 1866, № 10, стлб. 1407—1408.

²⁴ См.: Б. В. Томашевский. Незавершенные кишиневские замыслы Пушкина, стр. 212.

²⁵ «Звенья», т. 9, 1951, стр. 78, 99—100.

и поэт», возникшее в связи с выдачей русскими чиновниками Георгия Кирджали туркам и замыслом повести о Кирджали, представляет замечательный автопортрет Пушкина, по существу раскрывающий творческие устремления поэта:

Люблю толпу, лохмотья, шум —
И жадной черни [лай] свободный.
«Так — наблюдаете — ваш ум
И здесь вникает в дух народный».

(II, 282).

Пушкин всюду «вникал в народный дух». Он ловил впечатления от пестрой толпы. Рассказы о народных волнениях и восстаниях поэт обогащал живыми наблюдениями, почерпнутыми из гущи жизни.

Несомненно, общественно-политический опыт Пушкина этого периода сказался на его романтических, а позже реалистических произведениях и замыслах.

ЗАМЕТКИ О ЛЕРМОНТОВЕ

Много трудов было написано об источниках произведений Лермонтова — западноевропейских и восточных. Результаты этих поисков часто кажутся вероятными, иногда даже несомненными. Использование того или иного источника, воспоминание из какого-нибудь произведения, «внутренняя цитата» в каждом данном случае имеют разный смысл и говорят об особом творческом процессе, включившем в сознание Лермонтова это воспоминание или заставившем его повторять всем известные чужие стихи. Каждый раз, когда бывает установлен какой-нибудь еще не известный источник, он что-то прибавляет к нашим представлениям о великом поэте и вносит тот или иной штрих в его творческий портрет.

1

Стихотворение «Спор» всем известно с детского возраста. «Седовласый Шат» («Ельбрус», как объясняет Лермонтов) упрекает Казбека в том, что он «покорился человеку», и предупреждает его, что ему угрожает полное подчинение. Но сам Шат свободен от всякого рабства, над ним никто не властвует. Воевавший в горах Кавказа, Лермонтов как будто сам «подслушал» этот спор, отлично рисуя обстановку и перспективы завоевания всего Кавказа более цивилизованной, промышленной и в военном отношении мощной страной. В знаменитом собрании греческих народных песен, переведенных Клодом Форьеlem и напечатанных в 1821 г. под названием «*Chants populaires de la Grèce moderne*», мы находим песню, имеющую много общего со стихотворением Лермонтова. Вот ее содержание.

Олимп и Киссавос, две горы, спорят между собой. Тогда Олимп поворачивается к Киссавосу и говорит ему: «Не спорь со мной, Киссавос, ты, погранный ногами турок! Я — старый Олимп, прославленный во всем мире; у меня сорок две вершины, шестьдесят два источника; и у каждого источника знамя, на каждой ветви дерева — клефт. И на самой высокой моей вершине — орел, держащий в когтях голову храбреца. — О голова! Чем ты заслужила такое обра-

щение? — Птица, съешь мою молодость, напитайся моей отвагой: твое крыло вырастет величиною с он (аипе), а коготь будет величиною в ампан. Я был арматолом в Лурасе и Ксеромерасе и двенадцать лет клефтом на Олимпе и в Хазиях. Я убил шестьдесят агов и сжег их корабли. Что же касается остальных, которых я уложил на месте, то их слишком много, чтобы я мог их сосчитать. Но, наконец, мой час пришел. Ешь, птица, мою молодость, напитайся моей отвагой».

Эта песня была одной из самых популярных в знаменитом сборнике. Движение филэллинизма было так сильно и так распространено во всей Европе, что «народные песни современной Греции» вызвали к себе всеобщий интерес. Из тридцати пяти песен, напечатанных Форьеlem в его сборнике, двенадцать были переведены Н. И. Гнедичем и изданы в 1825 г. под названием «Простонародные песни нынешних греков». Этому изданию Гнедич предпослал обширное введение, в котором он доказывал, что эти песни в значительной мере славянские или созданы под сильным славянским влиянием. Основанием для него было то, что много слов в этих песнях было чисто славянских и даже, по мнению Гнедича, русских. В 1832 г. эти двенадцать песен были напечатаны без введения, затем в «Одесском альманахе» на 1840 г. Н. П. Протопопов напечатал шесть песен из того же сборника в своем переводе. «Шесть новогреческих песней, дышащих наивною поэзиею народной фантазии и прекрасно переведенных г. Протопоповым...», — писал В. Г. Белинский в «Отечественных записках» за 1840 г. (№ 3).¹

В 1836 г. в «Современнике», т. IV А. С. Пушкин напечатал стихотворение Л. Я. Якубовича «Урал и Кавказ».² Это тоже спор между двумя горами о первенстве. Урал похвывается своим золотом, серебром, алмазами и яшмой: «Кавказу ль досталось равняться со мной...» Но Кавказ все же остается победителем: своими целебными водами он возвращает людям долин здоровье, а людям гор сохраняет «приволье и мир». Очевидно, этот спор был вдохновлен греческим «Олимпом», и здесь также, но в весьма редуцированном виде, присутствует мысль, что Кавказ сохраняет независимость своих свободолюбивых жителей. 13 апреля 1841 г. было написано стихотворение Лермонтова «Спор», напечатанное в «Москвитяине» в том же году.

Мы не знаем, читал ли Лермонтов книгу Форьеля в подлиннике или познакомился с интересующей нас песней в переводе Гнедича или Протопопова, но трудно предположить, что он совсем

¹ Историю распространения этих песен в странах Европы см. в кн.: Miodrag Ibrovać. Claude Fauriel et la fortune européenne des poésies populaires grecque et serbe. 1966.

² В 1837 г. оно было перепечатано в сборнике стихотворений Якубовича, стр. 115—116. Указанием на это стихотворение я обязан Р. В. Иезуитовой, за что приношу ей благодарность.

не знал о существовании народной революционной поэзии «современных греков» и в частности песни «Олимп», напечатанной Гнедичем первой и названной им «одной из древнейших и лучшей из клефтических песен, в собрании г. Фориеля напечатанных». Гнедич считал ее наиболее типичной для народной поэзии: «В сочинении и подробностях ее видно более, нежели в других, дикой смелости воображения и тех дерзких порывов гения, той сильной простоты, которые составляют свойство сих произведений».³

Если предположить (а это наиболее вероятно), что Лермонтов читал эту песню в сборнике Гнедича или в переводе Протопопова, то следует изучать фольклорные интересы Лермонтова в известной связи и с греческими песнями, и со статьями их русских переводчиков.

Структура лермонтовского стихотворения «Спор» совершенно соответствует песне, известной в русском переводе под названием «Олимп».

Греческая песня не говорит нам, о чем спорили две горы. Мы знаем только, что они спорили, и Олимп, чтобы заставить гору Киссавос замолчать, стал его упрекать. У Лермонтова — та же ситуация. Предмет спора нам неизвестен, это только разговор, начатый горой Шат с тем, чтобы заставить Казбека замолчать, так как он недостоин спора, — очевидно, это был спор о превосходстве. Казбек «покорился человеку» и, напомнив ему об этом, Шат утвердил свое превосходство над ним, так же как Олимп в споре с Киссавосом.

Обстоятельства кавказской войны должны были напомнить Лермонтову то, что так еще недавно происходило на Балканах и закончилось только после Наваринского сражения. Но он повернул сюжет в другом направлении: победа русских была предрешена, она была исторической закономерностью и прогрессом. Сочувствие к горцам не помешало ему понять философско-исторический смысл событий. Он несомненно был знаком со спорами вокруг теории завоевания О. Тьерри, и его мысль шла в том же направлении, что и мысль французских и итальянских историков, профессионалов и дилетантов, сторонников национально-освободительных движений и социального прогресса.

Вероятно, в истории мировой поэзии можно было бы найти еще какие-нибудь произведения, в которых речь идет о споре гор. Следует вспомнить хотя бы одно, которое тесными узами связано со стихотворением Лермонтова.

Армянский поэт Ованес Туманян (1869—1923) написал на эту же тему стихотворение «Примирение», в котором изображен не спор, а союз двух гор — Масиса (армянское название Арарата) и Казбека.⁴ Масис не упрекает Казбека за то, что он «покорился

³ Н. И. Гнедич. Стихотворения. Вступ. статья, подгот. текста и прим. И. Н. Медведевой. Изд. «Советский писатель», М.—Л., 1963, стр. 403.

⁴ За это сообщение приношу благодарность К. Н. Григоряну.

человеку». Он хочет заключить с ним союз, очевидно, для того чтобы вместе сопротивляться врагу:

Мы братья, ровесники по векам,
И пламя одно пожирает нас.

Мой родич, немало меж нами уз,
Пусть горы свидетельствуют грозой,
Что мы заключили с тобой союз...⁵

Молодой поэт, по-видимому, вдохновился стихотворением Лермонтова, но в его стихах речь идет не о покорности, а о сопротивлении. Все горы Кавказа должны объединиться для борьбы с завоевателем, но завоевание идет не с севера, а с юга — армянский поэт мог призывать только к сопротивлению туркам. Таким образом, заимствуя у Лермонтова мотив спора, Туманян как бы «сквозь Лермонтова» вернулся к народной греческой песне, тоже говорившей не о покорности, а о сопротивлении общему для обоих народов в то время врагу.

Так, греческая национальная песня, созданная в эпоху народной борьбы с завоевателями и ставшая известной во французском ее переводе, создала особую тему в русской поэзии 1830—1840-х годов и отразилась в армянской поэзии более позднего периода. Она стала «вечной» благодаря М. Ю. Лермонтову.

2

А он, мятежный, ищет бури,
Как будто в бурях есть покой.

Это тоже одно из самых популярных стихотворений Лермонтова. Каждый знает его с детства, стихи его вошли в поговорку и цитируются всегда в определенной ситуации как формула и тип особого отношения к жизни — не столь редкого, как это могло бы показаться.

Этот характер и тип, созданный и глубоко пережитый Лермонтовым, однако, не является только художественной проекцией его собственной природы. Он существовал всегда, будь то тип полководца-завоевателя, конкистадора, рыцаря — искателя приключений, путешественника-первооткрывателя или борца за справедливость, революционера, рискующего жизнью ради народного блага. Таких можно было бы найти и в древности — и Александр Македонский, и Спартак, несмотря на чрезвычайное различие целей, устремлений и обстоятельств, могли бы послужить примером такого типа и иллюстрацией к стихам Лермонтова.

Улисс «Божественной комедии» является одним из первых воплощений этого беспокойного духа, терзаемого огнем желания

⁵ О. Туманян, Избранные произведения в 2 томах, т. I, Гослитиздат, М., 1960, стр. 9.

Изведать мира дальний кругозор
И все, чем люди дурны и достойны.⁶

Уже в «Божественной комедии» этот «голод знойный», этот пыл души соседствует с жаждой открытий и познания, с романтикой морских путешествий. Авантюризм, свойственный европейскому XVIII в., получил свое отражение у мадам де Сталь. В трактате «О влиянии страстей на счастье отдельных лиц и народов» (1796) мадам де Сталь говорит о страстях, которые «сгибают человека под ярмо эгоизма». К числу таких страстей принадлежит «потребность волнений». Для души, охваченной смятением чувств, «опасность, даже не имеющая никакой цели, доставляет удовольствие. ... Это состояние иногда становится столь необходимым, что моряки снова переплывают моря только для того, чтобы снова испытать опасности, которых они когда-то избежали».⁷ Среди тех «игр», которые доставляют чувство опасности, Сталь называет «великую игру славы», требующую особых, труднодостижимых условий, и игру в кости «на зеленом столе».

Тот же, уже привычный и не раз использованный образ моряка, ищущего опасностей, воспроизвел и Виктор Гюго в известной оде, написанной по поводу отставки Шатобриана с поста министра и датированной 7 июня 1824 г. «Всякое большое сердце, — говорит Гюго, — имеет право на большое несчастье, это дань почета, которую земля воздает душам, спасенным судьбою от законов, властвующих над всеми другими». И ода начинается такими стихами:

Il est, Chateaubriand, de glorieux navires
Qui veulent l'ouragan plutôt que les zéphires.⁸

Возможно, что слова эти возникли не без влияния Байрона, которому часто уподобляли Шатобриана с его «меланхолией» и «неопределенными страстями».

В знаменитых строфах III песни «Чайльд-Гарольда» (1816) Байрон говорит о Наполеоне:

But Quiet to quick bosoms is a Hell,
And there hath been they bane; there is a fire
And motion of the Soul which will not dwell
In its own narrow being, but aspire
Beyond the fitting medium of desire;
And, but once kindled, quenchless evermore,
Preys upon high adventure, nor can tire
Of ought but rest...⁹

⁶ Данте Алигьери. Божественная комедия. Пер. М. Лозинского. Изд. «Наука», М., 1967, стр. 118.

⁷ Madame de Staël. De l'influence des passions sur le bonheur des individus et des nations, chap. V: «Du jeu, de l'avarice, de l'ivresse, etc.». Oeuvres complètes, 1844, t. I, p. 139.

⁸ «Бывают, Шатобриан, прославленные корабли, которые больше хотят урагана, чем зефиров».

⁹ Child Harold's Pilgrimage, Canto III. The Works of Lord Byron, Poetry, vol. II, ed by E. H. Coleridge, John Murray, 1899, p. 242.

Таковы, по словам Байрона, были основатели религий и философских систем, а также софисты, поэты, государственные деятели, «все те беспокойные существа, которые слишком сильно напрягали тайные пружины души». Жизнь таких людей — ураган, они не могут жить без битв, и покой для них значит смерть. Они поднимаются на высокие вершины гор...¹⁰ и т. д.

Наполеон в изображении Байрона оказался законченным образчиком этой беспокойной психологии. Байрона часто сравнивали с Наполеоном (например, Пушкин), и он сам любил эти сравнения.

Современникам казалось, что великий полководец и великий поэт страдают той же болезнью: неудержимой жадной деятельностью, любовью к опасностям, внутренним буйством, которое невозможно укротить.

У Пушкина часто встречаются те же мотивы и та же эмоция:

Мне бой знаком — люблю я звук мечей;
... И смерти мысль мила душе моей...

(1820)¹¹

В стихотворении «Война» (1821) поэт жаждет «сильных впечатлений». Он надеется, что война пробудит его «уснувший гений», и спасеньем от «тягостной лени» ему кажется «смерти грозной ожиданье»:

Что ж медлит ужас боевой?
Что ж битва первая еще не закипела?

(II, 167)

Но «боязнь покоя», уничтожающего поэтический гений, погребящего человека в ничегонеделании, жажда опасности, риска, «героическая» жажда славы, связавшись с образом Наполеона, неожиданно включаются в философско-исторические размышления Пушкина. Наполеон у него интерпретируется приблизительно так же, как у Байрона, и так же, как у Байрона, вступает в трудно определяемое сочетание с образом моря.¹² Войны последних лет империи Пушкин объясняет именно этими психологическими причинами.

Тильзит надменного героя
Последней славою венчал,
Но скучный мир, но хлад покоя
Счастливец душу волновал,

(II, 215)

¹⁰ Строфы XII, XV.

¹¹ А. С. Пушкин, Полное собрание сочинений, т. 2, Изд. АН СССР, 1947, стр. 138. В дальнейшем том и страница этого издания указываются в тексте.

¹² Об образе моря у Байрона см.: Е. И. Клименко. Инносказательный смысл «моря» в поэзии Байрона. «Вестник Ленинградского университета», 1963, № 8.

— писал Пушкин, узнав о смерти «великого человека». И через три года слова эти повторяются в несколько другом контексте.

В отрывке «Недвижный страж дремал на царственном пороге» (1824) вновь то же сочетание, что и в отрывке «Кто, волны, вас остановил», — праздность, покой, лень, с одной стороны, и творчество, буря, свобода и гений — с другой:

Ни тучной праздности ленивые морщины,
Ни поступь тяжкая, ни ранние седины,
Ни пламя бледное нахмуренных очей
Не обличали в нем изгнанного героя,
Мучением покоя

В морях казенного по манию царей.

(II, 312)

Покой и праздность кажутся бедствием. В отрывке «Кто, волны, вас остановил» (1823) это обнаруживается с полной отчетливостью:

Кто в пруд безмолвный и дремучий
Поток мятежный обратил?

(II, 288)

Покой — это неволя. Буря — «символ свободы», и в ней — освобождение. То же — в стихотворении «К морю», где море, Наполеон и Байрон ведут одну и ту же линию — бури, деятельности и неукротимой свободы.

И, наконец, все это связывается с образом моряка, напоминающего Улисса «Божественной комедии»:

Завидую тебе, питомец моря смелый,
Под сенью парусов и в бурях поседель!
Спокойной пристани давно ли ты достиг —
Давно ли тишины вкусил отрадный миг —
[И вновь тебя зовут заманчивые волны].
[Дай руку — в нас сердца единой страстью полны].
Для неба дального, для [отдаленных] стран
[Оставим <берега>] Европы обветшалой;
Ищу стихий других, земли жилец усталый;
Приветствую тебя, свободный Океан.

(II, 290)

Почти все эти стихи датируются 1823 г. В следующем, 1824 г., Е. Баратынский пишет стихотворение «Буря»:

Когда придет желанное мгновенье?
Когда волнам твоим я вверюсь, океан?
Но знай: красой далеких стран
Не очаровано мое воображенье.
Под небом лучшим обрести
Я лучшей доли не сумею.

Меж тем от медленной отравы бытия
В покое рабелепном я
Ждать не хочу своей кончины;
На яростных волнах, в борьбе со гневом их,

Она отраднее гордыне человека!
Как жаждал радостей младых
Я на заре молодого века,
Так ныне, океан, я жажду бурь твоих!¹³

Баратынский не ищет счастья в далекой стране и не бежит от счастья. Он не хочет «раболопного покоя», он жаждет брани, борьбы и бури. Это весь комплекс чувств, получивших свое выражение в «Парусе».

Можно ли утверждать, что тот или иной из названных текстов, прозаических и поэтических, французских, английских и русских, послужил источником для стихотворения Лермонтова? Едва ли какой-нибудь литературовед решится на это, не имея прямых к тому доказательств.

Прежде всего потому, что такое количество сходных произведений заставляет предполагать существование в мировой литературе еще многих других, более или менее сходных друг с другом или с «Парусом» Лермонтова.

Во-вторых, потому, что мы не знаем, был ли Лермонтов знаком с этими или с какими-нибудь другими произведениями того же плана.

В-третьих, потому, что одно только знакомство с текстом не значит, что этот текст был воспринят поэтом, сохранился в памяти и возник в воспоминании в тот момент, когда возникло желание написать новое стихотворение на те же мотивы.

И, наконец, потому, что в творчестве самого Лермонтова задолго до «Паруса» встречаются те же мотивы в разных вариантах — это проблема «покоя» и «борьбы», которые вступают друг с другом в самые неожиданные сочетания уже в ранних его стихотворениях.

«Мой демон»... «любит бури роковые» (1829). Поэт, «как Байрон», ищет «забвенья и свободы», он ищет «спокойствия напрасно», так как любит «и бурь земных, и бурь небесных вой» (1830).

Мне нужно действовать, я каждый день
Бессмертным сделать бы желал, как тень
Великого героя, и понять
Я не могу, что значит отдыхать.¹⁴

(1831)

«Великий герой» — это Наполеон, для которого, как писали Байрон и Пушкин и все его современники, покой был невозможен.

Поэт обращается к любимой женщине и предлагает ей:

¹³ Е. А. Баратынский, Полное собрание сочинений, Изд. «Советский писатель», Л., 1957 (Библиотека поэта, Большая серия), стр. 112—113.

¹⁴ М. Ю. Лермонтов, Сочинения в шести томах, т. 1, Изд. АН СССР, М.—Л., 1954, стр. 183.

Будь товарищ грозных бурь моих...
Я рожден, чтобы не жить без них.

(1832)

Что без страданий жизнь поэта?
И что без бури океан?

(1832)

И вот его «Желание»:

Я тогда пушуся в море
Беззаботен и один,
Разгуляюсь на просторе
И потешусь в буйном споре
С дикой прихотью пучин.

(1832)

Беззаботность, свобода, покой, забвенье прочно связываются с бурей и борьбой.

«Я ишу свободы и покоя!», — восклицает он в известном стихотворении (1841) и мечтает подняться на недоступные скалы, чтобы «сбросить цепь бытия» и назваться «с бурей братом», или, пользуясь словами Баратынского, умереть не в раболепном покое, а в борьбе с бурей. Это давно определившийся, но все же динамический синтез понятий, получивших свое полное, парадоксальное и точно осмысленное выражение в «Парусе».

Но это — не только собственное ощущение Лермонтова, извлеченное из тайников его души. Указанные выше «сходства» или «параллели» свидетельствуют о том, что это ощущение было характерно для всей этой эпохи, начавшейся после революции конца XVIII в. Как возник этот мучительный, бурно действовавший и в то же время прогрессивный комплекс? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно было бы изучить сложные процессы общественного становления целой эпохи. Так или иначе, но образ корабля или мореплавателя, который «ищет бури, как будто в бурях есть покой», широко распространенный в поэтическом мышлении Европы, наиболее полно выражал состояние духа, вызванное проблемами эпохи, и не только состояние духа Михаила Юрьевича Лермонтова. Он обобщает исторический, философский и нравственный опыт послереволюционных поколений, пытавшихся осмыслить свою тоску, жажду действия и неумение найти наиболее верный путь для движения вперед.

Погоня за параллелями может привести к пагубным заблуждениям, если на основании одного только сюжетного сходства мы будем воссоздавать историю и смысл художественного произведения или всего творчества. Она может быть полезной, для того чтобы установить некие общие константы литературных интересов, определенных проблематикой данной эпохи и данного общества.

К ИСТОРИИ ПАМЯТНИКА ЛЕРМОНТОВУ В ПЯТИГОРСКЕ

В Отделе рукописей Государственной Публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде хранится пятитомное «Дело о постановке памятника поэту М. Ю. Лермонтову в Пятигорске» за 1871—1889 гг.

Как видно из «Дела», инициатором и энтузиастом этого начинания был контрагент Управления Кавказских минеральных вод и издатель «Листка» для посетителей этих вод городской голова Ростова-Дону А. М. Байков (1831—1889).¹ Началось «Дело» 1 июня 1871 г. Сбор пожертвований на первый в России памятник Лермонтову, который предполагено было соорудить в Пятигорске, как месте гибели поэта, был «высочайше» разрешен 23 июля этого года.

Первый взнос вскоре после обнародования данного разрешения был сделан двумя крестьянами Таврической губернии (фамилии их в «Деле» не указаны), приславшими два рубля, после чего в течение трех лет «в кассу жертвований не поступило больше ни одной копейки».² В 1874 г. на Кавказских Минеральных водах местная интеллигенция вместе со столичными гостями, приехавшими сюда для лечения и отдыха, устроила публичные литературные чтения, давшие 163 рубля. Эти деньги и послужили первоначально основным вкладом в капитал на сооружение памятника поэту. В январе 1875 г. была открыта подписка и в частях Кавказской армии, в рядах которой доблестно служил Лермонтов.

30 сентября 1875 г. во Владикавказе был образован уже Комитет по сооружению памятника поэту Лермонтову, состоявший в основном из кавказских военных и штатских властей. В него входили военный начальник Терской области (он же председатель Комитета), его заместитель, вице-губернатор, поли-

¹ Материалы «Дела» по смерти Байкова были переданы его зятем, П. П. Гнедичем, начальнику и основателю Лермонтовского музея в Петербурге генералу А. А. Бильдерлингу, из музея же они поступили на хранение в Государственную Публичную библиотеку.

² «Дело», т. 1, л. 9.

деймейстер и др. А. М. Байков был введен в этот Комитет со званием «строителя» памятника. Повсюду рассылались подписные листы. Пожертвования теперь шли в адрес Комитета. Поступали большей частью мелкие суммы, да это и понятно. В списках жертвователей нет ни одного «высочайшего» имени, нет там и представителей сановной бюрократии. Очевидно, и после смерти мятежный поэт продолжал оставаться в опале. Основная масса взносов шла от мелких служащих, военных, интеллигенции.

Начавшееся в России в 1876 г. в связи с сербско-турецкой войной движение в пользу славян Балканского полуострова вызвало повсеместные денежные сборы. Русско-турецкая освободительная война 1877—1878 гг. в свою очередь потребовала усиленных пожертвований со стороны частных лиц, обществ и учреждений. Все это неблагоприятно отразилось на деятельности Комитета по сооружению памятника Лермонтову, и Комитет счел за лучшее на время приостановить свою работу.

Кончилась русско-турецкая война, возобновил свою работу и Комитет. В начале 1880 г. в журнале «Вестник Европы» появилось воззвание Комитета, в котором сообщалось, что всего с 1871 г. поступило взносов на сумму 6977 руб. 95 коп. и что «эта сумма в настоящее время представляет собою весь капитал, имеющийся в распоряжении Комитета, — капитал, далеко недостаточный не только для сооружения хотя бы самого скромного памятника поэту, но даже для составления его проекта». И Комитет пригласил «к пожертвованиям все русское общество, вполне надеясь, что оно с сочувствием отзовется на призыв».³

Призыв был услышан. За один только 1880 г. было получено 8253 руб. 55 коп. Из них тысячу рублей собрал в фонд памятника среди своих знакомых князь А. И. Васильчиков, бывший секундантом на дуэли Лермонтова с Мартыновым.

На 15 июля 1881 г. Комитет принял решение организовать торжественное чествование 40-й годовщины со дня смерти Лермонтова. Праздник по обычаям того времени должен был начаться с панихиды в городском соборе. Однако соборный протоиерей Василий Эрастов (тот самый, который сорок лет тому назад отказался хоронить Лермонтова по обрядам православной церкви) категорически отказывался служить ее. Из «Дела» видно, что помогло только вмешательство вице-губернатора Терской области Якобсона, обратившегося к епископу кавказскому Герману с письменной просьбой разрешить эту панихиду.⁴

После панихиды состоялось открытие мемориальной доски на доме, где жил Лермонтов, торжественное шествие делегаций с венками для возложения их на бюст поэта, установленный в Елизаветинской галерее, обед по подписке (в составе меню «водка и за-

³ «Вестник Европы», 1880, № 1, стр. 459—460.

⁴ «Дело», т. 1, лл. 68—68 об.

куски à la Демон, супы Уланша и Казначейша, осетр Измаил-Бей, ростбиф Боярин Орша, зелень Хаджи-Абрек, жаркое — разная птица и дичь à la Кирибеевич, мороженое Тамара»⁵), базар. Вечером же в Михайловской галерее «с дозволения начальства» состоялся «инструментально-вокально-литературный концерт», «исключительно составленный из музыки на произведения Лермонтова», в котором безвозмездно участвовали столичные гости: М. Н. Гурьева, Е. А. Евдокимова и артисты императорских театров Д. А. Усатов, П. А. Хохлов, Н. И. Музиль и П. А. Шуровский. Было объявлено, что «весь сбор с концерта поступит на усиление фонда на памятник поэту М. Ю. Лермонтову».⁶ Закончился вечер иллюминацией и народным гуляньем. В результате этого праздника была собрана крупная сумма — 2000 рублей.

Далее в «Деле» идет черновик протокола Комиссии об определении места дуэли в связи с показаниями извозчиков, перевозивших истекавшее кровью тело убитого поэта от подножия Машука к его квартире, — Евграфа Чалова и Ивана Чухнина.⁷ Этому протоколу предшествуют записи А. М. Байкова: «Профессор Дерптского университета Павел Александрович Висковатов, составляющий описание жизни М. Ю. Лермонтова и собирающий данные для его биографии, был у меня 12 августа 1881 года.

Вечером ездили с ним и Г. Хр. Якобсоном смотреть место дуэли и по всем имеющимся у него данным остановились на месте, указанном Чухниным. . . П. А. Висковатов передал мне нечто вроде протокола относительно места дуэли поэта М. Ю. Лермонтова. Протокол этот подписан и Эмилией Шан-Гирей.

15 августа [18]81 г.»⁸

В следующем 1882 г. в Пятигорске снова возник инцидент с панихидой. На имеющемся в «Деле» печатном объявлении о панихиде в городском соборе «по усопшем 41 год тому назад поэте» — помета А. М. Байкова: «За отказом протоиерея служить панихиду в соборе заменено другим».⁹ В дальнейшем чествование памяти Лермонтова в день его кончины в Пятигорске становится уже традицией.¹⁰ Одновременно быстро растет и денежный фонд памятника. К 1 января 1883 г. он достиг уже почти 30 000 рублей. Теперь можно было начинать и работу по изготовлению монумента.

В начале 1882 г. председатель Комитета по сооружению памятника Лермонтову генерал-адъютант А. П. Свистунов обра-

⁵ Там же, л. 72.

⁶ Там же, лл. 67а, 73а.

⁷ Там же, лл. 95—98. Опубликовано в «Русской старине» (1882, т. XXXIII, № 1, стр. 259—262).

⁸ «Дело», т. 1, лл. 88—89.

⁹ Там же, л. 128а.

¹⁰ По просьбе Комитета одно из этих празднеств, в 1883 г., возглавлял родственник и друг поэта Аким Шан-Гирей. См.: «Дело», т. 1, лл. 171—175, 180—180 об.

тился в редакцию петербургского журнала «Хозяйственный строитель» с пожеланием, чтобы редакция приняла на себя организацию конкурса на составление проекта памятника. Редактор журнала П. П. Мижув ответил, что сооружение памятника поэту является «делом сочувственным всей русской интеллигенции», ему надо дать «сколь возможно больший простор, пригласив к нему лиц из сфер: ученой, художественной и литературной, самый же конкурс сделать, так сказать, всенародным». Свистунов согласился с мнением Мижуева и дал ему разрешение организовать в Петербурге комиссию для составления программы конкурса и выборов членов жюри для присуждения конкурсных премий.¹¹

Эта комиссия была создана из литераторов, художников, а также людей, лично знавших Лермонтова. В нее вошли А. И. Арнольди, А. А. Бильдерлинг, В. П. Гаевский, Д. В. Григорович, П. П. Каратыгин, А. А. Краевский, И. Н. Крамской, А. Н. Майков, П. П. Мижув (председатель комиссии), М. О. Микешин, П. А. Монтеверде, М. И. Цейдлер.

На заседании Комиссии 21 октября 1882 г. В. П. Гаевский выступил с заявлением о том, что «Лермонтов принадлежит всей России, а потому место памятника ему не на Кавказе, а в одном из двух главных центров... Сумма пожертвований на памятник значительно увеличится, если станет известным, что памятник поставлен будет в Москве или Петербурге. Сумма должна будет превысить требуемую для памятника, и тогда остальную можно употребить на сооружение другого памятника, меньших размеров, на Кавказе».¹²

Следующее заседание Комиссии, 29 октября 1882 г., было специально посвящено спорному вопросу о месте постановки памятника. В своем выступлении Гаевский сказал, что сооружение памятника Лермонтову как поэту, принадлежащему всей России, желательно «преимущественно в Москве, где поэт родился и воспитывался и где уже сооружен памятник его великому предшественнику Пушкину. Кавказ был только местом ссылки Лермонтова, и хотя вдохновлял его, но был такою же случайностью в его жизни, как Кишинев в жизни Пушкина.¹³ Выступали также Каратыгин, Микешин, Мижув, Краевский. После того как были выслушаны все мнения, поставлен был вопрос: где желательнее сооружение памятника Лермонтову? Ответ был единогласный: «В Москве». Комиссия постановила представить выказанные соображения главноначальствующему над гражданской частью на Кавказе князю А. М. Дондукову-Корсакову и, по соглашении с ним, ходатайствовать о сооружении памятника Лермонтову в Москве с продолжением повсеместной для него подписки.

¹¹ «Дело», т. 1, лл. 201—204.

¹² Там же, л. 213.

¹³ Там же, л. 216.

На следующем заседании (19 ноября 1882 г.) было заслушано заявление Д. В. Григоровича о том, что князь Дондуков-Корсаков отклонил ходатайство Комиссии. Таким образом, инициатива общественности Петербурга была сразу же подавлена. Да это и понятно: в мрачные годы «владычества» Победоносцева и разгула политической реакции не могло быть и речи о поставке в Москве памятника опальному поэту.

Затем Комиссия занялась конкурсными делами. В январе 1883 г. она утвердила список членов жюри для предстоящих конкурсов на проект памятника Лермонтову. Членами жюри стали художники (Ф. И. Иордан, К. Е. Маковский, М. А. Зичи, М. П. Боткин), литераторы (редактор «Вестника изящных искусств» А. И. Сомов, художественный критик А. М. Матушинский, поэт Я. П. Полонский), скульпторы (Н. И. Лаврецкий, П. П. Забелло, М. А. Чижов), архитекторы (И. С. Богомолов, Е. А. Сабанеев, И. И. Шапошников). Всего в 1883 г. было проведено три конкурса. Победителем оказался академик ваяния А. М. Опекушин, получивший премию в тысячу рублей. Однако его модель имела недостатки, которые он дал слово выправить. Главным из этих недостатков было малое сходство ее с внешностью поэта. Это отметил и новый председатель Комитета по сооружению памятника генерал-майор Юрковский, писавший в октябре 1884 г. Мижуеву, что, «судя по этой модели, можно догадываться о принадлежности сооруженного по ней памятника поэту Лермонтову только по надписи на пьедестале». Если Опекушин не исправит этот недостаток, то «Комитет не сочтет себя вправе воспользоваться премированной моделью».¹⁴

Самым сложным для скульптора оказался вопрос о внешности поэта, которую он должен был представить в памятнике. В начале 1883 г. он выступил в печати с сообщением о портретах Лермонтова и о важности решения вопроса о степенях их сходства с поэтом. Ознакомившись с коллекцией портретов поэта, собранных П. А. Висковатовым, Опекушин приходит к выводу, что «самое любопытное и важное для скульптуры — это портрет поэта в профиль, сделанный карандашом в 1840 г.¹⁵ во время экспедиции на Кавказе... Профильный портрет поэта весьма важен, даже необходим при лепке бюста, так как маски с умершего поэта снято не было».¹⁶

В «Деле» имеется черновик договора А. М. Опекушина с А. М. Байковым от 10 июня 1885 г. об изготовлении статуи поэта для памятника. В нем скульптор указывает всю трудность предстоящей ему работы: «Ввиду того обстоятельства, что удельворительного портрета поэта Лермонтова не существует, а нужно еще, так сказать, создать его, то я, Опекушин, должен

¹⁴ «Дело», т. 2, лл. 18—18 об.

¹⁵ Д. П. Паленом.

¹⁶ «Неделя строителя», 1883, № 11, стр. 78.

предварительно вылепить колоссальный этюд головы, воспользовавшись для этого имеющимися материалами и указаниями лиц, близко и лично знавших поэта, дабы предполагаемая к отливке бронзовая статуя до последней степени отвечала сходством с чертами облика покойного поэта».¹⁷

Работа по изготовлению памятника шла очень медленно. Не спешил Опекушин, трудившийся одновременно еще над двумя заказанными ему памятниками. В 1887 г. неожиданно скрылся, уехав за границу, мраморщик, итальянец Эспозито, получивший вперед деньги (3000 рублей) за мраморную скалу (пьедестал) для памятника. Взяв этот убыток на себя, А. М. Байков поручил и оплатил изготовление теперь уже гранитного пьедестала и ступеней другому мастеру, тоже итальянцу, С. А. Тонетти.

До намеченного дня открытия памятника оставалось меньше года, однако даже ближайшие участники этого дела не были уверены в близком его окончании. В «Деле», например, имеется проникнутое отчаянием письмо к А. М. Байкову секретаря Комитета по сооружению памятника полковника П. В. Бойчевского от 12 октября 1888 г.: «... просто какой-то злой рок висит над памятью незабвенного поэта, которого мы отняли от России и до сих пор не сберемся никак достойно почтить его память... Не в счастливый день, должно быть, задумали Вы великую мысль сооружения в Пятигорске памятника незабвенному поэту, не помогли и таврические мужички, первыми отозвавшиеся на Ваш призыв».¹⁸

Между тем изготовление памятника поэту, хотя и медленно, все же подвигалось вперед. 20 марта 1889 г. А. А. Бильдерлинг сообщал последнему председателю Комитета генералу А. М. Смекалову: «Академик Опекушин почти совершенно окончил лепку статуи Лермонтова, остается только окончить некоторые детали и поработать лицо по имеющимся у меня портретам и по указаниям современников — гг. Краевского и Арнольди. Сегодня еще видел в мастерской Опекушина статую в глине и нахожу, что в художественном отношении она исполнена очень хорошо».¹⁹

Только летом 1889 г. весь сложный комплекс работ по изготовлению и установке монумента был, наконец, завершен, и 16 августа этого года в Пятигорске состоялось открытие памятника Лермонтову.

Возглавлял торжество начальник Терской области (он же председатель Комитета по сооружению памятника) генерал-лейтенант Смекалов, вследствие чего ведущую роль на празднике играли воинские части и усиленно подчеркивалось не то, что памятник поставлен великому поэту, а то, что Лермонтов был поручиком Тенгинского полка.

¹⁷ «Дело», т. 3, л. 11.

¹⁸ «Дело», т. 5, лл. 362--362 об.

¹⁹ Там же, л. 413.

Почему же во главе Лермонтовских торжеств оказался генерал Смекалов, не отличавшийся никакими заслугами в области просвещения и литературы? Оказывается, он пользовался благоволением Победоносцева. Когда в сентябре 1888 г. шла речь о назначении Смекалова Киевским генерал-губернатором, то Победоносцев писал царю: «Есть люди, на коих можно бы положиться с уверенностью, напр., Смекалов, которого я считаю в первом ряду администраторов, но он необходим для Кавказа».²⁰

Распорядок торжества был таков. После традиционной панихиды в соборе все присутствовавшие на ней во главе со Смекаловым в сопровождении военного оркестра отправились к памятнику. Здесь Смекалов «прочитал отчет Комитета по устройству памятника относительно прихода и расхода сумм», после чего «упало покрывало, скрывавшее от взоров публики всю фигуру поэта, и к подножию его были положены венки».²¹ Возложение венков сопровождалось краткими речами, затем воинские части прошли церемониальным маршем. Избранным участникам торжества был предложен от города «роскошный завтрак», на котором оглашались полученные телеграммы и произносились речи. Об убогости последних с возмущением писал корреспондент «Нового времени»: «Выслушав все речи, я пришел к убеждению, что, должно быть, даже горы здешние с большим сочувствием и любовью отнеслись к празднику Лермонтова, чем люди, ораторствовавшие и молча евшие. . . поминальный пирог в казенной гостинице, испеченный на 180 персон». Из всех выступавших корреспондент выделил только профессора Военно-Медицинской Академии Е. В. Павлова, который «в коротких словах лучше, нежели присяжные ораторы, выразил сущность торжества»: «Праздник 16-го августа 1889 г. в Пятигорске, — сказал г. Павлов, — есть торжество правды, торжество идеала истины, добра и красоты. . . Скоро ли, долго ли, но правда восторжествует. Это мы видели сегодня — в открытии памятника Лермонтову».²²

Итак, лермонтовский праздник в Пятигорске прошел вполне «благонамеренно»: не было «крамольных» речей и выступлений прогрессивной молодежи, зато были щедрые тосты за «высочайших» особ, министров, поздравительные телеграммы этим «особам», «роскошный завтрак», народные гулянья на бульварах Пятигорска с иллюминацией и фейерверком, танцевальный вечер и тому подобные развлечения. Тишину и спокойствие в Пятигорске прежде всего надежно обеспечивали собранные здесь войсковые части. Во-вторых, на празднике отсутствовали представители университетов, деятели науки и искусства, столичная интеллиген-

²⁰ См.: «Письма Победоносцева к Александру III», т. II, М., 1926, стр. 200.

²¹ «Всемирная иллюстрация», 1889, № 1077, стр. 166.

²² «Новое время», 24 августа 1889 г., № 4844, стр. 3.

ция. Недаром журнал «Север» отмечал, что «торжество это имело чисто местный характер».²³ Этому способствовало почти полное отсутствие информации о празднике и запоздалая рассылка приглашений на участие в нем. Даже такой энтузиаст в деле изучения биографии и творчества Лермонтова, как дерптский профессор П. А. Висковатов, не смог приехать в Пятигорск и в своей телеграмме в Комитет по постановке памятника горько жаловался: «Телеграмму получил поздно; глубоко скорблю, что не с вами».²⁴ И это не единичная жалоба.

Прозрачные намеки на умышленное замалчивание лермонтовского праздника имеются в любопытной статье критика А. М. Скабичевского «Открытие памятника Лермонтову»:

«Открыт или не открыт памятник Лермонтову? Вот вопрос, который задавали себе почитатели поэта в течение прошлой недели, как в Петербурге, так и в Москве.

Только из одесских газет мы узнаем, наконец, что памятник Лермонтову открыт в Пятигорске, как и предполагалось, 16-го августа.

Мы имеем «телеграфное агентство», которое обязано снабжать нас иностранными и русскими депешами о важнейших событиях, но агентство просто-напросто забыло или даже не ведало, что в Пятигорске происходит интересное для всей образованной России торжество.

Сбором пожертвований на памятник, сооружением и открытием его заведовала, как известно, целая комиссия. Но и она не сочла нужным оповестить русское общество о празднике 16-го августа, закончившем возложенную на нее задачу.

Словом, вышло все, как следует, по-халатному, согласно с нашими старосветскими нравами и привычками. Чуть не полвека собирались поставить памятник гениальнейшему национальному поэту, а когда наконец собрались и поставили, то об этом „национальном событии“ лишь неделю спустя узнали даже в столицах. Девять десятых русского общества и теперь ровно ничего об этом не знают, а, может быть, и не желают знать!».²⁵

И в заключение Скабичевский снова ставил вопрос о памятнике Лермонтову в столице, «чтобы его поэтическим образом могло вдохновляться юношество».

²³ «Север», 3 сентября 1889 г., № 36, стр. 716.

²⁴ «Терские ведомости», 27 августа 1889 г., № 69, стр. 2.

²⁵ «Новости и Биржевая газета», 24 августа 1889 г., № 232, стр. 1.

О ПОВЕСТИ Н. В. ГОГОЛЯ «РИМ»

1

Повесть Гоголя «Рим» (1842) — произведение великого русского писателя, не оцененное до сих пор по достоинству нашей историко-литературной наукой. Не раскрыто вполне и место этой замечательной повести в эволюции гоголевского творчества. Поэтому мы считаем не лишним посвятить «Риму» настоящий самостоятельный этюд.

«Рим» появился в третьей книжке «Москвитянина» 1842 г. (цензурное разрешение 11 марта) с подзаголовком «отрывок», так как в момент печатания он представлялся автору фрагментом задуманного, но неоконченного более крупного произведения — повести или даже «романа» (по позднейшей характеристике Гоголя),¹ начатого еще в 1839 г. Роман этот вначале, как мы теперь знаем, должен был носить название «Аннунциата» (III, 476), а на одном из последующих этапов, если верить авторитету М. П. Погодина, — «Madonna dei fiori» (т. е. «Мадонна с цветами»).²

Как уже давно установлено,³ «Рим» возник в качестве непосредственного отражения впечатлений заграничной жизни Гоголя, вызванных ими исторических и философских раздумий. Проведя в конце 1836—начале 1837 г. несколько месяцев в Париже, Гоголь остался чужд общественной и политической жизни тогдашней Франции и в марте 1837 г. уехал в Италию, в Рим, где он жил с перерывами до 1841 г., работая над «Мертвыми душами». Горячая любовь Гоголя к «вечному городу» Риму, к его памятникам истории и искусства выражена в многочисленных письмах к друзьям и знакомым, особенно в письмах 1838—1839 гг. к ученице Гоголя М. П. Балабиной. Эти письма свидетельствуют о жи-

¹ Н. В. Гоголь, Полное собрание сочинений, т. XII, Изд. АН СССР, М., 1952, стр. 211. В дальнейшем ссылки на это издание даются в тексте (римская цифра — том, арабская — стр.).

² «Москвитянин», 1841, № 2, Смесь, стр. 616.

³ См.: В. И. Шенрок. Материалы для биографии Н. В. Гоголя, т. III, М., 1895, стр. 118 и сл.

вом интересе писателя не только к прошлой, но и к современной ему Италии — к ее природе, быту, языку, к итальянскому народу и его культуре.

Мысль литературно оформить свои римские впечатления возникла у Гоголя, по-видимому, уже в 1837 г. Такое заключение можно сделать на основании письма Гоголя к П. А. Плетневу от 2 ноября (нов. стиля) 1837 г. Письмо это содержит ряд суждений о «вечном городе», близких будущей повести («Все прекрасно под этим небом; что ни развалина, то и картина; на человеке какой-то сверкающий колорит; строение, дерево, дело природы, дело искусства — все, кажется, дышит и говорит под этим небом... Перед Римом все другие города кажутся блестящими драмами, которых действие совершается шумно и быстро в глазах зрителя» (XI, 114—115). В то же время Гоголь обещает в письме к Плетневу, что его друзья «когда-нибудь» увидят записки, «в которых отразились, может быть, верно впечатления души моей» (там же). А спустя полтора года, в письме к А. С. Данилевскому от 2 апреля (нов. стиля) 1839 г., побуждая последнего описать свои заграничные впечатления, Гоголь набрасывает для своего друга программу записки, превосходящую план «Рима»: «Ты немало уже видел и слышал — хлопочущий Париж и карнавальная Италия. Право, много всего, и русский человек в середине» (XI, 212). Достаточно было в этой программе заменить «русского человека» итальянским князем — и перед нами сюжет гоголевской повести.

Мне приходилось писать — при сопоставлении гоголевских образов с персонажами русских писателей конца 40—50-х годов, — что герои Гоголя рисуются им, как правило, в социальной статике, а не динамике.⁴ Не только в «Ревизоре» и первом томе «Мертвых душ», но и в «Вечерах на хуторе близ Диканьки», «Миргороде», петербургских повестях «Арабесок» характеры героев даны обычно с первых страниц в сложившемся виде, вне развития и изменения. Если же Гоголь рисует изменение характера персонажа (например, при обрисовке Чарткова в повести «Портрет» или при описании Плюшкина в первом томе «Мертвых душ»), то обычно речь у него идет не о рождении у героя новых, высших человеческих возможностей, а об окончательной деформации личности под влиянием власти денег или уродливого, крепостнического уклада жизни. Причем характерно, что и в этих случаях развитие характера изображается автором через противопоставление двух крайних — начальной и конечной — стадий движения; посредствующие же звенья остаются слегка намеченными, не привлекая специального, пристального внимания автора.

В «Риме» дело обстоит иначе. Гоголь избирает здесь в качестве главного героя не мелкого чиновника, духовно порабощен-

⁴ См.: Г. М. Фридлендер. Реализм Достоевского. Изд. «Наука», М.—Л., 1964, стр. 54—56.

ного и раздавленного бюрократической машиной, а человека, обладающего способностью трезвого анализа окружающих фактов, с широким умственным горизонтом, выступающего в качестве сознательного наблюдателя центральных событий и вопросов своей современности. Его образ не отграничен более или менее резко от авторского «я», как в других гоголевских повестях, а наоборот, — насыщен отражениями интеллектуальной жизни автора — недаром повесть создавалась как итог раздумий самого Гоголя, вызванных европейскими впечатлениями. Перед умственным взором князя, в отличие от более ранних гоголевских героев, проходят на протяжении истории его формирования различные народы и эпохи, духовная жизнь его дана в процессе движения, роста и углубления.

В письме от 17 ноября 1843 г. к П. А. Кулишу, опубликовавшему это письмо в «Современнике» в 1846 г., польский критик П. А. Грабовский писал, что, по его мнению, в эскизе «Рим» Гоголь по сравнению с другими своими повестями «является совершенно с новой стороны: это уже наблюдатель не мелких и юмористических сторон нравов, но великих задач общественных и вопросов, занимающих умы нашего века».⁵

В отзыве польского критика-романтика, несмотря на его односторонность, верно схвачено то, что отличает «Рим» от других гоголевских повестей: в то время как в «Невском проспекте», «Записках сумасшедшего», «Шинели» огромные по своему значению общественные и нравственные вопросы как бы сознательно «запрятаны» автором в анекдотический на первый взгляд сюжет из жизни петербургского обывателя или мелкого чиновника, в «Риме» повествователь, наоборот, ведет читателя за собой на такой наблюдательный пункт, откуда ему становится видна панорама современной европейской истории, судьбы целых народов и государств.

В связи с обнаженной философско-исторической тематикой и публицистическим складом повести меняется и традиционный облик гоголевского героя. Молодой итальянский князь — главный герой «Рима» — по своему духовному облику кое в чем близок таким более ранним гоголевским персонажам, как «петербургские художники» Пискарев (в «Невском проспекте») или молодой Чартков (в начале повести «Портрет»). Но в отличие от них он не погибает физически и нравственно, а наоборот, переживает в повести как бы «второе рождение», и именно рассказ об этом «втором рождении» князя составляет главное содержание повести.

Подобно самому Гоголю, его герой после недолгого увлечения Парижем переживает глубокое разочарование в политической и культурной жизни Франции времен Луи-Филиппа. Это позволяет гоголевскому герою по возвращении на родину переоценить ее,

⁵ «Современник», 1846, т. 41, № 1, стр. 53.

открыть в итальянской культуре и в своем родном народе новые, неугаданные им прежде черты. Великое прошлое Италии, художественные и архитектурные памятники Рима, кипучее веселье римского народного карнавала князь воспринимает в результате своей идейной эволюции как залог возможного существования более высокого и гармонического типа культуры, чем современная ему культура буржуазной Европы, под покровом «вечного кипенья» которой он открывает «странную недеятельность» (III, 227). И вместе с тем, как постепенно сознает гоголевский герой после своего возвращения в Рим, образ той более высокой и совершенной культуры, который складывается в его сознании в противовес культуре буржуазной Франции, принадлежит не одной эпохе Возрождения и вообще не только отдаленному прошлому. Осколки ее живут в политически поработанном австрийцами, но сумевшем сохранить чувство собственного достоинства, внутреннюю свободу, независимость и природную гибкость ума итальянском народе — народе, который князь до своей поездки за границу не смог узнать и оценить, но который он зато узнает теперь, пережив разочарование в общественной и политической жизни Парижа 1830-х годов. Символом обретенной им после долгих исканий и разочарований красоты родного народа для князя становится простая девушка из римского предместья Аннунциата. Ее встречу с князем, о которой рассказывает фрагмент, Гоголь, по-видимому, хотел увенчать в дальнейшем развитии действия союзом между ними.

В. В. Гиппиус справедливо указал, что отраженные в «Риме» размышления Гоголя над историческими судьбами Франции и Италии были тесно связаны с его раздумьями о России, которые образуют второй, скрытый, план «Рима», непосредственно связанный с первым.⁶ За образами Франции и Италии в сознании Гоголя неизменно возникал третий образ — России, а ответ писателя на вопрос о будущем Италии содержал в себе и ответ на вопросы об историческом будущем его родины. Так же как грядущие судьбы Италии, Гоголь связывал великое будущее России с могучими потенциальными силами, заложенными в русском народе, силами, неизвестными образованному обществу и не оцененными им, но не раз проявлявшимися в прошлом и являющимися залогом возрождения страны. Недаром повесть «Рим» писалась Гоголем в те же годы, когда он завершал работу над первым томом «Мертвых душ». Заключительные строки этого тома, посвященные будущему России-«тройки», непосредственно перекликаются с патетикой «Рима».

Как известно, В. Г. Белинский познакомился с «Римом» в марте 1842 г. и сразу же занял по отношению к повести резко

⁶ В. В. Гиппиус. От Пушкина до Блока. Изд. «Наука», М.—Л., 1966, стр. 156.

полемическую позицию. Эту позицию Белинский кратко сформулировал впервые в письме к В. П. Боткину от 31 марта 1842 г. Выражая на основании сообщенных ему Боткиным сведений о жизни Гоголя в Москве и его литературных суждениях опасение, что Гоголь легко может сделаться «органом „Москвитянина“», Белинский писал здесь же о «Риме»: «„Рим“ — много хорошего, но есть фразы; а взгляд на Париж возмутительно гнусен».⁷ Ту же оценку гоголевской повести Белинский развернул позднее в статье «Объяснение на объяснение по поводу поэмы Гоголя „Мертвые души“», написанной в конце 1842 г., когда в обществе усилились слухи о идейном сближении Гоголя с семьей Аксаковых, с Погодиным и Шевыревым. Белинский отметил здесь, что в «Риме» есть «удивительно яркие и верные картины действительности». Но при этом особое ударение он сделал на тех моментах повести, которые внушали критику опасения за дальнейшее развитие писателя. К ним Белинский отнес «косые взгляды на Париж и близорукие взгляды на Рим», а также «фразы, напоминающие свою вычурною изысканностию язык Марлинского» (VI, 427).

Ставивший в спорах с В. П. Боткиным и К. С. Аксаковым перед собой задачу сказать в первую очередь о том, что в «Риме» его неудовлетворило, вызывая у него идеологические и эстетические возражения,⁸ Белинский в обоих рассмотренных случаях сделал оговорки о том, что этими возражениями отношение его к гоголевской повести не исчерпывается. Так, в письме к Боткину Белинский отметил, что, несмотря на указываемые им тут же недостатки повести, в «Риме» есть «много хорошего», а в статье «Объяснение на объяснение», как бы уточняя этот отзыв, указал на содержащиеся в повести «верные картины действительности». Об «изумляющих» достоинствах «Рима» наряду с его «равно» изумляющими недостатками Белинский писал и в статье «Русская литература в 1842 году» (VI, 535).

В чем же состоят отмеченные Белинским мимоходом, но не оцененные критиком более подробно «изумляющие» достоинства повести? На вопрос этот позднейшая гоголевская научная литература не дала полного и определенного ответа. Правда, среди книг и статей, посвященных гоголевскому «Риму», есть несколько работ, где высказан ряд ценных соображений о идейном замысле и месте повести в развитии гоголевского творчества 40-х годов. К числу подобных исследований (на которые опирается и автор настоящей статьи) относятся в первую очередь работы С. К. Шам-

⁷ В. Г. Белинский, Полное собрание сочинений, т. XII, Изд. АН СССР, М., 1956, стр. 90. В дальнейшем ссылки на это издание даются в тексте.

⁸ На эти возражения критик в апреле 1842 г. намекал и в своем письме к Гоголю (XII, 109).

бинаго, В. А. Десницкого и В. В. Гиппиуса.⁹ Но их тонкие наблюдения над «Римом» не получили широкого признания и остаются до сих пор необобщенными. Это дает основание таким зарубежным интерпретаторам гоголевской повести, как, например, В. Зеньковский, Д. Чижевский, Э. Рихтер, рассматривать «Рим» только как выражение «эстетической утопии» Гоголя, которую названные ученые освещают в последовательно консервативном и мистическом духе.¹⁰ Между тем еще С. К. Шамбинаго убедительно показал, что эстетическая критика современности в «Риме» сливается с социальной: выражение своей симпатии к итальянскому народу и веры в его великое будущее Гоголь связывает в этой повести с анализом политических судеб Италии, не скрывая антипатии к ее иноземным поработителям — австрийцам. Наблюдения С. К. Шамбинаго позволили ему с полным основанием поставить вопрос о воздействии на Гоголя в его воззрениях на прошлое и настоящее Италии, отразившихся в «Риме», идей представителей «Молодой Италии» 30—40-х годов, для которых, как и для Гоголя, было характерно зачастую наряду с критикой современного политического унижения и порабощения Италии и страстное увлечение ее великим историческим прошлым, и противопоставление смиренной красоты родного народа прозаическим идеалам буржуазной современности.¹¹

Гоголь соприкасается в «Риме» в какой-то мере с Толстым, с Герценом и Достоевским, предвосхищая определенные стороны их духовных исканий — и в этом состоит особое значение этой повести в творческом развитии Гоголя. Выражая в «Риме» недоверие к культуре и политической жизни буржуазной Франции, Гоголь — и в этом состоит слабая сторона его идейной концепции, чутко уловленная Белинским, — не увидел за ними Франции демократической и революционной. Свое недоверие к буржуазно-либеральной культуре и политической жизни он перенес на *всю*

⁹ См.: С. Шамбинаго. Гоголь и Рим. В его кн.: Трилогия романизма (Н. В. Гоголь). М., 1911, стр. 128—144; В. А. Десницкий. Задачи изучения жизни и творчества Гоголя. В кн.: Н. В. Гоголь. Материалы и исследования, т. 2. Изд. АН СССР, М.—Л., 1936, стр. 58—59; В. В. Гиппиус. От Пушкина до Блока, стр. 152—157.

¹⁰ V. V. Zhenkovsky. Die ästhetische Utopie Gogol's. «Zeitschrift für slavische Philologie», 1936, Bd. XIII, Ss. 22—23; D. Čiževskij. The Unknown Gogol. «Slavonic and East European Review», 1952, v. XXX, pp. 477, 481; S. Richter. Rom und Gogol. Gogol's Romerlebnis und sein Fragment «Rim». Diss. Hamburg, 1964, Ss. 171—179.

¹¹ С. Шамбинаго. Гоголь и Рим, стр. 137—144. Ср. также: А. А. Касаткин. Гоголь и простые люди Италии. В кн.: Гоголь. Статьи и материалы. Изд. ЛГУ, Л., 1934, стр. 292—293. О гоголевской трактовке народа, отразившейся в «Риме», как духовной общности прекрасных и свободных людей см. также в статье: Ю. М. Лотман. Истоки «толстовского» направления в русской литературе 1830-х годов. «Труды по русской и славянской филологии», т. V, Тарту, 1962 («Ученые записки Тартуского гос. университета», вып. 119), стр. 55—60.

европейскую современность, противопоставив ей не затронутые ее влиянием народные массы с их самостоятельными понятиями и своей, особой культурой, уходящей корнями в глубокую древность. Но наряду с «косыми взглядами» на Париж, отмеченными Белинским, важно подчеркнуть и другое: отвергая буржуазную современность, Гоголь (так же, как несколько позднее Герцен, Толстой и Достоевский) обращал свои взоры к народу и с ним связывал надежды на будущее своей страны.

Вот почему не случайно и то, что в образе князя Гоголь до некоторой степени предвосхитил героев Толстого и другие, последующие образы русской литературы. Впервые Гоголя (если оставить в стороне его историческую прозу) в этой повести привлекает в качестве главного героя человек, находящийся в процессе постоянных исканий, притом человек со сложной и незавершенной духовной биографией, последняя ступень которой лишь намечена автором, но так и остается до конца не раскрытой. Тем самым повесть Гоголя сближалась в какой-то мере сюжетно с воспитательным романом конца XVIII—начала XIX в. Но в отличие от последнего сюжетом ее стала не история духовного отрезвления героя от порывов и заблуждений юности и его приобщения к буржуазной прозе жизни, а история вторичного, и на этот раз окончательного, обретения им родины, духовного возвращения к неизвестному ему ранее родному народу.

Представляется знаменательным то обстоятельство, что, подготавливая в 1842 г. к печати том своих повестей, Гоголь открыл его повестью «Невский проспект», а завершил отрывком «Рим». Если принять во внимание сюжетную переключку обеих повестей, первая из которых посвящена теме потерянной, а вторая — обретенной красоты, в установленном Гоголем расположении повестей угадывается сознательный композиционный принцип, подчеркивающий внутреннее единство цикла. Открываясь трагическим рассказом о гибели красоты в страшном мире пошлости, порожденном дворянско-буржуазной цивилизацией, книга повестей Гоголя должна была, по мысли автора, завершаться напоминанием о нетленности красоты и искусства и об их органической связи с народом. Эта общая идея цикла объясняет, как нам представляется, почему Гоголь объединил петербургские повести с «Коляской» и «Римом» в составе одной книги, а не отделил первые от вторых.

Напрашивается вывод, что «Рим» намечал новую фазу в развитии Гоголя-художника, не получившую продолжения (если не считать незавершенного образа Тентетникова во втором томе «Мертвых душ») и трагически оборвавшуюся. Во всяком случае от «Рима» тянутся нити, которые ведут не только к моралистическим исканиям Гоголя второй половины 40-х годов, но и к последующим достижениям послегоголевского русского классического реализма. Отмеченные Белинским в его отзывах о «Риме»,

но не раскрытые им в его статьях «изумляющие» достоинства этой повести верно охарактеризовал анонимный критик «Отечественных записок», писавший в 1847 г. в рецензии на «Картины из Италии» Ч. Диккенса: «Разумеется, „Картины из Италии“ далеко не то, что гениальный очерк Рима Гоголя... После бесчисленных томов всяких описаний Гоголь первый изобразил живую и дышащую картину облик и жизнь Рима и нарисовал портрет такой, в котором, как во всяком чудесном художественном произведении, заговорили все жилки представляемой физиономии». «Довершая свою картину», Гоголь, по словам журнала, «слышал огромную разладицу между природою народа и теперешним его положением; видно, на каждом шагу этого народа слышатся прекрасные силы, обещающие скорое воскресение к жизни».¹²

В своей книге «Творчество Ф. Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса» (М., 1965) М. М. Бахтин с громадным талантом исследовал и реконструировал один из важных типов народной культуры прошлых веков — культуру свободного и веселого карнавального смеха и связанного с ним площадного слова. Как показал М. Бахтин, народность Рабле и других писателей Возрождения во многом связана с их близостью к роднику народного смеха с его своеобразной диалектикой и присущим ему скептическим отношением ко всему складу жизни и официальной культуре общественных верхов.

По мнению автора этих строк, круг вопросов, поднятый М. Бахтиным, имеет существенное значение не только для литературы средневековья и Ренессанса, но и для литературы новейшего времени, хотя для разных эпох вопросы эти, разумеется, не могут решаться одинаково, требуют к себе дифференцированного подхода.

В «Вечерах на хуторе близ Диканьки» поющая и пляшущая молодежь с ее щедрым весельем и буйным озорством противопоставлена Гоголем обыденному, будничному миру неравенства, спеси и своекорыстия, где господствуют глупый Голова и лицемерная Солоха. Стихия украинского народного праздника образует здесь как бы своеобразный радостный «мир наизнанку», мир, близкий поэтическим идеалам молодого Гоголя, контрастировавший в его сознании с деловой, прозаической стихией николаевского Петербурга, так поразившего писателя уже при первом знакомстве с ним своей бесхарактерностью и казенным однообразием (X, 139—140).

К тем же «карнавальным» образам Гоголь еще раз возвращается в «Риме». Из вышеприведенного письма к Данилевскому мы знаем, что уже на первых этапах размышлений Гоголя над будущей повестью ее зерном должно было стать противопостав-

¹² «Отечественные записки», 1847, т. LIII, № 7, Отд. VII, стр. 3—5.

ление делового, «хлопочущего» Парижа и карнавальной Италии. Радостную стихию народного праздника с его весельем, озорством, атмосферой своеобразного «мира наизнанку», которую молодой Гоголь, пользуясь романтическими приемами, стремился воскресить в «Вечерах», он снова, уже реалистическими средствами, воссоздал в «Риме» в сцене карнавала. И так же, как это было в творчестве молодого Гоголя, народная жизнь, воспринятая под знаком молодости, веселья, душевной щедрости, радостного кипения сил, противопоставлена в «Риме» миру «кипящей меркантильности», воплощением которого для писателя были в равной степени и буржуазный Париж, и чиновничий Петербург. Таков один из важных моментов, определяющих значение в творчестве Гоголя повести «Рим» и подчеркивающих ее связь с гоголевским идеалом народности.

ПИСАТЕЛЬ-ПЕТРАШЕВЕЦ
А. И. ПАЛЬМ В ГРУЗИИ

1

А. И. Пальм относится к числу малоизвестных и совершенно не изученных писателей. Его многочисленные рассказы, пьесы, фельетоны и статьи, разбросанные в различных периодических изданиях, даже не собраны и не изданы. О нем нет ни одной специальной работы. О его грузинских связях нет ни строчки. Между тем богатое литературное наследие Пальма представляет определенный интерес как для изучения истории русской общественной мысли и литературы, так и для уяснения некоторых важных моментов русско-грузинских театрально-литературных взаимоотношений 1870—1880-х годов.

Александр Иванович Пальм (1822—1885), сын мелкого служащего Вятской казенной палаты, родился в уездном городке Краснослободске Пензенской губернии. Мать будущего писателя, Анисья Алексеевна, урожденная Летносторонцева, была крепостной. Сначала Пальм воспитывался дома, а затем в Петербурге, в Дворянском полку, где одним из преподавателей работал писатель и театральный деятель Ф. А. Кони. По его лекциям «неопытный юноша получил первоначальные понятия о самых важных и щекотливых предметах, имеющих непосредственное применение к существующему порядку вещей». В частности, он на всю жизнь усвоил ту истину, что «люди по природе равны, а следовательно, и рабство быть не может».¹

Окончив курс в 1824 г., А. И. Пальм был выпущен прапорщиком в гвардейский егерский полк. В 1847 г. он познакомился с М. В. Буташевичем-Петрашевским и начал посещать его кружок («пятницы»). В кружок Петрашевского входили, как известно, тогдашние передовые деятели — Д. Д. Ахшарумов, А. П. Баласогло, И. М. Дебу, Ф. М. Достоевский, С. Ф. Дуров, Н. А. Момбелли, А. Н. Плещеев, М. Е. Салтыков-Щедрин, Н. А. Спешнев, П. Н. Филиппов, А. В. Ханьков и другие вольно-

¹ «Голос минувшего», 1915, № 11, стр. 14—15.

думцы. С 1845 г. они собирались на «пятницы» Петрашевского для обсуждения волновавших их социально-политических и литературных вопросов. Последнее заседание кружка состоялось весной 1849 г., после чего эта нелегальная организация была разгромлена правительством. Главных обвиняемых суд приговорил «к смертной казни расстрелянием». 23 декабря 1849 г. они стояли на эшафоте. Тогда и вынесли они те «ужасные, безмерно страшные минуты ожидания смерти», о которых позже с содроганием вспоминал Ф. М. Достоевский. В последнюю минуту им сообщили об отмене казни. 63 человека понесли различные наказания — каторгу, ссылку в Сибирь и т. д.

Вместе с другими петрашевцами Пальм был приговорен к расстрелу, но, ввиду принесенного им «в необдуманных поступках своих раскаяния», смертная казнь была заменена многолетней опалой и переводом «тем же чином» из гвардии в армию, на Кавказ.²

Опальный поэт-петрашевец принимает деятельное участие в Крымской войне 1853—1855 гг. При обороне Севастополя за боевые заслуги его производят в штабс-капитаны и возвращают все права, которых он был лишен «вследствие бывшего над ним суда».

Весной 1855 г. Пальм был переведен в Одессу, в Замосский егерский полк. В январе 1857 г. он вышел в отставку в чине майора и поступил на службу к крупному дельцу и откупщику Д. К. Волохову, на племяннице которого он был женат. Волохова постигли неудачи и в 1867 г. он застрелился, после чего Пальм сначала работал управляющим Кишиневским отделением государственного банка, а затем — в такой же должности — в Полтаве. Здесь тяжелое материальное положение и постоянное преследование кредиторов толкнули его на преступление — в 1869 г. он растратил 14 тысяч рублей казенных денег, за что был привлечен к судебной ответственности. Следствие длилось долго. Дело слушалось в харьковской судебной палате 27 марта 1873 г. Защитником Пальма выступил известный В. Д. Спасович, который в своей страстной речи обвинил не подсудимого, а те невыносимые условия жизни, в которых гибнут талантливые русские люди.³

Пальм был сослан на три года в Самарскую губернию. До конца жизни он оставался под полицейским и цензурным надзором.

Весной 1877 г. Пальм получил разрешение на свободное передвижение по всей империи. «Так как я человек свободный и измученный трехлетним бездействием, то понятно — хочу живой деятельности», — писал он в одном из писем в июне 1877 г.⁴ Если даже в самые тяжелые периоды своей жизни писатель творил и

² Петрашевцы. Сб. материалов под ред. П. Е. Щеголева, т. III, М.—Л., 1928, стр. 337.

³ В. Д. Спасович, Сочинения, т. V, СПб., 1893, стр. 248—269.

⁴ ЦГАЛИ, ф. 459, опись 1, № 3156, л. 5.

печатал комедии и романы, то теперь тем более — перед ним открывались самые заманчивые перспективы многосторонней театрально-литературной деятельности.

Первым долгом Пальм решил повидаться со своей семьей, которая в то время находилась, по его же словам, в разброде: одни были в Тифлисе, другие в Ростове-на-Дону. В Ростове жил и Иван Феликсович Тхоржевский — талантливый передовой юрист, журналист и литератор, женатый на дочери Пальма. Поэтому писатель из Самары решил отправиться на Дон, а оттуда «пробраться на Кавказ» и там развернуть свою деятельность.

Тогда в разгаре была русско-турецкая война. От редактора «Нового времени» А. С. Суворина Пальм еще в Самаре получил письмо с предложением стать его «кавказским корреспондентом», писать в газету о военных действиях и вообще о всех интересных событиях на Кавказе.

«С самую горячую готовностью принимаю Ваше хорошее, радушное приглашение — и буду писать с Кавказа — отвечал Пальм Суворину из Самары 10 мая 1877 г. ... — В сентябре явлюсь в Птрб., — только что кончил роман для Отечественных» зап'исок» и пишу кое-что для сцены по глупой способности к театру. . . До личного свидания с Вами буду присылать с Кавказа все, что напишется: корреспонденции (прежде всего) и беллетристические вещи. . . По выезде из Самары адрес мой следующий: в Ростов-на-Дону, Ивану Феликсовичу Тхоржевскому, для передачи А. И. Пальму. Тхоржевский (мой зять) будет пересылать мне туда, где я буду».⁵

На второй день Пальм в письме к тому же адресату уточняет, что из Ростова он поедет в Ессентуки, «потом буду в Тифлисе у моего сына. . . Буду писать обо всем, что увижу и узнаю в Тифлисе, — да, кроме того, доставлять беллетристическую вещь такого размера и в таком роде, какие требуются для ежедневной газеты».

Далее следует просьба о деньгах и любопытное сообщение: «Н. Некрасов еще зимою выслал мне некоторую сумму вперед, не имея в руках всего романа. Обратиться к нему еще я никак себе не позволю, пока не окончу работы».⁶

Судя по письмам Пальма,⁷ 10 июня 1877 г. он выехал из Самары в Ростов, 27 июня — из Ростова во Владикавказ, и далее — по Военно-Грузинской дороге — в Тифлис.

Пальм снабжал «Новое время» с Кавказа военными корреспонденциями, информацией, различными статьями и художественными произведениями. Он побывал на фронте военных действий, долго жил в Тифлисе, бывал в Гори, Батуми, Сурами и других районах

⁵ Там же, лл. 1—2.

⁶ Там же, л. 3.

⁷ Там же, лл. 5—7.

Грузии. «Новое время» в ту пору было еще либеральной газетой, а Суворин еще не был «миллионером, самодовольным и бесстыдным хвалителем буржуазии»,⁸ каким он стал позже.

Одновременно с сотрудничеством в «Новом времени» Пальм выступал в таких передовых органах печати, как газета Н. Николадзе «Обзор», журнал И. Тхоржевского «Гусли» и др.

Газета «Обзор» издавалась в Тифлисе в 1878—1880 гг. Николаем Яковлевичем Николадзе (1843—1928). Мы не знаем, когда состоялось личное знакомство этого выдающегося грузинского публициста и опального писателя-петрашевца. Их переписка свидетельствует о том, что в 1877—1878 гг. они уже были хорошо знакомы и встречались в Грузии. Николадзе, несомненно, знал о прошлой общественно-литературной деятельности А. И. Пальма, о его участии в кружке Петрашевского, о сотрудничестве в «Современнике» и «Отечественных записках». С другой стороны, и Пальм не мог не знать, с кем имел дело в лице издателя и редактора «Обзора».

Н. Я. Николадзе был одним из «богатырей молодого поколения», шестидесятников, фигурой яркой и многогранной. Блестящий и неутомимый публицист с незаурядными способностями и поразительным трудолюбием, одаренный журналист и литературный критик, глубокий экономист, социолог и юрист, острый полемист и страстный общественно-политический деятель, он не только обладал живым умом и боевым темпераментом, но и имел энциклопедическое образование, изумительную эрудицию, хорошо был осведомлен в самых различных областях человеческого познания и одинаково свободно писал на грузинском, русском и французском языках. Круг интересов Николадзе был очень широк. Шагая с веком наравне, он откликался на все злободневные социально-экономические, политические и культурные вопросы Грузии, России и Запада.

В своей многогранной кипучей деятельности этому «беспокойному» разночинцу-демократу приходилось жить в разных уголках земного шара, сотрудничать в прессе разных стран, завязывать письменные и личные связи с самым широким кругом людей. С одними из них Николадзе дружит и сотрудничает, с другими спорит, с третьими, реакционерами, ведет непримиримую борьбу.⁹

Еще будучи студентом Петербургского университета, Николадзе участвовал в известной студенческой демонстрации 1861 г., сблизился с Чернышевским и его кругом, позже встречался с Герценом и сотрудничал в его «Колоколе», познакомился с К. Марксом и П. Лафаргом, с В. Гюго и А. Додэ, переписывался и дружил с Г. Успенским, А. Плещеевым, М. Антоновичем, Н. Михайловским и другими выдающимися русскими деятелями.

⁸ В. И. Ленин, Полное собрание сочинений, т. 22, стр. 43.

⁹ См. нашу вступительную статью к сборнику «Письма русских литературно-общественных деятелей к Н. Я. Николадзе» (Тбилиси, 1949).

Любопытно, что в 1864 г. в июньском номере некрасовского «Современника» была напечатана комедия А. И. Пальма «Благодетель», а в августовском номере того же года, в том же журнале, Николадзе без подписи опубликовал свою повесть «Провинциальные картины», в которой разоблачал господствующую уродливую систему образования в России и критиковал реакционную прессу.¹⁰

Особенно большую деятельность развернул Николадзе после возвращения на родину в 1869 г.: вместе с выдающимися шестидесятниками С. Месхи и Г. Церетели он возглавляет издание газеты «Дроэба» (1869—1877), журнала «Кребули» (1871—1873), деятельно сотрудничает в газете «Тифлисский вестник» (1873—1877), а с начала 1878 г. в Тифлисе издает собственную, трижды прикрываемую русскую газету «Обзор», ведя смелую борьбу против царской цензуры.

Кавказский цензурный комитет был вынужден признать, что «Николадзе по природным своим способностям, литературной подготовке, знакомству с краем и умению обобщать вопросы общественного и чисто литературного характера и излагать их в общедоступной форме, не имеет соперника в местной публицистике».¹¹ Но «принципы, которыми заражен Николадзе и которые он желал бы распространить, известны в крае всякому — он силится проводить понятия, идущие в разрез установленным у нас в России государственным порядкам».¹²

«Обзор» с самого начала стал боевым и весьма интересным, живым печатным органом прогрессивной интеллигенции. Газета приобрела огромную популярность не только в Закавказье, но и за его пределами. В первом томе «Материалов для характеристики положения русской печати», изданном «Социал-демократом» в Женеве в 1898 г., «Обзор» был охарактеризован, как «одно из наиболее живых провинциальных изданий, когда-либо существовавших в России».

Пользуясь своими обширными связями, Николадзе привлекал к сотрудничеству в «Обзоре» передовых грузинских, русских и иностранных деятелей. В числе его сотрудников были Глеб Успенский и великий грузинский поэт Акакий Церетели, военный корреспондент «Нового времени» Н. Симборский и талантливый юрист-журналист А. Степанов, известный французский публицист и политический деятель А. Рошфор, польский публицист Л. Багницкий и ряд других замечательных авторов.¹³

¹⁰ Литературное наследство, 1949, № 53—54, стр. 272, 273; «Заря Востока», 1950, № 79.

¹¹ А. Иовидзе. Нико Николадзе и царская цензура. «Саисторио моамбе» («Исторический вестник»), 1945, № 1, стр. 68 (на груз. языке).

¹² Там же, стр. 56.

¹³ Т. М. Мачавариани. Газета «Обзор»; Н. Николадзе (Библиографический обзор). «Саисторио моамбе», 1952, т. VI, стр. 317—336.

Готовясь к изданию «Обзора», Н. Я. Николадзе пригласил для сотрудничества в нем и Пальма, который во второй половине 1877 г. находился уже в Грузии. Сохранилось письмо Пальма к Николадзе, посланное из Ростова в Тифлис 1 января 1878 г., в котором писатель сообщал о своих литературных и театральных планах.¹⁴

Однако из произведений Пальма в «Обзоре» был напечатан лишь отрывок из повести «Ниночка».¹⁵

Трудно сказать, почему в «Обзоре» появилось только одно произведение Пальма. Судя по всему, отношения между ним и Николадзе остались хорошими даже после высылки последнего из Грузии.¹⁶ Об этом свидетельствуют письма И. Ф. Тхоржевского к Николадзе в конце 1881 г., в которых опальному грузинскому журналисту всегда передаются от Пальма сердечные приветия.¹⁷

Имя Пальма связано и с другим тифлисским периодическим органом — «Фалангой», еженедельным художественно-юмористическим журналом, выходявшим здесь в 1880—1881 гг. Руководящее ядро журнала составляли редактор-издатель Ив. Питоев, И. Тхоржевский, Н. Симборский, П. Опочинин, Д. Эристави и др. Это был один из лучших юмористических журналов того времени. В Центральном архиве Грузии хранятся многие не пропущенные цензурой сатирические произведения Д. Д. Минаева, Тхоржевского и других передовых поэтов, разоблачавших антинародную политику самодержавия.

В первом же номере «Фаланги» за 1880 г. (стр. 8) было объявлено, что «в трудах редакции непосредственное участие примут Н. В. Симборский и Горесмехов (это не я). Из числа лиц, изъявивших согласие быть сотрудниками «Фаланги», назовем пока Д. Д. Минаева, А. И. Пальма, А. Н. Плещеева, К. А. Бебутова, И. Ф. Тхоржевского (Иван-да-Марья), «наследственного поэта» кн. Ак. Церетели».

В числе сотрудников «Фаланги» А. И. Пальм назван и в № 29 (19 июля) 1881 г. Но ни одного произведения за подписью Пальма или под его псевдонимом (Альминский) в журнале не появилось. Не исключено, что он публиковал материалы под другими псевдонимами или анонимно (анонимных материалов в «Фаланге» вообще много).

Следует отметить, что в «Фаланге» А. И. Пальм напечатал и ряд стихотворений своего безвременно погибшего друга, извест-

¹⁴ Письма русских литературно-общественных деятелей к Н. Я. Николадзе, стр. 80—81.

¹⁵ «Ниночка» была напечатана в «Обзоре» в июне 1878 г. (№ 178). Этот отрывок позже целиком вошел в повесть «Пропавшие годы», которую А. Пальм опубликовал в журнале «Отечественные записки» (1880, № 2).

¹⁶ В июле 1880 г. «Обзор» был запрещен, а его редактор Н. Я. Николадзе административным порядком выслан в Ставрополь.

¹⁷ Письма русских литературно-общественных деятелей к Н. Я. Николадзе, стр. 96—100.

ного поэта-петрашевца С. Ф. Дурова (1816—1869). Так, в 27-м номере журнала за 1881 г. читаем: «Три стихотворения С. Ф. Дурова (сообщены А. И. Пальмом)». В примечании же указывается: «С. Ф. Дуров — писатель сороковых годов, товарищ Достоевского по „Мертвому дому“, в котором они вместе пробыли несколько лет за участие в деле Петрашевского. Стихотворения Дурова рассеяны по разным, мало кому теперь известным альманахам. Только в 1862 г., по возвращении из Сибири, Дуров постоянно печатался в „Современнике“. Теперь все его стихотворения собраны А. И. Пальмом, предполагающим издать их отдельной книжкой». 19 июля 1881 г. в «Фаланге» (№ 99) вновь появляются «Стихотворения С. Ф. Дурова (сообщены А. И. Пальмом)»: «Ваш жребий пал» и «Куда ни посмотришь — повсюду...».

Последний, 44-й номер «Фаланги» вышел в свет 1 ноября 1881 г. Журнал был закрыт властями, но вместо него в декабре того же года те же в основном литераторы начали выпускать еженедельный художественно-юмористический журнал под заглавием «Гусли». Главным инициатором нового периодического издания был И. Ф. Тхоржевский. Он развернул энергичную деятельность по мобилизации передовых литераторов вокруг журнала и проявил поразительную стойкость в борьбе с цензурой. Ясное представление об этом может дать переписка Тхоржевского с Николадзе.¹⁸

Необходимо отметить, что Николадзе, сосланный из Грузии в Ставрополь в 1880 г., через год перебрался в Петербург, где расширил прежние связи с прогрессивной русской интеллигенцией и приобрел славу одного из крупных журналистов. Салтыков-Щедрин пригласил его в редакцию «Отечественных записок», где грузинский публицист напечатал ряд своих замечательных статей.

«По получении первой же моей статьи (разбор романа гр. Валуева „Лорин“) М. Е. Салтыков-Щедрин и Н. К. Михайловский предложили мне постоянное сотрудничество в журнале. . . — рассказывал позже Николадзе. — После высылки Михайловского мне поручен был весь критический отдел журнала».¹⁹ Николадзе оказывал большую и многостороннюю помощь редакции «Гуслей», давал свои советы, заботился о популяризации и распространении журнала, присылал для печати произведения передовых русских поэтов, в том числе петрашевца Плещеева.

Тхоржевский особенно активно вовлекал в работу редакции своего тестя А. И. Пальма. В первом же номере «Гуслей», 6 декабря 1881 г., было объявлено, что журнал «будет издаваться в Тифлисе под редакцией И. Ф. Тхоржевского, при постоянном

¹⁸ Там же, стр. 102.

¹⁹ Там же, стр. 22.

участии А. И. Пальма» (стр. 15). В том же номере был помещен его сатирический рассказ «Рапсодии».

В последующих номерах «Гуслей» находим продолжение этой сатиры с разоблачением буржуазных хищников и дельцов. «Караул-то кричит не тот, кого бьют, а тот, кто бьет», — пишет в заключение своего рассказа Пальм.

Позже между родственниками, главными руководителями журнала, произошел раскол на почве идейных расхождений, причем более принципиальным и радикально настроенным деятелем оказался Тхоржевский. В борьбе против суворинской газеты «Новое время» Пальм занял, к сожалению, примиренческо-либеральную позицию и в решающий момент отступил от «Гуслей».

2

В Грузии Пальм создал ряд крупных прозаических произведений, тифлисская печать сообщила об их появлении. Но особенного внимания заслуживают пьесы писателя, написанные или поставленные в Грузии, а также его театральная деятельность в Тифлисе.

До 1845 г. в Тифлисе, как известно, профессионального театра не было. С 1845 г. сюда стали приезжать антрепренеры и гастролирующие артисты императорских театров. В 1851 г. директором Тифлисского театра был назначен писатель В. А. Соллогуб. В 70-е годы театральное дело снова ухудшилось, пресса и общественность выражали большое недовольство состоянием театра.

В статье «Театр в провинции» Пальм писал в 1878 г.: «Театральная антреприза находится в руках людей невежественных, ничего не мыслящих в искусстве, знакомых только с внешней стороной театрального механизма». Писатель считал, что для поднятия театрального дела необходимо, «с одной стороны, переустройство труппы из старой, никуда не годной антрепризы в правильные, разумно организованные артели, а с другой стороны — подготовительные, специальные школы и содействие руководящей театральной критики».²⁰

Свои идеи о реорганизации театрального дела Пальм решил осуществить в Грузии. Об этом он писал и в вышеназванном письме к Н. Я. Николадзе от 1 января 1878 г. Приехав в марте 1878 г., вся семья Пальмов стала принимать участие в работе русского театра.

«Г. Пальм, — писала газета «Тифлиссский вестник» в 1878 г. (№ 63), — явился первым антрепренером, взявшим тифлиссский театр без субсидии, рассчитывая исключительно на театральные сборы, обуславливаемые любовью и сочувствием тифлиссской публики к русскому театру».

²⁰ «Слово», 1878, № 6, стр. 71, 81.

По свидетельству Г. М. Туманова (Туманишвили), созданное Пальмом «товарищество имело головокружительный успех и успех довольно продолжительный».²¹

Во главе товарищества стоял сам А. И. Пальм. Его сын Сергей, антрепренер, был режиссером и комическим актером, жена А. И. Пальма Ксения Григорьевна исполняла роли *grand dame*, их второй сын Григорий (на сцене — Арбенин) переводил пьесы с французского языка и играл молодых любовников, его жена была опереточной артисткой.

Газета «Обзор» выражала надежду, что «при таких наличных силах нашей труппы и при содействии такого артиста-любителя, как А. И. Пальм, мы надеемся увидеть на нашей сцене истинно хорошие вещи».

Эти надежды оправдались. «Товарищество» Пальмов не только подняло работу русского театра, обеспечив его хорошим репертуаром («Ревизор», «Горе от ума», «Гроза», «Гамлет», «Отелло» и т. д.), но, когда в конце семидесятых годов образовался и грузинский театр и его дирекция обратилась к А. И. Пальму с просьбой помочь организовать труппу, «Пальм живо откликнулся».

Тифлисская общественность высоко оценила деятельность Пальмов и их труппы. «Они относятся к своему делу в высшей степени добросовестно, — писал Акакий Церетели, — все изучают роли, вдумываются в характер ролей и передают их с пониманием. . . есть между ними и выдающиеся личности. Пальма первенства принадлежит г. Пальму, любимцу публики. . . Больше всех надежды подает молодой артист Арбенин. Он имеет все задатки замечательного артиста».²²

На тифлисской сцене нередко ставились и пьесы самого А. И. Пальма, в которых иногда принимал участие сам автор.

Так, 28 мая 1878 г. в газете «Тифлиссский вестник» сообщалось: «27 мая шла комедия „Старый барин“, в которой в роли Ополева выступил сам автор пьесы А. И. Пальм. Пьеса имела громадный успех и была исполнена с прекрасным ансамблем».

Восторженный отзыв дала пресса и о постановке «Старого барина», состоявшейся в Тифлисе 25 января 1879 г. Рецензент газеты «Кавказ» писал: «Я не видел еще на сцене ничего подобного; не помню такого сильного, потрясающего впечатления, такого высокого наслаждения. . . Да, игра Пальма в роли Ополева — это истинное, высочайшее искусство».²³

Успех у тифлисского зрителя имела и пьеса А. Пальма «Гражданин. (Сцены из провинциальной жизни)». Газета «Обзор» справедливо оценила пьесу, как «очень талантливую вещь», указав,

²¹ Г. Туманов. Театральные кооперативы на Кавказе. «Голос минувшего», 1918, № 7.

²² Акакий Церетели, Полное собрание сочинений, т. XV, 1963, стр. 360 (на груз. языке).

²³ «Кавказ», 1879, № 22.

что в ней подкупает «живость действия, жизненность типов», хотя и раскритиковала пьесу в целом.²⁴

Находясь на отдыхе в Боржоми летом 1879 г., А. И. Пальм написал одну из своих лучших пьес — «Наш друг Неклюжев», которая имела исключительный успех. В Тифлисе она впервые была поставлена в феврале 1880 г. Газета «Обзор» (№ 404) сообщала: «1-го февраля пойдет новая комедия Пальма „Наш друг Неклюжев“, имевшая всюду громадный успех благодаря своим сценическим и литературным достоинствам».

На тифлисской сцене ставились также пьесы Пальма «Мышеловка», «Господа избиратели», «Крылья есть, да лететь некуда» — с участием автора. Удачно выступал Пальм и в чужих пьесах. В «Ревизоре» он исполнял роль Осипа, в «Горе от ума» — роль Репетилова и Фамусова и т. д.

3

В Тифлисе Пальм часто выступал с лекциями, докладами, активно участвовал в общественной жизни города.

В январе 1879 г. в связи с 50-летием со дня смерти Грибоедова в Тифлисе почти целый месяц проходили лекции и конференции, посвященные жизни и творчеству великого русского драматурга. Одну из конференций провел А. И. Пальм.

29 января на литературном вечере, посвященном Грибоедову, Пальм прочел доклад на тему «„Горе от ума“ и его критики». Лекция эта, по отзыву прессы, «дала публике много интересного материала».²⁵ Пальм, как выясняется из неопубликованных архивных материалов, еще задолго до юбилея занимался собиранием материала об авторе бессмертной русской комедии. Еще 25 ноября 1878 г. Пальм писал Суворину: «Посылаю Вам статью по поводу грибоедовского юбилея. . . Желательно, чтобы она перешла в дело. Теперь копаюсь в разном архивном добре и благодаря содействию Берже и некоторых родственников жены Грибоедова надеюсь найти интересный материал, который надо будет напечатать отдельной брошюрой».²⁶

30 января 1879 г. русская труппа ставила в Тифлисе «Горе от ума». В газете сообщалось: «Перед началом спектакля . . . Пальм сказал небольшую речь о значении Грибоедова как драматического писателя и его бессмертной комедии. Речь свою Пальм закончил прочтением посвященного Грибоедову стихотворения и затем возложил на бюст венки».²⁷

Таким образом, Пальм вел в Грузии многогранную и энергичную литературную, театральную и общественную деятельность.

²⁴ «Обзор», 1878, № 98.

²⁵ «Тифлиссский вестник», 1879, № 24.

²⁶ ЦГАЛИ, ф. 459, оп. 1, № 3156, л. 32. Статья Пальма «Грибоедовский юбилей» была напечатана в «Новом времени» (1879, № 997).

²⁷ «Кавказ», 1879, № 25.

НЕИЗВЕСТНЫЕ ТЕКСТЫ НЕКРАСОВА,
БОТКИНА И ДРУГИХ АВТОРОВ
В «СОВРЕМЕННОМ» 1849 и 1850 гг.

В Центральном государственном историческом архиве в Ленинграде среди материалов «Комитета 2-го апреля» хранится дело под названием «Журнальные статьи о театрах» (на корешке: «Статьи о театрах входящего журнала»).¹ Заглавие на корешке больше соответствует содержанию, так как перед нами, в сущности, входящий журнал, в котором скрупулезно зарегистрированы все статьи, заметки и отзывы о театральные постановках, предполагавшиеся к помещению в петербургской периодике с 7 октября 1849 г. по 28 октября 1850 г. Порядок записи в книге следующий: 1) дата поступления рукописи; 2) для какого периодического издания она предназначена; 3) подробное название статьи, под которым почти всегда указана фамилия ее автора и лишь изредка псевдоним (без расшифровки); 4) дата, когда статья была послана на отзыв в дирекцию имп. театров; 5) дата, когда она была оттуда возвращена и с какой резолюцией.

Даже из этой очень краткой характеристики видно, что обнаруженное дело представляет главным образом интерес сведениями об авторах анонимных и псевдонимных статей в ряде журналов и газет Петербурга. В нем, например, перечислены отзывы А. Григорьева, М. Достоевского, В. Кашкарова, В. Чачкова в «Отечественных записках», Я. Григорьева, Ф. Руднева (под неизвестным до сих пор псевдонимом «Корреспондент») в «С.-Петербургских ведомостях», Ф. Кони в «Пантеоне», Л. Бранта в «Библиотеке для чтения», Р. Зотова в «Северной пчеле». Сведения о принадлежности ряда работ названным авторам уже известны в литературе, но для некоторой части других все еще не введены в научный оборот.

Наибольший интерес и значение представляют, конечно, сведения об авторах анонимных текстов

¹ ЦГИАЛ, ф. 1611, оп. 1, ед. хр. 282. об. л. 5—6; об. л. 22—23; об. л. 27—л. 28; об. л. 34—л. 36; об. л. 38—л. 40.

«Современника»; они не только устанавливают авторство не определенных ранее текстов Некрасова, Боткина, В. П. Петрова, но и расширяют круг сотрудников журнала, вводя новые имена — Н. Шиховского и Н. Шаповалова.

Первая из имеющихся в деле записей о «Современнике» относится к № 11 за 1849 г. и выглядит так:

«Театральные новости. Сентябрь. 1. „Холостяк“, ком<едия> в 3-х д. Ив. Тургенева. 2. „Отсталые люди, или Предрассудки против науки и искусства“, ком<едия> — Вод<евиль> в 1 дейст. П. Г<ригорьева>. 3. „Старое время. Небылица в лицах“, в 4-х дейст. 4. „Царь и суд. Историческая> быль“,² в 2-х карт. Соч. Е. П-ой. 5. „Царская невеста“, драма в 3-х дейст. Соч. Мея.

Н. Некрасов.

Рукопись поступила 26 октября, а 31 была «возвращена» в редакцию с одобрением». До сих пор на основании писем Некрасова к Тургеневу было известно, что в «Театральных новостях» № 11 за 1849 г. ему принадлежит только отзыв о комедии «Холостяк».³ Из приведенной записи видно, что он был автором всей статьи. В сравнении с рукописью статья в печати значительно сокращена. Кроме отзыва о комедии «Холостяк», в № 11 помещены лишь отзывы о комедии П. Г<ригорьева> «Отсталые люди, или Предрассудки против науки и искусства» и произведении «Старое время. Небылица в лицах». Что же касается отзывов о «Царской невесте» Л. Мея и сочинении «Царь и суд» Е. П-ой, то они по каким-то причинам не были опубликованы ни в этом, ни в последующих номерах «Современника».

Во второй из относящихся к «Современнику» записей читаем:

«Театральное обозрение. 1. Новости русского театра за последние два месяца 1849 года.

Струев (В. Петров)».

Судя по тому, что рукопись поступила 30 декабря 1849 г. и была одобрена 3 января, она предназначалась для одного из ближайших номеров «Современника» за 1850 г. Статья под таким названием в журнале не была напечатана, но ее предполагалось поместить в № 1 за 1850 г. На первый взгляд это кажется невозможным, так как цензурное разрешение № 1 дано 31 декабря. Но рукопись входящей также в «Театральное обозрение» этого номера журнала статьи Боткина «Итальянская опера в Петербурге в 1849 году» поступила 2 января и была одобрена одновременно со статьей Петрова 3 января. Однако вместо отсутствующей

² Вероятно, ошибка в названии вместо «Царский суд» (см.: А. Вольф. Хроника петербургских театров, ч. 2. СПб., 1877, стр. 150).

³ Н. А. Некрасов. Полное собрание сочинений и писем, т. 9, Гослитиздат, М., 1950, стр. 542—546, 790; т. 11, М., 1952, стр. 134, 141.

в «Театральном обозрении» № 1 статьи В. П. Петрова помещены две другие: «Александринский театр» и «Балет». Тот факт, что ни одна из них не зарегистрирована в деле «Журнальные статьи о театрах», наводит на мысль, что первоначально именно они и составляли статью В. П. Петрова «Новости русского театра за последние два месяца 1849 года». Такое предположение тем более вероятно, что в статье «Александринский театр» несколько раз подчеркивается, что в ней дается обзор театральных постановок за последние два месяца 1849 г. Кроме того, в напечатанной в следующем номере журнала и бесспорно принадлежащей В. П. Петрову статье «Александринский театр» содержится ссылка на эту статью.

Сведения об участии писателя и журналиста В. П. Петрова (1821—1864) в «Современнике» 1850 г. представляют несомненный интерес. Из его прошения в Литературный фонд с просьбой о пособии было известно, что в 1852 г. он писал в этом журнале «статьи о театре» и «Смесь». На этом основании мною были ему предположительно приписаны несколько статей.⁴ Теперь можно точно установить, что В. П. Петров запомнил время своего сотрудничества в «Современнике» и вместо 1850 назвал 1852 год.

Как видно из еще одной записи, участие В. П. Петрова в «Современнике» этим не ограничилось:

«Театральная хроника. I. Александринский театр. Бенефисы г. Мартынова и Самойловой 1-ой. II. Михайловский театр. Бенефисы г. Бортона и м-е Луизы Майер.

Вас. Петров».

Рукопись статьи поступила 28 января и была одобрена 1 февраля. Совпадение данной записи с содержанием напечатанных анонимно в № 2 за 1850 г. статей «Александринский театр» и «Михайловский театр» является достаточной гарантией для того, чтобы приписать их В. П. Петрову. Кроме этих двух статей, в «Театральное обозрение» входит еще анонимная статья «Итальянская опера», которая в деле зарегистрирована не по названию, а отражена так: «Дополнение к статье о театре». Рукопись ее поступила 30 января и была одобрена 1 февраля. Хотя автор статьи не указан, но вероятнее всего, что им был Боткин, которому принадлежат аналогичные статьи в прошедшем и следующем номерах журнала.

Следующая запись относится к № 3 «Современника» за 1850 г.:
«Театральное обозрение.

I. Александринский театр. Бенефис В. В. Самойловой 2-ой.

В. Петров

⁴ В. Э. Боград. Журнал «Современник». 1847—1866. Указатель содержания. М.—Л., 1959, стр. 514.

II. Михайловский театр. Бенефис г-жи Вольпис и Плесси.

В. Петров

III. Балет. „Питомца фей“ <...>.

В. Петров

<IV>. Театр-цирк. Блокада „Ахты“.

В. Петров

<V>. Итальянская опера.

В. Боткин

<VI>. Московский театр. „Поездка за границу“ комедия в 4 д. Загоскина.

Н. Шиховской».

Авторство ни одной из перечисленных статей до сих пор не было установлено. Что же касается Н. Шиховского (каких-нибудь сведений о нем найти не удалось), то о его сотрудничестве в «Современнике» также не было известно.

Наконец, последняя запись о «Современнике» относится к № 4 за 1850 год:

«Московский театр. „Это был я“, драма в 2-х дейст. <...>.

Н. Шаповалов.

Театральное обозрение. Цветобесие <...>. Михайловский театр. Прощальный бенефис г. Аллана <...>.

В. Петров».

Обе рукописи поступили 28 марта и были одобрены на следующий день. Участие Н. Шаповалова в журнале также устанавливается впервые.

Вышесказанным подтверждается, что работа по атрибуции текстов «Современника» все еще не может считаться завершенной и требует дальнейших разысканий.

К БИОГРАФИИ П. А. РОВИНСКОГО

Научная деятельность П. А. Ровинского (1831—1916 гг.) оставила заметный след в развитии отечественного славяноведения и фольклористики.

Еще будучи студентом Казанского университета, увлеченный лекциями В. И. Григоровича, он решает посвятить себя славяноведению.¹

Изучению истории и культуры славянских народов, и особенно Черногории, где ученый с незначительными перерывами жил, начиная с 1879 г., в течение тридцати лет, П. А. Ровинский посвятил всю свою долгую жизнь. В историю науки по праву вошло его фундаментальное исследование «Черногория в прошлом и настоящем» (тт. I—III, 1888—1911), которое ему, к сожалению, не суждено было завершить и полностью опубликовать (ряд фрагментов дошел до нашего времени в рукописных набросках).

Той же теме посвящено около ста статей и заметок Ровинского, рассеянных в русской и славянской периодике конца XIX—начала XX в.

Определенный интерес представляют работы, посвященные этнографии и фольклору Восточной Сибири,² записи духовных стихов, загадок и вопросов с ответами и народных сказаний, сделанные им во время научных поездок по Сибири.³

Отдавая должное научным заслугам П. А. Ровинского, не следует забывать и о его роли в революционном движении России 60—70-х годов XIX в. Может быть, именно причастность к революционным

¹ А. Н. Пыпин. Мои заметки. М., 1910, стр. 38.

² «Известия Сибирского отделения русского географического общества», 1871, т. I, вып. 4—5; там же, 1872, т. II, вып. 4—5; там же, 1872, т. III, вып. 3; Из Нерчинска в Китай с караваном в 1871—72 гг. (путевой дневник). В кн.: Записки Русского Географического общества, т. XXXIV (Сборник в честь семидесятилетия Григория Николаевича Потанина), СПб., 1909.

³ В память об этих поездках Ровинский оставил следующую дарственную надпись на рукописном сборнике, подаренном А. Н. Пыпину: «Букет цветов из царства Даурской флоры и один цветок со степей Саратовских Александру Николаевичу Пыпину, земляку и старому товарищу преподносит Павел Ровинский, Иов многострадальный тож». 18 XI 1894. Ленинградское отделение Архива АН СССР, ф. 111, оп. 1, № 102 (далее: ЛОА АН СССР).

событиям послужила причиной «белых пятен» в его биографии. Тем более для нас ценно любое свидетельство, проливающее свет на неизвестные стороны жизни и творчества Ровинского.

Еще в Саратовской гимназии П. А. Ровинский знакомится с Н. Г. Чернышевским. В этом плане любопытно свидетельство сына революционного демократа — запись его личной беседы с П. А. Ровинским, вклеенная на отдельном листке в экземпляр статьи последнего «Из Нерчинска в Китай с караваном в 1871—72 гг.»,⁴ принадлежавший Михаилу Николаевичу Чернышевскому (хранится в доме-музее Н. Г. Чернышевского): «Павел Аполлонович Ровинский (род. в 1830 г.)⁵ воспитывался в Саратовской гимназии вместе с Александром Николаевичем Пыпиным и братьями Ольги Сократовны Чернышевской, Евгением и Ростиславом Васильевыми, крестным отцом его был их отец, Сократ Евгеньевич Васильев. После гимназии [Ровинский] поступил в Казанский университет, где один год пробыл вместе с Ал. Ник. Пыпиным. С Николаем Гавриловичем познакомился в 1850 г., когда тот приехал в Саратов по окончании университета. Потом виделся с Ник. Гавр. уже в шестидесятых годах».⁶ Дата беседы, к сожалению, не указывается.

О факте близкого знакомства Ровинского с Чернышевским вспоминает и В. А. Пыпина, описывая жизнь Н. Г. Чернышевского и А. Н. Пыпина в Петербурге: «...связь с Саратовым, начиная с 1851 г., поддерживалась правильной перепиской с родными, приятельством с земляками, товарищами: П. А. Ровинским, Д. Л. Мордовцевым, Н. И. Костомаровым и П. А. Бахметевым».⁷

Ровинский блестяще оканчивает университет и остается преподавать в нем. Из представления попечителя Казанского учебного округа министру народного просвещения от 31 декабря 1852 г. мы узнаем: «... для преподавания теории прозы и практических упражнений студентов в слого, что до сего времени составляло обязанность адъюнкта Булича, избран кандидат Ровинский, как отличный во всех отношениях молодой человек, желающий посвятить себя ученому поприщу и подающий по своим способностям, усердию и познаниям наилучшие надежды».⁸

Через три года, в 1856 г., П. А. Ровинский неожиданно отказывается от занимаемой должности и уезжает из Казани. Косвенное указание местонахождения ученого-революционера содержится в его письме к А. А. Шахматову, poslanном 30 декабря 1901 г. из села Гусёвка (небольшое имение Ровинского в Саратовской губернии).

⁴ См. прим. 2.

⁵ Ровинский родился в 1831 г.

⁶ Н. Чернышевская-Быстрова. Одна из попыток освобождения Н. Г. Чернышевского. «Каторга и сылка», М., 1931, № 5, стр. 126.

⁷ В. А. Пыпина. Любовь в жизни Чернышевского. Пг., 1923, стр. 23.

⁸ ЦГИАА, ф. 733, оп. 45, № 152, лл. 18—19.

«Погода ужасная, чуть напал снег, как ударил дождь, затем мороз, опять дождь, мороз и снег только в овражках, а то все земля или голый лед. В палисаднике нашел цветущую *viola tricolor*, а в огороде на первый день рождества набрали салату к жаркому. Такая аномалия отражается худо на всем: плохи сообщения, попортились запасы мяса и много хвори. Помню такую же погоду 45 л(ет) назад, когда я на колесах отправился отсюда в Астраханскую губернию и тоже накануне Рождества; там Волга стала под Новый год, а разошлась с 3-го на 4-е марта; весна была ранняя».⁹ Следовательно, конец 1856—начало 1857 г. застал Ровинского в Поволжье.

К 1862 г. Ровинский — видный член «Земли и воли», представитель центра организации в Казани,¹⁰ замечательный конспиратор.¹¹

Одним из основных источников сведений о жизни и деятельности Ровинского вообще, и в 60-е годы в частности, служат воспоминания Л. Ф. Пантелеева. Однако и они не свободны от ошибок. Так, например, Пантелеев пишет:

«Первая поездка П. А. в славянские земли состоялась в 1860 г., но кончилась неудачно. На одном народном празднике или митинге в Моравии он был арестован и выслан из Австрии. По словам П. А., повод к вмешательству полиции подал его спутник Ник. Петр. Лыжин (автор диссертации о Столбовском мире), который под влиянием чешского пива, излишне выпитого, позволил себе какую-то демонстративную выходку. Очень может быть, что этот эпизод и был причиной отказа нашего министра внутренних дел к выдаче П. А. заграничного паспорта, когда в 1864 г. Казанский университет решил командировать П. А. на два года в славянские земли».¹²

Документы, хранящиеся в Центральном государственном историческом архиве, позволяют исправить ряд неточностей в мемуарах Пантелеева (ф. 733, оп. 5, № 239, лл. 1—5; далее в тексте будут указываться только листы дела).

Вот один из них: 28 марта 1862 г. Казанский учебный округ ходатайствует перед Министерством просвещения «о командировании бывшего преподавателя Казанского университета Ровинского в числе прочих молодых ученых за границу на 2 года для

⁹ ДОО АН СССР, ф. 134, оп. 3, № 1286, л. 14 об.

¹⁰ Г. Н. Вульфсон. Из истории разночинно-демократического движения в Поволжье и на Урале. Изд. Казанского университета, 1960, стр. 77—78, 92—96.

¹¹ В. А. Пыпина в воспоминаниях об отце приводит данную последним любопытную характеристику П. А. Ровинского: «А ведь П. А. (Ровинский) всегда был удивительным конспиратором: в каких только революционных предприятиях он не участвовал! И как умел молчать! О многом я догадывался, но о некоторых боевых делах он рассказал даже мне только недавно» (ОР ГПБ, ф. 621, № 1117, л. 303).

¹² Л. Ф. Пантелеев. Воспоминания, Гослитиздат, 1958, стр. 558.

приготовления себя в звании профессоров и преподавателей» (л. 1).

Тем самым устраняется хронологическая ошибка, допущенная Пантелеевым.

Приведем еще один документ, раскрывающий причины, помешавшие осуществлению научной командировки Ровинского:

«Отношение начальника особенной канцелярии Министерства внутренних дел управляющему Министерством народного просвещения от 23 июня 1862 года.

Начальник Казанской губернии уведомил меня, что, по доставленным исполнявшему в Казани особое секретное поручение флигель-адъютанту Мезенцову¹³ сведениям из III отделения собственной его императорского величества канцелярии, кандидат Казанского университета Павел Ровинский, проживающий ныне в Казани, подозревается в сношении с лицами, имеющими злонамеренное предприятие. Вследствие сего генерал-майор Козлянинов учредил над Ровинским строгий секретный полицейский надзор и имея в виду, что университетское начальство намерено ходатайствовать о командировании его за границу, испрашивал моего разрешения, может ли быть выдан Ровинскому заграничный паспорт.

Сообщив начальнику губернии о невыдаче ему паспорта, долгом считаю уведомить об этом Ваше превосходительство» (л. 4).

Обнаруженные документы освещают новую страницу биографии П. А. Ровинского, который и после прекращения деятельности «Земли и воли» был близок к революционным кругам и Русской секции I Интернационала.¹⁴

¹³ Мезенцев Николай Владимирович (1827—1878), флигель-адъютант царя, подполковник жандармерии, специально был командирован в конце 1861 г. в Казань, а весной 1862 г. в Пермь для раскрытия «государственно-политических преступлений», позднее (1864—1878 гг.) начальник штаба корпуса жандармов и начальник III отделения.

¹⁴ Б. П. Козьмин. Русская секция Первого Интернационала, М., 1957, стр. 228—231; Е. В. Михайлов. Письмо А. А. Слепцова П. А. Ровинскому от 3 (16) апреля 1905 г. В сб.: Революционная ситуация в России в 1859—1861 гг., М., 1965, стр. 426—431.

П. А. РОВИНСКИЙ И Л. ТОМАНОВИЧ

1

В одном из писем¹ Павла Аполлоновича Ровинского Лазару Томановичу из Петербурга в Цетинье говорится: «Мне особенно приятно то, что ты пишешь о Дрече,² о ваших частых встречах, что он хорошо держится; знайте, что я всегда с вами во время ваших бесед». И затем: «Души наши были созвучны: мы одинаково мыслили, одинаково чувствовали, дружили с одними и теми же людьми».

Эти слова характеризуют отношения П. Ровинского и Л. Томановича, выдающегося черногорского политического деятеля и литератора второй половины XIX—начала XX в.

Неизвестно, когда и при каких обстоятельствах познакомились Ровинский и Томанович. С 1868 г. Ровинский был корреспондентом русских газет в Сербии, Боснии и Герцеговине, а Томанович в Далмации и Бокке Которской³ являлся одним из видных вождей сербской молодежи, боровшейся с австрийской захватнической политикой на Балканах. Вполне возможно, что именно в этот период Ровинский и узнал о Томановиче.

В 1879 г. австрийские полицейские власти в Сараево отказали в гостеприимстве П. А. Ровинскому, и он приехал в Черногорию, обосновавшись в Цетинье, где и пробыл с некоторыми перерывами до конца 1906 г.

В Цетинье Ровинский сблизился с Й. Дречем, Й. Павловичем, С. Матавулей, Л. Костичем, Б. Богишичем, Й. Лепавом и другими представителями черногорской интеллигенции. Однако наиболее крепкие дружеские связи до самой смерти он сохранил с Л. Томановичем,⁴ который к этому времени уже переехал в Цетинье.

¹ Письмо П. А. Ровинского к Л. Томановичу от 5 декабря 1898 г. Оригинал письма находится у автора статьи, которому он был передан дочерью Л. Томановича Росандой.

² Й. Дреч, аптекарь в Цетинье. Будучи студентом в Петербурге, он принимал участие в революционном движении.

³ Залив в южной Адриатике.

⁴ Они были в столь тесной дружбе, что в 1900 г. дочь Томановича Росанда по предложению отца назвала своего

П. Ровинский высоко ценил Томановича как ученого. «Его научные работы и общественная деятельность, — писал о Томановиче Ровинский, — создали ему имя далеко за пределами Черногории».⁵

Ближайшие дружеские отношения между двумя политическими деятелями и учеными дают нам основание предполагать, что Томанович много знал о революционной деятельности Ровинского, который, как свидетельствует внучка Ровинского Татьяна Александровна Ровинская, был замечательным конспиратором, обладающим вместе с тем редкой способностью сближаться с людьми и вызывать к себе их симпатии.

Незадолго до своей смерти Л. Томанович написал небольшую статью в память о своем близком друге.⁶ В ней между прочим рассказывается о том, что у Ровинского была типография, после провала которой он был отправлен в Сибирь. Местный начальник хорошо отнесся к ссыльному и дал ему возможность бежать. Ровинский через Монголию бежал в Аляску, затем в США, а оттуда возвратился в Европу, в Швейцарию. Из Швейцарии Ровинский через Боснию и Герцеговину прибыл в Сербию. Он находился там как раз в то время, когда был убит князь Михаил Обренович. Ровинский описывал Томановичу одно из заседаний заговорщиков, на котором обсуждался вопрос об удалении князя Михаила с сербского престола. Жаркий спор был прерван возгласом сербского митрополита Моисия: «Куршум, куршум!».⁷ После этого собрания князь Михаил был убит. Ровинский присутствовал на заседании заговорщиков, однако Томанович не спрашивал, принадлежал ли он к заговору.

Из работ Ровинского и из других источников известно о его путешествии в Сибирь в 1871—1872 гг.⁸ Эта поездка, преследовавшая научные цели, была связана также с попыткой освободить из заточения Н. Г. Чернышевского.⁹ Остается неясным, о ней

сына в честь П. А. Ровинского Павлом. Об этом она сообщила в письме автору настоящей статьи.

⁵ Письмо П. А. Ровинского из Гатчины от 3 января 1908 г. Росандре Томанович. Оригинал находится в Центральной библиотеке Черногории в Цетинье (К-9349/63).

⁶ Лазар Томанович. Павле Ровински. «Слободна мисао», 1932, №№ 17 и 18 от 8 и 15 мая. Никшич (Югославия).

⁷ Куршум — пуля.

⁸ «Известия Сибирского отделения РГО», 1871, № 4—5, стр. 31—52. О поездке на Тунку и Оку до окинского караула; О поездке по Ангаре и Лене. «Известия Сибирского отделения РГО», № 3, стр. 45—63; Этнографические исследования в Забайкальской области, «Известия Сибирского отделения РГО», 1871, № 3, стр. 120—133 и др.

⁹ Н. И. Быстрова-Чернышевская. Одна из попыток освобождения Н. Г. Чернышевского. «Каторга и ссылка», 1931, № 5 (78), стр. 124—127; Н. В. Михайлов. Письмо А. А. Слепцова к П. А. Ровинскому от 3 (16) апреля 1905 г. См. сб.: Революционная ситуация в России в 1859—1861 гг. М., 1965, стр. 426—431.

или же о ссылке Ровинского в Сибирь в 60-е годы говорит в своих воспоминаниях Томанович. Можно предположить, что у Ровинского были друзья, которые ради сохранения тайны уничтожили документацию, связанную с его ссылкой.

Интересен и другой вопрос — об отношении Ровинского к группе заговорщиков, совершивших покушение на князя Михаила. Известно, что Ровинский был близок к Омладине, но мы не знаем, были ли в этой организации сторонники индивидуального террора. Неизвестно также, только ли присутствовал Ровинский на заседаниях или принимал в этом деле и еще какое-либо участие. В то время он был белградским корреспондентом «Санкт-петербургских ведомостей» (с мая 1867 до октября 1868 г.). Через «Санкт-петербургские ведомости» Ровинский информировал российскую общественность о процессе над террористами, совершившими убийство князя Михаила Обреновича.

После высылки из Сараева Ровинский, корреспондент русских газет, переехал в Черногорию, где сразу же включился в научную и политическую деятельность.

В Черногории Ровинский принял участие в организации мощи народным читальням. Он был почетным членом Цетинской читальни, а затем читален в Баре и Никшиче. Инициатором основания читальни в Баре был учитель Душан Брканович, с которым Ровинский находился в дружеских отношениях. Ровинский оказывал значительную помощь этой читальне и часто бывал там. После попытки покушения на императора Александра III в 1887 г. в Баре была открыта тайная организация во главе с Душаном Бркановичем. На одном из своих заседаний эта организация приветствовала покушение.¹⁰ Не исключена возможность, что Ровинский влиял на своих друзей в Баре.

В письме к Томановичу в 1898 г. Ровинский пишет о ситуации на Балканах, и особенно подчеркивает заинтересованность Австрии в аннексии Боснии и Герцеговины, в Старой Сербии, Призрене, Пече и Македонии. Он подчеркивает, что Печ, Призрен и Македония для сербов — главное дело, и «тут надо работать, но работать мудро, чтобы глупо не погибнуть. Прежде всего надо отказаться от всяких притязаний на Скадр и ближнюю Албанию, а все свое внимание сосредоточить на сербах Старой Сербии, привлечь их к Черногории, а для этого надо хорошо смотреть за Васоевичами. Если бы что-нибудь там началось, я бы сейчас же туда! И встретились бы».¹¹

Существует мнение, что после того, как в конце 1863 г. распалось общество «Земля и воля», Ровинский отходит от активной полити-

¹⁰ Ристо Драгиевич. Први Пелагичеви едномишленници у Црној Гори. «Стваранье», Цетинье, 1952, № 7—8, стр. 405; Нико С. Мартиновић. Развој библиотекарства у Црној Гори, Цетинье, 1965, стр. 25—26.

¹¹ Письмо П. А. Ровинского Лазору Томановичу на сербском языке из Петербурга 5 XII 1898 г. Письмо находится у автора данной статьи.

ческой деятельности. Между тем частично сохранившиеся архивные материалы говорят об обратном. Австрийские власти изгоняют его из Чехии и Боснии. У него происходят столкновения с сербскими бюрократами и правительством. Ровинский просит Томановича извещать его обо всем, что происходит на Косовом Поле, в Метохии и Старой Сербии, чтобы в случае необходимости приехать туда, советуется с ним относительно действий в Боснии и Герцоговине в связи с преследованиями и арестами молодежи и т. д. Все это свидетельствует о политической активности Ровинского, направленной против тогдашних общественных порядков. Кроме того, в письмах к своим товарищам и родным он определенно высказывается против правительственной политики в Черногории и стоит на позициях Омладины. Его волнует также будущее России. «Дело, однако, не в том, что я потерял и еще потеряю своих старых друзей, — пишет он Росанде Томанович, — и не могу пристроиться к новым. Нет, я вижу и признаю прогресс во многом (в литературе, школе, индустрии и т. д.), и не в состоянии идти вместе с другими, отставая от них, радуюсь, глядя на них, быстро и смело идущих вперед. У меня завелись друзья даже среди самых молодых представителей интеллигентной молодежи, от которой я знакомлюсь с новыми явлениями в разных областях жизни и науки, а равно удовлетворяю и их любознательность относительно нашего прошлого».¹²

Все это убеждает нас, что до самой смерти он не изменил своим политическим идеалам, сложившимся под непосредственным воздействием Н. Г. Чернышевского.

2

Ровинский и Томанович сотрудничали как ученые и общественные деятели, дополняя друг друга. В начале 1884 г. Ровинский становится одним из инициаторов создания «Зетского дома» в Цетинье. Фундамент этого дома культуры был заложен в 1884 г. В доме разместились Цетинская читальня и библиотека, которой Ровинский и Томанович подарили большое количество книг, театр, а несколько позднее Ровинский положил начало археологическому музею Черногории, подарив коллекцию археологических предметов из раскопок в Дукле.¹³

«Зетский дом» как центральный дом культуры, которым руководила Цетинская читальня, после освободительных войн 1876—1878 гг. превратился в значительное культурное учреждение.

¹² Письмо П. Ровинского к Росанде Томанович от 3 января 1908 г. (на русском языке). Центральная библиотека СР Црне Горе, Цетинье, К-9349/63.

¹³ Нико С. Мартиновић. Позориште «Зетски Дом». Зборник музеја позоришне уметности, т. 1, Београд, 1861, стр. 265—266; Нико С. Мартиновић. Развој библиотекарства у Црној Гори. Цетинье, 1965, стр. 20, 21, 43.

В нем составила солидная библиотека, получавшая более 80 газет. Еще в 1879 г. в этой библиотеке был «Коммунистический манифест» Маркса и Энгельса, сочинения Светозара Марковича и т. д. Вслед за тем Ровинский и Томанович возглавили кампанию за организацию в Цетинье Государственной библиотеки, музея и архива.

В 1893 г. они оба были избраны в комиссию организации празднества 400-летия Ободской типографии. Ровинский стал председателем комитета, а Томанович — заместителем.¹⁴ Благодаря широкому научным связям Ровинского и Томановича и всеобщему интересу к самой Черногории, прославленной подвигами ее воинов в прошлых освободительных войнах, в Цетинье собралось множество ученых, писателей, журналистов и художников. О празднестве писали в самых видных европейских газетах как о крупном событии в культурной жизни мира.

В своей передовой статье в «Гласе Црногорца»¹⁵ Томанович показал, что печатное дело появилось ранее, чем думали ученые, и что «Октоих» был не первой книгой, напечатанной в черногорской типографии. Он считает, что Иван Черноевич привез типографию из Венеции в 1481 г., а «Октоих» — лишь единственная сохранившаяся от тех времен книга. Томанович приводит в качестве доказательства то, что Иван Черноевич перенес свою столицу из Обода в Цетинье в 1485 г. Логично предположить, что печатать книги он начал до переноса столицы. Юрий, сын Ивана Черноевича, не имел никаких оснований устраивать типографию в Ободе, так как столица была в Цетинье, и, кроме того, Ободу угрожали турки. Следовательно, типография была устроена тогда, когда Обод был столицей.

Русская пресса посвятила этим празднествам обширные обзоры в «Московских ведомостях», в петербургском «Свете», «Волжском вестнике»,¹⁶ «Киевском слове» и других изданиях.

Ровинский опубликовал отдельную брошюру «Ободская типография и ее значение для славянского юга»,¹⁷ академик В. Ягич накануне праздника опубликовал исследование «Первая югославянская типография в XV веке».¹⁸

¹⁴ Ободская типография начала свою работу в 1493 г. в городе Ободе, в 15 километрах от Цетинье. В том же году она была перенесена в Цетинье, где и было завершено печатание первой кириллической книги южных славян «Октоиха» 4 января 1494 г.

¹⁵ «Глас Црногорца», Цетинье, 1893, № 9, 27 февраля. В связи с 400-летием Ободской типографии в Цетинье была выпущена специальная серия почтовых марок и мемориальная медаль из бронзы. Образцы хранятся в Государственном музее в Цетинье.

¹⁶ Здесь статью опубликовал Н. Горталов. Позднее он издал ее отдельной книжечкой.

¹⁷ Цетинье, 1893, стр. 32. Брошюра была выпущена ко дню празднования в качестве дара гостям.

¹⁸ Статья была опубликована на немецком языке («Wiener Zeitung», 1893, № 146). Ровинский получил ее от автора и познакомил с нею Томановича.

Кроме представителей просветительных, научных и культурных обществ славянских стран, в празднике приняли участие представители Парижского и Оксфордского университетов.

Комитет по организации празднования 400-летия Ободской типографии получил большое число приветственных адресов, в частности от Российской императорской Академии наук, от Петербургского, Казанского, Варшавского и Харьковского университетов, от Археологического, Исторического и Этнографического обществ при Казанском университете, Петроградского славянского благотворительного общества, Московского археологического общества, Одесского славянского благотворительного общества, Общества взаимной помощи книгопечатников в Казани, духовных академий и т. д.

Эти торжества были триумфом славянской культуры и солидарности. Такой характер был придан им в известной степени усилиями Ровинского и Томановича. Гости — участники торжеств — побывали в различных исторических культурных центрах. Они ездили в Обод, где прежде была типография, в Дуклу (черногорское название древнеримской Диоклен), где Ровинский производил археологические раскопки.

Торжества в связи с 400-летием типографии послужили поводом для основания Государственной библиотеки, Государственного музея и Государственного архива Черногории. Эти учреждения начали свою работу, а закон о них был принят в 1896 г. Так в Цетинье возник интересный научный центр, необходимость которого была убедительно обоснована столь авторитетным научным собранием в связи с 400-летием Ободской типографии. Материалы юбилейных торжеств были изданы отдельной книгой.¹⁹

Среди многочисленных материалов этого сборника наиболее важными представляются работы П. Ровинского, академика Милана Дж. Миличевича, академика Ватрослава Ягича; обозрение и рецензии на опубликованные труды об Ободской типографии: Л. Томановича о работе Иллариона Руварца и П. Ровинского об исследованиях В. Ягича. Большой интерес представляют опубликованные адреса различных академий, университетов и других научных центров. Издание этой книги явилось большим вкладом в изучение истории основания первой кирилловской типографии.

3

Редактируя «Глас Црногорца» (Цетинье) и ряд других периодических изданий, Л. Томанович ориентировал их на русскую прогрессивную журналистику. В одном из писем Ровинскому он го-

¹⁹ Прославна споменica четиристогодишнице Ободске штампарје. Цетинье, 1895, 227 стр. Издание Комитета по организации торжеств.

ворит: «Мой девиз — быть эхом русской журналистики, и этим я доволен».²⁰

Томанович сотрудничал с Ровинским, согласовывая с ним все принципиальные научные и политические вопросы. Ряд таких вопросов возник в связи с полемикой Томановича с известным сербским историком Иларионом Руварцем и Йованом Томичем по вопросу о статусе Черногории в ее отношении к Турции. В связи с этим возникли и некоторые очень важные вопросы для историков литературы.

Ровинскому, интересовавшемуся материалами по истории Черногории, попалась рукопись «Цетинской летописи», которая хранится в ризнице Цетинского монастыря. Из этой рукописи он подготовил и опубликовал часть, относящуюся к связям Венеции и Черногории, а в предисловии определил ее значение.²¹ В этой рукописи находится извод труда Марина Барлеци «Повесть о Скандербеге».²² В «Цетинской летописи» извод этот озаглавлен «Повесть о Скандербегу Черноевичу на святом крщении нареченном Георгию»²³ и содержит 60 страниц, что соответствует 30 листам. Ровинский считал, что такое заглавие представляет собою ошибку, так как Скандерберг, албанец родом, выступал против турок как представитель албанского народа.²⁴

Ровинский и Томанович придерживались одного взгляда на учреждение и место типографии Черноевича. В своем исследовании «Ободская типография и ее значение на славянском юге»²⁵ Ровинский утверждает, что типография Черноевичей была сначала основана в Ободе, а затем переведена в Цетинье. Это утверждение подкрепляется рассказом Митра Джурича, ободского учителя, ученики которого находили там литеры, «составляли из них слова, скрепляли, и, намазав чернилами или закоптив, отпечатывали в своих тетрадах». Стево Чутурило, инспектор начальных школ

²⁰ Архив АН СССР, ф. 123, оп. 2, ед. хр. 31. Письмо Л. Томановича П. Ровинскому из Цетинье в Петербург от 23 I 1900; подписано псевдонимом: «игуман Лазар».

²¹ П. Ровинский. Записка Венецианскому сенату о заслугах черногорцев перед венецианской республикой и неправдах, чинившихся им пограничным комиссаром в Которе Николяном Болидом 1744 г. «Памятники древней письменности», СПб., 1882, стр. VIII + 18.

²² M. Barletius. Historia de vita et gestis Scanderbegi, Epizotarum principis Roma. См.: Н. Н. Розов. Древнерусская повесть о народном герое Албании и ее источники (в кн.: Повесть о Скандербеге. Изд. АН СССР, М.—Л., 1957, стр. 95.

²³ Н. С. Мартинович. Цетински летописи и факсимиле на листах 1—30а. Цетинье, 1962, стр. 9—13.

²⁴ П. Ровинский—Л. Томановичу 10 IV 1887. Письмо находится у автора статьи.

²⁵ Эта работа была распространена бесплатно среди участников празднования 400-летия Ободской типографии 1893 г., а затем перепечатана в «Прославной споменици четиристогодишнице Ободске штампарије» (Цетинье, 1895, стр. 35—54). В дальнейшем будем называть «Споменица».

в Черногории, показывал отдельные литеры, найденные им на месте Ободской типографии.²⁶ Если принять это предположение, то типография Черноевича была обоснована раньше, чем Краковская, и была самой старой кирилловской типографией у славян.²⁷

Основной конфликт между Томановичем и Ровинским, с одной стороны, и И. Руварцем — с другой возник в связи с книгой последнего «Montenegrina».²⁸ Это полемическая книга, в которой отвергаются наблюдения различных историков о Черногории и ее свободе, а особенно подвергаются критике мысли Томановича и Ровинского. Естественно, что это вызвало полемические выступления Томановича, использовавшего страницы «Гласа Црногорца». На стороне Руварца в спор вмешался Йован Томич.²⁹

Л. Томанович сначала в журнале «Бранково Коло», а затем в специальной книге ответил Руварцу и Й. Томичу.³⁰

В связи с этой полемикой между Томановичем и Ровинским завязалась оживленная переписка. Томанович услышал, что Ровинский написал ответ Руварцу и предложил ему опубликовать этот ответ в «Гласе Црногорца» в Цетинье или в «Српском гласе» в Задре.

Ответ Томановича Руварцу вызвал большой интерес. В связи с этим он писал Ровинскому, что «Руварац теперь в таком затруднении, что его сторонники хотели обратиться к тебе за помощью». Между тем Ровинский был полностью согласен с ответом Томановича и, получив его книгу, телеграфировал из Петербурга: «Спасибо за подарок! За книгу — браво!»³¹

Ровинский быстро подготовил ответ Руварцу и послал Томановичу три экземпляра.³² Вопреки Руварцу, Ровинский полагал, что начиная с владыки Даниила Петровича Негоша Черногория не являлась вассалом Турции. Одним из важнейших аргументов, подтверждающих политическую независимость Черногории, было для Ровинского, как и для Томановича, истребление потурченцев на черногорской земле в начале XVIII в.

²⁶ Споменница, стр. 36.

²⁷ Там же, стр. 37—38.

²⁸ Иларион Руварац. *Montenegrina*. Прилошцы историј и Црне Горе. Сремски Карловци, 1898, стр. 272.

²⁹ Јован Н. Томич. Црнојевићи и Црна Гора I—II. «Глас Српске Академије наука», VIII, X и XII, Београд, 1901.

³⁰ Л. Томановић. Г. Руварец и *Montenegrina*. Сремски Карловци, 1899, стр. 120.

³¹ Архив АН СССР в Ленинграде, ф. 123, оп. 2, ед. хр. 31. Л. Томанович — П. Ровинскому из Цетинье в Петербург, 23 I 1900. Подписано: «Игумен». Оригинал телеграммы от 3 II 1900 хранится у автора данной статьи.

³² Письмо Ровинского Томановичу из С.-Петербурга 23 V 1900 (оригинал у автора статьи). Ровинский подписался обычным псевдонимом: Р-ц. Работа опубликована: ЖМНП, ч. СССXXIII, № 4, отд. 2, стр. 342—383, 1900, под заглавием «Черногорская история перед судом архимандрита Илариона Руварца». Эта работа в переводе опубликована: «Глас црногорца», Цетинье, 1900, № 27, 28, 30. Томанович написал пояснение с названием «Ради истины» («Глас Црногорца», 1900, № 3, 4).

В 1900 г. Ровинский находился в Петербурге. Получив направленную против Руварца книгу Томановича, он писал ему в Цетинье: «Ты там, а я здесь, и мы без всякого уговора не только приходим к одному и тому же — истина одна, но видим это даже в мелочах». Он указывает ему на сходные положения, к которым они пришли независимо друг от друга. «Ты часто дополняешь то, — пишет Ровинский, — что у меня разработано слабее. Как будто мы сговорились. ... Говоря между нами, если не вся работа, то многое в ней написано Руварцем под воздействием чужих слов». Затем он просит Томановича послать книгу о Руварце А. Н. Пыпину, В. И. Ламанскому, А. А. Шахматову, А. В. Васильеву, И. С. Пальмову и в редакции главных петербургских журналов и газет.³³

Взаимоотношения Ровинского и Томановича, неизменно искренние и человеческие, никогда и ничем не омрачавшиеся, принесли огромную пользу развитию науки и культуры Черногории.

³³ Письмо П. Ровинского к Л. Томановичу из Петербурга в Цетинье от 29 I 1900. Оригинал, подаренный Росандой Томанович, находится у автора статьи.

И. А. ГОНЧАРОВ — АВТОР ОФИЦИАЛЬНОГО
«ОТЧЕТА О ПЛАВАНИИ ФРЕГАТА „ПАЛЛАДА“»

Участие И. А. Гончарова в экспедиции 1852—1855 гг. к берегам Японии и Китая — факт исключительной важности в творческой биографии писателя. На материале этой экспедиции им было создано одно из лучших произведений русской и мировой литературы о морских путешествиях — книга путевых очерков «Фрегат „Паллада“», выдержавшая при жизни Гончарова четыре издания.

Тема путешествия прошла через все творчество писателя: в детском журнале «Подснежник» как бы в дополнение к «Палладе» в 1858 г. им был напечатан очерк «Два случая из морской жизни»; в 1874 г. в сборнике «Складчина» — очерк «Из воспоминаний и рассказов о морском плавании» (в последующих изданиях озаглавленный «Через двадцать лет»), а в 1891 г. в московском журнале «Русское обозрение» еще один очерк — «По Восточной Сибири. (В Якутке и Иркутске)», явившийся как бы заключительной главой ко всей книге.

«Как прекрасна жизнь, между прочим и потому, что человек может путешествовать!», — писал Гончаров во «Фрегате „Паллада“». Но значение этой книги не исчерпывается глубиной и проникновенностью художественных описаний всего того, что мог наблюдать Гончаров-путешественник от берегов Кронштадта до устья Амура. «Фрегат „Паллада“» — полотно большой социальной значимости, написанное на живом, исторически достоверном материале, отразившем различные стороны общественно-политической жизни и быта как европейских колонизаторов, так и угнетенных ими народов Африки и Азии. Тема колониализма во «Фрегате „Паллада“» уже нашла отражение в исследованиях советских литературоведов, особенно в работе Н. К. Пиксанова «Гончаров и колониализм»¹ и в работах В. А. Михельсона и М. С. Горенштейна.

Автор «Обыкновенной истории» и «Обломова», свободно владевший тремя европейскими языками,

¹ Материалы юбилейной Гончаровской конференции. Ульяновск, 1963, стр. 23—53.

получил назначение на военное судно прежде всего как должностное лицо — как секретарь командира экспедиции, опытного моряка и дальновидного дипломата генерал-адъютанта адмирала Е. В. Путятин. Помимо установления дипломатических и торговых отношений между Россией и Японией, экспедиция имела и другое — военное — назначение. В секретной инструкции управляющего Морским министерством великого князя Константина Николаевича от 16 октября 1852 г. говорилось: «Независимо от политической и торговой цели и посещения некоторых китайских портов на генерал-адъютанта Путятин, собственно в морском отношении, возложено: а) собрать на местах сведения обо всем, что происходит вдоль берегов нашего азиатского материка и у берегов северо-западных наших владений в Америке, и сообразить, какие меры ближе всего, при настоящей недостаточности судов Камчатской флотилии, могли бы на будущее время обеспечить тамошние наши владения от своевольства чужеземных китоловов; б) с осторожностью осмотреть остров Сахалин». В заключение подчеркивалось: «Настоящая цель этой экспедиции должна быть сохранена в строгой негласности».²

Такие цели экспедиции обязывали секретаря Гончарова всегда быть в курсе международных политических событий. Через него шла официальная переписка адмирала с русским правительством и дипломатическая — с правительствами других стран. Им составлялись отчеты и донесения адмирала, а кроме того, его обязанностью было ведение дневниковых записей, т. е. он должен был, по его же словам, «записывать все, что мы увидим, услышим, встретим». Во время плавания Гончаров много читал специальной морской литературы и литературы научной («Паллада» имела прекрасную библиотеку по всем отраслям знаний). «Дела у меня много: все, разумеется, по службе; о своем и подумать некогда», — писал он в конце июля 1853 г. Языковым. Как секретарь Гончаров вполне удовлетворял адмирала. В рапорте морскому министру от 19 ноября 1855 г. адмирал доносил: «Г-н Гончаров, кроме отличного исполнения лежавшей на нем обязанности секретаря при мне во время плавания фрегата „Паллада“, занимался по моему приглашению преподаванием русской словесности бывшим на означенном фрегате гардемаринам и вообще был весьма полезным приобретением для экспедиции».³ А еще раньше, 27 июля 1854 г.: «Я не могу не выразить вновь моей благодарности за благосклонное ходатайство Ваше о назначении г-на Гончарова в экспедицию. Он до конца пребывания своего при мне отличался... деятельностью и усердием... Он по своим способностям и образованию весьма полезен для службы, и я смело могу рекомендовать его

² Центральный гос. архив Военно-Морского флота СССР, ф. 296, оп. 1, доп. № 3, лл. 73—75.

³ Там же, ф. 283, оп. 3, № 3467, лл. 1—2.

Вашему превосходительству для исполнения всякого рода важнейших поручений».⁴

По возвращении из плавания Гончаров вступил в свою прежнюю должность — столоначальника Департамента внешней торговли Министерства финансов. Но результаты донесений адмирала Путятина не замедлили сказаться на дальнейшей служебной карьере Гончарова: 16 февраля 1855 г. он был произведен за выслугу лет в надворные советники, 17 июля того же года в коллежские советники, а 25 декабря — по высочайшему приказу, «вне правил», в статские советники — «за особые заслуги его по званию секретаря при генерал-адъютанте графе Путятине».

Осенью 1855 г. Е. В. Путятин возвратился в Петербург, где ему предстояла работа по составлению официального отчета об экспедиции. В связи с этим он счел необходимым обратиться за помощью к своему бывшему секретарю, подготавливавшему к печати в журналах отдельные путевые очерки. 1 декабря 1855 г. Гончаров сообщал брату Николаю в Симбирск: «Приехал адмирал Путятин, с которым я плавал, и выпросил у министра откомандировать меня месяца на два писать отчет государю об экспедиции».⁵ Такой отчет Гончаровым в декабре 1855 г. был составлен. 31 декабря он писал Е. В. Толстой: «Вы спрашиваете о романе... А романа нет как нет: есть донесение об экспедиции, есть путевые записки, но не роман».⁶

В январском номере «Морского сборника» это «донесение» было опубликовано под заглавием «Отчет о плавании фрегата „Паллада“, шкуны „Восток“, корвета „Оливуца“ и транспорта „Князь Меншиков“ под командою генерал-адъютанта Путятина в 1852—1855 гг. (Составлено из официальных донесений)». Но это был не «всеподданнейший» отчет Е. В. Путятина; последний писался позже самим адмиралом и, вероятно, также не без некоторой консультативной помощи со стороны Гончарова (опубликован в «Морском сборнике», № 10 за 1856 г.).

Литературоведам, работающим над изучением «Фрегата „Паллада“», оба эти отчета хорошо известны, но почему-то никто из них не высказал в печати хотя бы предположения о принадлежности одного из них И. А. Гончарову.

Составленный на основании официальных донесений и, по видимому, из данных не сохранившегося судового журнала, «Отчет» этот, как всякий официальный документ, а тем более морской, насыщен техническими и навигационными терминами, а также профессионализмами, доступными по большей части только опытным морякам. Тут и названия частей корабля, и данные о его

⁴ «Русская старина», 1911, № 10, стр. 50—51.

⁵ «Новое время», Иллюстр. прил., 1912, № 13017, 9 июня, стр. 8—9.

⁶ «Голос минувшего», 1913, № 12, стр. 245.

курсе, скорости, местонахождении, и данные метеорологического характера с названиями ветров, и сведения о техническом и военном оснащении судна, о поломках частей и механизмов и т. д. Вот некоторые примеры такого профессионального морского языка из «Отчета»: «Сделался крепкий ветер от SO и к вечеру засвежел до такой степени, что принудил спустить нижние реи на сетки и стеньги на найтовы». «Имея марсели в 4 рифа, фрегат на высоте мыса Старт претерпел жестокие удары в нос... в 8 часов утра бушприт зарылся от волнения до такой степени, что вышел из воды без утлегаря». Или о техническом и военном оснащении: «Фрегат был снабжен массивными металлическими помпами, 60 винтовками со штыками, 4 бомбическими орудиями с замками, прицелами и пр., а равно к ним: ядра, бомбы (без начинки), станки, банники и прочие принадлежности», и т. д.

И в то же время «Отчет» не лишен художественных элементов, особенно в местах, имеющих описательный характер, где речь идет о русском посольстве в Японии и о том непосредственном впечатлении, которое произвели на русских людей японские представители своими нравами и обычаями. Хотя и не в тождественном, но весьма близком выражении они вошли во второй том «Фрегата „Паллада“». Более внимательное ознакомление с их стилистическими особенностями путем сопоставления соответствующих мест «Отчета» с текстом «Фрегата „Паллада“» и с письмами Гончарова из кругосветного плавания⁷ позволяет сделать заключение, что автором их было одно лицо. Вот наиболее выразительные примеры такого тройного текстуального сопоставления.

«Отчет»

«Узнав, что о цели прибытия нашей эскадры к берегам Японии сообщено будет чрез имеющегося у генерал-адъютанта Путятина письмо к нагасакскому губернатору, японцы спросили: «Зачем же с одним письмом прибыли четыре судна?»⁸

«Фрегат „Паллада“»

«Между прочим, после заявления нашего, что у нас есть письмо к губернатору, они спросили, отчего же мы одно письмо привезли на четырех судах?»⁹

Письмо к И. И. Льховскому,
июль 1853 г.

«Узнав, что у нас есть письмо к властям, он спросил: зачем же мы одно письмо привезли на четырех судах?» (VIII, 260).

⁷ Литературное наследство, т. 22—24. М., 1935, стр. 309—427. Вступ. статья и комм. Б. Энгельгардта. Пользуюсь случаем исправить ошибку, допущенную в этой публикации и нашедшую отражение в составленной мною «Летописи жизни и творчества И. А. Гончарова» (Изд. АН СССР, М.—Л., 1960), а именно: письмо Гончарова от 9 января 1853 г. (стр. 365—368) адресовано не И. И. Льховскому, а М. А. Языкову, о чем дважды свидетельствует обращение в тексте письма к Михаилу Александровичу.

⁸ «Морской сборник», 1856, № 1, отд. III, стр. 150 (в дальнейшем в тексте указывается только страница).

⁹ И. А. Гончаров, Собрание сочинений, т. III, Гослитиздат, М., 1953, стр. 12 (в дальнейшем в тексте указываются только том и страница).

«В то время, когда шесть шлюпок с полномочным и его свитою в строгом порядке, одна за другою, тронулись с места, раздался народный гимн „Боже царя храни“, и суда наши мгновенно покрылись флагами всех наций, а матросы, стоявшие по реям, огласили воздух троекратным ура» (153).

«После размена обыкновенных учтивостей и передачи губернатору письма в Верховный Совет, полномочный хотел приступить к переговорам касательно получения ответа, но губернатор отклонил это, прося отдохнуть и потом уже продолжать беседу, и затем удалился» (153).

«За час до приезда полномочные прислали ген. ад. Путятину от своего имени подарки, состоящие из прекрасных лакированных ящиков, чернильниц и т. п. и, между прочим, саблю высокого достоинства, как по качеству клинка, так и по красоте внешней отделки. Оружие этого рода дорого ценится японцами и сабли их не уступают никаким в свете. Вывозить их строго запрещено. Подарок этот еще замечателен по своему значению: он есть крайнее выражение дружбы» (159).

«Наконец, после полудня, прибыли две большие двухэтажные лодки, завешенные красной шелковой материей, украшенные луками, стрелами, булавами, гербами и прочими знаками высокого звания полномочных» (159).

«Ген. ад. Путятин пригласил полномочных сначала в свою каюту для отдыха, а потом показал им фрегат. Они спустились в жилую палубу, в арсенал, останавливаясь на каждом шагу и расспрашивая обо всем с такою любознательностью, которая бы сделала честь самому об-

к Е. П. и Н. А. Майковым
от 15 сентября 1853 г.

«Теперь представьте себе, вдруг семь наших военных шлюпок двинулись при звуках музыки, при криках ура, по рейду, между тем как суда наши сверху до низу покрылись разноцветными флагами всех наций, и матросы стояли по реям».¹⁰

«Отдав губернатору бумагу, адмирал хотел было продолжать разговор, но губернатор попросил нас отдохнуть — бог весть от какой усталости — и ушел в одну сторону, а нас повели в другую».¹¹

«Фрегат „Паллада“»

«Но что за вещи прислали они — загляденье! Один прислал шкатулку, черную, лакированную, с золотыми рельефами храмов, беседок, гор, деревьев... Другой подарил чернильницу с золотыми украшениями, со всем прибором для письма... Но самым замечательным и дорогим подарком была сабля, и по достоинству, и по значению. Подарок сабли у них служит несомненным выражением дружбы. Японские сабельные клинки, бесспорно, лучшие в свете. Их строго запрещено вывозить» (II, 166).

«В первом часу, наконец, от берега тронулась целая флотилия к нам. Посреди пятидесяти или шестидесяти лодок медленно плыли две огромные, крытые лодки или барки, как два гроба, обтянутые, как гробы же, красной материей, утыканые золочеными луками, стрелами, пиками и булавами. Лодки были в два этажа...» (III, 169).

«Их (полномочных, — А. А.) повели в адмиральскую каюту... Посидев несколько минут, все пошли наверх, в палатку. Полномочные вели себя, как тонкие, век жившие в свете, люди; все должно было поражать их, не видавших никогда европейского судна, мебели, украшений. Что

¹⁰ Литературное наследство, т. 22—24, стр. 397—398.

¹¹ Там же, стр. 398—399.

разованному европейцу. После того приглашены они были на ют, где устроили для них из сигнальных флагов палатку. Наши показали им, сколько позволяло место на палубе, образчик фронтового ученья с маршировкой, потом примерное ученье орудиями и тревогу. Они с неприятным изумлением и удовольствием смотрели на все и благодарили наших моряков» (159).

«Они не знали, как благодарить за внимание...» (159).

«Подражая их обычаю, наши к концу обеда предложили им конфеты в изящных, купленных в Англии для подарков ящиках, которые отослали с ними, также альбомы с гравюрами, и привели их в совершенный восторг» (160).

шаг, то новое для них. Они сознались в этом на другой день, но тут не показали, ни жестом, ни взглядом, удивления или восторга... Им подали чай. Между тем вся команда выстроилась на палубе; началось ученье ружьем, потом маршировка. Четыреста человек маршировали вокруг мачт, от юта до бака и обратно. Но всего эффектнее было, когда пробили тревогу... Им показали действие орудиями. Они благодарили адмирала и попросили поблагодарить людей» (III, 169—170).

«Они смутились нашей вежливостью и внимательностью и не знали, как благодарить» (III, 171).

«Потом мы, подражая тоже их обычаю, поставили перед каждым полномочным по ящику конфет. Они уже тут не могли скрыть своего удовольствия или удивления и ахнули — так хороши были ящики из дорогого красивого дерева, с деревянной же мозаикой... Потом им показали и подарили множество раскрашенных гравюр с изображением видов Москвы, Петербурга, наших войск...» (III, 172).

Этих примеров вполне достаточно, чтобы установить частичное сходство официального «Отчета о плавании фрегата „Паллада“» с книгой очерков Гончарова «Фрегат „Паллада“» и его письмами из плавания, носящими частный характер, а следовательно — и установить принадлежность «Отчета» перу Гончарова.

Поиски в архивах, и прежде всего в Центральном государственном архиве Военно-Морского флота СССР, оригинала «Отчета» остались без результата. Правда, в названном архиве имеются официальные донесения (рапорта) Путятина с «Паллады», в составлении которых принимал участие Гончаров как секретарь адмирала и которые он, вероятно, имел перед собой при составлении данного «Отчета». Но написаны они не рукой Гончарова, а находившимся на «Палладе» писарем.

СОБЫТИЙНАЯ ОСНОВА
ПОЭМЫ Н. А. НЕКРАСОВА «ДЕДУШКА»

Известный исследователь жизни и творчества Н. А. Некрасова В. Е. Евгеньев-Максимов говорил о «Дедушке» и «Русских женщинах» как о «больших эпических поэмах».¹ Но рядом с этим жанровым определением он дает другое, тематическое, и рассматривает названные произведения как «историко-революционные поэмы». Такой подход стал традицией, и все последующие исследователи шли этим путем, развивая и углубляя идейно-тематический принцип анализа. Проблемы жанра не привлекали их внимания. Между тем без решения этой проблемы многое в поэмах Некрасова остается не разъясненным.

Известно, что на протяжении 1860—1870-х годов (до самой своей кончины) Некрасов работал над большой эпической поэмой «Кому на Руси жить хорошо». И, казалось бы, его стремление к эпическому творчеству могло быть вполне удовлетворено, тем более что поэма была еще очень далека от своего завершения. Однако поэт оставляет на время «Кому на Руси жить хорошо» и пишет одну за другой поэмы «Дедушка», «Русские женщины» и несколько позднее — сатирическую поэму «Современники».

Жанровое определение «большая эпическая поэма» может быть отчасти отнесено к «Русским женщинам», полностью — к «Кому на Руси жить хорошо» и менее всего к «Дедушке». Объем этой поэмы сравнительно невелик (461 стих) и немного превышает уровень большого лирического стихотворения («Поэт и гражданин», например, 294 стиха). Для сравнения укажем, что поэма «Русские женщины» насчитывает 3258 стихов, а «Кому на Руси жить хорошо» не идет ни в какое сравнение с поэмой «Дедушка», превышая ее по объему почти в 20 раз (свыше 8.5 тысяч стихов).

Но дело, разумеется, не столько в объеме произведения, сколько в его внутренней сущности. Определение «большая эпическая поэма» недостаточно разграничивает в жанровом отношении эпические

¹ В. Е. Евгеньев-Максимов. Творческий путь Некрасова. Изд. АН СССР, М.—Л., 1953, стр. 199.

произведения Некрасова, не способствует выяснению специфики каждого из них. Ясно даже на первый взгляд, что ни «Дедушку», ни «Русских женщин» невозможно отнести к произведениям эпического характера. Это в жанровом отношении нечто очень особенное даже среди поэм самого Некрасова.

Оценивая поэму лишь со стороны внешней формы, можно прийти к выводу, что «Дедушка» — это даже и не поэма, а скорее лирико-драматические сцены. В произведении почти нет событий, нет последовательной цепи «фактов», которые могли бы составить фабульную нить, нет типичной для эпической поэмы уравновешенности субъективного и объективного начал. На первом плане здесь субъект, герой поэмы, что усиливает лирический и драматический момент произведения. Само эпическое предстает здесь не столько в своем предметном выражении, сколько, как в лирике, «через внутренний элемент субъекта».²

Но несмотря на все это, «Дедушка» — это безусловно поэма, поэма героическая, гражданская. Композиционно она отличается от всего того, что ей предшествовало, как в истории русской поэмы, так и среди поэм Некрасова. В ней заметно сознательное отрицание сложившейся традиции и в то же время присутствие ее. Происходит сложный процесс преодоления и в то же время творческого освоения традиции. Переключка нового со «старым», новаторского с традиционным обогащает это новое, расширяет его внешние и внутренние границы.

* * *

Имея в виду необходимость объективной событийной основы в эпической поэме, В. Г. Белинский писал: «В эпопее господствует событие, в драме — человек. Герой эпоса — происшествие, герой драмы — личность человеческая».³ Впоследствии, обобщая опыт современной поэзии, Белинский по-иному оценил роль события в эпической поэме. По мнению критика, бесконечное усложнение современной жизни, разделение ее на множество различных сторон привело к невозможности объединить разнообразные явления современной действительности вокруг одного исторического события. Поэма нового времени получает смешанный характер. В ней при сохранении общей эпической основы сливаются лирическое, драматическое и эпическое начала. В поэме смешанного типа «...событие не заслоняет собою человека, хотя и само по себе может иметь интерес».⁴

² Г. В. Ф. Гегель, Сочинения, т. XIV, Соцэкгиз, М., 1958, стр. 328.

³ В. Г. Белинский, Полное собрание сочинений, Изд. АН СССР, т. V, 1954, стр. 16.

⁴ Там же, стр. 43.

В научной литературе до сих пор не отмечалось, что Некрасов был не безразличен к событийной стороне эпической поэзии: «...не всякое происшествие, — писал он, — хорошо для рассказа, а, напротив, есть множество таких, которые по своей исключительности, обыденности или безличности решительно для рассказа не годны».⁵ Искусственность, надуманность события, лежащего в основе произведения, неизбежно ведет к искусственности, надуманности художественного целого. Но событие само по себе еще не решает проблемы. Событие может быть значительно, а художественное воплощение его плохо. Более того, несоответствие события и способа его воплощения неизбежно обрекает поэта на неудачу. Пример такого несоответствия Некрасов видел в стихотворении В. Г. Бенедиктова «Малое слово о великом». Некрасов отметил, что важному историческому событию (создание Петром I могущественного военно-морского флота) решительно не соответствуют тон, ритм и стиль стиха:

Взял топор — и первый ботик
Он устроил, сколотил,
И родил тот ботик флотик,
Этот флотик — флот родил.

«Важные исторические факты, — заключает Некрасов, — имевшие столь сильное влияние на судьбу целого народа, не являются ли в несколько чуждом свете, переданные таким тоном, с такой точки зрения?»⁶

Реалистическая направленность поэтического творчества обусловила естественность развития событий в его поэмах. Их верность действительности настолько безусловна, что создает иллюзию почти полного совпадения с реальными фактами. Это приводит некоторых исследователей к поискам фактических соответствий или же прямых и непосредственных заимствований из фольклорных источников.⁷ Однако роль тех и других не следует преувеличивать.

События большинства эпических произведений Некрасова не сложны, иногда они могут показаться слишком общими (смерть крестьянина в «Морозе, Красном Носе»), но они таят в себе возможности широкого развития действия, изображения характеров в их существенных проявлениях. В ранних его поэмах («Саша», «Несчастные», «Тишина») принципы конструирования события более традиционны, чем в «Морозе, Красном Носе», в «Дедушке»,

⁵ Н. А. Некрасов, Полное собрание сочинений и писем, т. IX, Гослитиздат, М., 1950, стр. 294.

⁶ Там же, стр. 310.

⁷ См., например: А. В. Попов. Костромская основа в сюжете «Коробейников». Ярославский альманах, Ярославль, 1941; Е. В. Базилевская. Из творческой истории «Кому на Руси жить хорошо». «Звенья», кн. V, М.—Л., 1935.

в «Кому на Руси жить хорошо», где они становятся подлинно художественными открытиями.

В научной литературе получила широкое распространение мысль, что поэма «Дедушка» возникла под влиянием впечатлений, вызванных возвращением амнистированных декабристов на родину и что возвращение одного из них (С. Г. Волконского) и составляет событийную основу произведения. Действительно, возвращение героя на родину — один из важных моментов в поэме, но не это событие организует разнородный материал в единое художественное целое, не оно составляет эпическую основу произведения. Само это событие восходит к другому, более значительному, к той «великой были», которая когда-то вырвала героя из привычных условий и так решительно преобразила его личную и общественную судьбу. Этой «былью» является восстание декабристов, оно составляет эпическую основу произведения, выполняя в известной мере ту роль, которая в поэме-эпосе отводилась эпическому событию. От него исходят все другие события и действия и к нему они возвращаются.

Структурная особенность поэмы «Дедушка» состоит в том, что само событие не является объектом изображения, не включается непосредственно в повествование, но постоянно присутствует в нем, определяя действия и поступки героя, его характер, образ мысли, чувства и настроения. Оно приобретает в поэме характер того «объективного действия», которое развивается необходимо и неизбежно, в силу исторических закономерностей.

Величие события и развитая в связи с ним тема народных судеб, возвышенность характера и героя и «стиль, отвечающий теме», ставят «Дедушку» в ряд высоких героических поэм.

А. Н. ОСТРОВСКИЙ — СОАВТОР ЛИБРЕТТО
ЛИРИЧЕСКОЙ ОПЕРЫ «РУФЬ»
М. М. ИППОЛИТОВА-ИВАНОВА

Издавая в 1890 г. впервые либретто оперы «Руфь», П. Юргенсон не указал его авторов. На титульном листе этой единственной публикации либретто данной оперы значится: «„Руфь“. Лирическая опера в 3 действиях с прологом. Музыка М. М. Ипполитова».

Лишь в «Словаре опер» Г. Бернандта, вышедшем в 1962 г., авторами либретто названы А. К. Толстой и А. Н. Островский.¹ Но при этом доля участия в либретто того и другого писателя оставалась нераскрытой.

Обнаруженная нами рукопись М. М. Ипполитова-Иванова с текстом части либретто, выполненной А. Н. Островским, дает возможность ответить на вопрос о размере вклада автора «Грозы» в создание либретто «Руфи» с полной определенностью.

1

«Руфь» — первая опера М. М. Ипполитова-Иванова. Ее сюжетной основой явилась книга «Руфь», входящая в состав Библии.

Композитор вспоминает, что еще летом 1875 г., до поступления в консерваторию, по его просьбе поэт А. К. Толстой набросал «часть пролога и некоторые сцены второго и последнего акта»² либретто этой оперы. Поэт Д. Н. Цертелев, продолжая работу А. К. Толстого, в 1881 г. «закончил вчерне все либретто».³

По окончании петербургской консерватории в 1882 г. М. М. Ипполитов-Иванов был назначен директором Тифлисского отделения Русского музыкального общества, где и продолжал работу над своей оперой. В октябре 1883 г. в Тифлис приехал А. Н. Островский.

¹ Г. Бернандт. Словарь опер, впервые поставленных или изданных в дореволюционной России и в СССР (1736—1959). Изд. «Советский композитор», М., 1962, стр. 253.

² М. М. Ипполитов-Иванов. 50 лет русской музыки в моих воспоминаниях. Музгиз, М., 1934, стр. 25.

³ Там же.

Молодому тогда композитору: «очень хотелось знать мнение Александра Николаевича относительно общего плана либретто» оперы «Руфь», и он собошил ему, «что было сделано в этом направлении».

«Александр Николаевич, — рассказывает Ипполитов-Иванов, — очень заинтересовался: во-первых, в какую поэтическую форму вылилась чудная библейская идиллия в руках двух поэтов, а во-вторых, насколько эта работа удовлетворяет общим сценическим требованиям.

С большим волнением я принес ему либретто и все, что было мною написано, а сделано было почти два акта. Александр Николаевич очень милостиво отнесся к поэтической стороне работы и жестоко раскритиковал сценическую. Пока дело шло о завязке событий в прологе и первом акте в чисто идиллическом настроении, все ему нравилось, и план и стихи, но дальнейшее развитие подверглось беспощадной критике.

Он начал с указания, что все идиллические картины прекрасны в маленьком масштабе, но как они выходят из небольших рамок, то отсутствие резких контрастов и однообразие настроений утомляет слушателя и произведение становится скучным, а зритель или слушатель, как известно, прощает все, кроме скуки; поэтому он посоветовал оживить сценарий, внеся в либретто бытовые штрихи, введя сцену народного суда, в котором один из старейшин творит суд и расправу. В данном случае введение новой картины совсем преобразило оперу, и из однообразной идиллии создалась интересная бытовая библейская картина, полная жизни и движения.

Я, конечно, был в восторге от этой идеи, но в то же время и смущен до крайности: кто же мне напишет текст, и вообще отделяет в литературном отношении эту сцену, причем хотелось получить ее как можно скорей. Я высказал свои соображения Александру Николаевичу, не допуская даже мысли о возможности его участия. Но Александр Николаевич никогда и ничего не делал наполовину, поэтому, не откладывая, сейчас же приступил к совместному со мной обсуждению деталей новой картины. Через два часа я ушел от него ликующий, с совершенно законченной сценой в кармане». ⁴

2

Чтобы яснее представить поэтический колорит библейского сюжета оперы «Руфь», так глубоко заинтересовавшего А. Н. Островского, и долю его конкретного участия в создании либретто, необходимо хотя бы в самых общих чертах напомнить содержание оперы.

⁴ Там же, стр. 63—64.

Ее действующие лица: Ноэминь, вдова, мать погибших двух сыновей; Руфь, моавитянка, жена умершего сына Ноэмими; Орфа, моавитянка, жена второго умершего сына Ноэмими; Вооз, родственник Руфи; Рувим, родственник Руфи; Семей; Жнец; Старейшины города Вифлеема, жнецы и народ. Действие оперы происходит во времена судей в Моавии и Вифлееме. Все события совершаются под открытым небом: пролог — на улице в одном из городов Моавии; 1-е действие — в поле, недалеко от Вифлеема, во время жатвы; 2-е действие — на городской площади в Вифлееме; 3-е действие — в роскошном саду у Вооза.

В прологе изображается закат летнего дня, когда труженики возвращаются с полей и готовятся ко сну. Они славят красоту природы Моавитских стран, творца земли и неба, возносят к нему вечерние молитвы. Концовка пролога — горестное прощание Ноэмими со своими невестками. Потеряв в Моавии мужа и сыновей, она решает возвратиться на родину, в Вифлеем. Руфь, не имеющая в Моавии родственников, просит взять ее с собой.

Содержание первого действия, происходящего уже в Вифлееме, составляют песни жнецов, завершивших работу, встреча Ноэмими и Руфи с Воозом, их знатным родственником, и обещание Вооза взять себе в жены Руфь, если от этого откажется Рувим, более ей близкий.

Во втором действии Вооз предлагает Рувиму купить, по их обычаю, землю Ноэмими и Руфи, а последнюю взять женою. Рувим, не зная, что Руфь та, которую он неожиданно встретил у городских ворот и горячо полюбил, отказывается. Вооз, обращаясь к старейшинам, провозглашает обязательство исполнить все, что ему велит закон. В это время толпа народа вводит Семей, требуя у старейшин суда над ним и смерти: он совершил преступление — готовил жертву Ваалу. Мудрый Вооз успокаивает толпу, выслушивает объяснение Семей и спасает его от смерти, вызывая восхищение Руфи. А Рувим в изумлении узнает в Руфи ту, которую он полюбил. Он пытается взять свое слово назад, но Вооз не соглашается отдать ему Руфь.

Содержанием третьего действия служит свадебный пир у Вооза, на котором Рувим признается в своей любви к Руфи и закалывается. Все выражают ему сочувствие. Опера заканчивается словами хора:

Творец, пошли покой ему
(опускаются на колени)
И прими его на лоно Авраама.

3

В только что кратко рассказанном либретто оперы «Руфь» А. Н. Островскому принадлежит последняя, самая драматическая сцена 2 акта, а именно «Сцена суда».

Эта сцена, созданная поэтическим воображением Островского и отсутствующая в книге «Руфь», такова.

Вооз, старейшины, Рувим,
народ, Семмей,
потом Руфь.

Хор народа (за сценой вдали).

Смерть ему, смерть изменнику!

(Быстро выбегают).

На суд его представим!

Старейшины (к народу).

В чем вина его?

Вооз.

В чем преступление?

Старейшины и Вооз (вместе).

Скажите нам.

Хор народа.

Ваалу он жертву готовил;

Его мы схватили и к вам привели.

Судите его. Смерть ему!

Смерть изменнику веры наших отцов.

Вооз.

Опомнитесь, безумцы!

Ему сам бог защитой.

Настанет скоро наш праздник святой

Заветы мы пророка исполнить должны

И, свято храня, соблюдая завет,

От казни теперь избавим его

И бог за то нас наградит.

Хор народа (с ожесточением).

Смерть, смерть ему!

Изменника веры пророк повелел

Предать его казни и камнем побить!

И камнем убьем мы его!

(Бросаются на Семмея,

Вооз его защищает).

Вооз.

Остановитесь, вы!

Не вам казнить его,

Первый, кто руку поднимет,

Смертью Дафана погибнет!

(Народ в ужас отступает)

Во имя пророка исполним завет,

На праздник великий отпустим его.

И пусть он живет и славит творца неба и земли.

Руфь
(восторженно бросается к Воозу).
Великий Вооз! Пред тобой я преклоняюсь,
милий,
Бог в тебе посылает мир и счастье.

Вооз.

Руфь, моя невеста,
Встань, дорогая, в дом ко мне войдешь
госпожей.

Рувим (в изумлении).
Что вижу? Она... Руфь... жена его...
(С отчаянием)
О, как несчастен я!

Хор народа (между собой).
Простить его... Пусть славит
Бог творца земли и неба.

Семмей (к Воозу).
Выслушай и меня, Вооз.
Под старость лет душа немощна,
И бодрость, сила не сохранятся в дряхлом теле.
Врагами я был схвачен пред алтарем богов их
С мечами над главою, под страхом смерти
Я жертву идолам принес...
Суди меня, но знай, что, проживши век,
Бороться сил не хватит.
(Обращая взор к небу).
О, Адонай — Вселенной Вседержитель!
Ты видишь скорбь мою,
Ты видишь правду на земле
И сыну верному пошлешь
Покой последнего мгновенья,
О, Адонай — Вселенной Вседержитель.

Вооз (к страже).

Пусть уведут его.
Изгнание из отчины
Смерть ему заменит.

Хор народа.

Слава Воозу, слава во век,
Великая слава во век!

Вооз (к народу).

Внимайте мне!
Вам известно, что Руфь и Ноэминь
овдовели,
Рувим отказался их землю купить
и Руфь женою взять.

Рувим (с отчаянием бросается к Воозу).
Нет, беру назад я свое слово.
Счастье свое никому не уступлю.

Вооз (спокойно).

Теперь уж поздно:
Руфь моей будет женой.
Всем объявляю я.

Общий хор.

Слава Воозу, слава премудрому!
Слава Великому, слава во веки!
Слава ему!

Руфь и Вооз.

Тебе, творцу вселенной,
Поют хвалу —
Тебе, великому, хвала во век,
Ты милость нам даровал навек.⁵

В черновой записи карандашом, но не рукой А. Н. Островского, эта сцена хранится в рукописном отделе Государственной Публичной библиотеки имени М. Е. Салтыкова-Щедрина под названием: «Ипполитов-Иванов Михаил Михайлович. (Руфь, ор. 6. Лирическая опера в 3 д. с прологом. Сюжет библейский. Д. II № 16). Сцена суда («Смерть ему»). № 18 заключ. сцена («Пусть уведут его»). Эскизные наброски для пения с ф.-п. Текст А. Н. Островского. Тифлис. Черновой автограф карандашом». В конце рукописи написано: «Текст А. Н. Островского. Тифлис. 1883 г. Окт.».⁶

Но между печатным и черновым текстом имеются небольшие разночтения. Начало рукописи таково: «Сцена суда. Оп. „Руфь“ (за сценой далеко слышно: „Смерть, смерть ему (ближе), смерть, смерть ему. Смерть изменнику“ (быстро выбегают))».

Несколько иная рукописная вариация и второго выступления хора: «Ваалу он жертву, Ваалу он жертву, второй жертву готовил. Его мы схватили и к Вам привели. Судите его. Судите его. Он жертву Ваалу готовил. Смерть, смерть ему. Смерть изменнику веры наших отцов».

Монолог Вооза «Опомнитесь, безумцы!» заканчивается в рукописи словами: «От казни теперь избавим его. Исполним пророка завет. Бог вас наградит». В рукописи нет ремарки «с ожесточением» перед выступлением хора «Смерть, смерть ему!».

Второй монолог Вооза «Остановитесь, вы!» имеет в рукописи также дополнительную строчку: «Славит творца неба и зе(мли?)». Диалог Вооза и Руфи в рукописи более пространен. В нем находятся реплики, отсутствующие в печатном тексте:

⁵ «Руфь». Лирическая опера. В 3-х действиях с прологом. Музыка М. М. Ипполитова-Иванова. Издание Юргенсона, М., 1890, стр. 20—24.

⁶ Рукописный отдел ГПБ, Архив М. М. Ипполитова-Иванова, № 320, оп. 1, ед. хр. 175.

Руфь.

В тебе справедливость... Господь нам посылает...
О милый мой, как рада я, что бог послал тебя,
Велик господь, он внял мольбе моей.

Вооз.

Как счастлив я... тебе всю жизнь свою отдать.
Все счастье мое в тебе.

Руфь.

О милый мой.

Вооз.

В тебе все счастье мое, дорогая.

Руфь.

В тебе вся радость моя.

Вместо печатного «восторженно бросается к Воозу» (Руфь) в рукописи стоит: «опускается на колени». В печатном тексте исчезла ремарка «удерживает ее» (Вооз — Руфь).

В рукописи нет монолога Семмея, но крестом отмечено его место.

Вместо слов Вооза печатного текста: «Рувим отказался их землю купить» в рукописи значится: «Рувим отказался принять их надел».

Провозглашение Вооза «теперь уж поздно» и т. д. сопровождается репликой Руфи: «Милый мой, милый мой».

В рукописи отсутствует дуэт Руфи и Вооза: «Тебе, творцу вселенной».

Между печатным текстом и рукописью имеются и другие, более мелкие разночтения.

Если в рукописи сцена суда значится под №№ 16—18, то в печатном тексте она идет под № 8. Это указывает на то, что композитор, используя критические замечания, советы А. Н. Островского, вносил в первоначальную редакцию либретто оперы изменения, усиливая ее сценичность.

4

В сцене суда, внесенной А. Н. Островским в либретто «Руфи», дано изображение весьма сложной амальгамы внешних событий и внутренних переживаний, мыслей и страстей, драматизма и лиризма.

Набросок писателя замечателен прежде всего тем, что обогащает узко-лирическую оперу социально-бытовыми мотивами. Эти мотивы — религиозные распри, жертвой которых едва не стал Семмей; наличие публичного суда, участниками которого являются старейшины и народ.

Сцена проникнута высоким накалом социального драматизма. Слепая, ничем не сдерживаемая религиозно-фанатическая ярость толпы, охваченной жадной мести изменнику ее веры, сталкивается здесь с мудростью и гуманностью Вооза. В этой борьбе побеждает не безотчетная стихия, а разум и великодушие.

Сцена суда изумляет мастерством действенного, краткого диалога, напряженного до предела и воспринимающегося как удары мечей. Вспомним:

Хор народа (за сценой вдали).

Смерть ему, смерть изменнику!

(Быстро выбегают).

На суд его представим!

Старейшины (к народу).

В чем вина его?

Вооз.

В чем преступление?

Старейшины и Вооз (вместе).

Скажи нам.

Хор народа.

Ваалу он жертву готовил...

Социальный драматизм органически переплетается в сцене с личным драматизмом Рувима, увидевшего в Руфи, от которой он только что отказался публично, перед старейшинами, предмет своих сладостных мечтаний, «радость жизни».

Потрясенный до глубины души роковой ошибкой, он произносит слова, поражающие сердечной болью.

Рувим (в изумлении).

Что вижу? Она... Руфь... жена его...

(С отчаянием).

О, как несчастен я!

В этой сцене покоряет реально-бытовой верностью и объяснение Семмеем собственного преступления: «... под страхом смерти я жертву идолам принес».

А между тем в смене эпизодов сцены суда между Воозом и Руфью протягиваются невидимые нити. Величием своей справедливости и гуманности Вооз окончательно завоевывает сердце Руфи, и она, восторженно бросаясь к нему, произносит:

Великий Вооз! Пред тобой я преклоняюсь, милый,
Бог в тебе посылает мир и счастье.

Драматург строго следит за речевым своеобразием персонажей. Речь Вооза величаво-спокойна, Руфи — нежно-лирична, Рувима — драматична.

А. Н. Островский, в совершенстве владея стихом, написал свою часть либретто в полном соответствии с ритмическим узором всей пьесы — свободным стихом, меняющимся в зависимости от естественного течения речи действующих лиц, — ямбом («Опомнитесь, безумцы!»), амфибрахием («И свято храня, соблюдая завет»), дактилем («Первый, кто руку поднимет») и т. д.

5

В своих воспоминаниях композитор пишет, что он ушел от драматурга «ликующий, с совершенно законченной сценой в кармане». Могло ли это быть? Могло!

Пребывание А. Н. Островского в Грузии во всех отношениях было исключительно благоприятным. Он чувствовал себя бодрым, наливающимся новыми силами, как никогда творчески работоспособным. Сразу после возвращения с Кавказа он сел за пьесу «Без вины виноватые», о которой впоследствии писал: «Это произведение создавалось необыкновенно удачно: мне неожиданно приходили в голову художественные соображения, доступные только молодым силам, на которые я в мои лета не смел рассчитывать».⁷ Г. А. Талиашвили по поводу этих слов справедливо пишет: «Здесь писатель бесспорно имеет в виду не только московский период работы над пьесой, но и время, проведенное на Кавказе».⁸

«Заразившись», увлекшись понравившимся ему поэтическим сюжетом, Островский очень быстро, в два часа, создал чудесную сцену суда. Это был вдохновенный взмах его творческой кисти. Но, по всей вероятности, драматург вначале дал композитору «совершенно законченный» эскиз, каркас сцены суда. В этом виде композитор и записал ее в использованной нами рукописи. А потом, при дальнейших встречах, Островский мог предложить и окончательную ее редакцию. Не исключено, однако, и то, что завершающая редакция сцены суда, какой она появилась в печатном либретто, принадлежит самому Ипполитову-Иванову.

Опера «Руфь» была завершена композитором в 1886 г. и посвящена П. И. Чайковскому. Это имя было равно дорого и М. М. Ипполитову-Иванову, и А. Н. Островскому. Ее премьера состоялась уже после смерти драматурга — 27 января 1887 г. в Тифлисе, в бенефис дирижера И. В. Прибика.

Участие А. Н. Островского в создании либретто оперы «Руфь» — яркое свидетельство не только его необычайной творческой одаренности, душевной щедрости, идеально-благожелательного отношения к творческой молодежи, но и широкого интереса к выдающимся памятникам мирового искусства.

⁷ А. Н. Островский, Полное собрание сочинений, т. XII, Гослитиздат, М., 1952, стр. 233.

⁸ Г. Т а л и а ш в и л и. Русско-грузинские литературные взаимоотношения. Изд. «Ганатлеба», Тбилиси, 1967, стр. 328.

НАДПИСЬ НА КНИГЕ

Очень немногим лицам Н. Г. Чернышевский дарил свои книги. В 1850-х годах круг этих лиц ограничивался почти исключительно семейными рамками. Нам известны дарственные надписи Николая Гавриловича на книгах, хранящихся в Доме-музее Чернышевского: на первом издании диссертации «Эстетические отношения искусства к действительности» (1855), на книжке «Лессинг» (1857). Они посвящаются отцу, Ольге Сократовне, А. Н. Пыпину и И. И. Панаеву. Известен шуточный автограф на подаренном П. П. Пекарскому оттиске сочинения «Опыт словаря к Ипатьевской летописи (из «Известий имп. Академии наук по отделению русского языка и словесности», т. 2, 1853).¹

2 Сохранившаяся и дошедшая до нас личная библиотека Н. Г. Чернышевского лишена его дарственных надписей. В ссылке он по просьбе товарищей дарил им только самые лаконичные автографы, например: «Н. Чернышевский, литератор», с обозначением года, месяца и числа.² Перед отъездом из Сибири в Астрахань была надписана в подарок книга «Последние песни» Некрасова Ольге Филаретовне Кокшарской (жене помощника исправника), хранящаяся ныне в Музее революции (Москва).³

Что касается последнего периода жизни Н. Г. Чернышевского, то мы знаем книгу «Слепой музыкант» (издания 1888 г.), подаренную ему незадолго до смерти с автографом: «Николаю Гавриловичу Чернышевскому от глубоко уважающего В. Короленко». Можно предполагать, что совершенно естественным был бы обмен книгами между обоими писателями. Однако из воспоминаний Короленко этого не видно.

До сих пор от последних лет жизни Н. Г. Чернышевского сохранились автограф на оттиске статьи «Материалы для биографии Н. А. Добролюбова»

¹ Неизвестные автографы. Архивная справка Н. Чернышевской. В сб. «Звенья», № 5, изд. «Academia», М., 1935, стр. 371.

² С. Г. Стахевич. Среди политических преступников. В сб.: Н. Г. Чернышевский, М., 1928, стр. 60.

³ А. Г. Кокшарский. Мои воспоминания. В сб.: Н. Г. Чернышевский, стр. 41. Надпись воспроизведена в «Литературном наследстве» (т. 49—50, стр. 195).

в январской книжке журнала «Русская мысль» 1889 г., подаренной С. Б. Артемьевой 15 марта 1889 г., и дарственная надпись Н. Г. Чернышевского на армянском языке (одиннадцатый язык, которым владел Н. Г. Чернышевский), открытая и переведенная в 1966 г. благодаря стараниям астраханского краеведа В. С. Сильваняна, на титульном листе первого тома перевода «Всеобщей истории» Г. Вебера, полученного от Н. Г. Чернышевского астраханским торговцем С. С. Аветовым.⁴ Первый автограф хранится в Гос. Историческом музее, второй — в фондах Государственного Дома-музея Н. Г. Чернышевского (Саратов).

И вдруг — новая находка! В саратовский Дом-музей Н. Г. Чернышевского поступила очередная партия газетных вырезок. Среди них оказалась заметка, опубликованная 14 августа 1964 г. в газете «Голос Риги» за подписью корреспондента ТАСС Н. Нудьги из Ташкента, — «Автограф Чернышевского». В ней говорилось: «Надпись на втором томе „Всеобщей истории“ Вебера давно привлекала внимание сотрудников отдела редких и старинных книг Узбекской государственной библиотеки им. Навои: „Семену Моисеевичу Попову. В знак глубокого уважения от Н. Чернышевского“». Понадобилось много времени, чтобы доказать, что это автограф Н. Г. Чернышевского.

Из заметки было видно, что книга попала в библиотеку 50 лет назад. «Но как — установить пока не удалось», — сообщал автор, выражая вместе с тем надежду на то, что ответ на этот вопрос «поможет узнать и человека, судьба которого, судя по надписи, была связана с жизнью Николая Гавриловича».

Одновременно в Дом-музей Н. Г. Чернышевского через Отделение языка и литературы АН СССР были присланы поступившие туда из Государственной библиотеки Узбекской ССР им. Навои фотографии титульного листа 2-го тома перевода «Всеобщей истории» Г. Вебера (М., 1886) с дарственной надписью Н. Г. Чернышевского С. М. Попову и надписи Поповян на армянском языке, имеющейся на обороте титульного листа и на сорок первой странице книги.

К фотографиям было приложено письмо заведующей сектором редких и старинных изданий названной библиотеки Е. Киткович от 11 июня 1964 г. с вопросами: 1) автограф ли? 2) кто такой Попов? 3) какую роль он играл в жизни Н. Г. Чернышевского? 4) не одно ли лицо Попов и Поповян?

Итак, перед Домом-музеем Н. Г. Чернышевского встала задача: выяснить, кто такой был Семен Моисеевич Попов. Первым движением было — снять с книжной полки XV том собрания сочинений Н. Г. Чернышевского, в котором опубликована астраханская переписка. Ведь книга создавалась в Астрахани, где Н. Г. Чернышев-

⁴ См.: К. Корганов. Армянский автограф Чернышевского. «Коммунист» (Ереван), 1966, 3 сентября.

ский жил с 1883 по 1889 г. Фамилия «Поповян» сразу указывала на армянское происхождение Семена Моисеевича. Однако поиски в указателе личных имен XV тома ни к чему не привели. Правда, в нем оказалось много Поповых и все с другими инициалами.

Не говорим уже об указателе ко всему собранию сочинений Н. Г. Чернышевского в 16 томах: там мы встречаем одиннадцать Поповых. Прежде всего, конечно, интересен том XV. Здесь пять Поповых. Тут и Амвросий Мартынович — помощник заведующего астраханской библиотекой, работавший одно время переписчиком у Н. Г. Чернышевского, и Иван Васильевич — священник в Астрахани, и Михаил Иванович — редактор газеты «Астраханский вестник», и Степан Яковлевич — врач. И только один Попов остался в указателе без инициалов, но с обозначением: «астраханский торговец».

Первой догадкой в начатых поисках стала фигура этого астраханского торговца. Каковы были его взаимоотношения с Н. Г. Чернышевским? Прежде всего, конечно, отношения покупателя и продавца. Но большим душевным теплом веет от описания Н. Г. Чернышевским в письме к Ольге Сократовне воскресной прогулки по Астрахани, когда писатель «был остановлен знакомым голосом из окна того углового дома, который стоит наискось от дома Хачикова». У окна сидел и пил чай торговец железом Попов. Он пригласил Н. Г. Чернышевского к семейному чаепитию. Николай Гаврилович не отказался: «зашел, посидел с ними, пока они пили чай». За столом сидела вся семья, человек десять. Николаю Гавриловичу был оказан ласковый прием, ему даже хотели подарить банку варенья из джемьянок, но он взял немного только на пробу для Ольги Сократовны к ее приезду.⁵

Итак, выявился Попов, и притом без инициалов. Отсюда, естественно, возникла мысль о поисках прежде всего этих инициалов.

Вот почему в редакцию областной астраханской газеты «Волга» было направлено письмо автора этих строк с обращением к старожилам города. В этом обращении рассказывалось об обнаружении книги Вебера с автографом Н. Г. Чернышевского и была высказана просьба о помощи в розысках. Редакция газеты, откликнувшаяся очень скоро, поместила заметку прямо под заглавием «Как же звали торговца?». Автором заметки был Н. А. Беляков.

Успех этой публикации превзошел все ожидания. В Дом-музей Н. Г. Чернышевского и ко мне лично стали ежедневно поступать письма неизвестных астраханцев. Четырнадцать человек включилось в поиски, ключом к которым было только или «торговец железом» или имя с отчеством: «Семен Моисеевич».

В конце концов загадка была разгадана, и было выяснено, кто такие оба Попова — и торговец, и Семен Моисеевич. Переписка

⁵ Письмо от 14 июня 1888 г. в Липецк. Н. Г. Чернышевский, Собрание сочинений, т. XV, Гослитиздат, М., 1950, стр. 679—680. В дальнейшем том и страница этого издания указаны в тексте.

продолжалась с сентября по декабрь 1964 г. Выяснилось, что Семен Моисеевич Попов был врачом. Первые биографические сведения о нем и его семье сообщил их родственник пенсионер Иван Степанович Франгулов. По его словам, С. М. Попов «происходил из среды бедных мещан; за счет армянского благотворительного общества учился в средней школе; обладая хорошими способностями и весьма скромный и вежливый человек, по окончании средней школы был принят за казенный счет в Петербургскую военно-медицинскую академию, по окончании которой работал врачом-терапевтом чуть ли не до самой своей смерти — до 1919 г. По совместительству был помощником главного санитарного врача Балыклейского».

Первая жена С. М. Попова была русская. После ее смерти он остался с двумя дочерьми, Елизаветой и Маргаритой. . . «На продвижение по службе, — пишет И. С. Франгулов, — у Попова было мало надежды; он, как сам выросший в бедности, оказывал большую помощь, бесплатно принимая больных, не имевших возможности уплатить за его визит на дому».

По словам И. С. Франгулова, узнавшего об этом впоследствии, в доме С. М. Попова «частенько собирались прогрессивные люди города Астрахани и приходили ссыльные, — кто за медпомощью, а кто и так поговорить, так как у Попова всегда можно было найти самые лучшие издаваемые в то время журналы и даже нелегальную литературу, которую он тщательно скрывал».

Вторая жена С. М. Попова, урожденная Будагова Татьяна Григорьевна, росла в семье, непосредственно причастной к революционному движению. Ее сестра Елена Григорьевна за принадлежность к революционно-террористической организации была приговорена к смертной казни, которая была заменена пожизненной каторгой в Канске. После Октябрьской революции Елена Григорьевна была возвращена с каторги и через год умерла от туберкулеза. Вторая сестра Т. Будаговой Юлия (жена меховщика Фабрикантова) за участие в покушении на жизнь царя (Александра III?) также была приговорена к смертной казни.

Сам Семен Моисеевич со студенческих лет был знаком с революционерами и всячески помогал им.

«От второго брака Попова, — продолжает И. С. Франгулов, — осталась дочь Мария Семеновна . . . ей теперь 50—55 лет, она проживает в Узбекской ССР в городе Ташкенте, туда она уехала вместе со своей матерью в 30-х годах». В письме высказывается предположение, что книга с надписью Н. Г. Чернышевского могла быть отдана или продана в Государственную библиотеку именно этой дочерью или ее матерью — женой Попова, так как они в то время испытывали материальную нужду.

О Марии Семеновне И. С. Франгулов сообщил, что она работает в Ташкентском институте мелиорации, и предложил обратиться к ней со ссылкой на его письмо. Предупреждая возмож-

ность расспросов со стороны лиц, заинтересовавшихся автографом Н. Г. Чернышевского, И. С. Франгулов отметил, что Мария Семеновна вряд ли знает больше его о деятельности своего отца, потому что до революции была еще совсем молодой. «Очень дружные между собой, моя тетка Т<атьяна> Г<ригорьевна> и ее муж С. М. Попов были очень осторожны и не всякому человеку, за исключением старшей дочери Попова — Елизаветы — и ее тетки — моей матери... , говорили ... о своей помощи сыльным».⁶

И. С. Франгулов занялся поисками дома, в котором жил С. М. Попов при Н. Г. Чернышевском, и нашел его. «По наружному виду он такой же, как и был чуть ли не сто лет тому назад; из старожилов там никого нет в живых, кто бы знал Попова, но жива одна старушка, помнящая, кому этот дом принадлежал. На мой вопрос, принадлежал ли этот дом такому-то лицу, она ответила точно. Квартиры в доме давно переделаны по-другому: из одной стало несколько».

Фотография этого дома была прислана И. С. Франгуловым в следующем письме. Здесь С. М. Попов, как удалось ему выяснить, проживал в 1880—1906 г. «Дом этот, — пишет И. С., — выходит своим наружным фасадом на речку Кутум, теперь называется Красная Набережная. Попов жил в верхнем этаже этого дома... По фото видны деревья против дома, этих деревьев до революции не было». Дом в то время «принадлежал гражданину Собакареву. Умер Попов в другом доме».⁷

«Мне стало известно, что Вы интересуетесь, не одно ли лицо Попов и Поповян, — обратился к автору этих строк астраханский старожил Владимир Сергеевич Сильванян. — Отвечая, да, он армянин, этот самый Попов является дедом ныне здравствующего в Астрахани Юрия Попова, который в настоящее время пишет спортивное обозрение в астраханской областной газете «Волга». Об этом вчера информировал в разговоре со мной старожил — уроженец Астрахани, также армянин (ему 77 лет) Свешников Григорий Герасимович».⁸ Сведения о Юрии Попове были присланы и астраханцем Саркисовым Н. Г. в письме от 16 ноября 1964 г.⁹

Большую работу по наведению справок о Семене Моисеевиче Попове произвел общественник-краевед пенсионер Сергей Артемьевич Котельников (Котельникян). Он стал разыскивать адреса и навещать астраханцев, которые могли сообщить о местопребывании дочери Семена Моисеевича Марии Семеновны Поповой, бесе-

⁶ Письмо от 16 ноября 1964 г. Научный архив Гос. дома-музея Н. Г. Чернышевского (в дальнейшем: ГДМ Чернышевского), 1964, оп. 1, ед. хр. 679, лл. 41—42.

⁷ Письмо от 28 декабря 1964 г.

⁸ Письмо от 15 ноября 1964 г. ГДМ Чернышевского, 1964, оп. 1, ед. хр. 679, лл. 33 и 33 об.

⁹ Там же, л. 34.

довал с ее старинными приятельницами сестрами М. Н. и А. Н. Нагурскими, выслал М. С. Поповой заметку Н. Беякова из «Волги» и запросил сведения о сохранившихся у нее материалах, уточняющих обстоятельства знакомства с Николаем Гавриловичем врачей — С. М. Попова, Н. М. Никольского и др.¹⁰

С. А. Котельников поместил в астраханской газете «Волга» статью под заглавием «Кому же подарил книгу Н. Г. Чернышевский?». ¹¹

Автором статьи сообщены сведения не только о Семене Моисеевиче, но и о его однофамильце Семене Мартыновиче Попове — торговце железом, жившем на улице Знаменской (ныне Красного Знамени) — «довольно культурном по тем временам, прогрессивно настроенном, но незадачливом коммерсante, владельце небольшого скобяного магазина до 1908 г.».¹² Именно его в 1888 г. и навестил Н. Г. Чернышевский, оставивший в письме к Ольге Сократовне добродушное описание семейного чаепития. Этими розысками начисто отмечены всякие необоснованные предположения о дарственной надписи на книге Вебера.

С. А. Котельников произвел розыски по документам, сохранившимся в Астраханском областном архиве.¹³ Эти розыски подтвердили сведения, полученные им лично от бывшего астраханского юриста А. И. Тамразова и от заслуженного врача РСФСР Эвелины Федоровны Формановой, о деятельности и личности врача бывшей астраханской Лечебницы для проходящих больных Семена Моисеевича Попова — врача-общественника.

Лечебница для проходящих больных находилась на углу улицы бывшей Екатерининской (ныне Советской) и Мало-Демидовской (ныне ул. Мих. Аладьина), на втором этаже, над бывшей аптекой Богопольского, где «вместе с терапевтом С. М. Поповым работал популярный в те годы астраханский хирург Николай Михайлович Никольский».¹⁴

Ссылаясь на книгу К. И. Ерымовского «Чернышевский в Астрахани» (Астрахань, 1964), С. А. Котельников останавливает свое внимание на посещениях доктором Н. М. Никольским больного Чернышевского на его квартире. «Вполне вероятно, — заключает он, — что Николай Гаврилович был и в лечебнице, где могли оказать ему помощь и беседовать с ним врачи».

¹⁰ Письмо С. А. Котельникова от 21 ноября 1964 г.

¹¹ Статья была любезно прислана музею представителем старейшего авторского актива газеты «Волга» Владимиром Сергеевичем Сильваняном при письме от 17 ноября 1964 г.

¹² Эти строки приводятся по рукописи, присланной С. А. Котельниковым, так как в газетной статье отсутствуют.

¹³ Им были просмотрены и изучены «Памятные книжки» за 1911—1915 гг. «Вся Астрахань и весь Астраханский край» (изд. Астраханского губернского статистического комитета).

¹⁴ «Волга», Астрахань, 27 ноября 1964 г.

Н. Г. Чернышевский вел замкнутый образ жизни и старался своим знакомством не набросить «тень» на лиц, желавших его увидеть и навестить. Поэтому очень многое осталось для нас скрытым на страницах астраханской жизни писателя. Сейчас приходится призывать на помощь предположения, не противоречащие исторической действительности.

«Семен Моисеевич, — пишет далее С. А. Котельников, — до 1912 г. работал санитарным врачом на одном из участков управления Каспийско-Волжских рыбных и тюленьих промыслов. Он несомненно располагал материалами о тяжелых санитарно-бытовых условиях труда и жизни промысловых рабочих. Именно этим острым вопросом живо интересовался Н. Г. Чернышевский в последние годы жизни».

Такие воспоминания астраханских старожиллов самым тесным образом примыкают к тем рассказам, которые автору этих строк приходилось слышать от покойного Константина Михайловича Федорова, работавшего у Николая Гавриловича личным секретарем. В годы войны, работая в саратовском Доме-музее, К. М. Федоров писал свои воспоминания о совместном проживании в Астрахани у Н. Г. и О. С. Чернышевских и часто упоминал, как Н. Г. Чернышевского интересовали условия труда рабочих на рыбных промыслах. Из воспоминаний К. М. Федорова и других мы знаем также, что и в Астрахани, и в Саратове писатель любил ходить по городу и навещать жалкие жилища рабочих, ласково обращался с их детьми, защищал сельскохозяйственные стачки, беседовал с крестьянами, приезжавшими в саратовский Окружной суд в связи с аграрными процессами, и т. д.

С. А. Котельников рассказывает со слов старожиллов и о собраниях на квартире у Чернышевских. «Изредка, — сообщает он, — в квартире Чернышевских по приглашению Ольги Сократовны собирались местные врачи, педагоги, газетные работники. На скромных вечерах была атмосфера взаимного уважения, доверия и понимания. И, конечно, не случайно врач-общественник Попов заслужил глубокое уважение великого демократа. Долгое время Семен Моисеевич нес обязанности казначея астраханского общества врачей (при фельдшерской школе), работал школьным врачом в самом демократическом среднем учебном заведении города — бывшем Соболевском училище. Его хорошо знали и в учреждениях общественного обеспечения городской бедноты».¹⁵

По указанию губернатора Вяземского многим лицам, поддерживавшим знакомство с Николаем Гавриловичем, угрожали высылкой из города и требовали прекращения встреч с ним.¹⁶ С большой осторожностью впускала молодежь в дом Ольга Сокра-

¹⁵ Там же.

¹⁶ См.: К. Ерымовский. Чернышевский в Астрахани. Изд. «Волга», Астрахань, 1964, стр. 171.

товна. О собраниях в полном смысле этого слова говорить не приходится. Среди близких ему было немного таких людей, которым он мог бы поверять свои задушевные думы.¹⁷ Полицейский надзор за Чернышевским — сначала гласный, потом негласный — длился до самой его смерти. Посетители обычно приходили по 1—2 человека.

В декабре 1964 г. в переписку между Саратовом и Астраханью о враче С. М. Попове включилась из Ташкента его дочь Мария Семеновна, до которой дошли письма и газетные статьи из Астрахани. Ей же было послано из Дома-музея Н. Г. Чернышевского дружественное письмо, книга о Чернышевском и фото музея.

От Марии Семеновны мы узнали, что у нее хранится еще одна книга — первый том перевода Вебера также с дарственной надписью Н. Г. Чернышевского ее отцу. «Второй том с надписью и третий том без надписи в тяжелые годы войны я продала в Ташкенте в нашу Б-ку им. Навои», — писала она.

В заметке общественника-краеведа С. А. Котельникяна (Котельникова), напечатанной в газете «Волга», «указано все правильно, — пишет Мария Семеновна. — Более подробно, пожалуй, я ничего сообщить не могу, так как это было до моего рождения лет за 18. Если будут у Вас ко мне вопросы, на которые я смогу ответить, напишите мне».¹⁸

Одновременно Мария Семеновна прислала Дому-музею фото титульного листа первого тома Всеобщей истории Вебера с автографом Н. Г. Чернышевского.

В следующем письме Домом-музеем были получены фотокарточки Семена Моисеевича Попова и Марии Семеновны. В ответ на просьбу передать имеющуюся у нее книгу (I том Вебера) в музей она отвечала: «Книга, которая у меня имеется, будет Вам передана в музей после моей смерти, так как сейчас я храню ее как память».¹⁹

Переписка с Марией Семеновной продолжалась, с ее стороны было высказано желание посетить саратовский Дом-музей, но это желание не осуществилось в связи с ее серьезной болезнью.

В конце 1967 г., уже после смерти М. С. Поповой (она скончалась 1 сентября этого года), первый том Вебера с автографом Н. Г. Чернышевского был передан в дар музею и в настоящее время находится в его фондах.

Можно предположить, что обе книги были подарены Н. Г. Чернышевским С. М. Попову не только в знак частого личного общения, но и в знак признательности за лечение. Вспомним, что в то

¹⁷ См. там же, стр. 144.

¹⁸ Письмо от 4 декабря 1964 г. ГДМ Н. Г. Чернышевского, 1964, д. № 9, оп. 1, ед. хр. 689, л. 2.

¹⁹ Письмо от 17 января 1965 г. ГДМ Н. Г. Чернышевского, 1965, д. № 9, оп. 1, ед. хр. 689, л. 1.

время бесплатной медицинской помощи вообще не существовало. Чернышевский же был человеком чрезвычайно щепетильным и считал своим долгом отдарить за оказанную услугу. Не служат ли эти книжные подарки веским доказательством, что Николай Гаврилович действительно лечился у С. М. Попова?

Нельзя отвергать целиком предположения о посещении врачом Поповым Чернышевского или самим Чернышевским врача С. М. Попова. Во-первых из сопоставления дарственных дат можно заключить, что знакомство было не мимолетное и не случайное, что личное общение продолжалось не один год. Мало того: в эмоциональной окраске второго автографа чувствуется нарастающие дружественных чувств Н. Г. Чернышевского к С. М. Попову. Если в 1885 г. он просто дарит ему книгу, то в 1886 г. делает это «в знак глубокого уважения».

Мы не располагаем точными данными, да и странно было бы теперь найти в переписке Чернышевского и в мемуарах современников точные даты, точные имена лиц, связанных с революционным подпольем и составляющих завуалированное окружение сосланного в Астрахань деятеля революционной демократии.

Возможно, что именно С. М. Попова имел в виду Н. Г. Чернышевский, когда писал П. И. Боккову записку, которую должна была передать ему Ольга Сократовна, уезжавшая в Москву: «Собираясь к Вам, Ольга Сократовна пожелала, чтоб я отправился к лучшему из здешних врачей, попросил его исследовать состояние моего здоровья и изложить результаты исследования письменно для Вашего соображения. То, что он сказал мне, совпадало с моими понятиями о состоянии моего здоровья. А для соображения Вам он написал записку, которую Ольга Сократовна передаст Вам.²⁰ Она сильно тревожится моим кашлем. Я не вполне разделяю опасения, какие внушает он ей. Но, разумеется, вовсе непрочь лечиться. И прошу Вас верить, что буду исполнять Ваши предписания» (XV, 670).

Важно отметить, что Н. Г. Чернышевский очень не любил обращаться к докторам, на что жаловалась Ольга Сократовна в письмах к родным. Но содержание записки заставляет предположить, что в 1888 г. исполнение желания Ольги Сократовны совпало с дружественными чувствами самого Н. Г. Чернышевского к «лучшему из здешних врачей». Возможно, что им был именно терапевт Семен Моисеевич, а не хирург Н. М. Никольский.

Датировать знакомство Н. Г. Чернышевского с С. М. Поповым исходя из выходных данных томов Вебера было бы, конечно, неосновательно. Первый том перевода Вебера вышел в декабре 1885 г., второй — в мае 1886 г., третий — в августе 1886 г. Не всегда дарится только что вышедшая книга. Но отправной точкой предположительно может служить первая дата, а в даль-

²⁰ Записка не сохранилась.

нейшем открывается простор соображениям вплоть до отъезда Н. Г. Чернышевского из Астрахани в июне 1889 г. Образ Семена Моисеевича не мог не остаться в памяти Н. Г. Чернышевского и в разлуке с ним. Большой теплотой овеян этот образ в истории астраханского подполья. Хотелось бы знать о нем еще больше.

Надпись на книге вызвала из забвения живой образ человека, о существовании которого лица, изучающие биографию Н. Г. Чернышевского, и не подозревали.

Надпись на книге и ее расшифровка заставляют нас пересмотреть под новым углом зрения некоторые астраханские письма Н. Г. Чернышевского, особенно те из них, где он пишет, что он «житель того самого острова, на котором благодумствовал некогда Робинзон Крузо с своим другом Пятницею». «Я не лишен нежных приятностей дружбы, — читаем мы дальше, — но все здешние друзья мои — Пятницы» (XV, 730). Однако нельзя считать, что только «Пятницы» составляли ближайшее окружение Николая Гавриловича в Астрахани. Это подтверждается и новооткрытыми материалами о С. М. Попове, и некоторыми другими, например воспоминаниями библиотекаря Елизаветы Ивановны Никольской, которая потихоньку от начальства снабжала Чернышевского газетами. Она, по ее словам при личном свидании с автором этих строк, была женой горячего последователя идей Чернышевского, хранившего его нелегальный портрет. Братья А. М. и П. М. Никольские, высланные в Астрахань в конце 1860-х годов, принадлежали к революционной организации, поставившей целью освобождение Н. Г. Чернышевского из Сибири.²¹ В условиях жестокой реакции 1880-х годов традиции «революционеров 61-го года» (В. И. Ленин) продолжали оказывать свое благотворное воздействие на общественную мысль и сознание. Деятельность врача С. М. Попова, открывшаяся даже в скупых отрывках на страницах воспоминаний о нем его земляков, служит доказательством, что Чернышевский был теснее связан с кругом местной демократической интеллигенции, чем до сих пор считалось.

²¹ См.: Э. С. Виленская. Революционное подполье в России. Изд. «Наука», М., 1965, стр. 253—254.

ЖУРНАЛ «СЛОВО» И ЦАРСКИЕ ЖАНДАРМЫ

В январе 1878 г. в Петербурге начал выходить ежемесячный журнал «Слово». Он возник в результате объединения двух изданий — научно-популярного журнала «Знание» и газеты «Молва». При этом издатель «Молвы» А. А. Жемчужников стал издателем нового журнала, а издатели-редакторы «Знания» И. А. Гольдсмит и Д. А. Коропчевский — его редакторами. Финансировал новое издание миллионер-золотопромышленник К. М. Сибиряков, ставший соиздателем журнала.

Исследователи русской журналистики почти единодушно прошли мимо «Слова». Ни в учебниках по истории журналистики второй половины XIX в.,¹ ни в капитальных «Очерках по истории русской журналистики и критики», изданных Ленинградским университетом,² «Слово» даже не упоминается. Единственная работа, посвященная этому журналу (она принадлежит перу В. Е. Евгеньева-Максимова), была опубликована в 1930 г.³

В. Е. Евгеньев-Максимов ставил перед собой задачу проследить так называемую «внешнюю» историю «Слова», под которой он понимал историю взаимоотношений редакции с правительственными органами. Из архива Главного управления по делам печати Евгеньеву-Максимову удалось извлечь интересные документы, воссоздающие картину преследований прогрессивного журнала чиновниками цензурного ведомства.

Было, однако, еще одно ведомство, проявлявшее особый интерес к «Слову». Ведомство это — Третье отделение. Третье отделение подозревало, что редакторы «Слова» связаны с революционным подпольем, что они содействуют выпуску нелегальных изданий и

¹ В. А. Алексеев. История русской журналистики (1860—1880 гг.). Изд. ЛГУ, Л., 1963; Б. И. Есин. Русская журналистика 60—80-х годов XIX века. Изд. МГУ, М., 1963.

² Второй том этого издания, посвященный критике и журналистике второй половины XIX в., вышел в свет в 1965 г.

³ Судьбы журнала «Слово» в связи с революционными выступлениями 70—80-х годов. В кн.: В. Евгеньев-Максимов и Д. Максимов. Из прошлого русской журналистики. Л., 1930, стр. 255—303.

что они печатают в журнале под псевдонимами статьи участников антиправительственных организаций. Подозрения эти не были лишены оснований.

В 1885 г., находясь уже в эмиграции, И. А. Гольдсмит так рассказывал о времени, когда рождался журнал: «Социалисты, считая, что ничего нельзя сделать для народа, не будучи знакомыми с его нуждами и с его жизнью, посвятили себя тогда изучению народа и пропаганде социалистических идей посредством прямого общения с крестьянами и рабочими. Тысячи молодых людей покинули столицы и отправились по деревням, чтобы наблюдать эту незнакомую им жизнь и собрать факты относительно печального и ненормального положения народа». Именно в кругу членов «социалистической партии» редакция «Слова» и решила, свидетельствует Гольдсмит, искать своих будущих авторов. «Среди этой молодежи нетрудно было найти талантливых людей, которые не отказались бы поделиться с публикой своими наблюдениями и исследованиями... Редакция „Слова“ и обратилась к некоторым из пропагандистов, а также и находившихся за границей эмигрантов с предложением о сотрудничестве», — писал он.⁴

Участие в журнале «пропагандистов» и «эмигрантов» отмечает и И. И. Ясинский. Ясинский пришел в «Слово» в феврале 1878 г. обозревателем научного отдела и вскоре стал помощником одного из редакторов — Коропчевского. Ясинский сообщает, что в «Слове» сосуществовали два направления — «народническое» и «строго научное» (к нему он относит себя вместе с Д. А. Коропчевским и Н. И. Зибером). «Вражды между тем и другим течением... — утверждает Ясинский в одном месте, — не было». В другом же отмечает «трения, которые принимали в журнале иногда очень острый характер».⁵ Говоря так, Ясинский имеет в виду разные периоды истории журнала — никакого противоречия между приведенными высказываниями нет. В 1878 и до осени 1879 г. столкновений между литераторами-радикалами (сторонниками «строго научного», по определению Ясинского, направления) и революционно настроенными сотрудниками не было. С осени же 1879 г. между ними развернулась напряженная борьба за ключевые позиции в журнале. И хотя Ясинский не был в курсе всех связей с сотрудничавшими в журнале революционерами (эти связи поддерживали издатель журнала А. А. Жемчужников и один из его редакторов — Гольдсмит), он, разумеется, кое-что знал. В частности, Ясинский назвал одного из представителей «народнического» направления в журнале — Д. А. Клеменца.

⁴ И. А. Гольдсмит. Из прошлого нашей журналистики. «Минувшие годы», 1908, № 12, стр. 93—94.

⁵ И. Ясинский. Роман моей жизни. Книга воспоминаний. ГИЗ, М.—Л., 1926, стр. 131, 150.

В период «хождения в народ» Д. А. Клеменц сотрудничал в журнале «Знание». В «Знание» он присылал свои корреспонденции и из-за границы, куда он уехал в 1875 г.⁶

В январе 1878 г. Клеменц был вызван в Россию в связи с планами освобождения некоторых из осужденных по процессу 193-х.⁷ Оказавшись в Петербурге, он сразу же под псевдонимом «П. Топорнин» начинает сотрудничать в «Слове». В февральской книжке появляется его статья «Университетский вопрос в Германии», в мартовской и апрельской ему принадлежит журнальное обозрение, в майской он печатает «Задачи народной литературы» (под термином «народная литература» в статье понималась научно-популярная литература).

Статьи Клеменца появились в обстановке, когда внимание общества было приковано к делу Веры Засулич. Известно, что 31 марта 1878 г. В. И. Засулич была оправдана судом присяжных и освобождена из-под стражи. Возбужденная толпа молодежи у здания суда встретила ее рукоплесканиями и понесла на руках. Жандармы, для которых оправдательный приговор явился полной неожиданностью, пытались отеснить молодежь и вновь арестовать осужденную. В начавшейся свалке под выстрелы жандармов, стоны и вопли раненых Засулич была увезена друзьями. За короткий срок она переменила несколько «приютов».⁸ По свидетельству Н. К. Буха, первоначально Засулич была укрыта в квартире А. Жемчужникова, которого он называет фактическим редактором «Слова».⁹ В мае 1878 г. Засулич в сопровождении Клеменца выехала за границу. Сотрудничество Клеменца—«Топорнина» в «Слове», таким образом, неожиданно оборвалось.

Причастность редакции «Слова» к укрывательству В. И. Засулич осталась Третьему отделению, по-видимому, неизвестной. Весной 1878 г. «Слово» привлекло внимание этого учреждения по другому поводу. Когда в марте этого года в Петербурге появилась нелегальная газета «Начало», политическая агентура была мобилирована на поиски издателей антиправительственной газеты и подпольной типографии, в которой она печаталась. Было усилено наблюдение за «подозрительными лицами», подслушивались разговоры учащейся молодежи, тщательно фиксировались всякого рода слухи. В агентурном донесении № 457 от 27 апреля 1878 г. отмечалось: «В кругу студентов утверждают, что помещенная в № 1 социалистического журнала „Начало“ статья, озаглавленная „Очерк социалистического движения на Западе“, составлена

⁶ Д. А. Клеменц. Из прошлого. Л., 1925, стр. 132, 158. По ошибке журнал «Знание» Клеменц называет «Словом». Ошибка эта сама по себе показательна и свидетельствует о близости Клеменца к «Слову».

⁷ Ш. М. Левин. Дмитрий Александрович Клеменц. М., 1929, стр. 57—59.

⁸ В. Засулич. Воспоминания. М., 1931, стр. 71.

⁹ Н. К. Бух. Воспоминания. М., 1931, стр. 164.

Софией Гольдсмит и редактирована А. Ольхиным, а также что помещенная в № 2 того же журнала статья, заключающая в себе общий политический обзор и выставляющая в ложном виде политические действия правительства, тоже принадлежат А. Ольхину».¹⁰

Непосредственно «Слово» в донесении, как мы видим, не упомянуто, но самая мысль о близости редакции журнала к подпольному изданию проведена довольно последовательно: Софья Гольдсмит — жена одного из редакторов «Слова», А. А. Ольхин — его сотрудник (в февральской книжке «Слова» было напечатано его стихотворение «Бежали в страхе вы...»); уже после получения Третьим отделением приведенного донесения в майском номере «Слова» появилось стихотворение Ольхина «Нашим поэтам»).

Как известно, установить издателей «Начала», обнаружить подпольную типографию, в которой эта газета печаталась, Третьему отделению не удалось. Но редакция «Слова» с тех пор оказалась в сфере пристального внимания этого учреждения.

4 августа 1878 г. в Петербурге на улице среди бела дня был заколот шеф жандармов Н. В. Мезенцев. «Злоумышленник» (им был выдающийся деятель революционного подполья — С. М. Кравчинский) благополучно скрылся. А некоторое время спустя в столице появилось новое революционное издание, сменившее «Начало», — журнал «Земля и воля». В первом номере журнала значительное место занимали материалы, связанные с убийством Мезенцева; специально этому событию было посвящено стихотворение «У гроба».

Осенью 1878 г. тайные агенты буквально выются вокруг редакции «Слова». 9 октября поступает первое агентурное донесение: «Имеются сведения, будто бы редакция журнала „Слово“ по почину Гольдсмитов производит в кругу своих знакомых и в кругу учащейся молодежи негласный денежный сбор... на вспомоществование политических преступников и на поддержание революционной пропаганды».¹¹ Через четыре дня, 13 октября, эти сведения уточняются: «Сбор был начат по почину супругов Гольдсмит, Коропчевского и Жуковского (тоже входящих в состав редакции «Слова»), которые собирали деньги преимущественно между литераторами и присяжными поверенными... Когда студенты, выписывающие „Слово“, большей частью в рассрочку, являлись в контору редакции, то конторщик Долганов прямо просил пожертвовать и, отмечая пожертвования на особом листе, говорил, что он отмечает для вида под предлогом подписки на новое издание сочинений Писарева».¹² Всего, по агентурным данным, редакцией «Слова» было собрано более тысячи рублей.

¹⁰ ЦГАОР, ф. 109 — Третьего отделения, секретный архив, оп. 1, ед. хр. 748, л. 1.

¹¹ Там же, л. 3.

¹² Там же, лл. 6—7.

В середине октября 1878 г. было перлюстрировано письмо из-за границы на имя И. А. Гольдсмита для передачи жене. Хотя неизвестная корреспондентка сурово осуждала террор и считала необходимым добиваться конституции мирным путем, текст письма был доложен царю. В составленной Третьим отделением справке говорилось: «По частным сведениям, супруги Гольдсмит подозреваются в том, что они будто бы содействуют тайному печатанию революционных брошюр; но последнее сведение до настоящего времени никакими положительными фактами не подтвердилось». 30 октября Александр II на донесении Третьего отделения наложил резолюцию: «Иметь их под наблюдением».¹³

Наблюдение это, считало Третье отделение, должно было помочь раскрыть редакцию подпольного органа — «Земли и воли». 11 ноября поступили первые сведения. В агентурной записке № 1143 говорилось: «Софья Гольдсмит, разговаривая с близкими своими знакомыми, сказала, что в числе главных сотрудников журнала „Земля и воля“ состоят Ольхин, литераторы Сильчевский и Песковский и зять Корниловых, служащий в Сенате Николай Федорович Жохов, которому, по словам Гольдсмит, принадлежат помещенные в вышеупомянутом журнале заметки, касающиеся правительственных распоряжений. Сильчевский, кажется, не находится в настоящее время в Петербурге; судя по некоторым намекам Гольдсмит, можно предполагать, что Сильчевский доставляет свои статьи непосредственно в контору журнала „Слово“». ¹⁴ Нового шефа жандармов А. Р. Дрентельна полученные сведения чрезвычайно обрадовали. На агентурной записке сохранилась его резолюция: «Известие это очень важно. Надо накрыть эту публику, но хорошенько обдумавши план. Надо наблюдать за знакомыми Ольхина и выследить их».

Какой же план, «хорошенько обдумавши» возможные действия, избрал Дрентельн? Секретный сотрудник Третьего отделения должен был сблизиться с неким Велижаровым, который был, по данным этого учреждения, любовником Софьи Гольдсмит, и через него получить необходимые сведения. Через месяц, 13 декабря, этот сотрудник доносил: «Лаборант Технологического института Велижаров, находящийся с женой редактора журнала „Слова“ Софьей Гольдсмит в интимных отношениях, в разговоре с одним лицом агентуры (товарищем Велижарова по Технологическому институту) сообщил, что означенная Гольдсмит высказывала ему, что стихотворение „У гроба“, помещенное в № 1 „Земли и воли“, написано присяжным поверенным Александром Ольхиным. При этом Гольдсмит коснулась таких подробностей, что, кроме этого стихотворения, Ольхин предполагал поместить в том же номере еще и другое, переделанное им из краткостишия под заглавием

¹³ Там же, ед. хр. 819, лл. 4—5.

¹⁴ Там же, ед. хр. 748, л. 8.

„Над родной могилой“, помещенного в журнале „Дело“ за апрель месяц сего года, автором которого он же, Ольхин, и помещение которого в одном и том же номере с стихотворением „У гроба“ имело целью провести параллель между двумя событиями смерти: с одной стороны, заключенной по политическому делу и с другой — генерала Мезенцева, считавшегося как бы виновником этого заключения. Предположение это не осуществилось из опасения, что по этому переделанному стихотворению могли бы догадаться об авторе стихотворения „У гроба“». ¹⁵ 17 декабря от того же агента последовало дополнительное донесение: «Софья Гольдсмит говорила, что в стихотворении этом, кроме переделки заглавия и небольшой его переделки, была вставлена еще одна строфа, в которой было проведено сравнение того впечатления, какое пропагандисты могли чувствовать, с одной стороны, по поводу смерти своей сообщницы и с другой — по поводу смерти генерала Мезенцева». ¹⁶

В отношении Ольхина эта информация вполне соответствовала истине: Ольхин действительно был автором стихотворения «У гроба». Каких-либо других данных через Велижарова Третьему отделению, однако, получить не удалось: «обдуманый» план Дрентельна неожиданно лопнул. Гольдсмит был предупрежден революционерами о наблюдении за ним, бросил все дела по «Слову» и срочно покинул Петербург. Через некоторое время он был арестован в Москве и выслан на север.

Зимой 1879/1880 г. Третье отделение предприняло новую попытку раскрыть связи редакции «Слова» с антиправительственным подпольем.

В июле 1879 г., как известно, состоялся Воронежский съезд «Земли и воли», после которого общество раскололось на две организации — «Народную волю» и «Черный передел». С осени 1879 г. народовольцы предпринимали усиленные попытки вытеснить из «Слова» Коропчевского и его сторонников, стремясь захватить журнал в свои руки.

Особые заслуги в борьбе за «Слово» принадлежат А. И. Иванчину-Писареву. Друг Клеменца и Кравчинского, участник «хождения в народ» и один из организаторов знаменитых саратовских поселений, Иванчин-Писарев сразу после образования «Народной воли» вошел в ее ряды. Он активно сотрудничал в подпольном журнале «Народная воля», а с лета 1880 г., по решению Исполнительного комитета, стал одним из редакторов нелегального революционного органа.

В то же время он взял на себя, пишет В. Н. Фигнер, — «под псевдонимом Зыбина работу „заводить и поддерживать связи в обществе“, как мы тогда говорили о создании вокруг организа-

¹⁵ Там же, лл. 11 и 18.

¹⁶ Там же, л. 14.

ции сочувственного окружения». ¹⁷ Иванчин-Писарев, в частности, вошел в «Слово» и, по его собственным словам, в 1880 г. под именем Николая Александровича Зыбина стал членом редакции этого журнала. ¹⁸

В «Слове» в это время сотрудничали народовольцы Н. И. Кибальчич, П. Ф. Якубович, близко стоявший к революционным кругам и участвовавший в нелегальных изданиях С. Н. Кривенко, политический эмигрант Н. П. Цакни, революционный публицист В. В. Берви-Флеровский и др.

В декабре 1879 г. редакции «Слова» за статьи «Диалектика в ее применении к науке» и «Задача западноевропейской цивилизации и современная Франция» в ноябрьской книжке журнала было объявлено предостережение. Декабрьская книжка сразу привлекла внимание Третьего отделения. В одном из документов обращалось внимание на «двусмысленную краткость» примечания к сообщениям о покушении 19 ноября 1879 г. на Александра II. Редакция «ограничилась только перепечаткою трех телеграмм, не сопроводив их хотя бы краткими комментариями, поясняющими взгляд редакции на это грустное и зверское по замыслу и целям событие», а только заметила в примечании к последней телеграмме, что «читателям уже известно то радостное чувство, с каким было встречено столичным населением известие об избавлении государя императора от угрожавшей ему опасности». Третье отделение увидело в этом признак того, что «партия, выразителем мнения которой служит „Слово“, в последнее время окрепла и приобрела большую смелость». ¹⁹

В агентурном донесении № 2158 от 13 декабря отмечалось, что напечатанное в той же декабрьской книжке стихотворение «Последняя воля» «в кругу учащейся молодежи распространяется в большом количестве экземпляров». Молодежь восприняла стихотворение, говорится в донесении, как прощание с товарищем, идущим на казнь. ²⁰

Еще в начале декабря в Третьем отделении был составлен список «членов-сотрудников» редакции журнала «Слово». В него вошли Д. А. Коропчевский, А. А. Жемчужников, В. И. Жуковский, В. Н. Майнов, Д. Л. Михаловский, Б. П. Онгирский (Ленский), В. В. Чуйко и Э. А. Фирстендих. ²¹ Некоторое время спустя появилась «Записка о сотрудниках журнала „Слово“». В «Записке» (она датирована 24 декабря 1879 г.) говорилось: «На осно-

¹⁷ В. Н. Фигнер. По поводу исследовательской работы Д. Кузьмина «Народовольческая журналистика». В кн.: Д. Кузьмин. Народовольческая журналистика. М., 1930, стр. 259.

¹⁸ Автобиография А. И. Иванчина-Писарева. В ст.: С. Мстиславский. Памяти А. И. Иванчина-Писарева. «Скифы», 1917, кн. 1, стр. 249.

¹⁹ ЦГАОР, ф. 109 — Третьего отделения, секретный архив, оп. 1, ед. хр. 2219, лл. 1—2.

²⁰ Там же, л. 3.

²¹ Там же, л. 4.

вании существующего второй уже год в среде учащейся молодежи упорного слуха, а также на основании прямых указаний от лиц, имеющих непосредственные отношения с редакцией журнала „Слово“, было уже сообщено относительно предполагаемых сношений помянутой редакции с тайной типографией». Из числа «лиц, состоящих сотрудниками „Слова“ и известных по своей неблагонадежности», по утверждению автора «Записки», особенного внимания заслуживают Фирстендих и Лангауз. «Оба они, не состоя литературными сотрудниками „Слова“, посещают контору, причем Фирстендих, выдавая себя за присяжного поверенного, вовсе не занимается адвокатурою, за исключением приводимых им в порядок денежных дел сосланных (высланы, кажется, из Москвы) Гольдсмитов... Точно так же Лангауз вовсе не занимается литературою, находится в тесных сношениях с редакцией „Слова“, причем замечено, что он имеет контору, часто приезжает в Петербург для свиданий с Жемчужниковым и Коропчевским, причем время его приезда совпадает, как это было замечено, с появлением в Петербурге революционных изданий. По сведениям, полученным от знакомых сообщаемого в Москве, Лангауз и там в местном обществе возбуждает подозрение своей деятельностью. Сообщающий надеется иметь дальнейшие из Москвы сведения в конце этого месяца».²²

«По полученным ныне, — говорилось в другом документе Третьего отделения, — от другого лица, известного агентуре и имеющего непосредственное знакомство как с редакцией „Слова“, так и с Лангаузом, сведениям он, Лангауз, в кругу московской интеллигенции слывет за радикала, имеющего знакомство с революционерами».²³

В начале января 1880 г. было решено произвести обыски у Коропчевского, Онгирского и Фирстендиха в Петербурге и у Лангауза в Москве. У Коропчевского, Онгирского и Лангауза ничего «противузаконного и предосудительного» найдено не было, Фирстендиха же вообще по имевшемуся в Третьем отделении адресу не нашли.²⁴ Тогда Третье отделение учредило надзор за издателями «Слова» К. Сибиряковым и А. Жемчужниковым. В конце апреля 1880 г. последовали распоряжения Петербургскому градоначальнику о надзоре за Жемчужниковым и Самарскому губернатору — за Сибиряковым.²⁵ Как видно из их ответов (соответственно от 8 и 12 мая), ничего интересующего Третье отделение они сообщить ему не смогли.²⁶

²² Там же, лл. 9—10.

²³ Там же, 3-я экспедиция, оп. 164, ед. хр. 777, л. 14.

²⁴ Там же, лл. 14—19.

²⁵ Там же, оп. 165, ед. хр. 460, лл. 6 и 9.

²⁶ Там же, лл. 15 и 17. Следует иметь в виду, что К. М. Сибиряков был настроен весьма оппозиционно и материально поддерживал революционеров. См. свидетельство Д. И. и М. И. Ульяновых в кн.: Воспоминания о В. И. Ленине, т. I. Госполитиздат, М., 1956, стр. 52—53.

В августе 1880 г. Третье отделение, как известно, было ликвидировано. Все попытки этого учреждения на протяжении двух с половиной лет раскрыть связи редакции «Слова» с революционным подпольем не привели, таким образом, к каким-либо существенным результатам.

Лишь источники совершенно другого происхождения позволяют сейчас раскрыть сотрудничество в «Слове» «нелегальных» литераторов из числа землевольцев и народовольцев. Рассмотрение этих источников — предмет особого сообщения.

ИЗ ИСТОРИИ БОРЬБЫ
ЗА НАСЛЕДИЕ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО
(1878—1881)

Революционная ситуация 1879—1881 гг. внесла оживление в литературную жизнь страны. Героическая борьба революционного подполья вызывала восхищение у передовой части русского общества. Преследования мирных пропагандистов, отправившихся в села и деревни, а затем аресты и судебные процессы над инакомыслящими, кончающиеся ссылкой на каторгу или административным наказанием, подтверждали невозможность легальных форм деятельности в народных интересах. Революционеры перешли к строго законспирированной организации. На очередь дня встала задача завоевания политической свободы. Решительному осуждению подверглась деятельность таких карательных органов, как III Отделение, Министерство внутренних дел, Правительствующий Сенат, судебные учреждения и прокуратура. Это были органы, призванные охранять царский антинародный режим, задушить всякие проявления свободной мысли. Участвовавшие в конце 70-х годов акты мести революционеров шпионам, отдельным царским сановникам, вооруженные сопротивления при арестах, а затем серия покушений на Александра II явились фактами политической борьбы против беззакония и произвола царизма.

Изолированный царизмом от общественной жизни, Чернышевский продолжал быть в центре острой идеологической борьбы 70-х годов. Революционная молодежь этого времени хранила его традиции. Его имя вновь прозвучало на всю страну после первой в России политической демонстрации на Казанской площади 6 декабря 1876 г. Выступивший на ней с речью Г. В. Плеханов выразил любовь и уважение к вилюйскому узнику. Красный флаг демонстрантов с надписью «Земля и воля» подтверждал преемственность революционных поколений 60-х и 70-х годов.

Новая серия трудов Чернышевского, изданная во второй половине 70-х годов за границей русскими политическими эмигрантами,¹ вооружала молодежь

¹ «Суд над Чернышевским» и «Что делать?». Второе издание Мих. Эллидина, Женева, 1876; «Пролог», Изд. «Впе-

передовой для того времени теорией. Так, например, были очень актуальными предупреждения автора в романе «Пролог» об опасности противопоставления программы «социальной революции» программе и тактике политической борьбы с самодержавием, которое наблюдалось у русской молодежи начала 70-х годов, находившейся под влиянием анархистско-бунтарских установок Бакунина.

Политические процессы 193-х и 50-ти (1877—1878) свидетельствовали о большой популярности и действенности трудов Чернышевского среди революционных народников. В этих условиях реакционная пресса предприняла яростные попытки нейтрализовать воздействие идей Чернышевского, опорочить революционное наследие шестидесятников и передовую современную журналистику. Застрельщиком этого похода явился профессор гражданского права Новороссийского университета П. П. Цитович.

История появления клеветнических брошюр П. П. Цитовича была широко известна в передовых кругах русского общества. Свое первое выступление Цитович направил в 1877 г. против докторской диссертации А. С. Посникова «Общинное землевладение» (2-й вып., 1875—1877). Почти одновременно с критикой труда А. И. Васильчикова «Землевладение и земледелие в России и других европейских государствах» (тт. 1, 2, 1876) выступили реакционные профессора Московского университета В. И. Герье и Б. Н. Чичерин. Это был поход людей, запугивавших русское общество «красным призраком» социализма.

Передовая журналистика не осталась в стороне от этой борьбы. Н. М. Михайловский выступил в журнале «Отечественные записки»² с резкой критикой Цитовича, Чичерина и Герье, справедливо считая, что за академическими спорами скрывается вопрос практический, что речь идет о ближайшем будущем нашей родины.

В 1878—1879 гг. проф. Цитович выпускает в Одессе ряд пасквильных брошюр, направленных против передовой русской журналистики, материалистической эстетики, романа Н. Г. Чернышевского «Что делать?» и русского революционного движения.³ При этом он нарушил неписаное правило не нападать на тех, кто не имеет возможности отвечать или за кого нельзя было открыто заступиться в печати: он открыто напал на произведения

ред», Лондон, 1877; «Июльская монархия». Изд. А. Трусова, Женева, 1876; «Община и государство. Две статьи». Изд. «Набат», 1877; «Об общинном владении земель», 2-е изд., 1879; «Научились ли?». Изд. М. Эллидина, Женева, 1879.

² Н. М. Письма к ученым людям. «Отечественные записки», 1878, №№ 6, 7. В то же лето брошюра Герье и Чичерина «Русский дилетантизм и общинное землевладение» встретила решительный протест со стороны А. Ф. Головачева (см.: А. Головачев. Ученое невежество. «Слово», 1879, № 7).

³ Ответ на письма к ученым людям П. Цитовича; П. Цитович. 1) Что делали в романе «Что делать?»; 2) Хрестоматия «Нового слова», «Разрушение эстетики; Кружковщина». Рассказы А. Незлобина (Дьякова). Со статьей автора «Нигилизм и литературное развитие». Изд. П. Цитовича, Одесса, 1879.

Н. Г. Чернышевского, Н. А. Добролюбова, Д. И. Писарева. Даже А. С. Суворин, не отличавшийся доброжелательностью к Чернышевскому, вынужден был добродушно пожурить Цитовича за нарушение правил полемики и отметить «неостроумную сторону разбора романа „Что делать?“» Цитовичем, когда последний подводил поступки главных действующих лиц романа Чернышевского под разные статьи Уложения об уголовных наказаниях.⁴ Естественно поэтому, что в ходе борьбы оппоненты Цитовича, не имея возможности защищать в печати Чернышевского и его роман, сосредоточили внимание на опровержении клеветнических обвинений по адресу передовой журналистики, содержащихся в «Ответе на письма к ученым людям П. Цитовича».⁵

В революционных кругах сложилось впечатление, что Цитович официально признается выразителем правительственных взглядов, так как цензура вырезала из ноябрьской книжки «Отечественных записок» статью Н. Михайловского «Ответ Цитовичу».⁶ Показательно и то, что Цитовича поддерживали «Русский вестник» и «Московские ведомости».

Решительную отповедь Цитовичу дала передовая русская молодежь. Осенью 1878 г. студенты Новороссийского, Петербургского, Московского, Киевского университетов, Медицинской академии, Института инженеров путей сообщения, Петербургских Бестужевских женских курсов и других учебных заведений направили Цитовичу протест.⁷ Тексты протеста одесских и московских студентов были опубликованы в нелегальном социально-революционном обозрении «Земля и воля».⁸

«Ваша брошюра недостойна честного человека вообще, а профессора в особенности, — заявили Цитовичу одесские студенты. —

⁴ Незнакомец. Недельные очерки и картинки. «Новое время», 1879, № 1089, стр. 3.

⁵ С критикой брошюры Цитовича выступили два журнала: «Вестник Европы» (1878, № 12) и «Слово» (1878, № 12). И. И. Сведенцов подготовил статью «Одесский профессор, сделавшийся шулером» для брошюры в изд. Н. Я. Николадзе, не вышедшей в свет, и напечатал корреспонденцию из Одессы в тифлисской газете «Обзор» (1878, № 282) «Проф. Цитович в ярости сам себя побивающий» (См. сб.: Письма русских литературно-общественных деятелей к Н. Я. Николадзе, Тбилиси, 1949, стр. 125, 82—83).

⁶ «Земля и воля», 1878, № 2.

⁷ О ходе сбора подписей под протестом Цитовичу мы можем судить по переписке студентов, сохранившейся в Историческом архиве Октябрьской революции. Например, протест в адрес Цитовича был одобрен на сходке студентов Петербургского университета; под протестом подписалось 800 человек. Михайловский, Полетика, Гейдебуров, Шишков и Станюкович обещали свое содействие в опубликовании протеста (см. письмо с подписью «А. К.» к студенту Киевского университета М. С. Кранцфельду от 7 ноября 1878 г. ЦГАОР, ф. 109, оп. 1, ед. хр. 1561, л. 1. См. также: ЦГАОР, ф. 109, оп. 214, ед. хр. 456, лл. 1 и 2; ед. хр. 456, л. 1; оп. 1, ед. хр. 1213, л. 1; ед. хр. 1269, л. 1; ед. хр. 1560, лл. 1—9).

⁸ «Земля и воля», 1878, 15 декабря, № 2. См. сборник «Революционная журналистика семидесятых годов» (1906, стр. 131—133).

Вы затронули в ней такие вопросы, свободное обсуждение которых невозможно в печати по условиям цензуры и, таким образом, нападая из-за спины полиции, вы нарушили основное правило честной борьбы: бороться равным оружием... Вы приписываете самой жизни, самой литературе — связанной по рукам и по ногам — намеренно безнравственные цели, запачкали грязью тех людей, которые заплатили жизнью и свободой за свои убеждения, которые всю душу положили на борьбу со злом и невежеством, царящим и теперь в русской жизни, — тех людей, которых молодое поколение не перестает уважать, несмотря ни на какие инсинуации профессоров одного с вами лагеря».

Московские студенты в своем протесте открыто назвали брошюры Цитовича доносами, они более определенно заявили о своей приверженности к Чернышевскому, обвиняя Цитовича в том, что он «топчет в грязи столь дорогие нам имена: Добролюбова, Писарева, Чернышевского, Некрасова и других, оскверняет своими нечистыми устами лучшие мысли и чувства молодежи».

Полемика вокруг пасквильных статей и брошюр Цитовича, проходившая в 1878—1879 гг. и оставившая след в журналистике вплоть до 1881 г.,⁹ свидетельствовала о напряженной политической борьбе передовых сил русского общества с реакцией.

После громких политических процессов 1877—1878 гг., окончательно скомпрометировавших русское законодательство, после клеветнических выступлений Цитовича должность профессора гражданского права стала нарицательной. Тень профессора полицейского права Цитовича незримо присутствует в ряде произведений, появившихся в период революционной ситуации. Она встает рядом с видными специалистами юриспруденции — Павлом Левицким и Алексеем Яковлевым (роман С. Смирновой «У пристани»), профессором по полицейскому праву (!), Голопяткиным (N. W. «Горениус») и тем безымянным профессором — светилом юридической науки, который «тюрьмы-то самого новейшего покровя проповедует» (П. Засодимский «Три дороги»).

⁹ П. Засодимский в статье «Наши охранители» («Слово», 1881, февраль, стр. 53—70) рассказал о дальнейшей судьбе Цитовича, о его неудачной попытке издавать оппозиционную газету «Берег», финансировавшуюся государственной полицией. Популярность Цитовича как реакционера-охранителя оттолкнула от него читателей. «Берег» просуществовал лишь 10 месяцев. Бывший сотрудник и друг Цитовича по газете, реакционный беллетрист А. Дьяков в «Новом времени» разоблачил проделки своего благодетеля, который бежал за границу и присвоил редакционные деньги. «Охранители, готовые продать общественные интересы за более или менее крупную сумму, находятся и ныне, — пишет П. Златовратский. — Вместо Рунича и Магницкого могут выступить гг. Цитовичи, Дьяковы, Спигаковы, Катковы и К⁰ (большая компания!)». 18 февраля 1881 г. «брошюрку Цитовича, где на Чернышевского свалена была вся грязь, наполнявшая мысли и все существо самого автора», с чувством негодования упоминает А. Н. Пыпин в своем ходатайстве о смягчении участи Чернышевского (Ю. М. Стеклов. Записка А. Н. Пыпина по делу Н. Г. Чернышевского. «Красный архив», 1927, т. 3 (22), стр. 216).

Роман С. Смирновой «У пристани»¹⁰ создавался в атмосфере общественного подъема конца 70-х годов. В центре произведения стоят судьбы людей, посвятивших свою жизнь двум противоположным целям: и усовершенствованию карательных действий государственного аппарата, и борьбе против всяких насилий и притеснений. Преуспевающий сановник Министерства юстиции Павел Левицкий и редактор официозной газеты Алексей Яковлев поставлены в романе лицом к лицу с руководителем революционного подполья Платоном Козловым и его товарищами. Историческая правота — за революционерами. К этому выводу пришла героиня романа Нина Огнева. Отказ от привилегированного положения в обществе, уход в революционное подполье — закономерный итог жизненных испытаний, выпавших в романе на долю Нины Огневой.

По цензурным соображениям С. Смирнова не могла в полный голос рассказать о революционере Козлове, но и того, что есть в романе, достаточно, чтобы иметь о нем представление. «Высокий, узкий в плечах», «состоящий из одних углов», худощавый, но с железным здоровьем человек, грубоватый, лаконичный в разговоре, не терпящий сентиментальности — таким представлен Козлов читателям. В Козлове Нину Огневую поражала его умеренность и простота в привычках, доведенная до последних границ, почти до фанатизма. Он не курил, не пил вина и не ел мяса, ходил зиму и летом в одних и тех же холодных сапогах и в той же холодной фуражке с козырьком. Герой Смирновой отличался также непримиримой ненавистью ко всему, что носило на себе печать довольства. Как видно, все это знакомые со времен Чернышевского приметы «особенного» человека.

Козлов писал статьи «о народном кредите, о фабричном производстве... вообще, по внутренним вопросам».¹¹ Его резкий конфликт с Яковлевым произошел из-за статьи, в которой Козлов доказывал ненужность тюрем. Он заявлял, что надо стремиться к такому порядку, при котором преступления сделались бы невозможными. По бурной реакции Левицкого на слова Козлова можно судить определенно о выборе того пути, при помощи которого Козлов предлагал построить общество, свободное от преступников: «Его философия, кажется, главным образом, в том и состоит, чтобы все разрубить топором».¹² Вполне понятна ненависть Яковлева и Левицкого к революционной программе «топора», предлагаемой Козловым. Разумеется, статья последнего в газете не появилась.

¹⁰ С. Смирнова. У пристани. Роман в 3 частях. «Отечественные записки», 1879, октябрь, стр. 245—348; ноябрь, стр. 5—108; декабрь, стр. 287—372.

¹¹ Там же, октябрь, стр. 296—297.

¹² Там же, стр. 301.

Политическое лицо Яковлева не составляет особой тайны. Друзья Козлова, находящиеся на нелегальном положении, избегают встреч с ним.¹³ Его карьера в качестве редактора газеты напоминает неудачу Цитовича в издании газеты «Берег». Яковлев, прославляя тюремный режим в стране, не смог удержать за собой подписчиков. Вместе с Левицким он, признанный специалист по тюремным вопросам, участвует в работе высокой законодательной комиссии, председателем которой состоял Дроздов, известный тем, что на последнем политическом процессе «для всех двадцати подсудимых в сложности требовал трехсот пятнадцати лет каторжной работы».¹⁴

Яковлев быстро приспособился к этому миру карьеристов. Даже после политического и финансового банкротства, сопровождавшегося прекращением издания газеты, Яковлев сумел при помощи любовницы и старых связей совершить такую головокружительную карьеру в высших сферах законодательной политики, что вызвал зависть министерского сановника Левицкого. Правда, нет с ним Нины, она «пропала без вести». На самом деле Нина отдалась революционной работе. Позднее выяснилось, что она была «замешана по одному делу» и арестована. Яковлев берет Нину из тюрьмы на поруки, но законная жена не может жить у него. Дом Яковлева для нее — «та же тюрьма!... Это хуже тюрьмы!». Видимо, к этому же выводу позже пришел и сам Яковлев. Он отказался от всего и отравился.

Будущее не за Яковлевыми, а за революционером Козловым, за «государственной преступницей» Ниной Огневой, выдержавшей порывы сильных «русских ветров», не потерявшей в условиях жандармских преследований и тюремных испытаний веру в светлое будущее.

Если в романе С. Смирновой основное внимание сосредоточено на моральном осуждении бесперспективной деятельности людей, поддерживающих и разрабатывающих идеологические основы карательной политики царизма, то в рассказе «Горениус»¹⁵ центр тяжести перенесен на разоблачение самой теории и практики полицейского права. Горениус — бывший политический заключенный, «государственный преступник», просидевший в тюрьме два года. Будучи кандидатом физико-математических наук, он после отбытия наказания становится студентом N-ского университета, чтобы прослушать лекции профессора Голопяткина по полицейскому праву.

Рассказ «Горениус» посвящен разоблачению главных предпосылок и выводов Голопяткина, лежащих в основе жандармско-полицейского сыска всей царской России. Прослушав вступитель-

¹³ Там же, декабрь, стр. 317.

¹⁴ Там же, стр. 352.

¹⁵ N. W. Горениус (Зимняя сказка). «Слово», 1881, январь, стр. 77—128.

ный цикл лекций и изучив ряд книг, рекомендованных лектором, Горениус вступает с ним в теоретический спор. Бывший политический заключенный, жертва полицейского произвола, опровергает всю официальную науку полицейского права. В своих возражениях профессору Горениус поставил ряд острых идеологических проблем: о роли личности в обществе, об определении целей и путей деятельности личности в связи с общественно-политической ситуацией в стране, о познаваемости общественных явлений, о сознательности и стихийности в историческом процессе, о революционных путях содействия общественному прогрессу, о действительном понятии закона и права, опошленном и искаженном в практике официального правосудия. В первую очередь Горениус требует от профессора точного определения места личности в обществе. Полезная или преступная деятельность человека должны определяться в связи с общественной обстановкой в стране. Горениус считает, что профессор ошибается, настаивая на том, что «отдельная личность обладает только известным количеством рабочих сил, которых нельзя приравнять к сумме сил миллионов личностей». Такому схоластическому подходу к определению общественной значимости личности Горениус противопоставляет тезис о взаимосвязи личности и общественной среды.¹⁶

Горениус отвергает представление о стихийности и несознательности поступков людей, выступающих за переустройство общества, восстанавливает право личности сознательно влиять на общественный прогресс. В теории Горениуса, однако, нет субъективистского преувеличения роли «критически мыслящей личности», популярной в начале 70-х годов. Признавая объективную неизбежность революции, он относит личности значительную роль только во времена наступления революционной ситуации в стране, других условий для слишком заметного влияния личности на общество он не знает. Очевидно, им учтен неудачный опыт «хождения в народ» и бесплодность попыток бакунистов поднять без всякой подготовки бунт крестьян. Во всяком случае Горениус предлагает гибкую, материалистически обоснованную мотивировку выбора программы, методов и путей революционной деятельности в зависимости от конкретной общественной обстановки, отвергая тем самым субъективный метод в этой области. «Лишь материальное разъяснение этой стороны вопроса, — уточняет Горениус, — даст ясное указание на пути для деятельности личной, выяснит, куда личностям полезнее всего направлять свои силы и какие избрать поприща».¹⁷

Таким образом, при определении полезности или преступности деятельности людей необходимо в первую очередь хорошо разобратся в общественной обстановке. Поэтому Горениус требует от профессора «уменья и старанья изложить способы и методы,

¹⁶ Там же, стр. 118.

¹⁷ Там же.

при помощи которых можно было бы различить, находится ли общество в неустойчивом или в устойчивом равновесии».¹⁸

Но можно ли познать законы общественной жизни? Голопяткин был убежден, что люди живут, не ведая, что творят. Горениус — решительный противник агностицизма Голопяткина. «Ни в одной области не познано столько единообразий и последовательностей, сколько их познано в сфере общественной жизни», — заявляет он. Восхищаясь материалистами в области естественных наук, которые дерзко стараются докопаться до тайн передачи внешнего раздражения от мозга к мозгу, студент призывает с таким же самоотвержением познавать тайны общественной жизни людей.

Горениус говорит о бесконечных социальных междоусобицах, об острой классовой борьбе в обществе, конца которой не видно. Народ страдает от наглости и произвола государственных учреждений, игнорирующих закон, жестоких угнетателей, попирающих достоинство и свободу человека. Сама жизнь опровергает фаталистическую философию профессора полицейского права, отвергающего возможность революционного вмешательства в ход общественных событий. «Если бы всякий мог успокоиться на идее провиденциальной необходимости, то кто пожелал бы держать высоко свое знамя?», — восклицает Горениус.¹⁹

Фатализм профессора Голопяткина оправдывает общественный застой, полицейские преследования передовых людей в стране. В предсмертном бреду Горениус проклинает *alma mater* — университет, который «точит ножи» против разума, теоретически оправдывая полицейские преследования.²⁰ Трагическая судьба «государственного преступника» Горениуса, которому душно в *alma mater* — царской России — была поведена читателям за два месяца до покушения народовольцев на Александра II. Поистине нужно поражаться политической смелости автора и издателей журнала «Слово», прославивших революционера, вышедшего из тюрьмы и разоблачившего беззаконие и произвол карательных органов царской России.

Произведение автора, скрывающегося под псевдонимом N. W., по своему идейно-художественному содержанию относится к школе Н. Г. Чернышевского.²¹ Здесь мы встречаемся с характерным для

¹⁸ Там же, стр. 121.

¹⁹ Там же, стр. 119.

²⁰ Там же, стр. 128.

²¹ И. Ф. Масанов в «Словаре псевдонимов русских писателей, ученых и общественных деятелей» (М., 1956—1960) приписывает псевдоним и авторство рассказа «Горениус» Никандру Васильевичу Молчановскому, ссылаясь на то, что в «Новом энциклопедическом словаре» изд. Ф. А. Брокгауза и И. А. Эфрона (т. XXVIII, 7) «Горениус» указан как псевдоним Молчановского (И. Масанов, указ. изд., т. III, стр. 325). На наш взгляд, отождествление названия рассказа с псевдонимом предполагаемого автора — не лучший

Чернышевского (вплоть до 80-х годов) философским комплексом: материалистическое решение вопроса о взаимосвязи личности и общественной среды, неотвратимость исторического прогресса и роль революционной ситуации, познаваемость мира, критика агностицизма и субъективизма.

Бросается в глаза общность художественной манеры рассказа «Горениус» с произведениями Чернышевского (намек и недоговоренность при описании «государственного преступника» — революционера, акцент на странностях героя, объяснение сложных идеологических проблем и проведение рискованных в цензурном отношении политических формулировок через аналогию с законами физики и геометрии, использование отрывков из произведений Шиллера и т. п.).

* * *

Идейно-художественное наследство Н. Г. Чернышевского в период революционной ситуации 1879—1881 гг. обрело новую жизнь. В это героическое время, как известно, возродился в жизни и в литературе рахметовский тип профессионального революционера (Г. В. Плеханов назовет Рахметова «как бы прототипом русского революционера семидесятых годов»²²).

Рассмотренный нами эпизод из истории литературно-общественной борьбы свидетельствует о том, что личность вилюйского узника и его учение стали знаменем борьбы против произвола и беззакония царизма. Чернышевский предвидел это время. Еще в начале 1871 г. он писал Ольге Сократовне из Сибири: «Думая о других, — об этих десятках миллионов нищих, я радуюсь тому, что без моей воли и заслуги придано больше прежнего силы и авторитетности моему голосу, который зазвучит же когда-нибудь в защиту их».²³

способ доказательства. По-видимому, вопрос об авторстве «Горениуса» надо считать открытым.

²² Сб. «Группа „Освобождение труда“», № 1, М., 1923, стр. 73.

²³ Н. Г. Чернышевский, Полное собрание сочинений, т. XIV, Гослитиздат, М., 1949, стр. 504.

КОМЕНДАНТ ПЕТРОПАВЛОВСКОЙ КРЕПОСТИ В РОМАНЕ Л. Н. ТОЛСТОГО «ВОСКРЕСЕНИЕ»

Девятнадцатая глава второй части романа Л. Н. Толстого «Воскресение» относится к числу наиболее публицистически острых, беспощадно разоблачительных. Не случайно эта глава в свое время значительно пострадала от царской цензуры. В ней рассказывается, как Нехлюдов, приехав в Петербург, посетил коменданта Петропавловской крепости, чтобы добиться некоторого облегчения режима для политического заключенного Гуревича.

Глава начинается развернутой характеристикой старого генерала, коменданта Петропавловской крепости:

«Человек, от которого зависело смягчение участи заключенных в Петербурге, был увешанный орденами, которые он не носил, за исключением белого креста в петличке, заслуженный, но выживший из ума, как говорили про него, старый генерал из немецких баронов. Он служил на Кавказе, где он получил этот особенно лестный для него крест за то, что под его предводительством тогда русскими мужиками, обстриженными и одетыми в мундиры и вооруженными ружьями со штыками, было убито более тысячи людей, защищавших свою свободу и свои дома и семьи. Потом он служил в Польше, где тоже заставлял русских крестьян совершать много различных преступлений, за что тоже получил ордена и новые украшения на мундире; потом был еще где-то и теперь, уже расслабленным стариком, получил то дававшее ему хорошее помещение, содержание и почет место, на котором он находился в настоящую минуту. Он строго исполнял предписания свыше и особенно дорожил этим исполнением. Приписывая этим предписаниям свыше особенное значение он считал, что все на свете можно изменить, но только не эти предписания свыше. Обязанность его состояла в том, чтобы содержать в казематах, в одиночных заключениях политических преступников и преступниц и содержать этих людей так, что половина их в продолжение 10 лет гибла, частью сойдя с ума, частью умирая от чахотки и частью убивая себя: кто

голодом, кто стеклом разрезая жилы, кто вешая себя, кто сжигаясь.

Старый генерал знал все это, все это происходило на его глазах, но все такие случаи не трогали его совести, так же как не трогали его совести несчастья, случавшиеся от грозы, наводнений и т. п. Случаи эти происходили вследствие исполнения предписаний свыше, именем государя императора. Предписания же эти должны неизбежно были быть исполнены, и потому было совершенно бесполезно думать о последствиях таких предписаний. Старый генерал и не позволял себе думать о таких делах, считая своим патриотическим, солдатским долгом не думать для того, чтобы не ослабеть в исполнении этих, по его мнению, очень важных своих обязанностей.

Раз в неделю старый генерал по долгу службы обходил все казематы и спрашивал заключенных, не имеют ли они каких-либо просьб. Заключенные обращались к нему с различными просьбами. Он выслушивал их спокойно, непроницаемо, молча и никогда ничего не исполнял, потому что все просьбы были не согласны с законоположениями.¹

Комендант Петропавловской крепости в романе Толстого — лицо эпизодическое. Он появляется только раз в девятнадцатой главе второй части, но этот образ и эпизод безуспешного визита Нехлюдова к коменданту крепости в системе образов и в композиции «Воскресения» занимают определенное место. На первый взгляд создается впечатление, что старый генерал — это одно из гениальных обобщений великого художника, что это собирательный образ, так живо, так наглядно воплотивший тип усердного исполнителя высочайшей воли, одного из оплотов военно-бюрократической государственной системы. Однако, создавая этот обобщенный образ старого генерала, не имеющего в романе конкретных имени и фамилии, Толстой имел в виду совершенно определенного военного деятеля царствований Николая I и Александра II. Это — комендант С.-Петербургской (Петропавловской) крепости, генерал-адъютант барон Егор Иванович Майдель. Его служебная карьера и внешний облик довольно точно отразились в приведенной выше портретной характеристике.

Барон из остзейских немцев Егор Иванович Майдель родился 26 января ст. ст. 1817 г. и, следовательно, был старше Л. Н. Толстого на 11 лет. Осенью 1837 г. был выпущен из Школы гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров в лейб-гвардии Измайловский полк.² В 1842 г. откомандирован на Кавказ в отряд генерал-адъютанта П. Х. Граббе. В этом отряде еще была жива

¹ Л. Н. Толстой, Полное собрание сочинений, т. 32, Гослитиздат, М.—Л., 1933, стр. 265—266.

² В. Потто. Исторический очерк Николаевского кавалерийского училища. СПб., 1873, Приложения, стр. 71.

память о Лермонтове, и впоследствии П. К. Мартьянов записал некоторые рассказы Е. И. Майделя о поэте.³

За участие в делах против горцев Майдель неизменно аттестовался «весьма храбрым и распорядительным офицером». В 1845 г. по собственному желанию Е. И. Майдель переведен майором в Кабардинский егерский полк, с которым принимал участие в экспедициях в Чечне и Дагестане, за что и был произведен в чин подполковника, а затем и полковника, а также награжден различными орденами и медалями. В 1850 г. Майдель назначен командиром Кабардинского полка. В 1851 г. при штурме аула Дахин-Изкау ранен пулей в ногу и вскоре произведен в генерал-майоры и назначен командиром Второй бригады 20-й пехотной дивизии. Л. Н. Толстой в бытность свою на Северном Кавказе мог не только слышать о Майделе, но и встречаться с ним. В те годы Толстой уже мучительно воспринимал бессмысленные жестокости русской военной администрации на Кавказе и не раз обращался к этой теме и в ранних рассказах («Рубка леса», «Набег»). После «Воскресения» этот жизненный материал лег в основу развернутых эпизодов в повести «Хаджи Мурат».

В войну 1853—1856 гг. Майдель находился сначала в Рионском отряде; в 1854 г. за участие в поражении тридцатичетырехтысячной турецкой армии награжден орденом Георгия 4-й степени и вслед за тем, назначенный временным командующим Кавказской резервной гренадерской бригадой, присоединился с нею к главным силам на кавказско-турецкой границе. 17 сентября 1854 г., в день штурма Карса, во главе штурмующей колонны, двинулся на приступ и в самом разгаре боя был ранен и контужен в плечо и в грудь; за этот штурм он получил орден Георгия 3-й степени, этот «особенно лестный для него крест», как говорит Толстой.

По окончании кампании Майдель командовал Второй гвардейской резервной пехотной дивизией, а в августе 1856 г. был назначен командующим резервной дивизией отдельного гренадерского корпуса. В 1859 г. Майдель произведен в генерал-лейтенанты, а в 1876 г. пожалован генерал-адъютантом и затем назначен командантом Петропавловской крепости.

9 марта 1878 г. Л. Н. Толстой был у Е. И. Майделя в Петропавловской крепости, и эта встреча легла в основу XIX главы второй части «Воскресения». Толстой, задумавший писать роман о декабристах, собирал в то время исторические материалы, встречался с уцелевшими еще участниками восстания и специально приехал в Петербург, чтобы побывать в Петропавловской крепости. А. А. Толстая, жившая в Петербурге, в своих «Воспоми-

³ П. К. Мартьянов. Дела и люди века. СПб., 1893, т. 2, стр. 152—154. Сведения о Майделе имеются в различных военных справочных изданиях. См., например: Энциклопедия военных и морских наук, составленная под ред. Леера. СПб., 1891, т. V, стр. 27—28.

нениях» сообщает: «Комендант... принял его очень любезно, показывал, что можно было показать, но никак не мог понять, чего именно он добивается... Л[ев] Н[иколаевич] пресмешно рассказывал нам эту беседу».⁴

Это посещение произвело на Толстого большое впечатление. Между прочим, в письме к бывшему члену Северного и Южного тайного общества П. Н. Свистуну от 14 марта того же года из Ясной Поляны Толстой сообщал: «Я был в Петропавловск[ой] крепости, и там мне рассказывали, что один из преступников бросился в Неву и потом ел стекло. Не могу выразить того странного и сильного чувства, которое я испытал, зная, что это были Вы. Подобное же чувство я испытал там же, когда мне принесли кандалы ручные и ножные 25-го года».⁵

Собирая материалы о декабристах, Толстой должен был знать, что некоторые из них служили рядовыми под начальством Майделя на Кавказе, в частности в Кабардинском полку (например, А. П. Беляев, с которым Толстой был знаком).

Но роман «Декабристы» остался незавершенным,⁶ а встреча с генералом Е. И. Майделем, комендантом Петропавловской крепости, связанная с этим неосуществленным замыслом Толстого, нашла свое отражение в одной из разоблачительных глав романа «Воскресение».

⁴ Переписка Л. Н. Толстого с графиней А. А. Толстой. 1857—1903. Изд. Общества Толстовского музея, СПб., 1911, стр. 19.

⁵ Л. Н. Толстой, Полное собрание сочинений, т. 62, 1953, стр. 395.

⁶ Подробнее об этом замысле см.: Н. Родионов. Работа Л. Н. Толстого над «Декабристами». «Год XVIII». Альманах № 8, Гослитиздат, М., 1935, стр. 89—91; ср.: Л. Н. Толстой. Полное собрание сочинений, т. 17, стр. 469—585.

ЧЕХОВ И НАСЛЕДИЕ ШЕСТИДЕСЯТЫХ ГОДОВ

1

Вопрос о значении наследия 60-х годов для творчества и мировоззрения Чехова уже давно поставлен советской наукой. М. К. Добрынин еще в 1950 г. писал по этому поводу: «Рассматривать Чехова как писателя, идущего от либерализма, а не от демократизма шестидесятых годов — значит совершать огромную ошибку».¹ Однако сделанные М. К. Добрыниным сопоставления и сближения некоторых произведений Чехова с отдельными произведениями 60-х годов устанавливают лишь очень отдаленную между ними связь. Сопоставляя, в частности, чеховских «Мужиков» с повестью Ф. М. Решетникова «Подлиповцы», М. К. Добрынин не учитывает более существенной связи между названной повестью Чехова и известными циклами Н. Е. Петропавловского (Каронина) «Рассказы о парашкинцах» и «Рассказы о пустяках».²

Вопрос об отношении Чехова и его поколения к идейному наследию 60-х годов чрезвычайно труден в силу сложности и противоречивости этого наследия. Нельзя представлять себе 60-е годы как шестые Рахметовых к ясно намеченной цели, как борьбу Рахметовых с отчетливо определившимся врагом. Произведенная в 1861—1863 гг. крестьянская реформа находила самую противоречивую оценку. Не было единства ни во взглядах на народ (у него учиться или его учить?), ни в понимании путей приближения к социализму, ни в отношении к идейным ценностям, накопленным человечеством.

60-е годы были для России эпохой мучительных поисков научного мировоззрения. В свете ленинского учения мы совсем по-другому отнесемся к той идейной борьбе внутри демократической России, которая особенно ярко дала себя знать в полемике между журналами «Современник» и «Русское слово» в течение 1864 и 1865 гг.

¹ М. К. Добрынин. Творчество А. П. Чехова. Автореф. дисс. М., 1950, стр. 10.

² Произведения, входящие в названные циклы, начали печататься в 1879 г. В качестве законченных циклов они появились впервые в 1890 г.

Названная полемика, в которой приняли участие, и притом во враждующих станах, Салтыков и Писарев, явилась прологом длительной борьбы, происходившей в 70-е и 80-е годы (с завершением ее в 90-е годы) вокруг идей народничества. Но не следует забывать и плодотворности этой борьбы: именно из среды народников вышел первый русский марксист Плеханов.

Если сложен самый вопрос о мировоззрении 60-х годов и об отношении к нему последующих поколений, то тем более сложен вопрос об отношении к нему Чехова.

Среда, в которой вырос будущий писатель, была крайне противоречива. В этой среде на равных основаниях возникали условия, благоприятствовавшие симпатиям к идеям и движению 60-х годов и одновременно — совсем не благоприятствовавшие. С подобным противоречивым воздействием среды не может не считаться современный исследователь жизни и творчества Чехова. Противоречивость, заложенная в будущего писателя средой и воспитанием, может быть прослежена не только на отношении Чехова к движению 60-х годов, но и на его мировоззрении в целом.

Каково, в частности, было отношение Чехова к нигилизму? К тому времени уже забылось, что термины «нигилист», «нигилистический» были введены в оборот и употреблялись преимущественно реакционным «Русским вестником» Каткова. Его охотно употребляли в революционных кругах, вкладывая в него иной смысл.³

В письме Чехова к М. О. Меньшикову от 28 января 1900 г. мы находим: «Званию академика рад, так как приятно сознавать, что мне теперь завидует Сигма. Но еще более буду рад, когда утеряю это звание после какого-нибудь недоразумения. А недоразумение произойдет непременно, так как ученые академики очень боятся, что мы будем их шокировать. Толстого выбрали скрепя сердце. Он, по-тамошнему, нигилист. Так по крайней мере назвала его одна дама, действительная тайная советница, — с чем от души его поздравляю».⁴

Приведенный текст, из которого как будто следует, что писатель дает нигилизму положительную оценку, полезно сравнить с письмом юноши Чехова к его двоюродному брату М. М. Чехову от 29 июля 1877 г.: «Саша своего рода хороший человек: не знаю, за что он считает меня нигилистом» (XIII, 26). Это раннее высказывание свидетельствует о том, какие представления были приняты Чехову в его семье и таганрогской гимназии, с какими поня-

³ «Настоящий нигилизм был борьбой за освобождение мысли от уз всякого рода традиций, шедшей рука об руку с борьбой за освобождение трудящихся классов от экономического рабства» (С. Степняк-Кравчинский. Подпольная Россия. Изд. 2. СПб., 1906, стр. 2).

⁴ А. П. Чехов, Полное собрание сочинений и писем, т. XVIII, Гослитиздат, М., 1949, стр. 313—314. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте.

тиями он поступил в Московский университет. Роль последнего в формировании мировоззрения Чехова была огромной, и сказанное по этому вопросу в нашей научной литературе заслуживает полного внимания.

Однако другие высказывания писателя о нигилистах показывают, что отношение у него к ним и в зрелые годы было двойственным или во всяком случае недостаточно определенным. Об этом свидетельствует начало письма к А. С. Суворину от 12 февраля 1900 г.: «Я ломал голову над IV актом и ничего не придумал, кроме того разве, что кончить нигилистами нельзя. Это слишком бурно, крикливо, к вашей же пьесе более идет конец тихий, лирический, трогательный. Когда Ваша героиня состарится, не придя ни к чему и ничего не решив для себя, и увидит, что всеми она покинута, неинтересна, не нужна, когда поймет, что окружающие ее люди были праздные, ненужные, дурные люди (отец — тоже) и что она проморгала жизнь, — разве это не страшнее нигилистов?» (XVIII, 330).

Разумеется, мы должны учитывать, что письмо адресовано Суворину, каким он был в 1900 г. Чехов здесь пишет о нигилистах в изображении реакционера. Но при свойственной ему откровенности Чехов, конечно, мог сказать о нигилистах иначе, если бы его отношение к ним было более определенным. В частности, он мог бы рекомендовать Суворину переработку этих образов.

Можно предполагать, что отношение Чехова к нигилизму имеет непосредственную связь с его отношением к эстетике Писарева. 11 марта 1892 г. он писал Суворину: «Прочел опять критику Писарева на Пушкина. Ужасно наивно. Человек развенчивает Онегина и Татьяну, а Пушкин остается целехонек. Писарев дедушка и папенька всех нынешних критиков, в том числе и Буренина. Та же мелочность в развенчивании, то же холодное и себялюбивое остроумие и та же грубость и неделikatность по отношению к людям. Оскотиниться можно не от идей Писарева, которых нет, а от его грубого тона. Отношение к Татьяне, в частности к ее милому письму, которое я люблю нежно, кажется мне просто омерзительным. Воняет от критики назойливым, придиричьим прокурором. Впрочем, шут с ним» (XV, 341). Это было написано еще до появления в печати печально известных статей А. Волинского (А. Л. Флексера), пересматривавшего все наследие 60-х годов отнюдь не с прогрессивной точки зрения.

Определяя отношение Чехова к движению 60-х годов, мы не должны забывать, что мнение писателя в какой-то мере определялось знакомством с живыми шестидесятниками. Но в 80-е и 90-е годы люди, некогда лично знавшие Чернышевского и Писарева, далеко не всегда оставались на уровне идей замечательного десятилетия.

В связи с первоначальной, позднее существенно измененной, редакцией рассказа «Именины» Чехов писал А. Н. Плещееву

9 октября 1888 г.: «Что же касается человека 60-х годов, то в изображении его я старался быть осторожен и краток, хотя он заслуживает целого очерка. Я щадил его. Это полинявшая недейственная бездарность, узурпирующая 60-е годы... Вы бы послушали, как он во имя 60-х годов, которых не понимает, брюзжит на настоящее, которого не видит; он клеветает на студентов, на гимназисток, на женщин, на писателей и на все современное и в этом видит главную суть человека 60-х годов. Он скучен, как яма, и вреден для тех, кто ему верит, как суслик. Шестидесятые годы — это святое время, и позволять глупым сусликам узурпировать его значит опошлять его» (XIV, 184—185).

Но понравившийся Плещееву и позднее исключенный образ человека 60-х годов в «Именинах» выглядел все же не таким, каким изобразил его сам автор в приведенном письме; в тексте рассказа образ обрисован мягче: «Почему-то он называет себя человеком шестидесятых годов (таких полинявших субъектов, монополизирующих шестидесятые годы, в каждом городе и уезде, имеется по одному)... всегда неизменно говорит он об идеалах, об эмансипации женщин, о прогрессе, о темных силах, о науке... судит о газетах и журналах, издателях и редакторах, одних хваля, других обвиняя в изменничестве, третьих величая подлыми... Не говорит он, в сущности, ничего дурного и, вероятно, всегда искренен, но почему-то всякий раз, едва он откроет рот и своим замогильным тенорком заведет речь об эмансипации или идеалах, как от всей его фигуры начинает веять старым, заброшенным погребом» (VI, 536—537).

Приведенные тексты дают очень много для понимания взглядов Чехова на движение 60-х годов в 1888 г. В представлении писателя шестидесятники в противоположность людям 80-х годов были прежде всего активными деятелями. Их действиям Чехов противопоставляет безжизненную и бесцельную болтовню, которой занимается персонаж рассказа «Именины». Отдельные его высказывания сами по себе, с точки зрения Чехова, правильны. Но, будучи оторваны от жизни, от стремления активно бороться за них, они превращаются в набор фраз, только компрометирующий движение 60-х годов.

Сказанное нами полностью подтверждается несколько более поздними (декабрь 1890 г.) словами писателя в письме к А. С. Суворину: «Милый мой, если бы мне предложили на выбор что-нибудь из двух: „идеалы“ ли знаменитых шестидесятых годов или самую плохую земскую больницу настоящего, то я, не задумываясь, взял бы вторую» (XV, 137—138). Мысль писателя, таким образом, кристально ясна: отдавая должное идеалам 60-х годов, он пока что готов удовлетвориться немногим и использовать успехи медицины (о которых говорится в начале того же письма) даже в «самой плохой», но реальной земской больнице. Иначе говоря: считая идеалы 60-х годов неосуществимыми

в свое время, Чехов разговоры о них не хочет предпочесть любому делу.

Эта же проблематика (слово — дело) положена в основу драмы «Иванов», написанной в 1887 и переработанной в 1889 г. Общественный деятель Иванов в пьесе Чехова противопоставлен говорящему от имени шестидесятников молодому доктору Львову. Драматург ни в какой мере не идеализирует Иванова, показывая его сломленным и бездеятельным. Но в прошлом Иванов делал дело, а Львов занимается только тем, что произносит уже набившие всем оскомину слова о честности. Поэтому Чехов и писал Суворину 30 декабря 1888 г.: «Если публика выйдет из театра с сознанием, что Ивановы — подлецы, а доктора Львовы — великие люди, то мне придется подать в отставку и забросить к черту свое перо. Поправками и вставками ничего не поделаешь» (XIV, 273).

Так обстоит дело с образом доктора Львова, каким он дан в драме и каким противопоставлен главному ее герою. Но в сознании Чехова этот образ был гораздо богаче и отношение к нему не было отрицательным, что видно из того же письма к Суворину: «Львов честен, прям и рубит с плеча, не щадя живота. Если нужно, он бросит под карету бомбу, даст по рылу инспектору, пустит подлеца. Он ни перед чем не остановится. Угрызений совести никогда не чувствует — на то он „честный труженик“, чтоб казнить „темную силу“!⁵ Такие люди нужны и в большинстве симпатичны. Рисовать их в карикатуре, хотя бы в интересах сцены, нечестно, да и не к чему. Правда, карикатура резче и потому понятнее, но лучше не дорисовать, чем замарать...» (XIV, 272).

Слова эти весьма замечательны. Что значит «бросит под карету бомбу»? Здесь, в свете современных Чехову событий 1 марта 1881 г., по существу речь идет о цареубийстве, и поэтому нельзя умалять значения следующей далее оценки потенциального цареубийцы: «такие люди нужны и в большинстве симпатичны». И не следует забывать, кому адресовано цитируемое нами письмо. Очень важно для нас также и то, что в представлении Чехова образ доктора Львова тесно связан с именем сложившегося в 60-е годы писателя-демократа А. К. Шеллера-Михайлова: «Он воспитался на романах Михайлова» (XIV, 271). Таким образом, доктор Львов, несмотря на свою молодость, «шестидесятник» по традициям. Но повторяем: образ Львова в драме «Иванов» и в сознании Чехова — это разные образы.

2

Почему мы придаем такое значение тому обстоятельству, что Чехов считал романы Шеллера-Михайлова способными воспитать

⁵ Слова о «темной силе» следует сравнить с приведенной выше цитатой из первой редакции рассказа «Именины».

поколение цареубийц? Это для нас важно уже по одному тому, что, руководимый таким взглядом на Шеллера, писатель сам обратился позднее к его творчеству.

Александр Шеллер во времена Чехова был одним из наиболее известных и наиболее читаемых русских писателей.⁶ В год смерти Чехова А. Ф. Маркс выпустил уже второе Полное собрание сочинений Шеллера. Правда, критика далеко не восторженно оценивала художественные достоинства произведений писателя. В частности, М. Е. Салтыков отзывался о них довольно сурово.⁷ Оценка великого сатирика, конечно, имеет основания: многие произведения Шеллера-Михайлова не выдерживают сколько-нибудь строгой критики. И даже прославленные в свое время романы «Гнилые болота» и «Жизнь Шупова», которыми в «Современнике» 1864—1865 гг. писатель начал свою литературную деятельность, свидетельствуют о многих слабостях его художественного творчества.

Шеллер, печатавшийся под псевдонимом А. Михайлов, был одним из плодовитейших писателей, положительно изображавших деятелей 60-х годов. Особенное значение он придавал вопросам воспитания «новых людей», освобождения их от норм старой морали, организации демократических кружков, коммун и тому подобному. Однако все это в первых романах Шеллера мирно уживалось с очевидной политической умеренностью. Первым произведением писателя, отразившим изменения в его политических взглядах, был роман «Господа Обносковы» (1868). На него и обратил свое внимание Чехов.

Разгром царским правительством передовой журналистики в 1866 г., арест ряда видных деятелей демократической мысли и другие активные мероприятия в связи с покушением Д. В. Каракозова на жизнь Александра II в Петербурге совпадают с целой цепью далеко идущих замыслов призванного тогда к государственной деятельности графа Д. А. Толстого. Один из виднейших реакционеров в правительстве Александра II, Толстой все свои усилия направил на воспитание молодежи в монархическом духе. Созданная им система классического образования фактически возрождала принцип сословности в средней школе и отдавала гуманитарное образование в руки реакционеров.

Толстой не успел еще развернуть задуманной им реформы «народного» образования, как Шеллер заклеил его деятельность

⁶ Н. А. Рубакин в этюде «Любимые авторы русской читающей публики» приводит следующие данные за 1891—1892 годы. Первое место Шеллер-Михайлов занимал по количеству требований на него в библиотеках Нижнего Новгорода, Саратова и Воронежа. Третье место — в библиотеках Самары и Астрахани (за Толстым и Достоевским). Сведения Рубакиным приводятся по девяти губерниям. (Н. А. Рубакин. Этюды о русской читающей публике. СПб., 1895, стр. 127).

⁷ Н. Щедрин (М. Е. Салтыков), Полное собрание сочинений, т. 8, Гослитиздат, М., 1937, стр. 468.

удивительно своевременно появившимся и ставшим в полном смысле слова злободневным романом о реакционере Обноскове.

Шеллер и раньше не только вырисовывал несколько идеализированных юношей в духе идей 60-х годов, но и разоблачал придворные и аристократические круги, поместное дворянство. Однако никогда еще писатель не был так смел и художественно меток, как в романе «Господа Обносковы». Образ злобно-трусливого филолога-классика Алексея Обноскова на глазах читателя превращался в большое обобщение, в явление политического порядка.

С этим большим романом Шеллера и перекликается созданный в 1898 г. небольшой, но гениальный по выразительности рассказ Чехова «Человек в футляре». К этому времени, за тридцать лет, прошедших после появления романа «Господа Обносковы», размеры и степень реакционности произведенной графом Д. А. Толстым реформы среднего образования определились вполне: Чехов общал то, что предвосхищал писатель-шестидесятник.⁸

Переходим к рассмотрению «Человека в футляре».

В дневнике Чехова за 1896 г. мы находим краткое, но запоминающееся описание публициста и критика газеты «Неделя» М. О. Меньшикова: «Меньшиков» в сухую погоду ходит в калошах, носит зонтик, чтобы не погибнуть от солнечного удара, боится умываться холодной водой, жалуется на замирание сердца» (XVI, 333).

Едва ли можно сомневаться в том, что между этой дневниковой записью и заметками о замысле рассказа «Человек в футляре» имеется непосредственная связь. Приведем текст заметки из первой записной книжки Чехова: «[Человек в футляре, в калошах, зонт в чехле, часы в футляре, нож в чехле. Когда лежал в гробу, то, казалось, улыбался: нашел свой идеал]» (XII, 240).

Обращает на себя внимание та особенность, что обе эти записи дают очень похожий образ, содержание которого, однако, остается нераскрытым: в нем нет еще реакционной сущности образа чеховского Беликова. Недаром дневниковая запись начинается с сообщения, что Меньшикову запрещено печататься (разумеется, не вследствие реакционности его идей). В заметке о «футлярном человеке» нет и Меньшикова: образ задуманного рассказа еще остается нейтральным, неопределившимся.

Уход Беликова от жизни вызван неприятием общественного развития, прогресса. Чем стремительней развивается жизнь в неприятном для Беликова направлении, тем больше он уходит в свою скорлупу. У Чехова это выражено так: «Одним словом, у этого человека наблюдалось постоянное и непреодолимое стремление окружить себя оболочкой, создать себе, так сказать, футляр, который уединил бы его, защитил бы от внешних влияний. Действительность раздражала его, пугала, держала в постоянной тре-

⁸ Реформа была произведена в 1871—1872 гг.

воге, и, быть может, для того, чтобы оправдать эту свою робость, свое отвращение к настоящему, он всегда хвалил прошлое и то, чего никогда не было; и древние языки, которые он преподавал, были для него, в сущности, те же калоши и зонтик, куда он прятался от действительной жизни» (IX, 254).

В романе Шеллера-Михайлова на неприязненное отношение героя к общественной жизни 60-х годов обращено особое внимание. Уже в гимназии юный Обносков всячески старается отгородиться от товарищеской среды и занять изолированную позицию. Так же он ведет себя и в университете. Вот что говорит Шеллер-Михайлов об этом периоде в развитии своего героя: «И вот он видит массу студентов, спящих по коридорам университета, слышит умные и глупые, но всегда искренние споры, рассуждения о составлении кассы, о помощи голяку, притащившемуся пешком из Саратова для ученья, о концерте в пользу неимущих; видит стриженных девушек с тетрадами под мышками; ловит их свободные, простые разговоры с молодыми мужчинами и сознает, что никто не замечает его, ставшего в стороне от этой толпы. Ей нет дела, что он отдалился от нее; ей нет дела даже до его существования».⁹

Весь роман «Господа Обносковы» посвящен по существу непрерывной и безнадежной тяжбе героя с новыми идеями «новых людей», с победоносным шествием обновляющейся жизни. Мы лишены поэтому возможности привести все относящиеся к этой теме текстовые параллели. Нам важно лишь отметить активность идеологической борьбы Обноскова, поскольку эту сторону образа Беликова Чехов оттенил особенно рельефно.

Обносков, по словам Шеллера-Михайлова, «шипит на жизнь». Вместе с тем ему хотелось бороться и воевать с обществом, идущим, по его мнению, к пропасти под влиянием «духа времени» (стр. 152). Как и Беликов, Обносков не вступает в общение с людьми без особой нужды. Герой Шеллера «выезжал лишь на уроки, в должность или на университетские диспуты, где постоянно вступал в ожесточенные и колкие споры, преследуя каждую живую и новую мысль» (стр. 240). Писатель до конца раскрывает перед читателем содержание идейной борьбы Обноскова. Это была борьба против «материалистов, реалистов и нигилистов» (стр. 243—244).

Но за этой воинственностью в Обноскове, как и в Беликове, нельзя не увидеть смертельного страха перед чуждой ему и непрерывно изменяющейся действительностью. Он просто трус, о чем в романе говорится неоднократно. Вызываемая жизнью тревога проникает даже в подсознательную сферу обоих героев. У Шеллера мы читаем: «После тревожно проведенной ночи Обносков

⁹ А. К. Шеллер-Михайлов, Полное собрание сочинений, т. 2, изд. 2, СПб., 1904, стр. 23. Далее ссылки на этот том приводятся в тексте.

проснулся довольно поздно» (стр. 24). У Чехова Беликов «всю ночь видел тревожные сны» (IX, 256).

Обносков, как и Беликов, знаток и учитель латинского и греческого языков. Оба они отличаются одинаковым трепетом перед начальством и вообще «властями». Шеллер-Михайлов много говорит об этой черте своего героя, отмечая тяготение Обноскова к начальству еще с гимназической скамьи. Не случайно и Обносков и Беликов — фискалы, наушники.¹⁰

Как Беликов у Чехова руководствуется прежде всего «циркулярами» и «правилами», так и Обносков является постоянным защитником «законности» и «порядка». В частности, гражданский брак для Обноскова — лишь связь, стоящая вне закона (стр. 95—97, 145—146).

Внешность обоих героев также сходна. Обносков в начале романа описывается так: «это был сутуловатый, худощавый, некрасивый человек лет двадцати семи или восьми, с чахоточным лицом сероватого, геморроидального цвета и с узенькими тусклыми глазками, подслеповато выглядывавшими из-под очков... На этом господине была надета мягкая дорожная шляпа, порядочно потасканная во время ее долголетней службы, и какое-то немецкое пальто с стоячим воротником допотопного покроя... Казалось, в этом пальто молодой приезжий с незапамятных времен спал, ходил на лекции, лежал во время частых припадков болезни и предавался кропотливым занятиям в своем кабинете. Даже самая пыль, приставшая к этому пальто, придавала ему вид древности и напоминала о пыли тех выцветших фолиантов, над которыми отошал, сгорбился, засох и утратил блёск и обаятельную свежесть молодости обладатель этого полупальто» (стр. 5—6).

У Чехова по вполне понятным причинам нет такого развернутого описания: мы имеем дело с устным рассказом учителя Буркина. Но самый облик Беликова, намечаемый его вскользь брошенными словами, удивительно сближается с приведенным выше портретом Обноскова: «Своими вздохами, нытьем, своими темными очками на бледном, маленьком лице, — знаете, маленьком лице, как у хорька, — он давил нас всех, и мы уступали» (IX, 255).

Программа рассказа, занесенная в записные книжки Чехова, ничего не сообщала о сюжете, кроме похорон. Между тем главным событием рассказа, оказавшимся роковым в жизни героя, была его несостоявшаяся женитьба. Такое же событие, имевшее такие же последствия для героя, лежит и в основе действия романа «Господа Обносковы». Роман Шеллера, как и рассказ Чехова, заканчивается подробным описанием похорон героя.

¹⁰ Шеллер-Михайлов, Полное собрание сочинений, т. 2, стр. 18—21; А. П. Чехов, Полное собрание сочинений и писем, т. 9, стр. 260, 262, 263.

Читая «Человека в футляре», можно себе представить поведение Беликова в роли супруга, главы семьи. Роман Шеллера облегчает эту задачу. Обносков, как и следовало ожидать, становится тюремщиком своей жены. Его жена оказывается неспособной долго выносить подобный режим и уходит от своего мужа.

Существенно также и следующее обстоятельство. Несмотря на отвратительность личности Беликова, он способен вызывать чувство жалости. Чеховский Буркин говорит: «Мне даже жалко его стало» (IX, 261). Шеллер-Михайлов также неоднократно отмечает противоречивое соединение в личности Обноскова злобной активности и жалкой беспомощности (стр. 146—150, 245—247 и др.).

Сказанное о романе «Господа Обносковы» отнюдь не исключает связи образа Беликова с впечатлениями от личности М. О. Меньшикова и воспоминаниями о таганрогском инспекторе Дьяконове.

Мы рассмотрели только те элементы произведений Шеллера-Михайлова и Чехова, которые были для них общими.

Исключительная жизненность образа Алексея Обноскова позволила Чехову использовать его как документ, как протокол, как газетное сообщение, дополняющее собственные жизненные наблюдения писателя, которые сами по себе были необычайно богаты.

РУКОПИСИ А. П. ЧЕХОВА В ПУШКИНСКОМ ДОМЕ

Рукописное наследие А. П. Чехова велико и многообразно. Большая часть архива писателя хранится в Отделе рукописей Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина. Наиболее полное описание его было осуществлено в 1938 г. Е. Э. Лейтнеккером.¹ Другая, значительная часть архива А. П. Чехова находится в Центральном Государственном архиве литературы и искусства СССР. Описание ее составлено Н. П. Киселевым.²

На третьем месте по количеству автографов писателя стоит Рукописный отдел Института русской литературы (Пушкинского дома) АН СССР. Их научное описание было опубликовано в первом выпуске «Бюллетеня Рукописного отдела» Пушкинского дома, вышедшем в 1947 г. В настоящее время подготовлено второе издание этого описания с уточнениями и значительными дополнениями в связи с новыми поступлениями за последние двадцать лет.

Кроме упомянутых рукописных собраний А. П. Чехова, в разных архивах Советского Союза (Государственной Публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, Института мировой литературы им. А. М. Горького, Архиве Академии наук СССР и др.) имеются отдельные автографы писателя и его письма к разным лицам.

В фондах Рукописного отдела, Литературного музея и Библиотеки Пушкинского дома хранятся

¹ Е. Э. Лейтнеккер. 1) Рукописи А. П. Чехова. Описание. Союзгиз, М., 1938, 129 стр.; 2) Архив А. П. Чехова. Аннотированное описание писем к А. П. Чехову, вып. 1. Союзгиз, М., 1939, 116 стр.; вып. II, Госполитиздат, М., 1946, 96 стр.; см. также: Е. Н. Кошгина. Рукописное наследие А. П. Чехова в Государственной библиотеке СССР им. В. И. Ленина. В кн.: Чеховские чтения в Ялте. 1954. М., Гос. библиотека СССР им. В. И. Ленина, М., 1955, стр. 155—171; Рукописи, поступившие в 1954 г. (Материалы Ант. П. Чехова и членов его семьи). Зап. Отдела рукописей Гос. библиотеки СССР им. В. И. Ленина, 1955, вып. 17, стр. 117—119, 130—132.

² Н. П. Киселев. А. П. Чехов. Рукописи. Письма. Биографические документы. Воспоминания. Театральные постановки. Рисунки. Фотографии. Описание материалов Центр. гос. архива литературы и искусства СССР. Изд. «Советская Россия», М., 1960, 272 стр.

рукописи и письма А. П. Чехова, корректуры его художественных произведений, а также книги и фотопортреты с дарственными надписями писателя.

Антон Павлович не жил постоянно в Петербурге, но часто бывал в нем, навещая редакции столичных журналов, газет, книжные издательства, где печатались его произведения, Александринский театр, где ставились его пьесы. Многие факты и события петербургской жизни нашли свое отражение в рассказах и повестях Чехова. С присущей ему силой сатирического дарования художник-реалист изобразил в них ненавистных ему представителей полицейско-бюрократического мира — чванливых, самодовольных чинуш, либералов-краснобаев, подхалимов, самодуров, отвратительный пошлый мир скудоумного мещанства — все то, что выплеснула на поверхность столичной жизни общественная реакция после 1 марта 1881 г.

Тесная связь Чехова с Петербургом, возникшая в 1880 г. (первый рассказ писателя был опубликован в журнале «Стрекоза», СПб., 1880, № 10), не прерывалась до конца его жизни. Произведения писателя печатались в петербургских журналах «Осколки», «Нива», «Северный вестник», «Журнал для всех», в «Петербургской газете», «Новом времени» и др. Первое собрание сочинений Чехова было издано также в столице А. Ф. Марксом в 1899—1904 гг. В Петербурге, на сцене Александринского театра, осенью 1896 г. была впервые поставлена «Чайка».

В 1885 г. Чехов впервые приезжает в Петербург. В письме к брату Ал. П. Чехову он писал: «Я был поражен приемом, который оказали мне питерцы. Суворин, Григорович, Буренин . . . все это приглашало, воспевало . . . и мне жутко стало, что я писал небрежно, спустя рукава».³

Рукописей произведений Чехова в Пушкинском доме немного. В основном они поступили в Институт русской литературы вместе с архивами вышеупомянутых периодических изданий. Большую ценность представляют наборные рукописи на листках почтового формата рассказов «Оратор», «Неосторожность», «В бане», которые Чехов прислал летом 1898 г. издателю П. Е. Ефремову для сборника «Памяти В. Г. Белинского».

В бумагах Ф. Д. Батюшкова сохранилась рукопись чеховского рассказа «У знакомых», присланная писателем из Ниццы в начале 1898 г. для публикации в журнале «Космополис». В архиве издателя и редактора «Журнала для всех» В. С. Миролюбова хранятся беловая рукопись (конец ее утрачен) рассказа «Письмо», опубликованного в 1907 г., и две корректуры последнего рассказа Чехова «Невеста», появившегося в печати за несколько месяцев до смерти писателя.

³ А. П. Чехов, Полное собрание сочинений и писем, т. XIII, Гослитиздат, М., 1948, стр. 157. В дальнейшем том и страницы этого издания указаны в тексте.

Эти корректуры до последнего времени были почти единственными источниками творческой истории текста рассказа, так как беловая рукопись затерялась среди большого архива редакции журнала. В 1917—1918 гг. она вместе с книгами попала на рынок и долгие годы оставалась неизвестной исследователям. И только в 1957 г. этот ценнейший автограф от его владельца из г. Пензы поступил в Отдел рукописей Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина.

Несомненный интерес представляют и корректуры чеховских рассказов «Унтер Пришибеев», «Весной», «Сон репортера» как образцы тщательной, кропотливой работы писателя над текстом своих произведений. Маленькая вырезка из корректуры повести «Моя жизнь», приложенная к письму Чехова А. А. Луговому, примечательна цензурными вычерками, о которых писатель с горечью говорил: «Эти цензорские пометки — досадная штука, такая досадная, что я склонен свой первый опыт участия в „Ниве“ назвать неудачным» (XVI, 383).

Кроме рукописей и корректур художественных произведений великого русского писателя, в архиве Пушкинского дома находятся несколько автографических записей Чехова, не предназначавшихся для печати. Писательница и большой друг семьи Чеховых Т. А. Щепкина-Куперник многие годы бережно хранила вместе с письмами Антона Павловича беловую рукопись шуточной басни писателя «Шли однажды через мостик», написанной Чеховым в 1885 г. в альбом маленькой Саши Киселевой, которую он в шутку назвал Василисой Пантелеевной.

Семь лет спустя в письме к Л. А. Авиловой Чехов вспоминал об этом: «...отродясь я не писал стихов. Впрочем, раз только написал в альбом одной девочке басню, но это было очень, очень давно. Басня жива еще до сих пор, многие знают ее наизусть» (XV, 375). В Музее Пушкинского дома хранится листок из альбома той же Саши Киселевой с рисунком И. И. Левитана, изображающим кипарисы, а под рисунком шуточная подпись Антона Павловича: «Вид кипариса перед Вами Василиса».

«Дума за думой» — так называлась огромная памятная книжка на каждый день, некогда принадлежавшая известному коллекционеру А. Ф. Онегину. В ней собрано большое количество автографов русских и зарубежных писателей, их портреты, рисунки известных художников. На странице 30-й, соответствующей дню рождения А. П. Чехова (17 января старого стиля), с печатным эпиграфом из поэмы М. Ю. Лермонтова «Хаджи Абрек»:

Поверь мне, — счастье только там,
Где любят нас, где верят нам!

писатель поставил год своего рождения — 1860 — и, подчеркнув вторую строку эпиграфа, под сноской написал: «Где нас любят

и где нам верят, там нам скучно; но счастливы мы там, где сами любим и где сами верим».

Любопытен по своему содержанию автограф Чехова в четвертом томе Собрания сочинений С. Н. Терпигорева (С. Атавы), изданном в Петербурге в 1899 г. Перед заглавием повести «Марфинькино счастье», посвященной Д. В. Григоровичу, Чехов пишет следующий отзыв: «Совсем хорошо! А дальше все лучше и лучше. Читаю с большим удовольствием, веселым настроением! Еще раз так хорошо, что нет никакой моей возможности».

Среди обширной коллекции книг с автографами русских писателей в Пушкинском доме имеется 15 книг с дарственными надписями Чехова Л. Н. Андрееву, А. Ф. Кони, И. Л. Щеглову (Леонтьеву), А. А. Луговому, Ф. Ф. Фидлеру, С. П. Кувшинниковой, А. С. Шишкову и др. Характерные для писателя лаконичные и теплые посвящения, воспроизведенные тонким, изящным чеховским почерком, обычно на титульных листах книг, являются своеобразным дополнением к рукописному наследию Чехова, а также документальным свидетельством о его встречах и взаимоотношениях с современными литераторами.

Так, на четвертом томе Сочинений А. Чехова (СПб., 1901), который писатель подарил Шишкову, он пишет: «Александру Семеновичу Шишкову на добрую память о нашей встрече на пароходе „Николай“ 21 августа 1902 г. в Севастополе и Ялте. Антон Чехов». На другой книге — «Рассказы» (СПб., 1901) — имеется дарственная надпись иного содержания: «Леониду Николаевичу Андрееву на добрую память от ялтинского отшельника. А. Чехов. 18 марта. 1902».

Как известно, А. П. Чехов очень охотно писал письма и делал это с большой любовью. Эпистолярное наследие писателя представляет одно из ценнейших свидетельств его творческой биографии и является составной частью обширного литературного архива А. П. Чехова.

В Пушкинском доме хранится 328 писем Чехова к 73 адресатам, главным образом к петербургским писателям, издателям журналов, общественным деятелям и т. п. Среди них мы находим письма к Д. В. Григоровичу, Н. Ф. Анненскому, К. С. Баранцевичу, Ф. Д. Батюшкову, редактору «Северного вестника» А. М. Евреиновой, к академику археологу Н. П. Кондакову, известному судебному деятелю А. Ф. Кони, с которым Чехов познакомился после своей поездки на Сахалин. В первом письме к нему писатель рассказал о тяжелом положении детей каторжан и ссыльных и выразил мнение, что заботу о них должно взять на себя государство, а не частная благотворительность.

Одно из писем к Кони посвящено первой постановке «Чайки» на сцене Александринского театра, которая, как известно, не имела успеха, в результате чего огорченный автор поспешно покинул Петербург. В ответ на положительный отзыв Кони о пьесе

Чехов писал: «Я Вас знаю уже давно, глубоко уважаю Вас и верю Вам больше, чем всем критикам, взятым вместе... Участие, которое Вы в конце Вашего письма называете „ненужным“, я никогда, никогда не забуду, что бы ни произошло» (XVI, 388).

Сохранилось также 21 письмо к редактору журнала «Осколки» Н. А. Лейкину, содержащее интересные данные о творческих поисках Чехова в 80—90-е годы. Около 60 писем Антона Павловича имеется в архиве писателя И. Л. Щеглова (Леонтьева), охватывающие 17 лет их дружеской переписки. В одном из них дана скупая, но очень верная характеристика Щеглову (Леонтьеву): «Вы хороший писатель, — пишет ему Чехов, — но совсем не умеете или не хотите обобщать и глядеть на вещи объективно». На обороте письма Чехова от 18 января 1904 г. рукой И. Л. Леонтьева горестная помета: «Увы, последнее письмо! На другой день 1 представления „Вишневого сада“ в Москве».

В 10 письмах к издателю А. Ф. Марксу запечатлены любопытные факты, связанные с передачей Чеховым права на издание своих сочинений и последующей работой по их подготовке к печати. 37 писем Чехова к издателю и редактору «Журнала для всех» В. С. Миролюбову относятся к последнему десятилетию жизни писателя. В этом журнале Чехов опубликовал рассказы «Архиерей» и «Невеста». Несколько из этих писем связаны с публикацией «Архиерея» на страницах «Журнала для всех».

«Цензуре не уступлю ни одного слова, имейте сие в виду. Если цензура выбросит хоть слово, то рассказ возвратите мне, а я пришлю Вам другой в мае», — писал Чехов Миролюбову 20 февраля 1902 г., посылая ему рассказ «Архиерей» (XIX, 250). Эта же просьба была повторена Чеховым в последующем письме, от 8 марта 1902 г. «Если цензура зачеркнет хоть одно слово, то не печатайте. Я пришлю другой рассказ. И так уж для цензуры я много выкинул и сокращал, когда писал» (XIX, 258).

К издательнице и редактору детского журнала «Родник» Е. А. Сысоевой обращены два письма Чехова, которые опубликованы в 78 томе «Литературного наследства», посвященном Чехову.

Интересны по своему содержанию письма Чехова к редактору русского отдела международного журнала «Космополис» Ф. Д. Батюшкову. В ответ на просьбу последнего прислать в журнал новое произведение, Чехов отвечал ему 15/27 декабря 1897 г. из Ниццы: «Вы выразили желание в одном из Ваших писем, чтобы я прислал интернациональный рассказ, взявши сюжетом что-нибудь из местной жизни. Такой рассказ я могу написать только в России, по воспоминаниям. Я умею писать только по воспоминаниям, и никогда не писал непосредственно с природы. Мне нужно, чтобы память моя процедила сюжет и чтобы на ней, как на фильтре, осталось только то, что важно или типично» (XVII, 193).

В другом, более позднем письме к Ф. Д. Батюшкову; от 24 января 1900 г., содержится примечательный отзыв писателя о творчестве молодого А. М. Горького, свидетельствующий о проницательности Чехова: «...как нравится Вам Горький? Мне не все нравится, что он пишет, но есть вещи, которые очень, очень нравятся и для меня не подлежит сомнению, что Горький сделан из того теста, из которого делаются художники. Он настоящий» (XVIII, 309).

Из переписки писателя с родными в Пушкинском доме хранится 15 писем, адресованных Чеховым к старшему брату Александру Павловичу, жившему в Петербурге и работавшему у А. С. Суворина. Интересный документ, относящийся к Чехову, имеется в собрании известного историка литературы С. А. Венгерова. Это печатный бланк «Библиографического листка», заполненный рукой А. П. Чехова в 1890 г. На листке перечислены названия отдельных произведений и 4 сборника рассказов писателя, изданных в Петербурге.

Сотрудниками Рукописного отдела, Музея и Библиотеки Пушкинского дома проведена большая работа по сбору, описанию и публикации литературного наследия А. П. Чехова; ими подготовлено к изданию полное описание рукописных и изобразительных материалов, связанных с именем великого русского писателя.

И. С. ТУРГЕНЕВ И М. ГОРЬКИЙ

(ОБРАЗ РАССКАЗЧИКА В «ЗАПИСКАХ ОХОТНИКА»
И В ЦИКЛЕ «ПО РУСИ»)

Как известно, «Записки охотника» имели огромный успех как у современной Тургеневу читающей России, так и у последующих поколений. Это было вызвано прежде всего тем, что автор одним из первых в русской литературе стремился показать в своих рассказах многообразие и богатство духовной жизни русского крестьянина, глубину его характера и одаренность.

«Тургенев <...> доканчивал помещичество и брал из жизни светлые образы простолюдинов, любя и лелея их», — отмечал еще Н. П. Огарев.¹

В наши дни к этой же основной тенденции «Записок охотника» — изображению духовного богатства русского крестьянина — обращался ряд советских исследователей, в частности И. В. Сергиевский, И. А. Новиков, Н. М. Белова, С. М. Петров и др.

Сложным и противоречивым было отношение к «Запискам охотника» у М. Горького. В лекциях, прочитанных в Каприйской партийной школе, он дал развернутую характеристику творчества Тургенева в целом, и в частности его знаменитой книги. Тогда, в период борьбы между революционно-пролетарской и либеральной идеологией, Горький выступил против концепции представителей либерально-буржуазного литературоведения, которые преувеличивали, с его точки зрения, значение «Записок охотника» в освободительном движении эпохи и использовали в своих целях слабые стороны ее автора.² Горькому казалось, что в «Записках охотника» «мы нигде не встретим прямого, открытого протеста против рабства», что «бунтующий мужик остался у Т[ургенева] в стороне».³ Горький был, конечно, неправ.⁴ В то время ему не могла быть известна

¹ В сб.: Русская потаенная литература XIX столетия. Лондон, 1861, стр. LXXXIX.

² А. Н. Богданов. Горький и Тургенев. Тезисы докладов четвертой научной конференции горьковедов Поволжья (июнь 1961 г.), Горький, 1961, стр. 18.

³ М. Горький. История русской литературы. ГИХЛ, М., 1939, стр. 179, 182.

⁴ М. В. Минокин в статье «М. Горький о Тургеневе» пишет о том, что высказывания Горького о «Записках охотника»

цензурная история «Записок охотника»; вероятно, не знал он и о том, что от реализации замысла рассказа «Землеед», предназначавшегося для этого же цикла, Тургенев принужден был вовсе отказаться, так как ему было совершенно ясно, что о напечатании подобного произведения при Николае I не могло быть и речи.

В каприйских лекциях Горький осуждал также стремление автора «Записок охотника» изображать лишь положительные качества в характерах крепостных крестьян, которые отличаются тем, что они «поэты, любят природу, песни». Указывая на то, что крестьяне лишь у Тургенева «кротки, терпеливы»,⁵ Горький также был не вполне справедлив, так как под гнетом крепостного права значительная часть крестьянства в действительности отличалась именно своей пассивностью и долготерпением.

Позднее, в статье III «Бесед о ремесле» (1931), Горький, вспоминая кружки 80-х годов, указывал на то, как «глубоко отражались противоречия литературы и жизни», противоречия «книжной догмы» народничества и «непосредственного опыта»⁶ на молодежи, подобной ему. А в статье «О том, как я учился писать» (1928) Горький критиковал писателей-народников (Златовратского, Засодимского, Левитова, Нефедова и многих других) за то, что они «усердно и в тон дворянской литературе занимались идеализацией деревни, крестьянина, который представлялся народникам социалистом по натуре, не знающим иной правды, кроме правды „общины“, „мира“». По мнению Горького, герои рассказов писателей-народников — «мечтатели-мужички Минаи, Митяи — плохие копии с портретов Поликушки, Калиныча, Каратаева» (XXIV, 476). Осуждение Горьким идеализации крестьянства в произведениях писателей-народников не могло не содействовать критической оценке им и предшественников народнической литературы, к которым он причислял Л. Н. Толстого и Тургенева.

Впрочем, не следует забывать о том, что и в советский период отношение Горького к «Запискам охотника» было весьма противоречивым. Так, например, в статье «О старом и новом человеке» (1932) Горький, снова возвращаясь к мысли о том, что в первой половине XIX в. писатели (имеется в виду прежде всего Тургенев) «изображали крестьянство <...> очень жалостливо, мягко-сердечным лириком и мечтателем, покорным его судьбе», далее,

являются «спорными». В то же время исследователь делает оговорку, считая, что «нельзя подходить к материалам этих лекций Горького как к законченной работе» («Ученые записки Орловского гос. педагогического института», т. 17, Межвузовский тургеневский сборник, Орел, 1963, стр. 243).

⁵ М. Горький. История русской литературы, стр. 186.

⁶ М. Горький, Собрание сочинений в тридцати томах, т. XXV, Гослитиздат, М., 1953, стр. 325 (в дальнейшем все цитаты даются по этому изданию с указанием в тексте тома и страницы).

однако, разъяснял, что это являлось необходимостью. По словам Горького, «нужно было убедить правительство, что крестьянин — тоже человек, что пора снять с его шеи ярмо раба — крепостное право» (XXVI, 284).

Характерно также, что в 1935 г. в «План «Библиотеки колхозника»» Горький включил наряду с отрывками из книги Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву» и «Сорокой-воровкой» Герцена три рассказа из «Записок охотника» — «Бурмистр», «Контора» и «Два помещика».⁷ Тем самым Горький подчеркнул антикрепостническую направленность этих произведений и необходимость ознакомления с ними широких кругов колхозного крестьянства.

В том же году в замечаниях «К проекту программы для литературных кружков» Горький, говоря о писателях, которые «послужили» «реализму нашей литературы», наряду с «Повестями Белкина» Пушкина поставил «Записки охотника». И вместе с тем Горький снова подчеркивал, что «отсюда, т. е. от Пушкина, Тургенева, Л. Н. Толстого», пошли народники с их «романтизацией крестьянства».⁸

Сложное и противоречивое, порой критическое отношение к некоторым аспектам изображения крепостного крестьянства в «Записках охотника» не исключало того обстоятельства, что, создавая цикл «По Руси», Горький несомненно испытал на себе какое-то воздействие и книги Тургенева.⁹ Не случайно в одном из рассказов этого цикла («Вечер у Панашкина», 1916) рассказчик уговаривает Панашкина прочитать «Записки охотника», и тот, возвращая эту книгу, говорит: «Чего тебе тут нравится? Это, брат, не интересно, как настоящая жизнь» (XI, 252). А в январе 1911 г., т. е. в период, непосредственно предшествовавший написанию цикла «По Руси», Горький в письме к сыну Максиму советовал ему в числе нескольких других произведений (С. Т. Аксакова, Л. Н. Толстого, В. Г. Короленко) прочитать «Записки охотника», ибо «правда этих книг интереснее сказок».¹⁰

В цикле «По Руси» Горький развивал и углублял гуманистические традиции русской классической литературы, в том числе и тургеневские. Как отмечает исследователь его творчества, писатель, показывая «уродливые формы», которые «принимала подчас русская жизнь», тем не менее всюду стремился подчеркнуть

⁷ Архив А. М. Горького, т. X. М. Горький и советская печать. Кн. 2. Изд. «Наука», М., 1965, стр. 430.

⁸ Архив А. М. Горького, т. III. М. Горький. Повести, воспоминания, публицистика, статьи о литературе. М., 1951, стр. 241.

⁹ В задачи настоящей статьи не входит рассмотрение вопроса о том, как изменялся образ рассказчика на протяжении XIX в. (народническая литература, В. Г. Короленко и др.).

¹⁰ Летопись жизни и творчества А. М. Горького, вып. 2. 1908—1916. Изд. АН СССР, М., 1958, стр. 180.

такие основные качества русского человека, как его мужество, способность к самопожертвованию, сердечность, вечную мечту о «хорошей», правдивой жизни.¹¹

Несмотря на различие эпох, к которым отнесено действие в «Записках охотника» и в цикле «По Руси», основные социальные конфликты, изображенные в этих книгах, близки друг к другу. И Тургенев, и Горький показывали несоответствие между богатыми духовными силами русского народа и тем угнетением, бесправием и нищетой, в которых он находился.

Раскрытие этих конфликтов в обоих случаях в значительной степени помогает образ рассказчика, которому отведена большая роль у каждого из писателей. У Тургенева рассказчик (охотник) — не посторонний наблюдатель, а лицо, ясно выражающее свое отношение (положительное или отрицательное) к изображаемым событиям, иногда участвующее в них. В то же время он является связующим звеном между действующими лицами и читателем, вступая с ним в беседу и как бы делая его до некоторой степени также участником изображаемых в рассказах событий.

Степень и характер участия рассказчика в ходе повествования различны. Иногда он только слушатель, которому одно из действующих лиц по собственному желанию рассказывает то о всей своей жизни («Гамлет Цигровского уезда»), то о каком-то значительном событии («Уездный лекарь»). В некоторых случаях рассказчик-охотник превращается в лицо, невольно подслушивающее разговоры героев («Контора», «Свидание», «Бежин луг»); в других — он специально вызывает действующих лиц на беседу, спрашивая их («Касьян с Красивой Мечи», «Малиновая вода», «Льгов», «Два помещика» и др.). Наконец имеются в «Записках охотника» и такие рассказы, в которых рассказчик сам участвует в развитии сюжета («Бирюк»,¹² «Лебедянь», «Стучит!»).

Во всех этих рассказах Тургенева всюду налицо внимательный и сочувствующий, далеко не безучастный к жизни и поведению героев рассказчик. И это «горячее сочувствие к забитым, обездоленным крестьянам, любовное, приветливое отношение к детям, глубокое, искреннее чувство, рождающееся от соприкосновения с человеческим страданием, умение склонить случайного собеседника к доверчивости и откровенности — вот <...> черты, глубоко захватывающие читателя», — справедливо отмечает Н. Никитин в статье «Сквозь призму авторской оценки».¹³

¹¹ История русской литературы. Т. X. Литература 1890—1917 гг. Изд. АН СССР, М.—Л., 1954, стр. 369.

¹² Особенный интерес представляет в этом отношении рассказ «Бирюк», в котором рассказчик просит отпустить мужика, уличенного в порубке леса, предлагает уплатить штраф за срубленное дерево, а в решительный момент даже бросается сам на помощь к мужику.

¹³ «Литературная учеба», 1941, № 4, стр. 31.

В какой же словесной форме выражается отношение рассказчика к происходящим событиям? Обычно — лаконично, в одной-двух коротких фразах, имеющих разные оттенки в зависимости от события, о котором идет речь в рассказе. Так, в «Бежине луге», сообщив о гибели Павла, рассказчик с огорчением добавляет: «Жаль, славный был парень!».¹⁴ Встретившись с мельничихой («Ермолай и мельничиха») и узнав, что она — бывшая горничная жены помещика Зверкова, рассказчик, вспомнив историю этой несчастной женщины, замечает, что он «с удвоенным любопытством и участием посмотрел на Арину» (IV, 28). Элегически звучат слова рассказчика о покинутой возлюбленной девушке в концовке «Свидания»: «...образ бедной Акулины долге не выходил из моей головы, и васильки ее, давно увядшие, до сих пор хранятся у меня» (IV, 269).

Для рассказчика в «Записках охотника» характерны частые обращения к читателю с такого рода фразами: «но, извините, господа: я должен вас сперва познакомить с Ермолаем («Ермолай и мельничиха», IV, 22), «Представьте себе, любезные читатели...» («Однодворец Овсяников», IV, 61), «Я уже имел честь представить вам, благосклонные читатели...» («Два помещика», IV 176), «Одна из главных выгод охоты, любезные мои читатели...» («Лебедянь», IV, 186) и т. д. Эти обращения (нередко ими начинается тот или иной рассказ) создают сразу же непринужденность, интимность в общении рассказчика с читателем. Отметим, что прием этот в конце 1840—начале 1850-х годов мог восприниматься уже как архаизм, так как восходит к литературе XVIII—начала XIX в.¹⁵

В заключение следует сказать, что введением образа рассказчика-охотника Тургенев связал между собой в цикл отдельные рассказы, усилил их реализм, вызвав у читателя впечатление «предельного соответствия художественного вымысла реальной действительности».¹⁶

Горький в сентябре 1912 г. писал Д. Н. Овсяннику-Куликовскому, направляя ему для «Вестника Европы» первые из рассказов задуманного цикла: «Не знаю, как озаглавить мне очерки, посланные Вам. Я имел дерзкое намерение дать общий заголовок „Русь. Впечатления проходящего“, — но это будет, пожалуй, слишком громко. Я намеренно говорю „проходящий“, а не „прохожий“: мне кажется, что прохожий не оставляет по себе следов, тогда как проходящий — до некоторой степени лицо деятельное и не

¹⁴ И. С. Тургенев, Полное собрание сочинений и писем в двадцати восьми томах. Сочинения в пятнадцати томах, том IV. Изд. АН СССР, М.—Л., 1963, стр. 113 (в дальнейшем все цитаты даются по этому изданию с указанием в тексте тома и страниц).

¹⁵ См., например, «Путешествие из Петербурга в Москву» А. Н. Радищева.

¹⁶ В. В. Голубков. Художественное мастерство И. С. Тургенева. Учпедгиз, 1955, стр. 25.

только почерпающее впечатления бытия, но и сознательно творящее нечто определенное. Может быть, Вы согласитесь дать заголовок „Впечатления проходящего“, откинув слишком широкое и требовательное слово „Русь“?» (XXIX, 251). Редактор «Вестника Европы» предложил свое заглавие: «По Руси. (Из впечатлений проходящего)». В дальнейшем Горьким была сохранена первая часть этого заглавия, т. е. «По Руси».

Как и у Тургенева, все рассказы у Горького (за исключением одного — «Едут!») также объединены образом рассказчика, «проходящего», странствующего по России для того, чтобы понять психологию народной массы (действие рассказов отнесено к 1880—1890 гг.).

Однако рассказчик из «Записок охотника», как уже говорилось выше, чаще является лишь слушателем или собеседником, между тем как «проходящий» в цикле «По Руси» выступает главным образом как активный участник тех событий, о которых повествуется в том или ином из рассказов. Постоянно он пытается как-то помочь людям или убедить их в неправильности их поведения, их поступков.

Именно таков «проходящий», например, в «Рождении человека», где он помогает появлению на свет малыша-орловца. Свое отношение к происходящим вокруг него событиям, к действующим лицам рассказчик из цикла «По Руси» выражает обычно в значительно более эмоциональной и энергичной форме, нежели его предшественник из «Записок охотника». Так, он не стесняется сказать о женщине, в муках рождающей ребенка: «... мучительно жалко ее, и кажется, что ее слезы брызнули в мои глаза, сердце сжато тоской, хочется кричать» (XI, 12). В рассказе «Губин» «проходящего» преследует «тупая неотвязная тревога» (XI, 55) за судьбу другой женщины. В результате, предотвратив избиение ее мужем и деверем, «проходящий» пытается объяснить Губину, что сделал это потому, что ему «жалко» Надежду, что «не следует ее выдавать» (XI, 58).

Защитником рязанки Татьяны, которая едва не становится жертвой насилия со стороны своих случайных спутников, оказывается он в рассказе «Женщина». «Проходящий» стремится разъяснить рязанке, что она не найдет того, чего ищет, ему «ее жалко-жалко почти до слез» (XI, 144). Он думает, что Татьяна «затеряется (...) на запутанных дорогах» (XI, 147). И когда это в действительности сбывается, рассказчик с горечью заключает: «Память уныло считает десятки бесплодно и бессмысленно погибающих русских людей, и сердце угрюмо сжимается великой, неизбывной, на всю жизнь данной тоскою» (XI, 152). В рассказе «Нилушка» у «проходящего» после смерти героя «великая скорбь бешено сдавила сердце» (XI, 84).

Таким образом, для «проходящего» характерной и глубоко осознанной является горячая любовь к народу. Наиболее же плодотворные стороны его мирозерцания выражены «в философской

идее человека—творца, в понимании труда как высшей ценности»¹⁷ (см. рассказы «Кладбище», «Покойник»).

Почти во всех рассказах цикла «По Руси» «проходящий» сам является активно действующим лицом. Так, в рассказе «Ледоход» он работает с артелью плотников и вместе с ними совершает опасный переход через реку. В рассказе «В ущелье» он — один из трех сторожей, охраняющих рабочий барак, — оказывается свидетелем убийства одного из своих товарищей при подстрекательстве со стороны другого. В рассказе «Губин» «проходящий», работающий вместе с Губиным на очистке колодца у Биркиных, невольно становится в какой-то мере участником событий, совершающихся в этой купеческой семье. Всюду «проходящий» находится, так сказать, в самой гуще жизни. Он не только встречается с теми или иными персонажами, сочувствуя им, как это было в «Записках охотника» Тургенева. В цикле «По Руси» Горького «проходящий» живет вместе с этими людьми, делит с ними все их повседневные радости и горести, в ряде случаев воздействует на них, восхищается ими, когда встречает в них лучшие человеческие чувства, не задавленные окончательно тяготами жизни.

В то же время «проходящий» нигде не заслоняет собою героев. «В этом сказалась особенность „автобиографичности“ горьковского творчества: субъективно личное, биографическое объективируется писателем (<...>) и приобретает обобщающий смысл»,¹⁸ — правильно отмечает один из исследователей.

Обращения рассказчика к «любезным читателям» вовсе отсутствуют в рассказах из горьковского цикла, в чем также заключается одно из отличий автора «По Руси» от Тургенева.

Образ рассказчика в «Записках охотника» близок к самому Тургеневу, великому русскому писателю-реалисту и гуманисту, европейски образованному человеку, стоящему как бы над своими героями — крестьянами. «Проходящий» (или Максимыч) — двойник Горького, писателя, чьими «университетами» была сама неприглядная во всех отношениях русская действительность последних десятилетий XIX в.

И тем не менее преемственная связь между «Записками охотника» и циклом «По Руси», как мы стремились показать выше, очевидна. Она убедительно раскрывается, в частности, при рассмотрении образа рассказчика, роль которого велика как у Тургенева, так и у Горького. Именно образ рассказчика помогает уяснить основную тему обоих циклов — показ духовного богатства русского народа, его национального своеобразия.

¹⁷ В. А. Келдыш. Тип рассказчика в новеллах и очерках Горького. (К проблеме положительного героя в творчестве писателя). В сб.: «О художественном мастерстве М. Горького». Изд. АН СССР, М., 1960, стр. 107.

¹⁸ Л. М. Поляк. Книга Горького «По Руси». «Ученые записки Московского гос. университета им. М. В. Ломоносова», вып. 127 («Труды кафедр русской литературы», кн. 3), М., 1948, стр. 6.

К ВОПРОСУ О СОЦИАЛЬНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПОЭТИЧЕСКОГО ОБРАЗА

Поэтический образ представляет собой сложный сплав художественных традиций и новаторских поисков, индивидуально особого, своеобразного видения мира и сложившихся социальных взглядов и представлений. Преломляясь в творческом сознании, факты и явления действительности предстают в новом освещении, нередко в неожиданных, непривычных взаимосвязях, за которыми, однако, можно обнаружить социально обусловленную концепцию жизни, определенный тип мировосприятия.

Об этих не новых истинах можно было бы не напоминать, если бы они всегда оставались в поле зрения критиков и литературоведов. Однако порою встречается странная диспропорция в художественном анализе: главное внимание уделяется проблеме индивидуального своеобразия (истолкованного, как правило, весьма односторонне), вопрос же о социальных истоках образного видения мира, о социальной основе поэтического образа оказывается где-то на заднем плане либо вообще выпадает из поля зрения. В соответствии с этим успех творческой работы поэта определяется не глубиной и силой поэтической мысли, не социальной значимостью произведений, а необычностью поэтики, причудливостью образных ассоциаций, своеобразием языка. При этом мобилизуется целый арсенал высказываний, смысл которых сводится к одному: ищите небывалое.

Спору нет, искусство не живет повторением прошлого, каждый художник вносит в него свой — особый — вклад, и поэтическое слово хранит на себе печать создавшего его мастера. Но подлинную силу поэзии всегда давала опора на народную жизнь. И образ, в котором преломились характерные тенденции времени, огранный творческим прикосновением художника, обретает силу не только эстетического, но и социального воздействия, ибо в нем как бы аккумулируются мысль и энергия народная.

Далеко не во всех случаях такой образ отличается своей необычностью, резкой оригинальностью. Нередко он прост и непритязателен, начисто лишен всякого «остранения». И не по недостатку таланта

или мастерства обращается поэт к уже открытым (и закрепленным порою в языковой метафоре, специальном обороте речи) образным параллелям. Силой поэтического вдохновения обнаруживается в них глубинная поэзия, рожденная народной жизнью.

Возьмем один пример из творчества Маяковского. Поэт-новатор, столь горячо отстаивавший право и обязанность художника неустанно искать новое, он научился находить это новое в жизни, в практике революционной борьбы, социалистического строительства. В его стихах, среди сложнейших поэтических метафор, нередко можно встретить образы, непосредственно взятые из современной действительности. Бывает и так, что образ этот лишь какими-то своими гранями соприкасается с образным строем его поэзии, но если поэт видит, что в нем заложены существенные тенденции времени, он умеет находить то сцепление, которое позволяет прочно ввести этот образ в поэтический строй своего стиха.

«Рассказ Хренова о Кузнецкстрое и о людях Кузнецка» — одно из тех произведений Маяковского, в которых конкретный факт, событие становятся поводом для больших поэтических обобщений. Деловое, прозаически точное заглавие, протоколно сухой эпиграф подчеркивают реальную основу стихотворения. Однако самый «рассказ» при всей конкретности отдельных деталей отнюдь не представляет собой точного описания событий. В нем нет ни образа Хренова, фамилия которого вошла в название, ни развернутых образов других героев, нарисованных с характерной для творческих представлений Маяковского той поры реальной достоверностью («Если герой — даешь имя, если трус — пиши адреса», — призывал поэт). Стихотворение представляет собой как бы спрессованное в несколько ярких картин поэтическое переложение рассказа Хренова, оставшегося за рамками повествования. И лейтмотивом проходит через все стихотворение мечта строителей Кузнецка о «города-саде», который будет возведен в безлюдной степи.

Образ этот кажется неожиданным в поэзии Маяковского. Страстный поборник и пропагандист социалистической индустриализации страны, поэт готов был принять и все неизбежные в те годы ее нежелательные последствия. Заводские думы, затемняющие небо, порой казались ему дороже поэтической прелести нетронутого цивилизацией пейзажа, ибо в них видел он непреложное свидетельство роста силы и могущества своей отчизны. И вдруг в стихотворении, посвященном строительству одного из первых индустриальных гигантов, мечта о будущем воплощена в образе «города-сада»! При том образ этот является композиционным стержнем стихотворения, объединяя в единое целое суровые картины первых дней стройки и написанный широкими мазками грядущий расцвет индустриальной Сибири.

Однако если вчитаться в текст, увидим, что «город-сад» является как обобщенный поэтический символ будущего. В первых трех строфах он лишь маячит впереди как мечта, резко контрасти-

рующая с окружающим. Но эта мечта столь дорога и близка строителям Кузнецка, они столь уверены в близком ее осуществлении, что забывают грязь, голод и холод. Трижды повторенные слова рабочих:

Через четыре
года
здесь
будет
город-сад!¹

в четвертой и пятой строфах (строфы не выделены графически, но совершенно отчетливо проявляются в структуре стихотворения) разворачиваются в картину гигантской стройки, захватившей Сибирь. И здесь выясняется, что для второй части поэтической формулы — для «сада» — не остается места. Стройки, шахты, мартены, гудки заводов... Хорошие дома для рабочих, хорошее снабжение... А тайга, «аж за Байкал отброшенная», не оставила в городе будущего своей освежающей зелени.

Картина грядущего расцвета дана от имени одного из безымянных участников стройки (потому-то в ней нашлось место для одной — очень скромной в ряду гигантских технических преобразований — житейской надежды: «Здесь дом дадут хороший нам и ситный без пайка»). И вместе с тем в ней отчетливо проступает характерный для Маяковского строй представлений со свойственным ему увлечением индустриальной мощью, с его пристрастием к поэтической гиперболе. Но открыто лирический голос поэта звучит лишь в концовке, где сконцентрирована основная мысль стихотворения:

Я знаю —
город
будет,
я знаю —
саду
цветь,
когда
такие люди
в стране
в советской
есть!²

Как видим, образ «города-сада» важен и нужен поэту как выражение народной мечты о будущей жизни. Он играет весьма существенную роль в поэтической характеристике строителей Кузнецка, ибо в этом образе воплощена именно их мечта, их представление о будущем. Самая обобщенность этого образа соответствует характеру изображения рабочих (поэт выделяет в них

¹ В. Маяковский, Полное собрание сочинений в тринадцати томах, т. 10, Гослитиздат, М., 1958, стр. 128.

² Там же, стр. 130—131.

главное, типическое — их воодушевленность, увлечение грандиозной стройкой — и совершенно оставляет в стороне индивидуальное).

«Город-сад» — образ по своему происхождению явно «маяковский». Даже непосвященный читатель почувствует, что образ этот рожден не воображением поэта. В нем ощущается отзвук споров, дискуссий, мечтаний тех лет, когда начинали определяться лишь общие контуры социалистического будущего. Представление о разумно спланированном зеленом городе, где жизнь будет здоровой, удобной и красивой, впервые перешло из области социальной утопии в сферу практического воплощения. На эту тему в двадцатые годы появлялись статьи и даже книги.³ В районе, где разворачивалось строительство Кузнецкого металлургического гиганта, одному из поселков было присвоено наименование Сад-город, хотя в то время в нем не было даже кустика и он ничем не отличался от окрестных деревушек. В этом акте как бы зафиксирована была мечта о будущем и уверенность в близком его осуществлении. Незадолго до встречи Маяковского с Хреновым (которая состоялась, по-видимому, в ноябре 1929 г. — более точных сведений о ней не имеется) был утвержден пятилетний план жилищного и коммунального строительства городов Кузнецкого округа. Газета «Советская Сибирь» поместила сообщение об этом под заголовком: «В Кузнецком округе вырастут образцовые города-сады-коммуны».⁴

Трудно сказать, видел ли Маяковский этот номер газеты, или он узнал эти факты из рассказа И. П. Хренова, человека незаурядного, одного из славной когорты строителей тридцатых годов, чьей волей и энергией создавались основы социалистической промышленности.⁵ Да это и не столь существенно, так как образ «города-сада» мог прийти к поэту и из других источников — бесед, дискуссий, статей и т. д. Важно подчеркнуть, что образ этот рожден был самой действительностью. Включенный в стих поэта, он приобретает особый колорит, как бы принимая свойственную поэтической манере Маяковского плакатную резкость очертаний. Он становится одним из опорных образов в стихотворении, посвященном людям первой социалистической стройки.

Известно, что это стихотворение воодушевило строителей Кузнецка; как писал впоследствии академик Бардин, бывший в те годы техническим руководителем Кузнецкстроя, поэт в самые трудные для стройки времена «поддержал наш дух».⁶ Оно сохранило свою действенную силу и спустя десятилетия, когда столь

³ См., напр.: В. Ф. Иванов. Города-сады и поселки для рабочих. Л., 1925.

⁴ «Советская Сибирь», 1929, 20 августа, № 189 (2923).

⁵ Интересные сведения о нем приведены Борисом Чельшевым, доцентом Кемеровского пединститута, в статье «Человек из песни» («Литература и жизнь», 16 декабря 1962 г., № 149/727).

⁶ И. П. Бардин. Мечта и ее осуществление. «Кузнецкий рабочий», 31 марта 1957 г. № 64.

широко развернулось преобразование Сибири и смелые гиперболы Маяковского стали восприниматься как поэтическое выражение реальных фактов действительности. Даже образ «города-сада» получает свое практическое воплощение: вспомним, что Омск по зеленому строительству вышел на первое место среди городов России.

Своеобразную параллель этому образу находим в одном из горьковских очерков, написанном почти в то же самое время, когда было создано стихотворение Маяковского. Посвященный одному из замечательных советских людей, мечтателю и созидателю, с величайшим упорством и самоотверженностью борющемуся за развитие Якутии, очерк «О единице» по духу и даже в какой-то степени по теме созвучен стихотворению поэта. В нем так же сильно ощущается глубокая вера в человека, в его возможности, тот социальный оптимизм, которым пронизано и стихотворение Маяковского. И что особенно интересно, рассказывая о мечтах и начинаниях А. А. Семенова, героя очерка, А. М. Горький упоминает «город-сад», причем берет это выражение в кавычки, как цитату: «Мне очень жаль, — пишет автор, — что я не могу напечатать интереснейших писем Семенова о постройке им города Томмота на берегу Алдана, — он мечтал создать там „Город-сад“. Письма эти остались у меня в Сорренто».⁷

Для современного читателя «Город-сад» в этом контексте воспринимается почти как цитата из Маяковского, поскольку стихотворение поэта давно получило широкую известность, а очерк «О единице» был впервые опубликован лишь несколько лет назад. Такая мысль подкрепляется еще и тем, что в письмах А. А. Семенова, где он рассказывает о строительстве Томмота (письмо от 26 января 1926 г. и с незначительными сокращениями приведенное в очерке письмо от 23 июля 1929 г.), само выражение «город-сад» не упоминается. Якутский энтузиаст сообщает писателю, что при планировании города ему удалось отстоять «естественный бульвар из столетних осен и лиственниц, оставленных по кайме берега».⁸ Деловой и очень конкретный характер этих писем, свойственное корреспонденту Горького великолепное понимание реальных условий и возможностей своего сурового края, расположенного в зоне вечной мерзлоты, не внушают уверенности в том, что в других, не сохранившихся его письмах встречалось это выражение (хотя, конечно, такая возможность отнюдь не исключена).

Однако хронология заставляет усомниться и в том, что стихотворение Маяковского было известно Горькому, когда он писал свой очерк. Хотя точная дата его создания не установлена, но ясно, что очерк написан не позже октября 1929 г., поскольку в нем есть упоминание о письмах, оставшихся в Сорренто (писатель

⁷ А. М. Горький. О единице. «Новый мир», 1960, № 11, стр. 59.

⁸ Там же, стр. 60.

выехал туда 23 октября). Стихотворение Маяковского датируется по времени его опубликования (№ 46 журнала «Чудак», вышедший в конце ноября 1929 г.). Биограф поэта В. Катанян не упоминает о встрече с И. П. Хреновым, послужившей толчком к созданию стихотворения; Б. Чельшев, разыскавший интересные сведения об этом человеке, сообщает, что встреча его с Маяковским состоялась в середине ноября 1929 г.⁹ Если эти сведения достоверны (в статье Б. Чельшева они не подтверждены документально), то нет основания связывать появление «города-сада» в очерке Горького со стихотворением Маяковского.

Это обстоятельство не снимает возможности сопоставления произведений, столь различных по жанру, по конкретному замыслу, по творческой манере. Сопоставление может выяснить не только возможные линии сближения (о чем говорилось выше), но и отзвуки внутренней полемики. Так, содержание очерка «О единице» прямо противоположно некоторым стихам Маяковского из поэмы «Владимир Ильич Ленин», где во имя утверждения силы и единства партии сказаны крайне резкие и отнюдь не отражавшие действительных взглядов поэта на личность слова о «единице» — отдельно взятом человеке: «Единица! Кому она нужна?! Голос единицы тоньше писка».¹⁰ Эти и последующие строки входят в систему развернутых сравнений, посвященных образу партии, и поэтому их надо рассматривать только в определенном поэтическом контексте, однако иные критики той поры, подходившие к поэме Маяковского как к политическому трактату, обвиняли поэта в недооценке личности. Эти обвинения, несомненно, были известны Горькому, внимательно следившему за журналами; он всегда настойчиво стремился укрепить веру в силы человека, а в 1929 г., когда писатель, приехав в СССР, начал создавать свои «Рассказы о героях», всякая мысль о принижении, недооценке «единицы» неизбежно должна была вызвать резкий отпор. Очерк «О единице» и был нацелен против такой недооценки, и самое его название, как бы соотнесенное с цитированными стихами Маяковского, явно полемично.

Более подробное рассмотрение этого вопроса в данном случае не входит в задачу статьи, поэтому мы ограничимся лишь несколькими соображениями, требующими проверки и уточнения, и вернемся к тому поводу, который заставил обратиться к горьковскому очерку в связи с рассмотрением одного из образов стихотворения Маяковского. Поскольку нет сколько-нибудь убедительных оснований считать, что Горький во время написания очерка был знаком со стихотворением поэта, приходится сделать вывод, что «город-сад» появился в очерке из того же источника, из которого почерпнул его и Маяковский — из живой практики той поры.

⁹ «Литература и жизнь», 1962, 16 декабря, № 149 (727).

¹⁰ В. Маяковский, Полное собрание сочинений, т. 6, стр. 265.

В конце концов не столь важно, взял ли он это выражение из писем А. А. Семенова, или же из какой-нибудь статьи или беседы, где шла речь о проблемах градостроительства. Существенно другое: это выражение показалось писателю столь характерным, что он ввел его в очерк, причем, как и Маяковский, словами «город-сад» Горький обозначил мечту своего героя.

Конечно, между ними нетрудно обнаружить и существенные различия. Если в стихотворении «город-сад» превращается в поэтически обобщенный образ будущего, в котором как бы растворяется конкретный смысл этих слов (вспомним, что в развернутой поэтом картине грядущей индустриальной Сибири «сада» так и не оказалось), то в очерке это выражение берется в его прямом смысле, для обозначения разумно спланированного города, в котором постройки не уничтожили зелень. Поэт, взяв образ из жизни, включил его в строй своего стиха, и образ приобрел новые качества. Горький, в соответствии с очень конкретным, почти документальным характером очерка, использует выражение «город-сад» как цитату, обозначая с ее помощью вполне определенные действия и устремления своего героя. Но и в том и в другом случае очевидна социальная направленность образа, его прямая связь с планами социалистического преобразования жизни, наконец, его «внелитературные» истоки. Одновременное появление этого образа в произведениях столь различных мастеров слова свидетельствует о том, что в нем были отражены какие-то очень характерные тенденции своего времени.

Этот пример дает возможность увидеть, что в самом простом, лишенном всякой экстравагантности образе художник может открыть различные возможности для изображения современности. Поэтическое новаторство отнюдь не всегда требует небывалых рифм и необычайных образов. Чем глубже и значительнее социальный смысл поэтического образа, тем более широкий круг представлений современного человека захватывает он в свою орбиту.

К ПРОБЛЕМЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ИНОНАЦИОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА В РУССКОЙ СОВЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Любая литература сильна и значительна тем, насколько глубоко она постигает и раскрывает духовный мир своего народа, его думы и чаяния, его социальные и нравственные поиски. Непосредственность и широта связей с жизнью народа всегда были характерны для русской классической литературы. Путь народа разносторонне отображался ею на разных этапах его исторического развития.

Советская литература достойно наследует эти качества литературы классической. Величайшие события периода Октябрьской революции и гражданской войны нашли в ней многократное отражение. При этом разнообразию изображаемой действительности соответствовало разнообразие художественных средств и приемов — от обобщенно-синтетической передачи облика народных масс («Падение Даира» А. Малышкина) до вершин психологического анализа индивидуальной человеческой души («Тихий Дон» М. Шолохова).

Советская литература была и остается оружием преобразования мира, утверждения народных идеалов в борьбе с яростно сопротивляющимся старым строем. В эпоху социалистических революций и национально-освободительных движений именно это решающее обстоятельство выдвинуло ее на первые рубежи, сделало ее всемирно известной и значимой.

Октябрьская революция, свершившаяся в стране многонациональной во имя каждой национальности, во имя национального равноправия и сотрудничества, определила интернациональный пафос советской литературы. Как об одном из величайших завоеваний Октября мы говорим о принципах интернационализма, ныне утвердившихся в сознании миллионов людей. «Мы — интернационалисты. Эти ленинские слова определяют важнейшую особенность нашей социалистической идеологии и одну из главных черт морального облика советского человека. Партия неустанно заботится об идейной закалке трудящихся

как убежденных интернационалистов и в международных делах, и во взаимоотношениях внутри страны».¹

Утверждению идей интернационализма постоянно содействовала советская литература. «Боевая задача литературы — патриотическое и интернациональное воспитание трудящихся», — говорится в приветствии ЦК КПСС IV съезду писателей СССР. Формирование интернационалистского миропонимания на переломе двух эпох — все это интересные и поучительные страницы истории советской литературы.

Изучение интернационализма советской литературы ведется в различных аспектах. Исследователи единодушны в том, что история советской литературы является вместе с тем историей становления интернационалистского миропонимания и отражения его в образах героев.² Интернационализмом проникнуты произведения писателей, стоявших у истоков советской литературы, — А. Блока, В. Брюсова, М. Горького, В. Маяковского, С. Есенина, Д. Бедного, А. Серафимовича. Интернациональный пафос звучит в творчестве ведущих советских писателей — Д. Фурманова, М. Шолохова, А. Фадеева, Б. Горбатова, М. Пришвина, Н. Тихонова, И. Эренбурга, К. Федина, П. Павленко и многих других. Для советской литературы характерен образ Макара Нагульнова, который «заострен на мировую революцию», потому что его сердце полно болью за людей, находящихся в капиталистическом рабстве.

Интернационализм советской литературы, ярко проявившийся прежде всего в ее мировоззренческом «настроении», может быть прослежен и в иных аспектах.

Межнациональное содружество способствует обогащению национальных литератур народов Советского Союза. Русская литература закономерно является для многих из них главным источником культурного обогащения и межнационального общения.

Русская литература сыграла значительную роль в становлении и идейно-эстетическом совершенствовании братских литератур. Надо подчеркнуть, что история туркменского, казахского и других народов свидетельствует о том, как много практически для развития литератур этих народов сделали русские советские писатели. Писательские бригады в начале 30-х годов по призыву М. Горького выявляли и помогали консолидировать национальные литературные силы «на местах».

Закономерно поэтому в последнее время вопросы межнационального взаимодействия и влияния привлекают все большее внимание исследователей. Творческое содружество братских литератур, общественное сотрудничество их представителей, межна-

¹ Интернациональное воспитание (передовая). «Правда», 1967, 29 мая.

² См., например: Г. Ломидзе. Интернациональный пафос советской литературы. Изд. «Советский писатель», М., 1967.

циональное взаимообогащение — все это становится предметом специальных книг, сборников, конференций.³

Исследователи отмечают также большое международное воздействие советской литературы.⁴ Именно под влиянием идей Великого Октября передовые писатели мира гневно поднимали свои голоса в защиту прав человека.

Существенно и то, что советские писатели, обращая внимание прежде всего на прогрессивные черты в характерах героев, на прогрессивные устремления той или иной нации, помогают своим примером и опытом писателям зарубежным в определении и утверждении передовых движущих сил современной действительности. Не случайно в центре многих произведений оказывается образ революционера, борца за свободу народа (А. Барбюс, А. Зегерс, Ю. Фучик, Л. Арагон, Д. Олдридж и др.). Даже на литературах стран Востока, в которых колонизаторы пытались убить волю к сопротивлению, ярко отразилось воздействие советской литературы.

История советской литературы богата примерами интернациональной дружбы. Известно, какую поддержку получили в СССР латышские писатели в период после 1919 г. (Р. Эйдман, А. Цеплис и др.). Благодаря помощи СССР не прервалась в середине 30-х годов антифашистская деятельность лучших представителей немецкой литературы (И. Бехер, В. Бредель и др.).

При анализе межнациональных взаимосвязей внимание исследователей обращено в основном на факты международного сотрудничества, творческой учебы, своего рода обмена опытом. Но этого недостаточно. Думается, что при изучении интернационализма советской литературы следует активнее ставить вопрос и о том, как формировались в ней характеры инонациональных героев, как отображалась инонациональная действительность.

Потребности времени обусловили живой интерес к этим вопросам. Однако интернациональная тема прослеживается, как правило, лишь в процессе развития той или иной национальной

³ См., например: Взаимосвязи и взаимодействие национальных литератур. Материалы дискуссии 11—15 января 1960 г. Изд. АН СССР, М., 1961; Материалы первой научной сессии, посвященной литературным связям русского, азербайджанского, армянского и грузинского народов. Под ред. В. С. Шадури. Изд. Тбилисского университета, 1962; Национальное и интернациональное в литературе и искусстве. Изд. «Мысль», М., 1964; Межнациональные связи и киргизская литература. Тезисы докладов. Фрунзе, 1966; Пути развития многонациональной советской литературы. Изд. «Наука», М., 1967.

⁴ См., например: Т. В. Балашова, О. В. Егорова, А. Н. Николюкин. Советская литература за рубежом. 1917—1960. Изд. АН СССР, М., 1962; И. Г. Неупокоева. Проблемы взаимодействия современных литератур. Изд. АН СССР, М., 1963; В. А. Ковалев. Мировое значение советского романа. В кн.: История русского советского романа, кн. 2. Изд. «Наука», М.—Л., 1965.

советской литературы.⁵ Становление национального характера в братских литературах исследуется при этом лишь в творчестве писателей данной национальности.

Между тем совершенно особые заслуги в воплощении инонациональных характеров принадлежат самому большому отряду советских литераторов — русским писателям. Жизни братских народов Советского Союза посвящены многочисленные прозаические произведения Д. Фурманова, Н. Тихонова, Л. Пасынкова, Р. Фатуева, П. Павленко, Б. Лапина, И. Меньшикова, Вс. Лебедева, А. Платонова, Вс. Иванова, Н. Никитина, В. Козина, Ю. Шестаковой, М. Пришвина, Ю. Либединского, Б. Горбатова, Г. Холопова, И. Кремлева, С. Мстиславского, Т. Семушкина, П. Лукницкого, Н. Шундика, М. Зуева-Ордынца, Х.-М. Мугуева, Э. Грина, М. Лоскутова, Р. Фраермана, А. Кожевникова, А. Коптелова и других прозаиков, не говоря уже о поэтах. Задачу воплощения инонациональных характеров успешно решали также русские писатели, работающие непосредственно среди своих героев в национальных республиках (И. Шухов, С. Бородин, П. Скосырев, Г. Велселков, А. Алматинская, А. Удалов, М. Шевердин и др.).

Важно подчеркнуть, что речь идет не о чисто тематических новациях. Лучшие произведения советской литературы, посвященные интернациональной теме, знаменуют собой и значительные идейно-эстетические достижения. Таковы «Сами» Н. Тихонова и «Города и годы» К. Фебина, «Скифы» А. Блока и «Лучший стих» В. Маяковского, «Последний из удэге» А. Фадеева и «Бронепоезд 14-69» Вс. Иванова, «Мятеж» Д. Фурманова и «Труженики мира» П. Павленко, «Это было в Коканде» Н. Никитина и «Джан» А. Платонова, «Обыкновенная Арктика» Б. Горбатова и «Афганистан» Л. Рейснер, «Алитет уходит в горы» Т. Семушкина и «Ниссо» П. Лукницкого, «Падение Парижа» И. Эренбурга и «Ветер с юга» Э. Грина, «Быстроногий олень» Н. Шундика и «Сотворение мира» В. Закруткина, «Живая вода» А. Кожевникова и «Стрелок из лука» П. Скосырева, «Великое кочевье» А. Коптелова и «Дэн Ши-хуа» С. Третьякова, «Дикая собака Динго» Р. Фраермана и «Голубой цветок» Л. Пасынкова, «Жень-шень» М. Пришвина и «Гидроцентральный» М. Шагинян.

Инонациональные образы полноправно входят и в книги, посвященные русской среде. Важно постигать и раскрывать новые закономерности нашей действительности, в условиях которой все большую роль играют межнациональные связи и отношения. И этот процесс все сильнее дает о себе знать. Вот почему прав исследователь,⁶ когда отмечает, что в настоящее время образовался

⁵ Например: С. Мирвалиев. Поэзия жизни и борьбы. Изд. АН УзССР, Ташкент, 1962.

⁶ Г. Н. Хлыпенко. Проблема инонационального характера в современной советской литературе. В кн.: Межнациональные связи и киргизская литература. Тезисы докладов. Фрунзе, 1966, стр. 9.

даже новый тип произведений с многонациональным составом действующих лиц.

Первооткрывательская роль русской советской литературы в освещении инонациональной действительности несомненна. Всем, например, известен Ю. Рытхэу как первый чукотский писатель. Но в общей истории советской литературы Чукотка немыслима без Т. Семушкина, который в 30-е годы изобразил перестройку жизни в этом крае и воспроизвел «образ чукотского народа».⁷

Очевидна давно назревшая необходимость специального рассмотрения интернациональной темы в русской советской литературе. Однако до сих пор в общих работах этой теме как теме отображения инонациональных характеров места почти не уделяется. Нет ни одного труда, посвященного этой проблеме в советской литературе в целом.

Интернациональная тема почему-то не изучается в работах о межнациональных литературных связях, хотя, казалось бы, ее нельзя обойти при изучении этих связей. В статьях и книгах о братских литературах крайне скупо освещается опыт работы современных русских писателей на инонациональном материале.⁸

Правда, порой позиция ученого определяется точно, но несколько односторонне. Например, популярна такая постановка вопроса: как обращение к инонациональной действительности и литературе способствовало творческому развитию и практике русских советских писателей?⁹ Но очевидно, что наша тема нуждается и в ином повороте.

Одной из «первых ласточек» была в свое время статья А. Макарова «Социалистический гуманизм в действии».¹⁰ Автор специально анализировал изображение русскими советскими писателями инонациональной действительности. Общее значение работы несколько сужает то, что она посвящена, по замыслу автора, лишь народам «окраин».

В самое последнее время стали появляться труды, в которых прослеживается становление той или иной национальной темы в русской советской литературе.¹¹ Отрадно также то, что интер-

⁷ А. С. Макаренко, Сочинения, т. 7, Изд. Академии педагогических наук РСФСР, М., 1958, стр. 280.

⁸ Например: Д. Романенко. У могучих истоков. Изд. «Советский писатель», М., 1963; Проблемы развития литератур народов СССР. Изд. «Наука», М., 1964.

⁹ К. Зелинский. Что дают русской литературе народы СССР? Изд. «Знание», М., 1965.

¹⁰ В книге: А. Макаров. Воспитание чувств. Изд. «Советский писатель», М., 1957.

¹¹ Л. М. Соколова. Дагестан в русской советской литературе. Махачкала, 1963; Г. Владимиров. Знамя дружбы. В одноименной книге того же автора. Ташкент, 1964; Ю. П. Андрианов. Русско-узбекские литературные связи (30-е годы). В сб.: Литература правды и мечты. Кемеровское кн. изд., 1966.

национальной теме начинают посвящать страницы и в общих исследованиях по истории советской литературы.¹²

Чем же интересна и значительна избранная нами тема?

В интернациональной теме советская литература обнаруживает одну из коренных своих особенностей. Более того, интерес к жизни других народов и дружественное понимание ее являются существенным проявлением метода социалистического реализма. Ведь именно в условиях социализма открывается простор для равноправного сотрудничества, для воплощения в жизнь мысли о том, что «всякая нация может и должна учиться у других».¹³ Изучение интернациональной темы содействует раскрытию гуманистического пафоса литературы социалистического реализма.

В борьбе против национализма, с одной стороны, и национального нигилизма, с другой, коммунистическая партия наметила подлинно верное решение национального вопроса. Владимир Ильич Ленин еще в предреволюционные годы подчеркивал, что во всех случаях необходимо «бороться *против* мелконациональной узости, замкнутости, обособленности, за учет целого и всеобщего, за подчинение интересов частного интересам *общего*».¹⁴ Но, выступая против национализма, Ленин видел глубокую связь национально-освободительного движения с пролетарской борьбой за социализм. Протестуя против национального нигилизма, В. И. Ленин критиковал догматиков и сектантов в международном социалистическом движении, которые требовали «пропаганды индифферентизма по отношению к «отечеству», «нации», считая, что в ходе пролетарской революции должно произойти немедленное слияние всех наций. Требование устранения разнообразия, уничтожения национальных различий Ленин заклеймил как «вздорную мечту».¹⁵ По мнению В. И. Ленина, национальный вопрос является неотъемлемой частью вопроса о социалистической революции, которая не только не «отменяет», но поддерживает национально-освободительные движения народов. Опыт последнего полувека свидетельствует о торжестве идей пролетарского интернационализма. Практика социалистического, а затем и коммунистического строительства вела и ведет к укреплению национальных чувств и одновременно к росту интернационалистского сознания. Обращение к инациональному материалу дает писателю возможность шире отразить эти процессы.

Путь к будущему слиянию наций лежит, как известно, через их длительное развитие. Имея в виду правильную национальную

¹² Л. Ф. Ершов. Русский советский роман. Национальные традиции и новаторство. Изд. «Наука», Л., 1967.

¹³ К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. 23, Госполитиздат, М., 1960, стр. 10.

¹⁴ В. И. Ленин, Полное собрание сочинений, т. 30, стр. 45.

¹⁵ Там же, т. 41, стр. 77.

политику, В. И. Ленин писал: «Тут надо быть архистрогим... тут шутить нельзя, тут надо быть 1000 раз осторожным».¹⁶ Мы не должны забывать ленинского положения о том, что, пока есть нации, безнациональной литературы нет и быть не может. Изучение национальных условий убеждает в непреложности этого положения. Следовательно, решение коренной проблемы — раскрытие интернационального, общечеловеческого — может быть достигнуто лишь с учетом национального и только через него, а не в условных вненациональных схемах. Естественно, все это происходит на основе конкретного социального анализа, посредством учета национальных традиций, четкой дифференциации их. В наше время, время национально-освободительных движений, время укрепления существующих и консолидации складывающихся наций, вопрос национального своеобразия как вопрос, общезначимый для мирового литературного процесса, имеет особенно важное значение.

Вместе с тем история литературы учит, что на различном национальном материале могут решаться самые различные вопросы, поставленные бесконечно разнообразными условиями жизни. В самом деле, ряд проблем послереволюционной действительности на инациональном материале получает специфическое освещение по сравнению с тем, как решались сходные задачи на материале русской жизни. Это и не случайно, поскольку в реальной действительности существует многообразие путей народов к социализму.

Само собой разумеется, что раскрытие национального своеобразия в облике героя, как и в общем «настрое» литературы, отнюдь не ведет писателя к национальной обособленности. Напротив, лучшее понимание национальных особенностей других народов способствует обнаружению черт сходства, росту взаимопонимания и взаимного интереса, способствует интернационалистскому воспитанию. Проникая в инациональную среду, обогащаешь свой опыт знанием вновь постигаемых элементов культуры, быта, нравов. Особенно отчетливо это видно на примере творчества Эльмара Грина, много потрудившегося над решением задач, продиктованных условиями жизни эстонского и финского народов. Обогащение инациональной стихией, конечно, не имеет универсального характера и определяется индивидуальностью автора.

Творческое использование инационального материала лишний раз свидетельствует о зрелости русской советской литературы, ибо «национальное начало литературы определяется, наконец, и тем, в какой мере она восприняла, переработала и творчески развила национальное начало других литератур».¹⁷

С другой стороны, успеха в интернациональной теме может добиться только тот художник, который уважает и ценит свой собственный народ.

¹⁶ Там же, т. 53, стр. 190.

¹⁷ И. Б е х е р. В защиту поэзии. ИЛ, М., 1959, стр. 84.

Стремясь передать «характер друга иной народности» «во всей полноте» (П. Павленко), писатель вовсе не отрекается от собственной национальности. Наоборот, и здесь он смотрит «глазами своей национальной стихии». ¹⁸ При этом он, естественно, опирается прежде всего на опыт своей литературы. Так, например, обратившись в 30-е годы к изображению эстонской деревни, Эльмар Грин смог использовать опыт современной русской литературы, в частности М. Шолохова, чтобы глубоко передать индивидуалистическое мировоззрение как вчерашний день эстонской деревни и обрисовать пути ее жителей к новому социально-общественному укладу.

Интернациональная сущность русской советской литературы определяется также и тем, что она является наследницей традиций литературы классической. Ее интернационализм — выражение одной из сторон русского национального характера. «Всемирную отзывчивость» Достоевский называл «главнейшею способностью нашей национальности». ¹⁹

Отражая наиболее существенные проблемы современности, учитывая повороты мировой политики, подъем революционно-освободительного движения, произведения на интернациональную тему передают борьбу трудящихся всех стран, национально-освободительную борьбу в колониях и самое главное — запечатлевают становление нового человека в условиях ломки старого строя и строительства новых общественных отношений. В лучших книгах отражен этот процесс в конкретных исторических условиях, показаны этапы его становления. При этом неизбежно происходит социальное размежевание героев, так как только на путях укрепления классового сознания возможно формирование человека завтрашнего дня. В борьбе вырабатывается качественно новое понимание патриотизма, соединяющее национальное и интернациональное чувства в прочный сплав.

¹⁸ Н. В. Гоголь, Полное собрание сочинений, т. 8, Изд. АН СССР, М., 1952, стр. 51.

¹⁹ Ф. М. Достоевский, Полное собрание сочинений, т. 12, СПб., 1906, стр. 432.

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН¹

- А. К.** 410
 Аблесимов А. О. 71
 Аввакум, протопоп 266—273
 Августы (династия) 103
 Аветов С. С. 390
 Авилова Л. А. 433
 Агриппа 285
 Адашев 114, 115
 Аддисон Д. 292
 Адодуров В. Е. 290
 Адриано́ва-Перетц В. П. 237, 239, 242, 245, 248
 Азадowskiй М. К. 43
 Адриано́ва-Перетц В. П. 237, 239
 Аксаков К. С. 225, 226, 338
 Аксаков С. Т. 439
 Аксаковы 338
 Аламбер д' 293
 Александр Македонский 320
 Александр Невский 248
 Александр I 303, 308, 312
 Александр II 59—61, 68, 139, 403, 405, 408, 415, 418, 426.
 Александр III 332, 363, 392
 Александров А. Д. 12
 Алексеев А. Д. 370—375
 Алексеев В. А. 399
 Алексеев М. Н. 210
 Алексеев М. П. 3, 32, 99—111
 Алексеев Н. С. 308
 Алексей Михайлович, царь 262, 268
 Аллан, артист 356
 Алмаатинская А. 454
 Альминский см. Пальм А. И.
 Амвросий, архиепископ 257
 Амфитеатров А. В. 192, 204
 Ангелов Б. Ст. 239
 Андреев Л. Н. 196, 201, 204, 205, 208, 434
 Андреев Н. П. 43
 Андреева М. Ф. 215
 Андрианов Ю. П. 455
 Анкина А. 138
 Анненков П. В. 62, 63, 133, 136
 Анненский Н. Ф. 434
 Антонович М. А. 144, 346
 Апполоний 110
 Арагон Л. 209, 220, 453
 Арапов 89
 Арбенин см. Пальм Г. А.
 Арешян С. Г. 11
 Ариосто Л. 73, 83
 Ариольди А. И. 329, 331
 Арсений [Верещагин], архиепископ 256, 257
 Арсеньев И. А. 123
 Артемьева С. Б. 390
 Архангельский А. С. 28, 29
 Арциховский А. В. 241
 Асташева см. Поздеева А. П.
 Атава С. см. Терпигорев С. Н.
 Аттая М. О. 106
 Ахматова А. А. 208
 Ахшарумов Д. Д. 343
 Бабкин Д. С. 59—69, 297—299, 303
 Бабович М. 240
 Багницкий Л. 347
 Бадалич И. 238, 240
 Базанов В. Г. 102
 Базилевская Е. В. 378
 Базаров (Руднев) В. А. 166
 Байер Т. З. 285, 289
 Байков А. М. 326—328, 330, 3'
 Байрон Дж.-Г. 35, 73, 82—85, 87, 108, 321—324
 Бакунин М. А. 20, 409
 Балабина М. П. 334
 Баласогло А. П. 343

¹ Составила Е. Н. Монахова.

- Балашова Т. В. 453
 Балыклейский 392
 Бальде 291
 Бальзак О. де 37, 38
 Бангыш-Каменский Н. Н. 236
 Баранов С. Ф. 191
 Баранцевич К. С. 434
 Баратынский Е. А. 85, 122, 323, 325
 Барбье А.-О. 140
 Барбюс А. 209, 453
 Бардин И. П. 447
 Барледи М. 367
 Барсов Е. В. 231
 Баскаков Н. А. 241
 Батлер С. 83
 Батюшков К. Н. 89, 96
 Батюшков Ф. Д. 432, 434—436
 Бахметьев П. А. 358
 Бахтин М. М. 341
 Бахтин Н. И. 91
 Бебутов К. А. 348
 Бегичев С. Н. 97, 98
 Бегунов Ю. К. 236—249
 Бедный, Демьян 452
 Бекенштейн И. С. 285, 288, 289
 Беланский В. Г. 5, 6, 11, 16, 30, 76—78, 119, 122, 125, 126, 129, 193, 302, 318, 337, 338, 340, 377, 432
 Белова Н. М. 437
 Белооголовый Н. А. 136
 Бельчиков Н. Ф. 8, 11, 26—33
 Беляев А. П. 107, 420
 Беляков Н. А. 391, 394
 Беневоленский Ювенал см. Заго-
 скин М. Н.
 Бенедиктов В. Г. 378
 Бенкендорф А. Х. 100
 Беранже П. Ж. 74
 Берви-Флаеровский В. В. 405
 Бердников Я. И. 283
 Берже 352
 Берков П. Н. 10, 29, 30, 239, 282—
 290
 Берлиандт Г. 380
 Бершкер Э. 234
 Бестужев-Марлинский А. А. 74, 83,
 125, 338
 Бехер И. Р. 453, 457
 Библик А. 207
 Биландерлинг А. А. 326, 329, 331
 Бим-баша, Савва см. Каменарц,
 Савва
 Бирюков Ф. Г. 91
 Бихтер А. М. 139
 Благой Д. Д. 79, 291
 Блаанков Ж. 238, 246
 Блок А. А. 208, 337, 339, 452,
 454
 Блаументрост Л. 287
 Блэр В. 43
 Боборыкин П. Д. 204
 Богач Г. Ф. 191, 305, 309, 314
 Богданов А. Н. 437
 Богданов П. Д. 266
 Богданович И. Ф. 73, 83
 Богошич Б. 361
 Богомолов И. С. 330
 Богопольский 394
 Боград В. Э. 353—356
 Бодуэн де Куртенэ И. А. 230
 Бойчевский П. В. 331
 Боккаччо Дж. 73, 99
 Болиц Н. 367
 Болтин И. Н. 256
 Болховитинов Е. 242
 Бондарев Г. М. 164
 Борисов Н. 52
 Борисов П. 107
 Бородин С. 454
 Бортон, артист 355
 Боткин В. П. 338, 353—356
 Боткин М. П. 330
 Боткин, купец 101
 Бочкарев В. А. 112—121
 Боян, певец 245
 Браиловский С. Н. 91, 263—265
 Брандт Р. Ф. 232, 234
 Брант Л. 353
 Браун М. 240, 247
 Бредель В. 453
 Бретон Р. де ла 293
 Брканович, Душан 363
 Брокгауз Ф. А. 415
 Броневский С. Б. 100
 Брюлова С. К. 173
 Брюсов В. Я. 5, 208, 452
 Брянцев А. М., цензор 300, 301
 Буало Депрео Н. 291, 292, 296
 Буганов В. И. 50—52, 55, 56
 Будагова Е. Г. 392
 Будагова Т. Г. см. Попова Т. Г.
 Будагова Ю. Г. см. Фабрикан-
 това Ю. Г.
 Буданова Н. Ф. 173
 Бужинский, Гавриил 274, 275, 279,
 281
 Булатов С. С. 245
 Бунин И. А. 202—204, 232
 Буренин В. П. 175, 423, 432
 Бурсов Б. И. 36—39
 Буташевич-Петрашевский см. Петра-
 шевский М. В.
 Бух Н. К. 401
 Бухштаб Б. Я. 138
 Бучинский Д. 238
 Бушканец Е. Г. 399—407
 Бушмин А. С. 4, 131—137

- Быков П. В. 90
 Быковский Иоиль см. Иоиль Быковский, архимандрит
 Быстрова-Чернышевская Н. И. см. Чернышевская-Быстрова Н. И.
 Бычков И. А. 266
 Бэском Ч. 43
 Бялик Б. А. 191
- Вагнер Г. К.** 106
 Вайян А. 243, 246
 Валк С. Н. 30
 Ван-Геннеп А. 44
 Вандриес Ж. 228
 Вараньяк А. 44
 Варнеке Б. В. 91
 Варсонофий, архиепископ 57
 Васильев А., священник 58
 Васильев А. В. 369
 Васильев Е. С. 358
 Васильев Р. С. 358
 Васильев С. Е. 358
 Васильева О. С. см. Чернышевская О. С.
 Васильчиков А. И. 327, 409
 Вебер Г. 390, 391, 394, 396, 397
 Векслер И. И. 134
 Велижаров 403, 404
 Венгеров С. А. 5, 17, 139, 436
 Веневитинов Д. В. 112, 113
 Веневитиновы 112, 113
 Венке 106
 Вересаев В. В. 202, 204, 207
 Верещагин, Арсений см. Арсений, архиепископ
 Верещагин И. 283, 287—289
 Вернадский И. В. 178
 Весёлков Г. 454
 Веселовский А. Н. 34, 91
 Весёлый, Артем (Кочкуров Н. И.) 222
 Вешняков М. 52
 Виланд Хр.-М. 73
 Виленская Э. С. 398
 Вилинбахов В. Б. 241
 Вильчинский В. П. 122—130
 Вильямс А. 19
 Виноградов В. В. 225—235
 Висковатов П. А. 328, 330, 333
 Витченз Г. 248
 Витязев Ф. 143
 Владимиреску, Тудор 305—311, 313, 314
 Владимиров Г. 455
 Вогюэ М. де 209
 Волк С. С. 107
 Волков Ан. 10
 Волконский С. Г. 379.
 Волохов Д. К. 344
- Волоцкий, Иосиф 57
 Вольнис, артист 356
 Вольтер (Аруэ Ф.-М.) 49—51, 72, 87, 292
 Вульф А. 354
 Воынский А. (Флексер А. Л.) 423
 Ворагине Я. де 105
 Ворт Д. С. 244
 Вульфсон Г. Н. 359
 Вэй Хуан-ну 238
 Вяземский, губернатор 395
 Вяземский П. А. 85, 86, 306, 308
- Гаевский В. П. 329
 Гайденков Н. М. 71
 Галерий 104
 Гарин-Михайловский Н. Г. 202
 Гаркави А. М. 139
 Гарпенко см. Кюхельбекер В. К.
 Гафиз 109
 Гегель Г.-В.-Ф. 31, 377
 Гейдебуров П. А. 410
 Геннадий, архиепископ 57
 Гентцо 312
 Генчу, капитан 313
 Гераклитов А. А. 263
 Герман, архиепископ 327
 Герцен А. И. 22, 59, 62—64, 67, 129, 301, 339, 340, 346, 439
 Герье В. И. 409
 Гёте И.-В. 31, 35, 81, 82, 107—111
 Гиббон Э. 105, 106
 Гизо Ф.-П.-Г. 74, 106
 Гиппиус В. В. 337, 339
 Глебов П. 52
 Глинка Б. Г. 109
 Глинка Н. Г. 103
 Глинка Ю. К. 104
 Глюк, пастор 282, 288
 Гнедич Н. И. 73, 123, 319
 Гнедич П. П. 326
 Гоголь Н. В. 6, 19, 24, 30, 37, 122, 128, 133, 205, 234, 334—342, 458
 Голенищев-Кутузов И. Н. 241
 Голиков И. И. 258, 259, 263
 Головачев А. Ф. 409
 Головенченко Ф. М. 239
 Голохвастов Г. 239
 Голсуорси Д. 212, 213, 216
 Голубков В. В. 441
 Гольдсмит 104
 Гольдсмит И. А. 399, 400, 403, 404
 Гольдсмит С. 402—404
 Гольдсмиты 402, 403, 406
 Гомер 82
 Гончаров И. А. 6, 9, 37, 87, 370—375
 Гончаров Н. А. 372
 Горбатов Б. Л. 452, 454

- Гордынский С. 239, 240, 247
 Горенштейн М. С. 370
 Горлецкий И. 289, 290
 Горталов Н. 365
 Горчаков Д. П. 71
 Горький М. 6, 9, 10, 17, 18, 26, 66, 87, 164—166, 191—209, 211—213, 215—217, 221, 436—443, 448, 452
 Граббе П. X. 418
 Грабовский П. А. 336
 Гранин Ю. 127
 Гревс И. М. 8
 Грек, Максим 57
 Грессе 72
 Греч Н. И. 101
 Грибоедов А. С. 5—7, 9, 26, 33, 59, 88—98, 352
 Грибоедов А. Ф. 92
 Грибоедов С. 51, 52
 Грибоедова Н. 352
 Григорович Д. В. 329, 330, 357, 432, 434
 Григорьев Ап. А. 77, 126—128
 Григорьев П. В. 139, 354
 Григорьев Я. 353
 Григорьян К. Н. 3—12, 319
 Григорян А. 208,
 Грин Э. 454, 457
 Груздев А. И. 376—379
 Грушевский М. С. 192
 Гуд, Томас 140
 Гудзий Н. К. 8, 241, 242, 245, 255, 256
 Гуковский Г. А. 292
 Гумилев Л. Н. 248
 Гурьева М. Н. 328
 Гурьянов В. П. 297—304
 Гусев В. Е. 42—48, 59
 Гусев Н. Н. 61, 63
 Гюго В. 35, 38, 321, 346

 Давыдов Д. Л. 306
 Даль В. И. 129, 234
 Даль Г. Ю. 299
 Дальберг, граф 275
 Данилевский А. С. 335, 341
 Данте Алигьери 82, 321
 Дарвин Ч.-Р. 171
 Двойченко-Маркова Е. М. 305, 309
 Деборин А. М. 227, 228
 Дебу И. М. 343
 Дейч Л. Г. 139, 167, 171, 172
 Демишлеров см. Полевой Н. А.
 Державин Г. Р. 73, 109
 Державина О. А. 251, 258
 Десницкий В. А. 339
 Деций (Декий) 104—107, 109

 Джами 108, 109
 Джурич, Митра 367
 Дзиндзай К. 238
 Диаманди 314
 Дидро, Дени 293
 Диккенс Ч. 39, 133, 341
 Димитровски Т. 238
 Диоген Лаэртский 110
 Диоклетиан 101, 103, 104
 Диоклея 104
 Дмитриев И. И. 71—73, 76
 Дмитриев Л. А. 241, 242, 253—256
 Дмитриева Р. П. 241
 Днепров В. 216
 Добролюбов Н. А. 6, 30, 59, 62, 139, 141, 144, 389, 410, 411
 Добрынин М. К. 421
 Довженко А. П. 211
 Додэ А. 346
 Докусов А. М. 11
 Долганов 402
 Долгоруков П. И. 315
 Доленга-Ходаковский Э. 247
 Домов С. О. 263
 Дондуков-Корсаков А. М. 329, 330
 Дорошкевич О. 258—260
 Дорсон Р. М. 43
 Досифей, игумен 57
 Достоевский М. М. 353
 Достоевский Ф. М. 6, 20, 22, 24, 37, 38, 128, 130, 141, 147, 199, 203—205, 335, 339, 340, 343, 344, 426, 458
 Дохтуров А. С. 52
 Драгиевич, Ристо 363
 Дрентельн А. Р. 403, 404
 Дреч Й. 361
 Дробленкова Н. Ф. 244
 Дружинин А. В. 127
 Дубровин Н. 101
 Дудин, Христофор 58
 Дуров С. Ф. 343, 349
 Дурылин С. Н. 107, 108
 Дьяков см. Незлобин А.
 Дьяконов М. А. 4
 Дылевский Н. М. 248

 Евгеньев-Максимов В. Е. 138, 139, 376, 399
 Евдокимова Е. А. 328
 Евреинова А. М. 434
 Евтихий, патриарх 105
 Егомин А. 138
 Егорова О. В. 453
 Екатерина II 60, 61, 66, 67, 251, 256, 299, 302
 Елизавета Петровна 293
 Елисеев Г. Э. 139, 141, 143—146

Енекава М. 238
Еремий И. П. 248, 262, 274, 279
Ермак 114—118
Ермилов В. В. 184, 185
Ершов Л. Ф. 456
Ерьмовский К. И. 394, 395
Есенин С. А. 452
Есин Б. И. 399
Ефремов П. Е. 432

Желтова Н. И. 161—166
Жемчужников А. А. 399—401, 405,
406
Жданов В. А. 150—160
Жирмунский В. М. 108
Жихарев С. П. 89
Жохов Н. Ф. 403
Жукова М. С. 127
Жуковский В. А. 37, 101, 120
Жуковский В. И. 402, 405

Забелло П. П. 330
Заводовский П. В. 303
Загоскин М. Н. 88, 90, 98, 356
Зайденшнур Э. Е. 32, 164
Зайцев В. А. 138
Закруткин В. А. 454
Засодимский П. В. 193, 411, 438
Засулич В. И. 401
Зауер А. 43
Захарова В. А. 191
Зегерс А. 453
Зелинский К. Л. 455
Зибер Н. И. 400
Зилов А. 71
Зильберфарб И. 24
Зимин А. А. 240—242, 245, 249—
251, 253
Зичи М. А. 330
Златовратский Н. Н. 167—173, 411,
438
Зотов Р. 353
Зув-Ордынец М. 454
Зульцер 72
Зыбин Н. А. см. Иванчин-Писа-
рев А. И.
Зых Г. 240

Иван IV Грозный 114, 115, 117,
261, 262
Иван Алексеевич (Иоанн Алексеевич)
53, 262, 263
Иван Черноевич 365, 367, 368
Иванов Вс. В. 454
Иванов В. Ф. 447
Иванов И. 99, 100

Иванчин-Писарев А. И. 404, 405
Иглол Э. 239
Измайлов А. Е. 71, 74, 75
Измайлов М. Л. 302
Измайлов Н. В. 306, 309
Иларион, митрополит 58
Илличевский А. Д. 71
Ильинский Г. А. 225, 231—233
Ильинский И. Ю. 288—290, 293
Инзов И. Н. 308
Иовидзе А. 347
Иоиль Быковский, архимандрит 240,
242, 250—255, 257—260
Иордаки Олимбюти см. Олимбюти
Иордаки
Иордан Ф. И. 331
Ипполитов-Иванов М. М. 380—388
Испланти, Александр, князь 306,
309—314
Истомин, Корнион 262—265
Истомина, Евдокия 265

Кавелин Л. А. 262—265
Каверин П. П. 94
Кагаров Е. Г. 46
Калайдович К. Ф. 250
Калмыкова А. М. 66, 68
Каменари, Савва 305, 311—315
Каменский, граф 129
Каминский В. И. 174—182
Кант И. 31
Кантакузен, Георгий 311
Кантемир А. Д. 283, 288, 291—296
Кантемир Д. 293, 294
Каракозов Д. В. 139, 143, 426
Карамзин Н. М. 114, 115, 117
Карандеев А. Ф. 52
Каранов Е. 237
Каратыгин П. П. 329
Карл XII 276
Каронин см. Петропавловский Н. Е.
Касаткин А. А. 339
Касты Д. 73
Касторский В. 204
Катанян В. А. 449
Катенин П. А. 88—91, 98, 112
Катков М. Н. 144, 411, 422
Кашкаров В. 353
Келдыш В. А. 443
Кессель Л. М. 110
Кжижановский Ю. 43, 44
Кибальчич Н. И. 405
Кимура С. 238, 240
Кимура Х. 238
Кипарский В. 229, 243, 247
Кирджали, Георгий 316
Кирев И. 107
Киревские, братья 62

- Киреевский И. В. 62
 Киселев Н. П. 431
 Киселева А. 433
 Кисляков В. Е. 268
 Киткович Е. 390
 Клеменц Д. А. (Топорнин П.) 400, 401, 404
 Клепиков С. А. 267
 Клибанов А. И. 241
 Клименко Е. И. 322
 Клопшток Ф.-Т. 300
 Клушин А. И. 71
 Ключе Фр. 229
 Княжнин Я. Б. 72
 Кобрин В. Б. 241
 Ковалев В. А. 453
 Кожевников А. В. 454
 Козин В. 454
 Козодавлев О. П. 298
 Козьмин Б. П. 360
 Коккьяра Дж. 44
 Кокшарская О. Ф. 389
 Кокшарский А. Г. 389
 Колаклидес П. 248
 Колобов Н. 52
 Кольцов А. В. 37
 Комиссаров-Костромской О. И. 139, 143
 Коммод 103
 Кондаков Н. П. 434
 Кони А. Ф. 434
 Кони Ф. А. 302, 343, 353
 Конкин С. С. 100
 Констан Б. 82
 Константин Николаевич, великий князь 371
 Коншина Е. Н. 431
 Коперник Н. 226
 Коптелов А. 454
 Корганов К. 390
 Корзо Р. 44
 Кормилич, Владислав 247
 Корнилов Л. Г. 218
 Корниловы 403
 Коровин С. 289, 290
 Короленко В. Г. 6, 16, 174—182, 197, 201—204, 206, 389, 439
 Короленко Н. В. 176
 Короленко С. В. 176
 Короленко Ф. 176
 Короленко Ю. Г. 174
 Королева Н. В. 103
 Корочевский Д. А. 399, 400, 402—406
 Корсаков П. А. 89—91, 98
 Корш Ф. Е. 106
 Костиц Л. 361
 Костомаров Н. И. 358
 Коструба П. О. 239
 Котельников С. А. (Котельникян) 393—396
 Котельникян см. Котельников С. А.
 Котляревский И. П. 240
 Коц Е. С. 129
 Коцюбинский М. М. 166, 206
 Кравчинский С. М. 402, 404, 422
 Краевский А. А. 174, 178, 329, 331
 Крамарева О. 91
 Крамской И. Н. 329
 Кранцфельд М. С. 410
 Красовский Ф. С. 258
 Крашенинников С. И. 266, 268, 271
 Кревье Ж. 104
 Крекшин П. Н. 50, 52—55
 Кремлев И. 454
 Крестова Л. В. 251—254
 Крестовский Вс. В. 232
 Кривенко С. Н. 167, 405
 Кристиансен 222
 Кропоткин П. А. 139
 Крупская Н. К. 209
 Крылов И. А. 83
 Крымский А. 106
 Кувшинникова С. П. 434
 Кудрявский Д. Н. 227
 Кузьменко Р. И. 6
 Кузьмин А. И. 274—281
 Кузьмин Д. 405
 Кузьмина В. Д. 241, 251—254, 291
 Кулиш П. А. 336
 Курбский А., кн. 57, 116
 Кутузов А. М. 62, 300, 301
 Кучум 116
 Кушнеров, издатель 65
 Кюхельбекер В. К. 4, 99—112, 302, 304
 Кюхельбекер Ю. К. 99
 Лаврецкий Н. И. 330
 Лавров П. Л. 143—146, 167
 Лазар, игумен см. Томанович, Лазар
 Ламанский В. И. 369
 Лангауз 406
 Лапин Б. 454
 Ларан М. 242
 Ларин Б. А. 229
 Лафарг П. 346
 Лафонген Ж. де 70, 72, 73
 Лахтин А. К. 302
 Лебедев Вс. 454
 Лебедев, цензор 135
 Левин Ш. М. 401
 Левитан И. И. 433
 Левитов А. И. 438
 Легавка М. П. 305—316
 Легрейд А. 248

- Лсер Г. А. 419
 Лейбниц Г.-В. 227
 Лейкин Н. А. 435
 Лейтнекер Е. Э. 431
 Ленин В. И. 15—21, 23, 24, 65, 69, 146, 166, 346, 398, 406, 451, 456, 457
 Ленский см. Онгирский Б. П.
 Леонов Л. М. 210
 Лепав Й. 361
 Лепки Б. 239
 Лермонтов М. Ю. 6, 12, 77, 78, 127, 128, 130, 147, 217, 317—333, 433
 Лесков Н. С. 37, 199, 232
 Лесной С. 239, 240
 Лессинг Г.-Э. 293
 Летносторонцева см. Пальм А. А.
 Либединский Ю. Н. 454
 Лилов А. И. 57
 Липовски Б. 237
 Липранди И. П. 305, 307—315
 Лихачев Д. С. 239, 241—243, 245, 253
 Лобанов М. Е. 123
 Лобысевич П. 71
 Лодыженский П. 71
 Лозинский М. 320
 Ломидзе Г. 208, 452
 Ломоносов В. Д. 56
 Ломоносов М. В. 6, 49—58, 251, 288, 296
 Лонгинов М. Н. 62, 300
 Лопатинский Феофилаки 274
 Лоскутов М. 454
 Лотман Ю. М. 79, 339
 Луальд, Антоний 294
 Луговой А. А. 433, 434
 Луи-Филипп 336
 Лукач Г. 203
 Лукницкий П. 454
 Лукьянов В. В. 258, 261
 Луначарский А. В. 5, 7, 196, 197, 215
 Лупанова И. П. 192
 Лурье Я. С. 241
 Льховский И. И. 373
 Лыжин Н. П. 359
 Лэнг Э. 43
 Ляпунов О. 268
 Лясковский В. 113
 Ляцкий А. Е. 236, 237, 242
 Магницкий Л. 283
 Магницкий М. Л. 411
 Мазепа, гетман 277, 280
 Мазон А. 236, 240, 242, 245, 249—251, 253
 Майдель Е. И. 418—420
 Майер, Луиза 355
 Майков А. Н. 329
 Майков В. И. 71
 Майков Н. А. 374
 Майкова Евг. П. 374
 Майковы 374
 Майнов В. Н. 405
 Маич А. 44
 Макаренко А. С. 455
 Макаров А. 455
 Македонский, Павел см. Павел Македонский
 Маковский К. Е. 330
 Максимов Д. 399
 Мал, древлянский князь 243
 Малиновский А. Ф. 236
 Малова М. И. 431—436
 Малышев В. И. 266—273
 Малышкин А. Г. 222, 451
 Маметкул 116
 Мамин-Сибиряк Д. Н. 203, 204
 Манассия, Константин 248
 Манн Т. 212, 214, 216, 218
 Манн Ю. 29
 Мануйлов В. А. 417—420
 Марио, Октавио 294
 Марию А. 44
 Маркович, Светозар 365
 Маркс А. Ф. 426, 432, 435
 Маркс К. 216, 346, 365, 456
 Мармонтель Ж.-Ф. 72
 Марр Н. Я. 228
 Мартини М. Л. 238
 Мартинович Н. С. 44, 361—369
 Мартынов П. К. 419
 Мартынов Н. С. 327
 Мартынов, артист 355
 Масанов И. Ф. 100, 415
 Маслянка Я. 247
 Маслович В. 72
 Матавуля С. 361
 Матвеев А. А. 50, 52—55
 Матвейчук Н. Ф. 191
 Матвейка Л. 244
 Матушинский А. М. 330
 Маутнер Фр. 226, 227
 Мацнев Н. 71
 Мачавариани Т. М. 347
 Маяковский В. В. 209, 211, 445—450, 452, 454
 Медведев, Снявстр 52, 54, 265
 Медведева И. Н. 319
 Мезенцев Н. В. 360, 402, 404
 Мей Л. 354
 Мейе А. 234, 235
 Мейер И. 43
 Меньшиков А. Д. 284, 288
 Меньшиков И. 454

- Меньшиков М. О. 422, 427, 430
 Меньшикова М. А. 282—284, 288
 Мережковский Д. С. 202
 Мерзляков А. Ф. 72
 Месхи С. 347
 Меценат 285
 Мещеряк, Матвей 117
 Мижуев П. П. 329, 330
 Микешин М. О. 329
 Милачевич М. Д. 366
 Милославские 262, 263
 Милославский И. 53
 Минаев Д. Д. 348
 Минюкин М. В. 437
 Мирвалев С. 454
 Миролубов В. С. 432, 435
 Михаил, царь 50
 Михаил, митрополит 362
 Михайлов А. Д. 139
 Михайлов Е. В. 360
 Михайлов М. И. 248
 Михайлов Н. В. 362
 Михайлова А. Н. 326—333
 Михайлова С. Б. 167—173
 Михайловский Б. В. 11
 Михайловский Д. Л. 405
 Михайловский Н. К. 346, 349, 409, 410
 Михали 312
 Михельсон В. А. 370
 Могилянский А. П. 421—430
 Мозер, Юстус 31
 Моисеева Г. Н. 49—58
 Молчановский Н. В. 415
 Момбелли Н. А. 343
 Монгайт А. Л. 241
 Монтеверде П. А. 329
 Мопассан Ги де 39
 Мордвинов И. П. 282, 283, 285, 287, 289
 Мордовцев Д. Л. 358
 Морнак К. 25
 Морозов А. А. 49, 58, 291—296
 Морозов М. 275
 Морозов Н. А. 139, 148
 Мстиславский С. Д. 405, 454
 Мугуев Х.-М. 454
 Музиль Н. И. 328
 Мур Т. 108
 Муравьев М. Н. 139, 140, 143, 144
 Муравьева Е. Ф. 89
 Муратова К. Д. 191—200, 203, 204, 207
 Мусин-Пушкин А. И. 236, 250, 252, 254—258
 Мышковская Л. 32
 Мюллер Л. 247
 Мюссе А. де 72
 Мяндин И. С. 267, 268
 Нагурская А. Н. 394
 Нагурская М. Н. 394
 Надеждин Н. И. 83
 Надлер И. 43
 Назарова Л. Н. 437—443
 Накамура Е. 240, 249
 Наполеон, Бонапарт 321—324
 Нарезный В. Т. 129
 Насонов А. Н. 261—265
 Наумов А. М. 174, 176, 178
 Нахимов А. Н. 71
 Наведомский В. Н. 71, 106
 Негош Д. П. (Данило Негош), князь черноморский 368
 Незлобин А. (Дьяков) 409, 411
 Некрасов Н. А. 16, 37, 59, 62, 133, 134, 136—149, 167, 205, 217, 345, 353—356, 376—379, 389
 Неронов И. 272
 Неупокоева И. Г. 453
 Нефедов Ф. Д. 167, 169, 438
 Нечкина М. В. 98
 Никитин Н. Н. 440, 454
 Никитина А. И. 139
 Николадае Н. Я. 346—350, 410
 Николай I 60, 62, 102, 130, 145, 418, 438
 Николаева Н. Т. 241
 Никольская Е. И. 398
 Никольский А. М. 398
 Никольский Н. М. 394, 397
 Никольский П. М. 398
 Николаюкин А. Н. 453
 Никон 268
 Новиков И. А. 437
 Новиков М. 66
 Новиков Н. И. 50, 61, 68, 71, 130, 299—301
 Носков Н. Д. 67
 Нотович О. К. 174, 176
 Нудьга Н. 390
 Нуньес М. 44
 Обренович, Михаил 362, 363
 Овсяннико-Куликовский Д. Н. 441
 Овчаренко А. И. 201—211
 Огарев Н. П. 20, 77, 302, 437
 Одоевский В. Ф. 126—129
 Озеров В. А. 117, 120
 Окрейц С. С. 174, 176
 Олимбиоти, Йордаки 305, 306, 309, 310
 Олдридж Д. 453
 Ольденбург С. Ф. 8
 Ольхин А. А. 402—404
 Онгирский (Ленский) Б. П. 405, 406
 Онегин А. Ф. 433
 Опекушин А. М. 330, 331

- Опочинин П. 348
 Орлов А. С. 287
 Орлов А. Ф. 100
 Орлов В. Н. 59, 100
 Орлов М. Ф. 89
 Остолопов Н. Ф. 71, 72, 75
 Островский А. Н. 6, 8, 380—388
 Остроглазов И. 302
 Осьмаков Н. В. 139
- Павел Македонский 310
 Павел I 298, 299
 Павленко П. А. 452, 454, 458
 Павлов А. 127
 Павлов Е. В. 332
 Павлов Н. Ф. 122—130
 Павлович И. 361
 Пальм см. Тхоржевская
 Пальм А. А. (Летносторонцева) 343
 Пальм А. И. (Альминский) 343—352
 Пальм Г. А. (Арбенин) 351
 Пальм К. Г. 351
 Пальм С. А. 351
 Пальмов И. С. 369
 Пальмы 350, 351
 Пан, Никита (атаман) 116
 Панич-Суреп М. 238
 Панаев И. И. 389
 Панаева А. Я. 140
 Пантелеев Л. Ф. 359, 360
 Паперный Э. С. 185
 Патрикеев, Вассиан 57
 Пасынков Л. 454
 Паус И.-В. 282, 287, 289, 290
 П—ая Е. 354
 Пекарский П. П. 285, 389
 Перетц В. Н. 30
 Пертинакс 103
 Песковский М. Л. 403
 Петр I 49—55, 58, 217, 259—265, 274—281, 293, 294, 378
 Петр II 282—285, 288
 Петр Петрович, великий князь 275
 Петрашевский (Буташевич-Петрашевский) М. В. 20, 134, 343, 344, 346
 Петров (Струев) В. П. 354—356
 Петров И. 127
 Петров С. М. 437
 Петропавловский (Каронин) Н. Е. 421
 Петухов В. К. 357—360
 Печ Р. 43
 Пешков А. М. см. Горький М.
 Пиккьо Р. 237
 Пиксанов Н. К. 3—12, 26—33, 49, 58, 59, 66, 88, 98, 132, 165, 166, 191, 282, 370
- Пинаев М. Т. 408—416
 Пини, консул 308
 Писарев Д. И. 138, 139, 402, 410, 422, 423, 424
 Питоев И. 348
 Плавиальщиков П. А. 114
 Платонов А. П. 454
 Плаутин С. Н. 239
 Плесси 356
 Плетнев П. А. 335
 Плеханов Г. В. 147, 148, 408, 416, 422
 Плещеев А. Н. 343, 346, 348, 423, 424
 Плиний 110
 Победоносцев С. П. 332
 Повинья А. 44
 Погодин М. П. 113, 121, 129, 265, 334—342
 Погодины 338
 Поздеев П. Н. 267, 272
 Поздеев Я. И. 268, 272
 Поздеева (Асташева) А. П. 272
 Поздеевы 272
 Позднеев А. В. 239, 248
 Покусаев Е. И. 183—190
 Полевой К. А. 112, 113, 115, 117, 119
 Полевой Н. А. 113
 Полежаев А. И. 302
 Полетика В. А. 410
 Полонский Я. П. 330
 Полоцкий, Симеон 261—265
 Поляк Л. М. 443
 Поплавская Е. Д. 239
 Попов А. В. 378
 Попов А. М. 391
 Попов В. И. 298
 Попов В. С. 299
 Попов И. В. 391
 Попов М. И. 391
 Попов Семен Март. 391, 394
 Попов Семен Моис., врач 390—398
 Попов С. Я. 391
 Попов Ю. 393
 Попова 392
 Попова Е. С. 392, 393
 Попова Маргарита С. 392
 Попова Мария С. 392—394, 396
 Попова (Будагова) Т. Г. 392, 393
 Поповы 391
 Поповян см. Попов С. М.
 Посников А. С. 409
 Поспелов Г. Н. 203
 Потанин Г. Н. 357
 Потебня А. А. 231
 Потто В. 418
 Преображенский А. Г. 229, 231, 233, 234

- Прибик И. В. 388
 Прийма Ф. Я. 241, 250—260, 292, 293
 Прицак О. 247
 Пришвин М. М. 452, 454
 Прозоров В. 132
 Прозоровский А. 265
 Прокопович Ф. 274—281, 294, 296
 Протасси, Гатци 312
 Протопопов Н. П. 319
 Пруцков Н. И. 15—25
 Птолемея, Клавдий 226
 Пугачев Е. И. 68, 314
 Пумпянский Л. В. 292
 Путилов Б. Н. 43
 Путятин Е. В. 371—375
 Пушкин А. С. 6, 8, 9, 19, 28, 29, 32, 37, 59, 62, 63, 67, 70—87, 96, 100, 106, 107, 109, 112, 113, 119, 121, 122, 126, 130, 147, 205, 217, 281, 305—316, 322—324, 329, 337, 339, 423, 439
 Пушкин В. Л. 71
 Пушин И. И. 101
 Пыпин А. Н. 28, 357, 358, 369, 389, 411
 Пыпина В. А. 358, 359
 Пятницкий К. П. 196
- Рабле Ф. 341
 Радищев А. Н. 6, 59—69, 129, 130, 297—304, 439
 Радищев Андр. Н. 298
 Радищев М. Н. 298
 Радищев Н. 298, 299
 Радищев П. А. 62, 300, 301
 Радищева Ф. С. 299
 Радойчиц Д. Сп. 247
 Разин С. Т. 68
 Райнис Я. 206
 Рансом А. 19
 Ревякин А. И. 6, 11, 380—388
 Резников Л. Я. 191
 Репцов Б. Г. 317—325
 Рейснер Л. 454
 Ремизов А. 242
 Репин И. Е. 199
 Решетников Ф. М. 16, 421
 Рид, Джон 19
 Риккабони Л. 292, 293
 Робинсон А. Н. 241
 Ровицкая Т. А. 362
 Ровинский П. А. 357—369
 Родионов Н. 420
 Розенбуш Б. фон 50, 52—54
 Розов Н. Н. 57, 58, 367
 Роллан Р. 32, 39, 212—216, 218, 220
 Романенко Д. 455
- Романченко И. С. 239
 Ромеро Э. 210
 Россини Дж.-А. 74
 Рошфор А. 347
 Рубакин Н. А. 426
 Рубцова Г. В. 32
 Руварц И. 367—369
 Руднев см. Базаров В. А.
 Руднев Ф. 353
 Рунич Д. П. 411
 Рурк К. 43
 Руссо Ж.-Ж. 293
 Рыбаков Б. А. 241
 Рылеев К. Ф. 67, 72, 83, 112, 302
 Рылеев Н. И. (обер-полицеймейстер) 300
 Рытхэу Ю. 455
- Саади 109
 Сабанеев 312
 Сабанеев Е. А. 330
 Саводник В. Ф. 60
 Садиков П. А. 272
 Сазонова см. Смирнова С. И.
 Сакулин П. Н. 7, 129, 167—170
 Салтыков Ф. С. 275
 Салтыков-Щедрин М. Е. 6, 20—22, 25, 38, 131—137, 146, 162, 167, 182, 194, 195, 203, 343, 349, 422, 426
 Самойлова В. В. 355
 Самуераси 312
 Самуил, архиепископ 256, 257
 Самуркаша К. 310
 Сарбневский 291
 Саркисов Н. Г. 393
 Сатаров М. 289, 290
 Сатин Н. 302
 Саянов В. М. 165, 199
 Сведенцев И. И. 410
 Свешников Г. Г. 393
 Свистунов А. П. 328, 329
 Свистунов П. Н. 420
 Святослав, князь 243
 Селивановский Н. С. 301, 302, 304
 Селивановский С. И. 297—304
 Селинов В. И. 308, 309
 Семенников В. П. 300, 301
 Семенов А. А. 448, 450
 Семушкин Т. 454, 455
 Сенесе 73
 Сенковский О. И. (барон Брамбеус) 240
 Сен-Симон А.-К. 24
 Сентив П. 44
 Септилий Север 103
 Серафимович А. С. 452
 Серебровская Е. С. 150
 Сергиевский И. В. 437

- Сибиряков К. М. 399, 406
 Сильванян В. С. 390, 393, 394
 Сильвестр 114
 Сильчевский Д. П. 403
 Симборский Н. В. 347, 348
 Симеон см. Крашенинников С. И.
 Скабичевский А. М. 333
 Скандерберг 57, 58, 367
 Скиталец С. Г. (Петров С. Г.) 204, 207
 Скосырев П. 454
 Скотт В. 35, 74
 Слепцов А. А. 360, 362
 Смекалов А. М. 331, 332
 Смирнов И. 26
 Смирнов С. С. 293
 Смирнов-Сокольский Н. 99
 Смирнова (Сазонова) С. И. 411—413
 Снегирев И. М. 124, 301
 Собакарев 393
 Сокол Э. 207
 Соколов А. И. 302
 Соколов А. Н. 70—78, 83
 Соколов Е. И. 263
 Соколов Н. И. 138—149
 Соколов Ю. М. 43, 45, 46
 Соколова В. К. 43
 Соколова Л. М. 455
 Сокольский Г. 72
 Соллертинский И. И. 293
 Соллогуб В. А. 127, 350
 Соловьев А. В. 236, 240, 246, 247, 249
 Сологуб Ф. К. 208
 Сомов А. И. 330
 Соссюр Ф. де 233
 Софоний 246
 Софья Алексеевна, царевна 50—53, 264
 Спартак 320
 Спасович В. Д. 344
 Спенсер 73
 Спешнев Н. А. 343
 Спигаков 411
 Срезневский В. И. 161
 Срезневский И. И. 231
 Сталь А.-Л.-Ж. 321
 Станиславский К. С. 48, 203
 Станюкович К. М. 410
 Старцев А. И. 297, 298
 Стасов В. В. 66, 67
 Стасюлевич М. М. 168
 Стахевич С. Г. 389
 Стеклов Ю. М. 411
 Стендаль (Бейль А.-М.) 35, 37
 Стендер-Петерсен А. 237
 Степанов А. Н. 347, 431—436
 Степанов Н., владелец типографии 124
 Степанов Н. Л. 32
 Степняк-Кравчинский С. М. см. Кравчинский С. М.
 Стерн Л. 83
 Стиль Р. 292
 Стоянин В. Я. 293
 Стоянов Л. 237
 Строгановы 114, 117
 Струве П. Б. 242
 Струев см. Петров В. В.
 Студенский А. О. 174, 176
 Субботин Н. И. 266, 268, 271
 Суворин А. С. 136, 142, 144, 168, 176, 345, 346, 352, 410, 423—425, 432, 436
 Сумароков А. П. 70, 71
 Сумароков П. 71, 75
 Сухомлинов М. И. 288, 289
 Сухонин С. С. 63—65
 Суццо, князь 306
 Сучков Б. 201
 Сысоева Е. А. 435
 Талиашвили Г. А. 388
 Тамразов А. И. 394
 Татаринцев А. 297, 298
 Тебекин В. 71
 Терпигоров С. Н. (Атава С.) 434
 Творогов О. В. 240, 241
 Тибодэ А. 32
 Тизенгаузен Г. 144
 Тимофеев А. В. 129
 Тимофеев Л. И. 11
 Тимофеева В. В. 444—450
 Титов А. А. 265
 Титов Г. С. 52
 Тихонов А. Н. 197
 Тихонов Н. С. 452, 454
 Ткачев П. Н. 140—143, 167
 Толстая А. А. 419, 420
 Толстая Е. В. 372
 Толстая С. А. 63, 161
 Толстой А. К. 380
 Толстой А. Н. 209, 210, 217
 Толстой Д. А. 426, 427
 Толстой Л. Н. 6, 15, 16, 20—22, 24, 25, 32, 37, 59—69, 134, 150—166, 189, 193—196, 199, 201—205, 209, 210, 213, 217, 220, 222, 340, 417—420, 422, 438, 439
 Толстой Н. И. 61
 Толстые 62
 Томанович, Лазар 361—369
 Томанович, Росанда 361, 362, 364, 369
 Томашевский Б. В. 28, 106, 107, 305, 309, 311, 315
 Томич, Йован Н. 367, 368

Тонеев А. 52
Тонетти С. А. 331
Топорнин П. см. Клеменц Д. А.
Торопов А. В. 168
Тоски П. 44
Третьяков С. 454
Трифонов Н. А. 124—129, 208
Трусов А. 409
Туманишвили см. Туманов Г. М.
Туманов (Туманишвили) Г. М. 351
Туманян О. 319, 320
Тур Е. 127
Тургенев И. С. 6, 32, 37, 62, 76,
140, 167—173, 205, 354, 437—
443
Турский, Григорий 105
Тхоржевская (Пальм) 345
Тхоржевский И. Ф. 345, 348, 349
Тьерри О. 319
Тынянов Ю. Н. 101, 102, 104
Тютчев Ф. И. 37, 129

Удалов А. 454
Ульрих Л. 10
Ульянов Д. И. 407
Ульянова М. И. 407
Унковский А. М. 136
Упит А. 207, 209, 210
Усатов Д. А. 328
Успенский Г. И. 16, 20, 22, 142, 147,
162, 164, 195, 346, 347
Успенский М. И. 242, 243
Устрялов Н. 53, 54
Ушаков В. А. 129
Уэно С. 238, 245

Фабрикантов 392
Фабрикантова (Будагова) Ю. Г. 392
Фадеев А. А. 210, 222, 452, 454
Фасмер М. Д. 229, 230, 234
Фатуев Р. 454
Федин К. А. 210, 452, 454
Федор Алексеевич, царь 51, 52, 262,
265
Федоров А. 102
Федоров К. М. 395
Феннел Д. 249
Феодосий (младший) 105, 106
Ферельтц С. 302
Фет А. А. 37, 141
Фигнер В. Н. 139, 404, 405
Фидлер Ф. Ф. 434
Филин Ф. П. 241
Филиппов П. Н. 343
Фирдоуси 108, 109
Фирс, игумен 55
Фирстендих Э. А. 405, 406

Флескер А. Л. см. Волинский А.
Флобер Г. 39
Флоровский А. В. 293, 294
Фомин А. Г. 29
Фомичев С. А. 88—98
Формаки 305, 312
Форманова Э. Ф. 394
Форьель К. 317, 319
Фостер Дж. 43
Фохт У. Р. 203
Фраерман Р. И. 454
Фрай Н. 40
Франгулов И. С. 392, 393
Франгулова 393
Франс А. 39
Франц Р. 43
Фридендер Г. М. 334—342
Фридман Н. В. 96
Фрчек Я. 244
Фурманов Д. А. 452, 454
Фурье Ш. 24
Фучик Ю. 453

Ханыков А. В. 343
Хватов А. И. 212—222
Хвостов Д. И. 71, 72
Хемингуэй Э. 212
Хемницер И. И. 71
Херасков М. М. 71, 73, 76
Херскович М. 43
Хлыпенко Г. Н. 454
Хмельницкий С. И. 100
Холопов Г. 454
Хомяков А. С. 112—121, 226
Хомяков Ф. С. 113
Хорошкевич А. Л. 241
Хохлов П. А. 328
Храпченко М. Б. 34—41
Хренов И. П. 445, 447, 449
Худяков И. А. 143—146

Цакни Н. П. 405
Царевский А. А. 297, 298
Цейдлер М. И. 329
Цейтлин А. Г. 11, 128, 169
Цеплис А. 453
Церетели А. 347, 348, 351
Церетели Г. 347
Цертелев Д. Н. 380
Цимбалин К. 71
Цитович П. П. 176, 409—411, 413
Цявловская Т. Г. 305

Чаадаев П. Я. 129
Чайковский П. И. 388
Чалов Е. 328

- Чарушин Н. А. 139
 Чагков В. 353
 Чеботарева В. Г. 191
 Челищев Е. И. 302
 Чельшев Б. 447, 449
 Черемсина Н. М. 28
 Черновиц, Иван см. Иван Черно-
 вич
 Черновиц, Юрий см. Юрий Черно-
 вич
 Черновичи 367
 Чернышевская Н. М. 389—398
 Чернышевская (Васильева) О. С.
 358, 389, 391, 394—397, 416
 Чернышевская-Быстрова Н. И. 358,
 362
 Чернышевские 395
 Чернышевский Г. И. 389
 Чернышевский М. Н. 358
 Чернышевский Н. Г. 6, 22, 24, 30, 59,
 134, 138, 139, 144, 146—148, 346,
 358, 362, 364, 389—398, 408—
 416, 423
 Чертков В. Г. 64, 161
 Чехов Ал. П. 436
 Чехов Ан. П. 22, 37, 183—190,
 201—204, 206, 421—436
 Чехов М. М. 422
 Чижевская Т. Д. 246
 Чижевский Д. И. 237, 244, 247, 339
 Чижов М. А. 330
 Чириков Е. Н. 207
 Чистякова Н. А. 58
 Чичерин А. В. 213, 215, 219, 220
 Чичерин Б. Н. 409
 Чичерин Н. В. 128
 Чичерины 128
 Чосер 73
 Чуйко В. В. 405
 Чуковский К. И. 199
 Чулков Н. П. 111
 Чутурило, Стево 367
 Чухнин И. 328
- Шагинян М. С.** 454
Шадури В. С. 11, 343—352, 453
Шайберт П. 20
Шалпин Ф. И. 203
Шамбинаго С. К. 239, 338, 339
Шан-Гирей А. 328
Шан-Гирей Э. 328
Шаповалов Н. 354, 356
Шапошников И. И. 330
Шарлемань Н. В. 248
Шатобриан Ф.-Р. 82, 321
Шафиров П. 276
Шахматов А. А. 358, 369
Шаховской А. А. 89, 90
- Шашков С. С.** 141
Шванвигтц М. 290
Шевердин М. 454
Шевырев С. П. 125, 126, 128
Шевыревы 338
Шекспир В. 35, 81, 99
Шелгунов Н. В. (Языков Н.) 141
Шелепина О. Е. 91
Шеллер-Михайлов А. К. 425—430
Шеллинг Ф.-В.-И. 126
Шенрок В. И. 334
Шерцль В. И. 234
Шестакова Ю. 454
Шешковский С. И. 299
Шиллер И.-Ф. 35, 119, 122, 140
 416
Шиховский Н. 354, 356
Шишков 410
Шишков А. А. 121
Шишков А. С. 434
Шкловский В. Б. 83
Шляпкин И. А. 88, 98
Шмидт К. Р. 245
Шнеерсон М. А. 191
Шолохов М. А. 19, 209, 210, 212—
 222, 451, 452, 458
Шошин В. А. 451—458
Шрейтер 106
Шриттматер Э. 210
Штейнгель В. И. 302, 304
Штурм Г. 249
Шувалов И. И. 49
Шундик Н. 454
Шуровский П. А. 328
Шухов И. 454
Шютц И. 249
- Шеглов (Леонтьев) И. Л.** 434, 435
Шеголев П. Е. 344
Шеголенок В. П. 150, 160
Шедрин см. Салтыков-Шедрин М. Е.
Шепкина-Куперник Т. Л. 433
Шербина Н. Ф. 300
- Эйдеман Р.** 453
Эйхенбаум Б. М. 29
Элидин М. 408, 409
Энгельгардт Б. М. 373
Энгельс Ф. 365, 456
Эрастов, Василий (протоиерей) 327
Эрастов Д. П. 272
Эренбург И. Г. 452, 454
Эристави Д. 348
Эшенбург 72
Эфрон И. А. 415
- Юргенсон П.** 380, 385
Юрий Черновиц 365

Юрковский 330
Юткевич С. С. 207

Яворский С. 274, 275, 277, 279, 281
Ягич В. 365, 366
Языков М. А. 373
Языков Н. см. Шелгунов Н. В.
Языковы 371
Якобсон Г. X. 327
Якобсон Р. О. 236—240, 242—246,
248
Якубович Л. Я. 318
Якубович П. Ф. 144, 405
Янин В. Л. 241
Ясинский И. И. 400
Яцевич А. Г. 129

Adrusyschen С. Н. 237
Arconada S. 237

Badalić J. см. Бадалич И.
Baring-Gould S. 106
Barletius M. см. Барлеци, Марин
Bchaghel M.-L. 238
Beniuc M. 238
Besharov J. 237
Billington J. H. 242
Blankoff J. см. Бланков Ж.
Bonamour, Jean 91
Braun M. см. Браун М.
Brückner A. A. 229

Caylus, Comte 107
Charles XII 50
Čiževska T. D. см. Чижевская Т. Д.
Čiževskij D. см. Чижевский Д. И.
Colaclides P. см. Колаклидес П.
Coleridge E. H. 321
Crath P. C. 237
Crevier J. см. Кревье, Жан
Cross S. H. 237

Decius см. Деций (Декий)
Dioclea см. Диоклея
Dioclès см. Диоклетиан
Dmytryshyn B. 237
Dolega Chodakowski Z. см. Доленга-
Ходаковский З.
Dorson Richard M. см. Дорсон Р. М.

Erdödi J. 237

Fennel J. L. I. см. Феннел Д.
Frye N. см. Фрай Н.

Gerhardt D. 244
Gibbon E. см. Гиббон Э.

Grasshoff H. 293, 294
Gregoire H. 236, 238, 243
Guerny B. G. 237

Heinrich C. F. 110
Huber M. P. 106

Ibrovać M. 318
Isačenko A. 238
Isenberg M. 237

Jken, C. J. L. 107
Joffe J. A. 237

Kelin F. 237
Képes G. 237
Kiparsky V. см. Кипарский В.
Kirkconnell W. 237
Kluge Fr. см. Клюге Фр.
Koch J. 105—107, 109, 110
Komorovsky J. 238
Konovalov E. D. 238
Kosegarten G. L. Th. 107
Koulmann N. 238
Kubka F. 238

Läg Reid A. см. Легрейд А.
Laran M. см. Ларан М.
Lenz W. 108
Lourié O. 227

Malkiel G. 237
Malkiel M. R. L. 237
Máslanka J. см. Масланка Я.
Mauthner Fr. см. Маутнер Фр.
Mendoza V. T. 45
Müller L. см. Мюллер Л.
Murray J. 321

Nabokov V. 237
Nachtigal R. 238

Obolensky D. 237
Obreńska-Jabłońska A. 238, 239

Palmer B. 237
Papadopulü Calimanü A. 238
Petrunkevitch A. 237
Petrunkevitch W. 237
Poggioli R. 238

Raab H. 238
Radojičić D. Ср. см. Радойич Д. Сп.
Riccoboni L. см. Риккобони Л.
Richter S. 339
Riha T. 237, 242
Rilke R. M. 238
Ružičić G. 243

Schmidt F. W. V. 107

Schrökh Joh. M. 107

Schütz J. см. Шютц И.

Skalová H. 238

Soupault Ph. 238

Simmons E. J. 236

Sturm G. см. Штурм Г.

Szeftel, Marc 236

Szova P. 237

Sztripsky H. 237

Thyrneysen 230

Tschizewskij D. см. Чижевский Д. И.

Ułaszyn H. 239

Vaillant A. см. Вайян А.

Varga B. 237

Vasmer M. см. Фасмер М. Р.

Vydra B. 239

Ward D. 237

Weintraub W. 244

Wollman S. 237

Woltner M. 243

Worth D. S. см. Ворт Д. С.

Wytrzens C. см. Витченз Г.

Yarmolinsky A. 239

Zenkovsky S. A. 237

Zeňkovsky V. V. 339

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

К. Н. Григорьян (Ленинград). Путь ученого (к 90-летию Н. К. Пиксанова)	3
СТАТЬИ	
Н. И. Прудков (Ленинград). Классическое наследие, революция и наша современность	15
Н. Ф. Бельчиков (Москва). Проблемы литературного источниковедения	26
М. Б. Храпченко (Москва). Некоторые вопросы исторического исследования литературы	34
В. Е. Гусев (Ленинград). Фольклористика в ряду общественных наук	42
Г. Н. Моисеева (Ленинград). Соловецкий сборник в исторических и литературных сочинениях М. В. Ломоносова	49
Д. С. Бабкин (Ленинград). Радищев в оценке Л. Н. Толстого	59
А. Н. Соколов (Москва). Жанровый генезис шутовых поэм Пушкина	70
Д. Д. Благой (Москва). «Евгений Онегин» — основополагающее произведение критического реализма	79
С. А. Фомичев (Ленинград). К творческой предыстории «Горя от ума» (комедия «Студент»)	88
М. П. Алексеев (Ленинград). Поэма В. К. Кюхельбекера «Семь сиящих отроков» и ее источники	99
В. А. Бочкарев (Куйбышев). Трагедия А. С. Хомякова «Ермак» и ее место в развитии русской исторической драматургии	112
В. П. Вильчинский (Ленинград). Из истории русской повести (Н. Ф. Павлов)	122
А. С. Бушмин (Ленинград). Этюды к психологии творчества сатирика. (О «Культурных людях» Салтыкова-Щедрина)	131
Н. И. Соколов (Ленинград). Н. А. Некрасов в оценках революционных народников	138
В. А. Жданов (Москва). К творческой истории рассказа Л. Н. Толстого «Корней Васильев»	150
Н. И. Желтова (Ленинград). К творческой истории «Сказки об Иване-дураке» Л. Толстого	161

С. Б. Михайлова (Ленинград). Н. Н. Златовратский в полемике вокруг романа И. С. Тургенева «Новь»	167
В. И. Каминский (Ленинград). Незаконченный сатирический рассказ В. Г. Короленко «История одной газеты»	174
Е. И. Покусаев (Саратов). Об идейно-художественной концепции рассказа А. П. Чехова «Враги»	183
К. Д. Муратова (Ленинград). М. Горький и фольклор (Оценки образа Иванушки-дурачка)	191
А. И. Овчаренко (Москва). Типы реализма в русской литературе начала XX столетия. (К постановке проблемы)	201
А. И. Хватов (Ленинград). «Тихий Дон» и эпопея XX века	212

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

В. В. Виноградов (Москва). Историографические заметки об этимологии, семасиологии и лексикологии (применительно к русскому языкознанию)	225
Ю. К. Бегунов (Ленинград). «Слово о полку Игореве» в зарубежном литературоведении (краткий обзор)	236
Ф. Я. Прийма (Ленинград). К спорам об открытии «Слова о полку Игореве»	250
С. Н. Азбелев (Ленинград). Летопись Петровского времени, содержащая поэму Симеона Полоцкого	261
В. И. Малышев (Ленинград). Старейший список «Книги толкований и нравочений» протопопа Аввакума	266
А. И. Кузьмин (Москва). Северная война в проповедях Феофана Прокоповича	274
П. Н. Берков (Ленинград). Стихотворное академическое приветствие 1727 года (к истории русского тонического стихосложения)	282
А. А. Морозов (Ленинград). К вопросу о литературной позиции Антиоха Кантемира	291
В. П. Гурьянов (Москва). Радищев и Селивановский	297
М. П. Легавка (Харьков). Два документа периода кишиневской ссылки А. С. Пушкина	305
Б. Г. Рейзов (Ленинград). Заметки о Лермонтове	317
А. Н. Михайлова (Ленинград). К истории памятника Лермонтову в Пятигорске	326
Г. М. Фридлиндер (Ленинград). О повести Н. В. Гоголя «Рим» Вано Шадури (Тбилиси). Писатель-петрашевец А. И. Пальм в Грузии	334
В. Э. Боград (Ленинград). Неизвестные тексты Некрасова, Боткина и других авторов в «Современнике» 1849 и 1850 гг.	353
В. К. Петухов (Ленинград). К биографии П. А. Ровинского	357
Нико С. Мартинович (Цетинье — Югославия). П. А. Ровинский и Л. Томанович	361
А. Д. Алексеев (Ленинград). И. А. Гончаров — автор официального «Отчета о плавании фрегата „Паллада“»	370
А. И. Груздев (Ленинград). Событийная основа поэмы Н. А. Некрасова «Дедушка»	376
А. И. Ревякин (Москва). А. Н. Островский — соавтор либретто лирической оперы «Руфь» М. М. Ипполитова-Иванова	380
Н. М. Чернышевская (Саратов). Надпись на книге	389
Е. Г. Бушканец (Казань). Журнал «Слово» и царские жандармы	399
М. Т. Пинаев (Волгоград). Из истории борьбы за наследие Н. Г. Чернышевского (1878—1881)	408
В. А. Мануйлов (Ленинград). Комендант Петропавловской крепости в романе Л. Н. Толстого «Воскресение»	417

А. П. Могиланский (Ленинград). Чехов и наследие шестидесятих годов	421
М. И. Малова, А. Н. Степанов (Ленинград). Рукописи А. П. Чехова в Пушкинском доме	431
Л. Н. Назарова (Ленинград). И. С. Тургенев и М. Горький	437
В. В. Тимофеева (Ленинград). К вопросу о социальных источниках поэтического образа	444
В. А. Шошин (Ленинград). К проблеме изображения инонационального характера в русской советской литературе	451
Указатель имен	459

**ОТ «СЛОВА О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ»
ДО «ТИХОГО ДОНА»**

Редактор издательства
В. А. Браиловский

*Утверждено к печати
Институтом русской литературы
(Пушкинский Дом) АН СССР*

Художник
С. Н. Тарасов

Сдано в набор 21/XII 1968 г. Подписано к печати 2/VI 1969 г. РИСО АН СССР № 38-160В. Формат бумаги 60 × 90¹/₁₆. Бум. л. 15. Печ. л. 29³/₄ + 2 вкл. (¹/₄ печ. л.) = 30 усл. печ. л. Уч.-изд. л. 32.09. Бумага № 1. Изд. № 3848. Тип. зак. № 1478. М-22370. Тираж 10800.
Цена 2 р. 23 к.

Технический редактор
И. М. Кашеварова

Корректоры
Л. Я. Комм
и Н. З. Фридман

*Ленинградское отделение издательства «Наука»
Ленинград, В-164, Менделеевская лин., д. 1*

*1-я тип. издательства «Наука»
Ленинград, В-34, 9 линия, д. 12*

ИСПРАВЛЕНИЯ И ОПЕЧАТКИ

<i>Страница</i>	<i>Строка</i>	<i>Напечатано</i>	<i>Должно быть</i>
139	23 снизу	Гаркавич	Гаркави
248	20 сверху	seviétique	soviétique
338	17 снизу	«изумляющих»	«изумляющих»
438	11 сверху	лишь у Тургенева	у Тургенева лишь
466	12 » правый стлб.	Наведомский В. П. 71, 106	Неведомский В. П. 106
468	4 снизу правый стлб.	Септилий	Септимий

От «Слова о полку Игореве» до «Тихого Дона».